



П. Н. Милюков

ОЧЕРКИ
ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

П. Н. Миллюков

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

в 3-х томах
Том третий
Национализм
и европеизм



Москва
Издательская группа «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»
Редакция газеты «ТРУД»
1995

ББК 63.3(2)
М 57

Редактор Л.И.Кучумова

М57 Милюков П.Н.
Очерки по истории русской культуры.
В 3 т. Т.3. — М.: Издательская группа
"Прогресс"—"Культура", 1995 — 480 с.

П.Н. Милюков начал публикацию юбилейного издания "Очерков по истории русской культуры" в 1930 г. с настоящего третьего тома, озаглавленного "Национализм и европеизм". Тем самым автор включал читателя в обсуждение остродискуссионных проблем мирового развития — таких как формирование "национализма", общественного сознания, "европеизма", "евразийства". В 1930 г. П.Н. Милюков более корректно, чем в ранних изданиях работы, сформулировал исследовательскую проблему — итоги восприятия Россией влияний европейской и азиатской культур и определил позицию в вопросе о "непрерывности истории русского национального самосознания". Истоки явления автор датировал концом XV столетия.

Работа обобщила новейший фактический материал по отечественной истории, важнейшую социологическую литературу Западной Европы и США.

Для широкого круга читателей и студентов гуманитарных вузов.

М $\frac{050300000-017}{006(01)-95}$ без объявления

ББК 63.3(2)

ISBN 5-01-004446-3
5-01-004243-6

© Подготовка и оформление оригинал-макета
Издательская группа "Прогресс", 1995
© Редакция газеты "Труд"

ОТ АВТОРА

Третий том "Очерков по истории русской культуры" выходит в свет первым в настоящем "юбилейном" издании. Причина этого та, что он требовал наименьших изменений и дополнений. Более серьезные изменения в двух первых томах вызываются тем, что изложение там будет доведено до настоящего времени. Этого не понадобилось делать в третьем томе, представляющем исторический очерк, кончающийся царствованием Екатерины II. Наиболее значительные изменения и дополнения, сделанные для настоящего издания третьего тома, вызваны новыми историческими работами. Упомяну лишь о новых биографических данных, освещающих выдающуюся личность Крижанича, о более тщательном изучении обстоятельств деятельности Новикова, как журналиста и как масона; наконец, о более отчетливом изображении генезиса знаменитого "Путешествия" Радищева. Я изменил также подзаголовок этого тома. В прежних изданиях он оглавлялся: "Национализм и общественное мнение". Конечно, национализм есть тоже вид общественного мнения, и противопоставить то и другое было логически неправильно. Это противопоставление, очевидно, объяснялось политическими настроениями тех годов, когда писались "Очерки" и когда "национализм" считался не видом "общественного мнения", а "официальной доктриной, противоположной всякой "общественности"¹. Более соответствовало бы принятой в третьем томе терминологии противопоставить "национализму" как хранителю традиционных воззрений "критику" как основу воззрений, разрушающих традицию. В этом смысле "Очерки" противопоставляют "органический" период создания традиции "критическому" периоду ее разложения. Не отказываясь и теперь от этой терминологии, я, однако, хотел бы предупредить недоразумение, которое она может вызвать. "Критический период" есть, конечно, не только период разрушения старого, но и созидания нового. Мой новый заголовок должен выразить этот оттенок. Но что положительное противопоставлялось "национализму" на протяжении

¹ Понятие, сложившееся в специфически русских политических условиях и на иностранный язык непереводимое.

нии всех споров, которые эта доктрина вызывала? Очевидно, "европеизм". В этом смысле я и изменил свой подзаголовок.

Тут, однако, тоже может возникнуть недоразумение, которое необходимо заранее рассеять. Под "европеизмом" разумеется по большей части, и особенно в период, здесь излагаемый, заимствование чуждого русской жизни иностранного начала. С этой точки зрения защитники национального своеобразия победоносно возражали против "европеизма". В последнее время даже появился термин, желающий увековечить национальное своеобразие, якобы ни к чему не сводимое: евразийство. "Очерки" не стояли и не стоят на этой точке зрения, хотя основоположники евразийства иногда и ссылаются на автора "Очерков" как на теоретика русского "своеобразия", пустившего даже в оборот слово. Из предисловия к первому тому, так же как и из всего построения "Очерков", читатель убедится, что, наряду с элементами своеобразия, автор выделяет элемент общности России с более счастливыми в культурном отношении странами. Европеизм, с этой точки зрения, не есть начало, чуждое русской жизни, начало, которое можно только заимствовать извне, но собственная стихия, одно из основных начал, на которых эта жизнь развивается, насколько в ее "месторазвитии" даны общие Европе элементы развития. К этому представлению ведет и самый термин "Евразия", если употреблять его научно, а не тенденциозно. Евр-Азия не есть Азия; а есть Европа, осложненная Азией. Впрочем, к этому вопросу, не случайно вновь выдвинувшемуся, я вернусь в новом издании первого тома.

Читателю, незнакомому с "Очерками", я напомним, что каждый том "Очерков" составляет законченное целое, и читать третий том он может, не дожидаясь появления предыдущих, которое, впрочем, не замедлит.

Париж, декабрь 1929.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие социального самосознания — предмет третьей части "Очерков". — Односторонность понимания "народного самосознания" у некоторых предыдущих писателей. — Различие в "народном самосознании" "национального" и "общественного". — Ошибочность старого понимания "национальности". — Современное учение об отношении национальности к "расе". — Вопрос о зависимости ее от географических условий. — Национальность понятие социальное. — Психическое взаимодействие основа социальных явлений вообще и национальности в частности. — Язык как орган психического взаимодействия. — Изменчивость языка. — Религия как символ национальности. — Национальное сознание отчасти само создает свое содержание. — Ранние стадии в развитии национального самосознания. — Период военной борьбы за формирование нации. — Соответствующая ему стадия национального самовозвеличения; ее религиозная санкция и социальное значение последней. — Условия, определяющие направление и степень дальнейшего развития общественного самосознания. — Происхождение, распространение и результаты критического воззрения. — Отношение сказанного к теме третьей части "Очерков". — Начала русского самосознания по понятиям защитников вечевого быта и московского самодержавия. — Вопрос об отношении вечевого быта к московским порядкам. — Разница форм национального самосознания той и другой эпохи. — Вопрос об участии общественного сознания в выработке московских порядков. — Степень активности "передаточной роли" психических элементов процесса. — В каком смысле можно говорить о "целесообразности" возникновения московского государства? — Допускаем ли мы техническую, органическую или психологическую целесообразность? — Предполагает ли последняя "общественный договор"? — Как понимаем мы роль индивидуальных условий, способствовавших возникновению московского государства? — Принадлежит ли к их числу внешняя опасность или только тот момент, когда она начала ощущаться? — Роль "чисто субъективных интересов и стремлений" в процессе образования московского государства. — Вывод: непрерывную историю русского национального самосознания следует начинать с конца XV в.

В двух первых томах "Очерков по истории русской культуры" мы начали рассказ с изложения стихийных или полусознательных исторических процессов, развитие и общий ход которых определялись не сознательным выбором или решением

общества или его представителей, а внутренней тенденцией этих процессов и внешней средой. Мы проследили каждый из этих процессов до конца и могли убедиться, что по мере приближения к современности все они становятся более сознательными.

Та или другая степень сознательности есть, конечно, во всяком социальном процессе, так как все социальные явления происходят в психической среде. Но "общественное" самосознание предполагает наличие известного механизма, посредством которого индивидуальное сознание становится общественным. Чем совершеннее этот механизм тем быстрее происходит передача и тем скорее и целесообразнее общественная мысль реагирует на получаемые ею импульсы. Напротив, чем механизм передачи примитивнее, тем более момент передачи отстает от момента усвоения; тем более запаздывает усвоение вывода общественным самосознанием, тем труднее заменить в общественном сознании этот вывод другим, новым и тем труднее, стало быть, приложить его практически к окружающей действительности. Степень соответствия между действительностью и ее отражением в общественном сознании, может быть, поэтому чрезвычайно разнообразна. При неразвитости механизма для передачи и для усвоения общественной мысли эта степень соответствия бывает обыкновенно крайне низка. Вот почему, хотя наличие и непрерывность общественного самосознания есть социальный факт, не подлежащий никакому сомнению, но было бы верхом заблуждения ограничивать изучение социальных процессов областью того, что общественно сознано. Тем большей ошибкой было бы искать у общественного самосознания ответов на наши собственные научные вопросы о причинах тех или других социальных явлений.

Общественное самосознание само есть одно из таких социальных явлений. Оно находится в непрерывной связи со стихийными процессами, изучавшимися в первых двух частях, и, подобно им, оно подлежит закономерному объяснению. Перед историческим трибуналом общественное самосознание не может фигурировать не только в роли судьи или адвоката, но даже и в роли простого свидетеля, призванного констатировать факты. Оно скорее является предметом разбирательства. Его деяния должны быть установлены, взвешены и оценены при помощи данных и приемов, независимых от его собственных показаний.

Этот взгляд диаметрально противоположен тому, который очень часто применялся при изучении истории "народного самосознания". Самый этот термин слишком долго оставался монополией создавшего его мировоззрения. По духу этого мировоззрения, все вопросы национальной жизни должны были решаться простой справкой с тем, что говорит или как думает об этом "народное самосознание". Содержимое народного самосоз-

нения решало в последней инстанции важнейшие вопросы народной жизни и считалось при этом не подлежащим анализу. Оно ведь было дано искони, было от века вложено в сознавший себя народ.

Предметом подобного "самосознания" являлся по необходимости общественный тип, сложившийся в прошлом. И ссылка на "народное самосознание" получала смысл защиты этого традиционного типа от всяких покушений на его изменение. На самом деле только таким, то есть запоздалым и традиционным, и могло быть содержимое "народного сознания" в тот период, когда отсутствовали всякие целесообразные приспособления для выработки общественной мысли. В народном сознании, по закону контраста, запечатлевалось в то время преимущественно то, что составляло особенность, отличие данной национальности от соседних. Этот национализм переносился затем из области внешней политики в область внутренней. Однако же дальнейшие усовершенствования в приемах выработки общественной мысли должны были рано или поздно привести к изменению этого старого содержания "народного самосознания". Из национального оно становилось "общественным". Мы разумеем под этим большее внимание к внутренней политике, лучшее понимание требований жизни в этой области и более активное, волевое отношение к этим требованиям.

Только что отмеченные два оттенка в содержании "народного самосознания" знаменуют собою два последовательных момента в развитии этого содержания. "Национальное" самосознание психологически и хронологически является первым моментом развития, а "общественное" самосознание вторым. И носителями того и другого являются не одни и те же общественные группы. Простая справка с политической терминологией передовых стран Европы покажет, что хранителями "национального" самосознания являлись и еще являются группы, программа которых имеет целью сохранение остатков прошлого, тогда как выразителями "общественного" самосознания становились другие группы, занятые устройством лучшего будущего. "Национальное самосознание", таким образом, представляется с характером более или менее охранительным, тогда как "общественное самосознание" носит характер по преимуществу реформаторский.

Представление о национальности как о хранильнице традиций прошлого, коренилось в уверенности, будто "национальность" есть нечто неизменное, неразрывно связанное с плотью и кровью народа, с его физической организацией. Однако такое мнение могло держаться лишь до тех пор, пока наши сведения об истории народов ограничивались пределами самого короткого, исторически известного периода жизни человечества. Чем больше наука углубляется в доисторическую тьму, тем яснее становится, что в сущности современные "национальности" —

самый поздний из продуктов исторической жизни. И то, что говорит об этом современная антропология и доисторическая археология, сполна подтверждается выводами современных социологов.

Прежде всего надо считать безвозвратно прошедшим то время, когда можно было искать неизменной основы национальности в естественно-историческом понятии "расы". Не говорим уже о том, что чистую "расу" можно в настоящее время встретить лишь там, где есть искусственный подбор (например, лошадей, собак). На свободе, в природе, мы встречаем всегда лишь смешанные расы. При этом начало смешения мы должны возводить к самым первым временам существования человечества. Но даже если мы возьмем вторичные продукты этих древнейших смешений, все еще доисторические "расы", отличающиеся большим или меньшим преобладанием известных анатомических и физиологических признаков (длинного или широкого черепа, высокого или низкого роста, круглой или овальной формы, а также темного или светлого цвета волос и глаз), то мы увидим, что, во-первых, самые эти признаки не оставались неизменными на протяжении истории (особенно рост и цвет волос и глаз), а во-вторых, даже и самые поздние из таких физиологических изменений все-таки совершились до образования известных нам "национальностей". Современные национальности объединяют в себе людей самого разнообразного физического строения, то есть самых чуждых друг другу рас. С другой стороны, одна и та же первоначальная "раса" служит в настоящее время физическим материалом для самых разнообразных национальностей, не имеющих между собой ничего общего. Антропологи все решительнее приходят к выводу, что длинноголовая раса составляла древнейшее население Европы, родственное африканскому и отодвинутое впоследствии на север и на юг Европы пришедшей из Азии короткоголовой расой, которая врезалась клином в среду этого старейшего населения. Между тем теперь обе расы одинаково входят в состав и английской, и французской, и немецкой, и итальянской национальностей. Потомки первобытных длинноголовых оказываются эскимосами в полярных странах, скандинавами в северной, испанцами и итальянцами в южной Европе. Итак, говорить о "расовом" различии национальностей в наше время было бы непозволительным анахронизмом, свидетельствующим только о недостаточном знакомстве с современным состоянием науки. Гораздо больше, чем "кровь", в создании современных национальностей должна была участвовать "природа", окружающая обстановка, то есть главным образом климат, затем почва и другие географические условия. Этим условиям среды приписывалась главная роль в процессе физического преобразования типа: в превращении, например, низкого роста в высокий или темного цвета в светлый. Теперь и в этом отношении происхо-

дит некоторая реакция. Как бы то ни было, сколько-нибудь видные результаты воздействия географической среды тоже лежат дальше тех хронологических пределов, к которым мы можем отнести происхождение современных "национальностей". То же самое придется, вероятно, сказать и о психофизиологических различиях народов, сложившихся под климатическими и другими географическими влияниями. В популярной речи мы постоянно говорим о "южном" или "северном темпераменте" той или другой национальности или различных частей одной и той же национальности. Очевидно, мы не ставим ни в какую связь подобные отличия темпераментов с национальностями. И действительно, например, "южный темперамент" есть свойство, которое сближает в одну группу представителей самых разнообразных национальностей Европы: испанцев, итальянцев, греков, жителей южной Германии, Франции, России и т.д.

Чему же обязаны "национальности" своим происхождением, если "кровь" совсем не участвовала, а "природа" только отчасти участвовала в их создании? В противоположность прежним толкованиям необходимо настойчиво подчеркивать, что "национальность" есть понятие не естественно-историческое и не антропогеографическое, а чисто социологическое.

Современные социологи спорят о том, какой основной признак отделяет социальное явление от несоциального. Но среди этих споров можно, как кажется, уловить общий центр, к которому тяготеют различные предложенные социологами объяснения того, что следует понимать под социальным явлением. Можно считать прежде всего окончательно выясненным тот пункт спора, на котором самая возможность выделения специфически социальных явлений от явлений соседних наук подвергалась сомнению. Ни к чистой механике, ни к чистой биологии свести объявления социальных явлений не удалось. И если неясна еще граница между психологией и социологией, то только потому, что чисто индивидуальная психология оказывается все более и более нераздельной от социальной, так что в конце концов рискует окончательно раствориться в последней. Это не значит еще, конечно, чтобы мы готовы были принять существование несколько мистической "коллективной души" вместе с ее защитниками. Напротив, индивидуальное сознание, несомненно, является единственным носителем коллективного сознания. Мы даже не знаем, что осталось бы в нем, если бы исключить из него все, принадлежащее коллективному сознанию.

Социолог Гиддингс, со свойственной ему схематичностью, пробовал отделить индивидуальную психологию как "науку об ассоциации идей" от социологии как "науки об ассоциации умов". Но здесь, как часто бывает у этого писателя, различие могло быть проведено только теоретически. Гиддингс слишком глубокий писатель, чтобы не признать, что на деле без "ассоциации умов" самая "ассоциация идей" не могла бы развиваться до

создания языка, при помощи которого становится возможным отделение общих понятий от представлений и сочетание их в предложения. Нельзя не принять светлой мысли Гиддингса, что эта ступень развития, на которой человек сделался человеком, достигнута уже в результате могущественного действия социальной группировки, то есть что общественная жизнь явилась необходимым предварительным условием, без которого не мог появиться язык и не могла создаться человеческая индивидуальная психика. Но, приняв эту мысль, мы тем самым находим коренной признак, отделяющий социальные явления от несоциальных. Социальная группировка создает средства психологического взаимодействия. Таким образом, психическое взаимодействие умов со всеми приемами и результатами этого взаимодействия и является основной чертой, отличающей социальную группу явлений от всех других.

Правда, эта черта, определяющая особенность социальных явлений, казалась многим социологам еще чересчур общей. Они искали другого, более частного определения. Так, например, один из приемов психического взаимодействия, именно подражание, послужил выдающемуся французскому социологу Тарду основанием для целой социологической системы. Несомненно, однако, что это именно лишь один из приемов. Односторонний характер "подражания" предполагает слишком резкое различие между тем, кто подражает, и тем, кому подражают. Психическое взаимодействие взято здесь в слишком узком смысле. И понятно, что на такой односторонней основе могла быть построена лишь односторонняя же теория. С такой же односторонностью один из результатов психического взаимодействия, "сознание принадлежности к одному и тому же роду", был выдвинут как коренной признак общественной ассоциации Гиддингсом. Односторонность такой формулировки, как исключительно субъективной, оставляющей в стороне объективную сторону, так сказать, движущую пружину явления, была уже указана Гиддингсу Тардом. Третий подобный случай: немецкий ученый Штаммлер хотел обратить преимущественное внимание на цель всякого социального взаимодействия и признал единственной целью взаимодействия установление правовых норм взаимных отношений. И эта попытка определения коренного признака социальных явлений сводится к выделению одной из разновидностей психического взаимодействия, не исчерпывающей его вполне. Это уже заметил Штаммлеру один из его немецких рецензентов. Как бы то ни было, все названные социологи сходятся в одном: идея психического взаимодействия лежит в основе всех их определений. И даже Гумплович, проводящий резкую границу между психическими и социальными явлениями и считающий возможным в основу социологического объяснения положить только социологический же факт (не индивидуума, а социальную группу), даже Гумплович вынужден

был отделить явления психического взаимодействия (а таковыми являются язык, религия, право, обычаи и т.д.) в особую группу явлений "социально-психических". При большей широте взгляда он должен был бы отнести сюда и те явления (социальная группа, государство), которые он отводит в особую рубрику явлений чисто "социальных". В недавнее время была сделана еще попытка отделить понятие "взаимодействие" от понятия "психическое", то есть объективный признак, как единственно научный, от субъективного, от состояния нашего сознания, сопровождающего действие. Социология сводилась, таким образом, единственно к явлениям человеческого поведения (по английски "behaviour", отсюда и название этой теории "behaviourism"). Основанное в своем источнике на изучении бессознательных рефлексов, общих человеку с животными, это учение, несомненно, заслуживает большого внимания. Но столь же несомненно, что и оно искусственно сужает область социальных явлений, стремясь перейти прямо от биологии к социологии и устранить параллелизм психического и физиологического начал, объединяемых социологией в общем синтезе. Метод "бихевиористов", конечно, имеет большое значение как вспомогательный; но он не может быть методом исчерпывающим и не устраняет изучения коллективной психологии методами внутреннего наблюдения и экспериментирования.

Легко заметить, что ни одна из перечисленных формулировок не исключает другой и не исключает также возможности новых формулировок подобного же рода, то есть основанных на одном и том же коренном признаке психического взаимодействия. Уже из одного этого можно было бы заключить, что все эти формулировки грешат не столько ошибочностью, сколько неполнотой и односторонностью.

Для нашей цели, то есть для выяснения понятия национальности как чисто социального, достаточно остановиться на общем, включающем все другие определения социальных явлений, как явление психического взаимодействия. Национальность есть социальная группа, располагающая таким единственным и необходимым средством для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия. Из этого определения сама собой вытекает важность языка для национальности. Можно даже сказать, что язык и национальность — это понятия если не тождественные, то вполне покрывающие одно другое. Пределы одного тождественны с пределами другого. Даже продолжительное разделение одноязычной группы между различными государствами не может уничтожить в ее членах "сознания рода", пока уцелел язык. Точно так же и разноязычные социальные группы не могут даже при продолжительном сожителстве внутри одной полити-

ческой группы слиться в одну национальность, пока не слились их языки. "Тот, кто говорит на двух языках, есть изменник" — это политическое правило первобытных племен как нельзя лучше подчеркивает важность, которую инстинктивно придавала единству языка государственная мудрость того времени. А борьба за государственный язык как за самое могущественное средство слияния с господствующей национальностью и отчаянное противодействие, которое оказывают этому национальные меньшинства в разных странах Европы, напоминают нам, что и до нашего времени теснейшая связь языка и национальности признается основной аксиомой не в одних только социологических трактатах. И самая напряженность, которой еще недавно достигала борьба за язык (например, в Турции или в Австрии), доказывает, что обе борющиеся стороны не считали результат борьбы решенным, а считали его вполне зависящим от их сознательных усилий. На самом деле язык, этот коренной признак национальности, оказывается далеко не прочным ее достоянием. Два или три поколения при благоприятных условиях могут быть достаточны, чтобы превратить одну "национальность" в другую. На наших глазах целые области, например Македония, подвергались и продолжают подвергаться этому "социологическому" эксперименту. Пишущий эти строки мог лично наблюдать, как в турецких областях армяне, греки и славяне превращались в турок (в Малой Азии), болгары в греков и обратно в болгар, то же и албанцы. Тот же закон приводил к постепенной денационализации всех эмиграций: на нем основан громадный факт создания новой американской национальности. Итак, язык, этот основной и наиболее существенный признак национальности, носитель всех связанных с ее понятием ассоциаций, оказывается явлением в высшей степени хрупким и преходящим. Нет ничего удивительного, что и население Европы, с древнейших времен пережившее множество переселений, завоеваний и смешений, могло много раз переменить свой язык, оставаясь в то же время антропологически тем, чем было и прежде. Это наблюдение окончательно разъясняет, почему нельзя искать никакого соответствия между языком (а следовательно, и национальностью) и "расой".

То, что сказано о языке, тем более верно по отношению к другим явлениям, представляющим из себя не орудие и не средство психического взаимодействия, а его результаты. В национальном самосознании, например, религия является часто столь же существенной и представляется столь же коренной и исконной чертой национальности, как и язык. В данном случае, однако, опять голос самосознания может ввести исследователя в заблуждение. Лица, жившие прежде и теперь на Балканском полуострове, могут засвидетельствовать, например, какое огромное значение имела религия в христианских областях, пока они оставались под турецкой властью, и как равнодушно

стало относиться к той же религии население областей, добившихся национальной независимости. Явление это, повторявшееся не раз и в прошлом, может свидетельствовать об одном: религия в подобных случаях, очевидно, ценилась не по внутреннему своему значению, а как символ социальной обособленности исповедующего ее населения. Социальная роль религии в этих случаях может быть огромна, и в то же время вероисповедное ее значение сводиться к нулю.

Итак, все существенное содержание "национального самосознания" при более внимательном рассмотрении оказывается вовсе не заимствованным из каких-либо реальных свойств людей. Эти реальные свойства, анатомические, физиологические и т.д., остаются нетронутыми и в пределах одной и той же национальности очень различными. Национальное самосознание выводит свою постройку под этим фундаментом, не обращая никакого внимания на его распланировку. Весь свой материал оно берет из самого себя. То же самое психическое взаимодействие, которое составляет необходимое условие национального сознания, в конце концов послужит для распространения выработанного этим сознанием понятия о самом себе, то есть об отличиях национального типа, обыкновенно в резких, лапидарных чертах. Нечего и говорить, что национальными отличиями оказываются те, которые запечатлеваются как такие в национальном сознании. А так как процесс работы национального сознания везде один и тот же, то и вырабатываемый им продукт, понятие о собственном национальном типе, в главных чертах повсюду более или менее однороден. Помимо частных черт, подсказываемых местными условиями, понятие национального типа везде отражает на себе характер создающей его эпохи.

В самом деле, очень важно отметить, что и эпоха, когда социальное самосознание делает предметом наблюдения собственные национальные черты, приблизительно однородна у самых различных социальных групп. Сознание об особенностях своего типа не бывает отчетливым в период племенной жизни: отчасти, может быть, потому, что социальные группы в этот период слишком дробны и слишком однородны, так как вращаются среди себе подобных групп того же языка. "Сознание рода", конечно, уже существует и в эту эпоху: оно имеется налицо даже и в животных обществах. Но объективное выражение этого сознания не идет в эпоху племенной жизни дальше легенд об едином родоначальнике племени или о братьях — родоначальниках племен, сознающих свою национальную близость. В более сложных формах национальное самосознание развивается тогда, когда начинается территориальное объединение племен, и особенно в тот момент, когда процесс этого объединения сам собой приводит данную национальную группу в столкновение с соседними, несходными с нею. Язык, иногда и физический тип, являются в таком случае основными причинами сознания не-

сходства. Но нужна значительная привычка к отвлеченному мышлению, чтобы привести в связь сознание национальной особенности с этими истинными, вызывающими его причинами. Наиболее легкий и элементарный прием социального мышления состоит в том, что сознание несходства прикрепляется к какому-нибудь более наглядному, но и более внешнему признаку. Племенная религия, расширяющаяся в национальную по мере территориального роста, обыкновенно становится первым таким признаком, на который опирается зарождающееся сознание племенного несходства. К этому религиозному признаку по мере дальнейшего развития социального самосознания приурочиваются и другие. Общественный и политический строй данной группы, ее нравственный облик, наконец, даже ее территория — все это становится под защиту религии в ее местной национальной форме: все это объявляется "святым". И самая эта религиозная окраска национальных отличий, их интеграция в национальном сознании под покровом религии дает устанавливаемому таким образом национальному типу огромную силу распространения. Здесь вступает в свою роль бессознательное подражание, ассимилирующее выработанному типу вновь присоединяемые областные группы. Национальное самосознание является, таким образом, фактором, реализующим свою идею.

Дальнейшая эволюция народного сознания, подобно экономической, политической, религиозной и т.д. эволюциям, находится в зависимости от исторических условий, среди которых протекает жизнь той или другой нации. В самом начале "Очерков" мы признали возможность остановки всех этих эволюций на одной из ранних ступеней, в случае, например, остановки роста населения. Подобную же остановку вполне возможно предположить и в процессе развития общественного самосознания. Все, что задерживает процесс образования национальности и протягивает период войн, неразлучных с таким процессом; все, что препятствует процессу внутреннего расчленения данной национальности на группы, классы, сословия; наконец, все, что мешает быстрому психическому обмену и, следовательно, взаимодействию и борьбе разных общественных взглядов и типов мысли, вызванных этим внутренним расчленением, — все это может приостановить развитие социального сознания на той нижней ступени, до которой оно доходит в период национального объединения и на которой закрепляется неподвижной религиозной санкцией.

Но мы повсюду в "Очерках" имели в виду не этот возможный, конечно, случай остановки эволюционного процесса. Мы имели в виду тот нормальный случай, когда исторические обстоятельства благоприятствуют полному осуществлению эволюционирующей общественной тенденции. Для более полной эволюции общественного самосознания необходимы следующие условия: во-первых, ослабление военной деятельности нации; во-

вторых, известная степень разнообразия интересов внутри нации при достаточной густоте населения, делающей возможным более или менее быстрый психологический обмен между личностями и группами. Сюда присоединяется, в-третьих, условие, не необходимое логически, но обыкновенно сопровождающее два первые: именно известная степень мирного психологического взаимодействия между данной группой и чуждыми ей соседними национальностями. Ближайшее знакомство с чужим национальным типом бывает на практике первым толчком, вызывающим перемены в сложившейся форме национального сознания. Эпоха самовозвеличения сменяется эпохой самокритики. Внимание части общества, наиболее заинтересованной в переменах, обращается от внешней национальной борьбы к внутреннему общественному строю. Так как внешняя борьба за территорию обыкновенно далеко еще не успевает закончиться к тому времени, когда начинается только что описанная смена состояний общественного сознания, и так как другие национальные условия тоже бывают вначале мало благоприятны для распространения нового критического воззрения, то его появление вызывает неминуемо внутренний отпор. Оно ведет к борьбе, более или менее продолжительной, более или менее успешной для разных сторон, смотря по тому, насколько быстро совершается параллельно этой борьбе эволюция общественных условий, влияющих на ее исход. В благоприятном случае неизбежным исходом борьбы бывает более или менее полная перестройка традиционной системы общественных отношений и замена ее системой, основанной на сознательном выборе большинства. "Национальный" тон сознания, конечно, никогда не исчезает при этом вполне. Но он смягчается и уравнивается новыми "общественными" элементами, входящими в общее сознание.

Однако, чтобы осуществить такой благоприятный исход, необходима уже очень значительная степень быстроты и правильности психического взаимодействия между членами данного общества. Язык сам по себе, как средство непосредственной устной передачи, оказывается при этом совершенно недостаточным орудием и требует дополнительных приспособлений и усовершенствований. Первым из них являются периодические собрания для обсуждения политических вопросов, возникающие при сколько-нибудь значительном скоплении людей, то есть по преимуществу в городах, на центральном городском рынке. Нам нет надобности напоминать, как эта архаическая форма древнего политического быта преобразовалась в народное представительство в современных государствах. Однако же, при всем ее развитии, при всей растяжимости в количественном отношении, при всей гибкости относительно содержания обсуждаемых резолюций и принимаемых решений эта форма устного обмена мнений имеет свои границы, за пределами которых она не может служить целям социально-психического взаимодействия.

Она не может обеспечить ни достаточно спокойного, ни достаточно непрерывного обсуждения общедоступных вопросов. Более удобным во всех отношениях орудием психологического взаимодействия является письменная передача мысли путем печати — средство очень древнее в своем происхождении и тем не менее очень юное в том употреблении, которое сделала из него растущая социальная потребность быстрой и точной передачи мысли большому количеству людей. Действительно, пресса есть одно из самых недавних социальных изобретений. Если городская площадь послужила средством для развития критических воззрений в маленьких государствах древности и средних веков, то развитие прессы является средством, по преимуществу характеризующим государства нашего времени. Для создания "общественного мнения" нового времени пресса есть столь же необходимое средство, как язык для национального самосознания всех времен. Разумеется, внутри этого периода возможно дальнейшее совершенствование в очень широких размерах. Целая пропасть отделяет печатные политические памфлеты времен Реформации и Возрождения, с их несовершенными способами распространения, от телеграфа и телефона, от громкоговорителей, от ежедневных столичных газет, сенсационные заголовки которых в оживленные моменты общественной жизни каждые четверть часа делают общественным достоянием очередную новость.

Общие черты только что описанного социального процесса настолько глубоко коренятся в самом существе социальных явлений как таковых, что мы должны встретить их во всяком развивающемся обществе, а следовательно, и в русском. Для читателей, знакомых с первыми двумя томами "Очерков", не будет неожиданным тот двоякий вывод, к которому мы придем в результате предстоящего нам обзора развития русского общественного самосознания. Мы найдем, во-первых, что *качественно*, по существу, ход этого развития ничем не отличается от подобного же процесса в любой стране, где он вообще имел возможность развиться. Во-вторых, мы увидим, что в той форме, в какой процесс этот развивался в России, он представляет *количественные* различия и особенности, вполне совпадающие с теми, которые нам пришлось отметить в предыдущих частях "Очерков" относительно других процессов. В зависимости от этих двух выводов должен стоять и возможный для исследователя социологический прогноз.

План изложения настоящей третьей части "Очерков" непосредственно вытекает из замечаний, только что сделанных нами. Мы различили два момента развития общественного самосознания. В эпоху первоначальной созидательной государственной

работы, не сопровождавшейся высокоразвитым общественным самосознанием, или, как мы условимся называть ее, в *органический период* нашей истории, общественное самосознание развивалось в форме контраста русской национальности с окружающими ее народностями. Это была, другими словами, эпоха создания и усвоения народным самосознанием *националистических¹ идеалов*. Критический элемент проник, правда, уже тогда в русскую общественную среду, как результат того же столкновения с чуждыми национальностями. Но почва для развития общественной самокритики была чересчур неблагоприятна, и критика не пошла дальше самых скромных начатков. Это положение дела совершенно изменилось в новейший период нашей истории. Общественное самосознание в этот период все более обращалось от завоевательных планов внешней политики к проектам внутреннего общественного переустройства. Старые национальные идеалы уступили место в общественном мнении новым, которые подверглись упреку в "космополитизме" со стороны "патриотов" старого времени. Число последних, однако, стало быстро уменьшаться. Таков характер общественно-самосознания в период, который мы условимся называть *критическим*. Между тем и другим периодом лежит промежуточный, характеризующийся смесью признаков того и другого. Завоевательная программа предыдущей эпохи в нем находит свое завершение, и параллельно ее завершению намечается содержание новой программы внутренней политики. В России этот промежуточный период довольно точно укладывается в хронологические рамки XVIII столетия. Этот век так характерно начинается реформами Петра и столь же характерно кончается завоеваниями Екатерины.

Таким образом, история русского общественного самосознания может быть разделена, для удобства изложения, на три отдела: 1) Развитие националистических идеалов органической (завоевательной) эпохи и начало их критики. 2) Переходный период: официальная победа критических элементов над националистическими. 3) Развитие общественного мнения критической эпохи. Через все три периода проходит, как видим, красной нитью постепенное нарастание критического воззрения и соответственное ослабление воззрения националистического. Два первых периода, охватывающих промежуток времени от конца XV в. до конца XVIII в., то есть три столетия русской истории, излагаются в настоящем, третьем томе "Очерков". Третий и последний период — XIX-XX столетия — составляет содержание четвертого тома. Следуя обычному порядку изложе-

¹ Слово "националистический" мы употребляем для означения тенденций, направленных к одностороннему национальному самовозвеличению, сопровождающему обыкновенно период военной экспансии и лишенному элемента самокритики.

ния "Очерков", мы должны бы были с самого начала дать отдельные систематические очерки — сперва процесса, идущего на убыль, то есть кризиса националистической идеологии "органического" периода, затем процесса, развивавшегося на смену старой идеологии и постепенно побеждающего ее, — процесса нарастания критического общественного самосознания (оговорюсь, что принятая мною терминология вовсе не означает, что "критический" период есть только период отрицания и разрушения. Вместе с разрушением старого идет творчество нового). Но при таком изложении утерян бы был характер контраста борющихся течений и ослаблена картина борьбы. Поэтому для двух первых периодов, в которых оба течения переплетаются и непосредственно соприкасаются, причем критическое течение, в процессе своего зарождения, недостаточно выделяется и сосредоточивается в очень немногочисленных кружках, мы приняли систему совместного изложения хода обоих процессов в общих хронологических рамках. В IV томе, посвященном новейшему периоду, мы возвращаемся к обычному, то есть систематическому порядку изложения, так как тут различные политические течения достигают уже значительной степени отдельности, распространенности и — внутри каждого из них — достаточной степени связности и непрерывности. Внутренняя филиация идей там преобладает над взаимными конфликтами, а общий ход борьбы достаточно известен из общих сочинений².

Переходя к изложению первого периода борьбы националистических и критических элементов, мы прежде всего должны объяснить, почему мы начинаем это изложение только с конца XV в. По этому поводу нам делались возражения уже после выхода в свет первых изданий "Очерков". Наш ответ на эту критику и является вместе с тем ответом на поставленный вопрос. Читатель увидит, что возражения нам были сделаны с точек зрения, которые мы считаем устарелыми по существу и не выдерживающими фактической проверки.

Дело в том, что не так давно еще господствовало воззрение, по которому история *творилась* общественным сознанием или "народным духом". В приложении к русской истории этот взгляд был развит в целую систему. Русское общественное сознание, как первый двигатель исторического процесса, было наделено определенным содержанием соответственно общественным идеалам самих систематиков. Первым продуктом общественного сознания, идеализированного таким образом, представ-

² Опыт такого изложения уже сделан автором для иностранных читателей в его работе "Russia and its crisis" (Chicago, 1905, и франц. пер. "La crise Russe, trad. Marie Petite, Librairie Nouvelle. Paris, 1907).

ляется вечевой порядок домонгольской Руси. Дальнейший ход русской истории являлся с этой точки зрения отклонением от прежнего нормального хода. Вина за это отклонение падала на создателей нового порядка, московских князей-собирателей. Их варварские политические приемы объяснялись влиянием духа Византии и Золотой Орды, чуждого русской национальности. Но в конце концов русский народный дух должен был восторжествовать над иноземными влияниями. "Живучесть" вечевых начал, свойственных народному самосознанию Древней Руси, доказывалась новгородскими порядками и московскими земскими соборами.

Прежние противники этого исторического построения стояли на одинаковой теоретической почве с его защитниками. Они тоже верили, что народное самосознание творит историю, и тоже влагали в это самосознание свой собственный идеал. Но так как этот идеал был самодержавный — прямо противоположный "вечевому", то там, где сторонники вечевого уклада видели норму, их оппоненты видели отклонение, и наоборот. Московские порядки были их идеалом и, следовательно, должны были быть идеалом народного самосознания. В наиболее чистом виде народный дух должен был проявляться, следовательно, не в удельно-вечевой Руси, а в Московском государстве.

Естественно, что на такой почве полемика между сторонниками того и другого взгляда сводилась к защите соответственного общественного идеала. Установить преимущество вечевого идеала с порядками Киевской Руси или самодержавного начала с порядками Московской Руси значило уже дать своему идеалу историческое освящение.

Так и должно было быть, пока общественный идеал выводился из абсолютного и неизменного народного самосознания, проявления которого искали в истории. Но современный исследователь не может больше верить в эту абсолютность и неизменность. Общественное самосознание для него нечто изменяющееся соответственно изменениям общественного порядка. Поскольку закономерны эти последние изменения, постольку мы можем искать закономерности и в развитии общественного самосознания. Но наперед мы можем утверждать одно — именно самый факт изменчивости или развития, и отрицать одно — именно то, что какая бы то ни было из стадий этого развития может считаться "нормой" для всех других стадий.

Мы не верим более ни в какие исторические санкции и ищем оправдания того или другого современного общественного идеала исключительно в его соответствии потребностям настоящего и будущего. Его тождество с идеалами прошлого может только доказывать отсутствие такого соответствия и свидетельствовать о его отвлеченности, нежизненности.

Нам могут заметить, что все это слишком азбучные истины и что с устаревшим историческим мировоззрением, о котором

только что шла речь, уже нет надобности сражаться в наше время. Действительно, едва ли найдутся теперь защитники этого мировоззрения в его старой, цельной форме. Но привычки мысли сильны; они часто переживают создавшее их мировоззрение. И в данном случае нам пришлось выслушать отдаленные отголоски критикуемого мировоззрения по поводу самых "Очерков". Нас упрекали, в очень осторожной и сдержанной форме, в сущности, в том, что мы слишком игнорируем "традиции" удельно-вечевого периода и преувеличиваем фатальную неизбежность порядков московского государства. Теперь будет своевременно ответить на оба эти чрезвычайно характерные возражения.

Нам говорят, во-первых, следующее: "Москва, в смысле совокупности известных государственных учреждений, сложилась не на пустом месте. Государственный порядок, предшествовавший ее появлению, вовсе не ограничивался, в сущности, пределами южнорусских земель, но распространялся и на северо-восток, и борьба с этим порядком Москвы, возникшей на его развалинах, оставила слишком глубокие следы в дальнейшем ходе истории, чтобы можно было совсем обойти ее. Удельный период... с его вечевыми собраниями и вольными слугами князей, передал московской эпохе и некоторые традиции, и некоторые учреждения, причем кое-какие из них оказались довольно живучими".

Этот ряд положений, действительно, мало гармонирует с нашими собственными представлениями о ходе истории на русском северо-востоке. Начинать с пустого места наше общее мировоззрение, конечно, еще менее позволяет, чем какое бы то ни было другое. Но начинать с отождествления порядков, господствовавших на северо-востоке в домосковский период, с порядками южной Руси мы бы не решились: такое начало, как сейчас увидим, скорее всего, и привело бы к построению московской истории на "пустом месте". Различие всего социального строя северо-востока и юга России, нам казалось, достаточно ярко указано нашими предшественниками; вот почему мы и сочли возможным ограничиться простой ссылкой на то, что на северо-востоке "были совсем другие условия исторического развития", чем на юге. Исходя из этих специально свойственных северо-востоку условий общественной жизни, мы не видим в них и такого противоречия с позднейшими московскими порядками, как это склонен представлять себе наш оппонент. Для него эти порядки возникают как прямое отрицание старых, как продукт "борьбы" на их "развалинах". Для нас это скорее продукт простого развития старых порядков северо-восточной Руси при изменившихся условиях времени. "Глубокие следы" этих старых порядков в первом периоде существования московского княжества мы вполне согласны были бы признать, но ведь оппонент требует от нас другого. Своих "глубоких следов в даль-

нейшем ходе истории” он, очевидно, ищет среди ”развалин”, он видит их в тех ”некоторых традициях и некоторых учреждениях”, которые удельный период ”передал московской эпохе” в противоречие ее основным чертам. Сюда, как видно из его дальнейшей фразы, он готов причислить вече, боярскую думу и земские соборы. О последних двух у нас будет речь: предваряя наше изложение, мы скажем только здесь, что смотрим на эти учреждения как на совершенно новые, созданные текущими потребностями, а не завещанные ”традициями” удельного периода. Что касается веча — по существу эта форма отжила свой век с появлением на Руси единого национального государства. Тут, вероятно, мы всего более разойдемся с мировоззрением нашего оппонента. По его мнению, по-видимому, известное состояние общественного самосознания может быть завещано как ”традиция” — и притом ”живучая” — от одного общественного строя другому, совершенно несходному с первым. Наше же мнение заключается в том, что каждый общественный строй создает свое общественное самосознание, совершенно от него неотделимое и вместе с ним изменяющееся.

Нет нужды отрицать, что в южнорусском городе древнего периода, с его значительным скоплением населения, с его живостью торговых сношений, создалось то, что обыкновенно создается при этих условиях в городских общинах: известная степень быстроты и правильности психического взаимодействия и, как результат, сравнительно высокая степень общественного самосознания. Нельзя отрицать, что и севернорусский город не вовсе лишен был этих преимуществ. Но, как элемент политической власти, это специфически городское самосознание оказалось недостаточно сильным даже тогда, когда городская община имела еще возможность явиться центром соответственной государственной единицы. Естественно, что, когда начался период выработки более сложного государственного единства, городская община уже вовсе не могла фигурировать как руководящий политический фактор. И те общественно-критические элементы, которые свойственны были городской общине, не могли непосредственно перейти к вновь слагавшейся высшей общественной группе. В этой последней было, как увидим, свое общественное самосознание, ей свойственны были и свои элементы общественной критики. Но они имели очень мало общего и по формам, и даже по материалу с общественным самосознанием городской общины, отодвинутой на задний план общим ходом социальной эволюции.

Теперь нам предстоит обсудить возражения, высказанные по поводу изображения в ”Очерках” самого этого общего хода. Главное обвинение, как мы говорили, заключается тут в том, что процесс социальной эволюции изображен у нас чересчур фаталистично. Не будучи специалистом по русской истории, второй наш оппонент опирается в этом отношении на Костомарова;

но свои возражения он формулирует во имя новейших требований социологии, так что с ним мы можем говорить его языком.

Наш второй оппонент ставит своей задачей доказать, что автор "Очерков" бессознательно, так сказать, *malgré lui*, является последователем теории экономического материализма. Он обвиняет эту теорию в излишнем "объективизме", доказывает неубодства такого объективизма и противопоставляет ему учение "субъективной школы", *как он его понимает*. "Нам кажется ошибочным сведение учения субъективной школы к желанию поставить психические явления вне и выше материальных условий, — говорит он. — Центр тяжести вопроса заключается вовсе не в этом, а в признании или непризнании в числе необходимых элементов исторического процесса области субъективных стремлений и целой системы традиций, верований, чувств и идей, без сомнения обусловленных в своем происхождении внешними причинами, но развивающихся сообразно своим внутренним законам и *действующих на исторической сцене в качестве общественных сил*. Объективная школа не отрицает, конечно, самого присутствия человека с его субъективными ощущениями на исторической сцене, но она приписывает ему чисто передаточную роль. Все содержание какого-либо переворота или изменения в общественных отношениях уже заключено, по учению этой школы, в тех или других внешних, объективных причинах: условиях производства, географической среды или соседства хищных народов, и необходимость этого изменения уже предустановлена объективной причиной; человек же или, вернее сказать, общество является лишь исполнителем этих предначертаний. По учению же субъективной школы, как мы понимаем его, чтобы объяснить какое бы то ни было сложное общественное явление, *необходимо предположить наличие дифференцированной психической области, в которой под влиянием внешних причин и материальных условий, а также и под влиянием психических воздействий развиваются общественные силы, устанавливающие и поддерживающие известные общественные отношения. Историческая необходимость этих отношений лежит не в самых внешних причинах, а в вызванных ими и данным состоянием общественной психики общественных силах. Отсюда гораздо более относительный характер этой необходимости, меньшая обусловленность общественных отношений причинами, не подлежащими воздействию человека; отсюда возможность государственных реформ и общественной деятельности*".

Мы не могли отказать себе в удовольствии сделать эту длинную выписку, так как новый "центр тяжести" учений "субъективной школы" в формулировке нашего оппонента значительно приближается к центру тяжести наших собственных мыслей. Может быть, в самом деле окажется возможность слить оба центра воедино. Оставим для упрощения спора в сто-

роне вопрос о том, следует ли подводить воззрения автора "Очерков" и его оппонента под ярлыки той или другой школы, и будем беседовать по существу. По существу, следовательно, автор не ставит психические явления "вне и выше материальных условий"; "система традиций, верований, чувств и идей", по его словам, "без сомнения, обусловлена в своем происхождении внешними причинами". Но в сколько-нибудь "сложном общественном явлении" "психическая область" является уже "дифференцированной" и в свою очередь может "действовать на исторической сцене в качестве общественных сил". Это влияние "общественной психики", "развивающейся сообразно своим внутренним законам", идет, однако, об руку с влиянием "внешних причин и материальных воздействий". Вся разница с противоположным воззрением та, что, тогда как оно объясняет "необходимость" "какого-либо переворота" "теми или другими внешними, объективными причинами", а за "человеком или, вернее сказать, обществом" оставляет лишь "чисто передаточную роль" "исполнителя предначертаний", "предустановленных объективными причинами", воззрение, защищаемое нашим оппонентом, напротив, видит "историческую необходимость" не в этих "внешних причинах", а в "вызванных ими общественных силах". Действие этих общественных сил сокращает район "обусловленности общественных отношений причинами, не подлежащими воздействию человека"; оно придает, таким образом, "гораздо более относительный характер этой необходимости", открывая "возможность государственных реформ и общественной деятельности".

Мы спросим нашего оппонента: как же понимает критикуемое им воззрение "передаточную роль" человеческой психики, если не в форме "государственных реформ и общественной деятельности"? Это "исполнение предначертаний", предустановленных *внешними* причинами, представляет ли такую скромную и тесную роль, как это кажется теоретику "общественных сил"? И с другой стороны, в самом развитии "общественных сил" нет ли своих "внутренних законов", хотя и не выходящих за пределы "психики", но тем не менее тоже "не подлежащих воздействию человека"? Другими словами, мы утверждаем, что "передаточная роль" общественной психики вовсе не так пассивна и бессознательна, а деятельность общественных "сил" вовсе не так автономна, как это допускает наш критик. Расширив сознательный элемент психики и ослабив активный характер "сил", мы пришли бы к довольно сходному пониманию роли "общественной психики" в историческом процессе. Мы вовсе не отрицаем этой роли, как это видно из наших неоднократных заявлений.

Вся относительность и условность принципиальных возражений критика видна будет еще яснее на том историческом примере, который вызвал эти возражения, — именно на объяс-

нении происхождения Московского государства. Мы утверждаем в "Очерках", что Московское государство явилось продуктом чересчур высоких государственных требований, предъявленных к чересчур неразвитому экономически населению. Подозревающий нас в тайной склонности к экономическому материализму критик, во-первых, сводит это объяснение к "чисто внешним и материальным причинам", а во-вторых, показывает нам теоретическую несостоятельность так понятого объяснения. "Высокие государственные требования, — рассуждает он, — вызваны, по мнению автора "Очерков", необходимостью бороться с соседями, то есть чисто внешней причиной". "Медленный ход экономического развития Древней Руси объясняется ее суровым климатом, то есть самую объективную из объективных причин". Но когда "историческое явление связывается отношением необходимости с внешними объективными причинами, то *этим самым область психических явлений устраняется* из числа составных элементов исторического процесса: так как все главные поворотные пункты последнего предостановлены объективными факторами, то для психических общественных сил не остается места в истории. Их существование, конечно, не отрицается и не может быть отрицаемо историками объективной школы, но они не играют никакой роли в их исторических построениях". Мы видели, что "роль психических сил остается еще очень большая и при полном признании роли "объективных факторов". Но последуем далее за развитием мысли критика. Итак, "область психических явлений" устраняется... и этим создается положение, невозможность которого очень остроумно доказывается критиком. Психология устраняется, но *целесообразность* возникновения Московского государства продолжает признаваться, помимо *закономерности*. Итак, это выходит: целесообразность природы — объективная целесообразность, то есть вопреки основному принципу "объективной школы" — чистейшая теология. "Только всемогущее государство могло успешно бороться с набегами крымских, ногайских и казанских татар, окружавших Россию в XIV в., а также и с надвигавшеюся с Запада Литвою, *поэтому* и создалась в России всемогущая государственная власть; так как это было необходимо для русского общества, то это и *должно* было *случиться*. Цель была поставлена ясно; потребность в ее достижении была неотложна, и история удовлетворила этой потребности. Отсюда тот историко-философский вывод, что все необходимое для независимого существования народа осуществляется в его истории в наиболее целесообразной форме". Критик, конечно, протестует против такого вывода, и мы протестуем вместе с ним. "Не все то совершается в истории, что необходимо для сохранения независимости данного народа". Без сомнения, не все. И лучшее доказательство этого то, что история знает множество народов, не сохранивших своей независимости. Но мы опять предложим критику

вопросы: не признает ли он, во-первых, что сохранить свою независимость все-таки стремятся все народы и, во-вторых, что сохранение независимости *данного* народа доказывает само по себе, что все "необходимое для сохранения" его было "совершенно"?

Отвечая на первый вопрос, критик, вероятно, признает внутреннюю тенденцию самосохранения свойственной всем общественным группам. Ответ на второй вопрос труднее, потому что тут предстоит разрешить то, что и составляет самый узел спора. Совершенно ли это "необходимое для народного самосохранения" слепой игрой сил природы или сознательным общественным поведением? И эти "силы природы" следует ли представлять себе как совершенно случайную комбинацию "внешних" факторов или как стихийный процесс развития внутренней тенденции? Создается ли государство по образцу того, как сорвавшийся камень убивает случайного прохожего, или как дерево вырастает из семени, или как техник строит машину? Другими словами, надо ли объяснять происхождение государства механически, органически или психологически? Наш критик заставляет нас строить объяснение по первому способу и справедливо удивляется, как в таком случае можно говорить о какой-либо целесообразности. Он менее удивлялся бы, если бы, признав существование внутренней тенденции политической эволюции, заставил нас понимать ее осуществление по второму способу. Целесообразность органического процесса — вещь не столь нелепая и бессмысленная, чтобы отвергать ее без всяких оговорок и пояснений. Но, во всяком случае, это не та целесообразность, какую мы привыкли видеть в сознательном волевом процессе, то есть которую необходимо допустить при объяснении происхождения государства по третьему способу. Такое объяснение необходимо сведется к теории свободного договора. Наш критик, естественно, не предполагает возможности объяснить происхождение Московского государства и этим путем. "Трудно допустить, — говорит он, — чтобы общественное сознание играло большую роль в установлении такой формы государственной власти, в основе которой лежало подавление (мы скажем бы, *власть*) этого сознания". И естественно, критик находит невозможным понять наши объяснения "в том смысле, что русское общество XIV-XV вв., проникнутое сознанием неотложной потребности во внешней защите, облекло для этого свое правительство неограниченными полномочиями и создало соответственный государственный строй".

Но является вопрос: действительно ли для того, чтобы доказать целесообразность возникновения известного общественного строя, необходимо предположить его *договорное* происхождение? Целесообразность в данном случае предполагает сознательность. Но необходимо ли допустить такую именно степень сознательности, как требует критик? Почему "сознание неот-

ложной потребности во внешней защите" должно было проникнуть во все "русское общество", чтобы могли быть приняты соответственные более или менее целесообразные меры? И нужно ли было правительству, удовлетворившему такой "неотложной потребности", дожидаться, чтобы общество "облекло его для этого неограниченными полномочиями"?

Мы напомним читателю наше объяснение, вызвавшее все эти сомнения нашего оппонента. "Надо было защищать собственное существование, следовательно, надо было найти для этого средства. Для *этого* надо было вызвать их, создать, если их не оказывалось налицо; для этого приходилось, хотя бы искусственно, развивать общественную самодеятельность. Таким образом, благодаря настоятельным государственным потребностям, и создано было всемогущее государство на самой скудной материальной основе; вследствие самой этой скудности оно должно было напрягать все силы своего населения, а чтобы распоряжаться всеми силами его, оно и должно было сделаться всемогущим".

Объяснение, действительно, "телеологическое". Но, как видно из предыдущих объяснений, за этой "телеологией" не скрывается в данном случае никакой метафизики, и она не предполагает никакого общественного договора. Понятое буквально так, как было написано, это объяснение предполагает только, что нашлось достаточно сознательности среди русских представителей власти XV в., чтобы приспособить и даже форсировать наличные средства страны в видах заразы и собственно, и общественного самосохранения.

Таково и было, действительно, наше предположение. Мы никогда не исключали "общественной психики" из нашего объяснения и нисколько не отождествляли ее с "общественным договором". Мы просто искали ее не там, где ищет критик, и допускали ее присутствие в иной форме, чем готов допустить он. Он считает носителями этой "общественной психики" не совсем ясно определяемые им "общественные силы", созданные, по-видимому, и в его мнении стихийным процессом и действовавшие неизвестно с какой степенью активности и сознательности. И для нас "общественные силы" данной эпохи, в смысле более или менее ясно сознаваемых интересов общественных групп и единиц, составляют необходимую предпосылку нашего объяснения. Но мы указываем, как наличное состояние "общественных сил" при данных условиях выразилось в действиях власти как наиболее сознательного тогда выразителя коллективного общественного сознания. Может быть, это-то наше положение критик и будет продолжать оспаривать. Но для этого он должен определеннее, чем до сих пор, указать, в каких других формах, какими другими "общественными силами" это коллективное сознание выражалось помимо тогдашних представителей власти. Отчасти это последнее требование выполним и мы сами,

когда пойдет речь об элементах критики только что создавшегося тогда национального идеала. Но мы увидим при этом, как уже было сказано раньше, что это критическое общественное сознание возникло на той же почве, как и критикуемый им общественный идеал, то есть *на почве только что сложившегося общественного строя*. Идеал и критика его были одинаково продуктами того "как бы стихийного процесса", которым "совершались события" этой эпохи, по собственному признанию критика.

Мы позволили себе вдаваться в эту длинную полемику исключительно потому, что она не только не удаляет нас, а, напротив, открывает нам путь к предмету наших бесед в третьей части "Очерков".

Русское национальное самосознание могло развиваться лишь на почве политического объединения русской национальности. Ни самосознание, ни критика его не могли предшествовать факту, к которому относились. Но, конечно, характер того и другого определялся теми условиями, при которых совершалось русское национальное объединение. *Особенность* этих условий, скорее чем *необходимость* самого процесса, мы и хотели подчеркнуть нашим объяснением. Необходимость процесса политической эволюции мы при этом предполагали как само собой разумеющуюся. Необходимость процесса не есть еще, конечно, необходимость результата, так как результат является уже продуктом условий, среди которых развивается процесс. Среди этих условий есть такие, которые продолжают нам казаться более необходимыми, *менее случайными*, чем это, по-видимому, кажется нашему критику. Это именно, прежде всего, роль внешней опасности при образовании государства. Дело в том, что хотя опасность этого рода и *внешняя*, хотя можно представить себе отвлеченную возможность создания государства исключительно внутренним процессом, тем не менее в действительности этот внешний фактор так же распространен, как зародыш всевозможных болезней в окружающей атмосфере. Стало быть, действительный процесс политической эволюции всегда и везде совершался при наличии этого фактора, внешней опасности, воздействовавшего на внутреннюю эволюцию власти. *Случайно*, то есть свойственно именно данной истории не то, что внешняя опасность была налицо и действовала как внешний фактор образования государства, а то, что *действие этого фактора* совпало с данной, а не с какой-либо другой степенью развития внутренних "общественных сил". Эти "силы" не игнорируются, а, напротив, входят необходимым элементом в наше объяснение. Разница только в том, по-видимому, что критик оценивает политическое значение этих сил иначе, нежели мы. Он говорит, как мы видели, об их "подавлении" там, где мы предпочли бы говорить о их "слабости". Последнюю, однако, он тоже местами признает. "В том фазисе об-

щественной эволюции, — замечает он вполне справедливо, — о котором идет речь в рассмотренных нами исторических объяснениях автора "Очерков", роль общественного самосознания была *чрезвычайно слаба* и события совершались как бы стихийным процессом; но роль *чисто субъективных интересов и стремлений главных исторических деятелей* той эпохи была тем не менее очень значительна. Говоря о субъективных факторах истории, — оговаривается критик, — мы вовсе не имеем в виду исключительно целесообразной общественной деятельности или влияния высоких идей; мы говорим лишь о том *сравнительном просторе, который предоставляется историей субъективному фактору* в силу самой природы общественных явлений".

И мы признаем этот "сравнительный простор", как видно из предисловия к первой части "Очерков". Оттуда же видно, что степень этого простора мы определяем различно, судя по тому, идут ли "чисто субъективные интересы и стремления главных исторических деятелей" вразрез или, наоборот, в одном направлении с внутренней тенденцией данного процесса. И, прилагая эту мерку к оценке "сравнительного простора" действий исторических деятелей эпохи возникновения московского государства, мы, может быть, близко сойдемся с суждениями о том же предмете нашего оппонента. Раньше мы показали уже, почему наше суждение о целесообразности русской политической эволюции нельзя толковать ни в смысле "предустановленной целесообразности самого исторического процесса", ни в смысле "сознательного установления русским обществом XIV в. самодержавного государственного строя". Сделаем оговорку: все наши суждения о "целесообразности" относятся не к XIV, а к концу XV в. Мы вполне согласны с мнением оппонента, что "московское самодержавие было подготовлено длинным процессом, в основе которого лежала не общая идея о необходимости сильного государства, а частные, своекорыстные стремления враждовавших между собой князей" и что "сами московские великие князья могли ставить общегосударственные задачи своей политики только после того, как в их руках скопились достаточные для того силы". Мы безусловно признаем, что начало процесса было вполне стихийным или, если угодно, лежало в области "чисто субъективных интересов и стремлений" соперничавших между собой представителей власти. Общественный результат этого соперничества — возникновение более сложной политической организации — находился, несомненно, вне сферы их личного сознания. Это не мешает нам, однако, ни в процессе борьбы, ни в его результате не видеть ничего случайного. Мы считаем то и другое проявлением внутренней тенденции, необходимо присущей процессу политической эволюции везде, где этот процесс имеет возможность совершиться. Мы не отрицаем ни "субъективных стремлений", ни "страстей", развив-

шихся "в этой смутной, тяжелой и часто трагической истории" образования русского государства. Но так как мы ищем в данном случае социологической истины, а не нравственного наиздания, то совершенно естественно, что мы обратили все свое внимание не на элементы "трагизма", несомненно существовавшие, а на элементы "строгой общественной необходимости".

Постепенное развитие сознательности по мере развития процесса также входит в число необходимых элементов социального развития.носителем этого сознания, определяющим и его первоначальный характер, является, конечно, не вся народная масса, "общественное самосознание" которой, по верному замечанию критика, было тогда еще "чрезвычайно слабо". Этими носителями являются "главнейшие исторические деятели той эпохи", то есть представители власти и их советники. Мы совершенно согласны с нашим оппонентом, что роль этих деятелей "была очень значительной", тогда как "роль общественного самосознания была", напротив, "чрезвычайно слаба". Но "значительность" роли современных деятелей мы объясняем не столько тем "сравнительным простором, который предоставляется историей субъективному фактору" как таковому, сколько той *целесообразностью* их действий, то есть соответствием их условиям данной эпохи, которое только и могло обеспечить этим действиям "сравнительный простор"³.

Теперь должно сделаться уже вполне ясно, почему непрерывную историю русского национального самосознания следует начинать не с элементов самосознания и критики, присущих "удельно-вечевому" периоду русской истории, а с конца XV в., то есть с момента, к которому, по признанию нашего второго оппонента, эти старые элементы совершенно переродились. В этом признании второй наш критик отличается от первого, который склонен признавать "некоторые" старые элементы, на-

³ Извиняемся перед нашим вторым оппонентом, что оставляем без подробного разбора те его возражения, обсуждение которых отвлекло бы нас от главной нашей настоящей беседы. Заметим только, что напрасно критик хочет и в этих других возражениях выставить нас безусловным сторонником теории экономического материализма, вопреки нашему собственному заявлению. Политического элемента в социальном развитии мы нисколько не отрицаем, но, действительно, в примерах, приводимых автором, самую степень активности этого политического элемента мы ставим в зависимость от степени экономического развития. Земледельческий труд получает "принудительную организацию" по преимуществу там, где плоды его могут быть поделены с "организаторами", то есть в случае известной степени доходности его. Вот почему, вопреки мнению оппонента, мы продолжаем думать, что не потому экономическое развитие Древней Руси было низко, что не нашлось организаторов труда из среды завоевателей-иноплемеников, представителей "благородного" сословия, а потому этого сословия благородных завоевателей не оказалось на Руси, что экономическое развитие было низко. Резкого разделения между обоими факторами, конечно, проводить нельзя, потому что необходимо допустить известную степень взаимодействия между ними.

против, живучими и оставившими глубокий след в последующей истории. Но и со вторым критиком, с которым мы соглашаемся в том, что элементов удельно-вечного периода в их прежнем виде более уже не было налицо, мы расходимся в объяснении того, почему их не было. Следуя Костомарову, он всю вину возлагает здесь на татарское иго и на произведенный им переворот в состоянии "общественных сил". Мы же вместе со старой московской исторической школой готовы искать причину глубже и дальше в особенностях социального строя русского северо-востока, как этот строй сложился уже в дотатарскую эпоху.

Изложенный здесь взгляд на происхождение национальности и на отношение национальности к расе должен считаться окончательно установленным в науке. Более подробное развитие его со ссылками на источники см. в моей книге, *Национальный вопрос (происхождение национальности и национальные вопросы в России)* (Библиограф. изд-ва "Свободная Россия", 1925). Основной работой во время составления этой части введения была для меня свободная работа: William Z. Ripley, *The races in Europa*, a sociological study, Lowell Institute Lectures (N.Y., Appleton, 1899), и классическая книга Фридриха Ратцеля *Anthropogeographie*, два тома (Stuttgart, 1882-1891). С тех пор литература эта чрезвычайно разрослась: ссылки на нее см. в названной моей работе. Новые сводные работы в серии L'evolution de l'humanité, La terre et l'evolution humaine, introduction géographique à l'histoire par Lucien Lefébvre и Les races et l'histoire, introduction ethnologique à l'histoire par Eugène Pittard представляют некоторую реакцию по отношению к трансформистским взглядам; но и они принуждены признать важнейшие выводы, о которых идет речь в тексте. Интересна резюмирующая работа нескольких немецких ученых, напечатанная в Jahrbuch für Sociologie hg. Von Prof. Gottfr. Salomon как Erster Ergänzungsband под заглавием *Nation und Nationalität Beiträge von F. Herz, (Wien), S.R. Steinmetz (Amsterdam), G. Roggenstein (Berlin), E.V. Karman (Budapest, 1927); Verl. Braun in Karlsruhe.* Сопоставленные нами мнения социологов о характере социальных явлений см. в сочинениях: Габр. Тард, *Законы подражания* (СПб., 1892), Гиддингс, *Основания социологии* (СПб., 1893), Штаммлер, *Хозяйство и право* (СПб., 1907), Гумплович, *Основы социологии* (СПб., 1899). Замечания Тарда на Гиддингса перепечатаны в его *Studes de psychologie sociale*, Bibl. Sociol. Intern., XIV (1898). Мнение, что реальным носителем общественного сознания является индивидуум, высказано Тардом. Противоположное мнение об объективном существовании общественной традиции старался доказать Дюркгейм в *Правилах социологического метода*. См. возражение Гиддингса в цитированном сочинении. Социологическое учение об эволюции общественного сознания с различением в этой эволюции "эпохи образования национальности" и "эпохи критики" особенно обстоятельно развито по следам Конта и Спенсера в сочинении В.Беджота *Естественное и политическое*, Междунар. библиотечка изд. журнала "Знание", № 1 (СПб., 1874). Отсюда это деление перешло к Гиддингсу, сочинение которого я особенно рекомендую читателю ввиду умения этого автора связать в стройное целое крупицы истины, рассеянные в различных социологических доктринах. Из произведений "б.ихевиористов" переведено по-русски сочинение Мак Доугалла, *Основные проблемы социологической психологии* (М., 1916). Из русских исследователей на этой точке зрения стоят Бехтерев в многословной и нескритической работе *Общие осно-*

вы рефлексологии, где восходит к толчку, данному научными работами проф. Павлова, см. его сборник "Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных" (Москва-Петроград, Госиздат, 1923) и Питирим Сорокин, *Система социологии. Социальная аналитика*, Тт. I и II (Петроград, изд. "Колос", 1920). Часть 1-я этой работы появилась также в сильно сокращенном виде в Праге в 1924. Из американских произведений этого специфически американского направления отметим другое сочинение Мак Доугалля, *An introduction to social psychology*, fifth edition (Boston, 1916); Albert Paul Weiss, *A theoretical basis of human behaviour* (Columbus, Ohio, 1925). Там же подробная библиография бихевиоризма. Критические отзывы на "Очерки", разобранные в конце *Введения*, принадлежат В.А. Мякотину, Русское богатство, № 10 (1896), и г. П.Б. *Несколько замечаний об Очерках по истории русской культуры г. Миллюкова*, Русское богатство, № 8 (1898).

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭПОХИ И ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ИХ КРИТИКИ (XV-XVII века)

I

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Общий характер исторического перелома в конце XV века. Житейские элементы новой московской программы. Традиция скопидомства. — Традиция "единства", превратившаяся в традицию "объединения". — Традиция религиозного единства и ее отношение к идее национального объединения. — Религия как средство в руках московской политики. — Идеологические элементы московской программы и их общий источник. — Идея крестового похода против турок как главная причина интереса Европы конца XV в. к России. — Левантинцы: итальянцы и греки как посредники при первых сношениях. — Женитьба на Софье Палеолог как первый результат сношений. — Политические последствия брака и первых сношений с европейскими государями. — Неудачные попытки ввести Ивана III в международную иерархию государей. — Быстрый рост и практический успех идеи "панрусизма". — Теория и действительность "борьбы с исламом". — Дальнейшее развитие московской политической идеологии при помощи южных славян. — Национальное самосознание как продукт истории южных славян. — Его формулировка в соответственной политической идеологии. — Перенесение этой идеологии на Москву. — Славянские литераторы (Киприан, Пахомий) овладевают русскими национальными темами. — Московский князь рисуется в чертах славянского "царя и самодержца". — Москва становится "новым Царьградом". — Пропаганда новых идей русскими писателями (Филофей). — Связь славянских идей с русской идеей "панрусизма"¹ при помощи легенды об историческом преемстве власти от Византии.

Последние двадцать лет XV в. в русской истории отличаются целым рядом нововведений, резко отделяющих их от всего предыдущего времени. Русская политическая жизнь круто поворачивает на новую дорогу. Вместо нескольких великих княжеств, дробящихся на множество мелких уделов, мы встречаем компактную массу московских владений, почти уже поглотивших все земли своих крупных и мелких соседей. Вместо прежнего великого князя, договаривающегося и воюющего с этими ближайшими соседями, мы видим "государя всея Руси". Он за-

¹ Так в авторском тексте.

ботится не о мелких прикупках и "примыслах", а об окончательном объединении под своей властью всей русской народности. И для достижения этой цели он не хлопочет больше о том, чтобы подкупить ханских советников и как-нибудь выклянчить у хана ярлык. Он теперь сам "царь", не хуже ордынского, и "самодержец", не нуждающийся ни в какой чужеземной санкции своей власти. Его дипломаты во что бы то ни стало хотят быть на равной ноге не только с правительством Венецианской республики, но и с самим цесарем римским. Словом, на почве стихийных успехов, достигнутых "прародителями", московский государь вырабатывает широкую программу политики, которой сознательно и твердо придерживается с этих пор его правительство и его потомки. И — что нас особенно интересует здесь — в этой программе текущие государственные задачи впервые получают более или менее отвлеченную идеологическую формулировку. Политическая идеология московской государственной программы скоро становится достоянием "народного сознания" и надолго переживает создавшую ее историческую обстановку. Вот почему нам предстоит с особым вниманием отнестись к этой программе и тщательно выделить в ней элементы житейские и элементы идеологические.

Заранее можно сказать, что именно последние, то есть идеологические элементы, и составляют то новое, что дает особую, бросающуюся в глаза окраску всему периоду, в течение которого осуществляется новая программа. Напротив, элементы, непосредственно вытекающие из потребностей текущей жизни, связывают московскую действительность с прошлым, составляя лишь прямой и логический результат медленной, стихийной работы предыдущих поколений. Попытаемся же анализировать и те и другие составные элементы московской политической программы.

В только что упомянутой "стихийной работе" прародителей московского самодержца, без сомнения, была своя сознательность и своя традиция. Еще сын Калиты, Симеон Гордый, вполне отчетливо подчеркивает эту традицию, кончая свое духовное завещание (1353) такими выражениями: "А пишу вам это слово того ради, чтоб не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла". Симеон мог быть спокоен. Свеча, зажженная Калитой, не гасла, а разгоралась ярким пламенем при его сыновьях, внуках, правнуках и праправнуках. Первый русский самодержец стоял на плечах пяти поколений и потому видел так далеко и широко. Но верно, однако ж, и то, что его предкам никогда и не снились такие широкие перспективы. Прикупая и "примышляя" деревню к деревне, волость к волости, копя в своей казне золото и серебро, ожерелья и мониста, кожухи, червленые жемчужные пояса "с камнем", обсчитывая татар на дани и насильничая над "своей братией", князьями, — эти "прародители" не шли в своих политических мечтах

дальше смутной надежды, что придет когда-нибудь время и "Бог освободит их от Орды". Если бы спросить их, что они будут делать с своей свободой, они, вероятно, не смогли бы развить никакой иной программы, кроме все той же старой, привычной, ставшей инстинктом: еще больше примышлять и копить, обманывать и насильничать — с единственной целью добиться как можно больше власти и как можно больше денег. Таким образом, традиция "скопидомства" была самой коренной, самой натуральной и наименее идеологической из всех традиций московской великокняжеской семьи.

Самая необходимость борьбы с татарами намечала, правда, иные, более отвлеченные цели; но они едва ли отчетливо сознавались, тем более, что отчасти противоречили очередным задачам практической политики. В том самом завещании Симеона, непосредственно перед цитированными словами, находятся советы хотя и традиционные, но сохранявшие тогда очень реальный смысл. "Как отец мой приказал вам жить заодно, так и я вам приказываю; лихих людей не слушайте, а если кто вас будет скорить, слушайте отца нашего, владыки Алексея". Действительно, необходимость быть "за один" была особенно осязательна ввиду перспективы борьбы с татарами. Но такое единство могло быть достигнуто на практике лишь ценой уничтожения одним из соперников всех прочих. Таким образом, в устах счастливого победителя эта мораль "прародителей" должна была по необходимости принять другую форму. Быть "за один" — ему больше не нужно было; но он твердо запомнил, что не надо делиться с другими. Старорусская, шедшая еще с киевского юга традиция "единства" превратилась в силу обстоятельств в традицию "объединения". Не единение князей-родичей, а единство власти в руках одного "господаря" — таков был практический урок, вынесенный московским князем как раз из бесплодности прадедовской морали. Как отчетливо и сознательно усвоил себе Иван III этот урок, мы знаем, по счастливой случайности, из его собственных выражений. Весть о том, что зять Александр, литовский князь, женатый на дочери Ивана, Елене, хочет дать брату Сигизмунду удел в литовской земле, подняла в уме Ивана целую тучу воспоминаний, и он продиктовал своим послан, ехавшим к Елене, в Вильну, следующее внушительное предостережение. "Передали мне, что князь великий и паны хотят Сигизмунду дать в литовском великом княжестве Киев и другие города. Вот что, дочь моя: слышал я, каково было нестроенье в литовской земле, когда было государей много. Да и в нашей земле, ты слышала, каково было нестроенье при моем отце; а после отца моего, каковы были дела и мне с братьею, надеюсь, слышала, а иное и сама помнишь. И если Сигизмунд будет в литовской земле, какая вам от того польза? Я это велю тебе передать потому, что ты — дитя наше и что дело ваше начнет делаться не как следует, а мне того жаль".

Сам Иван вел свое "дело" "как следует", но он был не совсем справедлив к своим предкам. Дело в том, что известные нам советы — быть заодно с "братьями" — эти предки чем дальше, тем больше сопровождали такими распоряжениями, при которых нравственная обязанность младшей брата превращалась в политическую необходимость. "Прародители Ивана" все более и более увеличивали долю старшего в наследстве и отдавали младших. Старший сын Дмитрия Донского, как известно, вносил с своей доли 34% татарской дани, то есть владел третью русских доходов, а сам Иван III, его правнук, получил от отца уже половину всех русских городов, и притом лучшую. Он передал своему сыну такую долю, с которой шло уже целых 72% татарской дани, то есть недалеко до трех четвертей всех русских доходов.

Как видим, Иван III всецело стоял на плечах своих предков, когда критиковал их политику с высоты достигнутых им результатов. Он только видел, как мы сказали, лучше и дальше, а потому мог отнестись гораздо сознательнее к их идее. А главное, препятствия к осуществлению этой идеи были настолько ослаблены к его времени, что он имел полную возможность провести идею несравненно последовательнее.

В завещании Симеона мы отметим еще один совет, кроме совета о нравственном единении, участь которого мы только что проследили. "Слушайте владыки Алексея", — писал Симеон. Этот совет напоминает нам о другом элементе, роль которого в новой политической идеологии нам предстоит оценить: элемент религиозном. Казалось, по самому своему существу этот элемент толкал на путь идеологии гораздо сильнее, чем элемент политической борьбы. Однако, как увидим, московская политика и из него прежде всего создала себе орудие для достижения своих ближайших житейских целей.

Борьба только зачинавшихся политических центров за то, которому из них быть резиденцией митрополита, началась, как известно, с очень давнего времени. Митрополит был религиозным представителем "всех Руси" гораздо раньше, чем московский князь сделался ее политическим представителем. Он был по самому своему положению официальным представителем всей русской народности, пока вся Русь оставалась единственной восточнославянской епархией в ведомстве константинопольского патриарха. Мало того, что сам митрополит являлся невольным представителем "всех Руси"; он переносил это положение и на того князя, возле которого избирал свою постоянную резиденцию. Когда тверскому князю Михаилу Ярославичу удалось заручиться содействием митрополита Петра, он тотчас же, в подражание титулу митрополита, стал называть и себя "великим князем всех Руси". Таким образом, московский соперник тверских князей, Иван Калита, не вводил ничего нового, а просто копировал своих врагов, когда, перетянув митрополита Пет-

ра на свою сторону, и он тоже перенял этот самый титул "великого князя всея Руси". Не забудем, что то и другое произошло за полтора века до того времени, когда Иван III положил этот же титул в основу своей национальной политики.

Ничего подобного его политике мы не найдем, однако же, у этих его предшественников по титулу. Одно это сопоставление показывает, что в XIV в. религиозный элемент еще не мог играть такой политической роли, какую он стал играть с конца XV в. Идея всероссийского религиозного единства, очевидно, не вызывала в умах идеи всероссийского политического единства, и даже титул великого князя "всея Руси" звучал совершенно безопасно и невинно. Им, самое большое, отмечались претензии на гегемонию в своеобразной политической федерации, какую представляла система княжеств удельного периода, а вовсе не стремления к политическому объединению всей русской народности.

Эта старая роль церкви как представительницы морального единства была уже сыграна, когда началась объединительная политика Ивана III. Церковь уже потому не могла долее служить носительницей национальной идеи, что сама она раскололась к этому времени на две половины, соответственно двум частям Руси: литовской и московской. Литовская Русь получила в середине века своего духовного главу, который шел по следам митрополита Исидора, то есть стремился провести в жизнь формальное признание юго-западной русской церковью флорентийской унии. Напротив, иерархия северо-восточной Руси с этих же самых пор вполне подчинилась целям княжеской политики и ценой своей свободы и независимости от светской власти приобрела независимость, сперва фактическую, а позже и формальную, от византийского патриарха. Таким образом, церковь не ведет здесь за собой национальную идею, а сама следует за ее развитием, как послушное орудие в руках государства.

В 80-х и 90-х годах XV в. из этого орудия было сделано первое широко применение. Государь "всея Руси" объявил войну государю литовской Руси во имя защиты православия против "римского закона". Защитой православия он оправдывал все свои захваты у Литвы не только перед своей непосредственной жертвой, но и перед государями Европы, и даже перед самим папой. Это была идеология, соприкасавшаяся очень близко с действительностью, но тем не менее не совпадавшая с нею всецело. В литовской Руси была своя православная партия, борющаяся против окатоличивания Литвы; но борьбу свою она вела совсем другими средствами, и помощь Ивана являлась для нее тем более непрощеной, что он, в сущности, и не думал вступать с этой партией в более близкие отношения. Для его ближайших целей достаточно было иметь постоянный предлог к вмешательству в литовские дела: этот предлог давали ему — в значительной степени мнимые — притеснения его дочери като-

ликами. Нужно только прочесть в дипломатических бумагах того времени эти постоянные упреки зятю и внушения дочери, все в тех же словах, превратившихся в конце концов в условные формулы, отлично служившие в руках московских дипломатов, но совершенно игнорировавшие действительность. Иван объяснял, далее, и переезд к нему на службу мелких пограничных князей, и передачу Москве их владений — все той же "ну-жею, что их нудят приступити к римскому закону".

Мы видим теперь, что и объединительная политика, и употребление, в ее видах, религиозно-национальной идеи хотя и имеют свои корни в более или менее далеком прошлом, в политике предков московского самодержца, но, тем не менее, в его собственном употреблении эти старые идеи обогащаются новыми чертами и совершенно теряют, в конце концов, свой старый характер. Так идея морального единства всей "братии" уступила место безусловному политическому подчинению всех остальных перед "старейшим", их "господином". Так и идея религиозного единства всей русской народности послужила средством для оправдания завоевательной политики московского князя. Та и другая перемена могла бы совершиться, и частью совершилась, — просто в силу изменившихся обстоятельств, без всякого воздействия посторонних идеологий. Но теперь мы должны обратить внимание на другую сторону дела — на чисто идеологический элемент московской программы. Только разбор этого элемента может объяснить, почему новая программа была так быстро и так сознательно формулирована и откуда взялись те идейные наросты на этой программе, с которыми нам еще предстоит познакомиться.

Секрет этого быстрого идейного перелома, переодевшего великого князя удельного периода в царский костюм, находится там же, где и двести лет спустя, в момент переодевания московского царя в европейское платье. Тогда, при Петре, Россия заинтересовалась Европой и принялась черпать полными руками из ее культурной сокровищницы новые нравы и новые мысли. Теперь, при Иване, Московская Русь была еще слишком некультурна, чтобы заинтересоваться Европой. Но теперь Европа заинтересовалась Россией и обронила на русской почве скудные семена, давшие скоро на этой нетронутой почве совсем своеобразные всходы.

В эпоху Ивана III всю интеллигентную Европу проникала одна мысль — общего крестового похода против турок. За исключением Белграда, остававшегося (до 1521 г.) за венграми, Балканский полуостров был в последние десятилетия XV в. уже в турецких руках. С Дуная турки грозили румынам и венграм, австрийским славянам и немцам. Они начинали также присматриваться и к Италии, куда не раз призывали их внутренние ссоры мелких династов. Все эти земли уже испытали на себе в то время тяжесть турецких набегов. Естественным вождем

оппозиции против торжества ислама являлся глава западного христианского мира, папа. Кроме него, больше всего в Италии заинтересованы были в борьбе две торговые республики, соперничавшие на южноевропейском востоке и имевшие там повсюду свои колонии: Генуя и Венеция. Вне Италии заинтересованными лицами были наследники последнего византийского императора, продававшие свои права тому, кто дороже даст, и римский император германской нации, старавшийся наловить в замутившейся воде европейской политики как можно больше добычи на своей восточной границе. У всех этих лиц и государств было слишком много противоречащих друг другу интересов и эгоистических побуждений, чтобы можно было надеяться на осуществление идейного союза между ними. Тем охотнее они предоставляли честь и место всякому, кто согласился бы принять бескорыстно участие в таком союзе.

Таков был исторический момент, когда Европа открыла Россию. Честь этого открытия принадлежит главным образом левантинцам. Этот тип людей без отечества, с тонким умом и растяжимой моралью, охотно балансирующих на той неуловимой границе, которая отделяет дипломатию от шарлатанства, несомненно, сложился вполне уже в то время. Наблюдательные и проницательные, они умели угадать, что кому нужно, и торговали тем товаром, на который был спрос. В Италии они открывали кафедры поэзии и толковали Гомера и Демосфена; в Москве они сосватали великому князю племянницу византийского императора Зою (Софию) Палеолог. Дело было щекотливое, так как папа считал Зою, которую он приютил у себя, ревностною католичкой, а для московского князя нужна была "православная христианка". Два левантинца, один итальянец, другой грек, уладили это затруднение как нельзя лучше. Итальянец (Джан-Баттиста делла Вольпе, монетчик Ивана) взял на себя обмануть папу, обещав ему, что Россия подчинится святому престолу; грек (Юрий Траханиот, *magister domus*, или дворецкий, отца невесты, Фомы Палеолога, перешедший потом на московскую службу) обманул Ивана III, засвидетельствовав, якобы от имени византийского кардинала Виссариона, "православное христианство" Зои и рассказав при этом кучу небылиц о ее женихах, которым она будто бы отказала из отвращения к латинству (на деле женихи ей отказывали). По дороге посланный Вольпе успел еще провести венецианцев, поманив их перспективой союза с Золотой Ордой и предложив себя в комиссионеры. Второе дело сорвалось, зато первое наладилось. Московский "варвар" стал мужем "византийской царевны", как не переставала себя величать католическая Зоя, превратившаяся на русской почве в православную Софию (1472).

Отдавал ли себе Иван III ясный отчет во всех тех преимуществах, которые он получал в глазах Европы от этого брака? Европа, с своей стороны, не упускала случая ему напомнить об

этих преимуществах. Иван получил теперь право войти в семью цивилизованных государей Европы в почетной роли защитника христианства против турок, — в роли, в которой заинтересована была, как мы видели, прежде всего сама Европа. Вот почему венецианский Сенат уже в 1473 г. напоминает Ивану, что "в случае прекращения мужского потомства византийских императоров, наследственные права переходят к нему, Ивану, по жене". Являясь в Москву (1480 и вторично 1490) и сам наследник, готовый продать свои права за деньги. Должно быть, расчетливому московскому князю права эти показались не стоящими цены, которую за них требовали, и скоро Андрей Палеолог нашел себе более выгодного покупателя в лице французского короля Карла VIII. Но в европейской владетельной семье должен же был московский государь иметь какое-нибудь определенное положение. И вот начались попытки купить у Ивана его услуги ценой королевского титула. Уже в 1484 г. папа Сикст IV спешит успокоить волнения по этому поводу польского короля Казимира. Он обещает ему, что если Иван попросит у папы звания императора или короля "всей русской нации" (in tota ruhtenica natione), то он не даст ему этого звания, не спросившись предварительно у поляков. Про польские страхи узнал тогда же и один случайный германский путешественник, захвативший в Россию в 1486 г. (Николай Поппель). По его сведениям, которые он через два года сообщил в Москве самому великому князю, "королю польскому очень не хочется, чтобы римский папа сделал великого князя королем; он посылал к папе великие дары, чтобы папа этого не делал... Ляхи очень боятся того, что если твоя милость будет королем, то тогда вся Русская земля, которая под королем польским, отступит от него и твоей милости будет послушна".

На этот раз, как и в наше время, "чересчур большая забота о больном сделалась причиной болезни". Московский князь выслушал очень равнодушно уверения Поппеля, что не в папе дело, что титул короля может дать только император и что Иван может, если захочет, получить этот титул на известных условиях от его господина. Громкое имя "римского императора" было пустым звуком для невежественных ушей Ивана III. Титул "короля" не только оставлял его вполне равнодушным, но даже раздражал, как знак какого-то подчинения. Входя в европейскую семью, он хотел если не быть первым, то остаться самим по себе, совершенно несоизмеримым с установленными ступенями европейской иерархии государей. Первые московские послы не хотели уступать в чести ни Франции, ни Испании, тогдашним сильнейшим державам Европы. В соборе св. Марка и в Ватиканском дворце они претендовали на первое место; в Вене они требовали, чтобы император назначил в женихи дочери московского князя — своего наследника: герцоги и маркграфы были для нее слишком ничтожными особами. Самая тонкая го-

сударственная мудрость не могла продиктовать Ивану более ловкого ответа, чем тот, который он дал Поппелю в своем наивном неведении европейских отношений. "Что ты нам говорил о королевстве, — отвечали дипломаты московского князя германскому послу, — то мы, Божию милостию, государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, — как наши прародители, так и мы просим Бога, чтобы нам и детям нашим всегда дал так и быть, как мы теперь государи на своей земле; а поставления, как прежде, мы не хотели ни от кого, так и теперь не хотим". Однако скоро в самой Москве такая мотивировка, подсказанная старой житейской традицией, показалась недостаточной. Через несколько месяцев московские послы придумали для императора новый, более пышный ответ, в котором, как скоро увидим, уже играла роль принесенная из-за границы политическая идеология.

Как бы то ни было, к соблазнам западного государственного права Иван III остался холоден. Совершенно иначе отнесся он к подсказанной Поппелем идее "панрусизма". Мы не знаем, насколько основательны были страхи короля польского; но если бы даже у Ивана III не было раньше никакой мысли о том, чтобы добыть оружием литовскую Русь, то теперь напоминания и намеки из-за границы должны были запасть в душу Ивана. Нельзя ли было добыть "всю русскую землю, которая под королем польским (и под великим князем литовским)" и без королевского титула, без папской или императорской санкции? Ответ на это заключался в только что приведенных словах, сказанных Поппелем московским дипломатам. Если москвичи забыли, что южная Русь когда-то тоже принадлежала великому князю киевскому и что последнего можно тоже рассматривать как "прародителя", а его владения как московскую "отчину", то теперь император и папа должны были им об этом напомнить. Вот почему Иван, отвергнув королевский титул, так энергично ухватился за сделанные ему намеки на возможность претензии с его стороны — владеть всею Русью. И он отвечает императорскому послу, Георгу фон Турну (1490), что хочет с "королем" Максимилианом и любви, и дружбы, и "единачества", что готов "быть с ним за один на своих недругов", то есть на польского короля, с тем, чтобы каждый "доставал своих отчин" у этого своего соперника: Максимилиан — Угорского королевства, а Иван — "Киевского великого княжества". И он торопит императора, упрекает его в охлаждении, убеждает "поотставить иные свои дела и пристать к тому своему делу накрепко". Не дождавшись помощи Максимилиана, он наконец решается приняться за дело сам и ведет его с упрямой настойчивостью, поражавшей посторонних наблюдателей и приведшей к желанному концу. В 1493 г. он формально принимает титул, подсказанный историческими прецедентами и так кстати освеженный в памяти дипломатами папы и императора: титул "государя всея Ру-

си". На протест литовского зятя, держащего под собой половину этой "всея Руси", московские дипломаты отвечают уже с уверенностью и апломбом, которые надолго остаются их привилегией. "Государь наш ничего высокого не писал и никакой новости не вставил. Он от начала — правый *уроженец* — *государь* всея Руси, чем его Бог подаровал от дедов и прадедов". И по мере своих мирных захватов и военных приобретений Иван III последовательно развивает раз принятую точку зрения. Все, отнятое у Литвы, — "наша вотчина". "Да и не то одно — наша вотчина, что ныне за нами: и вся русская земля, Божией волей, из старины от наших прародителей — наша вотчина", — не забывают прибавлять всякий раз москвичи. За год до смерти Ивана (1504) этот тезис развивается еще определеннее. "Вся русская земля — Киев и Смоленск и иные города — от наших прародителей — наша вотчина, и он бы (король) нам русской земли *всей* — Киева, Смоленска и *иных* городов ... поступился". Эта глухая ссылка на "иные" города дает возможность постоянно расширять требования: так, в 1517 г., уже при Василии III, встречаем формулу: "Киев, Полоцк, Витебск" и, опять-таки, "иные города". На самого хладнокровного читателя сухих посольских донесений этот тяжелый, размеренный шаг московского "каменного гостя" способен произвести впечатление какого-то давящего кошмара.

Но что же случилось с миссией великого князя как защитника христианства от "неверных"? В этом отношении новый союзник так же разочаровал западное христианство, как разочарованы были и сами его представители друг в друге. Вся разница была только в том, что Иван III не чувствовал даже потребности и не давал себе труда прикрывать громкими фразами эгоистическую подкладку своей политики. Он не прочь был побороться против "поганства", но он предусмотрительно спрашивал всегда: против "какого поганства"? Как у европейских государей, как и у польско-литовского короля и князя, у Ивана III было свое "поганство", с которым он дружил не только против другого "поганства" же, но и против своих христианских соседей. Таким был его старый друг, крымский хан Менглы-герай, оказавший Ивану незаменимые услуги в борьбе с Золотой Ордой и с Польско-Литовским государством. Как раз в то время крымский хан сделался вассалом турецкого султана, только что вытеснившего генуэзцев с южного берега Крыма. Дружба Ивана с Менглы-гераем открыла ему путь к прямым сношениям с самим падишахом. После предварительной переписки через крымского приятеля московский посланник (1494) появился на берегах Босфора. В столице вождя правоверных, как в столице римского императора, представитель московского князя игнорировал установившиеся обычаи этикета и требовал для себя исключительного положения. Потомок пророка был жестоко шокирован. Но это не помешало Высокой Порте отправить в

Москву ответ, наполненный самыми утонченными любезностями в восточном вкусе, и дать, спустя несколько лет, русским купцам значительные преимущества в торговле (1499). И еще через несколько лет (1503) на новое предложение помириться с Польско-Литовским государством для общей войны против турок Иван III упрямо отвечает папе затверженными словами, что, конечно, он "как наперед того за христианство против поганства стоял, так и ныне и впредь, если даст Бог, хочет за христианство против поганства стоять"; но вот в войне с Литвой виноват не он, а его противник, а "русская земля от наших предков, истарины, наша вотчина"...

Такова была единственная идеология, непосредственно извлеченная самим Иваном III из сношений с западноевропейскими дипломатами. Но самый факт этих сношений должен был послужить источником для других идеологий, и прежде всего для дальнейшего развития той, которую мы только что отметили. Чтобы проследить это дальнейшее развитие русской национальной идеологии, мы должны вернуться из Европы в Москву, — на этот раз обогащенную плодами своих первых сношений с Европой.

Здесь мы прежде всего встретимся с влиянием нового элемента. Итальянцы и греки были самыми подходящими людьми, чтобы завести сношения России с Европой. Но чтобы воздействовать на русскую национальную психологию, многого не хватало не только первым, но и вторым. У греков был свой национальный патриотизм, узкий и исключительный, проводивший резкую границу между своими и чужими. Если еще и в настоящее время они не перестали считать русских, по старой привычке, "варварами", то можно себе представить, что было в эпоху Ивана III. Принужденные лстить и кланяться, выпрашивая подачек у московского государя, они затаивали в душе презрение и недоброжелательство к своим покровителям-дикарям. Московские люди платили им за эти чувства подозрительностью и недоверием. Несравненно ближе чувствовали себя к русским южные славяне: они-то и явились самыми естественными воспитателями русского национального чувства в его первых проявлениях в рассматриваемую нами эпоху.

В них самих вся их история воспитала это национальное чувство и периодически приводила к самому резкому обострению его. И всякий раз причиной такого обострения национального чувства являлась вражда южных славян к грекам. Во всех случаях, когда среди балканских славян обнаруживалось сколько-нибудь самостоятельное культурное движение, в основе его всегда лежала ненависть к цивилизации "ромеев", или, точнее говоря, к проявлениям их национального высокомерия. Целью подобных национальных движений всегда становилась политическая борьба за независимость от византийского императора и религиозная борьба за независимость от константино-

польского патриарха. Свой собственный, славянский император и свой патриарх — таковы были вековые идеалы южнославянских национальных стремлений.

В последний раз перед турецким завоеванием это национальное чувство вспыхнуло в XIV в. при болгарском Александре и сербском Душане. Оба носились с мыслью — завоевать самим Константинополь и водворить на месте Византии славянские державы: сербско-греческую и болгаро-греческую. Для начала оба стали титуловать себя "царями" и "самодержцами", а Стефан Душан и формально короновался (1346). Что касается церковной независимости, в Болгарии самостоятельное патриаршество (сперва в Охриде, потом в Тырнове) существовало уже издавна. Душан завел у себя вновь такого же самостоятельного патриарха для сербов. Византийский этикет полновластно воцарился при дворах славянских государей, давно уже привыкших величаться византийскими придворными титулами и окружать себя внешними знаками почета, принятыми при императорском дворе.

Как видим, программа для Москвы, новой наследницы Царьграда, была во всех главных чертах намечена югославянскими прецедентами. Намечена была тогда же и там же и самая идеология, пригодная для Москвы в ее новом положении.

В одной болгарской рукописи середины XIV в., писанной по повелению "царя и самодержца" Иоанна Александра, мы уже находим не только те же самые мысли, которые полтора века спустя найдем в Москве, но даже и те самые выражения. Писец вставляет в текст старой византийской хроники (Манассии) вот какую новую заметку. "Все это приключилось с *старым* Римом; наш же *новый* Царьград стоит и растет, крепится и омолаживается. Пусть он и до конца растет, — о Царь, всеми царствующий, — принявши (в себя) такого светлого и светоносного царя, великого владыку и изрядного победоносца, происходящего из корени Асеня, преизящного царя болгар, — я разумею Александра прекроткого, и милостивого и мнихолюбивого, нищих кормильца, великого царя болгар, чью державу да исчислят неисчислимые солнца". По смыслу этой фразы, под "новым Царьградом" надо разуместь болгарскую столицу Иоанна Александра, многократно воспетый преславный град Тырново.

Трубные звуки национального величия "царя" и столицы прерываются, однако, по временам раскатами турецкого грома, сперва отдаленными, потом все более близкими. На первых порах это не меняет темы национального гимна, а только вносит новый аккомпанемент, — то радостный и торжественный, то мистический и мрачный. Славянский царь уже раньше представлялся в национальных легендах восстановителем всеобщего мира и благоденствия. Теперь его начинают сближать с Александром Македонским, его тезкой по имени, и к нему относят древние пророчества. При нем выйдут из гор запертые Алек-

сандром народы, Гог и Магог (в последних видят турок); никто не устоит против них, но Господь пошлет архистратига, который перебьет их всех, а там наступит скоро и антихристово пришествие и кончина мира.

События мало-помалу разрушили до основания эти югославянские надежды и эту эсхатологию. Прежде всего не сбылись ожидания болгарского переписчика Манассии. "Новый Царьград" не устоял "до конца". Турки пришли и взяли все. И "новый", и "старый" Царьград разделили участь "старого Рима". Оскорбленное национальное чувство не могло, конечно, примириться с таким плачевным исходом. Отчаявшись в возможности победить своими силами, югославянская интеллигенция перенесла свои упования на соседних государей, до которых доходила очередь борьбы с турками после Балканского полуострова. Поочередно балканские поэты и политики, дипломаты и духовные лица возлагали надежды то на венгров, то на поляков. Но время шло, и эти надежды точно так же рушились, как и мечты о национальной державе. Ближайшие соседи оказывались бессильными помочь балканским славянам. Тогда-то ревностные патриоты принялись искать помощи дальше, на севере Европы. Таинственная, мало известная тогда Москва должна была явиться в этой роли, предназначенной когда-то для стольного града Тырнова. Единоплеменный и единоверный московский князь занял место национального "царя и самодержца", "изрядного победоносца", которое оказалось не по силам государям ближайших стран. Взамен тех услуг, которых от него ожидали, не него перенесли теперь древние пророчества, его окружили ореолом "единственного православного царя во всей вселенной", Москву сделали "новым Царьградом" и "третьим Римом", а в москвичах впервые пробудили всем этим более сознательное национальное чувство. В посредниках между Москвой и Тырновом недостатка не было. Уже в самую эпоху расцвета национального самосознания на Балканском полуострове, в XIV в., отдаленные отголоски этого славянского движения проникли до Москвы и оказали здесь кое-какое влияние. Навязанный московскому князю из Константинополя болгарин митрополит Киприан, дважды прогнанный из Москвы сторонниками московской независимости, кончил тем, что примирился с Василием I и посвятил остаток дней тому же делу, над которым трудились свои, московские созидатели, Петр и Алексей. Он первый применил литературную манеру, выработанную в болгарском Тырнове знаменитым Евфимием, к возвеличению памяти митрополита — сотрудника Калиты. Скромный, сдержанный стиль прежних русских "писателей" житий не позволял разгуляться фантазии. Напротив, при новой литературной манере церковного витийства, заимствованной югославянами из Византии, — национальной легенде открывался широкий доступ в духовную литературу, — и вместе с тем создавалось новое, могуществен-

ное средство в руках московских князей для пропаганды новой религиозно-политической идеологии. На примере "жития" митрополита Петра Киприан показал москвичам, как надо делать это дело. Прежний русский биограф Прохор выражался, например, о Москве как о "граде *честном кротостию*". Под пером Киприана это выражение превращается в "*град славный, зовомый Москвой*". Он вносит в житие Петра и ту знаменитую легенду, по которой будущая роль "славного града" была провидена случайным гостем Калиты. "Если меня послушаешься, — говорил будто бы Калите митрополит Петр, — и построишь храм пречистой Богородицы, то и сам прославишься больше других князей, и сыновья и внуки твои, и город этот славен будет, святители станут в нем жить и подчинит он себе все остальные грады".

После падения Константинополя, особенно же после потери надежд на ближайших соседей, то есть во второй половине XV в., югославяне появляются в России в еще большем количестве и смело идут по стопам знаменитого иерарха, своего земляка и предшественника, создавая отдельные элементы национальной легенды и проводя их в литературу при помощи тенденциозных вставок или цельных сказаний. До самого последнего времени эта литературная работа южных славян оставалась анонимной; только в наше время анонимы начинают вскрываться. По тому, что удалось обнаружить, можно составить себе некоторое понятие о происхождении целой группы идей, вторгнувшихся заметной струей в нашу политическую литературу конца XV в. и начала XVI в., или, лучше сказать, впервые созданных на Руси политическую литературу.

Начинается с того, конечно, что к московскому князю применяются понятия и идеи, установившиеся относительно югославянских государей. Предваряя события, сперва югославянское, а потом и русское духовенство начинает без стеснения титуловать князя "царем", обильно уснащая свои обращения к нему всевозможными эпитетами славянско-византийского происхождения. Он "боговенчанный", он "благородный", "благоверный", "великодержавный", он "богосшественный поспешник истины", "высочайший исходатай благоверия" и т.д. Один духовный писатель, оказавшийся, по новым исследованиям, не кем иным, как известным "списателем житий" XV в. по манере Евфимия Тырновского, сербом Пахомием, даже влагает в уста самого греческого царя Иоанна Палеолога признание за московским государем царского титула — вместе с объяснением, почему он его еще не носит официально. В Москве, по этому мнимому заявлению византийского императора перед Флорентийским собором, сохраняется "большее православие" и "высшее христианство"; и только "смирения ради и по величеству разума" московский князь "не зовется царем, но князем великим русским".

Затем на московского князя, как некогда на болгарского Иоанна Александра, переносятся все предсказания и пророчества. "Русый род", которому, по греческим преданиям, суждено победить Измаила и овладеть, в конце концов, семью холмами Царяграда, — превращается теперь в "русский род". "Если все прежде реченные Мефодием Патарским и Львом Премудрым" знамения о граде сем сбылись, — читал русский читатель, — то и последние не минуют, но тоже сбудутся; ибо написано: русский род всего Измаила победит и Седмихолмный возьмет, и в нем воцарится". Такова орфографическая ошибка, положившая начало русской "исторической миссии" относительно св. Софии Цареградской. В умах широкой публики подобная легенда, очевидно, могла произвести более сильное действие, чем признание венецианского Сената или торговля своим титулом дяди Софии Палеолог, — известная только двору и дипломатам.

Однако дожидаться осуществления легендарных или юридических прав на Константинополь — вовсе не входило в расчеты московской политики, тем более что легенда, по обыкновению, связывала это событие с последними временами (наступление их ожидалось тогда уже в конце XV в.). С своей обычной практичностью московский князь спешит дисконтировать долгосрочный вексель и пустить выручку немедленно в оборот. Отблеск св. Софии должен был упасть на Москву и сообщить ей новый ореол дома и за границей. И на этом пути вдохновленное югославянскими идеями духовенство первое пошло вперед.

Мы видели, как болгарский литератор пытался в середине XIV в. перенести славу "старого Рима" и "старого Царьграда" на "новый Царьград" — Тырнов. Теперь эта красивая метафора, заключающая в себе целую историческую схему, целую философию всемирной истории, без труда переносится на Москву. Мир совсем не кончается на седьмой тысяче лет от сотворения; напротив, со вступлением в восьмую тысячу (1492) начинается новый период мировой истории, и этот период характеризуется именем Москвы. Эти идеи впервые развиваются в русской литературе в сочинении, написанном в этот самый критический год; его цель — опровергнуть распространенные в публике страхи перед кончиной мира. Это пасхалия на восьмую тысячу лет, составленная митрополитом Зосимой. "Царь Константиноград создал новый Рим — Царьград, — замечает Зосима, — а государь и самодержец всея Руси Иван Васильевич, "новый царь Константин", положил начало "новому Константинограду — Москве". Как бы для того, чтобы подчеркнуть югославянское происхождение этих идей, другой русский автор, известный псковский инок Филофей, прямо воспользовался для выражения их знакомой нам формулой болгарского "писателя" XIV в. В 1511 г. царский дьяк Мунехин привез ему во Псков из Москвы новинку — "Хронограф," или очерк югославянской истории в связи с византийской и русской, составленный для русской публики в

1442 г. упомянутым выше писателем житий, учеником Евфимия Тырновского, сербом Пахомием. Филофей решил переделать этот хронограф для своих псковичей и, кончив (1512) переделку, прибавил в конце свое собственное заключение. По его идее, это резюме должно было подчеркивать тот главный философско-исторический вывод, который читатель должен был сделать из чтения подобранных сербом исторических данных, доведенных до падения Царяграда. Вот этот вывод, соединяющий в одно целое древние пророчества и новые мечты. "Православные питают надежду, что после достаточного наказания снова всесильный Господь возжжет во тьме злочестивых властей погребенную, словно в пепле, искру благочестия, и поналит, как тернии, царства измаильтян злочестивых, и просветит свет благочестия и вновь поставит благочестие и царя православного. Ибо все эти благочестивые царства (о которых рассказывал хронограф), греческое и сербское, босенское и албанское и иные за множество грехов наших Божиим пощением безбожные турки попленили и в запустение привели и под свою власть покорили. Наша же российская земля, Божией милостию и молитвами Пречистой Богородицы и всех святых чудотворцев, растет и молодеет и возвышается. Дай ей, Христе милостивый, расти и молодеть и шириться до скончания века".

Недовольный этим исповеданием своей политической веры в "Хронографе", Филофей принимается за настоящую пропаганду новых учений и развивает их в целом ряде посланий. Он пишет (1517) послание упомянутому уже дьяку Мисюрю Мунехину, одному из выдающихся интеллигентных людей того времени, который около 1493 года сам путешествовал на православном востоке и уже этим путешествием втянут был в круг новых идей. Он пишет также и самому великому князю (между 1514-1521). В своих посланиях он особенно подчеркивает ту мысль, что политическое падение православных царств связано с их религиозной изменой и что политическое господство Москвы есть следствие ее религиозной непоколебимости. "Девяносто лет прошло, — пишет он Мунехину, — как греческое царство разорено, и оно не воскреснет, так как греки предали православную веру в латинство". Подобным же образом и "все христианские царства пришли в конец и сошлись в единое царство нашего государя: *в российское* царство, как предсказали пророческие книги". И этому "нынешнему православному царствию пресветлейшего и высокостольнейшего государя нашего, — единого во всей поднебесной христианам царя", — нет конца, как нет конца православию на земле. Он является, по необходимости, единственным уцелевшим в мире "браздодержателем святых Божиих престолов святой вселенской церкви". Представительницей ее служит, "вместо римской и константинопольской, церковь святого и славного Успения Богородицы в богоспасенном граде Москве, которая одна во всей вселенной паче солнца светится".

Одним словом, по резюмирующей формуле Филофея, "два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать". И он усердно старается натвердить эти религиозно-политические аксиомы великому князю Василию.

Во втором томе "Очерков" мы говорили о том, какие национально-религиозные последствия вытекали из только что изложенных теорий. Эти теории повели, в конце концов, к полной национализации русской церкви. Теперь нам важнее другая сторона их, именно та национально-политическая санкция, которая из них вытекала. И в этом смысле нам остается проследить еще один важный шаг, который сделали эти завезенные с юга теории уже на русской почве, чтобы приноровиться к местной действительности.

Московский "царь и самодержец", по новой теории, являлся прямым продолжателем дела царя Константина. Однако же, скачок был слишком велик — от "старого" Константина к "новому". Затем, это преемство представлялось *логическим* результатом событий в православном мире; но, для полной убедительности и наглядности надо было преставить его *историческим* фактом, совершившимся в пространстве и времени, в определенный момент, в известном месте. То же самое нужно было и для того, чтобы согласовать югославянскую формулу политических притязаний Москвы — с местной, московской. В своей реальной политике московский князь выступал в качестве наследника своих "прародителей"; он добивался этого наследства, "великого княжества Киевского", как своей "отчины и дедины". Он готов был, конечно, фигурировать и в роли наследника царя Константина, но с тем только условием, чтобы это идейное наследство не затемняло другого, несравненно более реального и доступного. Итак, надо было теперь балканскую идеологию примирить с московской политикой.

Задача была разрешена блистательно, при помощи все тех же пришельцев с христианского востока. Чтобы византийское наследство не затемняло киевского, лучше всего было — самого киевского "прародителя" наделить этим византийским наследством, связать его непосредственно с великими именами древности. Из двух киевских прародителей, — двух Владимиров, крепче всех других князей, засевших в народной памяти, — к кому роль наследника византийской власти могла идти лучше, как не к тому, кто носил греческое прозвище Мономаха, напоминавшее о его родственных связях с Византией?

Выдумывать фантастические генеалогии для оправдания национальных политических притязаний — не было новостью для славянских литераторов. Они еще в XI-XII вв. вывели болгарских Асений от "знатного римского рода", а в XIV в. породнили сербских Неманей с Константином Великим и даже с кесарем Августом. Без сомнения, и Иван III чувствовал уже потребность в таких же, более пышных исторических связях, ко-

торые бы могли лучше поставить его на одну высоту с императором, чем это могла сделать простая ссылка на киевских прародителей. Он уже делает и официальную попытку связать себя с Царьградом и Римом, и притом не прямо, как легко было бы сделать мужу Софьи Палеолог, и именно через своих "прародителей". Он не решает еще говорить о родстве и о формальной передаче власти, но вот что уже говорят его послы германскому императору в 1489 г., несколько месяцев после посольства Поппеля. "Во всех землях известно, — надеемся и вам ведомо, что государь наш — великий государь, урожденный изначала от своих прародителей и что прародители его от давних лет были в приятельстве и в дружбе с *прежними римскими царями*, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии".

В начале XVI в. (1513-1523), наконец, легенда принимает конкретные формы. Появляется в Москве целое сказание "о князьях владимирских", удовлетворяющее всем только что указанным требованиям московского правительства. "Август кесарь", по этому сказанию, ставит "Пруса, сродника своего" на берегах Вислы"; потомка этого Пруса в четвертом колене, Рюрика, приглашают "мужи новгородские" из "Прусской земли" на Русь. Четвертый потомок Рюрика — Владимир Святой, а четвертый потомок Владимира Святого — Владимир Мономах, и это прозвище дает повод составителю рассказать целую историю, для которой, собственно, и придумано все сказание. Владимир, по совету с "князьями своими и с боярами и с вельможами", предпринимает победоносный поход "на Фракию". Тогдашний благочестивый царь Константин Мономах, занятый борьбой "с персами и с латинами", шлет к нему послов с дарами: с "коробочкой сердоликовой, из которой Август кесарь римский веселился", с ожерельем, "сиречь, святыми бармами" с своих плеч, с золотой цепью и "иными многими дарами царскими". Послы просят "боголюбивого и благоверного князя" принять "сии честные дары, — царский жребий на славу и честь и на венчание" его "вольного и самодержавного царства" — жребий, уготованный ему "от начатка вечных лет" его "родства и поколения", — "чтобы церкви Божии были безмятежны и все православие пребывало в покое под властью" византийского "царства" и московского "вольного самодержавства великой России", чтобы московский князь, "венчаный сим царским венцом", назывался "боговенчаным царем". "С тех пор, — прибавляет сочинитель сказания нужное ему заключение, — и донныне великие князья владимирские, когда ставятся на великое княжение российское, венчаются тем царским венцом, что прислал греческий царь Константин Мономах".

Кто бы ни оказался автором "Сказания о князьях владимирских" — серб ли Пахомий, как предположил было один новейший исследователь, или какой-нибудь другой литератор из той же среды, — во всяком случае, несомненно, что "Сказание"

явилось логическим выводом из всех тех идей, которые распространялись на Руси югославянским духовенством со второй половины XV в. Однако, несмотря на всю важность этих идей для правительства, несмотря на официозный характер этого литературного творчества, московская государственная власть не сразу решилась воспользоваться им открыто и придать новым политическим взглядам официальную санкцию.

Надо прибавить, что в эпоху Ивана III эти взгляды находились еще в процессе выработки. Из того же югославянского мира, вместе с этой струей, вынесена была другая, прямо противоположная, резко оппозиционная. Брожение официозных и оппозиционных элементов продолжалось с конца XV века до середины XVI, и только к этому последнему моменту инвентарь идей, имеющих войти в национальное сознание, окончательно определился и закреплен был официальными правительственными актами. Раньше, чем мы остановимся на этом окончательном итоге, мы должны поэтому познакомиться с перешедшими на Русь оппозиционными идеями и проследить их судьбу в новой для них обстановке.

БИБЛИОГРАФИЯ

Литература по истории политических идеологий XV в., как и вообще литература по истории русского национального самосознания, грешит тем основным недостатком, что большинство исследователей оказываются заинтересованными в том или другом содержании этого самосознания, считая последнее — своего рода высшей инстанцией в вопросах национальной жизни, не допускающей дальнейших обжалований. Так, например, новейшее сочинение по истории национальной политики Ивана III Е.Церетели *Елена Ивановна, великая княгиня литовская, русская, королева польская* (СПб., 1898) смотрит на эту политику глазами самого Ивана III. Гораздо научнее и беспристрастнее, несмотря на католические тенденции автора, составлена сводная работа о. И.Пирлинга (S.J.) *La Russie et le saint Siege, Etudes diplomatiques* (Paris, 1896). В первый том этого почтенного труда вошла и изданная раньше в русском переводе монография Пирлинга *Россия и Восток* (СПб., 1892). Завещание Симеона см. в *Собр. грамот и Договоров*, т.1; о принятии Михаилом Ярославичем титула Великий князь всея Руси см. заметку: *Кто был первый великий князь всея Руси*, Библиограф, № 1 (1889). Личность Юрия Траханиота и его положение до приезда в Россию только что выяснилось теперь; заметку г.Peregrinum в "Новом времени", 19 января 1900 г. о протоколе Фомы Палеолога по поводу передачи папе Пию II мощей св. Иоанна Крестителя. Протокол, хранящийся, по-видимому, при мощах в Сьене, подписан Georgius Trachagnoti, magister domuss praetati (?) illustrissimi. Эта подробность помогает уяснить ход сватовства Ивана III, ср. Pierling, 1, 132-133. Подлинные документы дипломатии Ивана III см. в "Сборнике исторического общества", т.35 и в "Памятниках дипломатических сношений", ч.1, см. также статью В. Бауера в журнале Министрства Народного просвещения, ч. CXLVIII, отд.2., *Сношения России с германскими императорами в конце XV и начале XVI столетий. О южнославянских политических стремлениях см. К.Радченко, Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием* (Киев, 1898). О славянских надеждах на соседей (венгров и поляков) см. Иосиф Первольф, *Славяне и их взаимные отношения и связи* (Варшава, 1888). Взгляды русского и южнорусского духовенства

на государственную власть см. в исследовании М.Дьяконова *Власть московских государей* (СПб., 1889) и в его же ст. *К истории древнерусских церковных отношений*, Историческое обозрение, т. III. О литературной манере Киприана и Пахомия см. В.Ключевский, *Древнерусские жития святых* (М., 1871); о их учителе Евфимии Тырновском см. упомянутую книгу Радченко. Предположение о составлении хронографа 1512 г. в первоначальной форме (1442) Пахоми-см и о переселке его Филофеем выставлено и очень солидно аргументировано акад. А.А. Шахматовым в ст. *К вопросу о происхождении хронографа* (СПб., 1899) и его же: *Путешествие М.Г. Мисюря Мунехина на восток и хронограф редакции 1512 г.* (СПб., 1899) в "Известиях отделения русского языка и словесности И.А.Н.", т. IV, кн. 1. Текст приписки Филофея к хронографу — в *Изборнике Андрея Попова* (М., 1869). Текст его посланий — в "Православном собеседнике", II (1863) и I (1863). Исследование о происхождении *Сказания о князех Владимирских*, указание на связь его с югославянскими идеями и самый текст памятника см. в книге Ив. Жданова *Русский былевой эпос*, I-V (СПб., 1895).

II

ПОЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННОЙ ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ СУДЬБА

Оппозиция XVI века: религиозная, политическая и социальная. — Истоки религиозной оппозиции: еретическое и мистическое движение на Балканском полуострове и на Афоне. — Нил Сорский переносит на Русь теорию "исихастов". — Эксплуатация этой теории государственной властью. — Неудача секуляризации и разрыв Ивана III с еретиками и нестяжателями. — Новый характер борьбы партий при Василии III: компромиссы и политическая окраска споров. — Дело Серапиона и выяснение политической роли "осифлян". — Союз с ними государственной власти. — Союз "нестяжателей" с политической оппозицией. — Составные элементы последней. — Положение боярства и его политические стремления. — Poleмика Ивана IV с Курбским как выражение идеалов споривших сторон. — Соединение политического идеала оппозиции с религиозным. — Дальнейшая разработка его в "беседе валаамских чудотворцев". — Попытка осуществления оппозиционной программы на соборах середины XVI века. — Ее неполнота. — Социальная оппозиция как мотив религиозной полемики, как аргумент в руках самодержавной власти (Сказание Пересвета). Ее непосредственное и самостоятельное выражение в событиях смутного времени.

Мы видели, как сама жизнь подготовила почву для *националистических* идеологий в московском государстве XV в. и как на подготовленной таким образом почве начали быстро прививаться занесенные в Москву из югославянских земель политические идеи. Судьба *оппозиционных* идеологий на Руси XV и XVI вв. была совершенно противоположная. Занесенные отчасти из чужеземного источника, они не нашли для себя готовой почвы и после недолгой борьбы должны были очистить поле сражения перед победоносным противником. Историю этой борьбы и этой победы нам предстоит теперь проследить.

Характерен уже самый порядок, в котором развиваются оппозиционные идеологии на Руси XV и XVI столетий. Вначале они несут преимущественно религиозный оттенок. Потом к религиозному элементу присоединяется политический. Наконец, — притом независимо от обоих предыдущих — встречаем и элемент социальный.

Следуя этому порядку, и мы начнем наш рассказ с наиболее отвлеченной формы оппозиции, чтобы закончить наиболее стихийный.

Как известно, религиозное вольнодумство на Руси впервые проявляется уже в XIV и XV столетиях в наиболее культурных

областях: Пскове, Новгороде, Киеве. Исследователи усердно искали источников этого вольнодумства на западе и на юге, в сектах средневековой Германии и в богомильстве. Второе объяснение априори кажется более вероятным, так как к воздействию запада даже самые культурные области тогдашней Руси не были готовы, особенно в области религиозной мысли. Первая русская ересь должна была явиться с православного востока.

Это соображение приводит нас к тому же источнику, откуда мы только что выводили политические идеологии московской Руси, — к Балканскому полуострову. Среди религиозного брожения умов, происходившего в XIV в. на Балканском полуострове, нам важно отметить два направления, которые стоят в очень близкой связи с русскими движениями того же времени. Я разумею направление *еретическое* и направление *православно-мистическое*. Прямою ересью было возродившееся в это время богомильство и стоявшее, по-видимому, в какой-то связи с ним рационалистическое учение, распространившееся среди евреев Балканского полуострова, тогда уже довольно многочисленных. По отрывочным данным наших источников, болгарских и солунских еретиков-евреев XIV в. обвиняли как раз в том самом, в чем обвинялись и русские "жидовствующие", а именно в непризнании божественного происхождения Спасителя от Марии Девы, в отрицании икон, в непочитании святых и мощей, в непризнании воскресения мертвых. Было бы странно, конечно, требовать, чтобы евреи признавали все это; но, очевидно, речь шла об активной пропаганде этих взглядов среди православных. При обширных торговых сношениях евреев нет ничего удивительного в том, что эта пропаганда перекинулась из крупного еврейского торгового центра, каким была Солунь, — в Крым, в Кафу, к тамошним караимам; отсюда, а также и через сухопутную границу, те же учения проникали в Киев и к литовским евреям; а из Киева, уже по прямым показаниям источников, "жидовская ересь" была завезена в Новгород. По отношению к богомильству в собственном смысле мы, к сожалению, не можем с такой же вероятностью восстановить путь, каким оно могло прийти на Русь. Всего естественнее предположить, что оно явилось в сопровождении другого религиозного движения, проникшего к нам с Балканского полуострова, — именно мистического движения так называемых "исихастов", с которым это еретическое движение находилось в несомненной связи — сохраненной и после перехода богомильских и "исихастических" учений на Русь. Посредником при этом переходе, всего скорее, мог быть православный Афон.

Афон, действительно, в течение всего XIV и XV столетий был центром, в котором находили лучшее выражение все вопросы, волновавшие тогдашнюю православную мысль. Вопросы эти вовсе не были так элементарны, как можно бы было думать по тогдашнему состоянию русской религиозности. Православ-

ный восток шел далеко впереди православной Руси. В сущности, он волновался тем самым, чем волновалась и европейская религиозная мысль того времени. Он колебался между номинализмом и реализмом, точнее говоря, между схоластикой и мистицизмом. Когда основатели теоретического славянофильства непременно хотели представить схоластику особенностью западной мысли, а из мистицизма сделать привилегию восточной, то они, бесспорно, ошибались. Оба типа религиозной мысли существовали как на востоке, так и на западе, хотя запад тому и другому дал наиболее яркое выражение. Но ошибка славянофилов легко объясняется тем, что, действительно, мистицизм (особенно в то время, о котором мы теперь говорим) получил на православном востоке особенно широкое распространение. Его проповедником и теоретиком в XIV столетии был Григорий Синаит, учение которого развивал его земляк — малоазиатский грек Григорий Палама; последователями обоих были болгары: Феодосий и Евфимий Тырновские. Учение всех этих религиозных мыслителей близко подходит к той черте, за которой мистицизм прерастает согласовываться с положительным учением христианства и превращается в пантеизм. Все они исходят, подобно нашим славянофилам, из отрицания "силлогизма" и науки — "внешней мудрости", — как способа познания истины; единственным путем к достижению истины они считают погружение в собственный дух. Теоретическому "знанию" они противопоставляют нравственно-религиозную "деятельность". Но на высшей ступени доступного человеку "любомудрия" — они и самой "деятельности" (praxis) предпочитают внутреннее, мистическое "созерцание" (theoria). А для достижения полной глубины такого "созерцания" они рекомендуют ряд обычных у мистиков практических приемов. Посредством употребления этих приемов достигается состояние экстаза, выражающееся физически в известного рода телодвижениях, а психически — в особом ощущении покоя (hesychia), отсюда и название "исихастов"), восторга и, наконец, на высшей ступени, "фаворского света". Это последнее состояние — ощущение света — есть состояние полного общения с Божеством. Для примирения этой идеи непосредственного общения с положительным христианством Григорий Палама должен был придумать особое различие между "сущностью" Бога и Его "проявлением" ("энергией"). Первая непостижима, но с последним человек может сливаться.

На Афоне, где долго жил основатель учения, Григорий Синаит, теория "исихастов" была в большом ходу. Был и такой момент в XIV веке, когда на Афоне пользовались влиянием богومیлы. Между обоими учениями существовало немало точек соприкосновения, как в положительных чертах учения, так еще более в отрицательном отношении их ко всему тому, что в традиционной религии мешало их "внутреннему" пониманию

веры. Их пренебрежение к обрядности и внешности, предпочтение живого духа мертвой букве, враждебное отношение к чиновническому пониманию пастырского служения — все это настолько сближало их друг с другом в глазах противников, что обвинения балканских и афонских "исихастов" в мессалианской ереси (то есть богомилстве) сделались общим местом. А между тем именно эта критическая сторона учения "исихастов", как более доступная, должна была выдвинуться на первый план при перенесении их взглядов на Русь.

Был, впрочем, в тогдашней России человек, который мог и более глубоким образом отнестись к теории Григория Синаита. Это был Нил Сорский, имевший возможность познакомиться с учениями "исихастов" на самом Афоне, откуда он и вывез эти учения в Россию. Григорий требовал от своих последователей, прежде всего, строгого уединения. Обыкновенный, "общежительный" монастырь не удовлетворил этому требованию; вот почему Нил ввел новый порядок жизни для своих учеников: в скитах. В глухом Заволжье, кругом Кириллова монастыря, оказалось немало таких "скитов", населенных "пустынниками", последователями Нила или, как их стали называть, "заволжскими старцами". При таком складе жизни им легко было осуществлять свой "нестяжательский" идеал монашеского существования и критиковать монашеское и монастырское владение собственностью: землями, селами и крестьянами. Цель их была при этом, несомненно, — уйти от мира. Но, совершенно неожиданно для них самих, их теория оказалась имеющей политическое значение, и, вопреки основному своему принципу, им пришлось сыграть видную роль в мирской политической борьбе.

Вообще религиозные споры на русской почве очень быстро приобретали церковно-государственный характер. Когда на православном востоке возникало религиозное сомнение, оно обыкновенно решалось духовным собором. Учение "исихастов", например, обсуждалось и принято было тремя такими соборами XIV в. На Руси дело стояло иначе. "Неслыханное у нас явление, ересь", застало совершенно врасплох местные духовные власти и вызвало не теоретическое обсуждение, — а административное преследование. "Люди у нас просты, — писал новгородский владыка Геннадий, — не умеют по книгам говорить; так лучше уж о вере никаких речей не плодить, только для того и собор учинить, чтобы еретиков казнить, жечь и вешать". Однако государь не сразу решился на такую суммарную юстицию, какую рекомендовал епископ.

Причиной этого было, прежде всего, то, что на стороне новгородских еретиков стоял влиятельный кружок в самой Москве, разделявший, по-видимому, их мнения по убеждению. Это были все люди книжные. Один из них склонил на сторону новых учений даже невестку великого князя, Елену, партия ко-

торой (Патрикеевы) была в то время сильна при дворе. Московский митрополит Геронтий поэтому молчал "или по непониманию, или по небрежности, или из страха перед державным". Преемник же его, Зосима, очевидно, сам был выдвинут партией и разделял ее мнения. Была и другая причина, по которой Иван III не спешил расправиться с еретиками. Он только что (1478) отобрал у новгородского духовенства и монастырей целую половину их земель, а еретики как раз проповедовали "нестязательность". Еще удобнее для Ивана III в этом отношении были теории русских "исихастов", то есть Нила Сорского с его учениками — пустынножителями. Они не были такими отъявленными еретиками, как новгородские "жидовствующие", и не могли, следовательно, так скандализировать своими мнениями православную паству, как "злбесный волк", митрополит Зосима. Вот почему, сместив явного еретика Зосиму, великий князь продолжал "держатъ в великой чести" Нила. Эта "великая честь" очень хорошо совмещалась с политикой Ивана III, то есть с подчинением духовенства государственной власти. При посвящении преемника Зосимы Иван III обратился к новому митрополиту Симону с речью, содержащею нечто вроде инаугурации: этим признавалось за московской государственной властью право, принадлежавшее прежде только византийскому императору, — право утверждать назначение митрополита. Через четыре года (1500) Иван вторично отобрал с благословения того же Симона некоторые земли новгородского духовенства и обложил остальные тяжелым посошным тяглом. Наконец, еще через три года (1503), под невинным предлогом — решил вопрос о судьбе вдовых попов — собран был духовный собор. На нем, после того как разъехались самые видные защитники интересов духовенства, неожиданно для всех Нил, а с ним "пустынники белозерские", его ученики, "начали говорить, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием". Это была бы, другими словами, полная секуляризация монастырских имуществ в России. Очевидно, русские "исихасты", более умеренные в своих религиозных мнениях, не считали еще в то время нужным прибегать к компромиссам в практической программе: с ними был сам великий князь.

Партия старины переполошилась. Послали наскоро за волоколамским игуменом Иосифом, вождем староправославной партии, уехавшим с собора раньше его окончания. Не дожидаясь его приезда, митрополит послал к великому князю своего дьяка с письмом; потом явился сам с московскими духовными сановниками и прочел Ивану доклад, в котором многочисленными цитатами, правда, не всегда добросовестно приведенными, доказывалась если не нравственная справедливость и законность, то историческая древность и юридическая правильность вотчинного монастырского владения. Перед примерами древности, а еще

больше перед практическими неудобствами радикального решения великому князю пришлось отступить, — а вместе с тем и союз с "нестяжателями" потерял для него всякое практическое значение. Тут, кстати, проснулась и совесть. Иван III призвал к себе Иосифа Волоколамского, признался ему, что до тех пор, действительно, поддерживал еретиков, обещал расследовать дело и окончательно искоренить ересь. Партия "нестяжателей", однако, не сразу сдалась: это видно из новых колебаний и проволочек Ивана. Смущенный, очевидно, новыми аргументами "нестяжателей", он снова зовет Иосифа, чтобы спросить у него, "как писано: нет ли греха еретиков казнить"? Сподвижник Геннадия не затруднился, конечно, подобрать примеры и цитаты, чтобы рассеять опасения великого князя. Но дело все-таки тянулось. После тщетных напоминаний Ивану III Иосифу пришлось вступить в литературную полемику с нестяжателями, чтобы опровергнуть сомнения, смущавшие великого князя. Волоколамский игумен решительно утверждал, что "грешника или еретика — все равно, руками ли убить, или молитвой". Нестяжатели иронически предлагали Иосифу самому попробовать над еретиками одно из описанных им чудес и напоминали, что Евангелие запрещает осуждать ближнего. Этот первый на Руси публицистический спор кончился не в пользу новаторов. В 1505 г. собран был собор, который удовлетворил всем желаниям защитников старины. Новгородская ересь была искоренена жестокими казнями. Так кончилась история религиозного вольнодумства эпохи Ивана III.

В княжение Василия III борьба новых идеологий со старыми привычками принимает новые формы. Наученные опытом, нестяжатели не защищают более прежних позиций. Преемник Нила, Вассиан рисуется нам человеком менее глубоким и менее знающим, чем Нил, но зато более практичным, более близким к жизни. Он не хочет жертвовать действительностью теории и защищать радикальные меры только потому, что они логические. Практика жизни требовала компромисса, и Вассиан предложил компромисс. Он не отрицал больше за монастырями права владеть землями, но старался только доказать, что не следует владеть людьми. С своей стороны и партия Иосифа сделала уступку; она признала за светской властью право контроля над употреблением монастырских имуществ. На этот раз, однако же, спор вышел далеко за прежние пределы. К чисто религиозным теориям оппозиции присоединился элемент политический: он-то и решил окончательно судьбу русского религиозного вольнодумства.

Пока нестяжателей обвиняли, более или менее основательно, в тайных симпатиях и сношениях с новгородскими еретиками, государственная власть могла смотреть на это сквозь пальцы и продолжать пользоваться услугами партии для своих целей. Но если заподозревалась политическая благонадежность

религиозной оппозиции, это уже было дело другое. Естественно, что противники нестяжателей воспользовались первым случаем, чтобы придать своему спору с ними политическую окраску. Подходящий случай представился в первые же годы княжения Василия III (1507-1509).

Монастырь Иосифа был расположен в Волоколамском уделе. Местный удельный князь, Федор Борисович, соблазнившись примером Ивана III, стал претендовать на свою долю в имуществе и казне монастырей своей области. Спасаясь от его вымогательств, Иосиф передал свой монастырь в непосредственное заведование великого князя. Жаловаться на такой поступок Иосифа в тогдашней Руси было некому. Волоцкий князь нашел, однако, косвенный способ отомстить Иосифу. Дело в том, что непосредственным начальством Иосифа был новгородский владыка, и Иосиф не мог передать своего монастыря в чужую епархию без его благословения. Если он так поступил, то, очевидно, лишь потому, что хорошо знал тогдашнего новгородского владыку Серапиона и не мог рассчитывать на его поддержку. "Под влиянием дружественно расположенных к нему новгородцев, а может быть, и по собственному чувству справедливости, — замечает один исследователь, — Серапион не мог сочувствовать тому, что удельный князь был лишен права владеть богатым монастырем, который достался "державному", и без того готовому не ныне-завтра воспользоваться последним уделом своего двоюродного брата". С другой стороны, Иосиф имел полное основание не опасаться никаких возражений против совершившегося факта ни со стороны князя, ни со стороны епископа. "Об этом (благословении епископа) не забудьте, — говорил сам Василий посланцам Иосифа, — а Иосифу скажите, что *не он* отошел из архиепископии новгородской, а *я сам* взял монастырь от насилия удельного; когда же окончится земская невзгода, я сам пошлю об этом к архиепископу".

Серапион ждал этой "посылки" от князя два года и не дождался. Тогда, подстрекаемый полоцким князем, он предпринял решительный шаг: отлучил Иосифа от священства и от причастия. "Ты отступил от небесного и пришел к земному", — писал он в своей неблагословенной грамоте Иосифу.

"Дело приняло политический оборот", — замечает тот же исследователь. Грамоту Серапиона перетолковали по-своему: onde в ней небесным назвал князя Федора, а земным великого самодержца. В этом увидели новгородский дух, крамолу. Московский митрополит поспешил разрешить Иосифа от отлучения, произнесенного над ним новгородским владыкой. Серапиона вызвали в Москву, лишили священства и заключили в Андроников монастырь. Это не заставило его, однако, отказаться от защиты правого дела. Из своего заключения он пишет митрополиту послание, в котором не просит об облегчении своей участи, а развивает те аргументы, которых не хотел выслушать осу-

дивший его собор, и заявляет во всеуслышание, что ему "не бояться в правде ни князя, ни народной толпы... так как писано: правдою пред цари глаголах — и не стыдихся".

Такое поведение низложенного епископа произвело впечатление даже в тогдашней Москве. У Серапиона нашлись поклонники и в Новгороде, и в столице, особенно среди бояр. Сторонники Иосифа были смущены и один за другим обращались к нему с просьбами — помириться с Серапионом. Иосиф отвечал на это рядом писем к друзьям, в которых не только не признавал себя виновным, а, напротив, резко нападал на своего противника и подыскивал теоретическое оправдание. В этих-то письмах Иосиф откровенно подчеркнул политический характер всего дела и этим окончательно определил положение, которое заняла его собственная партия в начавшейся политической борьбе.

"Священные правила повелевают о церковных и монастырских обихах приходить к православному царям и князьям". "От меньших царей и князей всегда и везде духовные лица обращались к большиим". По их примеру и он, Иосиф, бил челом тому, "кто не только князю Федору, но и архиепископу Серапиону и всем нам общий всей русской земли государь", его "Господь Бог устроил вместо себя и посадил на царском престоле, предав ему суд и милость и вручив и церковное, и монастырское, и власть над всем православным государством и всей русской землей. Если бы я иному государю бил челом, то поступил бы дурно". Напротив, Серапион "во всем противно чинил божественным правилам". "Порассуди ты Серапионов ум, чем бы ему бить челом на соборе государю православному и самодержцу всей Руси, да преосвященному митрополиту, он стал спорить с государем и с святителями. А божественные правила повелевают царя почитать, не ссориться с ним. Ни древние святители не дерзали этого делать, ни четыре патриарха, ни римский папа, бывший на вселенском соборе. Когда царь на кого гневался, то они, с кротостью, со смирением и со слезами молили царя". Поэтому только "неразумные, скоту подобные люди" могут поощрять Серапиона: "ты-де, государь, стой, лица сильных не срамись: стой крепко". Словом, Иосиф развивал известную нам теорию "благонаученного коварства".

С теорией нестяжателей, которую проводил на практике Серапион, этот взгляд, действительно, представлял полный контраст. Нестяжатели хотели, чтобы церковь стояла выше государства, а для этого она, прежде всего, должна была быть независимой от него. Источник зависимости — собственность; отказ от собственности должен обеспечить пастырям независимость от преобладающей власти: только при таком условии они получают возможность обращаться к власти не с собственными "обидами", а с "печалованием" о неправдах мира. Простого сопоставления этой точки зрения со взглядами, которые защищал Ио-

сиф, — достаточно, чтобы угадать, на чью сторону должна стать московская власть.

Иосиф, правда, вовсе не даром предлагал этой власти религиозную санкцию духовенства. Тем же случаем с волоцким князем он воспользовался, чтобы показать свидетельствами "писания", к каким последствиям ведет вмешательство властей в неприкосновенность монастырских имуществ. Он выводил из грозных примеров прошлого, что "не только власть отнимает Бог у похитителей церковного и монастырского имущества, а и душу берет у них страшными, лютыми муками". Он требовал, другими словами, чтобы московское правительство оставило монастырские имущества в покое.

На этом пункте власть готова была идти на уступки. Еще Иван III принужден был отказаться от полной секуляризации духовных имуществ. Василий III ограничился простым контролем, против которого ничего не имел, как мы знаем, и сам волоцкий игумен. На этих условиях состоялся окончательный союз между "иосифлянами" и властью.

Нестяжатели с своими возвышенными стремлениями были отброшены в оппозиционный лагерь. Из кого этот лагерь состоял, видно из только что рассказанной истории с Серапионом. К нему примыкало все то, что еще уцелело вопреки суровым мерам Ивана III от новгородского духа. Надо признать, что это были уже одни только жалкие обломки. Потом здесь были остатки — уже несколько лучше сохранившиеся, хотя и немногим более живучие — удельно-княжеской власти, с которой предстояло расправиться окончательно Ивану IV. Было бы, однако, неправильно заключить, что вся оппозиция XV в. состояла исключительно из этих развалин древности. Был тут и элемент, не просто отрицавший новый порядок, устанавливавшийся в Москве, а и стремившийся по-своему приладиться к этому порядку, требовавший в нем места для себя. *Бояре* — не только те, которые давно уже жили в Москве, а и те, которые в нее только что приехали с своих удельно-княжеских престолов, — жили не прошлым, а настоящим, и в настоящем хотели устроиться как можно для себя удобнее.

От своих прародителей XIV в. московские князья XV и XVI вв. получили завет "слушаться старых бояр". Теперь состав этих бояр сильно поднялся и качественно, и количественно; вместе с тем чрезвычайно расширился и круг их деятельности. Боярский совет сделался необходимым учреждением в государстве, а кучка правительственных лиц, участвовавших в этом совете в удельную эпоху по служебной обязанности, превратилась в целый общественный класс, смотревший на роль советников государя как на свое политическое право.

Со стороны московского князя эти претензии на первых порах не только не встретили никакого отпора, но, напротив, послужили лишним ресурсом для формирования нового государ-

ственного строя. Бояре сделались одним из самых эффектных его украшений. Когда Иван III получил из Литвы грамоту от "всех князей и панов рады" Литовского княжества с необычным для него обращением: "братьям и приятелям нашим, князьям и панам рады великого князя Ивана Васильевича", — он не захотел ударить в грязь лицом перед своими учителями в государственном праве. Русские князья и бояре получили приказание приложить свои печати к ответу, написанному в княжеской канцелярии. А чтобы в другой раз литовские "паны рады" не имели повода отговариваться незнанием имен московских бояр и "мест, где кто сидит подле кого в раде государя", в грамоте выписывались и имена и небывалые титулы московских советников князя: "от князя Василья Даниловича, воеводы московского, и от князя Данила Васильевича, воеводы великого Новгорода, и от Якова Захарьевича, воеводы Коломенского" и т.д. Таким образом, стремление подражать соседям само по себе уже возвышало московский боярский совет на степень правильного организованного государственного учреждения. С той же точно целью и сам Иван скопировал свой собственный титул с польско-литовских грамот. Но помимо этих казовых эффектов Иван, несомненно, ценил свою думу и как действительно полезное учреждение при усложнившихся государственных задачах. Недаром он оставил по себе хорошую память даже в таких приверженцах правящего сословия, как князь Курбский. По мнению Курбского, Иван III потому "так далеко границы свои расширил, великого царя ордынского изгнал и юрт его разорил", что "много советовался с мудрыми синклитами, был любосовестен и ничего не починал без глубочайшего и многого совета".

Однако уже при Иване III в эти отношения закрадывается диссонанс, который скоро разрастается в принципиальное противоречие. Сознание этого противоречия растет по мере роста известных уже нам национально-политических идеологий. Чем полнее развивалась теория самодержавной власти, тем несовместимее с нею казалось "любосовестное" настроение прежних князей. Но мы должны здесь особенно подчеркнуть, что *и с противной стороны*, со стороны боярства — ход событий развивал *совершенно новые идеологии*, еще более обострявшие только что указанное противоречие.

Конечно, силы с двух сторон были далеко не равны. Наступать приходилось только одной стороне, а другой оставалось обороняться. Вот почему слабейшая и побежденная сторона — боярство — сама привыкла представлять свою идеологию по преимуществу оборонительной, а идеологию своих противников — государей по преимуществу, агрессивной. Она готова была обвинять московского великого князя в "переставливании обычаев", а себя изображать защитницей старины. Мы, однако, сделаем большую ошибку, если поверим ей на слово. В действительности, старины не существовало более ни для одной из сто-

рон, — хотя обе они старались доказать, что историческая традиция на их стороне.

Право "совета" в государственных делах — таково было исходное желание боярского класса. По его представлению, бояре имели это право давно; все дело было в том, чтобы сохранить его и при новом порядке. "Земля замутилась", по их понятию, лишь с тех пор, как на Москву пришла "цареградская царевна" (Софья); только с этого времени стало все труднее и рискованнее "говорить навстречу державному". Все это было совершенно верно. Но так же верно было и то, что прежде и тем для таких "встречных" речей было гораздо меньше, и такие речи не считались *правом*, а тем более *исключительным* правом известного общественного класса. Только тогда, когда обсуждение государственных дел, усложнившихся по составу и увеличившихся в количестве, сделалось постоянным занятием известного круга лиц, — только тогда всякое отклонение, всякая попытка обойти этот круг или выйти за его пределы стала чувствоваться членами сплотившегося круга как обида. Обидой для боярства было, когда "советником" князя (не только по положению, но и по титулу) становился какой-нибудь Шигона Поджогин и когда с такими людьми князь думал свою думу "сам-третьей у постели". Обидно стало, что князь "зело верит писарям, а избирает их не от шляхетского роду, ни от благородного, но паче от поповичев или от простого всенародства, — и то творит, ненавидячи вельмож своих". И эта "обида", с одной стороны, и эта "ненависть" с другой — были явлением новым, произошедшим оттого, что пришлось делить то, что раньше не делилось.

Итак, мы имеем здесь дело не с борьбой старого отживающего и нового нарождающегося порядка, а с борьбой двух родившихся в новом строе политических идеалов, правда, далеко неравносильных, за осуществление в будущем. Вполне сознательно и отчетливо эти идеалы формулируются только в третьем поколении после начала борьбы, в знаменитой переписке Грозного с Курбским.

"Отчего же государь и *самодержец* называется, как не оттого, что сам строит", — спрашивает своего противника Иван IV? Иностранные государи "царствами своими не владеют, как им велят подданные их, так и владеют". Потому и погибли эти царства, что "цари были там послушны епархам и синклитам, если царю не повинуются подвластные, никогда не прекратятся в стране междоусобные брани". По настоящему, "земля правится не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами, а Божием милосердием, всех святых молитвами, родителей наших благословением, а напоследок и нами, государями своими".

На такую точку зрения никак не хотел стать первый русский эмигрант, добровольно покинувший "неблагодарное, варварское, недостойное ученых мужей", но все-таки "любимое отечество". Он вовсе не признавал, что "Бог отдал в работу" его

предков — предкам "великого князя". Для него это был просто "издавна кровопийственный род", основавший свою власть на праве сильного. Политическим идеалом Курбского было двоевластие царя и "избранной рады". Царь должен быть главой, а его советники — членами одного тыла. Впрочем, князь-публицист не ограничивался желанием, чтобы участвовали в "совете" члены его собственного сословия. Он шел дальше. "Царь должен искать доброго полезного совета не только у советников, но и у всенародных человек". Негодяя, как мы видели, против "писарей", вознесенных державным на неподобающую высоту, он ничего не имел против такого члена "избранной рады", каким был нечиновный дворянин Адашев.

Таков был характер той политической оппозиции, с которой религиозная оппозиция XVI в. вступила в идейный союз. Мы оставили эту оппозицию в начале третьего периода ее существования, когда, переставши быть еретической (в смысле жидовствующих) и радикальной (в смысле Нила), она вступила, в лице Вассиана, в компромисс с требованиями действительности. Именно эта близость Вассиана к практической жизни, однако, поставила его лицом к лицу с тогдашней политической действительностью. Постриженный представитель опального княжеского рода (Патрикеевых), он на себе самом испытал всю тяжесть устанавливавшегося в Москве политического режима. Не увлекаясь никакой политической теорией, не пытаясь создать никакого политического идеала, он, тем не менее, не мог не отзываться на политическую злобу дня, тем более что был одно время близок к царю Василию и пользовался большим влиянием при дворе. "Печалование" к "державному" было единственной формой, в которой князь-инок и его единомышленники могли высказать свой протест против возмущавших их событий современности. Естественно, что за это право прогрессивное духовенство так же крепко держалось, как бояре за аналогичное право "совета". Такое сходство положения само по себе сближало нестяжателей с недовольными из бояр, тем более что им нечего было делить друг с другом. Конкурентами в сфере замлеводства были для бояр не нестяжатели, а их противники, защищавшие вотчинное владение монастырей; а влияние на власть — нестяжатели хотели иметь только нравственное.

Как проявлялась на практике политическая оппозиция нестяжателей при Василии III и к каким последствиям она приводила, можно видеть из следующего примера. В 1523 г. северский князь был оклеветан в переписке с Литвой и заключен в Москве в тюрьму, несмотря на письменное ручательство в безопасности, данное ему великим князем и митрополитом Даниилом (осифлянином). Митрополит, "взявший его на образ Пречистая, да на чудотворцев, да на свою душу", сам первый радвался поимке "запазушного врага" государя. Нестяжатели

взглянули иначе на поступок князя и митрополита. Они не только осуждали этот поступок в разговорах между собой (впоследствии послуживших одним из поводов к обвинению Максима Грека), но один из них, трицкий игумен Порфирий, "яко муж обычаев простых и *в пустыне* воспитан", решился "молить" государя, "да освободить брата ... от оков"... Он был за это изгнан из монастыря и замучен. В тот же самый год очередь дошла и до Максима, идеалиста, присоединившегося во имя евангельских требований ко всей религиозной программе нестяжателей, — к их борьбе против монастырского сребролюбия, к их "печалованиям", — и терпеливо выслушивавшего их жалобы на печальную политическую действительность, не только дикую и чуждую, но и малопонятную для ученика Савонаролы. Максим был осужден за мнения своей партии гораздо больше, чем за свои собственные. Через шесть лет за ним последовал в заточение и сам Вассиан.

Итак, и третье поколение оппозиционеров сошло со сцены бесплодно для того дела, которое защищало. Брошенные ими семена, однако, не заглохли сразу. Напротив, в четвертом поколении, — даже если мы оставим в стороне такие вершины политической мысли, как Курбский и Иван Грозный, — оппозиционная теория разрабатывалась дальше, так же как и теория самодержавия. Точку зрения Грозного развил и защищал новыми аргументами Ивашка Пересветов, в своем известном памфлете: "Сказание о Петре, волошском воеводе". Ему отвечал, развивая политические теории Курбского, — неизвестный нам автор так называемой "Беседы Валаамских чудотворцев, Сергия и Германа".

Царь должен быть "грозен и самоупрямлив и мудр без вопрошания"(то есть без чужих советов): тогда только "Бог покорит недругов под ноги его и он будет обладать многими царствами". Таково основное положение, лежащее в основе всех дальнейших рассуждений Ивашки Пересветова. Первое последствие этого положения — то, что совет с "приятелями", вельможами — может только ослабить силу царской инициативы. Вместе с самим Иваном IV Пересветов все государственные бедствия склонен выводить из одной причины: из того, что "вельможи своим чародейством привратили к себе сердце царево и научили его во всем волю свою творити". Отсюда "умалилась правда в московском государстве". Разбогатевшие и обленившиеся вельможи "цветно, конно и людно выезжают на потехи", а когда выезжают на битву, то травят людей и теряют войско, благодаря своей трусости. Держа за собой города и волости в кормленье, вельможи богатеют от слез и от крови крестьянской. Они подбрасывают мертвецов в дома богатых людей и в села, чтоб потом разорить подсудимых неправым судом. Они делятся со сборщиками податей, позволяя им за то "собирать деньги без пощады, мучить крестьян: и брать на царя десять

рублей, а себе сто". Словом, творя волю вельмож, царь "напускает тем лишнюю войну на царство". К нему самому — доступа нет, так как те же вельможи "отбивают от него мир с челобитными". Необходимо устранить этих подозрительных посредников между царем и народом. Действовать мимо них, обратиться прямо к самому народу с лобного места — таков прием Ивана IV; такова же и теория его защитника. При таком настроении, обличение властелинских неправд превращается под его пером в широкую картину социальных зол, от которых страдает Русь и от которых она может быть освобождена только прямым вмешательством царской власти. К этой черте "Сказания" мы скоро вернемся.

Монархическая теория автора, назвавшегося Пересветовым, не осталась без ответа и вызвала со стороны московских конституционалистов XVI в. резкое возражение. Это возражение, вместе с собственной программой партии, развито в любопытном памфлете, написанном каким-нибудь почитателем Вассиана. Памфлет этот интересен, прежде всего, тем, что автор его открыто соединяет теории нестяжателей с теориями оппозиционного боярства. Устами святых "чернцов" Сергия и Германа составитель "Беседы", ведущейся от их имени, — развивает целую теорию, в которой самым своеобразным образом сливаются и перемешиваются идеи религиозной оппозиции с идеями оппозиции политической, — Нил Сорский с Курбским.

"Напрасно думают многие (это возражение направлено прямо по адресу Пересветова), что Бог сотворил человека на свет *самовольным*. Если бы Он создал его самовластным, тогда не устави бы царей и прочих властей и не отделил бы государство от государства". Автор согласен, что государство создано "на воздержание мира сего для спасения душ наших". Но для этого недостаточно, чтобы государи были "грозны". Всего они не могут сделать личными усилиями. Они должны искать совета, и именно совета *мирских людей*. На деле же государи последних времен оказываются "просты": они воздерживают мир *не с своими приятелями, с князьями и с боярами*, а с "непогребенными мертвецами" — с монахами. Монахи — люди, отрекшиеся от мира, — владеют волостями с крестьянами, судят мирян и отдают их на поруки; они кормятся крестьянскими слезами, собирая в свою пользу всякие царские доходы с волостей, точно царские мирские приказчики. Наживая богатые палаты, они губят душу; и мир не церемонится с духовным саном, — с бродящими по миру священниками, потерявшими свои места. Чтоб поднять духовный авторитет, необходимо, во-первых, собирать все доходы с земель в казну, а духовенству выдавать ежегодное урочное содержание; во-вторых, отдать под начало в монастыри всех бесприютных духовных. Тогда мир будет строиться и царство утверждаться иноческим постом и молитвами, непрерывными слезами и молитвостоянием. Иноки будут забо-

тяться о том, чтобы всякий человек везде и повсюду ежегодно говел, чтобы царю не быть в ответе перед Богом за души подданных. Царь же правит сам с своими властями: "совет совещает с советниками о всяком деле". Советниками должны быть "князья и бояре и прочие миряне". В приложении, которое некоторые ученые — неосновательно, как нам кажется, — приписывают другому автору, наш публицист приводит обе свои мысли — о спасении душ посредством ежегодного покаяния и об устройстве всяких государственных дел посредством совета мирян — в весьма оригинальную связь. Царь не своей личной храбростью, а разумом своего славного воинства крепит и распространяет свою державу. Поэтому духовенство должно благословить царя "на единомысленный вселенский совет". А царь должен "с радостью, без высокоумной гордости, с хриstopодобной смиренной мудростью воздвигнуть от всех градов своих и от уездов городов тех и беспрестанно держать при себе погодно ото всяких мер всяких людей и на всяк день их добре распротить царю самому о всегоднем посту и о каянии всего мира и про всякое дело мира сего". Таким образом, "царю всегда будет ведомо про все дела его самодержавства", и он сможет скрепить от греха все власти и воевод и приказных людей: от взятки и посула и от всех бесчисленных властелинских грехов, словом, от всякой неправды¹. Те же "всегодные постные люди" обеспечат царю и ежегодное всеобщее покаяние, так что сохранены будут и души, и тела.

Одним развитием оппозиционной *теории* дело, однако, не ограничилось. Есть все основания думать, что только что изложенная "Беседа Валаамских чудотворцев" явилась лишь запоздалым литературным выражением мнений, которые русская оппозиция XVI в. пыталась уже ранее осуществить на практике.

Можно было ожидать, по-видимому, что такая попытка будет сделана во время боярского правления после смерти Василия III. Но регентство Елены оказалось не особенно благоприятным моментом для осуществления оппозиционных идеологий. Зато тем удачнее сложились обстоятельства в конце этого смутного десятилетия, при вступлении Ивана IV. Это было то время, которое Курбский разрисовал в таких розовых красках и про которое Иван Грозный говорил с таким раздражением, как о времени, когда Сильвестр с Адашевым "все строения и утверждения по своей воле и своих советников хотению творили", когда ему оставили только имя и честь, а всю власть государя присвоили себе.

Идея духовного и земского "вселенского совета" или собора была в это время осуществлена в действительности; и программа вопросов, представленных царем на первый из соборов, во

¹ И здесь заключается косвенный ответ Пересветову, предлагавшему для искоренения "неправды" другие меры. См. ниже.

многих случаях близко напоминала идеи автора "Валаамской беседы". На первом плане стоял здесь вопрос о монастырских имуществях, но за ним тотчас возникал другой, не менее серьезный для государства вопрос о форме вознаграждения за военную службу, то есть о служилых землях. С монастырской собственностью связан был, как мы знаем, вопрос о правах и о внутренней дисциплине духовенства. В этом последнем вопросе автор "Беседы" далеко не разделял широких взглядов Курбского. Новые моды с Запада и с Востока, новый костюм и прическа, новое убранство комнат, новая манера петь в церкви и писать иконы, то есть новые направления в церковной живописи и музыке, все это приводило в большое смущение; на все это он обращал внимание власти и ее советников.

И из других источников мы знаем, что только что очерченный на основании "Валаамской беседы" круг вопросов сильно занимал "избранную раду" Ивана IV накануне созыва соборов. Прежде всего, молодые реформаторы вспомнили своих старых вождей. Голос из тюрьмы Максима и другой голос друга нестяжателей, Артемия, вскоре сосланного в Соловки, — первые раздаются по призыву Сильвестра и Адашева. Оба, разумеется, сочувствуют реформе: Артемий намекал даже на возможность радикального разрешения вопроса о монастырских имуществях в духе Нила Сорского.

Но время радикальных решений прошло или, лучше сказать, не наступило. Митрополит Макарий, несмотря на свою мягкость и привычку всем делать приятное, в этом случае оказался верен заветам своей alma mater Волоколамского монастыря и подал — по обыкновению, чужими словами (митрополита Симона на соборе 1503 года) — решительное мнение против радикальной постановки вопроса на предстоявшем соборе. За ним высказались и еще несколько лиц не в пользу затей молодой партии; так что еще до созыва собора ясно было, что дело кончится полумерами. Не вызывал особенных надежд и самый состав собравшегося в Москве духовного собора (так наз. Стоглава). Из девяти его членов только один (Вассиан) известен своими передовыми мнениями, за то предание и украсило его биографию самыми внушительными подробностями, вроде того, что у него рука отнялась, голова повернулась назад и т.п. Трое (кроме Макария) были "осифляне", то есть явные противники реформы.

На деятельности собора мы здесь не можем останавливаться. Скажем только, что по отношению к вотчинным правам монастырей дело ограничилось некоторыми мерами государственного контроля над монастырским судом и финансовой администрацией. Зато новомодные мурмолки ("тафьи безбожного Магомета") подверглись жестокому гонению, так же как и модные иконы и бритые бороды. Гораздо важнее были государственные меры, принятые в интересах служилого сословия. Наградить

генералов за службу и обеспечить быт офицерства — это был настоящий лозунг времени, который так выдвигал вперед Курбский и на который так нападал Грозный.

В интересах того же офицерства созваны были и первые русские земские соборы. Теперь доказано, что первые соборы не были ни собранием настоящих представителей, ни выражением мнений всей земли, — каким хотел бы видеть подобный собор автор Валаамской беседы. Государство созвало своих слуг, занимавших известные должности, и потребовало от них не столько их вотума, сколько простой экспертизы — в виде ответа на определенно поставленный вопрос об их служебной годности в данный момент. Таким образом, оказывается, что в момент первого появления такого, по-видимому, интересного учреждения — историку русских общественных движений с ним нечего делать. Оно завершает собой, как и другой, духовный собор, оппозиционное движение целого полувека, сводя к минимуму его результаты. Именно потому с этих соборов не приходится начинать никакого нового движения.

Впрочем, оговоримся. Приняв с такой решительностью под свою защиту интересы одного класса (надо прибавить: не того, который был в силе в данный момент и сила которого вскоре оказалась такой непрочной, то есть боярства, — а того, которому принадлежало будущее, то есть дворянства), московское правительство этим самым готовило себе новую оппозицию, наименее идеологическую и наиболее опасную — даже тогда, когда она проявлялась не активно, а пассивно. Это была оппозиция социальная — оппозиция крестьян и холопов.

Первые признаки такой оппозиции являются еще раньше соборов и раньше сознательного и систематического классового законодательства. Собственно, во всей этой полемике против монастырского владения землей и людьми, рядом с морально-религиозными и политическими побуждениями, все время громко звучит также и социальная нотка. Разумеется, особенно сильна она у пустынножителей, как у таких противников монастырской собственности, которые не принадлежат сами к числу рабовладельцев и нападают на "иноков" не как на опасных конкурентов служилого землевладения, а принципиально. Максим Грек — самый умеренный в своих политических взглядах и отвлеченный в своих моралистических суждениях — в данном случае выступает с самым резким и бесповоротным осуждением. "Где писано, — спрашивает он, — чтоб (угодившие Богу иноки) давали деньги взаймы, вопреки правилам закона или чтобы они вымогали у убогих проценты на проценты? А мы позволяем себе делать это с бедными селянами, трудящимися и страждущими без отдыха в наших селах и на всех наших службах, отягчая их высоким ростом и разоряя, когда они не могут отдать долга... Ты истязуешь человека и расхищаешь жалкое его стяжаньице; ты го-

нишь его, вместе с женой и детьми, прочь из своих сел с пустыми руками или поработаешь вечным поработанием, как древний мучитель фараон — сынов израилевых. Если, изнемогши от тягости налагаемых нами беспрестанно трудов, он захочет переселиться куда-нибудь в другое место, мы его не пускаем без уплаты установленного оброка, — забыв о бесчисленных трудах его, и страданиях, и о поте, пролитом для необходимых нам услуг в течение стольких лет, проведенных в нашем селе. Что может быть мерзче этого, брат мой, что может быть бесчеловечнее?”

Всякий, кто стоял ближе к тогдашней русской жизни, чем Максим, — не мог не чувствовать, что тяжесть этих обличений падет не на одно монастырское землевладение и рабовладение. Любой мелкий помещик и крупный боярин делал в своих селах то же самое. Поэтому, когда автор Валаамской беседы, повторяя Вассиана и Максима в своих обличениях “иноков, кормящихся мирскими слезами”, — в то же время тщательно выгораживает из этих обличений светское землевладение, это уже кажется или крайним ослеплением, или просто недобросовестностью; во всяком случае, это крайне непоследовательно. Конечно, не одни иноки кормились мирскими слезами; не одними их притеснениями объяснялся тот пассивный протест населения, на который намекал Максим в приведенных выше словах. Автор беседы еще ярче характеризовал его в форме пророчества: “Будет пустеть, никем не гонимы, в волостях и селах дома крестьянские, люди начнут умирать, и земля начнет пространнее быть, а людей будет меньше, — и тем оставшимся людям на той пространной земле жить будет негде”. И если автор Валаамской беседы, как на единственный радикальный исход, мог указать на взятие всех монастырских земель в казну и на уплату монастырям ежегодно жалованья, то вполне последовательно было предложить *распространить ту же меру и на служилое землевладение.*

Так и ставит вопрос о вознаграждении служилого сословия известный нам памфлет Ивашки Пересветова, к социальной стороне которого мы теперь возвращаемся. Автор резко подчеркивает, прежде всего, именно те бедствия низших классов, которые вызваны господством боярской партии. Он утверждает, что вельможи, завладев царством, “не дают управы на сильных — бедным и беспомощным. Слабому человеку невозможно ни в городе жить, ни от города хоть за версту отъехать. Поэтому многие, чтобы избавиться от бед, отдаются во дворе к вельможам. А Бог не велел друг друга поработать; Бог *сотворил человека самовластным* и повелел ему быть самому себе владыкой, а не рабом. Мы же берем человека в работу и записываем его навеки”. Исход, по мнению нашего автора, может быть только один: “Такой сильный государь, как царь русский, должен со всего царства доходы брать прямо себе в казну, а из каз-

ны платить военным и гражданским чиновникам ежегодное жалование, чем им можно прожить с людьми и с конями с году на год". За военные заслуги царь должен награждать, к себе близко припускать, жалобы их позлащать и тем сердца их утешать. Тогда и 20 000 воинов будут сильнее, чем 100 000 при действующем порядке; тогда и *вельможи перестанут* "неправедным собиранием богатеть, да родами считаться, да местами местничаться и тем цареву воинство ослаблять". Имея в своих руках "воинство", царь уже сможет *"вельмож своих всячески искушать и боярами своими тешиться, как младенцами;* вельможи начнут его бояться и ни с какими злохитростями не дерзнут к нему приблизиться".

Мы видим, дальше чего не идет демократизм защитника политики Грозного в его критике социальных условий тогдашней русской жизни. Он на стороне "бедных и беспомощных" — лишь в очень условном смысле слова. Он не на стороне крестьян против их владельцев, а на стороне "воинства" против "вельмож". Он, правда, не прочь посоветовать правительству — вступить в прямые отношения к крестьянам, минуя их господ, но с тем, чтобы интересы этих господ — поскольку они суть интересы службы, следовательно, совпадают с государственными интересами — были обеспечены. А если окажется, что прямых сношений с крестьянами на этих условиях установить нельзя, то государственная власть ни на минуту не усомнится отдать "самовластного человека, владыку самого себя" своему "воинству" "в работу навеки".

Впрочем, все это выяснилось только с течением времени, по мере хода событий. Какова бы ни оказалась положительная сторона монархически-демократической программы, — ее главный, очередной интерес сосредоточивался на отрицательной стороне: на борьбе против вельмож и приписанных им социальных бедствий, на кого бы они ни падали. Борис Годунов озабочился даже наглядным образом пропагандировать эту программу, заказавши расписать Грановитую палату картинами, в которых царь изображен был то "кручинящимся" от "крамолы вельмож", то вручающим судье праведному — меч отмищения. Тут же вдвигая просила управы на обидящего вельможу и т.д. Это было — живописным ответом на более раннюю (1552) роспись соседней Золотой палаты, где не была забыта ни "избранная рада", ни даже Сильвестр — высший источник царевой мудрости, уподобленный здесь Варлааму известной притчи (о Варлааме и Иосафате). Так и искусство приняло участие в полемике политических партий XVI в.

В итоге, мы видим, что социальный вопрос разрабатывается в XVI в. в двух направлениях: сперва (именно у нестяжателей и их сторонников) в направлении религиозно-моралистическом, потом (в руках такого официозного памфлетиста, как Пересветов) в направлении политическом. То и другое направление не

могло принести для его решения никакой пользы, так как оба пользовались социальным вопросом лишь как средством борьбы друг против друга. Социальная же оппозиция в собственном смысле сосредоточивалась в таких общественных "слоях", которые не могли формулировать никакого социального "вопроса". Когда она выступила сама от своего имени — это выступление получило не форму теории, а форму поступков.

Один из таких поступков отметил уже автор "Валаамской беседы", предсказав от лица святых, что "люди начнут умирать и земля начнет пространнее быть". Действительно, по мере того, как исполнялась мечта московских публицистов, расширялись пределы государства — особенно на восток и на юг, — все многочисленнее начинали становиться побеги от московских порядков на привольные окраины. В последнюю четверть века эти побеги сделались массовыми и стали грозить чуть не полным обезлюдением старого государственного центра. Владельческому хозяйству центра грозил полный разгром, — и правительственная власть, смотревшая вначале на беглецов как на пригодный для своих целей колонизаторский элемент, в конце концов принуждена была отождествить свои интересы с интересами хозяев — служилых людей. При этих условиях не могло быть и речи о проведении намеченной Пересветовым идеи демократической монархии, о защите самодержавной властью "автономии личности" от покушений правящего сословия на ее свободу. Правительство ограничилось другой задачей — тоже не легкой, так как для ее осуществления понадобилась опричнина и крепостное право: задачей оградить "воинство" от тяготения над ним вельмож и от их конкуренции в сфере землевладения. Такова и была, в сущности, главная идея памфлета Ивашки Пересветова.

Социальная оппозиция не была, конечно, уничтожена одним тем обстоятельством, что правительство перестало о ней думать. Элементы этой оппозиции продолжали копиться на окраине; при первом случае они должны были напомнить о себе правительству. Случай представился в смутное время.

Любопытно, что знаменем для этого первого активного социального протеста послужил "истинный царь Дмитрий" — противоположность боярскому царю Василию. Законный наследник Грозного представлялся, очевидно, народной массе ее настоящим покровителем и защитником — *против* боярского кружка, мечтавшего, может быть, возобновить предания "избранной рады" Курбского. Идеи демократической монархии, как видим, сознательно предпочитались в народной массе тем конституционно-боярским идеям, во имя которых Василий Шуйский дал свою "запись" — не казнить без боярского суда и не прибегать к произвольным конфискациям имущества подданных. Теории Пересветова столкнулись, таким образом, в самой жизни с теориями "Валаамской беседы" — и оказались более популярными.

В этих теориях было, однако же, два оттенка, не совсем ладивших друг с другом на бумаге и еще менее соединимых в жизни. Они защищали против боярства, во-первых, *воинство*, во-вторых, порабощенное (не одними боярами, а также и тем же воинством) низшее сословие — *крестьян и холопов*. Оба эти элемента восстали теперь "на бояр за убийство Дмитрия и самовольное избрание Василия Шуйского". В рязанской земле восстало "воинство" — то есть служилые люди. В северской земле восстали беглые крестьяне и холопы, прогнанные боярами во время голода, или отпущенные из конфискованных у бояр домов, или просто бежавшие самовольно. Скоро оказалось, что оба элемента не могут действовать вместе и быть союзниками, так как и цели борьбы, и самая тактика были у них совершенно различны. Беглые холопы не интересовались простой сменой династии: вожди их рисовали им в перспективе целый социальный переворот. В своих прокламациях они "велели боярским холопам побивать своих бояр и сулили им жен, и вотчины, и поместья этих бояр, а безымянным бродягам велели купцов и всех торговых людей побивать и имущество их грабить. Призывая к себе этих воров, они обещали им и боярство, и воеводство, и окольниковство и дьячество". И действительно, при первых же успехах движения северные бунтовщики начали именем истинного царя Дмитрия "разорять дома своих бояр, грабить их имущество и брать себе жен; бояр и воевод они побивали разными смертями, бросали с башен, вешали за ноги, распинали на городских стенах" — словом, воспроизводили все те сцены, которые так хорошо известны из истории социальных движений XVIII столетия. Рязанские дворяне немедленно отступились от таких опасных союзников и вернулись к союзу с законной властью, которая затем уже не жалела казней против врагов общественного порядка. Целые два года правительство царя Василия вешало и топило "воров"; вся северская область была объявлена на военном положении и отдана на разграбление инородцам — черемисам и татарам.

Теперь наконец правительство почувствовало необходимость законодательного вмешательства в область социальных отношений, но сделало это отнюдь не в интересах "самовластия" личности. В 1607 г., непосредственно после восстания, мы встречаем целый ряд мер, общая цель которых — подчинить правительственному надзору боярских холопов и прекратить побег крестьян на окраину. Так кончилось первое проявление социального протеста против новых московских порядков.

Источники оппозиции против этих порядков были теперь сполна исчерпаны. Порядки оказались сильнее — и выставившихся против них идеологий, и даже противоречивших им социальных интересов. И если, при всем этом, эти идеологии успели достаточно ярко заявить о себе, то и этим они обязаны были, во-первых, тому, что порядки не успели еще установиться;

во-вторых, тому, что некоторые из этих идеологий принял под свою защиту царь, а другие единственный (кроме царской власти) сильный тогда социальный элемент — боярство. В XVII в. оба эти условия перестали действовать. Порядки установились окончательно, а боярство лишено было царской политикой всякого политического значения. Немудрено, что в XVII в. мы уже не найдем ничего подобного той борьбе разнородных политических начал, какую проследили в XVI в. Новые политические идеологии развиваются, так сказать, изнутри установившегося общественного порядка.

БИБЛИОГРАФИЯ

О религиозных движениях XIV и XV вв. на Балканском полуострове и на Афоне см. указанную раньше книгу Рэдченко и книгу Ф.И. Успенского, *Очерки по истории византийской образованности* (Одесса, 1892). Теория западного влияния на возникновение ереси в Пскове и Новгороде развита Н.С. Тихомировым в его "Сочинениях", *Отреченные книги древней России*, т. I, очерк шестой (М., 1897). Общий рассказ о религиозной и политической борьбе XV и XVI вв., поскольку она отразилась в литературных произведениях, см. в *Истории русской литературы* А.Н. Пыпина, т. II (СПб., 1898). Здесь и библиографические указания. Подробности о борьбе нестяжателей с осифлянами см.: И Хрущова, *Исследование о сочинениях Иосифа Санина* (СПб., 1868) и А.С. Павлова, *Исторические очерки секуляризации церковных земель в России*, "Записки Новороссийского университета", т. VII, (О., 1871). *Беседа Валаамских чудотворцев* издана В.Г. Дружининым и М.А. Дьяконовым (СПб., 1890). О подготовке Стоглавого Собора см. статью И. Жданова в "Журнале Министерства Нар. Просвещения", июль и август (1876). Специалисты заметят, что мы не совсем согласны с освещением фактов у автора и считаем две безымянные записки, поданные устроителям Собора, — принадлежащими не партии реформ, а ее противникам. О составе первого земского Собора см. статью В.О. Ключевского, *Состав представительства на земских соборах Древней Руси*, Русская мысль, январь (1890). Сказания Ивана Пересветова о царе турком Магомете и о Петре волшском воеводе напечатаны в *Известиях и ученых записках Казанского университета*, вып. 1 (1865). Указанная мною в тексте связь между обоими памфлетами должна быть принята во внимание при просмотре вопроса о времени их написания. Сказание Пересветова, несомненно, составлено тогда, когда вполне выяснился характер влияния Сильвестра на Ивана Грозного (чародейство), нет никакой необходимости думать, что все советы Пересветова даются им *post factum*, то есть тогда, когда Иван успел осуществить их учреждением опричнины. Идеи *Беседы*, во всяком случае, должны быть в обращении уже ко времени реформ 50-х годов. О тенденциозной росписи Золотой палаты — в духе Сильвестра — и Грановитой — в духе Ивашки Пересветова фактич. данные см. у Забелина, *Домашний быт русских царей*, 3-е изд. (М., 1895). О социальном протесте смутного времени см. С.Ф. Платонов, *Очерки по истории смуты в московском государстве XVI-XVII вв.* (СПб., 1899). Там же и все указания на источники.

III

ТОРЖЕСТВО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СМУТЫ

Торжество националистических идеологий. — Победа националистических идеологий во внешней политике: принятие царского титула и теория византийского преемства власти; приложение этой теории во внешних сношениях; ее распространение в широких кругах. Победа националистической программы внутренней политики. — Роль боярства и казачества в смуте: падение, вместе с ними, политической и социальной оппозиции и торжество служилого класса. — Роль "последних людей" в смуте. — Роль служилого класса. — Попытки действовать его именем и его собственное выступление. — Договор с Владиславом как первое выражение стремлений служилого класса. Значение прав, данных в договоре боярской думе: взгляд русских на своих бояр и польских магнатов. — Бессилие боярского временного правительства и подчинение его полякам; выступление "всей земли" в виде ратного совета при земском ополчении: договор совета с начальниками ополчения. — Его отношение к договору с Владиславом. Его обязательность для нового начальника второго ополчения, Пожарского. — Вопрос о его обязательности для нового царя: свидетельство Фокеродта. — Роль земского собора в первые годы Михаила; соборы при Филарете. — Развитие бюрократии и бессильный протест дворянства.

Мы познакомились теперь с элементами, из которых складывается общественное самосознание Московской Руси. Мы рассмотрели содержание как националистических, так и оппозиционных идеологий XV и XVI вв. Которые из них должны были победить, это предreshалось совершенно объективными условиями политической и социальной жизни Московской Руси. Эти условия мы старались изобразить в первой части "Очерков" и теперь должны предположить их известными. В результате этих условий — во внешней политике московское правительство стало под знамя националистических идеологий, государственных и религиозных, а во внутренней политике оно стало проводить политическую программу Грозного и социальную программу Ивашки Пересветова.

Националистическая программа внешней политики складывалась с конца XV в. и получила свое окончательное завершение и формулировку во второй половине XVI в. Социально-политическая программа внутренней политики несколько запоздала: во второй половине XVI в. правительство еще вело за нее борьбу, а окончательная победа достигнута была лишь в XVII

веке, после испытаний смутного времени. Теперь мы остановимся несколько подробнее на победе и другой программы.

В московском Успенском соборе до сих пор хранится живой свидетель того момента, когда официально восторжествовала националистическая идеология московской государственной власти. Это царский трон с балдахином в форме шатровой крыши московских церквей того времени и с затворами на три стороны. На каждом из этих затворов изображены по четыре сцены тонкой резной работы. Тут же вырезан и текст, поясняющий смысл этих сцен. Это та самая легенда о присылке Владимиру Мономаху греческим императором Константином Мономахом царских регалий, с которой познакомились раньше. В 1547 г. Иван Грозный торжественно венчался на царство и принял официально царский титул; в 1552 г. поспел и этот царский трон, которым давалась легенде о византийском преемстве власти официальная санкция. В 1561 г. Иван добился и формального признания легенды со стороны константинопольского патриарха. Правда, для этого пришлось немножко подсоблнить греческую грамоту, содержащую в себе не совсем то, что нужно было царю от патриарха. Как бы то ни было, дело было сделано, и московское правительство могло торжественно выступить со своими претензиями перед иностранными державами.

Эти претензии, правда, не сразу получили признание. Баторий еще в 1581 г. советует Ивану "не твердить басен своих бахарей" про Пруса и про Августа-кесаря как про своих "сродников". Но Иван в долгу не остается и победоносно опровергает сомнения своего соперника простым соображением: "коли уж Пруса на свете не было, — пусть Стефан король нам объяснит, откуда же взялась прусская земля!" В свою очередь и сам он возбуждает сомнения: при таком важном происхождении может ли он, не теряя своего достоинства, сноситься, как равный с равным, с человеком, не "от государского прирождения, а от рыцарского чина", каков Баторий? О шведском короле Иван еще более низкого мнения: тот прямо "мужичьего рода". Получив грамоту "индейской земли государя", московский царь был поставлен в крайнее затруднение: называть ли его братом в своем ответе? В конце концов, он решил "о братстве к нему не писать", так как неизвестно — "государь ли он, или простой урядник". На языке московской политической теории это значило: "неограниченный он государь или конституционный". Конституционную монархию в Москве ставили чрезвычайно низко. "Мы думали, — писал Грозный английской королеве Елизавете, — что ты на своем государстве государыня и сама владеешь, а у тебя люди владеют, — и не токмо люди, а мужики торговые... а ты пребываешь в своем девическом чине, как есть пошлая девица". Так же презрительно относился Иван IV и к "убогой" власти польского короля. "Ты посаженный государь, а не вотчинный, — писали московские бояре Сигизмунду-

Августу, — как тебя захотели паны твои, так тебе в жалованье государство и дали; ты в себе и сам не волен, как же тебе быть вольным в своем государстве?”

Успехи националистического самовозвеличения завершились провозглашением полной независимости русской церкви от греческой, под управлением собственного патриарха (1589). Официальный акт в этом случае воспользовался легендой, которая давно уже успела сделаться популярной. Теории о Москве — третьем Риме, о превосходстве русского православия, о религиозном преемстве от Византии (наряду с государственным) — все это было целиком внесено из литературных источников начала века в государственный документ, санкционировавший в конце века учреждение патриархии. Правда, действительность и здесь не совсем соответствовала гордым национальным претензиям. Московский патриарх оказался последним в ряду вселенских, несмотря на усилия московских дипломатов добыть ему если уж не первое, то хоть третье место. Пришлось довольствоваться и этим, так как и самое согласие на учреждение патриархии было вырвано и у греков чуть не насильно.

Мы имеем все основания думать, что торжество националистических теорий не ограничилось одними только правительственными кругами. Уже в пределах XVI в. оно стало признаваться и в среде самого населения. Когда известная идея проникает в массы, — она непременно закрепляется в народной памяти в форме народной легенды, при помощи стихотворного размера и рифмы. Книжные легенды XVI в., наряду с официальными актами, тоже нашли себе путь к широкой публике, воспринимавшей эти легенды не глазами, а слухом. Передавая друг другу изустно живое предание, эта публика перепутала, конечно, имена, события и даты. Но общий смысл событий она запомнила твердо. И вот какой вид приняла в воспоминании народной массы известная нам националистическая легенда о приобретении московским князем царских регалий. Как в книжном источнике, так и в народной передаче герой легенды отправляется в Вавилон из Царьграда добывать регалии для *византийских* императоров. Но дальше народная фантазия начинает работать самостоятельно. Вернувшись назад, в Византию, посланец Федор Барма (имя которого, очевидно, подсказано царскими *бармами*) находит там крушение царства и веры и прямым путем доставляет регалии единому православному царю вселенной, Ивану Васильевичу. Он застаёт его как раз в момент торжества православия над басурманами и в момент действительного принятия Грозным царского титула. "Тут было в Царьграде великое кроволитье: рушилась вера правоверная, не стало царя православного. И пошел Федор Барма в нашу Русию подселенную и пришел он в Казань град и вошел он в палаты княженецкие, в княженецкие палаты богатырские... И улегла тут порфира и корона с града Вавилона на голову гроз-

ного царя правоверного, Ивана царя Васильевича, который рушил царство Проходима, поганого князя казанского”.

Всего любопытнее то, что в народной памяти не только удержался момент национального возвеличения московской государственной власти, но и сохранилось представление о связи между националистической политикой внешней и внутренней. В народной былине новая государственная власть представляется или орудием борьбы с внутренними врагами, или результатом победы над ними: монархия является на свет с демократической программой, — как она была изображена на стенах Грановитой палаты:

Когда ж то воссияло солнце красное,
Тогда-то воцарился у нас Грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич.
Заводил он свой хорош почетный пир;
Все на почестном напивались,
И все на пиру порасхвастались.
Говорил Грозный царь Иван Васильевич:
”Есть чем царю мне похвастати:
Я повынес царенье из Царяграда.
Царскую порфиру на себя надел,
Царский костыль себе в руки взял,
И повыведу измену с каменной Москвы.

Или в другой форме:

Вывел я измену изо Пскова.
Вывел я измену из каменной Москвы,
Казанское царство мимоходом взял,
Царя Симиона под мир склонил;
Снял я с царя порфиру царскую,
Привез порфиру в каменную Москву,
Крестил я порфиру в каменной Москве,
Эту порфиру на себя наложил,
После этого стал Грозный царь.

Здесь как будто даже сохранилась свежая память о том, как живой, не легендарный царь Иван Васильевич, действительно, ”порасхвастался” перед своим народом с лобного места, сваливая всю вину за государственные настроения на бояр и обещая сам все исправить; или как тот же Иван Грозный объявлял публично полтора десятка лет спустя свою опалу высшим общественным слоям и свою милость низшим, прося у последних экстренных полномочий для того, чтобы расправиться со своими и их врагами, — ”повывести измену”.

Мы видели, однако же, что в действительности программа внутренней политики Грозного и его сторонников вовсе не была так демократична, как это могло показаться с первого взгляда. ”Воссиявшее” над Россией ”красное солнце” скоро должно было оказаться кровавым заревом социального пожара. Согласно тео-

рии Пересветова, "воинства", — рядовое дворянство все более и более становилось исключительным предметом правительственных забот. В нем видели как необходимый элемент для существования и независимости государства, так и опору против притязаний "вельмож". Его наделяли землями; ему облегчали тяжесть податей; с ним даже начали совещаться о государственных делах. Напротив, против верхнего общественного слоя Грозный "стал за себя", то есть в интересах личного самосохранения. Он "губил" этот слой "всенародно" и так удачно действовал в этом направлении, что к концу века боярский класс представлял из себя только одни жалкие остатки того, чем он был в начале века. Что касается низшего общественного слоя, он просто выходил из кругозора московского правительства. Оно занялось им лишь тогда, когда это понадобилось для того же "воинства"; и, конечно, оно взглянуло на него глазами "воинства".

Таким образом, недовольные положением должны были быть верх и низ русского общества: верх, в котором едва теплилась искра старой, почти совершенно сломленной политической оппозиции, и низ, в котором быстро копился горячий материал, грозивший вспыхнуть социальным протестом. Оба элемента в последнем счете должны были оказаться несравненно слабее общественной середины, представлявшей служилым классом московского государства. Однако политические обстоятельства сложились так, что на короткий промежуток дали перевес именно этим крайним элементам над средними.

Внешней причиной, совершенно случайного свойства, послужило при этом прекращение династии. Внутренней причиной, в которой не было ничего случайного, была та степень легкости, с которой различные общественные группы могли мобилизовать свои силы, чтобы воспользоваться представившимися обстоятельствами. Наиболее близко к власти, выпавшей из привычных рук, стоял класс, только что перестававший быть правящим, — боярство. Оно и попробовало первое — эксплуатировать наступившую смуту в своих выгодах. Но оно было слишком мало дисциплинировано как класс, и слишком заинтересовано, в лице отдельных своих представителей, в разрешении династического вопроса в пользу того или иного кандидата, чтобы иметь возможность выиграть в начавшейся борьбе как класс. Оно, притом, уже было слишком разбито политикой Грозного и, в оставшихся в своих обломках, слишком разъединено родословными счетами, чтобы представлять какую-нибудь действительную силу. Его единственным орудием была придворная интрига, — орудие очень действительное в более спокойное время, но совершенно непригодное в тех трудных обстоятельствах, в которых очутилось государство благодаря вмешательству в смуту иностранных врагов и других сословий. Расчеты боярства не раз путала уже московская уличная толпа, совсем неорганизованная — и сильная, лишь пока стояла на пло-

падали. Немудрено, что толпа, организованная в постоянное военное сообщество, какою были казаки с присоединившимися к ним беглыми крестьянами и холопами, имела полную возможность овладеть положением на более или менее продолжительное время. Несчастье этой группы состояло лишь в том, что на другой день после победы она не знала бы, что ей с этой победой делать. Она годилась на роль кондотьеров; но воспользоваться ею таким образом было некому, а для самостоятельной политической роли она не годилась. Союз ее с беглыми окончательно оттолкнул от нее все имущие классы и был главным стимулом, заставившим их принять меры самообороны. Верно или неверно, — но тогдашняя буржуазия была убеждена, что казаки до самого конца смуты остались при своем "первом злом совете", обнаружившемся еще в восстании Болотникова: что они хотят "бояр и дворян и всяких чинов людей и земских и уездных лучших людей побить и имущество их разграбить и завладеть ими по своему воровскому казацкому обычаю". Этот призыв социального переворота должен был пробудить в самых нерешительных охоту действовать. Среднему классу было всех труднее организовать для какого бы то ни было действия. Только крайняя нужда могла заставить его подняться, и только очень медленно он мог сговориться и выступить на арену. Но раз явившись в роли активного элемента, он должен был поставить своей задачей восстановить тот прежний порядок, при котором ему жилось лучше, чем другим общественным группам. По существу дела, это был, стало быть, элемент консервативный. Его победа над последней вспышкой политической оппозиции (боярства) и над первым взрывом социального протеста (казачества) — должна была очистить путь к торжеству национальной программы во внутренней политике.

Очень часто говорят, следуя риторическому выражению летописца, что московское государство спасли "последние люди". Конечно, если разуметь под "последними людьми" зажиточное купечество, как это делали привычные к родословным счетам служилые москвичи, то в эту категорию попадет и Кузьма Минин. Но тогда не надо забывать, что таким же "торговым мужиком", как Минин, был и его антипод, Федька Андронов, сторонник Владислава и Сигизмунда. Характерно, конечно, для того момента, что люди этого слоя вообще могли получить голос в общественных делах. Несомненно также, что и они нужны были всякому правительству, как плательщики и сборщики податей, — и сильное правительство нужно было им для их промышленных предприятий и торговых оборотов. После служилых людей они, действительно, были самым нужным элементом. Немудрено, что претенденты на власть старались иметь на своей стороне и тех и других. Те и другие — и раскололись между разными претендентами, прежде чем время решило, кто из них окажется "прямым", а кто "кривым". "Вы бы без вся-

кого сомнения собрались со всеми людьми и шли к нам к Москве, — уговаривает царь Василий отпавшие от него области, — и службу бы свою и раденье совершили, а мы вас пожалуем нашим великим жалованием: вас, помещиков и детей боярских, пожалуем большой денежной и поместной придачей, велим вас поместить и наше жалование дать. А вас, посадских и уездных людей, пожалуем льготой на многие годы: велим вам торговать беспошлинно и во всем вас отохраним, да сверх того пожалуем нашим великим жалованием, чего у вас и в разуме нет". Эта грамота чрезвычайно ярко показывает, на какие элементы могло опереться правительство и чем оно могло вознаградить эти элементы за их "службу". Был момент, когда и "посадские и уездные люди", *одни*, без помощи служилых, "помещиков и детей боярских", действительно, сослужили службу тому же Василию Шуйскому. Это было в тот момент, когда рядовое дворянство уехало от "боярского" царя — по домам или в Тушино, — а за него стал организованный Скопиным из Новгорода дальний московский север. Там, на этом севере, никаких служилых людей вовсе не было, а только и были посадские в городах и черные крестьяне в уездах. Когда эти "мужики" — явились из своих северных палестин в центральную Россию, — население тут сильно "смутилось". Это были ведь настоящие "последние люди" государства, — а в центре привыкли представлять себе таких последних людей не иначе, как в виде казаков и их беглых товарищей. Но ополченцы поспешили рассеять эти страхи. "Вы смущаетесь потому, — писали они жителям города Романова, — что будто бы черные люди дворян и детей боярских побивают и дома их разоряют; а здесь, господа, *черные люди дворян и детей боярских чтят* и позора им никакого нет". Действительно, у этих поморов ничего не было общего с южнорусским казачеством. Это были просто рекруты, поставленные своими волостями по приказу уездных властей и содержащиеся на счет местных государственных сборов, отчасти специально для этого назначенных. Посылая на помощь правительству этих рекрутов, посадские люди исполняли обычную государственную повинность — не так охотно, как всегда, так как они рисковали теперь попасть на службу не к тому правительству, которое окажется законным. В то самое время, как набирались мужицкие ополчения на севере, устюжане писали, например, сольвычегодцам: "Пожалуйста, помыслите с миром крепко и не спешите креста целовать: не угадать, на чем совершится...; а если услышим, что Бог пошлет гнев свой праведный на русскую землю, так еще до нас далеко; успеем с повинной послать". И расчет оказался совершенно правильным. Естественно, что к концу смуты чернососшные волости русского севера, в лице своих посадских руководителей, еще меньше обнаруживали охоты "спешить". Таким образом, *настоящие* "послед-

ние люди” русской земли приняли самое незначительное участие в развязке смутного времени.

Главная роль принадлежала здесь, без сомнения, служилому сословию. Если бы оно успело своевременно организовать и вовремя нашло себе кандидата, достаточно обеспечивающего его интересы, то смута могла бы окончиться гораздо раньше, чем это случилось в действительности. Задолго до того времени, когда служилое сословие выработало себе, среди смуты, свой собственный представительный орган, его общественная сила была понята. На него старались опереться, как на самый надежный элемент, его именем начали действовать. Рядом с ним ставилось, правда, имя посадских людей, когда речь заходила о голосе *всей* земли. Но все понимали при этом, что фактическим представителем “всей земли” явится, именно, служилое сословие, — ратные люди. Когда города сносились с городами, — это значило, что переписываются между собой их официальные представители, то есть, за исключением черносошного севера, “большие дворяне”. Когда шла речь о “единомысленном земском совете”, всякий знал, что количественный и качественный перевес будет иметь на этом совете голос служилого сословия. Правда, в идее это был совет “всех чинов московского государства”. Но в ряду этих “всех чинов” всевозможные, даже самые мелкие служилые группы перечислялись самым точным образом, тогда как тяглое население уездов лишь глухо упоминалось для стилистической полноты в конце обычной формулы и фактически обыкновенно вовсе отсутствовало.

Это не значит, конечно, чтобы в событиях смуты не было места более горячим элементам и более идеальным побуждениям. То и другое, несомненно, было и даже имело значительное влияние на то, как сложилась индивидуальная физиономия событий. Но общий смысл их был именно таков, как мы говорили, — и это очень хорошо чувствовали сами действующие лица громких событий. Василия Шуйского свела с престола народная сходка за Арбатскими воротами; а формулировала она свое дело в следующих корректных выражениях: “Дворяне и дети боярские всех городов и гости, и торговые, и всякие люди, и стрельцы, и казаки, и посадские и всех чинов люди всего московского государства, поговоря меж себя... били челом ему государю всякие люди, чтобы государь государство оставил”. И действительно, если бы “дворяне” и т.д. не стояли за спиной пестрой московской толпы, то свержение Василия было бы немислимо. Точно так же и Козьма Минин мог быть прав, вложив в уста преп. Сергия слова: “Старшие на такое дело не пойдут, если не начнут юнейшие”. И все-таки было бы странно объяснять успех ополчения Пожарского под Москвой теми чувствами, которые Минин вдохнул в нижегородскую молодежь.

Чем более идея земского совета “всей земли” становилась реальностью, тем отчетливее вырисовывалась та партийная про-

грамма, которую должно было принять будущее правительство из рук своих избирателей. Совершенно ясно сделалось для выступившей на сцену общественной группы, — еще в период, пока шла переписка между городами, — что безусловно должны быть отброшены в сторону интересы двух других групп: боярства и казачества. Раньше чем сойтись в Ярославле, городские ополчения уже дали друг другу письменные обязательства — стоять заодно и против бояр, и против казаков. Отстранив формально оба эти активные элементы смуты, служилые городские дружины просто игнорировали остальные "чины". Слово "вся рать" было для них совершенно тождественно с выражением: "вся земля".

Как такое положение отразилось на общественной программе служилого сословия, видно из обязательств, продиктованных им своим избранникам: Владиславу в договоре 17 августа 1610 г.; триумвирату Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого — в "приговоре" 30 июня 1611 г.; вероятно, также и Пожарскому и, наконец, самому Михаилу Федоровичу. Первые два обязательства известны; о последних двух мы можем догадываться.

При каждой новой перемене власти программа ратных людей развивалась все полнее и последовательнее. Основной принцип ее, именно тот, что голос служилых людей из городов есть голос "всей земли" и что он должен быть выслушан во всех важнейших государственных вопросах, — этот принцип был признан давно самими представителями власти. Не говорим уже о Борисе Годунове, первом государственном человеке, который повел сознательную политику покровительства служилому сословию. Но даже и боярский избранник, Василий Шуйский, пробовал опереться на всю служилую землю — и против боярской интриги, и против народной "крамолы". Вместо присяги боярам он попробовал всенародно присягнуть "всей земле", — и вызвал этим сильнейшее раздражение своих избирателей. Зато, когда в царский дворец явилась взбунтовавшаяся толпа народа, тот же царь Василий сказал ей в лицо, по словам летописи: "Если хотите убить меня, я готов на смерть; но если желаете свергнуть меня с престола — это невозможно вам сделать без больших бояр и дворян, *без совета всей российской земли*". И мы видели, что явившиеся год спустя низложить Василия ратные люди сделали это от имени всех чинов московского государства. Низложив царя, победители присягнули сами и заставили присягнуть русскую землю и назначенное ими временное правительство кн. Мстиславского в том, чтобы "выбрать государя на московское государство им боярам и всяким людям *всею землею ... сославшись с городами*". Что под "всякими людьми" и под "всею землею" ратные люди разумели главным образом самих себя, это они тотчас же и показали. Не дождавшись, пока соберется полный сбор, они вступили, без дальних сношений с "землей", в предварительные переговоры с намеренным ими

кандидатом, королевичем Владиславом. На свое временное правительство дворяне наложили единственное обязательство: "Нас всех праведным судом судити". Вступая в постоянное соглашение с чужеземным избранником, они, напротив, сочли нужным развить это обязательство в целую программу, послужившую предметом формального договора. Вчерне этот договор был написан под Смоленском депутатами от дворянства, явившимися туда из Тушинского лагеря. Окончательно он был закреплен под Москвой и подписан Жолкевским и боярским правительством. Последнее обстоятельство заставило исследователей обратить особенное — и, по нашему мнению, преувеличенное — внимание на те немногие изменения, какие были в нем сделаны при окончательной редакции. Предполагалось, что в этих изменениях особенно проявились *боярская* тенденции договора. В действительности, и в этой редакции влияние дворянства имело решающее значение. Не даром дворяне так ревниво следили за переговорами временного правительства с Жолкевским и самолично являлись к последнему целыми толпами — до пятисот человек.

Если исключить те пункты договора, которые касаются простого восстановления старого правительственного порядка, а также тех, которые регулируют отношения земли к кандидату-иностранцу, его землякам и его государству, — то есть пункты, вытекавшие из особенных условий момента и из личности кандидата, — все остальное содержание договора с Владиславом имеет главную целью охрану интересов служилого сословия и боярства, *как его составной части*. Представители "всей земли" прежде всего заботятся о том, чтобы сохранить status quo: "жалованье денежное, оброки и поместья и вотчины, кто что имел до сих мест" — за служилым сословием. Затем они хлопочут об облегчении своего податного бремени и диктуют Владиславу меру, впоследствии принятую в интересах служилого сословия Михаилом. В запустевшие от войны уезды они требуют "послать описати и дозирати, много ль чего убыло и доходы велеть имати с *живущего* по описи и дозору, а на запустошенные вотчины и поместья дать льготы, поговоря с бояры" (см. "Очерки", часть первая). Наконец, они пользуются случаем закрепить за собой рабочий труд и проектируют меру, опять-таки осуществленную новой династией. "Промеж себя крестьянам выходу не быть; боярам и дворянам и всем чинам держать крепостных людей по-прежнему обычаю, по крепостям" (см. об этом "Очерки", часть первая). Все существенные интересы служилых людей были, таким образом, ограждены. Им оставалось позаботиться лишь о том, чтобы и впредь, при нормальном течении государственной жизни, их голос был выслушан при всякой касающейся их государственной реформе. Этого они не столько не сумели, сколько просто не сочли нужным сделать в договоре с Владиславом. Только относительно "праведного су-

да" они на этот раз приняли более определенное и обязательное для правительства решение. "Суду быть и совершаться по прежнему обычаю и по судебнику; а если захотят в чем пополнить для укрепления судов, государю на то согласиться с думою бояр и *всей земли*, чтоб было все праведно". Это единственный случай, когда предусмотрена в договоре необходимость созыва земского собора. Надо прибавить, что это также единственный случай, в котором и новая династия все еще считала необходимым прибегать к собору, когда вообще обращение во "всей земле" давно уже вышло из моды. Очевидно, праведный суд был слишком насущной потребностью; неудовлетворение ее чересчур тяжело чувствовалось "всеми чинами" московского государства. Все остальные текущие дела служилое сословие спокойно предоставило правительству, выговорив только для более важных дел необходимость совещаться с "думными людьми". Сюда введено было и правило, установленное при выборе Шуйского: "не сыскав вины и не осудивши судом — *всеми бояры* — никого не казнити и чести ни у кого не отнимати и в заточенье не засылати, поместий и вотчин и дворов не отнимати", а также не распространять вины на родственников преступника. Это было форменное отнятие права, формально признанного всей землей за Иваном Грозным, когда тот принялся "выводить измену из каменной Москвы". Сюда же отнесено и еще одно важное правило, тоже фигурировавшее, по сообщению одного иностранца, в договоре Шуйского с боярами: "доходы государские собирать по-прежнему, а сверх прежних обычаев, *не поговоря с бояры*, ни в чем не прибавливати". В том и другом случае, отдавая известную категорию дела в ведение боярской думы, служилое сословие просто руководилось своей любимой мыслью, что таким образом оно возвращается к "прежнему обычаю", и нисколько не думало, чтобы этим могло быть усилено боярство как класс. Единственная мера, принятая в договоре прямо в пользу боярства, была вызвана тем, что царем делался иноземец. Он обязывался, именно, "московских княженецких и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать". Но это обязательство вытекало само собой из того принятого в договоре принципа, по которому вообще решено было "польским и литовским людям на Москве ни у каких земских расправных дел и по городам в воеводах не быть и городов в наместничество польским и литовским людям не давать". Только путем такой раздачи высших государственных должностей и могли родовитые чужеземцы затеснить московские боярские роды. Итак, единственная льгота, выговоренная договором в пользу боярства, вполне совпадала с интересами самого служилого сословия, больше всего боявшегося за свои поместья и вотчины, "если в городах будут распоряжаться чужеземцы". Дворянство, очевидно, имело некоторое представление о том, что происходило по этой части в самой Польше. В Москве по

этому поводу происходили интересные политические разговоры между поляками и русскими. "Соединитесь с нами, — говорили поляки, — и у вас тоже будет свобода". "Вам дорога наша свобода, — отвечали им на это русские, — а нам наша неволя. У вас не вольность, а своеволие: сильный грабит слабого, может у него отнять имение и самую жизнь, а найти на него суд, по вашему закону, трудно: дело может затянуться на целые годы. С иного и ничего не возьмешь. У нас, напротив, самый знатный боярин не властен обидеть последнего простолюдина; по первой жалобе царь творит суд и расправу. А если сам царь поступит неправосудно — его воля: от царя легче снести обиду, чем от своего брата; на то он наш общий владыка".

Можно спросить себя, слыша такие речи: уж не осуществился ли в самом деле демократическо-монархический идеал Ивашки Пересветова? Или, может быть, москвичи из патриотизма противопоставляли этот русский идеал польской действительности, забывая упомянуть о русской? Как бы то ни было, очевидно, идеал проник-таки в сознание общества. Это мы видели и раньше: это подтверждается и теперь хотя бы тем равнодушным, с которым дворянство предоставляло боярам — при царе — заботу о новых налогах, о высшем уголовном суде и даже о проверке прав самих служилых людей на землю: "что кому прибавлено не по достоинству или убавлено без вины".

Без царя или, точнее, в ожидании царя, расчет дворян оказался, однако же, совершенно неверным. Не то, чтобы временное боярское правительство злоупотребило своей властью. Напротив, все зло было в том, что этой власти у него, в отсутствие "всей земли", оказалось слишком мало, чтобы с авторитетом противостоять дальнейшим польским притязаниям на Россию. Для Сигизмунда боярское правительство оказалось таким же неопасным, каким считали его для самих себя московские служилые люди. Он скоро фальсифицировал его состав, введя в него своих доброхотов. В этом виде боярское правительство сделалось игрушкой в руках Гонсевского. "К боярам ты ходил, — говорили последнему потом о его тогдашней деятельности в думе, — челобитные принесил; пришедши, сядешь, а возле себя посадишь своих советников, а нам и не слышать, что ты со своими советниками говоришь и переговариваешь; и что по которой челобитной велишь сделать, так и сделают, а подписывают челобитные твои же советники дьяки". Притыкала от этих порядков, действительно, служилая масса, так как "челобитными", на которых диктовал свои резолюции Гонсевский — были, — главным образом прошения о пожаловании земель — в незаконном количестве или людям, вовсе не имевшим на то права. Кроме того, в руках поляков московское временное правительство собиралось нарушить наложенное на него обязательство "выбрать государя всей землей". Вместе с тем подвергались вопросу и условия, на которых служилое

сословие приглашало кандидата — и даже самая личность кандидата.

Таким образом, служилому сословию — в интересах своих и "всей земли" (что, в данном случае, было одно и то же) — пришлось создавать новое правительство. И, если ратные люди на этот раз постарались созданное ими правительство отдать *под постоянный уже контроль всей земли*, то не потому, чтобы они боялись силы сословия, только что обнаружившего свое полное бессилие, а потому, что обстоятельства требовали правительства действительно сильного. Так мы объясняем разницу в содержании нового договора ратных людей с Ляпуновым, Трубецким и Заруцким — в сравнении с только что разобранным договором с Владиславом. Эти два договора не есть выражение политических стремлений двух различных общественных слоев, а просто две формулировки одной и той же политической программы, разница которых вызвана необходимостью осуществлять старую программу при изменившихся политических обстоятельствах.

Более активное участие служилых людей в новом правительстве Трубецкого с товарищами выразилось, прежде всего, тем, что формальный договор с этим правительством (30 июня 1611 г.) заключен был по прямому требованию дворянства и по настоянию представителя служилых людей, Прокопия Ляпунова. В конце этого договора ратные люди, наученные опытом, выговорили себе право переменить своих избранников, в случае, если их деятельность перестанет удовлетворять требованиям "всей земли". Что решение дворянства равносильно решению всей земли, в этом ни у кого не возникало никаких сомнений. Никаких принципиальных вопросов государственного права, порешенных договором с Владиславом, новый договор вновь не возбуждает. "Вся земля" продолжает, очевидно, держаться раз выработанных ею условий: она пока не отказывается еще формально и от раз намеченного ею кандидата. Но один из капитальных пунктов договора с Владиславом получает в приговоре 30 июня новую редакцию: избранные землею воеводы обяжутся "не объявля *всей земле* (не одним боярам), смертной казни никому не делать и по городам не ссылать". Затем все остальное содержание договора относится к прекращению того хищнического разграбления служилых земель, которое санкционировалось московским временным правительством и при помощи которого Сигизмунд старался набрать себе свою партию среди московских служилых людей. Любопытно, что, касируя все такие распоряжения московского правительства, ратные люди крайне снисходительно относятся к своим братьям, попользовавшимся от польских щедрот. Так как для них государство — это они, то им не приходится различать между собой "прямых и кривых". И те, что были в Тушине, и те, что были в Калуге (со вторым самозванцем), и служившие царю

Василию, и присягнувшие Владиславу, и даже подслуживающиеся Сигизмунду, — в случае, если вовремя отстанут от своего покровителя, — все они члены одного сословия, все имеют право на свою долю в служилой земле. Все дело лишь в том, чтоб одних не обделить, другим не дать лишнего: в этом главная забота и главный интерес класса, диктовавшего приговор 30 июня. Не касаясь, как мы уже сказали, принципиальных вопросов будущего государственного устройства, не повторяя даже и раз данного обязательства — добиваться избрания государя всей землей, приговор всецело погружен в детальнейшие мероприятия по регулированию служилого землевладения. Наблюдение за службой и за вознаграждением ее будет сосредоточено в центральных ведомствах, в главном из них будет посажен выбранный всей землею "дворянин из больших дворян". Все захваченные служилыми людьми лишки будут возвращены в казну, все нуждающиеся и разоренные дворяне будут наделены. Беглые в город и к другим помещикам крестьяне будут возвращены старым владельцам (об этом большом месте своего тогдашнего хозяйства дворяне не могут забыть и в критический момент). Таковы все существенные постановления приговора. То, чего в нем не оказалось, должно было, очевидно, считаться регулируемым предыдущими постановлениями.

Только став на эту точку зрения, — что приговор 30 июня не *отменяет*, а *дополняет* прежние обязательства, взятые на себя "всей землей", — мы составим себе правильное понятие о его значении. Ново в нем то, что "вся земля" с этих пор считает необходимым оставаться *en regimence* при ратном ополчении, в качестве постоянного "земского совета". Цели остаются старые; но старое средство, боярское представительство земли, оказалось недостаточным. Оно и заменяется с этих пор новым непосредственным представительством самого служилого сословия. Силою обстоятельств на место боярской думы выдвигается земский собор.

Мы имеем основания думать, что договор первого земского ополчения с Трубецким сохранил свою обязательность и для преемников обеих сторон: для второго земского ополчения с Пожарским. Если даже он и не был возобновлен формально¹, то ведь и надобности в таком возобновлении не было. "Вся земля", разошедшаяся из-под Москвы после убийства Ляпунова, — это была та же самая земля, которая вновь пришла под Москву с Пожарским. А "переменить" своих бояр и воевод "вся земля" предоставила себе право еще в договоре 30 июня. Новый пред-

¹ На формальный акт "выбора", необходимо сопровождавшийся и письменным документом, "приговором", указывает торжественный титул Пожарского: "по избранью всех чинов людей российского государства — у ратных и у земских дел стольник и воевода Дмитрий Пожарский с товарищи". Это — буквальное повторение вступительных выражений договора с Трубецким.

ставитель земли начал с того, что возобновил в памяти всей земли старую, данную ею присягу: "Советовать со всякими людьми общим советом, чтоб по совету всего государства выбрать общим советом государя". Он распорядился также и о созыве "всяких чинов людей для земского совета вскоре". Собранный таким образом — впервые в таком полном составе — земский собор вступил во все функции, предусмотренные договором ратных людей с Трубецким. Он, например, принялся отбирать дворцовые земли, расхвачанные служилыми людьми при помощи временного московского правительства: это прямо было предусмотрено договором с Трубецким. Когда произошло покушение на жизнь Пожарского, преступников пытала "вся рать и посадские люди", и "разослали их по городам и темницам землю", то есть было исполнено указанное выше условие договора: "не объявляя всей земле, смертной казни никому не делать и по городам не ссылать".

Как долго действовал новый "земский совет" с правами, предоставленными ему договором с Трубецким или перешедшими к нему от временного боярского правительства, роль которого он поневоле должен был на себя взять? Был ли такой момент, когда эти функции сняты были с него формально и он вошел в скромные рамки деятельности обыкновенного земского собора? Эти вопросы прямо приводят нас к разъяснению одного пункта, до сих пор остающегося спорным. Речь идет о том, какие взаимные отношения установились между этим земским собором — и первым царем новой династии.

Ответ, который мы даем на этот вопрос, прямо вытекает из всего нашего взгляда на значение предыдущих соглашений "всей земли" с меняющимися представителями власти и кандидатами на престол. Исследователи напрасно, как нам кажется, рассматривали каждое из этих соглашений совершенно отдельно от других и также напрасно, когда приводили их в связь, старались отыскать в каждом договоре выражение интересов какого-нибудь особого общественного слоя. Если рассматривать все эти заявления в связи, как ряд постоянно приспособлявшихся к обстоятельствам заявлений, от имени "всей земли", одного и того же сословия, — все более сильного, по мере того, как оно все более оказывалось организованным, — тогда ответ на поставленный вопрос станет ясен сам собой.

Уже по тому количеству сведений о соглашении Михаила Федоровича со всей землей, какое дошло до нас, и по разнообразию источников, из которых идут однородные показания, — мы можем заключить, что факт этот не выдуман. Еще больше убедимся в этом, если разберем содержание этих показаний.

Самое обстоятельное из них принадлежит современнику Петра Великого, Фокеродту — наблюдателю, которому нельзя отказать ни в уме, ни в осведомленности. По его словам, "вельможи составили из себя род сената, который они называли собо-

ром и в котором заседали и имели голос не только бояре, но также и все другие лица, занимавшие высокие государственные должности (*welche in hohen Reichsbedienungen stunden*). Они приняли единодушное решение — не выбирать в цари никого, кто не обещает им клятвенно: предоставить полный ход правосудия по старым законам страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; без согласия собора не вводить никаких новых законов, не отягчать подданных новыми налогами и не принимать самонаименнейших решений в ратных и земских делах (*in Kriegs und Friedensgescheften*). Чтобы крепче связать нового царя этими условиями, они решили не избирать своим властелином никого, кто принадлежал бы к влиятельной фамилии и имел бы много приверженцев, с помощью которых мог бы нарушить предписанные ему законы и вернуть себе снова верховную власть... Царь Михаил подписал эти условия без колебания, и в течение некоторого времени правление велось предписанным образом”.

За исключением известия о выборе “фамилии”, к которой должен был принадлежать избираемый государь, — в сообщении Фокеродта нет ничего для нас нового. Изложенные им условия — те же самые, которые предлагались Владиславу, только с заменой боярской думы собором, с участием “не одних бояр”, но также и других лиц. Такая перемена, действительно, была сделана в условиях, как нам известно из договора дворянства с Трубецким. Мы не знаем, возобновлен ли был этот договор формально с Пожарским. Но если даже не было нового соглашения, то нам остается только принять, что оставалось в силе старое. Мы видели выше, что Пожарский считал себя связанным некоторыми и притом важнейшими постановлениями старого договора. Фокеродт несколько смутно изобразил то учреждение, в пользу которого вводились ограничения власти; но даже и в этом случае он оставался верен истине. Мы знаем, что “ратный совет” при ополчениях, договаривавшийся с вождями этих ополчений, действительно, перестал походить на думу, но не приобрел еще характера полного земского собора. В нем, в самом деле, были “не одни бояре”; но и “все чины” присутствовали лишь на бумаге. Не менее верно и очень важно в рассказе Фокеродта — то, что он представляет условия выработанными заранее, до определения личности кандидата. Так и должно было быть, если условия, предложенные Михаилу, были те же самые, какие предложены раньше Владиславу и изменены потом тем фактом, что вместо московского боярского правительства события выдвинули орган “всей земли”, заменивший бояр в их правах и обязанностях. Таким образом, свидетельство Фокеродта во всех своих оттенках соответствует исторической обстановке того момента, к которому относится. Напротив, в памяти русских людей — уже в XVII столетии — событие приняло одностороннюю и неверную окраску, вызвавшую совершенно

справедливые сомнения исследователей. Напрасно только, вместо того, чтобы усомниться в *оценке* факта русскими источниками, эти исследователи усомнились в *самом факте*. Так, как передают факт псковская летопись и Котошихин, — это выходит повторение истории с царем Шуйским. *Бояре* обязали царя без суда и вины никого не казнить и *без боярского совета* ничего не делать. В действительности, как стояли дела в момент избрания нового царя, — бояре были бессильны и не могли наложить никаких обязательств. Они сами, наравне с казаками, сделались, как мы видели, предметом вражды "всей земли". А она была всемогуща тогда — в лице своей рати и своих представителей на земском соборе.

Роль земского собора в последние месяцы смуты и в первые девять лет царствования Михаила Федоровича окончательно убеждает нас в правильности нашего понимания дела. Как известно, роль эта была совершенно исключительная. Собор превратился на это время из учреждения, созывавшегося в *исключительных* случаях для подачи *совещательного* голоса по *тем только* вопросам, с которыми обращалась к нему власть, — в постоянное учреждение, заседавшее непрерывно, с постоянным составом депутатов, переменявшихся по трехлетиям, с широким кругом дел не только законодательного и учредительного, но и чисто распорядительного характера. Это учреждение непосредственно от своего имени сносилось с областной администрацией. Словом, в тогдашних экстренных обстоятельствах оно действительно ведало "самомалейшие (die allergeringsten) дела войны и мира". Обычная московская формула закона и указа: "государь указал, а бояре приговорили", сменилась на время другой: "мы, великий государь, говорили и советовали на соборе, а всех великих российских государств (или "городов") ратные и выборные и всякие люди приговорили". В особенно важных случаях, "чтобы вам (земле) наше (депутатское) обещание было ведомо", всяких чинов люди даже прикладывали свои руки к таким "государевым указам и всей земли приговорам".

И в другом своем сообщении Фокеродт оказывается совершенно прав. Действительно, только что описанный порядок действовал очень недолго — только "до тех пор, пока не вернулся из польского плена отец государев Филарет". В 1619 г. Филарет приехал в Москву, в 1622 г. кончалась очередная (третья) сессия постоянного земского собора. Это была та самая сессия, при участии которой Филарет выполнил одно из важнейших обязательств, возлагавшихся на Владислава, — обязательство привести в известность потери служилых людей в разоренных смутой местностях и дать им податные льготы. После того Филарет перестал созывать новых депутатов. Даже польскую войну он начал, десять лет спустя, не спросившись "всей земли". Но война эта затянулась и потребовала дополнительных военных расходов, не предусмотренных раньше. Необходимо

было обязать всю землю обложить себя новым налогом. И земский собор вновь появился на сцене (в 1633 и 1634 гг.). Та же история повторилась через три-четыре года. Опять правительство попробовало обойтись без помощи собора, опять это не удалось, и пришлось созвать собор для назначения всей землей нового налога и нового набора. Но даже из формально обещанных депутатами денег удалось собрать немногим больше половины оклада. Можно себе представить, к чему привело внимание денег и рекрут собственными силами правительства. Вот для чего, следовательно, необходим еще был правительству собор. Наученная горьким опытом, власть уже серьезнее отнеслась к вопросу, воевать или не воевать, когда этот вопрос в третий раз представился по поводу взятия казаками Азова (1642). "Чины" всей земли были на этот раз собраны в особенной полноте, и их мнения отбирались особенно тщательно и детально, "на письме". Правительство спрашивало: разрывать ли с турецким и крымским царем, и если разрывать, откуда взять средства для войны, которая может оказаться очень продолжительной? Депутаты — преимущественно тех слоев общества, от которых и зависела исправность платежей, отвечали, что они платить не могут. И Азов был очищен. Тут в последний раз "вся земля" решила вопрос о войне и мире, — и в первый раз в голосе всей земли послышалась новая нота. "Пуще турецких и крымских басурман мы разорены от московской волокиты и от неправедных судов", — говорили представители городского дворянства. "Наша братья", городовые дворяне идут в Москву в чиновники ("к государевым делам"); служба в приказах и по областному управлению, они наживаются, а военная служба страдает.

Дворовые люди государя тоже занимают выгодные должности по управлению дворцовыми имуществами, а полковой службы не служат. Дьяки и подьячие, находясь постоянно "у государевых дел", берут взятки и наживают себе такие "неудобьсказаемые палаты", каких при прежних государях не было и у "великородных" людей. Торговые люди прибавляли к этому, что они страдают от воевод: "при прежних государях в городах ведали губные старосты, а посадские люди судились сами промеж себя, а воевод в городах не было; посылались они только в окраинные города с ратными людьми для береженья от тех же турецких и крымских и нагайских людей". Наконец, и мелкие тяглецы московских черных слобод жаловались, что государство запрягло их на службы, — в целовальники по приказам, в "ярыжным", в пожарный обоз при московской полиции. Смысл всех этих крупных и мелких неудовольствий был один и тот же. В тот момент, когда "вся земля" непосредственным личным усилием отделалась от бояр и от казаков, когда она думала под наблюдением своих депутатов восстановить "прежние обычаи" московского государства, перед ней обрисовалось не новое по существу, но новое по размерам зло, которое

притом слишком тесно было связано с тем самым благом, к которому земля стремилась, — с упорядочением государства. Против этого неожиданного врага "земля", в свою очередь, оказывалась бессильной. Вразом оказывалась московская бюрократия.

Дело в том, что смута сопровождалась полным разрушением управления и отсутствием правильной администрации. Этим и вызывалась необходимость в постоянном земском собрании. Естественно, что реорганизация управления была первой мерой, которую должен был принять государев отец, начавши "вновь строить государство". Он принялся за выполнение этой задачи со свойственной ему энергией и умением. Результатом его усилий был тот строго бюрократический строй, который, без сомнения, приводил в порядок государственные дела, но в то же время избавлял власть от необходимости справляться при всяком важном случае с настроением "всех чинов". Вновь наложенный порядок управления отдавал государство в руки всемогущей бюрократии, — фактического правящего слоя, над злоупотреблениями которого никакой действительный контроль был невозможен.

Таким образом и произошло, что то же самое сословие, которое за несколько лет раньше законодательствовало и распоряжалось от своего собственного имени, в ближайший следующий момент поставлено было в необходимость изливаться перед властью свои бессильные жалобы. Но как же могло оно само допустить такую невыгодную для себя перемену?

Ответ мы найдем в известных нам уже отчасти взглядах самого служилого сословия на ту роль, которая выпала ему на долю в событиях смутного времени. Оно представляло себе эту роль временной и чрезвычайной. Оно и не хотело вовсе своим договором с избиравшимися им представителями власти устанавливать нового государственного порядка. Оно видело в этом только кратчайший путь к восстановлению "прежнего обычая". Его главной целью было, "чтобы российское государство после московского разорения впредь безгосударно не было". Оно боялось, таким образом, не излишества власти, а недостаточности власти и против этого принимало меры. Вот почему, вместо того чтобы организовать правильный контроль над властью и позаботиться о действительности такого контроля, оно не побоялось само стать правительством, чтобы помочь минутной слабости власти. А когда эта минута прошла, оно сразу — и без всякого протеста — покинуло участие в правительстве и потеряло возможность контроля. С своей точки зрения, оно даже еще слишком долго засиделось в правительстве. На свои депутатские полномочия служилые люди всегда смотрели как на неприятную повинность, к отбыванию которой надо приступать как можно позже и отбывать ее как можно скорее. Ни вкуса, ни потребности во власти не развили в служилом сословии эти

несколько лет постоянных мытарств по ополчениям и соборам. Более ловкие члены сословия воспользовались близостью ко двору и правительству, чтобы устроиться "у государевых дел". Масса же стремилась использовать плоды своего участия во власти у себя дома, в деревне: там, на месте, они укрепляли свою экономическую базу. Обеспечить за сословием, как целым, политическую власть в будущем не приходило в голову ни тем, ни другим. Для этого в сословии было еще слишком мало организованности и политического смысла. Его политические взгляды, в огромном большинстве, совпадали с теми, которые нам известны из разговора поляка с русским в Москве. Пройдет сто лет, прежде чем это положение изменится.

Все это приводит нас к заключению, что в сознании сословия, которое еще не перешло от идеи службы к идее господства, нечего искать элементов оппозиции и критики. Содержание "служилого" сознания исчерпывается известными нам националистическими идеологиями. Чтобы найти элементы критики в XVII столетии, надо обращаться не к классовой борьбе, как это мы делали по поводу явлений XV и XVI столетий. Мы найдем эти элементы в самой бюрократии, в вызванном ее деятельностью приливе иностранных идей.

БИБЛИОГРАФИЯ

Данные о победе националистических идеологий см. в цитированных раньше книгах М.А. Дьяконова и И. Жданова, а также в *Главных течениях русской исторической мысли* автора "Очерков". Новейшее изложение событий смутного времени с точки зрения классовой борьбы принадлежит С.Ф. Платонову: см. его *Очерки по истории смуты* (СПб., 1899). В предыдущей литературе идея постепенного выступления различных общественных слоев, как причины продолжительности смуты, с особенной яркостью развита В.О. Ключевским в его *Воярской думе*, гл. XVIII. См. также его *Краткое пособие по русской истории* (М., 1899). В тексте мы старались мотивировать наши собственные отклонения от взглядов обоих исследователей. Текст договора с Владиславом напечатан в *Собрании государственных грамот и договоров*, т. II, № 200. Текст приговора 30-го июня см. в *Истории Карамзина*, т. XII, примечание 793. Сочинение Фокеродта издано Ф. Германном в книжке *Rußland unter Peter dem Grossen* (Lpz., 1872). Русский перевод см. в *Чтениях Общества Истории и Древностей*, кн. II (1874). Политический разговор поляка с русским в Москве рассказан в дневнике Маскевича, см. *Сказания современников о Димитрии Самозванце*, изд. 3-е, ч. II (СПб., 1859). Фактические данные о земских соборах подобраны в сочинении В.Н. Латкина, *Земские соборы древней Руси* (СПб., 1885). Показания разных чинов людей на Соборе 1642 г. см. в *Собрании грамот и договоров*, т. III, № 113.

IV

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КОНФЛИКТЕ С ИНОЗЕМНЫМ ВЛИЯНИЕМ

Происхождение националистической традиции как первый продукт действия иноземных факторов. — Вторжение иноземных элементов в обстановку домашней жизни, во времяпровождение. — Более глубокое влияние — при помощи непосредственного сближения с иноземцами. — Русские за границей: стипендиаты и послы. — Иностранная колония в Москве. — Внешняя история Немецкой слободы. — Ее состав по профессиям и вероисповеданиям. — Перекресты. — Влияние иноземной литературы: учителя языков, библиотеки, переводы. — Национальная реакция против иностранцев и иностранного влияния. — Стихийная реакция народной массы. — Планомерная реакция правительства: принятые им меры против иностранцев. — Первая систематическая теория русского национализма, представленная Юрисом Крижаничем. — Его резюме культурного положения России во второй половине XVII в. — Средства борьбы против иностранного влияния в торговле, в войсках. — Контраст в области быта и золотая середина. — Преимущества монархического строя, необходимость смягчения "крутого владения". — Взгляд на обязанности государя. — Поднятие производительных сил как главная черта положительной программы. — Проект сословных вольностей. — Отношение положительной программы национализма к программе реформы.

Русские националисты всегда считали XVII в. эпохой самого полного расцвета национальных идеалов. Русские западники видели в том же самом столетии период подготовки петровской реформы, то есть европеизации России. То и другое одинаково верно. Мы видим в этих двух утверждениях не два противоречивых положения, исключающих друг друга, а две стороны одной и той же истины, теснейшим образом связанных друг с другом. В XVII в., действительно, первые косые лучи европейского просвещения начали золотить верхушки русского общества. Голые, серые стволы, на которых пышно распускались эти верхушки, дали длинные тени. Эти тени — неразлучные со светом — и есть отражение в общественном сознании национальной своеобразности.

Сравнение, взятое из практики любителя-фотографа, может быть, еще лучше пояснит нашу мысль. Фотографическая пластина, уже воспринявшая изображение, полная фигур и образов, теней и света, на вид остается такой же чистой и гладкой, какую была раньше. Но стоит погрузить ее в известный химический раствор, чтобы ее внутреннее содержание тотчас начало

проявляться. Прежде всего, покрывается густой черной тенью небо и даль. На этом фоне резко выступают белые силуэты первого плана, пока ничем не наполненные. Но вот там и сям на белых местах начинают выступать резкие черные штрихи; за ними появляются полутоны и, наконец, все сливается в одну цельную картину. Картина была, собственно, готова до своего "проявления" в растворе. Но всякий фотограф знает, что не только необходим "проявитель" для обнаружения картины, но что, до известной степени, можно повлиять на распределение света и теней в картине, видоизменяя состав раствора.

Иностранное влияние обыкновенно играет роль такого "проявителя" созданной историей картины — данного национального типа. Раньше, чем начал действовать этот реактив, нация так же мало сознавала свою национальность, как герой Мольера сознавал, что он говорит прозой. В общественной, как и в индивидуальной, психике сознание является результатом контраста. Там, где контраст может скорее и легче обнаружиться (например, в небольших племенных группах, среди смешанного населения, в пограничных местностях и т.п.), там и сознание национальных отличий является скорей и принимает более острые формы. Напротив, в такой стране, как континентальная Россия, национальное самосознание должно было развиваться поздно и медленно. И, даже развившись, оно часто имело характер не инстинкта, а отвлеченной идеи — у руководителей массы, характер пароксизма, а не постоянно действующего фактора, — у самой этой массы.

В самой последовательности развития национального сознания можно найти некоторую параллель с приведенным нами фотографическим примером. Тут тоже есть своя резкая разница между черным фоном чужой национальности и белым контуром собственной, — разница, которая отмечается в сознании прежде всего. Такой разграничительной чертой для национального сознания является обыкновенно вероисповедная форма. Вера в социологии — совсем не то, что в богословии: не совокупность откровенных истин, обыкновенно мало известных и даже мало доступных массам, а всем известное, доступное и понятное знамя, вокруг которого сосредоточивается борьба за национальные особенности. Естественно, что при таком понимании — вера и национальность становились понятиями тождественными, нераздельными друг от друга. Тот, кто стоял "за веру", тем самым стоял за национальность, заменяя только первым, более наглядным понятием второе, более отвлеченное. Без сомнения, такой именно смысл имели все подобные заявления людей смутного времени — этого первого пароксизма национального самосознания, первой широкой популяризации контраста между своим и чужим. Переменить веру — это было также физически невозможно, как переменить "натуру". Русский человек становился в тупик перед таким, например, явлением, как

превращение русского молодца, посланного Годуновым за границу учиться языкам, в англиканского пастора. Он просто не хотел поверить в самую возможность подобного превращения. Он допускал, что англичане силой принудили русского стипендиата переменить веру, готов был даже допустить, что тот "с молодости попрельстился". Но чтобы он добровольно отказался вернуться на родину? Нет: "нестаточное то дело — православные веры отбыть и природного государства и государя своего и отцов и матерей своих и роду и племени забыть". "*А своей природы, как забыть*", — спрашивали русские послы английское правительство — и лет двадцать настаивали на возвращении в Россию ее блудного сына.

Какое же национальное содержание скрывалось под вероисповедным символом? Какие отдельные черты соединены были этой общей скобкой — белого вероисповедного контура? И когда начали "проявляться" в сознании отдельные черты, заполнявшие контур?

Чтобы привести в сознание содержимое символа, нужно было дальнейшее действие нашего "проявителя". Нравы, быт, те или другие черты жизни, обстановки, характера — только тогда могли быть поняты как специфически национальные, когда рядом с ними в непосредственной близости стали параллельные и в то же время контрастирующие черты чуждых нравов, чужого быта. А это случилось — в сколько-нибудь значительных размерах — только в XVII столетии. Вот почему наполнение голых вероисповедных контуров национального самосознания живыми чертами быта и могло быть делом только XVII столетия. Естественно, что русский быт и запечатлелся на национальном сознании именно в той самой форме, в которую он сложился в момент своего "проявления", в XVII в. Не все, конечно, в этом быте, только что достигшем тогда высшей точки своего развития и только что начинавшем отживать свое время, далеко не все в нем было безусловно самобытно и национально. Напротив, за все предыдущее время, когда еще не сложилось, по контрасту, понятие о национальном типе быта, — масса отдельных черт чужого быта успела контрабандой проскользнуть в состав национального типа и получила в нем теперь национальную санкцию. За "свое" пошло немало чужого, заимствованного раньше, в период бессознательного развития национальности. Отделяя это чужое, принятое за свое, от чужого, сохранившего на себе в общем сознании свое привозное клеймо, мы в каждой отдельной области жизни могли бы точно определить, где прошла граница между бессознательной и сознательной порою национального развития.

Могут возразить, что здесь дело просто во времени. Пройдет время, — и недавно усвоенное вновь станет тоже давно усвоенным и сознание о его чуждом происхождении тоже будет потеряно, как потерялось сознание о происхождении бытового ин-

вентаря XVII в. Это совершенно верно. Но это нисколько не мешает нам утверждать, что в разные эпохи национальной истории, как в разные возрасты отдельного человека, способность помнить о прошедшем бывает разная. Социальная память, подобно индивидуальной, формируется и крепнет в известную пору исторической жизни народа. Все, что предшествует этой поре, не оставляет по себе никакой памяти или оставляет весьма смутную. Все, что совершается по сию сторону этой черты, образует более или менее непрерывную нить более или менее связанных воспоминаний; технические приемы их сохранения все более и более совершенствуются. Но по ту сторону — хранится наследство, передаваемое от первой, бессознательной поры исторической жизни второй, сознательной. Это наследство и составляет обыкновенно *националистическую традицию*». Таким происхождением националистической традиции объясняется то, что содержимое этой традиции представляется исконным, неразложимым. Оно действительно исконно и неразложимо — в пределах исторической памяти народа. Но эта память гораздо более коротка, чем историческое существование народа. История, которая исправляет и дополняет эту память, находит способ — разложить националистическую традицию на ее составные части и отыскать ее источники. Вот почему можно бы было сказать, что нет более сильного врага для националистической традиции, чем именно история.

В предыдущих главах мы занялись таким историческим анализом происхождения русской националистической традиции. Анализ этот привел нас к выводу, что уже при первой формулировке националистических идеалов чужеземное влияние играло главную, даже решающую роль. Вот почему элементы национальной традиции при самом своем возникновении находились в ближайшем и непосредственном соседстве с элементами критики. Тот самый Иван Грозный, который дал национальным идеалам такую эффектную санкцию, в разговоре с одним иностранцем не находил слов достаточно резких, чтобы охарактеризовать низкий нравственный уровень своих подданных. А когда его собеседник с недоумением напомнил царю, что ведь и сам он русский, то Иван решительно отвечал, что он вовсе не русский, а немец, так как происходит от Пруса. Немудрено, что последовательные националисты уже в XVII в. порицали Ивана IV за его западничество, вместо того чтобы преклоняться перед ним как перед национальным героем народной легенды.

Элементом критики и дальше суждено было развиваться прежде всего в той же самой среде, то есть среди представителей двора и правительства. К этому одинаково приводили как положительные, так и отрицательные причины. Отрицательной причиной было то, что никакой другой социальной элемент тогдашней России не был способен явиться носителем оппози-

ционно-критической идеологии. В этом должны были убедить нас события смутного времени. Положительной же причиной надо считать ту, что непосредственный источник всякой критики — иностранное влияние, было всего ближе и доступнее именно для этих общественных слоев, для двора и высшей бюрократии. В тех же слоях, следовательно, должна была получить теперь, по контрасту, свою окончательную формулировку и националистическая идеология.

Нашей ближайшей задачей в этом отделе является, таким образом, определить силу иноземного реактива и охарактеризовать произведенную им реакцию. Другими словами, мы должны, с одной стороны, проследить распространение иностранных идей и быта в XVII в., с другой, определить значение, которое имели эти элементы критики, — не для разрушения националистических идеалов, так как для этого время еще не пришло тогда, а, на первый раз, для более полного и точного определения самого националистического идеала.

Влияние иноземной культуры должно было, на первых порах, носить более материальный, чем идейный, характер. Прежде чем началось влияние западных *идей*, в русской жизни сказалось влияние *быта*, влияние обстановки высшей культуры, а затем (или, вернее, рядом с этим) и влияние европейских прикладных, технических знаний. Первое казалось безвредным: второе было прямой необходимостью. Таким образом, в обоих случаях европейское влияние проходило в жизнь само собою, постепенно и малозаметно, возбуждая на первых порах лишь сравнительно слабый и бессильный протест. Между тем, то и другое — быт и техника — бессознательно для русского человека втягивали его и в круг европейских идей и понятий. А когда он очнулся перед неожиданно большим итогом чуждых привычек, усвоенных по мелочам, — идти назад было уже поздно. Старый быт уже фактически разрушен. Только и оставалось — сделать эту старину предметом националистического культа и отвлеченной идеализации. В XVII в. стихийный процесс воздействия иноземного быта только еще начался. Даже в сфере собственно бытовой успехи иноземных влияний были очень ограничены, достигались медленно и распространялись на очень узкий социальный круг. В царском дворце, в нескольких наиболее аристократических московских домах явилось несколько предметов европейской обстановки, правда, несколько не упразднявших старую, а только ее дополнявших. Рядом с простыми гладкими, липового или дубового дерева столами появились "на польский образец" или "немецкой работы" столы "эбенового" или "индийского" дерева, с кривыми или точеными фигурными ножками. Рядом с традиционными скамьями по стенам — явились кресла с замысловатой обивкой и стулья "золотные немецкие", которые в конце века можно было покупать в Москве, в Овощном ряду, целыми дюжинами, по рублю (тог-

дашнему) за штуку. Появились, — на первых порах, впрочем, лишь во внутренних, жилых покоях, — и зеркала на стенах. Их, однако, завешивали тафтой или закрывали, на манер киота, затворами, чтобы подчеркнуть их утилитарную, а не эстетическую роль. Часы, столовые и карманные, имели то же значение и уже с начала XVII в. составляли довольно обычный предмет обихода, как можно судить по сравнительно значительному количеству вольно практиковавших часовых мастеров-иностранцев, находивших себе, очевидно, достаточное пропитание в тогдашней Москве. Несомненно эстетическое значение имели картины, постепенно вытеснявшие к концу века стенную роспись. К картинам перешло и традиционное содержание стенной росписи, по преимуществу церковно-историческое, реже — просто историческое или аллегорическое. Новостью было изображение "персон с живства", то есть портретной живописи. Конечно, все эти роды картин были роскошью, доступной немногим. Для более широкого круга картины заменялись дешевыми гравюрами — "фряжскими листами" заграничной работы или даже их русскими воспроизведениями. Печатание гравюр успело к концу века сделаться предметом местной индустрии, процветавшей в Москве и в Киеве и снабжавшей своими изделиями торговцев московского Овощного ряда и Спасских ворот. Дешевизна (от полукопейки до двух тогдашних копеек) и разнообразие содержания, подчас очень серьезного, чаще морального и религиозного, нередко и смехотворного, распространяли вкус к фряжским листам — этим предшественникам лубочных картинок — все в более и более широких кругах. В богатых домах эти листы насчитывались сотнями, а во дворце ими заменяли иногда обои. Так традиционная русская изба превращалась мало-помалу в европейские "палаты". Но палатами и ограничилось на первый раз это превращение.

Значительно быстрее, чем в обстановке, прививалось польское и немецкое влияние в костюмах. В области костюма особенно много можно было указать черт, несомненно заинтересованных, но превратившихся в "свое" национальное достояние к тому времени, когда начались массовые заимствования XVII в. В пограничном Пскове местный пастырь уже в конце XV века увещевает свою паству "не носить немецкого платья". В середине XVI в. известный нам памфлет, беседа Сергия и Германа, снова обличает греховодников, "позавидовавших ризам неверных, с головы и до ног", и даже грозит "горем" всему "роду христианскому, прельстившемуся на порты и шлыки неверных, имущему их на себе". Через весь XVII в. идет опять ряд обличений и запрещений, очевидно столь же бессильных, как и предыдущие. Царские дети уже при Михаиле Федоровиче носят немецкое платье, пошитое им их воспитателем Морозовым; а в 1675 г. специальный указ запрещает употребление этого платья служилым чинам, толпившимся во дворце. Одного из придвор-

ной молодежи царь разжаловал в низший чин за ношение модной прически, — и затем было сделано только что упомянутое распоряжение, чтобы придворные чины (стольники, стряпчие, дворяне и жильцы) "иноземных немецких и иных извычаев не перенимали, волос у себя на голове не подстригали, а также платья, кафтанов и шапок у себя не носили и людям своим тоже носить не велели". Однако же, в московских рядах в то же время и позднее свободно занимались своим ремеслом поляки и немцы, очевидно, находившие своих клиентов. Царский указ, самое большее, должен был заставить только московских щеголей — некоторое время не мозолить глаза при дворе своими новыми модами.

Гораздо труднее, чем в обстановку и костюм, было проникнуть новым влияниям в традиционное препровождение времени. Строгий чин русской жизни, детально регламентированный, превращал жизнь в обряд, соблюдение которого было не менее обязательно, по крайней мере в высшем кругу, чем соблюдение обрядов религии. И здесь, однако, нашлась лазейка, отыскалось такое слабо защищенное место, через которое новые влияния пробили себе путь к уму и сердцу русского человека. Единственный момент дня, когда он был предоставлен самому себе, когда ни вера, ни общество, ни даже домашний порядок ничего от него не требовали, это были часы — достаточно длинные, правда, — посвященные отдохновению. Русский человек уже и воспользовался этим промежутком отдыха, чтобы распуститься в волю и систематически нарушить тут все то, что его так строго заставляли соблюдать в остальное время дня. Там он был умен; здесь он позволял себе дурачиться. Там его унижали; здесь он сам унижал других, куражился над ними. Там он был верный слуга церкви; здесь он возвращался к языческой старине, упорно игнорируя все предписания церкви. Здесь нашла себе убежище гонимая церковью народная литература, или, по крайней мере, ее уцелевшие от крушения обломки. Здесь сбрасывалась личина смирения и постничества, и раздавался беспрепятственно тот самый смех, на который строгие церковные моралисты смотрели как на начало душевной гибели. Если среди всего этого разгула сам хозяин не пускался в пение и пляс, то только потому, что все еще должен был соблюдать свое достоинство перед дворней. Зато он вдоволь заставлял других и петь, и плясать, и выкидывать всякие штуки, — чем замысловатее, чем забористее, чем циничнее, тем лучше. Это было, словом, то царство дураков и дур, "бахарей" (сказочников) и "домрачеев" (сказителей былин под звуки домры), которое водворялось во всяком богатом русском доме в часы послеобеденного отдохновения или перед отходом ко сну. К этому-то наименее защищенному пункту и могли легче и незаметнее всего привиться заносные "польские" или "немецкие" забавы.

Первыми пионерами этого иностранного нашествия явились заезжие акробаты, фокусники, клоуны. Один из них, "немчин" Иван Семенов, целые десять лет подряд увеселял в "Потешной палате" семью царя Михаила Федоровича и оставил после себя целую школу учеников: "выучил по канатам ходить и танцевать и всяким потехам, чему сам умеет, пять человек, да по барабанам выучил бить 24 человека". Музыканты-немцы тоже не переводились при московском дворе с самого начала XVII столетия. Органы и цимбалы (род фортепьян) еще с XVI в. фигурировали в дворцовом инвентаре. С воцарением Алексея Михайловича развитие всех этих придворных забав круто обрывается. Вместо былин и сказок "бахарей" и "домрачеев" у государя "наверху" распевают духовные стихи его "нищие богомольцы". Место органной игры занимает стройный церковный хор. Музыкальные инструменты и маски преданы были торжественному аутодафе за Москвой, на Болоте. Царь бросил "Потешную палату" для медвежьей потехи или для любимого своего спорта — соколиной и псовой охоты. Воздержание от заграничных и языческих забав продолжалось, однако, лишь до тех пор, пока жива была первая жена царя Алексея. С женитьбой на второй жене, эмансипированной Матвеевым Наталье Кирилловне, — двор как будто спешит наверстать потерянное время и сразу переходит к самой сложной форме иноземной забавы: к театральному спектаклю (1672-1675). Форма была нова, но все ее составные элементы стары, так что переход к этой форме не вызвал особого протеста. Театральный спектакль проходил под флагом "действия из Библии", то есть воспроизведения в лицах общеизвестного библейского сюжета: Эсфири, Товии, Юдифи, Иосифа. Только одно "Темир-Аксаково действие" было робкой попыткой выйти из круга библейских тем в область исторических. Но и тут автор ухитрился изобразить героя (Тамерлана) в виде христианского подвижника за веру. Конечно, флаг прикрывал контрабанду: романтический и смехотворный элемент, строго запрещенный церковью. Но и это запрещение было слишком часто нарушаемо раньше: перед зрителем являлись на подмостках в сущности те же дураки и дуры, с их плоскими шутками и откровенным цинизмом. Бесцеремонный реализм любовных объяснений Олоферна с Юдифью или жены Пентефрия с Иосифом тоже не шокировал тогдашнего вкуса. В этом отношении очень подходило для успеха первых театральных — попыток то обстоятельство, что устроители заимствовали для русской сцены не новый репертуар только что обновленного тогда немецкого театра, а старую ветошь, затрепанную бродячими артистами Германии по ярмаркам и приспособленную ими же для самого низменного уровня. Остроумие голландского Пикельгеринга и чувственность "английской комедии" были как раз по плечу московской придворной публике. Военных сцен, треска и грома, драк и убийств на сцене было совершенно до-

статочко в этих комедиях, чтобы удовлетворить самого взыскательного любителя балагана. Словом, новинка должна была прийти по вкусу. Пригодились и придворные художники-иностранцы: живописец нарисовал до трех дюжин декораций "перспективным письмом"; органист составил оркестр при помощи дворовых музыкантов Матвеева. Немецкий пастор из "слободы" режиссерствовал и обучал актеров; он же выбирал и пьесы, а переводить их пришлось, по-видимому, подьячим по-польского приказа. Таким образом, для осуществления новой затеи пущены были в ход все наличные ресурсы тогдашней московской цивилизации. Результат превзошел ожидания. Три года подряд представления не прекращались ни зимой, ни летом: актеры, оркестр, декорации переезжали вслед за царем и его двором из кремлевского дворца в Преображенское и обратно.

Мы знаем, однако, что чужеземные влияния в XVII в. не ограничились переменами во внешнем быте, обстановке и временипровождении знатных людей. Мы видели, что уже в середине века, под влиянием отчасти польским, отчасти греческим, московское правительство стало критически относиться к религиозным идеологиям националистов XVI столетия. Последствием такой критики была ссора представителей официальной церкви с защитниками национальной идеологии, передавшими скоро свое оппозиционное настроение народной массе. Но, высившись над национализмом религиозным, московские власти остановились на полпути. Скоро им самим пришлось защищать только что освобожденную ими от старого националистического содержания религию против новых веяний — польско-европейских. Мы знаем, что борьба с этими новыми веяниями оказалась, однако, такой же непосильной, как и борьба с религиозным национализмом. Точка зрения чистого формализма не могла удовлетворить ни тех, которые хотели жить старыми упованиями на всемирно-историческую миссию русского народа, ни тех, кто искал, увлекаясь европейскими влияниями или запросами собственного сердца, новых форм религиозной мысли и чувства. В результате и мысль, и чувство ускользнули из-под влияния официальных руководителей. Старая вера, с одной стороны, рационализм и мистицизм, с другой, — нашли к концу века готовую почву для распространения. Еще меньше препятствий встретила европейская светская наука — сперва в виде обрывков средневековых устарелых знаний, переданных через посредство Польши, а потом и в подлинном своем виде. Ко всем этим последствиям чужеземных влияний мы теперь уже не будем возвращаться. Нас интересует в данный момент не столько положительное содержание переданного России запаса новых мыслей и чувств, сколько самый процесс их передачи и вызванное им сознание контраста между национализмом и европеизмом. К этому, то есть к путям и способам европейского

идейного влияния и к его последствиям для национального самосознания — мы теперь и возвращаемся.

Главнейшим способом, каким проникало влияние европейских идей в Россию, было, конечно, непосредственное соприкосновение русских с иностранцами: за границей или у себя дома. Поездки русских людей за границу были, впрочем, до конца XVII в. редким и исключительным явлением. Первый опыт командировки русских за границу для обучения, сделанный Годуновым, кончился, как мы видели, полной неудачей. Молодежь оказалась более восприимчивой к благам европейской культуры, чем это было нужно московскому правительству. С тех пор в Москве относились крайне осторожно к заграничным поездкам, отпускали только акклиматизировавшихся уже в России иностранцев и их сыновей, а на русских наложен был безусловный запрет. Один из немногих, нарушивших этот запрет первых русских эмигрантов, бежавший в Швецию от московских порядков Котошихин, совершенно правильно передает соображения, руководившие при этом правительством. "Для науки и обучения в иные государства детей своих не посылают, — говорил он, — страшась того: узнав тамошних государств веру и обычаи и вольность благую, начали бы свою веру отменять и приставать к другим, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили". Таким образом, за границу не могли попасть как раз те, кому такое путешествие могло бы принести больше всего пользы. Изредка появлялось в Европе русское посольство, — но московские чиновники, волей правительства становившиеся импровизированными дипломатами, меньше всего были подготовлены к роли наблюдателей европейской жизни. Незнакомые с языками, кое-как вычитывавшие по тетрадке, слово за словом, свои официальные речи, они озабочены были одним: как бы не сделать лишнего шага или не сказать лишнего слова, которое бы умалило честь государя и подвело их под служебное взыскание. Они не прочь были иной раз попользоваться непривычной свободой жизни, но так, как они понимали эту свободу, вызывало отвращение в невольных свидетелях их разгула. Это было, в глазах европейских наблюдателей, даже не "варварство", а просто "скотство" и "свинство".

От удовольствий европейского стиля, так же как от наслаждения путешествием — картинами природы, памятниками искусства, приобретениями культуры — отделяла их китайская стена, созданная их собственной умственной и нравственной грубостью. Куда бы они ни являлись, они несли с собой всюду, в буквальном и в переносном смысле, свою собственную атмосферу. Помещения, в которых они останавливались, приходилось проветривать и чистить чуть не целую неделю. Их появление на улице, в парчах и в шелку красного, желтого или зеленого цвета, в длиннополых халатах с высочайшими воротника-

ми и длиннейшими рукавами, в меховых шапках азиатского покроя, собирало около них толпу зевак: не то это был маскарад, не то религиозная процессия, не то просто этнографический курьез, вывезенный каким-нибудь предприимчивым антрепренером из заморских стран, вместе с нильскими крокодилами и африканскими львами. Когда в Москве поняли, наконец, к концу XVII в., какое впечатление производят за границей эти доморощенные дипломаты, то их стали заменять обжившимися в России иностранцами. Житейская опытность и светская развязность последних теперь, в свою очередь, вызывали изумление в европейской дипломатии, привыкшей считаться с *grobiantia Moscovitica*.

Итак, поездки за границу ничего или почти ничего не могли дать для усиления иноземного влияния в России. Совсем иное значение имели в этом деле непосредственные столкновения русских с иностранцами у себя дома.

История этих столкновений начинается очень давно. Но нам нет надобности следить за ней с самого начала. Пока иностранный элемент лишь отдельными струями просачивался в русскую жизнь, его уносило течением или он опускался на дно, ассимилируясь с окружающей средой и исчезая бесследно с поверхности жизни. Только когда иммиграция иностранцев приняла количественно большие размеры, отдельные единицы стали задерживаться все долее на поверхности, цепляясь и поддерживая друг друга, так что к концу XVII в. в Москве сложилась уже большая, благоустроенная колония, — маленький оазис Европы среди культурной пустыни.

О первой завязи этой колонии нам сообщают источники еще из первой половины XVI столетия. Герберштейн рассказывает, что Василий III отвел своим телохранителям (набранным из литовцев и поляков) для поселения особую слободу Нали (вки), имя которой до сих пор сохранилось в названии одной церкви между Полянкой и Якиманкой. Исследователи объясняли исчезновение этой первой иноземной слободы набегом Девлет-Гирея (1571). Вероятнее предположить, что корпус телохранителей просто постепенно обрусел, оставшись на том же месте, но получив новую организацию и новое имя стрельцов, данное им Иваном Грозным в 60-х годах. Но в то же десятилетие мы встречаемся с новым массовым наплывом иностранцев. Это — пленные, целыми тысячами приведенные из ливонских походов. Часть их была рассеяна по разным провинциальным городам, где большинство, вероятно, опять-таки зажило и обрусело. Другая часть — поселена в столице. Для последних отведено было новое место — близ устья Яузы, на ее правом берегу. Подобно старой, новая слобода ("Немецкая") освобождена была от питейного акциза; ее жители скоро разбогатели продажей вина. В 1578 г. эта Немецкая слобода сделалась жертвой одной из вспышек гнева Ивана Грозного. По его приказу она подверг-

лась форменному штурму и была разграблена. Но скоро яузская колония оправилась от погрома и к концу века, вероятно, достигла высшей точки своего процветания, благодаря внимательному отношению Годунова к иностранцам. В смутное время, однако, яузская колония была сожжена и опустела на целые полвека. Ее население разбежалось по уездам, и значительная часть там навсегда осталась. Роста иноземцев в Москве это, однако, не остановило. Напротив, лишившись оседлости в яузском предместье, иностранцы перенесли свои поселения в самый город и оставались там до середины века, постоянно прибывая в численности. Вместо прежней одной церкви (лютеранской), у них явилось две и одна реформатская. Главным их центром была Покровка и Чистые пруды; но их дома, перекупленные у москвичей, явились также и на Тверской, на Арбате, в Сивцевом Вражке. Разбросанные среди русских, иностранцы невольно начали втягиваться мало-помалу в русскую жизнь. Они вели русские знакомства, держали русскую прислугу, усваивали язык, стали, наконец, даже носить русское платье, чтобы меньше обращать на себя внимание в городе. Все это возбудило опасения и в среде торговцев, которым иностранцы сбивали цены на товары, и среди домовладельцев, которым они набивали цены на земли, и среди духовенства, которое начало бояться влияния иностранцев на нравы. Посыпался ряд жалоб, которые правительство сочло нужным удовлетворить. В числе мер, о которых упомянем ниже, против иностранцев принята была одна радикальная, составившая эру в истории их общины. Им велено было продать свои дома русским владельцам, и церкви их, стоявшие внутри города, были снесены. Для новых поселений иностранной колонии место было отведено, "где были наперед сего немецкие дворы", то есть на Яузе, только несколько выше по ее течению. Таким образом, определилось (в 1652 г.) окончательное место "Ново-Немецкой" слободы, в районе теперешней Немецкой улицы. Непосредственной своей цели выселение иностранцев из городской черты достигло: слияние с русским населением приостановилось. Но вместе с тем, сила иностранного влияния возросла, так как теперь под самыми стенами столицы сформировался иностранный городок, с совершенно особым строем жизни и быта. До сих пор иностранцам грозила ассимиляция с русским элементом в гораздо большей степени, чем русским усвоение иностранной культуры. Теперь эта культура стояла рядом, во всей своей неприкосновенности, как вечно готовый образец для подражания. Представители русской власти не хотели допустить амальгамы русского быта с иностранным. Теперь им предстояло пережить период культурного завоевания Москвы Немецкой слободой.

Не нужно, впрочем, быть особенно высокого мнения о культурности элементов, собравшихся в Немецкой слободе. Девиз этого населения был тот самый, который один из его пасторов

(Бер) формулировал латинским стихом *omne solum forti patria est, ut piscibus aequor*, то есть: "Всякий край для смелого — родина, как рыбе — море".

В авантюристах, любителей легкой наживы, среди этого населения не было недостатка. Немало было тут и шарлатанов, искусно эксплуатировавших русское невежество, чтобы дорогой ценой продать дешевые услуги. Этот всегдашний элемент добровольцев-цивилизаторов, обязательно являющийся во всех малокультурных странах, по обыкновению больше всех шумел и скандалил, навлекая на всю колонию ненависть местного населения, у которого он перебивал хлеб, и создавая колонии за границей самую дурную репутацию. Но, конечно, такими людьми не исчерпывался состав населения Немецкой слободы. Немало было здесь, особенно на второстепенных и третьестепенных должностях, таких людей, как, например, пушечных дел мастер Фальк, давший в одном из скандальных процессов слободы угрюмое показание, что "он с клязниками не водится, так как он — человек недосужный". Не гонясь за многим, эти люди несли в чужую им страну свой труд и знание и честно делали свое маленькое дело. Для русской культуры, впрочем, на первых порах всякие элементы — шарлатаны и честные труженики, были полезны.

Профессиональный состав иноземного населения вполне определялся государевыми и государственными потребностями. Вначале первые преобладали. Лейб-медик — иностранец давно уже появился при московском дворе. За ним следовали мастера золотых и серебряных дел, "органные игрецы", живописцы и т.д. Государевым нуждам удовлетворяли переводчики посольского приказа, явившиеся также и первыми переводчиками серьезной иностранной литературы; полковые лекаря, очень, впрочем, немногочисленные; квалифицированные мастера военного дела и пр. Если прибавим сюда довольно значительный элемент торговых людей, для собственных интересов поселившихся в Москве, то этим и исчерпаем состав древнейшей иноземной общины, так как рядовых солдат в этот состав иноземной интеллигенции вводить нельзя. Чем дальше, тем больше военный элемент усиливается, занимая, наконец, первое место в рядах иноземческой аристократии. Уже в тридцатых годах является с своими офицерами полковник Лесли, реорганизовавший русское войско для (неудачной, впрочем) борьбы с Польшей. Под его начальством собралось в Москве, в начале этого десятилетия, до 3000 иноземных солдат; потом эта масса частью схлынула, разбрелась по России, — но офицерство осталось в Москве и положило там начало "новой" иноземской общине, так называемой "офицерской", вступившей вскоре в бесконечную распрю со старой "купеческой". Когда в 1653 г. было запрещено иностранцам владеть поместьями, то и жившее в деревнях офицерство должно было частью съехаться в Москву.

Наконец, в начале 60-х годов вызваны были для военной реорганизации целый ряд новых иностранных офицеров, ставших во главе преобразованных полков. С этого момента перевес военных в составе Немецкой слободы становится бесспорным. Перепись 1665 г. показала следующий состав населения Ново-Немецкой слободы (по дворам):

	Дворов
Военных иноземцев (от полковника до прапорщика)	142
Военных дел мастеров (пушечного, ружейного)	4
Придворных мастеров (золотого и серебряного дела, часовщиков, седельника, портных, живописца)	20
Лекарей и аптекарей	4
Переводчиков	3
Торговых иноземцев	23
Стряпчего торговых людей	1
Еврей	1
Пасторов	3
Неизвестного звания	3
	Итого 204

Здесь, конечно, сочтены только домовладельцы; квартиранты в этот счет не входят. Общую цифру населения слободы надо считать в это время не меньше 1500 (в двадцатых годах можно предположить около 500, в средние века около 1000 чел.).

Господствующим вероисповеданием в слободе давно уже было лютеранское. Католицизм преобладал среди московского иноземческого населения только до второй половины XVII в.; население первой Яузской слободы уже было по преимуществу лютеранское. Дело в том, что католицизм был в Москве известен и подозрителен, как вера соседнего Польско-Литовского государства. Церковь с давних пор воспитывала русское население в ненависти к "латинству". Опыт смутного времени мог только усилить это враждебное отношение. И, действительно, правительство, призывая со всех сторон иностранцев, внимательно следило за тем, чтобы как-нибудь не проник в Московское государство латынник. Когда в числе солдат, на вербованных Лесли в Европе, оказываются католики, правительство немедленно выпроваживает их за границу на казенный счет. В течение всего столетия католикам так и не удается, несмотря на все старания, добиться разрешения иметь в Москве свою церковь, по примеру давно разрешенных лютеранской и реформатской. К протестантским исповеданиям правительство относится, например, очень терпимо, — во-первых, потому, что относительно них оно не связано никакой традицией, никакими историческими прецедентами; во-вторых, потому, что как более далекое от православия, как еретическое, а не только схизмати-

ческое, протестантство кажется ему менее опасным для русского населения. Только к концу века группируется в Немецкой слободе, около Гордона, небольшой католический кружок. Но он уже не может изменить общего тона религиозной жизни в слободе. Ученик Немецкой слободы, Петр Великий выносит из нее протестантские взгляды.

Несмотря на переселение в новую слободу, для иностранцев всегда оставался открытым один законный путь перехода в русскую среду. Это именно принятие православия, часто сопровождавшееся или даже вызывавшееся женитьбой иностранцев на русских. В старое время, в XVI в., обрусение иностранцев происходило так постепенно и регулярно, что переход совершался зачастую как бы сам собою. Просто начинал человек ходить в русскую церковь и исправлять русские обряды; крестил его детей поневоле православный поп, и второе поколение вырастало настолько уже обрусевшее, что едва помнило иностранное происхождение и национальность отца. Только когда правительство, после смуты, усилило контроль над иностранцами, а московский поместный собор 1620 г. постановил, что их (собственно католиков, так как о протестантах и вопроса не возникало) надо вновь крестить, как еретиков, — только тогда власти принялись за этих полуиностранцев, отцы которых выехали в Россию при Грозном или даже при Василии III, — и заставили их перекрещиваться на старости лет. Решение собора 1620 г. было, правда, отменено собором 1667 г. Возможно, что в провинции обрусение совершалось и теперь по-прежнему, то есть путем постепенного слияния, но в столице это было уже трудно. Тут оно, впрочем, было бы и невыгодно, так как, решившись принять православие, иностранцы, обыкновенно, старались извлечь побольше выгод из этого перехода. Они выбирали себе крестного отца познатнее и побогаче и осаждали правительство челобитьями о своих нуждах: просили и получали и деньги, и поместья и должности с окладами, и даже награды натурой: платьем, съестными припасами и питьем, разным домашним скарбом. Процесса обрусения этот формальный переход в православие ничуть не ускорил. Напротив, прежде, затериваясь в русской массе, единицы скорее ассимилировались фактически, чем это могло быть теперь, когда "перекрестов" окружали свои же земляки, поддерживавшие в них сознание национальной и культурной особенности. Теперь "перекрестами" заселялись в Москве целые слободы, одна из которых и географически составляла переход от Немецкой слободы к Москве (Басманная, другая Панская, была расположена по другую сторону города). Таким образом, и "перекресты" являлись теперь проводниками западного влияния в русскую среду.

Менее общедоступно, но зато более серьезно, чем личное влияние иностранцев, было влияние иноземной литературы на зарождающуюся русскую интеллигенцию. Проводниками этого

влияния были те же поселенцы Немецкой слободы, — конечно, более культурные из них. Уже в смутную эпоху боярин Федор Головин рассказывал по секрету поляку Маскевичу, что у него был брат, который "имел большую охоту к языкам, но не мог открыто учиться им; для этого он держал у себя тайно одного из немцев, живших в Москве; нашел также поляка, разумевшего язык латинский. Оба они приходили к нему тайно, переодевшись в русское платье, запирались с ним в комнате и читали вместе латинские и немецкие книги, которые они успели приобрести и уже понимали недурно". "Множество" этих книг, доставшихся Головину от брата, Маскевич сам видел, так же как и опыты переводов вельможного ученика с латинского на польский. Мало-помалу иностранные книги стали появляться и в провинции. В 1672 году издан был интересный указ, которым такое распространение было строго запрещено: "В городах, на посадах и слободах, и в уездах, в селах и деревнях, во всех местах, всяких чинов людям учинить заказ крепкий с большим подкреплением, чтоб те люди польской и латинской печати книг никто у себя в домах тайно или явно не держали, а приносили бы и отдавали бы воеводе". Едва ли такое распоряжение оказалось действительным. В столице, во всяком случае, подобная мера уже в то время была анахронизмом. Здесь, чем дальше, тем становились обыкновеннее домашние учителя и библиотеки иностранных книг, и самое обучение велось открытее. Этим путем обучались и обучали своих детей знаменитые западники XVII столетия, Ордин-Нащокин, Матвеев, Борис Голицын. В письме к царю, в 1671 г., известный малороссийский проповедник и политический деятель Баранович замечал, что "синклит царского пресветлого величества польского языка не гнушается, но чтут книги ляцкие в сладость". Что это был не простой комплимент по адресу московских бояр, доказывает попытка, сделанная в следующем 1672 г. типографией Киевской лавры, — открыть в Москве специальную книжную лавку, в которой польские книги занимали видное место. До тех пор книги продавались в Москве из казенной лавки при Печатном дворе; вольная же продажа книг производилась наряду с другими товарами, в лавках овощного ряда. Только что упомянутая попытка киевлян открыть специальный книжный магазин кончилась, однако, неудачей. С одной стороны, она грозила конкуренцией московской казенной и вольной продаже, а с другой — вызывала опасения, как бы не распространились подозрительные москвичам богословские и богослужебные издания западной южнорусской печати. Назначен был цензор, — он же и управитель московского Печатного двора — митрополит Павел, который выполнил свою обязанность весьма просто. Те из книг, которые существовали и в московских изданиях, он сличил с последними и отметил разноречия. Остальные же книги он разделил на две категории: одни, которые и прежде про-

давались в Москве и "спору о них не бывало"; другие, новые, в Москве неизвестные. Продажа "несходных" и неизвестных книг была затем запрещена, а продавать книги, имевшиеся и в Москве, значило допускать конкуренцию. Естественно, что правительство, в конце концов, решило (1675): "книг никаких в Москву на продажу не присылать, потому что в Москве устроен на то Печатный двор, и книгами изобильно". "Изобильно" было в Москве, очевидно, одними богослужебными книгами, которые почти исключительно и издавала казенная типография. Но так как такими книгами только и мог держаться тогда книжный магазин, то от своих попыток устроить в Москве специальную книжную торговлю малороссийским предпринимателям пришлось отказаться.

Потребность в иного рода книгах этим, правда, не уничтожалась. Любопытно, что и сам вышеупомянутый цензор одобрил к продаже латинские и польские книги, привезенные в 1672 г. комиссионерами Киевской лавры. Тогдашняя партия старины судила, конечно, о них иначе. Представители этой греческой партии (Евфимий) прямо обвиняли русскую знать в том, что при посредстве домашних учителей она ввела в моду латинские (то есть, неправославные мнения). При устройстве академии та же партия хотела, как мы знаем, положить предел этому вторжению западной литературы путем введения строгого наблюдения за учителями иностранных языков и путем безусловного запрещения держать у себя иностранные книги лицам, не прошедшим курса высших наук. Уже сама условность этих мероприятий (независимо от их полного бессилия на практике) показывает, что преградить иностранному влиянию этот путь — литературный — было уже поздно и невозможно.

Влияние, однако, шло еще дальше простого привоза и чтения иностранных сочинений. Иностранные библиотеки и учителя доступны были, действительно, только знати. Теперь же, чем дальше, тем больше — иностранная литература и наука популяризировались посредством русских переводов. Правда, огромная часть этих переводов оставалась в единственном экземпляре, представлявшем автограф переводчика; притом многие из таких рукописей составляли достояние правительственных учреждений и вельможных библиотек. Но, как бы то ни было, — начало было положено. Можно даже составить, очень неполную, правда, но все же поучительную, статистику этих древнейших русских переводов, характеризующую отчасти вкусы и потребности тогдашнего читателя. Вот табличка, показывающая, сколько было сделано (известных нам) переводов за три пятидесятилетия (с XVI до конца XVII столетия), с распределением этих переводов по отраслям знания (см. ниже).

Как ни разнообразны были пути и формы иноземного влияния, как ни возросла сила этого влияния к концу XVII в., — тем не менее, его победа была делом будущего, делом следую-

этого периода развития нашего национального самосознания. В настоящем же периоде, как сказано выше, элементы критики приводили не к разрушению националистических идеологий, а, наоборот, к их более точной и полной формулировке. На этом отрицательном влиянии западных веяний нам и нужно остановиться, прежде чем мы перейдем к положительному. Итак, посмотрим, прежде всего, как реагировал туземный национализм на западное влияние.

Отдел	Число переводов		
	1550-1599	1600- 1649	1650-1699
Религиозно-нравственный	3	6	28
Литературный	1	2	12
Исторический	3	1	14
Космография и география	4	1	7
Медицинский	1	2	5
Энциклопедии, словари и справочные книги	1	4	3
Астрономия	—	—	9
Военные науки	—	3	2
Естественные	3	1	—
Математические	—	—	3
Юридические и политические	—	1	5
Разные	—	—	6
Итого	16	24	94

Реакция была вначале бессознательная, очень энергичная по своим проявлениям, но очень слабая по своим конечным результатам, так как она исходила из маловлиятельных общественных слоев. Напротив, к концу века националистическая реакция становилась все более планомерной и сознательной, захватывала все более влиятельные слои, по мере того, как выяснялась степень и размер опасности, которою грозили националистической традиции элементы критики. Если, несмотря на свою планомерность, сознательность и влиятельную поддержку, националистическая реакция оказалась, в конце концов, бессильной, то это отчасти потому, что она слишком поздно признала грозившую национализму опасность, отчасти же потому, что ей нечего было и потом противопоставить этой опасности, нечем с нею бороться. В Западной Европе, где этих причин не было, националистическая реакция обыкновенно оказывалась более способной не победить, конечно, критические тенденции, но, по крайней мере, противопоставить им более сильное и продолжительное сопротивление и этим отсрочить момент их победы. В России сопротивление национализма оказалось ничтожным, и потому победа критических тенденций вышла необычайно быстрой и полной. Стихийная стадная ненависть к чужеземцам есть

одно из тех элементарных социальных чувств, которые сопровождают народное развитие с низших ступеней до высших. Оно слабо проявляется только там, где вообще слабо развито сознание национальной личности. Дерулед, тщетно проповедующий национальную вражду русскому мужику в имени Льва Толстого, — вот самая наглядная иллюстрация этих двух ступеней, можно бы сказать, двух полюсов развития — национального самосознания. Смягчается это выражение национальной вражды лишь на высоких ступенях культуры, под влиянием более частых международных сношений и идей общечеловеческого единства и равенства. Но как тонок и непрочен этот культурный слой космополитических чувств и идей, свидетельствуют нередкие взрывы шовинизма и ненависти к иностранцам даже и в культурных странах европейского Запада. Национальное самосознание массы в старой Москве до конца XVI в. стояло, по-видимому, на уровне толстовского мужика, то есть на уровне примитивного безразличия. Конечно, было бы ошибочно принимать это безразличие за философскую терпимость, так как единственным основанием его было полное отсутствие впечатлений, возбуждающих национальное раздражение. Положение дела должно было измениться, по мере того, как такие впечатления стали накапливаться и перестали быть случайными и одиночными. Смутное время было своего рода эрой в этом отношении. Ежеминутные насилия над привычками и формами народного быта воспитали и обострили национальную вражду в жителях столицы, а грабежи польских шаек по всей Руси популяризировали то же чувство в провинции. От недоумения, вызванного действиями первого самозванца, Москва скоро перешла к самой горячей ненависти. Как быстро совершилась эта перемена настроения, видно, например, из того, что тот самый греческий архиерей, Арсений Элассонский, большой хитрец, который в начале смуты присоединился к мнению московских оппортунистов, — что смута могла бы быть прекращена женитьбой Василия Шуйского на Марине, вдове самозванца, — в конце, выдержавши тяжелую осаду с запертыми в Москве поляками, счел удобным и своевременным разгласить повсюду, что освобождение Москвы от поляков было ему предсказано во сне национальным патроном, преподобным Сергием. С тех пор освобожденная и очищенная формально Москва свято хранила свою ненависть к "поганству". Недаром московская протестантская община пела, по окончании богослужения, вместо церковного гимна элегический "плач", сочиненный пастором Бером в 1610 г.:

Прости, о Боже, свой покров
Над нами в дни печали,
Чтоб от злокозненных врагов
Вконец мы не пропали.

Они всем сердцем, всей душой
Мечтают из страны родной
Нас истребить бесследно.
Не сговориться нам никак;
То скажут так, то эдак,
И нас же, бедных, в дураках
Оставят напоследок.
Как ни старайся, ни трудись,
Хоть ты для них из кожи лезь;
Ничем не угодишь им.
Везде, куда ни кинешь взор,
Твой взгляд врага лишь видит.
Сам царь, и с ним весь царский двор
Нас просто ненавидит.
Простой народ не терпит нас:
Кто не по нем, так с тем тотчас —
Короткая расправа.

От их окровавленных рук,
О Боже, ты спаси нас!
Не медли же, явился вдруг,
Отсюда изведи нас.
Будь нам Ты истинный Навин:
Среди смеющихся равнин
Поставь земли немецкой.
Здесь дольше жить для новых мук
Твоих не в силах стадо:
Тяжел нам варварский Молох —
Признаться в том уж надо.
Веди же нас прочь иль, вняв мольбе,
Несчастных призови к себе —
В небесные чертоги.

Острый момент прошел, и разбежавшаяся было община по-немногу опять собралась. Но враждебное к ней отношение населения не изменилось. Оно, напротив, усиливалось по мере того, как община росла в числе и старалась ближе стать к столичному населению. При каждом удобном случае вражда эта проявлялась самым недвусмысленным образом. В догонку иностранцам уличные мальчишки и взрослые посылали самые отборные ругательства, как это еще недавно можно было услышать и увидеть на глухих улицах Стамбула. Заглянувшего в церковь иностранца — выталкивали в шею и подметали за ним пол. Олеарий рассказал нам несколько более серьезных случаев, — вероятно, не единственных в этом роде. Несколько прохожих шли мимо лавки цирюльника и заметили, что у него в квартире висит человеческий скелет, который, показалось им, шевелится в то время, как хозяин играет на лютне. Несмотря на влиятельную протекцию злополучного цирюльника пришлось выслать из Москвы, а скелет был предан торжественному сожжению. Едва спасся от народной расправы и живописец, при пожаре дома которого найден был череп. Ввиду такого отноше-

ния толпы, и иностранцам, и русским в взаимных сношениях приходилось соблюдать величайшую осторожность. Мы видели раньше, что боярин, желавший принимать у себя в доме учителя-иноземца, должен был делать это потихоньку от людей и переодевать своего учителя в русское платье. В середине столетия положение мало переменилось, как видно из наблюдений Павла Алеппского. По его словам, москвичи "считают чуждого по вере в высшей степени нечистым: никто из народа не смеет войти в жилище кого-нибудь из франкских (европейских) купцов, чтобы купить у него что-нибудь, но должен идти к нему в лавку на рынке; а то его сейчас же хватают с словами: ты пошел, чтобы сделаться франком". Органом этого раздражения против иностранцев сделалось уже в конце царствования Михаила (1643) московское духовенство. Оно жаловалось царю формально на то, что иностранцы строят свои церкви близко от русских, что они "русских людей у себя в дворах держат и всякое осквернение русским людям от тех немцев бывает". Эта челобитная послужила сигналом к известному уже нам правительственному гонению против иностранцев. Немедленно были снесены две протестантские церкви — на Покровке и у Чистых прудов; та же судьба постигла затем и третью. Далее последовал ряд указов о ношении русского платья, недержании русской прислуги иноземцами, о наказании их смертной казнью за богохульство, об изгнании из всех городов России, кроме Архангельска, английских коммерсантов, наконец, о выселении всех иностранцев за городскую черту, во вновь отведенную им слободу (1652). Все это не только не утишило национальной вражды к иностранцам, но на первое время придало смелости буянам. Не успела обстроиться Ново-Немецкая слобода, как мы встречаемся с попыткой уличной толпы разгромить ее. Взволнованная слухами о том, что жена только что пожалованного помещьем генерала Лесли мучит крестьян и жжет в огне иконы, толпа бросилась на Ново-Немецкую слободу, разнесла крыши на только что перенесенных туда церквях и разрушила в них кафедры проповедников и алтари. После того и владение поместьями запрещено иноземцам специальным указом. Все эти распоряжения создали для иностранцев то новое, более спокойное и, в сущности, более опасное для национализма изолированное положение, о котором мы говорили выше. Сами иностранцы справедливо сравнивали его с положением рака, которого в наказание решено утопить в воде.

Выгнать иностранцев из Москвы, не умея все-таки обойтись без них, значило, в сущности, прийти к ним самим, но уже в их собственную среду, в их обстановку, за наукой. Необходимость такого обращения не замедлила обнаружиться. Лишив иностранцев русской прислуги, правительство не затруднилось прислать русских детей в немецкую школу, когда это понадоби-

лось для придворного спектакля. Мещанские дети показали путь царскому сыну.

Из русских едва ли кто тогда понимал невозможность победить европеизм путем одних только чисто отрицательных мероприятий. Понять опасность надвигавшейся европеизации и в то же время не ограничиться предложением одних паллиативных мер для борьбы с нею суждено было впервые не русскому, а славянину-хорвату Юрию Крижаничу (1617-1683). Обстановка славянской жизни, с ее несравненно большей опасностью иноземного порабощения, с наглядными примерами такого порабощения в самых разнообразных степенях и периодах развития, начиная с экономической зависимости, продолжая культурной и кончая политической, — такая обстановка гораздо более изоцряла глаз.

Исследователи спорили, явился ли Крижанич в Россию в качестве горячего славянского патриота или в роли агента католической пропаганды, посланного хлопотать о соединении церквей. Его биография дает ясный ответ на этот спор. Уже 22-летним юношей, кончая в Риме свою подготовку к миссионерской деятельности (после обучения в Загребе, Граце и Болонье), Крижанич подал в Конгрегацию Пропанды записку (1641), в которой развивал план — идти к схизматическим братьям в Россию "не столько с проповедью веры, сколько с призывом к добродетели". Русские "такие же христиане, только ошибающиеся". Но они "бедные жалкие простаки и невежды". Он рассчитывал достигнуть цели, приблизившись к "великому князю" и убедив его, что "во всем славянском мире нет государя могущественнее его". Он собирался предложить себя в переводчики и учителя "княжеских" детей, написать ряд книг и убедить вел. князя освободить славянство и Европу от турок.

Конгрегация составила о Крижаниче мнение, как о *cervello torbido e stravagante* (путаная и экстравагантная голова). Его запрятали, вместо Москвы, приходским священником в Вараждин (1642-1646). Только благодаря личной энергии ему удалось перебраться в Смоленск и совершить в составе польского посольства двухмесячную поездку в вожделенную Москву (конец 1647). Вернувшись, после пребывания в Вене и поездки в Константинополь, в Рим, Крижанич прожил здесь семь лет в ожидании разрешения ехать в Россию. Он получил наконец это разрешение (1657), но папа отменил декрет Конгрегации. Тогда он тайно выехал из Рима и своими силами добрался до Москвы (1658). Здесь он проявляет кипучую деятельность: пишет сочинения и докладные записки царю, предлагает составить грамматику и лексикон славянского языка, исправить и издать славянскую библию, составить каталог царской библиотеки и перевести книги по истории и государственным наукам; дает советы, как успокоить малороссийских казаков, и хочет, в качестве царского историографа, опровергнуть "лжи", распускаемые про

Россию. Все эти хлопоты и заботы встретили в Москве совсем другой прием, чем ожидал славянский энтузиаст. Ему не доверяли как чужаку и беспокойному человеку, в нем видели католика — и его нежелание перекрещиваться, что требовалось для перехода его в православие, послужило окончательным доказательством его католических тенденций. В 1661 г. он был отправлен из Москвы в ссылку в Тобольск — и там написал ту "Политику", которая составляет резюме его взглядов и которой мы воспользуемся в дальнейшем. Только после смерти царя Алексея он мог вернуться из ссылки за границу. И здесь он опять не ужился с католиками. В Вильне он вступил в доминиканский орден — по-видимому, чтобы облегчить возвращение в Рим. Не получив поддержки, он сбросил монашеское одеяние, самовольно покинул Вильну, попав за это в монастырскую тюрьму. Отбыв трехмесячное наказание, он примкнул к новому славянскому предприятию. Ян Собесский шел освобождать Вену от турок. Крижанич примкнул к его армии — и умер под стенами Вены (1683).

Таков жизненный путь знаменитого славянина, ставшего первым теоретиком русского национального самосознания. Перейдем к изложению его взглядов.

Россия представляется Крижаничу, уже в 60-х годах XVII в., стоящей на распутье двух культурных дорог, из которых одна манит вперед, в опасную даль, а другая уводит назад, в густые потемки. Программы обоих противоположных между собой культурных направлений он формулирует в целом ряде ярких сопоставлений. При каждом отдельном случае Крижанич указывает исход из опасной дилеммы — в виде среднего пути между крайностями радикализма и реакции: такой исход диктует ему "разум".

"Есть два народа, искушающих Россию приманками противоположного характера, влекущих и разрывающих ее в противоположные стороны. Это — немцы и греки. При всем различии между собой, оба народа сходятся в основной цели своих искушений".

"1. Немцы нам рекомендуют всяческие нововведения. Они хотят, чтобы мы бросили все наши похвальные древние учреждения и нравы и сообразовались с их собственными извращенными правами и законами. Греки, напротив, безусловно осуждают всякую новизну; без дальних рассуждений они вопят и твердят, что всякая новизна есть зло. А *разум говорит*: ничто не может быть дурно или хорошо только потому, что оно ново. Все хорошее и дурное в начале ново. Когда-нибудь было ново и то, что теперь является стариной. Нельзя принимать новизну без рассуждения, легкомысленно, — так как при этом можно ошибиться. Но нельзя и отказываться от хорошего из-за одной его новизны, так как и тут возможна ошибка. Будем ли мы

принимать или отвергать нововведение, во всяком случае надо при этом серьезно разобрать дело”.

”2. Греки научили нас когда-то православной вере. Немцы нам проповедуют нечестивые и душепагубные ереси. *Разум* советует в данном случае: грекам быть весьма благодарными, а немцев избегать и ненавидеть их, как дьяволов и драконов”.

”3. Немцы стараются завербовать нас в свою школу. Под видом наук они нам подсовывают дьявольские чудесничества: Астрологию, Алхимию, Магию. Они советуют свободные, то есть философские знания выбросить на общее употребление и сделать доступными каждому мужику. Греки, напротив, осуждают всякое знание, всякую науку и рекомендуют нам невежество. *А разум говорит*: избегай дьявольских чудесничеств, как самого дьявола, но верь, что и невежество не приводит к добру. Что касается философии, с ее изучением не надо так шуметь и вольничать, как это делают немцы, но следует делать это с той скромностью, с какой изучали и преподавали философию Святые отцы. Как все хорошее, употребляясь в излишестве, становится дурным, так и философия, сделавшись известной всему народу, ведет за собой много сомнений и смут и многих от труда отвлекает в праздность, как и видим теперь у немцев. Там все без различия, ученый и неученый, честный и нечестный, хорошо или худо — пользуется общим добром, кто для того, чтоб найти истину, кто, — чтоб показать свое неверное мнение, кто, — чтоб оправдать свои пороки. Нельзя всякое блюдо приправлять медом; иначе будет тошно. Нельзя и философию делать доступной народу, но только благородному сословию и немногим из простолюдинов, специально для того назначенных, сколько их потребуется для государственной службы. Иначе — достойнейшая вещь профанируется и пошлеет: бисер мечется перед свиньями”.

”4. Немцы выше всего ставят проповедь или чтение Евангелия: этим одним они надеются спастись без всякого покаяния и добрых дел. При этом они вызывают нас на диспуты. Греки же упразднили и осудили проповедь. *А разум советует*: во-первых, поревновать о покаянии и добрых делах, а во-вторых, и проповеди не отвергать. Но нельзя поручать или дозволить проповедь первому попавшемуся, неопытному или нетвердому в нравственных правилах, священнику или монаху. Проповедовать может один епископ или старейшие, наиболее испытанные жизнью и распроставшиеся с мирскими соблазнами монахи. Простым священникам достаточно читать проповеди по книге, да и это не всем можно дозволить, а то в Германии и в Польше всякий пьяный поп может проповедовать Слово Божье”.

”5. Немцы советуют нам предаваться всякой телесной распущенности, а монашескую жизнь, посты, ночные бдения и всяческое умерщвление плоти учат презирать. Греки требуют, чтобы мы соблюдали не только истинное и похвальное христи-

анское воздержание, но вводят особые виды ложного благочестия и фарисейского суеверия. Они хотят телесными омовениями смыть душевные пятна, а священническими молитвами думают очистить телесную нечистоту и т.п. А *разум* внушает: никоим образом не допускать телесной распущенности и не пренебрегать делами покаяния и умерщвления плоти. Новые же, подозрительные и неизвестные отцам виды благочестия предвзрительно хорошенько исследовать”.

“6. В политических делах греки советуют нам во всем поступать по образцу турецкого двора. Будучи сами неучены и неопытны в этом вопросе, они ничего другого и не могут нам сказать об этом, кроме того, что видят в Турецкой Порте. Немцы же порицают все турецкие нравы, законы и учреждения. Все, что носит имя турецкого, — тем самым слывет у них за варварское, не гуманное, скотское. А *разум* говорит, что и у турок есть кое-какие отличные и достойные подражания учреждения, — разумеется, не все”.

“7. Немцы утверждают, что в вопросах веры нельзя никого осуждать, и ссылаются при этом на Писание, где сказано: “Не судите, да не судимы будете”. А греки приводят другой текст: “Кто будет вам проповедовать что-либо сверх того, что вы прияли, — да будет анафема”. И они выводят из этого и других подобных мест, что мы должны их одних слушать и им без рассуждений верить. А *разум советует*: немецкие и всякие другие ереси, осужденные уже отцами и соборами, отвергать без всякого нового рассмотрения, а если возникнет новый спорный вопрос, отцами и соборами не рассмотренный и не решенный, — сперва выслушать и разобрать как следует, а без разбора не осуждать (например, вопросы о числе таинств, о чистилище)”.

“8. Греки нам льстят и подслуживаются баснями, стараясь возвеличить старину этого государства, а в действительности только позорят его и ставят в невыгодное положение. Они называли Москву третьим Римом и сочинили смешную сказку, будто русское царство есть римское и ему приличествуют знаки достоинства Римской империи. Немцы же на нас клеветуют и всячески стараются доказать миру, что русское государство есть простое княжество, а государи — великие князья. Те и другие отказывают здешнему государству в имени и чести “королевства” (regnum); те и другие сходятся в лживой передержке, будто римское государство — не простое королевство, а нечто высшее, и будто здешнее государство не может сравниться с ним в достоинстве, если не получит этого достоинства от римского государства. А *разум* говорит, что государей может ставить один Бог, а не римский император; что дать корону и титул — не значит сделать кого-нибудь государем, а просто значит — уступить ему свое место. Русское царство так же велико и славно, как римское, никогда ему не подчинялось и равно ему по власти”.

”9. Из вышесказанного ясно видно, каким разнообразным и гибельным искушениям подвергают нас немцы и греки, давая нам притом советы прямо противоположные. В самом деле. 1) Первые хотят заразить нас своими новизнами, вторые огульно осуждают всякую новость и под фальшивым именем древности навязывают нам свои нелепости. 2) Одни сеют ереси, другие хотя и научили нас истинной вере, но примешали к ней схизму. 3) Одни предлагают нам смесь истинных наук с дьявольскими, другие восхваляют невежество и все науки считают ересью. 4) Одни питают тщетную надежду спастись одною проповедью, другие пренебрегают проповедью и предпочитают полное молчание. 5) Одни, допуская всяческую распущенность в жизни, влекут нас на широкий и просторный путь гибели; другие, призывая к фарисейскому суеверию и ханжеству, указывают тем путь — более узкий, чем даже тесный и истинный путь спасения. 6) Одни — все турецкие государственные порядки считают варварскими, тираническими и негуманными, другие все находят прекрасным и похвальным. 7) Одни находят, что нельзя никого судить, другие утверждают, что надо осуждать, не выслушав. 8) Одни не отдают должной чести этому государству; другие приписывают ему честь вымышленную, суетную, нелепую и невозможную. 9) Расходясь, таким образом, почти во всем, отлично сходятся в том, что одинаково ненавидят наш народ, презируют его, злословят и осыпают злейшими клеветами и нареканиями”.

Эта длинная цитата не только резюмирует взгляды автора на занимающий нас вопрос, но она рисует и его самого во весь рост. Так отнестись к борьбе греческого и немецкого культурного влияния мог только человек, чуждый тому и другому: человек, который смотрел на протестантизм и на православие глазами католика, который ненавидел грека и немца, как балканский славянин, притом славянин той пограничной области, где высокомерное господство грека соприкасалось с предприимчивой эксплуатацией немца. Крижанич хорошо понял притом, что за греком стоят лишь традиции прошлого, которые не устоят перед славянским возрождением, тогда как немцу принадлежит будущее, и бороться с ним можно только его оружием — дальнейшим развитием собственной культуры. Естественно, что уже и по этой причине — а не только по одному тому, что нападать на греков в православной Москве было не особенно ловко, — все усилия Крижанича направлены на борьбу не с греками, а с главным, по его мнению, врагом славянства, с немцами. Сила его ненависти к этому врагу равняется только тому невольному уважению, которым он был проникнут по отношению к европейской культуре.

Мы видим, что этот теоретик национализма выступает на литературную борьбу с багажом, резко различным от того, какой находился в распоряжении у доморощенных противников

иноземного влияния. Его публицистическая проповедь представляет, сообразно с этим, две очень несходные стороны. Когда он прокликает русскую любовь к иностранцам, мы воображаем, с каким удовольствием поддакивали в такт его речам самые закоренелые московские староверы. Но стоило ему перейти к средствам для излечения лютого недуга, и можно себе легко представить, как вытягивались их лица: сам Петр Великий говорил с ними устами патриота-славянина.

"Народы даровитые и мудрые обыкновенно эксплуатируют другие, менее культурные народы (*populos rudiores*)". Такова исходная точка зрения Крижанича. "Таким образом, прежде греки завлекали в обман другие народы, теперь их совращают германцы". Больше всех пострадали от немцев славяне. Главная причина этого — слабость собственного культурного развития. "Наш народ занимает середину между дикими и цивилизованными (людскими) народами". С цивилизованными народами славяне не выдерживают никакого сравнения. "Мы по наружности — посредственны, а иностранцы красивы и потому надменны и горды. Мы неразговорчивы, а они бойки на язык, говорливы и полны насмешливых, ругательных, язвительных речей. Мы медленны умом и просты сердцем, они исполнены всяких хитростей. Мы — гуляки и расточители, приходу и расходу счета не держим; богатство свое раздариваем и разбрасываем; они скупы, жадны, всецело преданы корысти. День и ночь они только и смотрят, как бы наполнить свои мешки, а над нашими пирами и угощениями смеются. Мы ленивы к работе и к наукам, они трудолюбивы и не проспят ни одного удобного часа. Мы довольствуемся убогой одеждой и умеренным образом жизни; они требовательны, утопают в роскоши и изнеженности, никогда ничем не насытятся, но постоянно алчут и хотят все больше и больше. Мы живем в убогой земле, они рождены в богатых роскошных странах и привозят к нам всякие, к роскоши и наслаждениям служащие товары: бисер, шелк, драгоценные камни, вино, сахар, фрукты и этими приманками дурачат нас, как ловцы зверей. Мы просто говорим и думаем и просто в наших действиях поступаем: если поссоримся, то и опять помирился; у них — сердце скрытное, неискреннее, злопамятное, наружность притворная; обидного слова они не забудут до смерти, и если раз с тобою поссорятся, то уже веки истинного мира не учинят, но и после примирения всегда ищут случая к отместке".

Преимущества иностранцев ослепляют нас и отдают им в руки. "Обладая языком самым несовершенным, чуть не немым, некрепкие разумом и почти вовсе лишенные красоты, мы дивимся чужому красноречию, мудрости, разуму, искусству в играх и льстивым шуткам; и подобно птицам, которые тем легче попадают в силки охотника, чем больше любопытствуют и дивятся на охотничьи затеи, и мы, зазевавшись на иноземческую

красоту, бываем ими одурачены и сведены с ума: они накинута нам узду, сядут на шею и ездят, сколько хотят". Очаровав нас своею красотой и обманув своим умом и хитростью, иностранцы затем "берут с нас дань, обдирают и доводят до нищеты своею алчностью и ненасытностью, побивают, вредят и приводят в отчаяние своей скрытностью, тайным, вечным, неутошным ядом и коварством, срамят, осмеивают и выставляют на позор всем народам своей бесовской надменностью".

Но неужели славянам суждено навсегда остаться несовершеннолетними в семье цивилизованных народов? Может ли быть изменено только что описанное отношение между ними и германцами?

По смыслу мнений Крижанича, оно отчасти не может, отчасти не должно, но отчасти необходимо должно измениться.

Отношение *не может* измениться, если изображенные национальные свойства считать неотъемлемыми, прирожденными чертами национального характера. Крижанич так именно и склонен смотреть на некоторые из упомянутых национальных свойств. "Неразговорчивость, леность, пирование и расточительность — говорит он, — суть наши урожденные приметы или четыре первоначальные свойства, с которыми мы, кажется, родились". Рядом с этими природными недостатками он отмечает и природные достоинства, которые *не должны* изменяться. "Первое наше счастье от рождения состоит, кажется, в том, что мы не честолюбивы и довольствуемся простым образом жизни".

Оставляя в стороне эти неизменные национальные особенности, Крижанич сводит остальные различия между славянами и иностранцами, по-видимому, к одному — к *степени знания и умения*. Незнание — есть такой порок, который неизбежно излечивается временем. "Всякий человек рождается прост и во всем неискусен. Медленно он растет телом, еще медленнее совершенствуется разумом. Несметное множество людей едва на четырнадцатом году возраста или еще позднее осматриваются кругом себя и начинают разумеать, что такое свет и что в нем происходит... Но не только отдельный человек, а и целые народы медленно учатся и совершенствуются разумом. Проходит много времени, пока народы узнают истину и оставят древние свои дурные (вредные) идеи и законы. Только тогда они, что непригодно, научатся делать пригодным, что было неудобно, превращают в удобное, что было хорошо, переменяют на лучшее, что было мерзко, превращают в приличное и почетное... Очень удачно Флор, римский историк, приравнивает историю своего народа к четырем возрастам человеческим (детству, молодости, возмужалости и старости)... Мы можем с полным основанием и всякий другой народ применить к этому разделению эпох: это покажет нам не только то, что все человеческие вещи непостоянны и переменчивы, но также и то, что всякий народ не сразу

и не в один миг, а спустя много времени научается разуму и мудрости, которая нужна для общественной жизни и государственного устройства...” “Как храбрость, так и мудрость переходят от народа к народу. Некоторые народы были в древности отлично знакомы со всякими науками, а теперь несведущи, например египтяне, греки, евреи. А другие в древности были грубы и дики, а теперь в ремеслах и во всякой мудрости на диво славны — например, немцы, французы... Пусть же никто не говорит, будто бы нам, славянам, путь к наукам был заказан каким-то роком небесным и будто бы мы не можем или не должны учиться наукам. Как другие народы не в один день и не в один год, но постепенно, одни от других учились, так и мы можем научиться, если захотим и если постараемся”.

Однако не все славяне находятся в достаточно благоприятных условиях для восприятия наук. Напрасно было бы и думать, полагает Крижанич, о возрождении славянства в Померании, Силезии, Чехии и Моравии — как странах, вполне уже онемеченных. Задунайские славяне (болгары, сербы и хорваты) тоже “давно уже потеряли не только свои государства, но и всю свою силу, язык и разум... Помочь им вполне и восстановить их государство в теперешние трудные времена — невозможно. Можно только посредством книг открыть этим людям умственные очи, чтоб они сами научились понимать свое достоинство и начали бы думать о своем возрождении”. Всего легче разбудить народное самосознание у поляков, но и для этого нужна посторонняя помощь. Такую помощь всем славянам может оказать только московский государь. На него обращены все взоры славянства, он один может собрать рассеянное стадо и вернуть человеческий вид народам, превращенным в скотское состояние влиянием иностранцев, словно чудодейственным напитком Цирцеи. Недаром Бог возвысил на Руси славянское королевство, подобного которому по силе, славе и величеству не было до сих пор среди славянства. “У других народов мы видим, что когда какое-либо государство достигает высшей точки своего могущества, тогда у этого народа и начинают процветать науки... Поэтому, мы полагаем, что теперь пришло наконец время и нашему народу учиться наукам”.

Но для того, чтобы сыграть роль в славянстве, Россия сама должна очиститься от греха “чужебесия” — ксеномании, которому и она подвержена, хотя и в меньшей степени, чем остальные славяне. “Пора уже раз навсегда прогнать от себя немцев: мерзко век учиться и не научиться, а так и остаться навеки на ученической скамье”.

Путем такой философии истории Крижанич приходит к своему беспощадному анализу русского “чужебесия”. Раз коснувшись этой темы, он уже не жалеет красок, не останавливается перед преувеличениями, не смущается никакими радикальными решениями: лишь бы спасти Россию от той печаль-

ной судьбы, которая мерещится ему в более или менее близком будущем на основании прецедентов остального славянства. Он тщательно выискивает в современной России наличные следы европейского влияния, старается отыскать их вредную сторону и взывает к национальным силам, долженствующим заменить иностранные. Не довольствуясь настоящим, он рисует опасности будущих заимствований, предостерегает от них и отстаивает против них сохранившиеся еще на Руси старые добрые нравы.

Две главные основы государственного могущества суть материальное богатство и военная сила. В обоих отношениях могущество России подвергается опасности от нашествия чужеземцев. Богатство страны они высасывают, как купцы. Они умеют за бесценок купить русские товары, по огромным ценам навязать им свои. И притом они привозят такие товары, которые часто лишь служат для дальнейшего развращения русских иноземным влиянием, а вывозят такие, которые необходимо нужны самой России для дальнейшего роста ее населения (например, зерновой хлеб). Военная сила России тоже не столько увеличивается, сколько умалется наймом иностранцев на военную службу. Уже не говоря о найме целых корпусов, Крижанич решительно высказывается и против приглашения иностранных офицеров, которое в больших размерах практиковалось в тридцатых годах и приняло особенно большие размеры в шестидесятых, то есть как раз тогда, когда он писал свою книгу. "Полковники" научили русские войска не тому, чему надо. Они ввели тяжелый строй, который пригоден лишь для войны на западной границе, но совсем не годится для борьбы с южными кочевниками, со стороны которых грозит России главная опасность. Научиться стрелять из пищалей и носить длинные копыя мы могли бы и сами. Но, введя эти реформы в пехоте, мы напрасно приняли немецкий конный строй, вместо того чтобы удержать выработанную опытом "легкую езду и гусарский строй". С другой стороны, приглашение иностранцев на высшие места закрыло дорогу своим, которые потеряли надежду выслужиться, а следовательно, и охоту служить. Простые же солдаты, слыша иноземную команду, потеряли уверенность в себе, в своем превосходстве над прочими народами, не приобретя в то же время доверие к своим новым начальникам.

Как же помочь делу? Крижанич стоит здесь за радикальные меры. И купцов, и полковников надо выгнать из русской земли: первых оставить лишь до тех пор, пока они передадут свои знания русским людям. Впрочем, им и передавать нечего, кроме того, что они уже дали.

Но Крижанич идет дальше: от опасностей наличных он переходит к опасностям, грозящим в будущем. На рубеже тех и других стоят заимствования от иностранцев во всем строе жизни. Крижанич с удовольствием констатирует незначительность

этих заимствований и тот полный контраст, который продолжает существовать между европейским строем жизни и русским. Этот именно контраст вызывает большую часть иностранных обличений и насмешек. Крижанич готов признать, что не все в этих обличениях лживо. Но везде он запальчиво отвечает иностранцам — упреками, что они впадают в другую крайность. Как всегда, так и в данном случае он видит исход в золотой середине. Верно, конечно, что русское жильё крайне неудобно, что окна низки, отдушины для прохода дыма малы и при топке по-черному дым стоит в избе и слепит глаза. Правда, что под лавками в избе вечная грязь, посуда немыта, нельзя продохнуть от вони. Но дома иностранцев располагают к изнеженности: мраморные полы их так часто моются и содержатся в такой чистоте, точно алтари, нельзя гостю и плюнуть на пол, чтобы служанка тотчас не подтерла. "Не будем подражать чересчур заботливой и не жалеющей труда чистоплотности немцев", которые хотят превратить временную земную гостиницу в небесные чертоги. Дом должен быть чист, утварь должна быть удобна для мытья, а не чеканная и резная, мебель пусть будет простая, сделанная из туземного, а не из привозного материала. Точно так же и относительно платья. Совершенно верно, что русский костюм не удовлетворяет ни одному элементарному требованию от одежды: он неудобен, непрочен, дорог и тяжел; его покроем безобразит народ, и без того некрасивый; к тому же при нем приходится платок прятать в шапку, деньги — в рот, а ножи, бумаги и всякие нужные вещи в голенища, что вызывает смех и отвращение иностранцев. Недостатки фасона приходится возмещать богатством и яркостью материй, дороговизной отделки — мехами или драгоценными камнями. У европейского покроя нельзя отрицать разумности и целесообразности. Но зато у них каждый год новая мода: нет таких украшений и форм, служащих комфортабельности или пикантности, которых бы они не выдумали. "Стоит во Франции или в другом месте придумать что-нибудь пикантное, игривое, легкомысленное или роскошное, как немцы тотчас набегут и усердно переймут это". Русским следует создать покроем средний между восточным и западным: нужно, чтобы он был дешев, удобен для движения, прочен и легок.

Русский образ жизни Крижанич, безусловно, предпочитает европейскому. Европейцы "высшей задачей человека считают наслаждение" и утверждают, что "человек создан Богом для того, чтобы пользоваться мирскими удовольствиями". Таким образом, "Евангелие Христа они превращают в евангелие наслаждения". Нашу же простоту жизни они считают варварством. Русский человек, кое-как выспавшись, на лавке или на печи, под собственной свитой вместо одеяла и на соломенной подстилке вместо тюфяка, спешит спозаранку на работу или на царскую службу. Иностранец нежится до полудня на пуховиках и

перилах и, едва встав с постели, тотчас принимается за вкусный завтрак. Он проводит время в праздности, разнообразя досуг играми, песнями, музыкой, танцами, услаждая свой вкус тысячными блюдами со всевозможными приправами. И в то время как высший класс — "сарданапалы" или "лежаки" утопают в роскоши, безземельные рабочие погружены в нищету: "Целый год они не пьют ничего, кроме чистой воды, и питаются недостаточно одним хлебом". "А на Руси, по Божьей милости, все люди, как самые богатые, так и самые бедные, едят ржаной хлеб, рыбу, мясо и пьют, если у кого нет пива, по крайней мере квас". Они живут в топленных избах, тогда как на Западе бедняки терпят зимою стужу, так как "дрова продаются на вес". "Таким образом, крестьянское и батрацкое житье гораздо лучше на Руси, чем во многих странах". В высшей степени важное преимущество русского социального строя Крижанич видит в том, что все общественные группы несут общественную службу и никому не позволено оставаться праздным. На Руси нет непроизводительных общественных групп или число их доведено до минимума. "Крестьяне пахут землю и готовят хлеб; ратные люди терпят холод и голод, проливают кровь и полагают головы; дворяне воюют, суды судят, думы думают, советами и трудами своими королю и народу служат; церковники и иноки Бога за людские грехи молятся. При таком порядке все добрые и производительные классы нечто делают, что служит на общую пользу всем классам". В этот перечень Крижанич умышленно не вводит ни торговцев, ни того, что мы назвали бы интеллигенцией. Торговцы, с его точки зрения, подобно праздной части дворянства, суть непроизводительный, "некорыстный" класс — "бездельники". Интеллигенция же, сверх известного минимума, тоже представляется ему дармоедами, приносящими больше вреда, чем пользы. Разводить их слишком широким преподаванием либеральных наук — нет никакой надобности.

Переходим к политическим взглядам Крижанича. Отношение его к русскому самодержавию — очень для него характерно. Он постоянно и настойчиво повторяет, что неограниченная монархия есть одна из важнейших основ национального благополучия. Кроме ходячего аргумента, нам уже не раз встречавшегося, что самодержавие лучше обеспечивает свободу каждого от посягательства влиятельных лиц и классов — защищает слабого от сильного, — Крижанич имеет при этом в виду другое основание, для него самого особенно важное. То дурное, что ему не нравится на Руси, большею частью вытекает, по его мнению, как мы видели, из незнания, то есть является плодом простых ошибок, которые могут быть исправлены законодательством. "Худое законодательство" — вот коренной источник всех зол; следовательно, радикальная законодательная реформа — таково, в его глазах, должно быть коренное лекарство. Неограниченность

власти государя нужна ему как необходимое условие такого радикального законодательства. Вот почему он особенно горячо ее защищает. Если, однако, присмотримся ближе, то увидим, что и тут рассуждение Крижанича располагается по его обычной схеме: Россия — крайность, славянство — другая; истина — посредине.

"Не умеют наши люди ни в чем меры держать и средним путем ходить, но всегда увлекаются в крайности. В ином месте у нас государственное устройство вконец распущено, своевольно, беспорядочно; в другом — вконец твердо, строго и жестоко. На всем широком свете нет королевства такого безрядного и распутного, как польское, и нигде нет такого крутого владения, как в этом славном государстве русском". В той и другой крайности виновными оказываются иностранцы и их влияние. "Немцы заразили свет распустой и ограничением самовластия". От них заимствовали и ляхи свою анархию. Начинателем русского "людодерства" (тиранства) был царь Иван Грозный; но он же "хотел сделать из себя варяга, немца, римлянина, — кого угодно, только не русского и не славянина". Не довольствуясь приобретенным им могуществом, он захотел суетной славы; его "домашние бахари" (Крижанич не подозревает, что в том числе были и славяне, и складывает вину на греков, в частности на патриарха Иеремию, приехавшего в Россию в 1588 году) придумали ему вздорные и вредные сказки о том, что Москва — третий Рим и что ее государь — потомок Августа. Эта суетность была "не последней и немаловажной причиной и московского разорения, и иных народных бедствий, которые претерпел наш народ со времени царя Ивана". Возвращаясь к "людодерству", Крижанич подчеркивает его вред во внутренней и внешней политике. Крутое владение сопровождается поборами, обогащающими царскую казну, но в несравненно больших размерах разоряющими народ. Этими финансовыми тягостями объясняется и опустение страны. С другой стороны, та же крутость отталкивает соседей. Так, Малороссия, испробовав московского владычества, поспешила вернуться под власть ляхов.

Против обеих крайностей, "людодерства" и "распусты" Крижанич часто и длинно полемизирует. Важнее этой полемики для нас остановиться на том положительном понимании "умеренного владения" — своего рода "просвещенного абсолютизма", — которое развивает наш публицист. Это понимание и составляет ту золотую середину, к которой тяготеют в данном случае симпатии Крижанича.

"Спроси всех королей на свете, как они понимают свои обязанности, и ты много найдешь таких, которые не смогут объяснить тебе отчетливо, зачем Бог создал на свет королей и зачем дал им власть над народами. Мнят короли, что не они созданы ради королевств и народов, а королевства ради них. Мнят короли, что их дело только господствовать, повелевать и пользо-

ваться удовольствиями, а не промышлять день и ночь о народном благе". В действительности, каково бы ни было происхождение власти, она ограничена: или Божьей волей (в случае если власть получена от пророка или путем завоевания), или волей народа (в избирательных монархиях — власть каждого государя отдельно, в наследственных — власть "первого, который вольно от народа избран на царство", что практически сводится к тому же). Таким образом, хотя "король никакой человеческой власти не подчинен и никто не может его судить или казнить, но он подчинен заповеди Божией и общественному мнению (общему гласу). Эти две цепи связывают короля и напоминают ему о его долге. Кто не заботится ни о страхе Божиим, ни о сраме людском, ни о славе грядущих времен, тот есть настоящий, полный тиран". Для короля тиранство — такой же позор, как для воина трусость, для женщины неверность, для дворянина ложь и для богача — кража.

"Забота и обязанность и главное дело короля есть — *людовство учинить блаженным*". К этому он должен направлять все свои помыслы. Конечно, и для царя не все возможно. Никакой царь не может надеяться достигнуть того, чтобы его царство было абсолютно свободно от всяких недостатков. Он не может заставить землю дать плод или заставить море произвести рыбу. Но из этого не следует, чтобы государь имел право оставить без исправления то, что может быть исправлено. И как бы он ни был полон добрых намерений, он должен помнить, что после него может явиться наследник иного настроения. Лучшим средством закрепить надолго свои улучшения являются "добрые уставы". Но хорошее законодательство дается нелегко. Для него необходимо "много думать и взвешивать, и в книгах искать, и голову утруждать. Среди других забот королю и его думным людям нелегко держать в памяти столько расчетов и разных соображений и подбирать себе наглядные примеры прошлых времен по книгам". Для всего этого, а также и в виде противоядия против лживых советов льстецов, "разумному государю необходимо держать при себе, по крайней мере, хоть одного или двух философов, со званием напоминателя или летописца, которые бы раскрывали ему другую сторону истины или, если бы побоялись сами объявить истину, то хотя бы указали книги, которые не боятся говорить правду".

Эту роль Крижанич, очевидно, предназначал для самого себя. Желание его, по-видимому, и исполнилось, но только в довольно своеобразной форме. Он был отправлен в почетную ссылку, с значительным жалованьем, — порядок, который он формально одобряет и считает похвальным в своей "политике". Оттуда, из далекого Тобольска, он мог безопасно для государственного спокойствия и для себя самого подавать свои политические советы. Над этим он и работал несколько лет подряд. Плодом таких добровольных занятий в невольном уединении и

явилась та единственная в своем роде философия национализма, которая бросает такой яркий свет на стремления времени.

Советы, которые давал Крижанич, далеко не ограничивались критикой существующего; не ограничивались они и одними отрицательными советами — запретить для иностранцев Россию. На досуге он обдумал и предложил правительству целый ряд положительных реформ во всех отделах государственной и общественной жизни. По его плану, сам царь должен был оповестить народ об этих реформах в длинной речи, которую сочинил для него Крижанич и которая заключала в себе резюме всех его предложений. В разбор всех этих предложений нам нет нужды вдаваться. Но необходимо остановиться несколько на их общей связи, чтобы в pendant к националистическим вождедениям характеризовать также и размах реформаторской мысли Крижанича.

Не будет, кажется, ошибкой признать центральной мыслью положительной программы Крижанича — необходимость развития производительных сил России. "Наипервая причина силы государства — множество народа". "Люди плодятся и множатся там, где есть пища, одежда и прочее необходимое для человеческого существования: мир, хорошо устроенное правительство. Люди повсюду размножаются настолько, насколько их может понести и прокормить земля, то есть насколько земля и вода родит хлеба, скота, рыбы, зверей для корма и одежды; деревьев, камней и руд на постройку жилищ, на утварь и орудия. А где земля неплодна, там по необходимости и население будет редкое. Правда, в иных местах, например в Голландии, жителей гораздо больше, чем земля может прокормить, но такие люди живут великим развитием промышленности и торговли, а пищу и одежду привозят извне. Напротив, в других местах земля плодородна, а людей мало. Причинами могут быть мор, голод, война. Этого рода причины не производят длительного действия: после них земля скоро населяется вновь. Если же она остается малолюдной полвека и больше, то причины должны быть другие". Это — или слабое развитие земледелия, ремесла и торговли, в связи с экономической эксплуатацией страны иностранцами, или дурные законы и крутое тиранство (связанное с тяжелыми поборами). Таким образом, меры к увеличению густоты населения могут быть тройкие: во-первых, непосредственные законодательные распоряжения, во-вторых, все меры, направленные к подъему туземной промышленности и торговли и к ограничению иностранной конкуренции, в-третьих, наконец, перемены в государственном строе в связи со здоровой финансовой политикой.

Непосредственными законодательными мерами для заселения страны и размножения населения могут быть всевозможные облегчения и поощрения браков. Напротив, ничего нет хуже для этой цели, как переселение и приписка к подданству

иностранцев. Римская империя потому разрушилась, что по мере завоеваний становилась все более и более смешанной из разных народностей. Напротив, русское государство сильно своим племенным единством. Крижанич резко восстает против переkreщивания иностранцев и против приглашения на службу целых иноземных корпусов.

Для развития производительных сил России Крижанич дает целую массу практических указаний. В основу он кладет тут, как мы знаем, полное изгнание иностранцев. Враждебно настроенный к классу посредников — торговцев, он не хочет передавать барышей иностранной торговле и в руки частных русских предпринимателей. Он всецело предоставляет эти барыши казне, которая должна взять всю оптовую торговлю с иностранцами в свои собственные руки. Нет возможности перечислить здесь все отдельные советы о розыске новых природных богатств, об устройстве новых промышленных предприятий, введении новых орудий производства и обработки русского сырья, об открытии новых торговых пунктов, о заимствовании европейских форм кредита и т.д.

Что же касается здоровой финансовой политики, Крижанич исходит из критики тиранических поборов, выбивающих из населения в десять раз больше, чем доходит до самой казны. Основным принципом, который он "не устает повторять", для него служит правило: богат народ, богат и король; беден народ, беден и король. Он предлагает все государственные поборы заменить одним прямым налогом, взимание которого поручить местному самоуправлению.

Остается деликатный вопрос о введении монархической власти в известные законные рамки. Крижанич думает решить этот вопрос путем предоставления разным классам умеренных привилегий — "слободин". Нисколько не ограничивая самодержавия, такие "слободины", напротив, могут лишь быть ему полезны. "У французов и испанцев вельможи имеют известные, связанные с происхождением, вольности; зато там не чинится никакого нечестия королям ни от простого народа, ни от войска. А у турок, где нет никаких присвоенных родовитости вольностей, государи зависят от глупости и дерзости простых пеших стрельцов. Что захотят янычары, то и должен делать король. Дерзость черного люда, которая при нас (эти речи Крижанич влагает в уста Алексея Михайловича) дважды обнаружилась, вам ведома. Вся эта дерзость от того происходит, что у бояр нет силы и крепости, которая бы могла черный народ держать на узде и удерживать от бешеных поступков. Вот для чего мы и хотим вам, слугам нашим, дать надлежащие вольности". Таким образом, по мысли Крижанича, предлагаемые им "слободины" должны создать своего рода *rouvoirs intermédiaires* Монтескье, которые и превратят "людодерство" в "умеренное владение" ("самодержавие" в "монархию", по терминологии Екатери-

ны II и Александра I. Однако же сословные вольности не должны ограничивать самодержавия. Они даются условно и во всякое время могут быть отобраны. С другой стороны, они не должны нарушать основных принципов московской государственной практики, которые Крижанич безусловно одобряет: "запертия рубежей", то есть запрещения ездить за границу, и затем того правила, что всякий приписан к своему делу и не может оставаться праздным. Только для "именитых бояр" сделано исключение: после трехлетней непрерывной службы при дворе или в войске боярин освобождается до самой смерти от придворной службы и не обязан ни приезжать ко двору, ни даже жить в Москве, если не будет вызван специально. По русским понятиям, такое положение, правда, равнялось опале. Для высшего класса — "князей" — создается новое право — владеть укрепленными городами. Дворянство освобождается от телесных наказаний и, за исключением государственных преступлений, от конфискации имущества. Сослать дворянина государь, однако, сохраняет право без суда. Право владеть поместьями принадлежит одним дворянам. Им же дается преимущественное право обучаться высшим наукам. Торговля и промышленность освобождаются от всяких монополий и привилегий. Ремесленники получают цеховое устройство. Городам дается самоуправление. Остальные вольности, проектируемые Крижаничем, сводятся к уничтожению унижительных форм обращения к власти (битье челом, именование просителя холопом и употребление уменьшительного имени) и к установлению титулов и внешних знаков почета.

Напуганный прецедентами западно- и южнославянской истории, Крижанич особенно боится, чтобы "чужебесие" не превратилось в "чужевладство", то есть в господство чужой династии, которое, в конце концов, приведет к политическому порабощению. Чтобы предупредить эту возможность, должен быть, по его мнению, выработан точный закон о наследовании престола. Государь должен обязать народ присягой ни в каком случае не допускать до престола чужеземца. В случае прекращения династии престол переходит к одному из двенадцати "князей", составляющих высшее сословие государства и пожалованных в это звание государем.

Нельзя отрицать, перебирая все эти реформационные проекты первого теоретика русского национализма, что мы здесь попадаем в сферу идей петровско-екатерининской реформы. Национализм соприкасается с реформой в том основном утверждении Крижанича, что для борьбы с высшей культурой необходимо и действительно одно лишь средство — развитие собственной самодеятельности. Собственно, это скорее даже екатерининские, чем петровские мысли. Для Петра самодеятельность была еще не целью, а лишь естественно вытекавшим из условий времени результатом. Даже там, где Петр действовал целесообраз-

но и сознательно — в сфере вопроса о развитии производительных сил России, это развитие было для него средством для ближайшей цели — усиления государственных ресурсов. Для Крижанича, как для политически подготовленного мыслителя, эта непосредственная, ближайшая цель решительно перестала иметь то самостоятельное значение, которое она долго сохраняла в стихийном процессе русского государственного развития. Крижанич систематически подчинял государство задаче служения национальной жизни. Но далее и самая самодеятельность национальной жизни служила для Крижанича лишь средством для дальнейшей цели — для сохранения национальной особенности. А без сохранения особенности немислимо было достижение на этот раз уже последней, самой заветной цели всей публицистической деятельности патриота-славянина и убежденного католика: цели освобождения славянства и соединения церквей. Отчасти эта отдаленность главной задачи, отчасти серьезная политическая подготовка и давали Крижаничу ту прозорливость, которой отличается его постановка вопроса. Чтобы найти в собственно русской публицистике такую сознательную постановку национального вопроса, нам надо бы было перескочить через целое столетие, прямо к Болтину, то есть ко временам Екатерины II.

В промежутке осуществилось очень многое из предложенного Крижаничем царю Алексею. Но осуществилось много и такого, перед одной возможностью чего Крижанич приходил в трепет и ужас. Вся внешность европейской культуры была усвоена без всяких изменений, совершенно механически, то есть именно так, как опасался Крижанич. И сладкая еда, и мягкие постели, и изящная праздность высшего класса, и роскошь обстановки, костюма, жилья — все это стало обыденными явлениями. Пережила Русь и то самое "чужевладство", которого Крижанич боялся больше всего. На престоле сидела иностранка и женщина. Произошло это вследствие того самого отсутствия закона о престолонаследии, на которое Крижанич настойчиво обращал внимание правительства. Словом, во всем ходе культурной жизни не было и признаков той сознательности, которой от нее требовал Крижанич. И тем не менее все страхи Крижанича оказались совершенно напрасными. Россия не денационализировалась, а понемногу ассимилировала себе воспринятые механически элементы иноземных культур. Не значило ли это, что самая возможность опасности, указанной Крижаничем, для России не существовала?

Денационализация может совершиться только тогда и там, где не создано еще достаточно сильных элементов национальной организации, или же там, где национальная замкнутость уже уступила место сознательному космополитизму. Россия не представляла ни того, ни другого условия. Она вышла из того состояния бесформенной этнографической массы, в котором

возможно было полное онемечение славянства восточнонемецких земель. И она не дошла до того уровня культурности, на котором возможно распространение космополитизма. В своем промежуточном состоянии она была неуязвима даже для более сильного иноземного влияния, чем какое было возможно при данных условиях: при низком уровне развития России и при ее гигантских размерах. Вот почему самая идея о возможности денационализации не могла прийти в голову никому другому, кроме искусственного чужим опытом иностранного наблюдателя. Идеи и чувства, диктовавшие Крижаничу его опасения, несомненно, были налицо. Но Крижанич рассматривал их в увеличительное стекло своей исторической и политической науки. Вот почему доза иноземного яда, которую жизнь ввела или готова была ввести в русский организм, казалась ему достаточно сильной, чтобы повлечь роковой исход, — тогда как самочувствие туземного организма находило эту дозу едва достаточной, чтобы произвести действие целительной прививки.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ценная сводная работа по вопросу об иноземных влияниях (преимущественно XVII в.) принадлежит А. Брикнеру, *Geschichte Rußlands bis zum Ende des XVIII Jahrhunderts*, Band I, *Überdlick der Entwicklung bis zum Tode Peters des Grossen* (Gotha, 1896) (*Geschichte d. Europas Staaten, Heeren u. Uckert*). См. также более ранние работы того же автора: *Die Europeisirung Rußlands* (Land und Volk. Gotha, 1888) и *Beiträge zur Kulturgeschichte im XVII Jahrhundert* (Leipzig, 1887). Данные об изменении домашней обстановки и образа жизни см. у Забелина, *Домашний быт русских царей в XVI и XVII вв.*, ч. I. Изд. III (1895) и его же: *Домашний быт русских цариц*, Изд. II (1870). О придворных спектаклях Алексея Михайловича см. (кроме Забелина) статью Н.С. Тихонравова, *Первое пятидесятилетие русского театра*, Соч., т. II (М., 1898) и его же: *Русские драматические произведения 1672-1725 гг.*, т. I с только что названной статьей в виде предисловия (СПб., 1874). См. также П.О. Морозова, *История русского театра*, I (СПб., 1889). История стипендиатов, посланных Годуновым за границу, рассказана отчасти по новым источникам — в статье Н.В. Голицына, *Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII в.* в Чтениях Общества Истории и Древностей, II (1898). Для истории немецкой слободы см.: Fechner, *Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau*, I (М., 1876). Д.В. Цветаева, *Протестантизм и протестанты в России до эпохи преобразования*, в Чтениях Общества Истории и Древностей, IV (1889) и I (1890). Эпизод с киевской книжной лавкой в Москве рассказан по архивным данным в брошюре В. Эйнгорна, *Книги киевской и львовской печати в Москве в третьем четверть XVII в.*, (М., 1894). Таблица переводных сочинений XVI-XVII вв. составлена почти исключительно по своду данных этого рода, сделанному И.А. Шляпкиным в его книге *Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651-1709)* (СПб.). Для биографии Крижанича новые данные архива Пропаганды и С. Оффицио использованы о. Р. Pierling'ом в его *La Russie et le St. Siège*, v. 1 (1907) и Е.Ф. Шмурло, *Римская курия на русском православном Востоке* (Прага, 1928), здесь и библиография. См. также: V. Jagić *Život i rad Iurja Križaniča* (Diela Jugoslov. akad. Znanosti). Кн. XXVIII (Zagreb, 1917); В. Вальденберг, *Государственные идеи Крижанича* (СПб., 1912). О духовной среде, в которой воспитывался Крижанич, см.: М. Murko, *Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven* (Prag. und Heidelberg,

1927). См. также Матвея Соколова, *Материалы и заметки по старинной славянской литературе*, II (СПб., 1891) из Журнала Министерства Народного Просвещения. Очень слаба брошюра Иована П. Рогановича, *Крижанич и его философия национализма* (Казань, 1899), тут же библиография. Устарела монография Арс. Маркевича, *Юрий Крижанич и его литературная деятельность*, Варшавские университетские известия, № 1 и 2 (1876). Новая работа (радикальный взгляд на Крижанича) принадлежит В. Пичета, *Экономические и политические взгляды Юрия Крижанича* (СПб., 1913). Главное сочинение Крижанича издано не в полном виде П. Бессоновым под заглавием *Русское государство в половине XVII в.*, 6 вып. или два тома (М., 1859). Новое издание всех сочинений Крижанича, предпринятое Обществом Истории и Древностей Российских, остановилось пока на втором выпуске. В "Чтениях" напечатана и ценная работа С. Белокурова, *Ю. Крижанич в России*, с материалами (1902). См.: "Чтения", вып. 2 (1907), вып. 3 (1909).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОБЕДА КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НАД НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМИ

I

СТИХИЙНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА И СТИХИЙНАЯ ОППОЗИЦИЯ ЕЙ

Официальный характер победы. — "Средний" путь Крижанича и отношение к реформе царя Алексея Михайловича. — Умеренно-национальная реформа В.В. Голицына: ее казовой характер; ее претензии и ее неудачи во внешней и внутренней политике. — Контраст между государственной деятельностью Голицына и времяпрепровождением молодого Петра. — Консервативная реакция после свержения Софьи. — Насильственный и крайний характер реформы Петра. — Объяснение этого характера условиями обстановки — культурной и социальной. — Причина особого ослабления националистической культурной традиции в предшествовавшей религиозно-церковной реформе и ее последствия: моральном кризисе в среде правящего класса. — Причина особого ослабления социальных препятствий — в отсутствии господствующего класса. — Отказ дворянства от политической роли и бессилие правящей бюрократии воспользоваться положением. — Легкость волнений как последствие этого; их исключительно отрицательный характер. Бессилие олигархической тенденции правящей бюрократии. — Где искал Петр опору своей власти? — Его отношение к бюрократии и боярству. — Недоверчивость Петра и ее результаты — в выборе сотрудников. — Последствия этого выбора: необходимость делать все лично и недоверие к избранным. — Отсутствие подходящих сотрудников как новая причина индивидуальности реформы. — Дворянская гвардия как самая надежная опора власти. — Майоры гвардии как самые доверенные люди. — Взгляды современников на личную роль Петра в его реформе. Цели и средства реформы, сознававшиеся самим Петром. Его отношение к европейской культуре. — Отношение к собственной реформе: недостаток систематичности и обдуманности в связи с личными свойствами ума и воли. — Грубая общая схема и идея долга не заменяют общего плана. — Петр сам учится на реформе. — Отражение этих черт на главных частях реформы: войско, флот, Петербург. Вывод. — Отношение национализма к реформе. — Раскол как готовое знамя для национальной оппозиции. — Его религиозный характер; отсутствие принципиальной розни с никонианством; относительный и временный характер разногласий в допетровскую эпоху. — Благодаря реформе Петра религиозный протест окончательно превращается в национальный и принимает принципиальную окраску. — Широкое распространение недовольства. — Отношение религиозного протеста к социальному до Петра. — Попытка союза обоих течений на Дону 1688 г. и причина ее неудачи. — Новый фактор политического протеста, стрельцы: в их руках национальный протест получает свою формулу (1698). — Неудачная попытка националистической оппозиции опереться на южные окраины (1705-1708).

— Аристократическая оппозиция, ее возражения против войска, флота, Петербурга. — Основания ее недовольства в классовых интересах.

Мы познакомились с тем, как проникали в русскую народную жизнь, начиная с конца XV до конца XVII в., все в большем и большем размере, элементы критики, заимствованные из жизни европейских народов. Мы видели также и то, что первым, ближайшим последствием этого влияния критических элементов была совсем не реформа национальной жизни, а лишь, по контрасту, более или менее сознательная формулировка ее местных особенностей, сложившихся мало-помалу в национальный идеал, не подлежащий никакой реформе.

Дальнейшей ступенью того же влияния — к которой мы теперь должны перейти — была победа критических элементов над только что сложившимся национальным идеалом, — победа, выразившаяся в полной реформе жизни. Но на первый раз победа эта оказалась внешней и формальной, так как совершена была насильственными мерами власти, а не внутренним процессом эволюции народной жизни. Вот почему мы назвали эту победу, характеризующую второй период в истории борьбы между русским национализмом и критикой, термином "официальной". Официальный свой характер она сохраняет почти до конца этого периода. Первой нашей задачей в этом отделе и будет показать, почему таков именно оказался характер первой победы критики над национализмом в русской жизни.

Возможность *иного* способа победы горячо старался, как мы видели, доказать Крижанич, мечтавший разрешить вопрос о реформе в полной гармонии с национальным вопросом. Но предлагавшийся Крижаничем "средний" путь уже потому должен был оказаться невозможным, что основан был на наличности такого условия, которого не было в русской жизни тогда и которое не скоро явилось потом. Как при заимствовании чужого, так и при сохранении своего он предполагал полную сознательность выбора, основанного на указаниях "разума". Именно этой-то сознательности и не было. А за отсутствием ее весь ход развития критических воззрений и национального самосознания пошел совсем не так, как бы хотелось нашему публицисту. Критические элементы заимствовались стихийно, полусознательно, механически. И в такие же стихийные, полусознательные формы вылился национальный протест. Таким образом, спор и решился не путем добровольного компромисса, а путем открытой борьбы. Первым результатом ее и оказалась победа сильнейшего: "официальная победа" крайнего отрицания старого национализма.

Неизбежность такого исхода, правда, выяснилась далеко не сразу. В шестидесятых годах XVII в., когда писал Крижанич, он еще имел полную возможность предаваться иллюзиям "среднего" исхода. Элементы критики, при первом своем распростра-

нении, на самом деле еще очень близко соприкасались с элементами национального идеала, при первой его формулировке. Уже не говоря о создании, при помощи чужеземных элементов, нового самодержавного идеала XVI века, и новый бытовой идеал XVII века находился с элементами критики в близком соседстве. И критика, и национальное самосознание, в своих первых источниках, были двумя сторонами одного и того же социально-психического процесса, совершавшегося в одной и той же общественной среде, часто даже в одних и тех же людях. Этой средой был единственно доступный западному влиянию тесный придворный круг; этими лицами, совмещавшими западничество с национализмом, были, в сущности, все знаменитые западники XVII столетия. Недаром тогда вновь заимствованные элементы быта — и даже идеологии мирно укладывались рядом с элементами национальной традиции и образовали единое целое. Даже такое специфически национальное движение, как раскол, имело одним из своих источников, как нам уже известно¹, умеренные просветительно-реформаторские стремления кружка, собравшегося при молодом тогда царе Алексее Михайловиче. Да и сам царь в начале царствования, казалось, как нельзя лучше подходил к этому моменту первоначального культурного равновесия — вернее сказать, безразличия — элементов критики и национализма в русском сознании. На счастье "тишайшего" царя Алексея, ему не пришлось напрягать сил для какой-либо крупной исторической борьбы, не пришлось идти к цели через трупы и топить в вине и крови укору мятущейся совести, как приходилось это делать царю Ивану и пришлось сделать Петру. Вынести такую драму для него было бы совершенно непосильно. Ему привелось царствовать в промежутке между двумя историческими катастрофами, в момент сравнительного затишья. Но и в этом затишье все-таки было так много движения, внутренней жизни, что к концу царствования Алексей Михайлович остался позади времени, со своим пассивным и ленивым оптимизмом. Остроумный историк Московской Руси наглядно изобразил нам историческую роль царя Алексея в позе человека, занесшего ногу вперед, да так и застывшего в нерешительности. Но нерешительность "тишайшего" царя была еще значительнее, чем можно было заключить из этой позы. Он вообще не любил никаких беспокойных поз. Он никуда не шел и даже не стоял: он просто спокойно возлежал на гряде обломков старого и нового, не разбирая, откуда что идет, и подобрав под себя что было помягче. Вместе с этой грудой его несло по течению. Иногда это мирное плавание прерывалось неожиданными толчками из мира действительности, врывавшимися неприятным диссонансом

¹ См. "Очерки", II, V, 3. Ср. там же, V, 7 замечание Костомарова о расколе как о движении по существу своему новом и передовом для того времени, когда оно возникло.

в созданную царем искусственную атмосферу покоя и комфорта. Тогда царь волновался — волновался, как ребенок, которому мешают играть в любимую игрушку. Но за него все устраивали другие, и царь опять успокаивался до ближайшего следующего толчка, который опять приходил неожиданно и проходил бесследно. Чем дальше, однако же, тем подводные толчки становились все чаще и сильнее, тем яснее должно было стать наконец, что кругом не все мирно и тихо, что те элементы, которые так спокойно улеглись рядом в обиходе царя, суть элементы враждебные друг другу; что под видимой тишью и гладью скрывается незримая борьба, сталкиваются противоположные течения, которые скоро разнесут на клочки самые основы благополучия "тишайшего" самодержца. Что-нибудь подобное должен был чувствовать и сам царь Алексей, сталкиваясь на своем жизненном пути с беспокойными людьми, которые не желали знать и ценить его душевного мира, которые хотели борьбы и смело шли на нее. Когда, с одной стороны, упрямый Аввакум от имени святой старины грозно звал царя на страшный суд с собой и заклинал его стряхнуть с себя мирское забвение; когда, с другой, молодой мечтатель, сын его любимца (Ордина-Нащокина), бежал на вольный простор мысли и жизни, за "рубеж", от вымотавшего душу московского болота, — тогда и "тишайшему" должно было, хотя минутами, прийти в голову, что мирное соседство элементов критики и национализма не есть нечто само собою разумеющееся и вечное. Но, дорожа больше всего своим покоем, добрый царь отгонял от себя черные мысли, следуя своему правилу: "Нельзя, чтобы не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтобы Бога наипаче не прогневать". С этим благоразумным режимом, в котором самое горе обращалось на пользу, как своего рода гигиена души, царь Алексей кое-как сводил свои счета с настоящим, — не без содействия крепких московских тюрем — а о будущем не думал. Он занял, таким образом, не столько среднее, сколько нейтральное положение между старым и новым: оно ничего не имело общего с тем "средним" путем реформы, на который призывал его Крижанич. Робкого и смиренного царя, павшего перед самыми пустыми жизненными затруднениями, уставшего всякому сколько-нибудь настойчивому проявлению воли, простодушно удивлявшегося, что в дворцовом ведомстве слушают его приказаний², и принужденного, — чтоб его на самом деле слушали — действовать либо хитростью, либо слезами, либо, в крайнем случае, недалеко от слез нервным криком и жалкими словами, — такого царя невозможно представить себе в роли смелого реформатора.

² "Слово мое теперь во дворце добре страшно и делается без замедленья", — шуточно пишет он Никону.

Между тем, когда прошло это мирное царствование, то вместе с ним прошел и первый шанс помирить или хоть отдалить столкновение возникающих противоречий при помощи заблаговременного компромисса. Эти противоречия, едва обрисовавшиеся в начале царствования, к концу уже выяснились совершенно отчетливо. Уживавшиеся ранее рядом элементы критики и национализма потом разошлись далеко в противоположные стороны.

Были, однако, люди, которые думали, что время средних решений все еще не прошло безвозвратно. Надежда на реформу в националистическом духе казалась тем основательнее, что на самом деле к концу века в области национальной мысли, национального чувства обнаружилось совершенно новые, небывалые явления. В своем месте мы об этих явлениях говорили: все они сводятся к подъему религиозного сознания в литературе (Великое Зерцало), искусстве (новые течения в иконографии), в богословской науке ("хлебопоклонная" ересь), в школьном деле ("Академия"). Все эти явления связаны также и источником их происхождения: латинско-польским влиянием. Мы видели, что то же влияние обновляло и формы быта, не порывая в то же время окончательно с национальной традицией. Этому особенно содействовало посредничество Киева. Словом, казалось, элементы реформы в умеренно национальном духе все были налицо. Скоро явился и реформатор, кн. В.В. Голицын, любимец Софьи. Реформатор имел широкую программу, лично им изложенную одному иностранцу (Невиллю). В программе значилось и устройство регулярной армии, и постоянные международные отношения России с заграницей, и полная свобода совести и веры, и заграничное воспитание детей, и замена натурального хозяйства денежным, и даже освобождение крестьян с землей. Голицын хотел заселить окраины, оживить торговлю и пути сообщения в Сибири, "нищих сделать богатыми, дикарей превратить в людей, хижины — в каменные дворцы". Словом, здесь было очень много хороших слов и добрых намерений. Не было только единства плана и не было практической точки опоры для осуществления программы. За отсутствием того и другого, не было налицо и такого импульса, который бы помог претворить слово в дело. Этих импульсов потом оказалось больше чем нужно в реформе Петра, грешившей, как сейчас увидим, обратным недостатком. Петр прямо начинал с дела, а потом собирался подумать. В.В. Голицын имел в своем распоряжении целых 7 лет, в течение которых мог бы так же далеко уйти в своей реформе, как Петр, если бы, подобно Петру, он был человеком дела. Вместо того настоящее дело застало его врасплох и было сделано вполне неудачно. Нельзя сказать, чтобы его время было занято и заботой о самосохранении, так как и в этом отношении Софье пришлось наконец заменить его более решительным Шакловитым.

Каковы же получились итоги семилетнего режима *умеренной* реформы? Послушаем современника и панегириста регентства Софьи, кн. Куракина, который находил, что "никогда такого мудрого правления в российском государстве не было", — противопоставляя его притом не только предыдущим "правлениям", но и последующему. К сожалению, главному аргументу Куракина — всего труднее поверить: будто бы, в противоположность предыдущему и последующему времени, семилетнее регентство отличалось господством "правосудия" и "умножения народного богатства". "И торжествовала тогда довольность народная, — развивает он свою мысль, — так что всякий легко мог видеть: когда праздничный день в лете, то все места кругом Москвы за городом, сходные к забавам, как Марьиная роща, Девичье поле и проч., наполнены были народом, которые в великих забавах и играх бывали, *из чего можно было видеть* довольность жития их". Эта сентиментальная наивность совсем не под стать обычным реалистическим суждениям Куракина. Но тем интереснее для нас это отступление от обычной манеры: он повторил, очевидно, то, что слышал кругом себя ребенком³. Мы узнаем здесь только то, каких похвал добивалась и какими довольствовалась голицынская реформа. Это была очевидная фальсификация общественного мнения: Голицын имел все основания его бояться.

Такую же рекламу видим и во внешней политике, непосредственно находившейся в руках Голицына. Единственный успех этой политики, вечный мир с Польшей (1686) и окончательная уступка Киева, был подготовлен неоднократными советами гетмана Самойловича. Но тот же Самойлович еще настойчивее советовал даже и за эту цену не обязываться к походу на Крым. Невозможность взятия его он ясно видел и предсказывал. Так же скептически он относился и к идейной цели борьбы с турками. В качестве таковой уже тогда слишком преждевременно, по мнению Самойловича, — выдвинулось освобождение балканских народностей. Самойлович указывал, что в лучшем случае успех выпадет на долю поляков, которые, собственно, и рисовали русским дипломатам, уже в 70-х годах, перспективу славянского объединения. Пока русские будут бесплодно возиться с Крымом, говорил Самойлович, поляки и их союзники австрийцы будут работать на Дунае и за Дунаем, и, конечно, не в пользу православной идеи. Если уж хотят сделать эту идею задачей национальной политики, так пусть преследуют ее не там, где она пока еще недосыгаема, а у себя под боком, в польских владениях. Когда, наконец, московские дипломаты откровенно выставляли последний мотив в пользу войны, необходимость отвлечь внутреннее недовольство внешними предприятиями, то Самойлович и тут подавал деловой совет, которому вскоре и по-

³ В год падения Софьи Куракину было 13 лет.

следовал Петр. "Не надо держать в Москве много ратных людей: лучшее разослать их по пограничным местностям для постройки крепостей, а в Москве держать один-два полка надежных людей, которых привлечь к себе милостями". За эти советы, которым нельзя отказать ни в уме, ни в знании дела, Самойлович получил выговор, а потом и отставку. Голицын предпочитал осторожной, деловой политике — громкую, рассчитанную на казовый эффект. После первого неудачного похода на Крым он выставил такие условия мира, каких Екатерина II, век спустя, не решилась продиктовать после своих побед, а после второго — разгласил по всей Европе о своих небывалых успехах. Как бы для наглядной иллюстрации непрактичности московского правительства его дипломаты появились во Франции, чтобы убеждать Людовика XIV помогать "недругу (Австрии) против друга (Турции)", а оттуда проехали в Испанию, чтобы сделать в истощенной стране крупный денежный заем. В активе регентства, подведенном Куракиным, это значило, что правительство Софьи заботится об "алиансах" и поддерживает "корришшонденцию со всеми дворами в Европе".

Первым условием для блестящей внешней политики была коренная военная реформа, которую и проектировал Голицын, как мы видели. Но на деле и здесь реформа не пошла дальше эффектного предисловия — знаменитого уничтожения (еще при Феодоре) местничества, и без того ничему уже не мешавшего в военном деле. Голицын воспользовался для своих походов той реорганизацией армии (по территориальным округам, см. "Очерки", т. I), которая давно уже проведена была по совету Ордина-Нащокина. Но не введя никаких новых существенных улучшений, он должен был убедиться, как трудно с подобной армией осуществлять затеянные им грандиозные предприятия.

Остается, стало быть, та культурная внешность реформы, которая свидетельствовала о главном источнике тогдашнего московского просвещения. На этот источник указывает Куракин: "политес восстановлена в шляхетстве и других придворных *с манеру польского*: и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах". Правда, этот мемуарист прибавляет еще: "и науки почали быть — латинского и греческого языка". Но мы видели, что как раз в этом пункте латинско-польская партия в Москве оказалась бессильна провести свою образовательную программу, как ни была эта программа умеренна. Мы знаем, что открывшаяся наконец в Москве академия не только не отвечала по своему направлению стремлениям московских реформаторов, но прямо пошла вразрез им. Она наложила строжайший запрет на ту свободу совести в делах веры и на ту свободу частного преподавания, которые так красиво фигурировали в программе Голицына. В общем, приходится сказать, что умеренность голицынской реформы состояла не столько в ее направлении, которое гораздо ближе к Петру, чем к Крижани-

чу, — сколько в ее неполноте и нерешительности. Эти свойства зависели, быть может, столько же от того, что временное правительство не чувствовало у себя твердой почвы под ногами, сколько и от того, что к себе под ноги оно смотрело гораздо менее, чем в туманную, заманчивую даль.

Контраст между этой государственной деятельностью Голицына и начавшим в то же время определяться времяпрепровождением молодого Петра был очень велик. Казалось, он говорил не в пользу Петра.

Пока Голицын окружал себя книгами, картами, статуями, Петр с азартом предавался спорту. Книгу он допускал в минимальных размерах, лишь как необходимое зло для подготовки к спорту же⁴. Голицын ездил в Немецкую слободу для серьезных политических бесед с солидным Гордоном, причем держал сторону конституционной Англии Вильгельма III против сторонника династических притязаний Стюартов, каким был Гордон. Петр слышать не хотел ни о какой политике, тем более русской. Она неразрывно связывалась в его тогдашнем представлении с торжественными официальными аудиенциями, от которых он бежал, как от чумы. В слободу привез его кузен Голицына, "пьяница" Борис, но не для поучительных бесед, а для балов и попок. Эти увеселения с тех пор и потянутся непрерывной чередой, под руководством Лефорта, "дебюшана французского".

Голицын мечтал о "довольстве народном". Петр исподволь принимал меры для обеспечения личной безопасности. Укрепив свое положение преданной ему военной силой, Петр обнаружил полное пренебрежение к общественному мнению. Он издевался над ним в той же мере, в какой Голицын за ним ухаживал и его боялся. Голицын в походах только и думал, как бы скорее вернуться в столицу, чтобы разрушить козни врагов. Петр рвался из столицы в походы, как бы чувствуя, что там, при войске, его сила. Заботу о столице и об общественном мнении он всецело свалил на плечи своего Аракчеева, князя-кесаря Ромодановского. И тогда как Голицын высшей целью своей политики считал заключение "альянсов", Петр принялся во что бы то ни стало искать хорошего театра войны, где бы можно было разгуляться на воле его кораблям и пушкам.

О реформе еще не было сказано ни слова, но Петр уже был в самом русле своей реформы. Он весь тут — и до конца жизни останется таким, каким сложили его десять подготовительных учебных лет (1686-1695). Кн. Куракин, свояк Петра и свидетель, хотя и не близкий, его юношеских упражнений, сообщает нам полный список тогдашних талантов Петра вместе с имена-

⁴ До конца жизни Петр сохранил такой взгляд на книгу, как на руководство к практическому делу и терпеть не мог "лишних рассказов, которые время только тратят и у чужих охоту отъемлют".

ми его учителей. "Мастером голландского языка был дьяк по-сольского приказа, Андрей Виниус; для экзерциций на шпагах и лошадях — сын датского резидента Бутенанта; а для математики и фортификации и других артей, как токарного мастерства и для огней артифициальных, — один гамбурченин Франц Тиммерман; а для экзерциций солдатского строя еще в малых своих летах обучился от одного стрельца Присвова Обросима, Белого полка. А по барабанам — от старосты барабанщиков Федора, Стремяного полка. А танцовать по польски — с одной практики в доме Лефорта". Такова была академия, пройденная Петром и дополненная потом в Голландии уроками кораблестроения и зубодергания. Во всем своем живописном безразличии все эти курсы наук, или лучше — искусств, твердо держались в памяти Петра. До конца жизни он так же искусно выбивал барабанную дробь, действовал топором на корабле, дергал зубы, приготавливал фейерверки, говорил по-голландски с моряками (для других разговоров его знание было недостаточным), делая притом все это — и все другое, за что он принимался, — с таким увлечением, как будто очередное дело и было его главным и единственным занятием. Этот талант — входить в суть каждого дела и отдаваться ему вполне — был, несомненно, одной из основных черт Петра, объясняющих секрет его успеха и характер достигнутых результатов.

Но до результатов было еще далеко. Пока видно было в молодом Петре только полное отсутствие интереса к государственным делам и склонность к разгулу, не знавшая ни удержу, ни меры, доведившая пьяную компанию до невероятных пределов цинизма, грубости и жестокости. Немудрено, что когда власть перешла из просвещенных рук регентства в невежественные руки царицы Натальи и своекорыстные руки ее ближайших помощников, то благомыслящие люди, русские и иностранцы, пожалели о свергнутых узурпаторах и пророчили России возврат к полной тьме и невежеству. И у противников новизны с этим переходом власти на минуту воскресла надежда, что после неудачи голицынской реформы можно будет ликвидировать и всякую реформу вообще. Господином положения был патриарх Иоаким, и он поспешил воспользоваться своей силой, чтобы уничтожить латинскую партию в лице Медведева, свободомыслящих в лице Кульмана и чтобы начать форменное преследование против свободы богослужения в Немецкой слободе. Смерть прервала его дальнейшую деятельность (июль 1690). Но что у него была целая программа самой последовательной реакции, об этом свидетельствует оставленное им завещание. Здесь он требовал от царя, чтобы иноверческие церкви были разрушены, иностранцы — лишены военных и всяких других должностей, все суждения о религиозных предметах строго запрещены им, а

всякая попытка распространять свою веру и нравы наказывалась бы смертной казнью⁵: От русских патриарх требовал, чтобы они никаких "новых латинских и иностранных обычаев и в платье перемен по-иноземски не вводили". Дело Иоакима должен был продолжать Адриан. Кандидат, предложенный в патриархи Петром, образованный и знакомый с иностранными языками Маркел, был именно поэтому забракован; на всякий случай его даже обвинили в ереси. Петр мог пока отомстить только тем, что завел своего собственного "всешутейшего" патриарха и "всепьянейший" собор.

Таким образом, *формально* вопрос о судьбе реформы оставался открытым вплоть до самого начала самостоятельной деятельности Петра. *Фактически*, конечно, уже вполне выяснилось, что реформа неизбежна. Притом это должна была быть уже не реформа умеренная, а крайняя; не реформа идеологическая, подготовленная книгой и литературой, а реформа произвольная, стихийная, вытекающая непосредственно из потребности жизни. В итоге предстояла не реформа, основанная на народном сознании, а реформа, идущая наперекор этому сознанию, сверху, — реформа насильственная, необходимость которой предсказывал и ждал от царской неограниченной власти еще Юрий Крижанич.

Что реформа Петра была насильственна, в этом так же мало сомневались те, кто ее проводил, как и те, кто ей противился. Она была насильственна не только в тех своих частях, которые были в ней случайны и произвольны, но также и в тех, которые были существенны и необходимы. Мало того: насильственность реформы даже существенному и необходимому в ней придавала характер случайного и произвольного, то есть облекала это существенное в случайные формы. Поэтому признавать насильственный, личный характер реформы вовсе не значит еще отрицать ее историческую необходимость. И, наоборот, доказывать необходимость реформы — вовсе не значит отрицать ее насильственный характер. Задача историка в данном случае именно и заключается в том, чтобы показать, почему необходимая по существу своему реформа⁶ *должна была*, не могла не облечься в форму личного произвола одного лица над массой и почему применение такого произвола было вообще *возможно*.

Возможность эта и необходимость создавались той культурной и социальной обстановкой, среди которой Петр предпринял свою реформу. Конечно, при сколько-нибудь прочной культурной традиции и при плотно организованных классовых интере-

⁵ Ср. проведенный Иоакимом при Голицыне устав Славяно-греко-латинской Академии.

⁶ Самая необходимость реформы, по существу, предполагается здесь доказанной в тех частях "Очерков", где речь идет о стихийных процессах развития разных сторон национальной жизни.

сах подобный способ победы критических элементов был бы немислим. Но мало сделать общую ссылку на отсутствие у нас культурных традиций и слабость классовой организации. Нужно еще дать себе отчет в том, что как раз ко времени, когда стихийный ход жизни сделал победу критических элементов необходимою, сопротивление задерживающих сил было у нас особенно ослаблено. Для хозяйской руки реформатора создавался, таким образом, особенно широкий простор.

Уже Фокеродт заметил (1737), что "по мнению многих разумных людей, Петр едва ли мог бы так далеко пойти в своей реформе, если бы ему пришлось бороться с более способным духовенством, которое сумело бы приобрести у народа любовь и уважение и воспользоваться ими к своей выгоде". Замечание это имеет более глубокий смысл, чем может показаться с первого взгляда. Если современное Петру духовенство не имело у народа ни любви, ни уважения, то это объясняется не недостатком "способностей" в нем, а особым положением русской церкви ко времени Петра. Мы знаем, что она, действительно, потеряла тогда и ту долю влияния на массу, какую позволяли ей иметь низкий уровень ее развития и ее угнетенное социальное положение. Мы видели, что весь этот запас религиозного чувства и нравственного одушевления, который был налицо среди русских пастырей и паствы, — пошел на оппозиционное национально-религиозное движение XVI-XVII вв. Мы знаем также, что сверху это движение было одинаково осуждено и представителями киевской богословской науки как недостаточно просвещенное, и представителями греческой церковной старины как отступающее от древней традиции. Правительство приняло точку зрения киевлян и греков. Вслед за духовной властью, объявившей русское национально-религиозное движение расколом и проклявшей его, — власть с своей стороны объявила участие в этом движении государственным преступлением, подлежащим каре светского закона. Таким образом, критические элементы за полвека до Петра уже одержали победу над националистическими в сфере религиозной. Но это была победа бюрократической канцелярщины над народной психологией. Все, в ком живо было нравственное и религиозное самосознание — разумеется, в той малокультурной форме, какая была единственно доступна тому времени, — все эти люди были теперь отброшены в оппозицию. Этот переход в оппозиционный лагерь оставил очень заметную моральную пустоту в лагере правящем. Именно он подготовил и сделал возможным появление в составе высшего духовенства южнорусских духовных сановников, принесших с собой, вместе с научно-литературными традициями, также и ту угодливость и готовность служить интересам светской власти, из которых Петр сделал такое широкое употребление.

Но изменением состава и падением самостоятельности высшего русского духовенства не ограничились последствия тор-

жества официальной веры над народной. Это торжество внесло раздвоение в душу огромного большинства современников — всех тех, кто не был достаточно силен, чтобы разорвать окончательно или с новым, или со старым, перейти или в тот, или в другой лагерь. Совесть была сломлена или усыплена этим внутренним раздвоением: а всего лучше подходили для наступившей ломки те, у которых она совсем молчала⁷. Вот почему никакие надругательства Петра над тем, что только что считалось святым и неприкосновенным, не могли вызвать сколько-нибудь сильного внутреннего сопротивления в окружающей его среде. Он как будто нарочно переходил от одной циничной выдумки к другой, еще более циничной, еще более оскорбительной для чужого достоинства и совести, умышленно и систематически насиловать все верования, все вкусы, все убеждения — чтобы узнать, как много он может себе позволить, и узнавал, — не испытывая даже удивления, как известный римский император, — что он все может. Всякая форма, всякий мундир к чему-нибудь обязывает. Надетый Петром мундир европейской культуры на первый раз только *развязал*, не обязывая ни к чему. Он устранял тот обязательный чин жизни, строй мысли и чувства, который было налаживался в Москве XVII в., и возвращал русскую жизнь к той бесформенности, с которой мы уже привыкли встречаться повсюду в русской истории. При московском чине жизни, как ни был он плох и низмен сам по себе, все-таки были вещи, которые делать было обязательно, и были другие, которых делать было *нельзя*. Теперь таких вещей не оставалось. Все было можно, и ничто не было обязательно, кроме очередного приказания реформатора. А его натура была, как сейчас увидим, такова, что только и приходилось ждать *очередного* приказания. Система, новый чин жизни, новые порядки установились как-то сами собой, постепенно, из ряда таких очередных приказаний, сплошь да рядом друг друга отменявших. Окружавшим оставалось лавировать, как умели, в этом новом фарватере, в котором только цель и общее направление оставались одни и те же, а пути к цели постоянно менялись, делая притом порою самые причудливые изгибы, самые неожиданные повороты.

Бюрократия, высшее духовное и светское чиновничество были, таким образом, в полном распоряжении Петра. А кроме бюрократии, ему ни с кем не приходилось считаться. Социаль-

⁷ Датский посланник Юль в 1709 г. замечал относительно раскольников (очевидно, передавая общее мнение): "В общем, раскольники честнее, богобоязненнее и трезвее против русских, а по части христианских догматов начитаннее и просвещеннее их". В то же время из своих сношений с правящей бюрократией Юль сделал такой общий вывод: "Вообще, на русских надо влиять лестью, водкой и взятками; все же другие средства, вроде справедливости, права, на них не действуют". Юль забыл прибавить к перечню этих средств еще одно — ему, конечно, менее доступное — именно "страх".

ная жизнь России так сложилась ко времени реформы, что с этой стороны реформатору встречалось еще меньше препятствий, открывалось еще больше простора, чем со стороны культурной традиции.

В промежутке между распадением боярства и усилением дворянства, между XVI и XVIII вв., бюрократия являлась единственным господствующим классом. Мы видели, как дворянство, в самый момент своей победы над боярством и казачеством, добровольно уступило бюрократии правительственную роль и отказалось от постоянного контроля над нею, какой мог дать дворянству земский собор. Последствия этой бесконтрольности оно очень скоро и неприятно почувствовало. Однако оно не только ничего не сделало, чтобы вернуть себе господствующее положение, но неохотно отвечало даже на прямые призывы к нему в этом смысле со стороны правительства. Вероятно, это так вышло по той же причине, по которой на пожарах того времени люди предпочитали сидеть сложа руки и ждать, пока все сгорит у всех, выматривая только случай что-нибудь утащить из чужого имущества, а в остальном полагаясь на волю Божию и на святые иконы⁸. В конце концов правительство со второй половины XVII в. заменило земские соборы созывом сведущих людей. Политическая роль "ратных людей", так же как и других "чинов" московского государства, сделалась историческим преданием. Однако же, и бюрократия не много выиграла в политическом смысле от добровольного отказа общественного слоя, которому еще предстояло стать правящим. Та же самая неорганизованность общественной жизни, которая мешала возникновению политического самосознания классов, лишила и бюрократию необходимых орудий, при посредстве которых она могла бы воспользоваться своим временным господствующим положением, чтобы сделаться всемогущей. Только что наживши "неудобьсказаемые палаты", представители этой бюрократии могли подвергнуться линчеванию народной толпы, — и никто не мог защитить их. Даже самому царю приходилось умилостивлять эту толпу слезами или кончать рукобитьем с московскими бунтовщиками, в ожидании, пока можно будет захватить их так же врасплох, как они сами заставляли московское правительство. Крижанич очень хорошо объяснил характер этих московских бунтов (1648 и 1662) и предсказал стрельцкие бунты. "Нечестие королям" со стороны "простого народа и войска", говорил он, чинится обыкновенно там, где нет господствующего сословия или политически организованных (снабженных "слободинами") классов. Это замечание объясняет, почему именно при Алексее народное недовольство приняло

⁸ См. многократные наблюдения Юля, при которых выгодно выступает и роль Петра — в организации борьбы с общей опасностью, в насильственном приучении толпы к общественному делу и интересу.

форму восстаний. Производить волнения в Московском государстве в то время было чрезвычайно легко, ибо усмирять их было некому. Правительству оставалось прибегать, за неимением организованной силы, к хитрости. Чтобы не иметь дела с массой, оно сперва разъединяло ее, потом обещало всем полное прощение и уже, когда все успокаивалось, захватывало и казнило намеченных раньше зачинщиков⁹.

Все эти волнения, во всяком случае, не только обнаружили отсутствие правящего слоя и бессилие бюрократии. Они показали, что у самих недовольных также мало шансов — завладеть положением. Русское общество постоянно распадалось при всяких волнениях на те две части, которые наметились уже в смутное время. На стороне власти оставались все общественные слои, извлекавшие выгоду из современного положения вещей. Сюда относились, кроме слоев прикосновенных к правительству, высшего чиновничества, духовенства и купечества, также все дворянство и весь приказный чин. К противникам власти примыкали все обделенные современным порядком: крестьяне и большая часть дворовых людей ("боярских людей", "холопов"), рядовое городское население ("посадские") и часто низшее духовенство. Отрицательной программой всякого бунта было: в столице изводить бояр и высших чиновников, в городах резать воевод и приказных, в уездах избивать дворян и помещиков. Положительной программой, в которой напрасно старались видеть отголоски древнего вечевого строя, был казацкий круг и казацкое равенство. Наиболее яркое осуществление та и другая программа получили на примыкавшей к Поволжью границе между оседлым населением и степью¹⁰ во время бунта Стеньки Разина. Этого было достаточно, чтобы до конца XVII в. держать в страхе власти. В 1682 г. анонимный донос на Хованского приписывает ему эту самую разинскую программу. Но она и могла служить только орудием агитации, материалом для доноса и "жупелом" для тогдашних пугливых людей. Серьезной опасности с этой стороны грозить не могло. Разинская программа была чересчур уже проста в своей отрицательной части и чересчур фантастична в положительной. Нормальным выходом для недовольных был в XVII в. побег в степь, к казакам, а не водворение казацкого строя среди оседлого населения.

Итак, исключительно вследствие отсутствия других общественных сил, а вовсе не благодаря собственному могуществу, бюрократия оставалась господином положения до конца XVII столетия. К концу века, пожалуй, можно заметить слабые признаки того, что высшая бюрократия как будто хотела замкнуться в

⁹ Всего отчетливее можно проследить эту тактику борьбы во Пскове, во время бунта 1650 г., и в Астрахани (1671-1672), во время восстания Стеньки Разина.

¹⁰ На "Симбирской черте", т. I (теперешние Нижегородская, Пензенская и Тамбовская губернии).

тесный круг и принять олигархический оттенок. Русская чиновная знать узнала кое-что про положение иностранной знати и перестала довольствоваться "государевым жалованьем" как санкцией своего положения. Ей хотелось подняться на степень владетельных князей Западной Европы. Крижанич уже предлагал создать для этого особое сословие "князей", обеспеченное чем-то вроде феодальных владений. К этому отчасти склонился и представленный Думе в 1681 г. проект, деливший Россию на наместничества и устанавливавший иерархию новой чиновной аристократии. Не раз повторялись подобные предложения и в проектах, поданных Петру его советниками. Но у Петра мало было охоты оживлять "дряблкое, упавшее дерево" старого боярства. Из всех аристократических затей он принял только одну — закон о майорате, но и тот, в его понятии, должен был послужить на пользу не высшей аристократии, а среднему дворянству.

Если существовавший социальный строй ничем не мог помешать петровской реформе, то зато в нем не на что было и опереться. Эту опору власти надо было еще создать. Как поступил в этом случае реформатор?

Первыми сотрудниками Петра были, естественно, люди, сделавшие переворот в его пользу: ему оставалось просто принять это наследство прошлого. Главные из них, Борис Голицын, Лев Кир, Нарышкин, Тихон Стрешнев, как нельзя лучше представляли три типичных оттенка тогдашней бюрократии. Богатый, образованный по-новому и ленивый титулованный аристократ Гедиминович, один из тех, которые были не прочь дать феодальную опору старому титулу, Борис Голицын и в самом деле осуществил это стремление, сделавшись "неограниченным государем" Казанского дворца. Нарышкин — представитель новой придворной знати, спешившей воспользоваться случайной близостью к двору для скорой наживы, человек без прошлого, не приготовленный к власти и избалованный ею. Стрешнев — тонкий и хитрый делец, поседевший в приказах и умевший держать в своих руках "секрет всех дел". Никто из троих не понадобится Петру впоследствии: ни титулованный боярин, манкирующий делами, ни разжиревший рагуveni, которого Петр заменит своими, лично ему всем обязанными; ни приказный владетель государственных секретов, которые Петр будет хранить про себя.

Что касается боярства, среди него были люди, "которые старой веры не любят, а новую заводят". Упомянутый выше донос на Хованского перечислял до дюжины таких бояр: "Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Шереметевых двоих, И.М. Милославского и иных многих". Но то была "новая вера" Никона и В.В. Голицына, а не "вера" Петра. Как относились бояре к новой петровской вере и как относился, в свою очередь, к ним самим Петр, это ярко иллюстрирует ма-

ленькая сценка на похоронах Лефорта (1699 г.), записанная Корбом. Заметив, что бояре в похоронной процессии переменили порядок, насильно заняв переднее место, предназначенное для иностранцев, Петр раздраженно крикнул: "Это собаки, а не мои бояре"; а когда после похорон бояре спешили покинуть дом Лефорта, как только ушел царь, — он совсем вышел из себя, тотчас вернулся и проговорил: "Вы, может быть, рады его смерти? Большую пользу вам принесла его кончина? Зачем расходиться? Или, быть может, от большой радости вы не в состоянии дольше притворно морщить лица и делать печальный вид?" Очевидно, это самое желание сорвать ненавистную маску, обнаружить и наказать предполагаемое притворство руководило Петром, когда он заставил этих самых бояр собственными руками рубить головы стрельцам, в сочувствии которым подождал их.

Только одному Ф.Ю. Ромодановскому позволялось открыто порицать иностранцев и иностранные обычаи. Петр ценил в нем то же качество, которое оплакивал в Лефорте и которое Куракин формулировал словами: "его величеству верной так был, что никто другой". Это было то, чего Петр искал в своих сотрудниках прежде всего, — и в чем всего труднее было его убедить, а раз убедив, заставить разувериться. Среди тревожной обстановки его детства в нем выработалось замечательное умение притворяться, которому не раз удивлялись иностранцы, а вместе с тем и непобедимое недоверие к искренности его окружающих. Это благоприобретенная черта не позволяла ему до конца жизни ни на кого ни в чем положиться и приводила к тому же, к чему и врожденная живость характера: к желанию, превратившемуся в потребность, самому все делать, входя в самые мелочные детали каждого дела. "Нередко, — рассказывает нам Юль (1710), — когда в откровенной беседе заходила у нас речь об удаче и подвигах великих государей, царь отдавал справедливость многим правителям и государям; в особенности королю французскому (Людовику XIV)... но большая часть их, — прибавлял он, — обязана своими успехами многим разумным и смышленным людям, которыми могли пользоваться во всех, даже наиважнейших вопросах; между тем как он, царь с самого вступления на престол, в важных делах почти не имеет помощников и поневоле заведует всем сам".

В советах и советниках у Петра, конечно, не было недостатка. Чем дальше, тем их являлось больше. Но это не мешало ему чем дальше, тем больше чувствовать себя одиноким, а это усилило печать индивидуальности, наложенную им на свою реформу, — часто к ее несомненному ущербу. Со своим недоверием к людям царь попадал в какой-то заколдованный круг. Цена в людях прежде всего испытанную верность себе, он имел очень ограниченный выбор. Ни на один сколько-нибудь ответственный пост он не мог посадить лицо действительно подходящее, а

назначал фигурантов, ничтожества, не имевшие никакого понятия о деле, которое должны были делать, только бы можно было положиться на их преданность. Таким образом, Шереметев, Меншиков оказались фельдмаршалами, Головин и Апраксин — адмиралами, Головкин — министром иностранных дел и т.д. Правда, он не упускал случая приставить к ним опытных иностранцев-специалистов, которые, собственно, и делали дело. Так был приставлен к Шереметеву Огильви для армии, к Апраксину — Крюйс для флота, к Головкину — Шафиров, а потом Остерман для дипломатии. Это, однако, только усилило для Петра необходимость за всем следить самому, отчего реформа и получила, вопреки содействию специалистов, случайный, отрывочный и дилетантский характер, отражавший темперамент и состояние знаний самого царя-реформатора. Другим последствием той же причины было полное равнодушие ближайших сотрудников к самому существу того дела, которое они вели. И чем их положение становилось прочнее и обеспеченнее, тем сильнее обнаруживалось, что они преследуют только личные, своекорыстные интересы. В другой форме это были те же самые враги реформы, от которых царь надеялся спастись назначением доверенных лиц на ответственные посты. В этом и заключался тот заколдованный круг, о котором мы говорили.

Энергичный и настойчивый Петр не хотел, однако, с этим мириться. Едва он замечал, что лица перестают соответствовать делу, он тотчас принимался за ломку, как бы эти лица ни сделались близки его сердцу. Вот почему столько блестящих карьер, начатых при Петре людьми случая, при нем же и закончились эшафотом и ссылкой. Чем дальше, однако, тем труднее становилось вынимать колеса из заведенной машины и выдвигать на насиженные места новых людей. К концу царствования этот диссонанс между вновь сложившейся рутинной и непримиримым нигилизмом царя, сохранившего среди новой обстановки все старые привычки, вынесенные из Немецкой слободы, становился все чувствительнее и тяжелее для обеих сторон. С своими требованиями полного простора и пустоты кругом он становился все более анахронизмом среди сотканной им же паутины нового житейского церемониала. Окружающие утомлялись от этой необходимости быть вечно настороже и спешили припасти себе кое-что на черный день. В конце концов против царя составилась какой-то молчаливый, пассивный заговор, не ускользнувший, разумеется, от его наблюдательности и только обостривший у него желание разорвать паутину. В 1719 г., отправляясь в одну поездку, он прорвался и сказал — некому другому, как Меншикову и Апраксину, — что ему отлично известно, как, в сущности, они несочувственно относятся ко всем его мероприятиям; что, умри он, — и они не прочь будут бросить завоеванные провинции и Петербург и оставить на произ-

вол судьбы флот, который стоил ему столько труда, крови и денег. История с Монсом в 1724 г. открыла Петру окончательно глаза на то, как страшно он одинок и изолирован. Он колебался между желанием уничтожить все, рассыпать кругом страшные удары — и сознанием невозможности начинать так поздно все опять сызнова, с пустого места. Единственным возможным исходом из этого трагического положения была смерть.

Мы видим, что тот самый социальный и культурный простор, который сделал возможной победу крайнего направления реформы, роковым образом наложил на реформу резкую печать индивидуальности Петра, помешав ему установить взаимное доверие между собой и своими сотрудниками и подобрать для реформы подходящих людей. При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия, — при отсутствии этого необходимого условия сознательной реформы, Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы.

Но это еще не решает вопроса о том, на кого и на что опирался Петр, чтобы действовать так решительно, как он действовал, бравирюя вкусы, привычки, стремления и интересы как ближайшей окружающей среды, так и широкой народной массы. Точка опоры у него была, очевидно, вне того и другого — слишком широкого круга. Найти эту точку опоры не трудно: стоит лишь вернуться к первым годам царствования Петра.

Напомним здесь практический совет Самойловича, переданный им через думного дьяка Украинцева В.В. Голицыну: нужно для укрепления за собой власти держать в Москве один-два полка надежных людей. Не принеся пользу В.В. Голицыну, совет дошел, однако, только по другому адресу. Украинцев легко мог передать его Стрешневу. Как бы то ни было, но с этого самого времени (1687) военные забавы Петра сразу принимают серьезный характер. Сознательность этой перемены засвидетельствована сверстником Петра, одним из юных спальников, набранных в "потешные полки", кн. Куракиным. По его словам, Петр "привел себя теми малыми полками в охранение от сестры" и "начал приходить в силу". И Шакловитый показал, с другой стороны, что "в то время (1687) у государя Петра Алексеевича начали прибирать потешных конюхов, и оттого возродилось опасение", заставившее Софью начать усиленную агитацию среди стрельцов. Суть новой перемены именно заключалась в том, что к сверстникам из знатных фамилий, записанных к Петру в сотоварищи военных игр в придворном чине "спальников", присоединены были теперь совсем простого происхождения ребята, "конюхи потешной конюшни", а также добровольцы из мелкого дворянства, составившие вместе Преображенский и Семеновский полки. Кн. Куракин с сокрушением за-

мечает, что окружающие Петра лица, все эти Нарышкины, Стрешневы, происходя из "домов самого низкого и убогого шляхетства", "всегда внушали ему с молодых лет против великих фамилий" и что к этому "и сам его величество склонным явился, дабы уничтожением оных отнять у них пувуар весь и учинить бы себя наибольшим сувереном". Сам Куракин пострадал от этого "уничтожения великих фамилий"; и он, вместе с другими "знатными персонами", был "отдален", несмотря на свое звание спальника. "Во все комнатные службы вошли от того времени (люди) простого народу".

Таким образом, с самых первых шагов Петра мы встречаем обдуманную и сознательную систему устранения аристократии и привлечения мелкого дворянства, организованного в гвардейские полки, для поддержки и усиления власти государя. Если от начала царствования перейдем к концу, то встретим там ту же самую черту: она прошла неизменной сквозь все перипетии реформы. Петербургские попойки того времени происходили в несколько более приличной обстановке и носили более утонченный характер, чем московские. Но один момент, очевидно, сохранившийся в неприкосновенности от московского времени, вселял особенный страх и ужас в иностранцев, обязанных посещать эти увеселения по торжественным случаям. Это тот момент, когда "человек шесть гвардейских гренадер вносили на носилках большие ведра с самой простой сивухой, запах которой слышен был за сто шагов". За гренадерами шли майоры гвардии, которые приглашали желающих и нежелающих пить из большого ковша, подносимого рядовым, за здоровье их полковника, то есть царя. Отказаться было невозможно; иностранцам объясняли, "что царь приказывает подавать именно это вино — из любви к гвардии, которую он всячески старается тешить, часто говоря, что между гвардейцами нет ни одного, которому он бы смело не решился поручить свою жизнь". Тот же Берхгольц, которому принадлежат эти сведения, замечает, что в обоих гвардейских полках "большая часть рядовых, по крайней мере, очень многие из них, — князья, дворяне или унтер-офицеры из армейских полков".

Мы имеем наглядное доказательство того высшего доверия, которое Петр, вообще такой недоверчивый, выказывал своей дворянской гвардии. В ту пору, когда, как мы видели, он стал сомневаться в своих ближайших сотрудниках и товарищах — для того, чтобы расследовать их темные дела, наказать их и вообще дать им понять, что он может обойтись и без них, — Петр не нашел ничего лучшего, как обратиться к своим майорам гвардии. Это был его последний ресурс. Майоры, полковники и капитаны гвардии явились председателями следственных комиссий и членами судов, обнаруживших целый ряд хищений и беспорядков в деятельности ближайших помощников Петра. Известен рассказ Фокеродта, что в последний год жизни Петр,

”потеряв всякое терпение”, сам вошел во все подробности следственных дел, посадил возле себя, в особой комнате своего дворца, одного из таких доверенных людей, генерал-фискал Мякинина, и на его вопрос, отсекай ли ветви или рубить самый корень, ответил: ”Искореняй все”. Не менее любопытно и то, что Петр насильно заставил дворянство принимать участие в выборах, и не только в выборах местных чиновников (земских комиссаров), но и в выборах, посредством баллотировки, высших должностных лиц в государстве. Так, в 1722 г. выборы президента юстиц-коллегии произведены были с участием генерал-майоров, майоров и других офицеров гвардии, а также ста человек выборных от дворянства. Мы увидим скоро, что путь, указанный Петром дворянству к достижению положения правящего сословия, не был забыт после его смерти.

Мы познакомились теперь с теми причинами индивидуального характера реформы, которые лежали в условиях обстановки. Нам остается посмотреть, как именно и какие индивидуальные черты личности Петра отразились на его реформе.

Относительно размеров и характера личного влияния Петра на реформу уже его современники сильно расходились во мнениях. Видя, как Петр везде — сам, везде — один, окружающие, естественно, получали впечатление, что Петр полный хозяин своей реформы. Он все знает, все видит, все может, все делает; он, как выразился Юль, ”лично одарен столь совершенным и высоким умом и познаниями, что один может управлять всем”. Даже те грубые забавы, в которых могла находить удовольствие чуждая всякой тонкости натура Петра, получали с этой точки зрения скрытый символический или, как выражается Фокеродт, ”гиероглифический” смысл. Его почти ежедневные попойки, приводившие в такой ужас иностранных дипломатов и не прекращавшиеся со времени первого выезда в слободу до последнего месяца жизни, представлялись важным орудием государственной машины — как способ узнавать тайные мысли опьяневших собеседников. Привычка Петра стравливать, при помощи шутов, своих ближайших сотрудников, избыточно награждавших при этом друг друга плевками, пощечинами и выводявших на свежую воду взаимные грехи, казалась могущественным средством правительственного контроля. Наконец, даже и неожиданные выходки и вспышки самого Петра принимали вид заранее обдуманых наполеоновских приемов, так как хотя и ”нет никакой возможности догадаться, действует ли он преднамеренно или нет, но, конечно, вернее предположить, что государь такого ума говорит подобные вещи неспроста и не иначе, как нарочно” (Юль). Словом, не довольствуясь тем несомненным выводом, что Петр извлекает выгоды из примитивности окружающих его отношений, его поклонники готовы были заключить, что самая примитивность отношений есть продукт высшей государственной мудрости Петра. По выражению

Фокеродта, они "вообразили себе, что во всех поступках этого монарха должна скрываться почти сверхчеловеческая мудрость". Русские поклонники Петра скоро так и будут называть его — "земным богом".

Однако, присмотревшись ближе, наиболее проницательные из современных наблюдателей начинали наталкиваться на целый ряд мелочей и важных вещей, которые нельзя было объяснить с только что указанной точки зрения. Тот же Юль видит, как царь по целым дням запирается у себя в Преображенской избе или петербургском домике от всех государственных дел и точит на своем станке так усердно, "как будто бы работал за деньги и снискивал себе этим трудом пропитание"; или ловит его на попойках, чтобы поговорить о важных делах, для которых не назначено никаких определенных дней; или застаёт его самолично сортирующим рекрутов. И он удивляется все больше и больше. "Непосвященный подумал бы, что никакого другого дела у него нет, тогда как во всей России дела — гражданские, военные и церковные — ведаются им одним, без особой помощи других!" Более посвященный, Фокеродт, не удивлялся, так как хорошо знал, как ведались все эти дела в петровской России. Он знал, что "об улучшениях во внутреннем государственном строе... Петр почти не заботился или даже вовсе не заботился в первые 30 (вернее, 20) лет своего царствования, лишь бы у флота и армии было довольно денег, леса, рекрут, матросов, провианта и амуниции"; что война и, насколько было для нее необходимо, иностранные дела поглощали все его внимание. И как раз в военном и морском деле, самом близком сердцу Петра, Юль, сам моряк-специалист и военный, наткнулся на такие вещи, которые окончательно решили его взгляд на личную роль Петра в его реформе. В мае 1710 г. Петр со всей эскадрой отправился из Петербурга к Выборгу, причем 1) "весь фарватер был еще покрыт плавучим льдом", 2) "во всем флоте не было человека, знакомого с фарватером", 3) суда, построенные из ели, были "большею частью непригодны для морского плаванья", 4) управление карбасами было поручено "крестьянам и солдатам, едва умевшим грести одним веслом. В результате весь флот едва справился с погодой и только потому не сделался жертвой шведской эскадры, что та случайно явилась двумя днями позже. Экспедиция, которая по всем человеческим соображениям должна была кончиться катастрофой, решила взятие Выборга, — и честный датчанин мог только, разведя руками, цитировать Квинта Курция и Цицерона: *Temeritas in gloriam cessit; ut multum virtuti, plurimum tamen felicitati debes*¹¹. "Если уж какому государю суждено стать великим, Господь Бог

¹¹ Опрометчивость обратилась в славу. Хотя ты (Цезарь) многим обязан своим талантам, но более всего обязан удаче.

благоприятствует ему во всем, как бы ни было предпринято самое дело”.

Из двух противоположных мнений, которое же ближе к истине? Был ли Петр сам своим промыслом или промысел сделал свое дело помимо него и даже вопреки его поступкам? Мы не можем решить этого вопроса, не прознакомившись внимательней с тем, в какой степени сознательно сам Петр относился к своей реформе.

Ни русская современность, ни личный психический склад, ни условия воспитания не могли создать у Петра привычки к отвлеченному мышлению. Мы, следовательно, не должны ожидать, чтобы Петр на вопрос об общем значении своей реформы, о ее роли в исторической связи явлений ответил нам социологическим трактатом. Когда ему приходится об этом говорить — а это бывает нечасто, — он просто повторяет то, что говорят кругом него иностранцы по этому поводу. В самом начале реформы мы слышим от Корба, что молодой царь предпочитает забавам прежних государей *”тяжелые забавы любителей славы: военное искусство, потешные огни, пушечную пальбу, кораблестроение”*. Этот мотив крепко засел в памяти Петра: через полтора десятка лет (1715) он в этих самых выражениях старается втолковать царевичу Алексею важность своих ранних увлечений, противопоставляя свои *”тяжкие забавы”* — *”легким забавам”* отца и брата. Тот же Корб указывает и источник этого юношеского настроения: *”Лефорт указал царю истинный путь к славе и, возбуждая его к военным подвигам, питал в нем стремление к последней”*. Итак, слава, как смутная цель, а как ее средства и атрибуты — армия и флот, салюты и фейерверки, — вот что рисовалось в фантазии будущего реформатора в момент первых, подсказанных, действительно, Лефортом, предприятий: азовских походов и заграничной поездки. И до конца своего царствования Петр не потерял чувствительности к славе: он не прочь потягаться при случае с Константином Великим и Александром Македонским: *”Александр построил Дербент, а Петр его взял”*; *”Людовику помогали, а Петр все сделал один”*. Корабль, на котором он командовал — без всяких, впрочем, результатов флотами четырех держав (из которых две были представлены номинально), — этот корабль он пожелал сохранить для потомства. Но Петр слишком прозаическая натура, чтобы вдаваться в сентиментальности, слишком большой утилитарист, чтобы связывать с понятием *”славы”* то представление, какое с ней связывают иностранцы. Те думают при этом слове, прежде всего, о добром имени в европейской семье народов, о приобщении варварского народа к цивилизации и гуманности. Петр, напротив, постоянно подчеркивает, что *”слава”* состоит в могуществе России и в грозном положении, приобретенном ею в короткое время среди европейских держав. Желая доказать необходимость Северной войны (в памфлете, написанном Шафиро-

вым), он упоминает, конечно, что благодаря войне мы "получили такие славы". Но тотчас же спешит прибавить "паче же — безопасность" от соседей; "могу сказать, что никого так не боятся, как нас, за что Господу сил да будет выну слава". Таким образом, к политике Петра вполне относится вывод Фокеродта: "Можно считать несомненным, что простой русский человек во всех своих поступках с иностранцами ничего другого не имеет в виду, кроме собственной выгоды, и меньше всего приходит ему в голову думать о том, чтобы дать иностранцам выгодное понятие о собственной особе". Горьким опытом иностранцы на каждом шагу убеждались, что такие нерусские слова, как "gloire, opinion (publique), point d'honneur", для русских пустые звуки. Они смеются над тем, кто готов добиваться "идейного блага" ценой "реального ущерба"; поэтому они не признают никаких обязательств, раз последние приходят в коллизии с их ближайшими интересами, и поступают, как им выгодно, предоставляя думать о себе, что угодно. Никакими убеждениями нельзя заставить их поверить, что чужое мнение может определять их поступки, что хорошая репутация нужна — даже с точки зрения личной выгоды. Они действуют, как купец, который фальсифицирует товар, не думая, что за то у него никто больше не купит. Все эти наблюдения почти дословно повторяются иностранцами и в начале (Корб), и в середине (Юль), и в конце царствования (Фокеродт). Таким образом, надо всегда помнить, что в реформе Петра "слава" есть не идеальная цель, а вполне реальное средство. Пользование этим средством ничего не имеет общего с желанием заслужить репутацию цивилизованного народа.

Но, однако же, стремление к "славе" к чему-нибудь обязывало не только во внешней, а и во внутренней политике? Петр не раз говорил иностранцам, что его миссия в этом отношении — превратить "скотов в людей". В своих обращениях к подданным он выражается несколько мягче: он хочет превратить "детей" во "взрослых". Суть его мысли, однако же, еще мягче, чем эти сердитые выражения. Невоспитанный сам, он уже просто потому не может быть воспитателем и педагогом своего народа, что не имеет представления ни о задачах, ни о приемах педагогики. Мы это видели на отношении первых петровских школ к учащимся. Своих "детей" Петр, в сущности, трактует как взрослых, и дело сводится совсем не к воспитанию, а к самообучению, к усвоению известных технических приемов и навыков. Петр рассуждает при этом приблизительно так, как заставляет его рассуждать Корб по тому же поводу. "Русские не хуже других народов одарены от природы. У нас такие же руки, глаза и телесные способности, как у людей других наций; если те развили свой ум, то почему же нам не развить его: разве мы какие-нибудь вырожденки человеческого рода? Ум у нас такой же, и успевать мы будем так же, если только

захотим". Таким образом, задача реформы весьма упрощалась. Стоило только захотеть, — как захотел сам царь, — и можно было немедленно стать в уровень с европейской культурой. Нужно было только приобрести необходимые знания. Приобретя их, можно было затем обойтись без дальнейших услуг иностранцев, т.е. просто прогнать их. Именно так и выразался Петр, по словам неизданных записок Остермана: "Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней можем повернуться задом". Как видим, это совсем не так далеко от программы Крижанича.

Что касается того, чтобы "захотеть", — в этом у Петра недостатка не было. Воли у него было в избытке. Следовательно, оставалось только "приневолить" своих подданных научиться тому, чему он сам научился в Немецкой слободе. Думал ли Петр о том, что это было далеко не все, чему можно было вообще научиться у Запада? Понимал ли, что самому ценному, что было в содержании европейской культуры, вообще нельзя "научиться" так просто, а надо это нажить самим, воспитать в себе — совсем в ином смысле, чем он воспитывал своих современников? Если даже и думал и понимал, то, как человек практический, он, конечно, не остановился бы на том, что было не в его власти сделать. Но чего он, наверное, и не подозревал вовсе, — это то, что настоящая культура, с ее условными и обязательными формами житейского общения, с ее уважением к чужой личности, сделала бы его собственные приемы насаждения культуры совершенно неприменимыми и невозможными.

Таким образом, в реформационных задачах и приемах своей внутренней политики, в самых даже крайностях и увлечениях европеизмом — и именно в этих крайностях — Петр остался, как и во внешней политике, глубоко национальным, человеком своего времени и общества. Он мог научить окружающих только тому, чему сам научился; а сам научился немногому; и только это немногое и можно было внушить подданным теми способами, какими внушал он. Следовательно, его культурная реформа стояла совершенно на уровне его времени.

Ввести таким образом можно было только внешность культуры. Иностранцы очень хорошо замечали, что новые "более мягкие нравы" русских суть только "подражание смягченным обычаям" (Корб) и что "хотя по внешности они и отесаны немного и одеты во французское платье, тем не менее внутри их сидит прежний мужик" (Юль). Доказательства многочисленны и общеизвестны. Но чтобы дать почувствовать наглядно, чего не хватало этой новонасажденной культуре сравнительно с ее источником, приведем маленький эпизод столкновения двух культур — из воспоминаний того же Юля. Действие происходит в маленьком городке Торне, давшем приют Екатерине в 1711 г. "Я был пополудни в церкви, — рассказывает Юль, — и шел вместе с остальной цаствой. Вдруг я заметил, что церков-

ные двери отворились, и в них появилась будущая (венчание было в 1712 г.) супруга царя с лицами своей свиты. Они колебались, стоя на пороге, войти или нет; но, увидав меня, вошли и поместились на моей скамье — в мужском отделении — по две женщины с каждой стороны, чем привели меня в крайнее смущение. Когда вслед за ними устремились ко мне еще несколько женщин, я, как бы уступая им место, перешел с моей скамьи и занял другую. Вне отделений для молящихся стояло много русских гвардейских офицеров: они говорили, кричали и шумели, точно в трактире. Когда священник, войдя на кафедру, начал говорить проповедь, женщины, успевшие соскучиться, вышли из отделения и стали обходить церковь, осматривая ее убранство и громко болтая... Так как проповедь все продолжалась, то царица послала сказать пастору, чтобы он кончил... По окончании проповеди царица, услышавшая от кого-то, будто в этой церкви похоронена Пресвятая Дева Мария, послала просить, чтобы останки (Божией Матери) были выкопаны и переданы ей для перенесения в Россию...”

Не следует, однако же, чересчур низко ценить значение той чисто внешней прививки новых культурных элементов, которой, по необходимости, ограничилась реформа Петра. Эти формы, пока еще не наполненные содержанием, были, однако же, ассоциированы с *известным*, вполне определенным содержанием, отрицавшим соответственное содержание русской старины. Внешность, т.е. одежда, пища, жилище, все это — части немого языка культуры, который говорит тем красноречивее, чем резче противоречит окружающей внешности. Завоевать право на такое открытое противоречие — значит очистить путь новой идее, новому социальному факту, преодолеть важное препятствие для его вступления в жизнь. Такой фанатический противник петровской культурной внешности, как Константин Аксаков, лучше всех западников понял важность этого первого шага Петра и на себе испытал всю трудность, попытавшись при императоре Николае I взволновать дворянские умы обратной реформой — пропагандой бороды и русской рубашки. Если эта параллель покажется неубедительной, напомним другую, одинакового характера с петровской: напомним, каких усилий стоили и какими протестами сопровождалась в *образованном* русском обществе стриженные волосы эмансипированной женщины. Для стриженной бороды эмансипированного мужчины среди народной массы петровского времени — это сравнение, впрочем, будет слишком слабо. Тот, кто бывал в турецкой старой провинции и знает, какому серьезному риску подвергал себя местный обыватель, который вздумал бы заменить феску европейской шляпой, тот еще может наглядно представить себе все социологическое значение стриженной бороды и венгерского костюма в петровской России.

Как бы то ни было, вполне сознательного отношения к заимствуемой культуре, полного понимания того, в чем состоит ее содержание, невозможно искать ни в реформаторе, ни в реформе. Но, суживая и упрощая задачи реформы, может быть, зато реформатор остался ее полным хозяином в этой более ограниченной сфере? Может быть, не овладев вполне оригиналом, он зато в упрощенную копию внес все, что желал и как желал?

Нельзя сказать и этого. Чтобы охватить реформу в ее целом, предварительно ее обдумать, распланировать и затем осуществлять в известной последовательности и системе, для этого у Петра было слишком мало знаний и времени, а главное — неподходящая натура. Та же непосредственность натуры, которая исключала понимание более глубоких и тонких сторон европейской культуры, сделала невозможной и систематически обдуманную деятельность. Задерживающие центры работают еще слишком слабо в этом мозговом аппарате. "Продолжительное занятие одним и тем же делом повергает Петра в состояние внутреннего беспокойства", — замечает Юль. Зато, если Петра займет какая-нибудь мысль, она должна быть осуществлена немедленно. Он приезжает в Дрезден: он был целый день в дороге, люди измучены; уже вечер, время ужина. Ничего не значит: Петр хочет видеть кунсткамеру — нужно отпереть ее, зажечь свечи и показывать ее Петру целую ночь. Известная нервная болезнь Петра еще усиливает эту импульсивность, эту быстроту переходов от настроения к поступку и от настроения к настроению. В январе 1710 г., веселый и радостный, он празднует в Москве триумфальным шествием Полтавскую победу. Вдруг он оставил свое место в процессии и во весь опор проскакал мимо кареты канцлера, в которой сидел Юль. "Лицо его было чрезвычайно бледно, искажено и уродливо. Он делал страшные гримасы и движения головой, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Мы вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами — быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, он все продолжал делать гримасы, вертел головой, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами... Никто не смел к нему подойти, так как видели, что царь сердит и чем-то раздосадован". С таким темпераментом Петр всегда страстно предавался делу, которое интересовало его в данную минуту, и забывал обо всем остальном. Его работа распадалась на детали, в которые Петр погружался всецело: в них он чувствовал свою силу, ими наполнял без остатка свое время, на них удовлетворял своей потребности труда. Но общий план этим самым отодвигался на второе место; на нем сосредоточивать мысль было уже некогда, да и непривычно. Вот почему Петр поставлен был в необходимость искать ресурсов, импуль-

сов для своей детальной работы — извне. Вот почему он так жадно ловил всякие указания и советы со стороны и так быстро пускал их в оборот, не согласовав и не продумав, только бы они подходили сколько-нибудь к общему направлению его интереса в данный момент.

Такого рода общее направление было, конечно, и у Петра. Но оно определяло характер его работы только в самых общих, чересчур общих чертах. Не охватывая одним взглядом всей своей реформы, не представляя себе отчетливо тех процессов, которые вызваны были его же действиями, но не прямо, а косвенно, — и фактически совершались, ускользая от его глаз или от его внимания, — Петр схематизировал реформу в своем сознании очень поверхностно и грубо. Он твердо знал во всю первую половину царствования только одно, самое главное: что надо во что бы то ни стало победить неприятеля. Для его любимых наклонностей, для его привычных занятий — война слишком много давала пищи, чтобы он еще захотел думать о чем-нибудь другом, кроме того, что так или иначе, прямо или косвенно относилось к усилению его военных ресурсов. Только впоследствии, помимо "рождения российской славы", его стало занимать также и "введение добрых порядков". Чем дальше, тем больше он сосредоточивается на этой второй мысли. В 1719 г. французский дипломат Ла Ви записывает речь, которую Петр держал перед отъездом в Олонец. После того, как достигнута внешняя безопасность, говорил царь, он употребит все усилия, чтобы прекратить эксплуатацию народа продажными чиновниками и судьями; обязанность монарха — охранить народ от всякой несправедливости и искоренить самыми сильными средствами нечестность и испорченность бюрократии. И, в ответ на пышные похвалы сената, предлагающего Петру, по случаю Ништадтского мира, титулы "отца отечества" и "императора всероссийского" — за то, что он вывел Россию "из тьмы невеждения (то есть неизвестности) на театр славы всего света", царь говорил знаменательные слова: "Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, — дабы с нами не так случилось, как с монархией греческой; (но также) надлежит трудиться о пользе и прибытке общем... от чего облегчен будет народ".

В общем — задача определена так же верно и метко, как и задача первой части царствования. Но опять между этим общим определением и деталями, между целью и средствами лежит огромный пробел, заключающийся в отсутствии общего плана и в невозможности для Петра его заблаговременно обдумать и систематически осуществить. По старой привычке, Петр обращается к средству уже испытанному. Если в устройстве армии помогла иностранная техника, то отчего не поможет она и в "введении добрых порядков"? Эти "добрые порядки" ему представляются каким-то секретом — вроде нового тактического приема или ружья усовершенствованного образца, — который иност-

ранцы таят про себя и который стоит только узнать, чтобы все пошло как по маслу. Уже в 1709 г. он так и говорит Юлю: этот секрет скрывают от него пруссаки. "Когда он собирался, во время заграничного путешествия, идти морем из Пиллау в Кольберг, то бранденбуржцы старались уверить его, будто по Балтийскому морю во множестве ходят турки и корсары, чтобы напугать этим и отклонить от поездки, которая бы могла открыть ему глаза, ознакомив его с состоянием других краев, и тем способствовала бы устройству собственного его государства по образцу Европы". Но Петр перехитрил иностранцев. Тайно, не говоря никому ни слова, он пошлет в Швецию голштинского камер-рата Фика, чтобы списать по секрету все шведские уставы и регламенты. Затем останется только перевести их на русский язык и ввести у себя дома.

Итак, вот как Петр схематизировал свою реформу: сперва внешняя безопасность, потом внутренний порядок и правосудие. Не надо, однако, забывать, что и эта схема вырабатывается только ко второй половине царствования¹², так сказать, *post factum* — после того, как юношеские мечты о славе и военных забавах все равно втянули Петра в войну, а постепенно развившееся недоверие к ближайшим сотрудникам все равно заставило принять усиленные меры контроля¹³. И даже в своем наиболее разработанном виде эта схема не может заменить сознательно разработанного плана реформы, так как она для этого слишком обща.

За отсутствием идей, остается одно только чувство, постоянно возвышающее Петра над всеми мелочами и деталями, в которых он ежеминутно захлебывается. Это чувство — очень сильно развитое в Петре и единственное, которое его дисциплинирует, заменяет для него все сдержки, которых не дало воспитание. Это чувство своей ответственности, чувство долга, обязанности, извне наложенной. Любопытно, что и это сознание долга перед родиной облекается у Петра в форму, наиболее понятную для него и для окружающих, — в форму, заимствованную из военной службы, военной дисциплины. Он *служит* отечеству — не только как царь, как "первый слуга", как Фрид-

¹² Первое упоминание о ней находим в знаменитом письме к сыну (1715): "Два необходимых дела к правлению — еже распорядок и оборона". Тут и упоминание о греческой монархии, погибшей от пренебрежения к воинскому делу, и о "тяжких забавах", необходимых для государя: видно, что философия собственного царствования далась Петру нелегко, запечатлелась в его уме лапидарными штрихами и гускалась в ход лишь по особо торжественным случаям, всегда в одних и тех же выражениях.

¹³ Надо заметить, что кн. Куракин в одно слово с жертвами Преображенской канцелярии утверждают, что с первых годов петровского царствования "началось неправное правление от судей и мздоимство великое и кража государственная"; он прибавляет, что все это "дольше продолжается (1727) с умножением и вывести сию язву трудно".

рих Великий; нет — он прежде всего служит, как барабанщик, бомбардир, шаутбенахт, вице-адмирал. В Полтавской битве он командует своей отдельной частью, подвергаясь в этот решительный для его реформы момент одинаковой опасности со всеми, хотя исход битвы можно считать предрешенным. В 1713 г. вице-адмирал Крюйс предостерегает Петра от рискованной морской авантюры. Петр отвечает: брать жалованье и не служить — стыдно. Во всем этом есть доля позы и доля буфонства. Но во всей деятельности Петра мы не найдем другой более глубокой, более укоренившейся, почти сделавшейся инстинктом, руководящей идеи, кроме этой идеи службы. И когда, в последний год жизни, он захочет втолковать своим подданным их обязанности к народу, необходимость быть честными, и не лгать, не грабить казну и не брать взятки, он не найдет иного способа, как распространить на эту сферу гражданских отношений те же понятия военной службы и дисциплины. "Преступивших добровольно и сознательно в делах своей должности надлежит наказывать так же, как изменника, нарушившего свою обязанность во время боя, — ибо это преступление хуже измены: измену, увидав, можно остерегаться, — а здесь не всякий остережется, так как скрытое преступление может долго течение свое иметь". Погрешивший начальник не будет в состоянии сдерживать подчиненных, "и так мало-помалу все в бесстрашие придут и людей в государстве разорят, и, таким образом, хуже измены отдельного лица может быть государству не только бедствие, но и окончательное падение" (тут, вероятно, опять рисуется Петру "монархия греческая"). Чувство долга, без сомнения, помогает Петру — среди всех колебаний и превратностей судьбы, среди собственных увлечений и капризов сохранить постоянное направление воли, переупрямить своих врагов, своих союзников, своих сотрудников и свой народ в стремлении к достижению раз поставленной цели. Но заменить определенного плана, дать действиям Петра систему — и это чувство не может.

Отсутствие такого плана и системы, без сомнения, должно было лишить реформатора возможности господствовать над реформой, руководить ее ходом вполне сознательно и целесообразно. Другими словами, личное его влияние на реформу сильно сокращалось в размерах при этом условии. Но то же самое условие делало особенно рельефной, особенно заметной со стороны ту долю личного участия, которая все-таки оставалась. Личное участие царя в реформе, конечно, гораздо более скрадывалось бы, если бы в ней все совершалось в свое время на своем месте, при помощи раз избранных и приставленных к делу посредников и исполнителей. Но когда все распадалось на ряд отдельных, отрывочных экспериментов, единичных толчков, всякий раз исправлявших и заменявших друг друга и всякий раз продиктованных личным усмотрением Петра, тогда, разумеется, вмешательство личности царя должно было чувствоваться и

требоваться на каждом шагу. Если это был "промысел", то отнюдь не действительной, а скорее фетишистской религии: за отсутствием общего закона столько актов воли, сколько поступков. И здесь, конечно, сейчас же надо сделать оговорку. Все эти поступки, без сомнения, не являлись безусловно изолированными, вполне чуждыми один другому. Если в этой примитивной натуре не было твердого скелета мысли, то зато не было и никакого упорства систематика. Не было доктрины, но не было и доктринерства. Петр с удивительной легкостью и быстротой признавался в своих ошибках и никогда не уставал начинать сызнова. Таким образом, если его реформа и не вела прямым путем к цели, то она и не кружила около и тем более не топталась на одном месте. Обыкновенно (хотя и не всегда, как увидим) ошибка служила уроком; новый эксперимент вносил поправку: это была, как любил говорить сам Петр, его школа. Разумеется, при таком несовершенном методе ученье могло продолжаться бесконечно. Петр ошибался, когда по поводу Ништадтского мира определял курс своей выучки — тройным цеховым (семилетним) сроком. Он умер, не кончив курса и не выдержав экзамена по многим весьма существенным предметам реформационной программы.

Стоит перебрать в памяти все главные предметы реформы Петра, чтобы убедиться в правильности сделанных замечаний. Учреждение постоянного войска и обеспечение его содержанием — есть, конечно, один из самых важных результатов реформы, на достижение которого направлена была наибольшая часть забот и усилий Петра. Но надо знать, какие жертвы должна была принести страна людьми и деньгами для достижения этого результата. Только тогда убедимся, что результат не стоит ни в каком соответствии с усилиями, что огромная часть их была затрачена нецелесообразно и непроизводительно. Если же обратимся от войска к военному делу, то увидим, что тут до конца жизни Петр остался учеником самым непонятливым. Не говорим уже о Нарвском поражении. Петр сам сознал, что тут было одно "младенческое играние" и что войну мы начали, как слепые, "не ведая силы противников и своего состояния". Но когда та же ошибка, опять по личной вине Петра, повторилась на Пруте: когда в предпоследний год жизни его поход на Дербент напомнил крымские походы Голицына — то тут для суждения о характере личного влияния Петра на ход военных операций не остается сомнений. Поражение армии Карла XII, как и поражение великой армии Наполеона, есть главным образом дело их самих и русской природы. Нельзя относить на счет Петра отсутствие общего плана войны, так как здесь он зависел и от противников и от союзников. Свое личное дело, завоевание моря, он сделал и сумел отстоять: хотя, конечно, и тут полное разорение завоеванного побережья не свидетельствует об обдуманной программе завоеваний.

Гораздо ярче личный характер реформы отражается на создании флота. Ради флота Петр вел все свои войны; но и эта задача до самой смерти оставалась не вполне осуществленной и распадалась на ряд разрозненных и не доведенных до конца попыток, брошенных частью самим Петром, частью его ближайшими преемниками. Скучность результатов сравнительно с грандиозностью затраченных средств тут выступает особенно ярко. Уже не говорим об игрушечной флотилии, парадировавшей при взятии Азова. Тотчас за этим вступлением Петр спешит одним почерком пера создать настоящий большой торговый флот: землевладельцы построят ему 98 кораблей и сам он построит 90. Вернувшись из Голландии, он забраковывает всю эту работу и начинает все с начала (1700). Это не мешает ему, год спустя, хвалиться перед Августом Польским, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушек на каждом. Увы, когда наступает время пустить корабли в дело для завоевания Финляндии (1713), у Петра оказывается всего четыре линейных корабля и пара фрегатов. В промежутке, однако, Петр не тратит времени даром. Каждый год он ездил на свою воронежскую верфь; кроме личных усилий и забот, он положил там огромные суммы денег; сотни тысяч людей умерли от болезней и голода "у гаванного строения" (то есть у постройки новой Троицкой гавани возле Таганрога, так как по мелководному Дону спускать большие корабли оказалось невозможным). Прутский поход сразу прикрывает все многолетнее дело: гавань скрыта, суда отданы туркам или гниют на месте. Ничего почти не приходится утилизировать для северного судостроения, куда теперь Петр переносит все свои заботы, стараясь как можно скорее нагнать упущенное время. В 1719 г. у него уже 28 линейных кораблей. Но сколько новых усилий для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяет только на первые годы после закладки Петербурга; перенесение ее в Петербург тоже оказывается недостаточным: по Неве нельзя выводить оснащенные корабли в море без углубления фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтской гаванью. Но после ряда новых усилий, после новых огромных жертв людьми и деньгами и Кронштадт перестает удовлетворять. От пресной воды суда гниют вдвое скорее; по условиям места из бухты можно выйти только при восточном ветре; по условиям климата — гавань только полгода свободна от льда. За несколько лет до смерти Петр находит новое место: Рогервик, недалеко от Ревеля. Правда, шведы остановились перед страшными расходами и физическими препятствиями для укрепления этой бухты. Но Петра такие пустяки не могут остановить. И снова люди десятками тысяч идут на новую работу; "все леса в Лифляндии и Эстляндии сведены" для ящиков, в которых погружают на дно морской камень, наломанный в соседних скалах. А неумолимые бури из года в год, при Петре и при Екатерине, разносят всю людскую работу, так что наконец

и этот проект, "стоивший невероятных сумм", приходится бросить. В результате русский флот *демонстрирует* в Балтийском море, как он демонстрировал перед Константинополем и перед Азовом. Но действительно важную услугу в войне оказывают только маленькие галеры, свободно пробирающиеся между шхер, в виду шведского флота и армии, и высаживающие то там, то сям небольшие десанты, которые разоряют берега и заставляют наконец Швецию вернуть себе безопасность в собственной стране путем отказа от завоеванных Петром заморских провинций. Но, может быть, Петр работал для будущего? В 1734 г. всего девять лет после его смерти, нужно запереть с моря Данциг: Петербургское адмиралтейство может снарядить самое большое — 15 кораблей, да и для тех не хватает экипажа и нет офицеров.

Небывалое напряжение государственных сил для достижения военных задач Петра вызывает, как мы знаем, непредвиденные изменения в других частях государственного строя. А необходимость считаться с этими изменениями и здесь налагает на стихийные исторические процессы печать торопливости, отрывочности и бессвязности отдельных экспериментов, ликвидирующих и исправляющих друг друга. Не будем повторять здесь того, что об этом говорилось в отделах о русских учреждениях и финансах в первом томе. Напомним, что даже и история школы не изъята из того же общего правила — экспериментирования на ощупь. Не возвращаясь ко всему этому, остановимся еще только на одной области реформы, кажется, наиболее личной, наиболее зависевшей от воли реформатора и, следовательно, наиболее доступной для планомерного выполнения. Петербург — это воплощение всех пристрастий и антипатий Петра, его любви к морю и флоту, его потребности в полном просторе, его привычки к внешней обстановке культуры, его ненависти к старине и его страха перед глухой враждой старой столицы, — этот "парадиз" Петра, созданный, по живописной финской легенде, целиком на воздухе и потом разом опущенный на болото, чтобы не потонуть в нем по кусочкам, — этот самый Петербург тоже отразил на себе не только все содержание реформы в миниатюре, но также и все ее приемы. На этих маленьких клочках земли, разделенных невскими устьями, Петр мечется десять лет без устали, и в результате опять — масса непроизводительно затраченного труда, масса начал без концов, великолепных и дорогих проектов, оставшихся без исполнения, — и ничего цельного. То Петербург будет на теперешней Петербургской стороне — и там строятся церкви, биржа, лавки, здание для коллегий, частные дома, которые обязан построить каждый служащий дворянин, смотря по имуществу. То — лучше перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт; и там опять по наряду, каждая губерния воздвигает огромный каменный корпус, в котором никто не будет жить и которые постепенно

развалятся от времени. Между тем город возникает на новом месте, между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны. И опять Петр недоволен: на досуге последних лет ему приходит в голову новая затея: Петербург обратить в Амстердам, улицы заменить каналами — и для этого перенести весь город на самое низменное место, на Васильевский остров, раньше подаренный целиком Меншикову; а от наводнений и неприятельских нападений построить плотины. И опять все дворянство, уже обзаведшееся домами в других местах Петербурга, приглашается обязательно строить новые дома на Васильевском острове. Умирает Петр — и начатые постройки забрасываются, приходят в ветхость и служат только материалом для остроумцев: в других странах время создает руины, а в России их строят нарочно. "Ничего не было бы легче, как сделать новый город (при помощи обязательных построек) одним из красивейших и правильнейших в Европе, — заключает Фокеродт, — если бы только последовали обычным правилам архитекторов и прежде, чем строить, выработали определенный план. Но дело пошло так, как обыкновенно бывает в подобных случаях в России: начали с исполнения".

Довольно, кажется, всех этих сопоставлений для общего вывода. Личность Петра видна всюду в его реформе: на всякой частности лежит ее печать. И как раз эта-то черта и сообщает реформе в значительной степени стихийный характер. Это бесконечное повторение и накопление опытов, этот непрерывный круговорот разрушения и созидания, и среди всего какая-то неиссякаемая жизненная сила, которую не могут ни сломить, ни даже остановить никакие жертвы, никакие потери, никакие неудачи — все это такие черты, которые напоминают расточительность природы в ее слепом стихийном творчестве, а не политическое искусство государственного человека. Делая этот вывод, мы не должны забыть еще другой черты, постоянно мелькавшей в предыдущем изложении. Именно в *этом* своем виде реформа перестает представляться чудом и спускается до уровня окружающей действительности. Она должна была быть такой, чтобы соответствовать этой действительности. Ее случайность, произвольность, индивидуальность, насильственность — необходимые в ней черты. И, несмотря на ее резко антинациональную внешность, она целиком коренится в условиях национальной жизни. Страна получила такую реформу, на какую только и была способна.

Посмотрим теперь, как отразилась первая победа критических элементов на положении русского национализма. В стране, сильно отставшей культурно, по необходимости принужденной заимствовать более совершенную технику соседей и поневоле перенявшей, вместе с техникой, некоторые внешние формы их быта, — в такой стране, можно сказать а priori, националистический протест должен был быть силен и должен был вылиться

в форму религиозную. Мы знаем, что в религиозной сфере этот протест уже был налицо, — и там он тоже был вызван предшествовавшей победой критических элементов. Раскол именно и был таким протестом со стороны национальной религии, осужденной иноземной критикой. В своем происхождении, так же как во внутренней логике своего развития, раскол был, как мы знаем, явлением чисто религиозным, в том смысле, что он не имел характера "земского" или "социального" протеста, как думали некоторые исследователи. Но не надо забывать, что сама русская религиозная мысль носила в то время существенно националистический характер. Конечно, забота о душевном спасении вызвала раскол. Но забота эта вытекала не из какого-нибудь внутреннего процесса религиозной мысли или чувства, а из опасения — лишиться испытанных внешних формул спасения. Это был не порыв — спасти свою душу путем личного усилия, а страх, как бы не погубить ее по чужой вине. Словом, это была борьба за формы национальной религии, потревоженные греческой и киевской грамматикой. Все враждебное вере оказывалось при этом сразу враждебным и национальности: эта антинациональность и служила главным доказательством антирелигиозности нововведений. Таким образом, религиозный принцип раскола как нельзя более пригоден был для того, чтобы сделаться принципом националистической реакции.

Но для того, чтобы принять под сень и охрану националистической религии всю вообще национальную старину — нужно было, чтобы *вся* она подверглась преследованию. Нужно было, чтобы и в *других* областях жизни, как это случилось в религии, победу одержали критические элементы. Пока этого не произошло, раскол не мог сделаться знаменем националистического протеста. В лагере никонианском тоже еще слишком много оставалось националистических элементов, чтобы разрыв, пока исключительно религиозный, мог считаться окончательным и бесповоротным. Он просто был для этого недостаточно принципиален. Лозунг протеста, в упрощенной формуле протопопа Аввакума, гласил: "Тверди: так в старопечатных книгах, да молитву Иисову грызи, — и все тут". Но, увы, эта опора была вовсе не так прочна и незыблема, как казалось Аввакуму. Самое понятие "старопечатных книг" при ближайшем знакомстве оказывалось совершенно условным и относительным. Книги печатались до Никона при пяти патриархах: Иове, Гермогене, Филарете, Иоасафе и Иосифе и всякий раз с исправлениями и переменами. Все они в свое время были "новопечатными", а некоторые наталкивались даже на противоречие, совершенно одинаковое с старообрядческим (как, например, знаменитое исключение "и огнем" из филаретовского Требника). Спрашивалось, каким же именно "старопечатным книгам" верить и с какого момента считать исправление книг их порчей? У самого Аввакума, например, в Псалтири иоасафовского издания стояло в

104-м псалме "возврати", а у его товарища по изгнанию, диакона Федора, в иосифовской Псалтири было правильное чтение "возрасти". "И за сию опись (рассказывает Федор) больше года бранился со мною Аввакум: ты-де старые книги хулишь, а я-де за них мучусь от никониан давно прежде тебя... И после от иных Псалтирей познал, яко право глаголах ему; аз ему и ту опись справил. И немудрая та речь, и небогословская, да и о той у него велика толка была". Естественно, что Аввакуму и той огромной массе, ярким представителем которой он был, трудно было принять вывод Федора, что "за опись кую в книге какой ни есть и за погрешительное слово — не подобает нам ни спиратися, ни стояти". Но при всем упорстве с обеих сторон (и никониане крепко верили в силу буквы) все-таки оставалось сознание, не уничтоженное даже неосторожным проклятием 1667 г., что и та, и другая сторона стоят на одной почве, что если не примирение, то победа и полное перерешение спора возможно для побежденных. Не только обе стороны боролись одинаковым оружием, но каждой случалось еще порою заимствовать оружие у противника. Никон мог, например, с досады, стоя на суде перед патриархами, пустить в ход раскольниковый аргумент, что "греческие правила не прямые", что "печатали их еретики". И Аввакум мог упорно защищать латинское мнение о времени пресуществления "святого сакромента". Таким образом, принципиальной основы для полного разделения, в сущности, не было. В итоге раскол уже потому не мог в XVII в. сделаться исключительным знаменем национализма, что и господствующая партия вовсе не стояла под знаменем иноземной критики, да и сам он не терял надежды стать на ее место.

В самом расколе, правда, уже не было единогласия в этом последнем вопросе. В нем уже складывалась непримиримая фракция, считавшая разрыв принципиальным и окончательным, верившая в наступление антихристового царства, в полное исчезновение христовой церкви и таинств. Но господствующее настроение массы вернее отражалось в посланиях Аввакума. Он, правда, и сам не прочь поугагать врагов и друзей антихристом и благословить на бегство из мира и на вольную смерть. Но в то же время он не скрывал ни от себя, ни от других своей веры в скорое восстановление истины — и всеми силами старается приблизить минуту этого торжества. Пока можно, он "докучает" своими просьбами и угрозами царю Алексею, дает обет "не сводить рук с высоты небесной", пока не обратит царя к старым книгам. Потом он переносит надежды на Федора, пишет ему и, наконец, перед смертью своей (14 апр. 1682) и царя, благословляет своего любимого ученика Сергия "стужати царю о исправлении веры". Мы теперь знаем, что это был — тот самый Сергий, который так неудачно пытался с помощью стрельцов выполнить завет своего учителя в Грановитой палате, перед царевной Софьей и патриархом, 5 июля того же года. Понятно,

что в ожидании скорой перемены Аввакум дорожил скрытыми союзниками из никониан и соглашался на всякие побрякки, чтобы только облегчить, а не затруднить связь между обоими лагерями. Он был против перекрещивания и развенчивания переходящих в раскол, готов был принимать православных попов в их чине, довольствуясь раскаянием; смотрел сквозь пальцы на участие своих сторонников в православных обрядах и таинствах, позволял им принимать у себя попов и отдариваться пред властями, молиться за царя и оставаться на царской службе, не отрицал даже таинств, совершенных новыми попами по старым книгам, а при употреблении новых книг — требовал только дополнительных обрядов. Все это было принципиально немислимо. Но Аввакум слишком хорошо понимал, что пока наставники спорят о догматических тонкостях, масса ждет и колеблется в нерешительности. Вот почему он так широко практиковал свою систему временных отступлений — "по нужде", ссылаясь на то, что "время из правил вышло".

Положение, действительно, было таково. Народная масса стояла вне обоих лагерей, не разрывая формально с официальной церковью, в душе инстинктивно склоняясь к старине, но не зная хорошенько, в чем она состоит, в чем разница между "старой верой" и "новой". Таким рисуют нам это настроение разные сцены во время стрелецкого мятежа 1682 г. Стрельцы готовы воспользоваться своим господством, чтобы потребовать публичного пересмотра религиозного спора; но они еще не решаются высказаться определенно: половина подписывает челобитную, половина возражает: "Зачем нам руки прикладывать? Мы отвечать против челобитной не умеем... все это дело не наше, а патриаршее; а мы и без рукоприкладства рады тут быть, стоять за православную веру и *смотреть правду*, а по-старому не дадим жечь и мучить". И они спрашивают, в лице своих депутатов: "За что старые книги отринуты, какие в них ереси, *чтоб нам про то ведомо было*". Они склоняются про себя, разумеется, к тому, что ересей в старых книгах нет, что отринуты они напрасно, но все же предоставляют решение дела властям и при первой опасности громко заявляют об этом. "Нам до старой веры дела нет: это дело патриарха и всего освященного собора".

Дать наглядный материал, недостававший народу, для решительного выбора между старой верой и никонианством; популяризировать в массе ненависть начетчиков к "новой вере", поразив народную мысль иноземными новшествами и тем отбросив эту массу в принципиально враждебный лагерь; убедить ее до очевидности в пришествии и торжестве антихриста и в необходимости спастись из мира: эту миссию исполнила петровская реформа. Она поставила разрыв раскола с церковью на ту принципиальную почву, которой до сих пор не хватало, и тем превратила раскол в знамя национального протеста, в оплот националистических идеологий. Перемена позиций произошла не-

обыкновенно быстро. Под известным нам завещанием патриарха Иоакима самый нетерпимый старовер мог бы еще подписаться. Бессильное попустительство патриарха Адриана петровским новым модам — уже приводило в негодование. Когда же после Адриана церковь осталась вовсе без патриарха, раскольники потеряли всякий критерий для суждения о ней и ее роли в обществе. А время шло все так же быстро вперед. В политических видах Петр преобразовал самое устройство церкви на протестантский лад. Ему случалось, уставиши держать руки, в качестве шафера, над женихом, приказывать прекратить венчальный обряд (на свадьбе племянницы Анны Ивановны). Он не стеснялся даже разводить своих приближенных (Ягужинского) с женами и женить на других. Сам он, как мы знаем, в подобном случае долго обходился и вовсе без венчания. Одним словом, церковь, после такой огромной роли, какую она играла в недавнем прошлом, как-то вдруг сразу сократилась и заняла более чем скромное положение в государственной и частной жизни. Естественно, что при головокружительной быстроте, с которой совершилась эта перемена, почва ушла из-под ног у ревнителей старого благочесния. Недавние споры с церковью сами собой отодвинулись далеко назад. Так странно было бы теперь тянуть ее к ответу и строить на победе над ней какие-либо расчеты — когда и сама она была уже не та, что прежде, и славный враг оказался совсем не там, где его привыкли видеть... Надежд на победу старины, разумеется, теперь уже быть не могло. Зато реформа Петра впервые подала расколу весьма основательную надежду на долгое, прочное существование, на обильную паству, на богатый материал для пропаганды — не одной уже "старой веры", но и вообще старого национализма. Враги Никона не могли не сблизиться с новыми врагами Петра из никониан. Настоящие староверы расплылись в массу "бородачей". Петр вовсе не преувеличивал, когда выразился однажды, что вместо одного бородача (он разумел самого Никона) ему приходится иметь дело с тысячью.

Реформа Петра, со свойственными ей приемами, действительно не могла не послужить самым могущественным орудием для распространения националистических идеалов в серой массе. Бросая вызов всем старым привычкам, оскорбляя все чувства, затрагивая все интересы, эта реформа была не из таких, которые скрываются в глубине канцелярий и теряют силу в процессе нисхождения и восхождения по инстанциям. Она не могла остаться неизвестной самому последнему крестьянину в самом глухом захолустье. К нему туда приходили, его несколько раз переписывали, бесчисленное количество раз облагали новыми, неслыханными податями и повинностями, отрывали от семьи и сохи и "выволакивали" на всевозможные службы во все концы государства. В своих собственных платежных квитанциях он мог прочесть длинную летопись разрозненных уси-

лий Петра, то внося деньги на "дело кирпича" и "известное жженье" для петербургских построек, то посылая людей "к гаванному строенью" в Азов или "на Котлин", то уплачивая дополнительные сборы на "драгунские седла", то собирая провиант и фураж и т.д. Но мало всего этого — Петр и сам не оставался вдали от народной массы. Ежегодно он носился из конца в конец России; везде его видели, всюду он являлся с своими привычками, такими странными и так мало отвечающими старой идее о царской власти, со своими новыми людьми, еще более бесцеремонными, чем он сам. Словом, Россия была полна Петром и его реформой. Прожить жизнь и не столкнуться с ним, не попасть так или иначе в тень его гигантской фигуры становилось просто невозможно. Что могло быть, по-видимому, общего между великим реформатором и простым тамбовским дьячком? А между тем и тамбовскому дьячку оказалось тесно жить в одной России с Петром. Как бы оправдывая народную жалобу, что "никуда от него не уйдешь", дьячок мог уйти от Петра только на плаху. Мирно жил этот дьячок Степан в Тамбове, пока не начал ему наговаривать Савва монах: "Было благочестие, а ныне отпало, как и Рим отпал; царь Петр — антихрист, потому что владеет один, без патриарха; а что бороды брить и у драгунов раскаты — это антихристова печать". Степан смутился; перестал, на всякий случай, в церковь ходить и пошел к духовнику за советом. Услыхав про Петра-антихриста, духовник к слову вспомнил: "Были мы на Воронеже в певчих и певали перед государем и при его компании; зашел разговор о Талицком (автор памфлета о Петре-антихристе, казненный в 1701 г.); царь и говорит: "Такой он вор — Талицкий; уж и я антихрист! О Господи, уж и я антихрист пред Тобою!" А мы еще, то слыша, подумали: Бог знает, к чему это он говорит..." Разумеется, такое совпадение подкрепило подозрения Степана. А тут еще прочел он в старопечатной Кирилловской книге: "Во имя Симона Петра имать сести гордый князь мира антихрист". Нет сомнения: Петр — антихрист. Вот и прохожая женщина рассказывает: были ее родственники в Суздале, где заточена царица (Евдокия Лопухина), и царица говорила людям: "Держите веру христианскую, это не мой царь, иной — выше". Со страха богобоязненный дьячок постригся от живой жены в Трегуляевском монастыре, под именем Самуила. Смотри, говорили ему, на монастыри первое гонение будет. "Нет нужды, — отвечал он, — тогда я в горы уйду". Действительно, и в монастыре Петр не оставляет в покое разыгравшееся воображение Самуила. То какой-нибудь монах расскажет ему, что "теперь над нами царствует не наш государь, а сын Лефорта", подмененный вместо родившейся у Алексея Михайловича девочки; то Самуилов дядя, тоже монах, успокоит племянника, что Петр — только "предтеча" антихриста. Попал по какому-то делу Самуил в Воронеж и решил поделиться своими сведениями с православ-

ными. Написал письмо, что Петр — антихрист, и подбросил в неизвестный двор. Идет обратно; на пути в селе Избердее боярский сын сообщает ему новость: "А ведь говорят, наш царь пошел в Стекольную (Стокгольм), и там его посадили в заточенье, а это не наш государь". И Самуил про себя думает: ну, так и есть, антихрист. Пришел в монастырь Духовный Регламент — царь отводит от монашества: явно антихрист. Ничего не подделаешь, надо бежать в пустыню. Самуил бежит, его ловят, возвращают в монастырь. Сидя на цепи, монах думает: "Игумену ни за что не поклонюсь: он слуга антихриста". Отсидел — и таки бежал опять, в степь, оттуда пробрался к казакам. Идея об антихристе и тут не оставляет Самуила; встретит он простого бурлака, ему внушает про царство антихриста; а то наткнулся на попа, который по-своему мстил Петру: на ектениях он поминал вместо "император" — "имперетер" на том основании, что Петр всех людей "перетер". Но тут случилась неожиданность. Самуилу попали в руки правительственные издания против раскола. Он прочел, перестал проповедовать про антихриста, обратился в православие и вернулся в монастырь к мирной жизни. Тщетная надежда. Петр не дает никому пожить мирно. Самуил из своего Трегуляевского монастыря переведен в московский Богоявленский, и велено ему посещать школу. Он бы и не прочь почитать хорошую книжку, но учиться грамматике в его возрасте уже трудно. Пробовал было не ходить в классы: префект грозит плетью. И раздражение против царя — теперь уже не антихриста — снова растет в душе Самуила. В таком настроении его застаёт известие: жена его вышла замуж за другого. Самуил поражен в самое сердце: и жены жаль, и на себя досадно, что ввел ее в грех. Но кто главный виновник? И тут все он же, опять Петр, опять его Регламент. Ведь хотела жена постричься; нет, не позволили! Товарищ Самуила, другой монах, тоже бранит Регламент, тоже поджигает Самуила. И вот, доведённый до крайней степени раздражения, совсем потерявший душевное равновесие, не зная, на ком и как сорвать злобу, Самуил хватает клочки бумаги и принимается — исключительно "для покою в совести", отнюдь не для пропаганды — отводить свою душу письменной бранью против вечного своего врага, императора. На горе монаха, одна такая бумажка попалась кому-то на глаза, препровождена была куда следует — в Тайную Канцелярию — и пропал Самуил. Не помогли ни оправдания, ни объяснения. Его казнили.

Эта история маленького человека поможет нам наглядно представить себе, до какой степени насыщена была общественная атмосфера раздражением против преобразователя. Епископ Досифей, колесованный за сношения с постриженной царицей Евдокией, дал самую красноречивую характеристику этого настроения, когда перед собором архиереев, вместо всяких показаний, заявил: "Посмотрите, что у всех в сердцах! Извольте

пустить уши в народ, что в народе говорят, — а сам я об этом говорить не стану". Что говорил народ, действительно слишком хорошо было известно в московском застенке. Пусть читатель прочтет извлеченную оттуда, трепещущую жизнью, страницу истории Соловьева, с ее постоянным припевом: "Какой он царь!"

Если когда-либо можно было ожидать, что "старая вера" сделается знаменем широкого политического и социального протеста, то это именно должно было случиться в описываемое время. Недаром же иностранные резиденты при русском дворе так напряженно ждали, что не сегодня-завтра в России разразится что-нибудь такое, что положит конец всей этой адской стряпне. Недаром и в самой России, в кругах, сгруппировавшихся около царевича Алексея, из году в год возрастало нетерпеливое, нервное предчувствие развязки. Казалось, что вот-вот потерпит царевич еще 2-3 года в монастыре или за границей, а там и можно будет кликнуть клич "от архиереев — священникам, от священников — прихожанам". Но и иностранцы, и русские недовольные сводили счета без хозяина. Царевич за свою неясную мечту не то о смерти отца, не то о бунте — заплатил жизнью. Религиозный протест действительно превратился в общенациональный; но из национального социальным и политическим не сделался. Это не значит, что социального протеста вовсе не существовало. Но, как и до Петра, он шел своей отдельной струей. Все попытки слияния его с религиозно-национальным протестом не привели ни к чему.

На взаимных отношениях этих двух отдельных течений, религиозно-национального и социального, нам необходимо остановиться, однако же, несколько внимательнее, чтобы подтвердить только что сделанное утверждение.

Из основных принципов раскола, самих по себе, нельзя было сделать никаких социальных выводов. Только в некоторых крайних толках беспоповщины (как, например, странники) мы встречаемся с определенным социальным учением — и то выработанным довольно поздно. Вообще же раскол относился к социальным вопросам совершенно нейтрально. "Кой во что призван, в том да пребывает" — так формулировал Аввакум это основное правило. Конечно, старообрядцам пришлось все-таки стать в оппозицию государственной власти, но лишь постольку, поскольку эта власть являлась представительницей интересов государственной церкви. И притом даже эта оппозиция была не активная, а пассивная. Раскол действовал по отношению к государству оборонительно, а не наступательно. Самым активным проявлением самого нетерпимого отношения раскола к светской власти было самоубийство, самосожжение: мученичество за веру, а не борьба за ее торжество.

На активную борьбу раскол сам по себе был не способен. Это, однако же, не исключало возможности попыток воспользо-

ваться оппозиционным настроением раскола, чтобы привлечь его к союзу с элементами действительно активного протеста. Степан Разин еще не знает хорошенько, где искать на Руси представителей религиозного протеста, но он уже их ищет и предлагает им свой союз. Его эмиссары появляются и у низложенного патриарха Никона, и у взбунтовавшихся против его нововведений иноков Соловецкого монастыря. Конечно, эта первая попытка остается без всяких результатов. Год спустя после казни Разина положение дела становится яснее. Раскольничья община, преследуемая правительством, разбегается мало-помалу из Москвы по окраинам. В это время и на Дону появляются (1672) до 130 чернецов и бельцов и строят себе на берегу реки Чира пустынь, скоро сделавшуюся знаменитой. Неудачная попытка восстановить старую веру во время стрелецкого мятежа (1682) влечет за собой новый пароксизм правительственных преследований. На севере они вызывают эпидемию самосожжений, на западной окраине бегство за границу, в Польшу и Швецию, а на Дону на первых порах — новый сильный прилив беглецов. "Светлая Россия потемнела, а мрачный Дон воссиял и преподобными отцами наполнился". Здесь, среди казачества, на классической почве русского социального протеста, союз религиозной оппозиции с социальной должен был, по-видимому, последовать сам собой. Он и последовал — но только для того, чтоб показать до последней очевидности, до какой степени обе оппозиции разнохарактерны и до какой степени их совместное действие невозможно. Старцы, поселившиеся в Чирской пустыни, думали лишь об одном, как бы перетерпеть тяжелое время для раскола и обеспечить непрерывность церковной жизни: освятить церковь (1686), наготовить в ней как можно больше запасных даров, чтобы и "в тысячи лет не оскудело"¹⁴. Самые смелые мечтали как-нибудь, хоть семью-восемью попами посвятить себе епископа. Вот почему, когда в их обители в 1683 г. появились эмиссары из Москвы — звать казаков на помощь стрельцам, — старцы спровадили их поскорее дальше по Дону, с их подложной грамотой от царя Ивана Алексеевича. А когда поднялось действительно политическое движение на Дону, старцы спасались в леса и бежали на Кавказ от царских посылок за ними. Были, однако, на Дону и представители более крайнего течения в расколе. На р. Медведице поселился типичный проповедник близкого пришествия антихриста, Кузьма Косой... Созванный им отовсюду сход единомышленников, тысяч до двух, на первый взгляд мог показаться настоящим военным лагерем, где готовились идти на Москву войной. Кузьма говорил о каком-то царе Михаиле, который будет с ними и "очистит зем-

¹⁴ Это так называемое "Досифеево причастие", о котором толковали, что "того таинства будет на 5000 лет для 100000 человек без нужды"; игумен Досифей обыкновенно просфору для агнца "запасал великую яко куличу".

лю". Из всего этого сделали в Москве политический заговор. После многих попыток умирающего Кузьму заставили признать, что тех, кто не послушает их учения на Дону и в Москве, "намерено было всех побивать". Смысл этого признания, однако же, был совсем иной, чем могло показаться на первый взгляд. Достаточно внимательно всмотреться в проповедь Кузьмы, чтобы узнать в нем близкого родственника тех пропагандистов, которые волновали Заволжье и призывали к самосожжению. Подобно им, Кузьма учит "умирать без причастия" и жить без венчания", так как нет больше на земле ни церкви, ни таинств, и до кончины мира (1692) осталось только пять лет. Подобно им, ожидание антихриста вызывает в Кузьме и в его пастве повышенное, экзальтированное настроение, располагающее к мистицизму и к апокалипсическим видениям. Это — то же движение, которое одновременно с самосожжениями вызвало в Заволжье хлыстовщину. Кузьма открыто заявляет в Москве (1688-1689), что у него есть "подлинник, писанный перстом Божиим прежде сотворения мира". При таком настроении Кузьма и его последователи "все земное дело и суету отложили" и собрались на Медведице "для великого божественного дела". Они ждали, как "вся земля вострепещет и море восколеблется и преисподняя потрясется и нечестивые и непокорные все потребятся от земли" — царем Михаилом, под которым Кузьма разумел Христа. Естественно, что такого рода приготовления и ожидания не имели ничего общего с традициями Стеньки Разина. И сам Кузьма, и его покровители в Черкасске успокаивали мирных казаков, чтоб они "от того сбора не опасались и не мятежились, потому что тот сбор был о божественном писании, а не иного какого худого дела, и к Москве идтить намерения не было". Но эта самая несоизмеримость взглядов и полное различие целей, при всем видимом сходстве средств, должны были оттолкнуть от Кузьмы и немирных казаков, замышлявших настоящий мятеж. Дело Кузьмы для них было "страшным делом" и его сборище "нелепым советом". Вместо того чтобы готовить втихомолку бунт, Кузьма заявлял, что он никого не боится, "ни царей, ни войска, ни всей вселенной". А когда казаки пробовали урезонивать его простым практическим соображением: "Как-де вам идти, вас-де немного", Кузьма отвечал им на своем языке: "С нами будут небесные силы". Очевидно, сговориться с таким странным союзником было нельзя. Он мог быть скорее опасен, чем полезен для настоящего заговора. Вот почему казачий круг при первом требовании выдал Кузьму московскому правительству. Сборище на Медведице продолжало держаться до последней возможности. Но оно никуда не шло, а только отсиживалось. А когда после долгих усилий их окоп был взят приступом, большинство осажденных бросилось в огонь и в воду, то есть приняло мученический венец, как того требовало крайнее и последовательное направление раскола. Из

этого видно, что цель, с которой собрались на Медведице последователи Кузьмы, до конца оставалась все та же.

Итак, ни умеренное, ни даже крайнее течение в расколе не могло быть прямо и непосредственно использовано для социального протеста¹⁵. Это нисколько не помешало казацкой вольнице присоединить к старой разинской программе "старую веру" в качестве нового лозунга. "Старая вера" действительно сделала большие успехи между донским казачеством в восьмидесятых годах благодаря бежавшим из России раскольникам. В чуждой казацкой среде раскол сразу сделался простым политическим орудием в руках партии, враждебной Москве. Пока старцы на Чиру запасаются дарами, на всем Дону идет деятельная пропаганда вожаков антимосковской партии. Они добиваются постановления казачьего круга, чтобы в Черкасской церкви служить по старым книгам, и стараются даже прекратить моление за царя. Пока Кузьма собирает свой сбор на Медведице и пропагандирует свои апокалипсические видения, в Черкасске составляется формальный заговор, участники которого, не надеясь "очистить землю" с помощью "небесных сил", заводят сношения с Яиком и Тереком, с калмыками и "иными ордами". Они назначают даже срок, к которому донское казачество должно быть готово искать зипунов. Исход заговора (1688) и здесь оказался неудачным вследствие доноса. Но тогда как раскольники при неудачном исходе стремятся умереть за веру, бросаясь в огонь и в воду, заводчики казацкого бунта начинают с того, что отрекаются от "старой веры". Отношение их к расколу очень верно характеризует один из допрашиваемых казаков. Заговорщики, по его словам, решили "учинить бунт, как и при Стеньке Разине, и идти для воровства на Волгу и на Куму реку", а "приговоря к себе и иные орды, возмутить всем государством и идти к Москве... А старую веру они твердили и за нее стояли все — для того ж, умышляя, чем бы им не токмо что всем Доном, но и всем московским государством замутить".

Так стояло дело, когда начались "тяжелые забавы" Петра, "замутившие" и на самом деле "все московское государство". "Старая вера", в смысле протеста религиозного, оказалась непригодным орудием для политической борьбы. Но, может быть, как протест националистический она окажется более сильным и активным союзником?

Действительно, поведение Петра сильно оживило известные нам толки и подняло ослабевшие надежды. Опять появились в народе мнимые изветы царя Ивана Алексеевича, на этот раз с

¹⁵ Зачатки социального учения, может быть, и были у Кузьмы. "Мы, по созданию Божию, все братия", — пишет он с Медведицы к донским казакам, опровергая какое-то недоразумение. Но, конечно, ни возможности, ни надобности не было развивать это учение ввиду того, что "ничтоже нам не пособит века сего житие" — при предстоящем втором пришествии.

новым содержанием: "Брат живет не по церкви, знается с немцами". Опять заговорила и "голутьба" на Дону. Но, что всего важнее, новым фактором явились стрельцы. Чем дальше, тем становилось яснее, что им все равно пропадать, — и вместе с этим росло в их среде мужество отчаяния. "Как Стенька был Разин, вы нам мешали, — говорили казаки стрельцам, — а теперь мешать будет некому". "Как бы вы с одного конца, а мы с другого". У движения являются и вожди, характерный союз: брат знаменитых раскольников, пострадавших при Алексее, Морозовой и Урусовой (Соковнин) и стрелецкий полковник (Цыклер). Обстоятельства, по-видимому, складываются как нельзя благоприятнее. Царь, "уклонившийся в потехи" и покинувший правление на произвол судьбы, кончает тем, что совсем уезжает из царства за границу. Цыклера с стрельцами назначают в Таганрог, самый удобный пункт для соединения с казачеством. План действий создается сам собой. "Как буду на Дону у городского дела Таганрога, то, оставя ту службу, с донскими казаками пойду к Москве для ее разорения и буду делать то же, что и Стенька Разин". Заговор раскрыт, и заговорщики казнены. Но вызвавшее заговор настроение не умирает. Напротив, продолжительное отсутствие Петра дает ему новую силу. Царь "неведомо жив, неведомо мертв"; первая не пришедшая вовремя почта повергает самих бояр в "страх бабий"; стрельцов держат на границах, и знающие люди говорят им, что в столицу, к семьям, им уже больше не вернуться. При этих условиях мысль о походе на Москву приобретает над умами стрельцов принудительную силу: "Непременно идти к Москве, хотя бы умереть". Последней каплей является призывная грамота из Девичьего монастыря, от царевны Софьи. Решение принято моментально: "Идти к Москве". Цель тоже сама собой ясна. "Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закокснело; бояр побить, государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев. Послать ведомость к донским казакам". В своей челобитной, поданной при встрече с правительственными войсками боярину Шеину, кроме жалоб на "еретика-иноземца Францка Лефорта", хотевшего погубить "чин их, московских стрельцов, чтобы благочестию великое препятие учинить", бунтовщики передают волновавшие их слухи, что "идут к Москве немцы, последуя брадобритию и табаку, во всесовершенное благочестия испровержение".

"Брадобритие и табак" как доказательства "исповержения благочестия" — такова новая националистическая формула, сменившая — уже ранее первых мероприятий Петра — старый лозунг религиозного протеста: новопечатные книги. Стрелецкий поход к Москве 1698 г., решенный, как мы только что видели, как-то стихийно: таково первое и единственное (в самой России) вооруженное проявление нового националистического протеста. Петр далек от того, чтобы понять его внутренний смысл.

Он все еще борется с тенью, с "семенем Милославского", ничего не видя в движении, кроме продолжения старой династической интриги. Он не знает или не хочет знать, что стрельцы уже мало интересуются царевной Софьей и готовят престол его законному сыну. Перед его глазами стоят и заслоняют все другое старые, знакомые фигуры его личных врагов. И все то бешенство, на которое он только способен, поднимается разом со дна его души. Начинается ужасная бойня, которая разом освобождает Петра от единственной организованный опоры национализма. Он может теперь делать, что хочет. "Брадобритие и табак", с прибавлением еще нового платья, останутся главными предметами националистического протеста, как бы напоминая о том моменте, когда народное негодование сразу возникло и поднялось до своей высшей точки. За этим пределом — народное возмущение точно притупилось. Мы не видим новых лозунгов, а только частичные отдельные жалобы. Причина понятна. Стрельцкое войско было единственным социальным фактором, способным сыграть роль аккумулятора народных жалоб. Его настрояние перед неминуемой гибелью было единственной социальной силой, достаточно напряженной, чтобы дать этим жалобам исход в каком-нибудь коллективном действии. Наконец, и момент — пока еще Петр не взял правления в свои сильные руки — был единственным моментом, когда для такого действия открывался хоть какой-нибудь простор. Националистическая формула была отчеканена в *этот* момент в коллективном сознании и навсегда сохранила дату своего чекана.

У националистической оппозиции, впрочем, и после гибели московских стрельцов, оставался еще один ресурс: южные окраины. На этот раз она сама первая пошла навстречу и искала союза. Идея идти на Москву была на юге очень популярна. В список врагов, подлежащих истреблению, кроме бояр, воевод и приказных, занесены были и немцы, а скоро прибавлена еще новая категория: "прибыльщики" (доморощенные финансисты из дворовых и приказных, измышлявшие новые налоги в начале северной войны). Положительная сторона программы тоже включила в себя все исторически сложившиеся слои — разинский, раскольниковый, националистический и новейший фискальный. Но на Дону и на Волге сочетание этих элементов оказались различные. "Стали мы в Астрахани (1705) за веру христианскую, и за брадобритие, и за немецкое платье, и за табак... и за то, что стала нам быть тягость великая", — говорилось в тамошней прокламации. В такой программе оказывалось слишком мало разинского элемента. Не обнаружили астраханские бунтовщики и достаточной ловкости, и достаточного знания местных условий, которое могло бы зарекомендовать их в глазах казачества. Они, правда, недаром говорили, что такое "великое дело не просто начали". Действительно, за ними стоял целый съезд представителей недовольных из разных местнос-

тей: "со многих городов люди". Но эти "многие города" внутренней России ничем не могли помочь восстанию, кроме идейного сочувствия. О привлечении местных, всегда готовых волноваться элементов — организаторы подумали слишком поздно — и сделали это дело неумело. Выборный вождь движения, ярославский раскольник Носов, по-видимому, принадлежал к типу людей, лучше умевших "умирать" за веру, по его собственному выражению, чем за нее бороться. Это были, словом, на Волге не свои люди. Вот почему им и не удалось сплотить около себя низовой вольницы.

Главные союзники, которых особенно боялся Петр и на которых особенно рассчитывали как московские, так и астраханские стрельцы, — это были донские казаки. Посланное им, слишком официально, прямо в Черкасск, приглашение — было официально и отклонено. Донцы остались равнодушны к главной националистической стороне астраханской программы, на том основании, что "к ним до сих пор о бородах и о платье указу не прислано". Это не помешало донской "голутьбе" два года спустя восстать самостоятельно (под предводительством Булавина), выставив поводом, между прочим, и "еллинскую веру", в которую "вводят" добрых людей. Самая эта формулировка¹⁶ показала, однако же, что Дон более чем когда-либо остается чужд религиозно-национальному элементу протеста. Булавинская прокламация приглашала "атаманов-молодцов, дорожных охотников, воров и разбойников" "с ним погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить". Очевидно, Носов и Булавин говорили на разных языках.

Итак, все наличные силы, на которые мог бы опереться соединенный социально-националистический протест, были пущены в дело и разбиты поодиночке. Бесполезно обсуждать, каковы были бы шансы на успех в случае комбинированного действия. Для нас важно было отметить, что соглашение не могло состояться, помимо случайности и стихийности действий, также и потому, что и чувства, и взгляды, и задачи разных входивших в соглашение элементов были чрезвычайно различны между собой.

Наши наблюдения над оппозиционными элементами Петровской эпохи были бы, однако, неполны, если бы мы, помимо народной оппозиции, не упомянули еще и об оппозиции интеллигентной, сосредоточивавшейся в высшем общественном слое. Мы разумеем остатки титулованной аристократии, "родословных людей". Некоторые из них, как кн. Дм. Мих. Голицын и

¹⁶ Может быть, она вызвана жалобами астраханцев, что их заставляют кланяться "болванным кумирским богам", под которыми они разумели подставки для париков, найденные в домах служилых людей: характерный провинциализм, уцелевший от времен Олеария.

кн. Б. Куракин, были передовыми людьми своего времени, гораздо более образованными, чем сам Петр, поневоле пользовавшийся их услугами. Но Петр не пускал их на первые места и распространял на них то недоверие, с которым вообще относился, как мы знаем, к боярству. В свою очередь, и они с презрением смотрели на плебейские вкусы и привычки царя, были шокированы его семейными отношениями и не признавали его второго брака, негодовали на выбор сотрудников, как Меншиков, невежественных и надменных, которым тем не менее они принуждены были кланяться. Петровской бесцеремонности и неуважения к чужому достоинству они старались противопоставить крайнюю сдержанность и осторожность, по возможности устранившись от его оргий и предпочитая постоянному лицемерию царя — службу в провинции, в армии, за границей или просто житье у себя дома. "Что вы дома делаете? — спрашивал их Петр. — Я не знаю, как без дела дома быть?" — "Как не найти дела дома", — возражали они, думая про себя: "У тебя все готово, ты наших нужд не знаешь". Для Петра — это было только оправданием его отношения к этим "большим бородам, которые, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются".

Царевич Алексей был тем идейным центром, в котором соединялась народная оппозиция с аристократической. "Мне только здорова была бы чернь", — говорил он и в то же время считывал в числе своих друзей всех этих Долгоруких, Голицыных, Куракиных и т.д. "Отец твой хотя и умен, — говорили они ему, — но только людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше". При случае они не прочь были бы выступить вперед и, может быть, даже дать народному протесту ту организацию, которой ему больше всего недоставало. Но случая не представлялось, а царевич менее всего был способен сам создать такой случай. И титулованная аристократия таила в душе свою оппозицию, в ожидании лучших дней. "Кабы царица не смягчала государева жестокого нрава, нам бы было жить нельзя: я бы первый изменил", — шептал царевичу кн. Вас. Влад. Долгорукий и принимал на себя потом очень двусмысленную роль — как посредник между отцом и сыном. "Пожалуйста, меня не оставь", — говорил царевич в Сенате другому своему "другу", кн. Якову Фед. Долгорукому, перед бегством за границу. "Всегда рад, — отвечает князь Яков, только больше не говори со мной: другие на нас смотрят". При возвращении Алексея князь, в числе других сенаторов, подписывает свое имя под смертным приговором царевичу и присутствует при его предсмертной пытке в крепости, довольный хоть тем, что удалось спасти от пытки и казни сородича — князя Василья.

Аристократическая оппозиция принуждена была ограничиться разговорами по секрету. Но в этих разговорах реформа Петра подверглась беспощадной критике и намечался план дей-

ствий в будущем. Царевич Алексей только резюмировал все эти разговоры, когда излагал свою программу своей возлюбленной, Афросинье. "Я старых всех (сотрудников) переведу и изберу себе новых по своей воле; буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; кораблей держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу: буду довольствоваться старым владеньем". Итак, новая программа, принимаемая в общем реформу, отрицательно относится к трем пунктам ее — для Петра, конечно, самым важным: к армии, флоту и Петербургу. По счастью, известны не только эти выводы, но и те рассуждения, на которых они основывались. Двенадцать лет спустя после смерти Петра Фокеродт изложил эти рассуждения, частью от лица оппозиции, частью от своего собственного лица, когда был с ними согласен. Не может быть сомнения, что именно в этом кругу, о котором мы теперь говорим, Фокеродт слышал эти "интимные, конфиденциальные" беседы из уст лиц, слагавших Петру при "публичных разговорах" "пышные панегирики".

Недовольство непрерывными войнами, бессрочной военной службой и введением постоянной регулярной армии заставило аристократическую оппозицию формулировать свой собственный взгляд на задачи иностранной политики. — Прежние государи, — говорила недовольная знать, — тоже делали завоевания, но присоединяли лишь такие земли, которые были необходимы государству или откуда нас беспокоили разбойничьи набеги. Напротив, приобретения Петра ничего не прибавляют к нашей безопасности, а могут только вовлечь нас, без всякой пользы для России, в чуждые нам взаимные счеты и споры иностранных держав. Прежние завоевания были уже настоящими завоеваниями, из которых и государство, и служилые люди извлекали всевозможные выгоды; а петровские завоевания требуют только забот и расходов. Не только дворянство не получило от них никаких выгод и имений, а напротив, "лифляндцы у нас чуть не на головах наших пляшут, имеют больше привилегий, чем мы сами: нам только остается честь — защищать своею кровью и охранять на свой счет чужую нацию". Наше государство так велико, что расширять его нет надобности; нужно только заселить его погуше. На нас никто не нападает, да и географическое положение России таково, что чужеземное вторжение ей не страшно. В случае вторжения — страна, конечно, напряжет все усилия для защиты, как это было в смутное время. Но никакой, даже самый жестокий неприятель, хотя бы он опустошил все государство, не мог бы причинить нам и половины вреда, какой приносит постоянная армия. Таким образом, настоящая национальная политика должна состоять в том, чтобы сидеть смирно, в чужие дела не вмешиваться и ни на кого не нападать. Для обороны же достаточно и старой военной организации; а миллионы людей, которых стоила шведская война и

построение Петербурга, умнее было бы оставить дома, за сохой, где недостаток их слишком тяжело чувствуется.

Еще нелепее в такой стране, как Россия, стремиться играть роль морской державы. Для обороны границ флот не нужен, так как единственная страна, которая могла бы высадить свои войска с моря, Швеция, всегда предпочтет сделать это с суши; а высаженный морем десант необходимо окажется отрезанным, как только берега покроются льдом. Для нападения же флот бесполезен, так как шведские берега защищены скалами, а прусские — дюнами; нападать же на Данию нет ни расчета, ни возможности, потому что за нее вступятся другие морские державы. Не нужен флот и для торговых целей, так как вся русская торговля совершается на чужих кораблях. Таким образом, и потраченные на флот невероятные суммы денег лучше было бы оставить в кармане подданных.

Наконец, и перенесение резиденции в северную столицу более вредно, чем полезно. Не говоря уже о том, что и суд, и финансы, и вообще внутреннее управление, переполненное ворами и взяточниками, гораздо легче было бы контролировать из такого центрального пункта, как Москва, — и для внешней политики переселением в Петербург выигрывается немного. Правда, Швеция ближе из Петербурга, но уж чересчур, так как при малейшей оплошности новая столица рискует сделаться жертвой шведского нападения. Напротив, к Польше и Турции, за которыми, конечно, важнее наблюдать, чем за Швецией, — Москва ближе Петербурга. А ко всем остальным державам расстояние одинаково, так как и Москва, и Петербург одинаково удалены от Риги, "составляющей дверь, через которую теперь проходит в Россию все, что идет из Европы". Наконец, и торговля не может извлечь никакой выгоды из пребывания двора в Петербурге, так как потребление двора составляет самую ничтожную часть торгового оборота. Главный предмет его — громоздкое вывозное сырье, особенно нуждающееся в дешевизне расходов на перевозку: а при высоких петербургских ценах, вызываемых именно присутствием двора, эти расходы ложатся на товары очень тяжело; следовательно, двор лишает торговлю и тех выгод, которые могло бы дать ей местоположение Петербурга.

Вот систематизированное, может быть, несколько задним числом, изложение аргументов, какие могли иметь против реформы Петра государственные люди типа кн. Д.М. Голицына. В этом националистическом взгляде особенно бросается в глаза одна черта, которая, на первый взгляд, как будто противоречит националистическому характеру программы: это именно требование разоружения и мирной политики. Принято, наоборот, завоевательную политику считать необходимой составной частью национальной программы. Сюда, несомненно, подходит и завоевательная политика Петра: недаром и против Турции, и против Швеции он выдвигал русские "заветы истории". В этом соеди-

нении национально-завоевательной политики с официальной победой критических элементов мы усматриваем даже характерную черту переходного XVIII в. Несомненно, в реформе Петра критические элементы составляли лишь средство, а цель была вполне националистическая. Если так, то какой же смысл имело противопоставлять эту, по существу своему националистическую, политику какой-то другой, совершенно обратной политике в националистической программе? Уж не поменялись ли на этот раз местами национализм и критика?

В действительности здесь противоречие только кажущееся. Достаточно обратить внимание на то, как — совершенно по-ассирийски или, что то же, по старомосковски — смотрит националистическая оппозиция на задачи всякого завоевания вообще; как непонятен ей, с этой точки зрения, характер подчинения Лифляндии и сохранение ее привилегий — чтобы убедиться, что взгляд оппозиции на внешнюю политику безусловно националистический. Он не исключает ни дальнейших "необходимых приобретений" от Польши, ни новых завоеваний, "обеспечивающих от набегов" — со стороны Турции. Он просто только считает эти старые цели московской политики достижимыми и при помощи старых средств. Расширить же сферу дипломатических отношений России он, очевидно, боится, чтобы не сделать Россию орудием в чужих руках без всякой для нее пользы. Конечно, и увлечение Петра "бесплодной Ингерманландией", и его любезности перед остзейцами — этот взгляд считает отклонением от нормального хода русской политики. Тут есть, конечно, много здравых мыслей.

Однако же, и помимо этих спокойных, логических государственных соображений, есть еще причины, побуждавшие старую аристократию держаться подальше от Швеции, поближе к Польше и Турции, и мечтать о возвращении к военному устройству XVII в. Это классовые интересы ее и вообще русского дворянства, существенно затронутые новыми порядками. "Когда (этой знати) приводят в пример дворянство европейских стран, считающее величайшей честью военные заслуги, — говорит Фокеродт, — она обыкновенно отвечает: это только доказывает, что на свете больше дураков, чем умных людей. Умный человек не станет подвергать опасности здоровья и жизнь — разве только из нужды, за жалованье. Но русский дворянин с голоду не умрет, если только позволят ему жить дома и заниматься хозяйством. Даже тому, кто сам за сохой ходит, все-таки лучше, чем содату. А человек мало-мальски со средствами может себе всякое удовольствие позволить: еды и питья, платья, прислуги у него в изобилии; может он сколько душа захочет и развлекаться охотой и другими забавами предков. Нет у него, конечно, костюмов с серебром и золотом, нет великолепных карет, дорогой мебели, не пьет он тонкого вина, не лакомится чужеземными приправами. Но зато ведь он ни о чем этом и не зна-

ет — и уже потому не может чувствовать себя лишенным этого: он довольствуется своим домашним питьем и едой и чувствует себя лучше, чем любой иностранец с его пресловутой *bonne chère*. Что же может заставить уйти от этого покоя и удобства, подвергаться тысяче опасностей и трудностей, чтобы добиться какого-то чина?" Таково настроение российского "шляхетства", неволей "выволоченного" из насиженных дедовских гнезд на тяжелую солдатскую службу. Естественно, что его досаде нет границ. "Из-за какого-то честолюбия государя, а то так и министра, сосут кровь у крестьян, заставляя лично служить, да не так, как прежде — пока длится война, а много лет подряд, вдалеке от дома и семьи. Приходится влезать в долги, а имение отдавать в воровские руки приказчика, который так его обчислит, что если и посчастливится по старости ли по болезни получить отставку, так и то не приведешь хозяйство в порядок до самой смерти". Таково то настроение, при котором создаются националистические мечты о возвращении к старым порядкам. Таковы же и те чувства, которые лежат в основе ненависти русской знати к Петербургу. "Потребности русского дворянина, — замечает Фокеродт, — заключаются не в дорогих костюмах и мебели, не в гастрономическом обеде и иностранных винах, а в обилии пищи и питья местного происхождения, в многочисленной дворне и в лошадях. Все это в Москве он имеет даром или за очень дешевую цену. Провизию для него и для дворни, сено и овес для лошадей привозят ему поблизости, из своих же деревень в изобилии; продавать их все равно некуда; все и идет в свое же хозяйство. Напротив, в Петербурге, окрестности которого бесплодны, ему приходится везти провизию и корм издалека; лошади падают в дороге, обоз стоит, мужики разбегаются; или же приходится все покупать на чистые деньги, по страшно высоким ценам — что, при русском хозяйстве, приносящем доход больше натурой, чем деньгами, чрезвычайно отягчительно".

Итак, вот что особенно неприятно в реформе для русской знати и дворянства: разорение хозяйства, подрыв экономического благосостояния. Из всех мотивов недовольства — этот окажется самым сильным и прочным. Русский дворянин охотно примирится с самым пышным расцветом националистической внешней политики, — который еще впереди. Он еще скорее и охотнее войдет во вкус европейских мод и житейского комфорта. Но к чему его никогда не удастся приучить и против чего он всегда останется в оппозиции — это европейское чувство "военной чести", воспитавшее сословный дух европейского дворянства. Очень скоро после Петра он почувствует свою корпоративную силу. Но он воспользуется ею только для того, чтобы как можно скорее развязаться с почетной повинностью военной службы и вернуться назад, "домой", к себе в деревню. Из всех оппозиционных стремлений петровского времени это будет

единственное, которое найдет твердую точку опоры в собственной сословной силе и которое осуществится благодаря этому, *вопреки* воле правительства.

БИБЛИОГРАФИЯ

Кроме общих сочинений о царствовании Петра Великого: Устрялова, Соловьева, Брикнера, см. последнюю сводную работу К. Waliszewski, *Pierre le Grand* (Paris, 1897) — автор удачно популяризирует и обставляет фактическими доказательствами тот взгляд на Петра, который начинает в последнее время устанавливаться в русской литературе. Дневник Корба переведен в Чтениях Общ. Ист. и Др., IV (1866), I и III (1867). Записки Юста Юля — там же, II-IV (1899). Мемуары кн. Б. Куракина в *Архиве кн. Ф.А. Куракина*, т. I (СПб., 1890). Дневник камер-юнкера Берхгольца, т. I-IV (М., 1857-63). Записка Фокеродта издана Herrmann, *Russland unter Peter dem Grossen* (Leipzig, 1872), русск. пер. в "Чтениях", II (1874). Для характеристики религиозной и социальной оппозиции, кроме Соловьева и сочинений, указ. в "Очерках", т. II, в отделе о расколе, см. еще: П.С. Смирнов, *Внутренние вопросы в русском расколе в XVII в.* (СПб., 1898); В.Г. Дружинин, *Раскол на Дону в конце XVII в.* (СПб., 1889).

II

ДВОРЯНСКИЙ ХАРАКТЕР НОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА "СВЕТСКОГО ЖИТИЯ".

Наследство — Петра Великого в руках его фаворитов, аристократичекой оппозиции и дельцов-иностранцев. — Новая культура становится социальным признаком высшего общественного слоя. — Ее успехи при дворе: их значение и последствия. — Служебное положение и чин как средство определить социальное положение лица. — Табель о рангах, как носитель новой культуры. Медленность распространения этой культуры из столицы в провинцию — в рядовом дворянстве. — Иллюстрации Болотова. — "Завещание" Посошкова как материал для характеристики отживающего мировоззрения "подлых людей". — Критика лютеранства как главного источника нового "светского жития". — Проект искоренения раскола. — Препятствия для осуществления евангельской морали в собственном складе воззрений Посошкова и в окружающей среде. — Житейский компромисс как основание его морали. — Житейский кодекс шляхетства по руководствам для светского обращения. — Курс шляхетских наук. — Слабость критических элементов в новой культурной среде и ее последствия для будущего. — Теория "естественного закона" как первое мировоззрение, послужившее теоретическим оправданием "светского жития". — "Разговор о пользе наук и училищ" Татищева как первый опыт такого оправдания и первая проба русской интеллигентской мысли. — Счастье — цель жизни; удовлетворение потребностей — средство к ее достижению. — Отношение церковного закона к естественному. — Роль науки как средства познания естественного закона и возражения против нее. — Естественная теория общественных союзов. — Требование сознательного отношения к вере и жизни в "Духовной". — Неблагоприятные условия для распространения такого отношения в шляхетской среде. — Политическая идеология "естественного права" в применении к борьбе русских общественных групп при воцарении императрицы Анны.

В 1728 г. саксонский посланник Лефорт сравнил оставленное Петром наследство с кораблем, который носится по воле ветров, угрожаемый бурей, тогда как капитан и экипаж корабля спят или пьянствуют. "Непостижимо, как такой обширный механизм может действовать без всякой помощи и усилий со стороны. Всякий стремится только свалить с себя тяжесть, никто не хочет принять на себя ни малейшей ответственности, все жмутся к сторонке"... "Огромная машина пущена наудачу; никто не думает о будущем; экипаж ждет, кажется, первого урагана, чтобы поделить между собой добычу после кораблекрушения".

В этой яркой картине иностранный дипломат забыл одну существенную черту: это то могучее подводное течение, которое

направило корабль Петра в определенный фарватер и которое теперь по тому же фарватеру продолжало нести покинутое капитаном судно, несмотря на всю панику, охватившую экипаж, несмотря даже на явное желание части экипажа повернуть корабль против течения. Мы, которые знаем, что руль и компас совсем не оказали Петру таких огромных услуг, как думали его поклонники, — легко можем понять, как преувеличены были опасения за судьбу корабля, осужденного двигаться некоторое время без руля и компаса.

Конечно, этих опасений не могла не вызывать разнузданная борьба appetitов и честолюбий, которая происходила на глазах дипломатов и поражала их пестротой, неожиданностью и непорочностью результатов. Но, в сущности, и самая эта борьба совсем не была так бестолкова, как могло показаться со стороны. В ней был свой внутренний смысл. Несомненно, смерть Петра застала Россию врасплох: и это дорисовывает нам его реформу. Такова, какова она была, она и не могла быть завещана никому другому. Петр слишком отождествлял себя с своим делом, чтобы подумать о заместителе, и слишком погружен был всегда в интересы текущей минуты, чтобы останавливаться еще на мысли о будущем. Вот почему, умирая, он оставил на первых местах только покорных исполнителей, неспособных, а чаще всего и не желавших принять на себя никакой инициативы в государственных делах. В интересах самосохранения эти лично близкие к Петру люди должны были ухватиться за власть, которая была в их руках в момент смерти их покровителя. Но у них не было ни умственных, ни образовательных, ни моральных средств, необходимых для того, чтобы удержать захваченную власть за собой надолго. Вот почему — независимо от всяких случайностей придворной борьбы — рядом с ними, а потом и над ними должны были выдвинуться другие наличные силы, тоже знакомые нам из петровского времени. С одной стороны, это иностранцы-дельцы, заслоненные петровскими ничтожностями, с другой — отодвинутая Петром на задний план аристократическая оппозиция. Старая знать к тому же представляла и известную социальную силу; ее отношение к реформе, как мы знаем, совпадало в значительной степени с настроением среднего дворянства. Естественно, что аристократическая оппозиция — и сознательно, и самою силой вещей — должна была первая заменить во власти петровских фаворитов. Таков, действительно, и был смысл и исход первой партийной борьбы по смерти преобразователя. После короткого торжества людей, державших власть в момент смерти Петра, аристократической оппозиции удалось заставить их поделиться властью с собою. Фавориты и оппозиционеры заняли места рядом друг с другом во вновь учрежденном Верховном совете. Затем оппозиция провела своего кандидата на престол, сына своего злосчастливого вождя, царевича Алексея, и обеспечила себе законом верховные

права и полную равноправность членов в верховном правительстве¹. Наконец, тот же замкнутый круг высшей аристократии беспрепятственно провел уже совершенно искусственную кандидатуру (Анны Ивановны), с единственной целью закрепить навсегда свое участие в верховной власти путем органического закона. Только сопротивление нового влиятельного общественного слоя — дворянства — помешало осуществлению этой попытки и вместе с тем положило конец политическому преобладанию аристократической оппозиции.

Как же воспользовалась русская титулованная знать этими несколькими годами своей сравнительной силы? У нее была, мы знаем, своя программа, правда, больше отрицательная, чем положительная. Обстоятельства и личности государей (Екатерины I и Петра II) не особенно благоприятствовали энергическому проведению этой программы. Но они и не препятствовали ее предъявлению, тем больше, что значительная часть ее как раз и заключалась в *прекращении* энергической деятельности правительства по известным делам управления. Действительно, заботы о войске и особенно о флоте были тотчас же ослаблены или вовсе прекращены. Интерес к иностранной политике сохранился чуть не у одного Остермана, тщетно старавшегося поддержать хоть внешний вид регулярности в дипломатических сношениях. Мысль об облегчении податного бремени легче было высказать, чем осуществить. Вот почему, в ожидании податной реформы, эта часть оппозиционной программы была осуществлена лишь в своеобразной форме — накопления недоимок. Местные власти просто воспользовались ослаблением контроля над ними и стали продавать отсрочки во взыскании податей с плательщиков за чистые деньги, которые клали, разумеется, в собственный карман. Зато радикально пресечен был новый расход, который должен был лечь на население, — на содержание целой армии проектированных Петром областных чиновников. Эта реформа просто была зачеркнута, и русская провинция вернулась к допетровскому упрощенному воеводскому управлению. Та же судьба постигла и предпринятую Петром расквартировку армии. Еще усерднее проводилась та часть оппозиционной программы, которая вытекала прямо из интересов служилого сословия. Уже в 1726 г. разрешено было отпустить по домам две трети офицеров и рядовых из шляхетства, "чтобы могли привести свои деревни в порядок", а оставить при полках треть, "иноземцев и беспоместных, которые без жалованья прожить не

¹ В завещании Екатерины I было сказано, что во время малолетства Петра II Верховный Совет будет "иметь полную власть правительствующего самодержавного государя" и что он должен "множеством голосов вершать всегда и никто один повелевать не имеет и не может". Последними словами у Меншикова отнималось право, которым он пользовался со времени Петра, — издавать распоряжения, равносильные царским указам.

могут". Дворянство спешило воспользоваться этим условным разрешением, не дожидаясь, "когда конъюнктуры допустят", как сказано было в указе. Наконец, и ненависть к Петербургу нашла свое выражение в предположениях — вернуть внешнюю торговлю опять в Архангельск, а двор — переселить в Москву. Последний план и был осуществлен с воцарением Петра II. В Москву переселились с 1728 г. навсегда, и на стенах старой столицы красовались объявления, грозившие "бить кнутом нещадно" всякого, кто заговорит о возвращении в С.-Петербург. Переселяясь, тем не менее, в 1732 г. обратно в Петербург, императрица Анна принуждена была притвориться, что это делается только на время. Даже в самом образе жизни двора замечалась реакция. От "тяжелых забав" Петра двор возвращался снова к "легким забавам" царя Алексея и Феодора: к всевозможным видам охоты, к лошадиному спорту. В покоях Анны появились снова дураки и сказочники-бахари. Поговаривали и о восстании патриаршества. Может быть, только отсутствие подходящего кандидата и политическая ловкость Феофана Прокоповича помешали перейти от слов к делу. Как бы то ни было, Анна дала знати обязательство — особенно позаботиться о православии. И после победы над нею набожная по-старинному царица все же не позабыла об этом своем обязательстве. Первым приездом своим в Сенат она воспользовалась, чтобы объявить свой демонстративный указ 17 марта 1730 г., которым предписывалось аккуратное посещение церковных служб, обновление запущенных храмов и богаделен, восстановление крестных ходов, благодарственных молебнов в царские дни и панихид по усопшим предкам, молебствий и постов по случаю разных общественных бедствий, словом, всего, "как прежде при *деде и отце* нашем было". Упомянув Алексея и Ивана и тщательно умалчивая о Петре, Анна как бы подчеркивала реакционную тенденцию указа. А требуя присутствия архиереев во всех процессиях, она как бы формально отрекалась от солидарности с протестантскими тенденциями любимца Петра и своего политического единомышленника Феофана.

Однако же, эти и некоторые другие (см. ниже) уступки оппозиционной программе никого не могли ввести в заблуждение. В тот момент, когда они делались, роль аристократической оппозиции была уже сыграна. Место фаворитов и оппозиционеров Петра занял третий элемент — его дельцы. Правительство Анны было деловым правительством иностранцев. Его программа была деловой программой, имевшей целью не столько новое политическое творчество, сколько реставрацию всего упущенного и запущенного при двух предыдущих правительствах: и в войске, и во флоте, и в податях, и в иностранных сношениях.

Более энергичная деятельность во всех этих сферах государственной жизни, так же как и ликвидация областной реформы Петра, вызывалась просто соображениями государственной не-

обходимости. Соображения эти были те же, которые вызвали и самую реформу Петра. Потолкавшись о берега и посидев немного на мели, громоздкий государственный "корабль" двинулся потихоньку дальше, вниз по течению.

В сфере собственно культурной *внешности* реформы, которая нас теперь преимущественно интересует, даже и эти боковые толчки и остановки прошли совершенно незаметно. Аристократическая оппозиция ничего против этой внешности не имела. Установившаяся уже при Петре придворная рутинная пошла первая надежным проводником для этого рода культурных заимствований. Они изменили мало-помалу всю житейскую обстановку верхнего общественного слоя.

Действительно, уже в последние годы Петра петербургский двор, по отзыву иностранных наблюдателей, не уступал по внешности любому германскому. Прошли те недавние времена, когда пол в приемных покоях приходилось устилать на пол-аршина сеном, чтобы спасти его от вольных и невольных человеческих остатков пира. Смолкли десятки дураков и шутов, оглушавших гостей своим криком, свистом, визгом и пением, плывавших и сморкавшихся друг другу в лицо. Кабак, в котором еще Юль застал (1710 г.) примитивные попойки Петра, превратился в церемонный придворный званый стол, с более или менее строгим этикетом, и в официозный *jour-fixe*, поочередно назначавшийся у более видных членов петербургского общества, — в петровскую "ассамблею" двадцатых годов. Случалось, правда, и в это время Петру, по старой привычке, проплясать по столам под пьяную руку или старику Бутурлину, "князю-папе", с высоты своего бахусового трона открыть не тот кран, который следовало. Но эти милые неожиданности уже являлись исключением, извинявшимся старикам и не подходившим к установившемуся общему тону². Молодежь спешила от стола к танцам и состязалась во всевозможных галантностях. С этого времени, по выражению кн. Щербатова, "страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать". Голштинский камер-юнкер Берхгольц, побывавший и в Париже, и в Берлине, находил, что петербургские придворные дамы двадцатых годов не уступают ни немкам, ни француженкам — ни в светских манерах, ни в умении одеваться, краситься и причесываться. Вероятно, им уже не приходилось в это время по три ночи спать сидя, чтобы не испортить прически, как это случалось в старой столице, где на весь петровский бомонд была одна только "убирательница волос". Старинная кичка царицы Прасковьи при петербургском

² Исключение составляла и пьяная толпа "славильщиков", "неусыпаемая обитель" Петра, набранная из людей всякого происхождения, ездившая с Петром по-прежнему каждые святки славить Христа по Петербургу и совершавшая всевозможные бесчинства.

дворе бросалась в глаза как диссонанс. А чтобы встретить молодую и знатную даму без модной прически, нужно было ехать в Москву. В Петербурге русский костюм стал употребляться только для маскарадов. Чем дальше, тем больше новые придворные костюмы прогрессировали в роскоши и дороговизне — и тем чаще приходилось менять фасоны. Простая обшивка галунами скоро стала казаться чересчур бедной. Явилось золотое и серебряное шитье, все более наполнявшее костюм. Сукно было заменено шелком, бархатом и даже парчой. Для манжет стали употребляться дорогие кружева, для отделки платья — жемчуг, для пуговиц бриллианты. Являться часто ко двору в одном и том же костюме стало считаться неловким. Немудрено, при этих условиях, что уже в середине XVIII в. "часто гардероб составлял почти равный капитал с прочим достатком" придворных людей (Щербатов).

Но требования новой "людскости" шли гораздо дальше простой перемены манер и костюма. Люди, желавшие играть роль, не могли ограничиться тем, что являлись сами при дворе. Они должны были быть готовы принять двор у себя. Петр, у которого лично не было никакого двора и который не любил расходов на представительство, переложил эти расходы на окружающих. Принимать и угощать его и его компанию — для известного круга лиц было обязательно. В Петербурге двадцатых годов — это обязательство было регулировано и регламентировано (правилами об "ассамблеях"). Таким образом, старинный русский дом, открытый прежде без зову только для близких родственников и никогда не выдавший даже званых гостей в часы семейного обеда и ужина³, теперь должен был открыть свои двери для всех лиц известного общественного круга. Знаменитое хлебосольство русских бар, при всей его национальной своеобразности, было, таким образом, продуктом нововведенной "людскости" эпохи реформы, наравне с домашними оркестрами, тешившими гостей за столом, картами, составлявшими послеобеденное развлечение гостей постарше, и танцами, занимавшими гостей помоложе и сделавшимися главной страстью петербургских дам и барышень.

Для того чтобы "держать открытый стол", нужно было иметь соответственный погреб, кухню и обстановку. "Простой" домашней водкой уже Петра нельзя было удовлетворить. Он требовал "приказной" (голландской анисовой) или "гданской". Приходилось выписывать из-за границы и вина, "эрмитажное", "венгерское". Вскоре появилось и "бургонское" и, наконец,

³ Традиционное угощение почетного гостя чаркой вина с поцелуем хозяйки дома только подчеркивает замкнутость старой семьи. Так, недавно у христиан Балканского полуострова женщина молча подносила гостю на подносе ракию, кофе или варенье во время церемонного визита и удалялась, поцеловав ему руку, если он старик.

"шампанское". Иностранное вино подавалось, конечно, на первых порах только для гостей. Хозяин приказывал принести запечатанную четвертную бутылку, наливал гостям по рюмке и, тщательно запечатав, отсылал опять бутылку в погреб. Однако эта старомодная бережливость уцелела не надолго. Уже на петровских праздниках иностранное вино лилось рекой. В середине века шик состоял в том, что под приборы на званом обеде клались целые каталоги вин и каждый спрашивал из хозяйского погреба, какое хотел. Одновременно с этим прогрессировала и кухня. Хозяева старались перещеголять друг друга "чужестранными приправами" и десертом. Кабинет-министр Елизаветы, Черкасов, первый полакомил Петербург свежим виноградом; но гр. П.И. Шувалов поразил придворную публику ананасами и бананами. Поварам платили в середине века по 500 руб. в год, кроме содержания (3,5 тысячи до революции). Изменилось и убранство комнат. Оставлять стены без обоев, довольствоваться самодельной мебелью из простого дерева и освещать комнаты салными свечами считалось уже неприличным. Для обоев стали употреблять штофные и шелковые материи; на стенах явились зеркала; двери и потолок украшались позолотой. Мебель обязательно должна была быть английская, красного дерева. Свечи употреблялись восковые, и притом не желтого, а белого воска. Соответствующие изменения видим и в одежде прислуги, и в выездных экипажах.

Раз заведенная, вся эта новая обстановка поддерживалась и прогрессировала вовсе не вследствие одной только потребности в комфорте. Обстановка отражала социальное положение лица, если оно уже было составлено. Она закрепляла это положение, если его еще не было и если требовалось его создать. "Человек делался почтен по мере великолепия его жития и уборов", как выразился Щербатов. Другими словами, соперничество в роскоши было своего рода местничеством, в котором, однако, побеждали далеко не самые родовитые. При целом ряде женских правлений, как следствие фаворитизма и родственных связей, появилось множество новых шальных состояний, целиком употреблявшихся на поддержание той придворной жизни, из которой они возникли. Сын знаменитого фельдмаршала Б.П. Шереметева, одного из членов молчаливой петербургской оппозиции и первого богача в России, мог еще держаться на высоте положения и даже заслужить "особливое уважение" Елизаветы своей роскошью, которую он поддерживал поневоле, и своей готовностью во всякое время угостить императрицу с какой угодно свитой. Но и ему приходилось пасовать перед новым аристократом, каким-нибудь "графом" И.Г. Чернышевым, насаждавшим соп а тоге новые заграничные моды за счет жены, родственницы императрицы и тоже "графини" Ефимовской; и за счет казны, продавшей ему за 90 тысяч медные заводы, им же перепроданные казне обратно, в разоренном виде, за 700 тысяч.

Другой граф императрицы Елизаветы, П.И. Шувалов, не имел открытого стола и поддерживал свое положение иным способом. Он "находил нужные суммы для удовлетворения роскоши императрицы" в казне, как первый финансист того времени. И он, имея 400 тысяч руб. ежегодного дохода, ухитрился накопить на себе больше миллиона казенного долга. Очевидно, что старая знать никакой "домашней экономией" не могла добыть средств на подобные безумные траты. Принужденная тянуться за случайными людьми, она только "изнуряла свое состояние" и зачастую кончала полным разорением. Таким образом, естественным последствием колоссальных затрат на эту новую обстановку, "превосходящую", по компетентному свидетельству герцога де Лириа (1729), "своей роскошью и великолепием даже самые богатейшие дворы" Европы, была полная перетасовка в составе высшей придворной аристократии, а также и необходимость постоянно подновлять ее случайными людьми и подкреплять случайными состояниями.

Нового тут, в сущности, не было ничего. Это было только более широким, чем прежде, применением старого, известного нам принципа, по которому всякий человек в Москве "велик и мал живет (то есть бывает) государевым жалованьем". После самого дворянского из русских царствований император Павел еще мог выразить эту же самую мысль в утрированной форме: "У меня тот велик, с кем я говорю и пока я с ним говорю". Петру Великому только удалось найти средство точно измерить "государево жалованье", сообразуя с этим и меру личного достоинства каждого, и меру его участия в делах новой культуры. Этим изобретением была петровская "табель о рангах".

Иностранцев, привыкших к твердой социальной группировке, к резко проведенным социальным граням, всегда смущало и удивляло отсутствие общественных перегородок (кроме установленных самой властью) в русском обществе. "Русские сановники, — замечает Юль (1709), — весьма невыдержанны в соблюдении своей чести и достоинства. То их офицеры, до бригадиров включительно, ухаживают за ними, как лакеи, прислуживают и наливают им вино; то они обращаются с ними запанибрата, как с товарищами... От обеда до поздней ночи сановники могут с самыми младшими своими подчиненными курить, пить и играть в карты на деньги, что у нас считалось бы неприличным и для простого капрала". Это безразличие в общественных отношениях между людьми разного социального положения было и осталось источником простоты и человечности отношений. Но оно имело, однако же, и свою обратную сторону, особенно чувствовавшуюся в тогдашней России. За отсутствием выработанного кодекса социальных отношений каждому члену этого бесформенного общества приходилось самому создавать свое личное положение. Он измерял при этом степень высоты или низменности своего места на общественной лестнице — тою степенью

надменности или низкопоклонства, которую он мог или должен был обнаружить в своих сношениях с низшими и высшими. При этом самая необходимость быстрых переходов от надменности к низкопоклонству лишала всякой возможности выработать в себе ту "выдержанность", "ровность" обращения, которая для всякого иностранца была чем-то само собой разумеющимся, необходимым ингредиентом сановитости и культуры. Чувство личного достоинства, которое могло бы служить общественной гарантией против насилия, есть слишком тонкий продукт культуры. Заменявшее его чувство сословной чести, как скоро увидим, выработалось у нас только ко второй половине XVIII в. и только в привилегированном сословии. За отсутствием того и другого служебное положение лица оставалось единственным основанием для определения степени его "чести". На этом основании классифицировалась "честь" и таксировалось "бесчестие" старых "чинов" московского государства. К нему же сводилось и "утягивание" друг друга местническими "случаями". Но классификация по московским классовым группам была чересчур обща и ничего не могла дать для определения взаимных отношений людей *одного и того же* "чина". А это-то и было особенно нужно. Оценка же местнических "случаев" всегда могла оказаться более или менее случайной и субъективной. Ввиду этого являлась необходимость найти какое-нибудь объективное основание для определения взаимных отношений, особенно между членами высшего общественного слоя. Но что могло быть объективнее и нагляднее самой занимаемой должности? Естественно было прийти к мысли о замене иерархии лиц — иерархией должностей. Любопытно, что первая попытка установить такую иерархию должностей сделана была вместе с отменой местничества (1680 г.), очевидно, на это смотрели как на лучший, более совершенный способ достигнуть той же самой цели. Иерархия устанавливалась только для тех высших должностей, которые могли быть доступны людям высших — думных чинов: боярам, окольным и думным дворянам. Но ведь только здесь и сосредоточивались местничавшиеся между собой "родословные" люди. Все возможные должности, которые эти люди могли занимать, были разделены на 34 "степени", и каждой должности присвоен особый титул — феодального или византийского происхождения. Двенадцать первых мест в Боярской думе должны были принадлежать "наместникам" важнейших городов: при этом наместник владимирский считался в 3-й степени, новгородский — в 5-й, казанский в 7-й и т.д. Промежуточные степени распределены были между важнейшими придворными чинами, получавшими византийские титулы "доместиков", "стратопедархов" и т.д., а также между начальниками военных округов. Попытка осуществить этот проект не удалась, так как патриарх увидал в нем опасность для самодержавной власти. Он опасался, что наместники главных городов, "велико-

родные люди”, со временем ”обогатеют и огордеют”, отступятся от московского самодержавства, разорят единовластие и разделят Россию ”себе в особенность”.

Мы знаем отношение Петра к ”великородным людям”. Когда 42 года спустя появилась его табель о рангах, она, на первый взгляд, преследовала совершенно другие и даже прямо противоположные цели сравнительно с проектом 1680 г. ”Стали не роды почтенны, но чины и заслуги и выслуги”, — с горечью замечает кн. Щербатов о действиях табели. Как известно, по этой табели все, дослужившиеся до первых восьми ”рангов”, ”в вечные времена лучшему старшему дворянству во всех достоинствах и авантажах равно почтены быть имеют, хотя бы они и низкой породы были”. И однако, несмотря на этот бросающийся в глаза контраст между подвижной, открытой снизу для всех лестницей петровских ”рангов” и замкнутым кругом 34 ”ступеней”, предоставленных одним ”родословным людям”, несомненно, что, в сущности, цель тех и других была одна и та же. Этой целью было определить взаимное положение членов ближайшего к правительству общественного слоя. Состав этого слоя мог очень резко перемениться. Петр мог набрать себе в ”царедворцы” кого угодно. Но круг ”царедворцев” продолжал, однако же, существовать. И чем необычнее становился его состав, тем он более нуждался в новой правительственной санкции. Чем в большей степени этот состав был продуктом ”государева жалованья”, тем необходимее становилось привести результаты отдельных пожалований в одну цельную систему⁴. Табелью о рангах Петр санкционировал совершившийся факт. О том, насколько демократизируются его ”ранги” — и само ”лучшее старшее дворянство” — дальнейшим автоматическим действием табели, он едва ли особенно задумывался.

О чем Петр заботился и что действительно было нужно в тот момент, это создание такого общего знаменателя, к которо-

⁴ Социальный состав петровского придворного круга мы можем проследить, например, по списку участников маскарада 1723 г., длившегося целую неделю. Из 138 участвующих можно насчитать всего около десятка старых титулованных аристократов и столько же членов старых дворянских фамилий, частью пожалованных новым титулом ”графов”. Обе группы вместе равняются числу иностранцев, достигших высших чинов на русской службе. Вся остальная масса (97) — авантюристы, дельцы и служаки, сделавшие карьеру при Петре и, может быть, на целую треть вышедшие не из дворянства, а из приказных (секретари, с 1724 г. велено и их набирать из дворян). Напротив, по табели о рангах состав масок оказывается вовсе не таким пестрым. За исключением нескольких молодых людей знатных фамилий (доступ которых ко двору тоже предусмотрен табелью), все остальные маски облечены более или менее высоким ”характером”, сообразно которому и занимают место в маскарадной процессии и в отдельных группах масок. Это — президенты, советники, ассессоры и секретари коллегий и других высших присутственных мест (около 85); генерал-лейтенанты, генерал-майоры, бригадиры, полковники, поручики и подпоручики гвардии — около 45 чел.

му можно было бы легко привести каждого из выдвинутых им сотрудников. За отсутствием такого общеобязательного масштаба, петровские карьеристы местничались ничуть не менее "великородных людей XVII в. Еще в год издания "Табели о рангах" обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев попрекал сенатора М. Шафирова тем, что тот "жидовской породы, холопа боярского сын", а последний отвечал ему, что он потомок "площадного писаря и скорняка", а отец его пахал землю. Теперь "ранг" все покрыл. Обиженный братом Шафирова, вице-канцлером, советник Степанов в том самом году (1722) уже заявлял: "Я о своей персоне не говорю, только характер канцелярии советника не допускает не токмо побои, но и брани терпеть". Правда, житейская практика показала, что и петровский "чин" возвышает только над младшими, но не мешает самоуправству старших. Дворянин в чинах мог сколько угодно бить простого дворянина и бесчинствовать в собственном дворце императрицы Анны, и сам московский главнокомандующий и родственник царицы П. Салтыков, "не смел ничего сделать" с ним — "для того, что он имеет чин генерал-поручика". Кабинет-министр мог невозбранно избить простого секретаря и отвечал лишь за то, что избил его в доме герцога курляндского, чем нанес "бесчестье" последнему.

Как бы то ни было, за неимением лучшего, масштаб социального положения "служителей" был найден. Петр мог при всех придворных церемониалах и богослужениях предписать каждому знать свое место: а кто займет место выше своего ранга или уступит его лицу низшего ранга, подвергался штрафу в размере двухмесячного жалованья. Петр, правда, оговорился в табели, что эти новые правила местничества устанавливаются лишь для официальных собраний, "но не в таких случаях, когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся", или в публичных ассамблеях. Но нововведение слишком хорошо отвечало на этот раз общественной потребности. "Чин" надолго сделался основой, на которой строились все общественные отношения.

"Чин" не был, конечно, самостоятельной силой, способной доставить или преградить доступ ко двору. "Табель о рангах" была достаточно демократична, чтобы допустить пожалование генеральским чином повара императрицы Елизаветы, но не настолько демократична, чтобы открыть путь ко двору всякому честному служаке. При действии "Табели", как при всяком другом порядке, можно было служить и не дослужиться и можно было выслужиться, не служивши. Но после личных связей при дворе чин был, несомненно, вторым проводником новой культурной обстановки. Он соединял двор с ближайшим ко двору социальным слоем. То социальное значение, которое новая обстановка имела для придворного круга, она скоро приобрела и здесь. Уже Петр заботился о том, чтобы культурная внешность соответствовала социальному положению, создаваемому

рангом, — "понеже знатность и достоинство чина какой особы часто тем умалывается, когда убор и прочий поступок тем не сходствует". Аргумент этот был так хорошо усвоен, что от поощрений правительство скоро перешло к системе ограничений. При Елизавете было определено, в какую цену материи имеют право носить лица различных рангов (1742): первые пять рангов — не дороже 4 руб. за аршин, следующие три — не дороже 3 руб., остальные — не дороже 2 руб. Манифест 1775 г. регламентировал еще детальнее характер выездных экипажей. Только первые два класса могли ездить шестеркой с двумя форейторами, следующие три без форейторов, дальнейшие три — только четверкой, остальные парой, а простые дворяне — верхом или в одноколке и санях на одной лошади.

Итак, в придворных и близких к придворным чиновных кругах общества первое употребление, сделанное из европейской культурной внешности, было узко практическое. Успех новой обстановки гарантирован был здесь тем социальным значением, которое она приобрела как показатель известного общественного положения. Но за пределами этого круга стояло все столичное дворянство. Его участие в придворной жизни Петра сводилось, как мы знаем, к угощению высшего общества гвардейской сивухой, от которой бегали фешенебельные посетители Летнего сада. Какова же была судьба новых культурных элементов в этой рядовой дворянской среде?

В первые полвека реформы русское рядовое дворянство очень медленно входило во вкус европейской культуры. Кое-кому из этих дворян поневоле пришлось побывать и за границей, по царскому наряду. Они возвращались, слегка обчищенные и обтесанные. Но, попав в старую среду, в прежнюю семейную обстановку, они быстро отделялись от культурных привычек и погружались в "прежнее свинство". "Кто видел их за границей, через год не мог бы уже узнать их", — замечает Фокеродт. Не оставляла прочных следов даже и служба в русском "регулярстве", от которой так страдали дворяне. Из одного указа 1726 г. мы узнаем, что, едва вернувшись по домам, дворяне спешили запустить бороду и надевали старое русское платье. Указ предписывал всем таким стетавным и отпускным дворянам "содержать себя всегда в чистоте, как в полках служили"; платье носить немецкое, со шпагой; "буде же кто немецкого сукна за скудостью купить не может, чтобы делали, хотя из русского сермяжного сукна с обшлагами другого цвета, окрася какую похочет краскою". Таково начало дворянских мундиров. Бороду также приказывалось брить; "а ежели где в деревнях, — предусмотрительно прибавлял указ, — таких людей, кто брить умеет, не случится, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды".

Несмотря на угрозы штрафами и батогами, указ плохо исполнялся. Впрочем, скоро, при Анне, разбредшихся по дерев-

ням дворян вернули опять в полки. Усадьбы стояли пустые; в уездах остались лишь дряхлые и больные старики да женщины. Ни те ни другие, конечно, не могли насадить в уездах новую дворянскую культуру. Условия коренным образом изменились лишь во второй половине века.

В ожидании этого времени только в столичном дворянстве начало появляться сознание, что европейская внешность может иметь и для него никак не меньшее социальное значение, чем она имела для правящих кругов. На самом деле значение это должно было быть огромно. Новой культуре суждено было положить ту резкую грань между "благородством" и "подлостью", которая послужила основой и санкцией дворянского сословного самосознания. Но, оригинальным образом, к этому самосознанию привело русское дворянство не его положение в деревне, а его положение в столице. Дворянство сперва почувствовало себя политически сильным, а потом употребляло эту силу для укрепления своего экономического преобладания и сословной солидарности. Его культурное положение, таким образом, явилось лишь последствием той роли, которую оно сыграло как "опора власти".

Известно, как эта роль была сыграна. В первые же 16 лет по смерти Петра дворянство четыре раза участвовало в государственных переворотах, каждый раз являясь все в более и более активной роли. Из роли простых статистов (при воцарении Екатерины I) дворянская гвардия переходит в роль восстановителей самодержавия (при воцарении Анны), затем дает свою помощь для свержения регента (Бирона) и, наконец, сама свергает правящего государя-младенца (Ивана VI), — в ожидании, пока свергнет взрослого (Петра III). О плодах этой деятельности речь будет ниже.

Поскольку влияние столичного дворянства могло проникать в провинцию, уже и в первой половине века мы замечаем кое-какие признаки усвоения европейской культурной внешности. Известный мемуарист Болотов оставил нам изображение двух провинциальных дворянских обществ 1750-х годов, которое как нельзя лучше может иллюстрировать последовательный ход культурных заимствований в первой половине XVIII в. В псковской деревне своего зятя Неклюдова — Опанкине Болотов встречает общество, "которому светское обхождение не менее знакомо, как и петербургским жителям". Сестра гордится его светскими талантами, его костюмом, разговорами, когда он приезжает к ней из Петербурга. И она же приходит в ужас, когда одичалый, растерявши все свои "поступки, и поведение, и обхождение", в "смешном, неловком и непристойном" платье, он является к ней из своего каширского захолустья — Дворянинова. Ей "стыдно показать соседям" "деревенского пентюха". Соседи эти проводят деревенский досуг в том, что поочередно ездят друг к другу всей компанией в гости. Один из соседей во-

зит с собой и музыку — две-три скрипки, на которых его собственные лакеи изображают польские менуэты и контрадансы. После обеда, продолжающегося несколько часов, с обильными возлияниями — "хотя бы и не в деревне", — барыни засаживаются играть в карты, в модную игру "памфел", барышни и кавалеры весь вечер танцуют, а отцы семейств, "держа в руках то и дело подносимые рюмки, упражняются в разговорах". Но, начавшись по-петербургски, — если не по-европейски — вечер кончается чисто по-русски. Подгулявшие господа хотят плясать сами. И деликатные "менуэты" и "контрадансы" молодежи сменяются более знакомой зрелому поколению русской плясовой, в которой принимают участие и дамы, бросив свой "памфел". Когда истощается и этот ресурс, компания переходит к русским песням: зовут девок и лакеев, которые и занимают господ до самого ужина, шокируя молодежь. У ней теперь свои модные любовные песенки, еще не перешедшие в распоряжение лакеев и горничных.

До такого "светского" образа жизни далеко мелкопоместным соседям каширской деревни Болотова — доживающим свой век сверстникам его отца и матери. Ходят они в старинном платье, "долгополых кафтанах" с "ужасной величины обшлагами", друг к другу почти не ездят. Да и не к кому ездить, потому что все местное дворянство — на службе. А когда соберутся, то только пьют или ведут практический разговор про местные тяжбы, причем самым ловким сутягой и знатоком приказного крючкотворства оказывается местный батюшка. Двенадцатилетний Болотов с своим знанием немецкого языка и арифметики, с начатками французского и географии кажется в этой компании чудом учености. И самое жильё здесь остается, каким было до реформы. Семья ютится в двух теплых комнатах огромного дома. Холодный зал с почерневшими от времени деревянными стенами, потолками и корявым дубовым полом, с целым иконостасом у одной стены, с деревянными лавками по стенам и простым деревянным столом вместо всякой мебели — открывается только для молебнов по большим праздникам. А между тем у псковского зятя уже есть и мебель, а стены покрыты холстом, разрисованным масляными красками.

Так намечаются пределы и степеней распространения новой культурной внешности в первой половине XVIII в. В пределы эти входят: двор, высшее чиновничество, столичное и отчасти провинциальное дворянство. Вне пределов остаются духовенство и приказные, горожане и крестьяне. Всем этим общественным слоям суждено надолго остаться чуждыми новой культуре — и не потому только, что мировоззрение этих "подлых" людей принципиально противоречит мировоззрению "благородных", а также и потому, что одни "подлы", а другие "благородны". Другими словами, вскоре после своего водворения на Руси но-

вая культура становится социальным признаком привилегированного сословия.

В момент решительного культурного и социального разрыва между "благородством" и "подлостью" нелишне будет остановиться и рассмотреть внимательнее, в чем именно состоит разница обоих мировоззрений. Для характеристики того и другого мы выберем два литературных произведения, относящихся к одному и тому же времени: "Завещание отеческое" Посошкова, оконченное, по-видимому, в 1719 г., и "Юности честное зерцало", появившееся первым изданием в 1717 г.

Какой социальный круг имеется в виду Посошковым в его "Завещании", видно из перечня тех общественных положений, в которые ставит поочередно отец своего сына, чтобы преподать ему соответствующие советы. Сын Посошкова (или его читатель) может сделаться купцом, крестьянином, работником, нищим, может пойти в причетники, попы, монахи, удостоиться архиерейства и даже патриаршества, попасть в приказные и сделаться судьей, поступить в солдаты и выслужиться до офицерского чина. Одного он не может: сделаться помещиком и дворянином. Итак, автор — сам дворцовый крестьянин — пишет правила добродетельной жизни для "подлого состояния". Однако и этот круг настолько широк, что в начале XVIII в. и в нем уже не существует полного единства мировоззрения. Восстановить это единство — является самым горячим желанием автора, которое, однако, уже тогда оказывается неосуществимой мечтой. В пределах социального кругозора Посошкова оказываются налицо все возможные виды и оттенки религиозного мировоззрения. Масса погружена в двоеверие, недалеко ушедшее от язычества. Из верующего меньшинства — многие ушли в раскол. Среди приказных и горожан начинает распространяться протестантизм и сектантство ("лжехристовщина" и "лжемоисеевщина"). Наконец, на крайнем пределе доступного Посошкову круга наблюдений возникает призрак "светского жития", совсем уже ничего не имеющего общего с "евангельским". Люди "проводят время до полуночи, а то и до света в скакании и танцевании без сна; пьют с музыками и в карты играют". Таков тот вид, в каком представляется "подлым" секуляризация быта. Среди таких уклонений православному человеку предстоит трудная задача проложить себе средний путь, не увлекаясь ни "на шую страну" народного язычества, ни на "мнимое десно" раскола и сектантства.

Секуляризация, "светское житие", очевидно, вовсе выходит из строго религиозного кругозора Посошкова, так как оно не опирается ни на какое религиозное мировоззрение. Хотя Посошков и формулирует в одном месте своих писаний тот практический "атеизм" (нет ни Бога, ни души, ни бессмертья, ни вечных мук), на который могло бы опереться "светское житие" — но эта формулировка так чужда его складу мысли, что

с ней он не находит ни средств, ни желания бороться. Для него этот "атеизм" есть скорее логический вывод, своего рода *reductio ad absurdum*, которым он грозит протестанству, чем действительный противник, с которым он считал бы нужным полемизировать. Настоящего противника он видит в породившем подобный вывод, но все же *религиозном* мировоззрении. За "атеизм", как и за "светское житие" отвечает Посошкову Мартин Лютер. Это он, сугубый еретик, ища оправдания своему "скверному житию", "от презельной ярости в блуде" изобрел широкий, "легкостный" путь жизни и увлек на него "сластолюбцев". Все, что есть хорошего у лютеран, все их "житейские уставы" — изобретены до Лютера. "Издревле, до Мартинова жития, некто был у них пришлец или из них выродок; он уставлял у них гражданские уставы, как купеческие, так и ремесленные, и воинские, и судейские". Весь же строй жизни основан Лютером — на светском разуме", а не на "духовном". Подражать ему — значит идти прямым путем к гибели. "Святые апостольские последователи жить по-вашему не умели, — заявляет Посошков противникам, — вместо ренского пили воду мутную; вместо златотканых одежд носили рубище; вместо постелей пуховых спали на голой земле; вместо светлых свеглиц жили в темных вертепах; вместо французских танцев проводили ночи во всеобщем бдении; вместо множества денег имели множество вшей; вместо музык и веселия — плакали день и ночь о грехах".

Оставаясь на почве религиозной, какие доказательства можно привести в пользу "светского жития"? Посошков знает только одно — не вычитанное, а подслушанное у иноземцев — и обрушивается на него со всем жаром своего православно-негодования. "По Мартинову толкованию: еже есть на свете, то все чисто и свято, и они все святы, и греха ни в чем нет"; "все свои грехи причитают к Божьей вине, а не к своей, говоря: таковых де нас Бог сотворил". О безумие, о бесстрашии, протестует Посошков против лютеранского фатализма; значит, "по вашему лютерскому высокоумию ни за какую вину наказания чинить не следует?" Неправда, настаивает он: "Бог сотворил человека самовластным. Идти скорбным или веселым путем — в том воля наша". "Хотим здесь веселиться, — там возрыдаем; а хотим там веселиться, подобает нам здесь нужду претерпеть" (ср. спор Феофана с Стефаном Яворским). В связи с этим взглядом на свободу воли, очевидно, находится и вражда Посошкова к астрономии, служившей у нас первым проводником детерминизма. Особенно ненавистно автору учение "проклятого Коперника, Богу суперника", хотящего быть мудрее самого Соломона. Он превратил солнце в Бога, "а земле с людьми" повелел "служить солнцу" ежедневным обхождением...

Подобно московским начетчикам XVII в. Посошков признает одну науку или, что то же, одно искусство: "как жить душе-

полезно", чтобы достигнуть вечного спасения. Но на этом пути встречает его другая опасность, другой вид "мнимого десна" или "ложного благочестия" — раскол. Уже из сделанных выписок можно было заключить, что Посошков не чужд сам "недугу раскольничьей болезни". И он откровенно признается, что "изначала хромал" ею (в конце XVII в.; Посошков родился в 1652 г.). Некоторые раскольничьи мнения он удержал и впоследствии. Но, отказавшись от главных, он стал отчаянным врагом раскола, тем более непримиримым, чем яснее понимал силу раскола над современными умами и чем ближе сам стоял к духу раскола. По его мнению, если этих "плевел" не "истребить без замедления", то можно опасаться, как бы они "и остатков доброй пшеницы не подавили и в конец без вести бы не учинили". А так как раскольников "никогда добром не научить" и "наукой с ними и в двадцать лет нельзя столько добра сделать, сколько за один год жестокостью", и так как дело идет о спасении или гибели душ христианских — то Посошков предлагает драконовский способ обращения раскольников в православие. Надо переписать подворно все епархии, описать все дворы и задворки и завести книги для записей крещеных, причащенных и венчаных прихожан. Все возможные лазейки, которыми можно было бы уйти от этих записей и переписи, артистически предусмотрены автором. При малейшем сомнении — духовенству является на помощь полиция. Следует обыск, дознание, пытка, и не могущие оправдаться, объяснить, что, например, у какого священника они состоят прихожанами и отправляют требы и таинства, — немедленно отсылаются на костер. Сожжение грозит и укрывшим их из корысти православным священникам, "понеже раскольников ни от чего так не умножается, как от потачки поповской".

По мере того, как развиваются детали этого невероятного плана, самому автору он начинает казаться "диковатым и противноватым". Но, как человек практический, Посошков правильно рассуждает, что *если* уж задаться целью искоренить раскол, то более мягкие средства тут ни к чему не поведут.

Это только доказывает, конечно, что искоренение раскола было такой же безнадежной и неосуществимой мечтой, как и искоренение "светского жития". Предложенные против раскола меры были похоронены в Синоде вместе с этой частью рукописи "Завещания". А относительно "светского жития" Посошков не мог даже решиться предлагать никаких мер. Он ограничился бессильным и бесполезным протестом, делая при этом вид, что протестует против иностранцев и что не пришло еще время "заткнуть дыру", через которую они проникли в Россию. Можно подумать, читая эти выходки Посошкова против иностранцев, что мы имеем дело с современником Кривжанича. На самом деле позиция, на которой продолжал стоять шестидесятилетний ста-

рик, логически вытекала из старого мировоззрения. Но заниматься ей было уже поздно: она взята была жизнью.

Трагизм положения Посошкова этим не ограничивался. Дело в том, что и его собственный идеал — жизни, согласной с евангельской моралью, — встречал неодолимые препятствия и в собственном мировоззрении Посошкова, и в окружающих условиях. Не желая склониться на "мнимое десно", он часто, не замечая того сам, отклонялся слишком далеко на "шуюю страну". Желание осветить и согреть жизнь верой постоянно вступает у него в бессознательный компромисс с житейской практикой Домостроя и с религиозным мировоззрением киевского Патерика. Говоря о брачной жизни, он находит, что "добро и свято, еже бы оба из воли и из любви сошлись", — как уже и требовал петровский закон. Он находит, что невесты — "не лошади", чтобы их сватать по несколько одновременно. Но, однако, знакомиться с невестой он не позволяет, а разрешает только взглянуть на нее ненароком, где-нибудь "у церкви или на переходе". Он знает, что "Бог нарек жену помощницей, а не работницей". Но советоваться с ней о делах он рекомендует не столько для пользы, сколько из принципа: ведь иной раз "Бог через маломысленных, паче мудрых, открывает сокровенный совет". В воспитании детей он, безусловно, становится на сторону ветхозаветной педагогики. Детей надо держать "в великой грозе", чтобы "взгляду вашего боялись". Нельзя не только смеяться с ними, но и позволять им играть. Даже грудных младенцев не надо забавлять, учить матери "кукиши казать и по щекам бить". Вместо "папа" и "мама" надо им показывать "Бог на небе", "Бог с неба смотрит", "Бог за то тебя убьет". Посошков видит "Бога на небе" так же ясно, как Аввакум и Лазарь в своих богословских теориях⁵. На земле, напротив, повсюду и всегда сторожит человека дьявол. Он, впрочем, "еще и вельми естеством тонок и пронизателен есть, иже и сквозь железо проходит, а в человека без дыр и вшити не может". Но малейшая оплошность, малейшее отвлечение мысли от Бога могут открыть дьяволу эту "дыру". Поэтому необходимо постоянно твердить в уме молитву и всякое дело начинать крестным знамением, прогоняющим дьявола. "Острая молитва все небеса пробивает и престола Божия касается", но невнимательную молитву перехватывают у ангела-хранителя летающие между землей и небом "воздушные демоны". Те же демоны стерегут на пути к небу грешную душу и не дают ей "свободно дойти до царствия небесного". Посошков убеждает сына не верить в приметы. Но сам он очень боится

⁵ "Троица рядком сидит, — писал, например, Лазарь, — Сын одесную, а Дух Святый — ошую Отца на небеси на разных престолах — яко царь с детьми сидит Бог Отец, а Христос на четвертом престоле особном сидит пред Отцем небесным". Посошков при словах: "Яко Спаса родила еси" советовал: умными своими очами в тот час зри его ясно, Господа Иисуса Христа, на небесах суща".

колдунов и волхвов, в которых видит агентов "дьявольской силы", и советует принимать всяческие меры против "порчи". На сосуд с питьем надо дунуть крестообразно. Входя в незнакомый или давно не посещавшийся дом, необходимо перекреститься: тогда дьявол не сделает никакой "пакости". Дьявол действует в доме, главным образом, "из запечья или из заднего угла, или из бани, — где нет святых образов". Лечиться у колдуна или проглотить письменный заговор против болезни — значит прямо "съесть прикровенного в таком письме дьявола" и самому сделаться его пищей. Без сомнения, такое лечение *может* помочь, — но только вражьей силой. Вот почему Посошков предпочитает лечиться у доктора травами: в травах "лечебную силу Бог положил".

Естественно, что в своих протестах против народного фетишизма Посошков не мог быть последователен. Он запрещает называть иконы "богами", отдавать Николе-чудотворцу или другим излюбленным святым предпочтение перед Спасителем и Богоматерью, молиться своим иконам в церкви. Но он твердо верит, что именно Варваре-великомученице надо молиться об избавлении от внезапной смерти и болезни, а св. Власию — "о благополучии", что Иоанн Предтеча научает "целомудренному житию", а св. Спиридон "утверждает в православии". Он разрешает пожертвовать в церковь свою икону с тем, чтобы перед ней усиленно ставить свечи. Чтобы "образов святых не почитать всех за едино равенство", он придумывает целую систему своеобразного местничества между ними. Степень почитания измеряется при этом глубиной поклонов (Посошков различает целых пять видов их), толщиной свечей и местом, к которому нужно прикладываться. Когда дело касается обряда, Посошков неистощим в своей изобретательности и в мелочности своей регламентации. Он уверен, что ветхозаветный "закон" не только не отменен, но, напротив, подкреплен новой "благодатью", и потому Христов закон должен быть гораздо "тяжелоноснее" Моисеева. "Книжников и фарисеев" необходимо "превзойти" не только евангельской нравственностью, но и обрядом. "Фарисей дважды в неделю постился, а ты кроме среды и пятницы постись еще все четыре поста: тогда и в посте превзойдешь фарисеев". Отделив Богу положенную десятину от своего имени, "приложи рублей пять (к сотне), дабы тебе превысить фарисеево подаяние".

Таким же препятствием для осуществления евангельских советов Посошкова, как его собственное мировоззрение, оказывается и окружающая его среда. В современной ему действительности эти советы или не находят себе никакого приложения, или получают неожиданно низменный, утилитарный смысл. И Посошков очень хорошо понимает сам, что допетровская старина нисколько не помогает, а только мешает его благим намерениям. Как бы ни грозило будущее его идеалам, ему

не приходит еще в голову искать спасения в прошлом. Он не приглашает никуда "вернуться", потому что сам видит, что возвращаться некуда и незачем. Прошлое еще не ушло никуда. Оно тут, оно окружает со всех сторон человека. Оно даже со стороны такого националиста, как Посошков, вызывает только борьбу и обличение, а отнюдь не прикрашивание и не идеализацию. Развивая свои идеалы "евангельского жития" для всевозможных общественных положений, Посошков вместе с тем развешивает перед нами яркую картину тех нравственных недостатков и социальных зол старого русского общества, которые полагали этому житию непреодолимые препятствия. За искусственно огражденной твердыней старой русской семьи — ничем не сдерживаемая, зверская страсть кипит и клокочет кругом. Ребенку шагу нельзя сделать из отцовского дома: ежеминутно грозит ему "содомский грех", от которого можно спастись только "воплем, елико сможет воскричать". Юношу лишняя минута разговора с женщиной, лишняя улыбка или даже родственник поцелуя грозят сделать "вне ума". Мужчина — "зверски" удовлетворяет свою похоть. Особенно опасны для жен "иноки", и для мужчин — молодые монахини. Посошков нисколько не скрывает от себя низкого культурного уровня и жалкого общественного положения того сословия, которое призвано проводить в жизнь его идеалы. Попы "валяются пьяные на улице" и "пьянствуют в кабаках", паству посещают ради угощения, службу отправляют кое-как и сокращают в угоду "сильным людям". Посвящаются они, не только не зная "грамматического разума", но даже "не разумея чтоаго", а иногда и вовсе не умея читать; "торгуют церквами", покупая священнические места исключительно ради доходов; берут взятки с раскольников и показывают их православными. О собственной пастве небрегут, не только не поучая их в вере, но даже не приучая и к требованиям. "Многие крестьяне, и близ Москвы живущие, лет до шестидесяти не причащаются и не исповедуются; многие и умирают безо всего". Никто не церемонится с подобными пастырями. Архиерейские чиновники "ни во что их ставят" и "обирают кругом". "Дворяне пресвитеров сельских ведут хуже холопей своих; боясь их, те пресвитеры служат у них всякую работу рабью, паче последнего челядинца"⁶.

⁶ Горячо относясь к "дворянским обидам", Посошков приводит и пример. К помещику Ханыкову пришел на Пасху с крестом поп, "не в их вотчине служащий", — побывав по дороге на винокуренном заводе у Посошкова. Ханыков, "вышел на крыльцо, ударил того пресвитера по щеке, и крест святой из рук у него вышиб, и, с крыльца его спихнув, почал его во всем облачении с людьми своими бить и по грязи волочить и топтать: ты-де меня променял на Посошкова". Не смея жаловаться архиерею, "дабы после больше того не пострадать от него", поп сам же просил у помещика прощения "и едва умолил, что святой крест и иконы отдал им назад". Другой пример, из близкого описываемому времени (1733): поручик Болотов, посадив приехавшего к нему попа за стол и

При этих условиях требование евангельского "смирения" оказывалось в неожиданно полном согласии с русской действительностью. Что значило человеку "подлого состояния" подставить другую ланиту — в том обществе, где аристократ, князь Шаховской, при дворе за червонец давал себя бить по щеке всякому желающему? Что мог значить совет Посошкова — притворяться, будто не слышишь брани, когда ответит обдичику — зачастую значило рисковать гораздо худшей обидой, когда и сама народная мудрость учила, что "брань на вороту не виснет". В конце концов "жить по-евангельски" оказывалось иной раз очень выгодно, — и сам Посошков не упускает случая указать на это преимущество. Конечно, он советует "смирение творить не того ради, дабы тебя люди хвалили". Но на той же странице он поощряет услужливого человека соображением: "Тако творя, от всех похвален будеши и добрым человеком прослывеши". Однако выгода от доброго поведения может быть и более реальная. Если ты молодой подьячий, "выбеги и встреть судью" "у саней"; "судья тебя будет любить: кому батоги, а тебе будет доброе слово и милость — и делами тебя прибыточными наполнит". Если ты работник и хозяин станет тебя посылать (дело обыкновенное в то время) на разбой, на воровство или на убийство, отвечай кротко, чтобы его не озлобить: благоволи-де послать кого посмелей, а я человек несмелый и несловесный" или как-нибудь в этом роде, "только бы тебе себя побережь, а его не оскорбить". Даже заповедь евангельской нищеты превращается в руках разбогатевшего коммерческими операциями крестьянина в ловкий практический совет: "Если не будешь страстно желать богатства, то оно и само не побежит от тебя, только ты умей его держать: не давайся ему под власть, но ты им господствуй". А разбогатева, "если будешь пить хорошие напитки, вспомни мыслью своей бедных людей, которые и чистой воды не имеют, а пьют, черпая из болота, мутную с мухами и червями; а когда ешь жирную и сладкую пищу, вспомни убогих, которые и хлеба чистого не имеют, а едят гнилой и с мякиной. И подумай, что вот тебя Бог наполнил и удовлетворил изобилием, а другие, такие же, как ты, люди — страдают. И, вспомнив про такое их страдание, воздай Богу благодарение об изобилии твоём". Таким образом, смирение и богатому человеку может послужить на пользу, помогая пищеvarению и становясь источником своеобразного удовлетворения самолюбия.

"налив вина, стал ему подносить, а за непитье вина (то есть как раз за то, чего требовал в таких случаях Посошков) ударил его в щеку, а потом бил палкой", затем вторично стал угощать. После нового отказа помещик велел солдатам принести батоги, "и раздев, оные солдаты били (юпа) батожем с четверть часа". Помещик оправдывался тем, что сельский поп должен ему во всем повиноваться и что он имеет право наказывать попа за непослушание.

Как видим, в этой покладистой морали немного осталось "аскетического", или "византийского". Она является вполне национальным продуктом национальных условий существования. Это — мораль практического человека, поставившего задачей — сохранить душевное равновесие среди всевозможных случайностей мрачной окружающей действительности. Он готов добиться своей цели ценой какого угодно компромисса, а чаще всего и не сознает вовсе, в какие компромиссы он вступает. Мораль Посошкова, как и его мировоззрение, так же "простосложны" и "удобопоемны" для огромной массы "подлых людей", как и язык, которым он говорит с нею, как и его полемические приемы.

Совершенно иные интересы, иные житейские задачи и иной склад воззрений мы найдем в том социальном круге, который известен Посошкову лишь в качестве "обидчиков". Этот круг, как мы видели, систематически исключен Посошковым из числа тех разнообразных и многочисленных общественных положений, с которыми он имеет дело и к которым обращает свои советы. Он чувствует, очевидно, что для дворянства его советы уже не годятся; что здесь окончательно возобладали то самое "светское житие", для которого, даже с точки зрения своего услужливого мирозерцания, он не может найти в своей голове никакого оправдания⁷.

Но, может быть, и за "светским житием" стояло какое-нибудь другое, свое мирозерцание? Хотя бы тот "атеизм", на котором "неции стояли", по утверждению Посошкова, говоря, что "сей свет сам о себе стоит, несть у него ни создателя, ни владельца, но мы-де сами собой и всем светом владеем" и т.д.? Из того, что мы уже знаем о новой культуре, не трудно вывести заключение, что "светское житие" не было какой-нибудь теорией или системой. Это был, прежде всего, новый социальный факт, явившийся сам собой, как стихийное последствие стихийной реформы. Люди, подчинившиеся этому факту добровольно или невольно, с охотой или с отвращением, чаще всего вовсе не думали, что изменяют старому мировоззрению и являются выразителями какого-то нового. Известные уже нам обстоятельства — слабость и низменность религиозного сознания в Древней Руси, ослабление его уходом усерднейших в раскол — еще более облегчили этот переход. Переходным мостом от старого к новому мировоззрению явился религиозный индифферентизм,

⁷ Впрочем, оговоримся: Посошков обнаруживает, в крайнем случае, склонность оправдать и новую моду — ее социальным значением. "Парики" составляют предмет его особой ненависти. Но он допускает, что "ради офицерского украшения и ради отмены простого народа, по чину" их "надлежит носить". Однако и тут он советует отрастить, вместо парика, собственные волосы. О новом платье он говорит только один раз во всех своих сочинениях — в этом же смысле — классового отличия, которое предлагает распространить и на купечество и даже проектирует фасон.

то есть отсутствие потребности в каком бы то ни было цельном религиозном мировоззрении, следовательно, и в атеизме.

При таком положении дела вовлеченная в новое культурное движение общественная среда вовсе не нуждалась в усвоении какого-либо нового мировоззрения. Ей нужна была лишь скорейшая выработка и усвоение нового кодекса жизни, правил "житейского обхождения", — новых привычек, которые помогли бы ей выделиться из остальной массы и войти в роль привилегированного общественного слоя, каким и сделал ее исторический процесс. Для этой цели появился целый ряд руководств к пристойному поведению, по большей части переводных. Некоторые из них сделались очень популярными и распродавались в большом количестве, несмотря на довольно ничтожное содержание и совершенно нескладное изложение. "Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению" в первые же два года (1717-1718) разошлось в 189 экземплярах: успех для того времени совершенно исключительный. В 1767 г. вышло уже пятое издание "Зеркала". "Совершенное воспитание детей, содержащее правила о благопристойном поведении молодых знатного рода и шляхетского достоинства людей", аббата Бельгарда, разошлось в трех изданиях (1747, 1759, 1778)⁸.

Главная цель всех этих руководств — научить молодого дворянина "не быть подобным деревенскому мужику" и, по возможности, приблизить его к идеалу "придворного человека". Чтобы уничтожить сходство с мужиком, руководства дают самые подробные наставления, как вести себя в порядочном обществе. Для русского "шляхтича" эти наставления надо было начинать с азов. Надо было научить его сидеть за столом, стоять, ходить, кланяться, разговаривать, не причинять беспокойства соседям своим носом, ртом, руками и ногами, уметь обходиться с ножом и вилкой, с тарелкой, с носовым платком, с шляпой. Всем этим обстоятельно занимается "Зерцало". Затем надо было внушить правила светского обращения. "Говоря о печальных вещах, надо иметь вид печальный и иметь сожаление; в радостных случаях быть радостну и являть себя веселым с веселыми" ("Зерцало"). Собеседнику не противоречить резко, по возможности соглашаться, свое мнение высказывать осторожно, правду говорить не всегда ("Зерцало" и "Совершенное воспитание"). "Скупому надо говорить, что он бережлив и хороший хозяин; расточителю — что он щедр, лицемеру — что он богобоязнен" и т.д. (рукописное "Наставление о хорошем поведении при государевом дворе"). При дворе надо быть "смелым",

⁸ Несколько позже характеризуемого времени появился в печати и русский перевод знаменитого Cortegiano графа Кастильоне, итальянского гуманиста, под заглавием: "«Придворный человек» Грациана Бальтазара" (1760). В 1762 г. вышел перевод книги Бельгарда: "Истинный христианин и честный человек". Перевод сделан С. Волчковым.

самому объявлять о своих заслугах и искать награды. "Кто при дворе стыдлив бывает, с порожними руками от двора отходит". Между тем *даром* служат только Богу. Государю же надо "служить ради чести и прибыли" ("Зерцало"), показывая, однако, при этом вид, "будто вы делаете все токмо для услуг отечеству" ("Наставление"). Не следует никому раскрывать своих целей, чтобы ими не воспользовались другие ("Зерцало"). Не надо также содействовать возвышению человека "искуснее и способнее" себя — на место, где он может оказаться конкурентом ("Наставление"). Для полного успеха при дворе или в хорошем обществе необходимы и некоторые познания, или, точнее говоря, искусства. "Прямым придворным человеком" может быть лишь тот "младый шляхтич или дворянин", который "в экзерциции своей совершенен, а наипаче в языках, в конной езде, танцевании, в шпажной битве и может добрый разговор учинить, к тому ж красноглаголив и в книгах научен". Особенно важны, как признак хорошего тона, иностранные языки. На них надо говорить всегда "между собою", во-первых, "дабы тем навыкнуть могли", во-вторых, "чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно" было порядочного человека "от других незнающих болванов распознать" ("Зерцало"). Известен рассказ Фонвизина, как сын одного аристократа, познакомясь с ним, тогда еще четырнадцатилетним мальчиком, на елизаветинском спектакле, сразу переменяет обращение, как только узнал, что Фонвизин не говорит по-французски. "Чтобы не забыть языков", необходимо, помимо разговоров, поддерживать это знание "чтением полезных книг" ("Зерцало"). Но, вообще говоря, не следует "прилепляться много к чтанию книг" ("Наставление"). "Обходительство с двумя, тремя умными людьми — лучше науки всех школьных мастеров и педантов" (переведено в скобках: "вралей"). "Откровенные таких мудрых людей разговоры отворяют у человека ум, запертой природным неведением в темноте незнания, и в один час больше покажут, нежели человек в три дня из книг научиться может" ("Совершенное воспитание").

Итак, наука нужна лишь постольку, поскольку она может пригодиться для "людскости", для приобретения необходимых в светском обиходе знаний, привычек, вкусов; самое большее — для того, чтобы вести занимательный разговор. Таким образом, создалось представление об особом круге наук и искусств, необходимых шляхетству, и дворянство лишь постольку ценило казенные учебные заведения, поскольку там преподавались именно эти, нужные для молодого шляхтича знания и технические навыки. Не находя этого в существовавших школах, дворяне предпочитали воспитывать детей в частных пансионах или посредством гувернеров, причем часто иностранные языки оказывались единственным предметом преподавания. Но очень скоро потребность в особом курсе шляхетских наук была удовлетворена Анной в открытом ею, по желанию дворянства, для подго-

товки офицеров — сухопутном шляхетском корпусе. И здесь тотчас же обнаружилось, к какого рода предметам дворянство тяготеет всего более. Из 245 русских кадет, воспитывавшихся в корпусе в 1733 году, обучались:

немецкому языку	237 чел.
танцам	110
французскому	51
фехтованию	17
музыке	39
геометрии	36
рисованию	34
истории	28
верховой езде	20
русскому	18
географии	17
латинскому	15
юриспруденции	11

Верховая езда, очевидно, лишь потому стоит так низко, что это искусство приобреталось и помимо учения в корпусе. С этой поправкой, программа "Зеркала" выполнялась в корпусе гораздо усерднее, чем курс петровских наук. Немецкий язык необходим был при Анне, но после нее он должен был навсегда уступить место французскому, как неотъемлемому признаку шляхетского хорошего тона.

После всего сказанного приходится констатировать, что в новой русской культурной среде, в первое время ее существования, было очень немного того, что мы назвали "критическими элементами". А то, что в ней было налицо, — совсем не благоприятствовало развитию этих элементов и в ближайшем будущем. Мы пока еще не встретили в этой среде достаточно сознательного отношения к самим себе и к окружающему. "Светское житие" начинало складываться в такую же бессознательную традицию, какою было "духовное житие" дореформенной Руси. Оно даже лишено было одного важного преимущества, которое давала старому "житию" его связь с старым культурным материалом. В той, старой среде все же назревали некоторые самостоятельные движения в вере и творчестве. Они теперь, когда над ней вдруг поднялся новый культурный пласт, спустились сразу вниз и продолжали развиваться в низших слоях, — конечно, уже далеко не в тех благоприятных условиях, в которых они находились бы, если бы остались наверху. Напротив, отношение новой культурной среды к вновь введенному в оборот культурному материалу — было вначале совершенно пассивное.

Это должно было отразиться как на содержании, так и на характере развития критических элементов в будущем. Не предупреждая дальнейшего изложения, мы, однако, теперь же наметим отличительные черты, вытекавшие для будущего из

только что сделанного изображения того, как стояло дело в начале XVIII в.

Во-первых, — и об этом почти не нужно говорить, — ясно, что в будущем культурном движении отодвинутые вниз пласты общественной жизни и мысли никакой дальнейшей роли играть не будут. У них была с этих пор своя культурная история, которую мы и старались проследить во втором томе "Очерков".

Во-вторых, что касается *новой* культурной среды, ясно, что при ее общей неподготовленности к доставшейся ей роли, при полном отсутствии какого-либо связующего ее общего мирозерцания, при разладе ее мысли и жизни, всякие попытки мыслить сознательно в ее среде — по необходимости будут *индивидуальными* попытками отдельных ее членов, не связанных в этих своих попытках ни прошлым, которого у новой культурной среды нет, ни настоящим, которое еще не успело кристаллизоваться в культурные формы.

В-третьих, именно благодаря последнему условию, критическая мысль отдельных, стремящихся к сознательному мышлению, членов новой культурной среды будет в состоянии более или менее свободно отнестись к *своей собственной* среде. Вместо идейного оправдания и обоснования культурных и сословных основ, на которых зиждется социальное положение этой среды, она сделает своим предметом *критику* тех и других основ. Она раскритикует культурные основы потому, что найдет их недостаточно сознательными, то есть обвинит их в бессознательном подражании, в слепом заимствовании. Она даже попытается, в виде протеста против бессознательной европеизации, со свойственной ей утрировкой подражания, — идеализировать русскую старину. Но это будет протест не во имя традиционного национализма, навсегда спустившегося в низы общества, а во имя большей сознательности национальной жизни, то есть во имя настоящих критических элементов, против появления новой, бессознательной традиции, готовой превратиться в простой символ привилегированной общественной группы. Это будет первый шаг к действительной, а не официальной только, победе критических элементов. Вторым шагом будет критика, обращенная на сословные основы нового культурного быта.

Наконец, в-четвертых, так как вся эта работа критической мысли имеет отчасти бессословный, отчасти прямо антисословный характер, хотя и совершается отчасти в дворянской среде, то она будет идти параллельно и даст пищу развитию новой бессословной или, точнее, *междусословной* культурной среды, так наз. "интеллигенции". Чтобы уяснить происхождение этой среды, напомним пока один только известный уже нам факт: именно, присутствие в правительственных учебных заведениях, за все время их существования, весьма значительного недворянского элемента.

Освободившись от какой бы то ни было национальной культурной традиции, русская критическая мысль получила возможность черпать полными руками из богатого запаса европейской критической мысли. О "слепом" и "бессознательном" заимствовании в данном случае не может быть речи уже потому, что заимствование у наших первых "интеллигентов" имело целью именно выработку сознательного отношения к окружающей среде. Русская мысль воспринимала европейскую, разумеется, в той форме, в какой та имелась налицо, в данное время. Но она брала из нее только то, что могла понять и что ей было нужно. И она делала из воспринятой мысли более или менее оригинальное употребление, чтобы разобраться с ее помощью в собственном материале. Таким образом, не оригинальная в своем источнике русская критическая мысль уже проявила известную самостоятельность как в процессе усвоения, так и в процессе приложения усвоенного к русской действительности.

Для начала русская интеллигентская мысль принялась искать *теоретического* оправдания "светского жития". Соответствующее общее мировоззрение выражалось на Западе в той самой формуле — "все созданное Богом чисто и свято", — которую Посошков слышал от иноземцев в Москве. Но мотивировка этого положения уже далеко ушла от богословской теории лютеранства и кальвинизма ("о predetermined и фаталистически действующей благодати"), — не разрывая в то же самое время окончательно с старой религиозной традицией. Это был не только не "атеизм", как пугал Посошков, но даже и не философский деизм. Наиболее доступной на первых порах идей явилась теория "естественного закона" веры и жизни, самым мирным образом укладывавшаяся в головы протестантских богословов и пасторов.

Главное свое применение теория "естественного закона" нашла в юридической науке, вместе с которой и перешла в Россию. Руководствами для преподавания юриспруденции должны были служить сочинения двух главных теоретиков "естественного права", Гуго Гроция и Пуффендорфа, переведенные и изданные по приказанию Петра. В шляхетском корпусе "юс натурале" даже введено было в числе предметов, обязательно преподававшихся тем, кто хотел идти в гражданскую службу, — хотя таких и было, как мы знаем, очень немного. Еще при Петре теория "естественного права" успела сыграть политическую роль, послужив Феофану Прокоповичу для официального доказательства "правды воли монаршей" относительно престолонаследия. По своему общественному положению Феофан и не мог сделать из философской теории более широкого употребления. О деликатных вопросах он позволял себе лишь разговаривать в тесном кругу земляков. Но такое употребление сделал публицист и полигистор В.Н. Татищев, отчасти именно под влиянием разговоров с Феофаном. В сочинении под скромным заглавием

"Разговор о пользе наук и училищ", распространявшемся анонимно, в рукописных списках, Татищев — делая все время вид, что говорит не об этом, а совсем о другом, — представил первую в России принципиальную защиту "светского жития". Он совсем не отвергал и "жития духовного", по крайней мере открыто. Он только защищал право светского жития на совместное с ним существование. В этих пределах, однако, вопрос был поставлен ребром. Если духовное житие ставит целью спасение души, то светское имеет полное право рядом с ним поставить стремление к земному счастью. Если для первого — удовлетворение природных склонностей человека есть грех, то для второго — это есть только выполнение "естественного закона".

Ведь "естественный закон" человеческой природы — есть такой же "божественный закон", как и тот, который записан в священном писании. Только первый вложен Богом в человека при самом его сотворении. Он везде, всегда и для всех людей одинаков, как их натура; тогда как писанный закон "словесно от Бога предан" — первоначально одним евреям. Оба закона никак не могут противоречить один другому, хотя каждый имеет свою независимую область. Но как же не противоречат они, спрашивает собеседник, выведенный Татищевым в его "Разговорах"? Ведь человеку вкоренено "желание благополучия", то есть *эгоизм*; между тем писанный закон основан на *любви* к Богу и ближнему? Тут противоречия нет, отвечает Татищев; разумный эгоизм обязательно включает в себя любовь к Богу и ближнему, так как это — необходимые условия человеческого "благополучия". Человек "взаимодательно" будет любить, потому что нуждается в чужой любви для своего счастья. Но ведь церковь требует, чтобы человек отрекся от своего счастья, а не стремился к нему: воздержание от потребности есть добродетель; удовлетворение ее есть грех, — продолжают возражения. Напротив, утверждает Татищев: излишнее воздержание есть сокращение жизни, самоубийство, то есть действительно величайший грех. "Любочестие, любоимение и плотоугодие нам от Творца всех вместе с душой вкоренены, а так как Бог есть творец добра, то и все, что он сотворил, не иначе как добрым именовать можем". Если удовлетворение всех этих потребностей совершается разумно, то есть "порядочно и умеренно", то оно есть добродетель; если "беспорядочно и чрезмерно", то обращается в преступление. И притом природа человеческая устроена так премудро, что она сама указывает меру, награждая удовольствием за соблюдение этой меры и страданием за ее нарушение. "Бог во все оные противоприродные преступления вложил наказания, дабы каждому преступлению естественные и наказания последовали". Грех есть то, что вредно натуре человека, добродетель — то, что ей полезно. Но вредное и полезное можно и нужно *знать*. Следовательно, знание себя, своей натуры, — вот необходимое условие всякого разумного поступка,

всякой добродетели. Извращение человеческой природы после грехопадения Адама состояло именно в затруднении самопознания. "Воля, страсть над умом власть возымела: через это не всяк в состоянии истинное благо различить от мнимого". Но наука, знание должны вернуть человечеству это равновесие души, нарушенное адамовым грехом.

Как же, однако, быть с положительными предписаниями "церковного закона"? Татищев отвечает: церковный закон — не то, что "естественный" или что священное писание. Это закон "не божеский, а самовольный человеческий", наравне с "законом гражданским". Молитва, например, есть закон божеский, — закон любви (естественный) и долга (письменный). Но "время и мера" — "когда и как молиться", это божеским "законом оставлено на нашу возможность", а церковным законом регламентировано. Или пост: "по божественному он весьма полезен" — для сохранения здоровья (по естественному закону) и для укрощения страстей (по писанию). Но он "состоит в воле человека", и по человеческому соглашению определены скоромные и постные дни и пища. Брак — необходим. Но дело "человеческих законов" церкви определить чин брака, возраст и другие условия для брачующихся. Когда же церковь "защищает то, что человеку законом божественным определено" и, как в католицизме (Татищев часто им пользуется), требует безбрачия молодых священников, то это уже явное злоупотребление. Поэтому-то "мнится пристойнее", чтобы "законы церковные" "состояли под властью высшего мирского правления", как это существует в Англии, Швеции, Дании, Голландии, Германии и как отчасти хотел сделать Петр. Как "самозвольный", "закон церковный есть разный — по разности церквей". Между тем, закон естественный один для всех. Даже "если б кто думал, что не от одного Адама люди начались", все-таки он должен признать, что "все люди равное принуждение к приобретению благополучия в сердце имеют", хотя бы и не имели "никакого письменного закона". Таков закон "человеческой природы", "познаваемый помощью здравого ума". Его не лишены даже животные⁶.

Прямой вывод отсюда — требование полной веротерпимости. Татищев всецело принимает его. Он маскирует только логи-

9 Припомним, кстати, рассуждения о душе животных Феофана Прокоповича, записанные его земляком Марковичем: "Оное мнение Картезия ("всякое чувство от животных всех отнимающего, а только единому человеку, имущему ум, причитающего" и поэтому называющего животных "автоматами") есть не крепкое, ибо явственно спорит против повседневных экспериментов". Сущность духа — "не в самом помышлении, но есть особливейшее нечто, чего мы не видим". Поэтому "можно некоторый вид дебелого и весьма скудного помышления животных причесть, однако оного бессмертным назвать невозможно, а как оно есть, неизвестно, для того, что (мы) не знаем существ не только духа, но и тела".

ческую связь, из которой оно вытекает, и обсуждает вопрос о веротерпимости исключительно "светски", то есть с точки зрения государственных соображений. Вопреки мнению "папистов", он утверждает, что "разность вер великой в государстве беды не наносит", и в России "от разности вер вреда не имели, но еще пользу видели". Писание прямо запрещает "силою в соединении приводить", несогласных мучить, казнить или изгонять (Ефес. 6, 12; 9, 56). И Татищев резко обрушивается на "Никона и его наследников", которые "над безумными раскольниками свирепость свою исполняя, многие тысячи пожгли и порубили или из государства выгнали. Он восхваляет Петра, прекратившего бесполезные жестокости. Только для иезуитов, по их "коварству", и для евреев — "не для веры, но паче для их злой природы" — Татищев склонен сделать исключение из общего правила о терпимости.

Таково мировоззрение, которого, наверное, не подозревал Посошков, когда опровергал мнение, что "все чисто", — необходимостью омовений от плотской скверны и проектировал инквизицию для старообрядцев.

Право на светскую жизнь, как ее понимает Татищев, само собой предполагает право свободного исследования и необходимость светской науки. Дело в том, что это — "разумная", сознательная жизнь, основанная на "знании естественного закона", то есть того, "что человеку полезно и нужно, и что вредно и не нужно". Невежественный человек "настоящего страха не боится, а где нет страха — трепещет, в печали и радости неумерен, в счастье и несчастье — непостоянен и во всем, вместо пользы, наносит себе вред". Не понимая силы знания, он, как ребенок, подчиняется шарлатанам и обманщикам, умышленно "содержавшим народ в темноте и суеверии". Он верит вмешательству сверхъестественных сил и "мнит через дьявола сделать" себе пользу, тогда как "многие ученые физически и богословски доказали, что человек через дьявола ничего учинить не может". Только наука вывела человечество из этого младенческого состояния. Решающими моментами в истории человечества Татищев считает, помимо пришествия Христа, изобретение *письма и книгопечатания*. Письмо составляет для младенческого общества то, что для новорожденного младенца составляет язык, — средство "собственные приключения в памяти все сохранить". Благодаря книгопечатанию сразу умножилось число ученых и училищ и открыт был "свет истинного разума в богословии, философии, юриспруденции, медицине, математике, физике, истории и пр."; "обретены многие способы к испытанию и познанию незнанных прежде свойств, яко трубы зрительные, микроскопии, зеркала зажигательные, насосы водяные, трубы воздушные, антлия пневматика". и т.д. "Папа и его сообщники" "против быстроты оного течения постоять не мог". "Плотина прорвалась"; за Виклефом и Гусом явились Лютер и Кальвин,

которые "довольно престол оный назад подвинули". А затем "в нравоучении Гуго Гроций, потом Пуффендорф, в физике или всей философии Картезий, в математике, а паче астрономии Коперник и Галилей, яко же и Араго, несмотря на папешские пресечения и не боясь проклятия его, истину доказали и так утвердили, что, наконец, и сами паписты со стыдом принуждены истину оных признать". Но они отмстили им клеветой и проклятьями, огласили их аферистами", как всегда говорили невежды об "умных и ученых людях", "которые наивящще о Боге учили". Судьба Эпикура и Сократа была такова же, как Коперника, Декарта и Пуффендорфа. Если автор "Камня веры" (Яворский) повторяет эти клеветы папистов против протестантов и обвиняет их в "безбожии", то этим он только обнаруживает подобную же недобросовестность.

Воображаемый собеседник Татищева от имени старого русского мировоззрения выставляет целый ряд возражений против такого необычного преклонения перед светом науки. "В старину меньше учились, но больше благополучия видели", "в те древние времена столько было святых отцов и праведников, сколько теперь и в тысячу лет не увидим". Подобные утверждения, отвечает Татищев, только показывают незнание истории и лишний раз подтверждают то "от природы во всех нас вкоренное, — что мы мимошедшее хвалим, наставшему дивимся". "Златого времени" древних поэтов не надо искать назад; там встретим только одно варварство и мрак. Как "в темноте малая искра более видима, нежели в светлое время великий огонь", так и "мы в слабом — малому совершенству удивляемся", как в ребенке, а в сильном и зрелом — гораздо более крупных достоинств не замечаем. Однако же "многие духовные и богобоязненные люди" говорят, — продолжает собеседник развивать древнерусские "сумнения" — "что науки человеку вредны и пагубны", что из-за них многие от Бога отстали и в ересь впали? Татищев соглашается. Действительно, *есть философия*, "отвращающая от Бога", как, например, учения *древних философов*, что "тварь самобытна", что "душа человеческая от души мира часть есть и по смерти туда же возвращается, — чем воскресные отрешается" и т.п. Верно также и то, что измыслить ересь может только человек "ученый" и остроумный, "а по малой мере — читатель книг (то есть начетчик)." Но ведь злоупотребить можно и священным писанием, — из чего вовсе не следует, как утверждают "паписты", что Библию можно читать только духовным. "Истинная" философия, — та, которая "нужна к познанию Бога и к пользе человека", — не только "не грешна", но полезна и необходима. Сами святые отцы "других языков и многие — философии научены были". Истошцивши религиозные возражения против науки, собеседник Татищева, наконец, прибегает к "политическому", якобы слышанному им от "людей искусных в гражданстве". "В государстве, чем народ простее,

тем покорнее и к правлению способнее, а от бунтов и смятений безопаснее; и для того науки распространять за полезное не почитают". Татищев отвечает, что в России, как и в Турции, бунтовала именно безграмотная "подлость", а не цивилизуемое теперь дворянство. В обучении последнего — правительство нуждается для собственных целей, и из "подлости" теперь человек может дослужиться хоть до полковничьего чина, так что и здесь нужна наука. "От неучения *народа*", в собственном смысле, происходит тот "вред", что народ не знает ни естественного, ни божественного закона. Вместо "внутренних добродетелей" его учат духовные пастыри "человеческим преданиям и внешним благочестиям", что не мешает ему впадать в самые грубые преступления, подвергающие его каре гражданского закона. "Против одного макиавеллиста вкратце скажу", — кончает Татищев: если бы ему всех служителей, лакеев, конюхов, поваров, и дровосеков всех определить дураков, а в дворецкие, конюшие, стряпчие и в деревни приказчиков безграмотных, то он бы узнал, какой порядок и польза в его доме явится; я же рад и крестьян иметь умных и ученых". Нельзя не заметить, что, при всей силе ответа, *суть* возражения обойдена Татищевым. Центр тяжести вопроса, — надо думать, сознательно, — перенесен на пользу науки для государственных "*служителей*" и для выяснения "подлому народу" его общественных *обязанностей*, диктуемых ему естественным законом.

Обязанности эти вполне последовательно выводятся Татищевым из принципа разумного эгоизма, как и любовь к ближнему. "Воле человека положена узда неволи для его же пользы, чтобы через это он мог прочие благополучия в уравнении возможном иметь и в лучшем благополучии пребывать". Но, однако, эта "неволя" не должна идти дальше, чем требует личное "благополучие". "Воля, по естеству, человеку толико нужна и полезна, что ни едино благополучие ей сравниться не может и ничто ей достойно есть, ибо кто воли лишаем, тот купно всех благополучий лишается". "Весьма нужна" лишь та "узда неволи", которая налагается "*по природе*", по недостатку собственного разума, например, в младенчестве власть "отеческая", из которой происходит, по Татищеву, и "власть монаршеская". От этой власти свободы иной нет, как природное разрешение. "Полезна" также и другая узда — "своевольной неволи", возлагаемой на себя самим человеком "*по договору*". Сюда относится и то "общественное согласие, где для защищения своего от нападения сильного многие совокупаются", составляя "общенародия или республики". Эта "неволя" разрушается нарушением договора. Наконец, "третье лишение воли есть *насильное*, именуемое рабство". Оно "ничем кончиться не может, как милостивым освобождением или собственным невольника избавлением". "Понеже человек по естеству имеет свободу в защищении и охранении себя, то он такое лишение своей воли терпеть более не

должен, как до возможного к освобождению случая: зане естество нам определило здравие и вольность или свое собственное благополучие защищать, а учиненные обиды — отмщать, дабы не имущий страха отмщения на большие обиды не дерзал". В другом месте "Разговора" Татищев не останавливается перед приложением этих общих рассуждений к русскому крепостному праву. "Применением древних обычаев иногда немалый вред наносился, — говорит он, — например, до царства Борисова в Руссии крестьянство было все вольное; но он слуг, холопей и крестьян сделал крепостными; за которое холопи Пронский, Боловня, собрав свою братью и крестьянства немалое войско, великие пакости поделал". С точки зрения естественного права — это восстание было только "неразумно", "ибо, если бы я был в неволе у разбойников или в плене у неприятеля и дерзнул несравненно малою моею силою им отмщать и себя освобождать, то б я сам своей погибели причиной был". Впрочем, при наличных условиях Татищев обнаруживает, по видимому, склонность отнести положение крепостных к "неволе по природе", то есть к первой категории. "Шляхтич всякий по природе судья над своими холопи и рабами и крестьяны". Так полагается начало теории, по которой власть помещика занимает середину между отеческой и монархической. Рисуя в своих "Экономических записках" идеал помещика, Татищев же не углубляется в принципиальный разбор вопроса. Но он остается верен себе, повторяя идеи "Разговора" об относительности понятия "богатства" и ставя целью помещичьего хозяйства — не удовлетворение "ненасытных желаний" обогащения, а возможность "по препорции своего состояния без долгу век прожить". "Познать закон" крестьяне должны, учась читать и писать, от 5 до 10 лет. Но это не устраняет необходимости самой строгой опеки над ними со стороны помещика, чтобы они не привыкли к праздности и не разорились. Очевидно, их "неволя" вызывается, по первой категории, "недостатком собственного разума".

В своей "Духовной" сыну (1734), предназначавшейся, очевидно, для более широкой публики, чем "Разговор", и действительно распространившейся и в рукописных списках, и в печатном издании 1773 г., Татищев обнаруживает еще больше уклончивости в выражении своих мнений. Претерпев сам "немало невинного поношения и бед" за свое вольномыслие, он и сыну советует крайнюю осторожность и сдержанность в разговорах, особенно с "папистами" и "лицемерными ханжами", под которыми, очевидно,разумеются враги направления Феофана Прокоповича. "Не обличай разумного, да не возненавидит тя": это правило Соломоновой премудрости он сам практикует при составлении "Духовной", и потому ее содержание выходит гораздо ординарнее, чем могло бы быть при иных обстоятельствах. Но свой главный принцип — свободного исследования и сознательно-критического отношения к жизни — Татищев резко под-

черкивает и здесь. Этого одного достаточно, чтобы сделать из его "Духовной" полную противоположность "Завещанию" Посошкова, несмотря на частые совпадения обоих памятников в правилах прописной морали и советах житейской опытности. "Главнейшее есть вера", — провозглашает Татищев. Но "главное" в этом главнейшем деле жизни есть — "охраняться" от "лицемерных поступков и фарисейских учений", для чего необходимо критическое отношение к избыткам, законами человеческими в тягость положенным". Татищев предвидит, что при такой критике его сын "и подлинно" найдет "некоторые погрешности и неисправы или излишки в своей церкви". Он только требует, чтобы тот "никогда явно от церкви не отставал и веры не переменил". Политическое вольномыслие, конечно, было еще опаснее религиозного, — и Татищев советует сыну "с хвалящими вольности других государств и ищущими власть монарха уменьшить никогда не соглашаться..., как то некоторые и пред немногими летами безумно начинали". Мы сейчас увидим, однако, что к числу этих "некоторых" принадлежал один момент и сам Татищев, оставаясь, впрочем, в то же время убежденным монархистом. Во всяком случае, он настаивает на сознательном отношении и к общественной деятельности, требуя при этом — вопреки наставлениям разобранных выше шляхетских руководств, — чтобы сын его "прилежал о пользе общей, как о своей собственной". Не надеясь провести этот принцип в придворной службе, "понеже тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва ли не всем добродетелям предходят", он рекомендует сыну гражданскую службу. Вопреки мнению большинства, она в государстве есть главная, ибо без доброго и порядочного внутреннего правления ничто в добром порядке содержимо быть не может, и во оном гораздо более памяти, смысла и рассуждения, нежели в воинстве, потребно". Именно поэтому необходима для такого рода службы — как, впрочем, и вообще для сознательного отношения к окружающему — серьезная научная подготовка. Когда Посошков говорит о "чтении книг", он понимает только священные. Необходимая наука для него одна — грамматика, признанная таковою еще в XVII веке, а идеал учености — курс славяно-греко-латинской Академии. Татищеву ясно, что этот максимум Посошкова есть лишь устарелая средневековая схоластика. "Шляхетские науки", рекомендуемые "Зерцалом", он не отвергает. Но для сына "необходимый" курс наук должен состоять частью из наук, введенных Петром: "арифметики, геометрии и части инженерства", частью же, — для правильного понимания окружающей действительности — из русской истории, русской географии и русских законов, гражданских и военных. Это — только минимум, так как "Разговор" требует гораздо большего.

Как видим, Татищев сделал все, что мог, для того чтобы примирить результаты своей критики с традиционными форма-

ми веры и жизни. Если не его теория, то *какая-нибудь* подобная теория была нужна для принципиального оправдания секуляризации русской жизни. "Подлым людям" не было нужды в новом мировоззрении. Им легко было сохранить гармонию жизни и веры, хотя и мнимую, как мы видели у Посошкова, но тем не менее освященную традицией. Новая жизнь необходимо требовала новой веры, так как со старой посошковской верой *действительно* нельзя было примирить. А отказаться от нее, переменить жизнь — было еще невозможнее. Русское шляхетство спаслось из этого затруднения очень легко. Оно просто не сознавало ясно противоречия между старой верой и новой жизнью, а потому и не спешило из него выходить. Жизнь была для него наглядным конкретным данным. А чем была для него вера? Она и прежде мало занимала места в жизни этого общественного слоя, сводясь к простой формальности — притом весьма неаккуратно выполняемой (Посошков убеждал своего образцового архиерея принуждать не только крестьян, но и дворян хоть раз в год говеть). Поэтому из отношения к вере большинство вовсе и не думало делать вопроса совести. Придумывать для "спокойствия души и совести" новую теорию, как делал Татищев, огромному большинству не могло прийти в голову уже потому, что в этом не было никакой внутренней потребности. Церковная же обрядность никому не мешала и могла оставаться. Если иной раз она прикрывала труп, об этом никто не тревожился. При таком положении, действительно, страдал и подвергался упрекам в "безбожии" и "ереси" как раз тот, кто "наивящще учил о Боге". Тот, кто об этом вовсе не думал, мог оставаться в полной безопасности.

Таким образом, в целом общественном слое традиционные формы веры, неприспособленные к новым формам жизни, отмирали мало-помалу, оставляя пустоту, нечувствительную для большинства и поэтому не заполненную своевременно никакими новыми формами. Татищев пытался сохранить веру, отбросив из нее то, что его поколение считало "суеверием". Большинство не решалось и не чувствовало особой потребности отделять веру от "суеверия". Зато, сохранив формально и то и другое, оно рисковало утратить зараз и то и другое. При посредстве дядек оба элемента: вера и суеверие, усваивались нераздельно в деревне. При посредстве товарищей-офицеров оба выбрасывались из головы, в вихре светских увеселений, в столице. Легкость, с какой они выбрасывались, конечно, столько же объяснялась силой светских соблазнов, сколько и слабостью деревенской морали. Чаще всего деревенское времяпрепровождение уже являлось подготовкой к столичному. По замечанию Татищева, "по-неже все шляхетство... во отлучении домов своих пребывают, а дети под призрением матерей и холопов воспитываются, (то) обхождение детей в доме с бабами, девками и рабскими детьми есть весьма вредное". А именно, молодежь в деревне "научается

только неге, спеси, лености и свирепству". Напротив, "нужнейшее, именно знание исповедания веры, законов гражданских и состояния собственного отечества — назади в забвении остается". Поэтому, "вместо благонаправленного... часто развращенное воспитание в детях знатных примечено". И кн. Щербатов совсем с другой точки зрения (см. о ней далее) приходит к подобному же заключению, оплакивая упадок традиционного мировоззрения, не замененного никаким другим. "Уменьшились суеверия, но уменьшилась и вера, — замечает он об интересующем нас настроении столичного шляхетства в ближайшее к Петру время, — исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь к Богу и к святому его закону: и нравы, за недостатком другого просвещения, исправляемые верою, потеряв сию подпору, в разврат стали приходить".

Как видим, почва была неблагоприятна для распространения сознательного отношения к вопросам веры и нравственности в шляхетской среде. Шляхетство в огромном большинстве не могло усвоить себе нового мировоззрения, которое бы на *религиозных началах* устраивало его отношение к новым основам жизни. От бессознательной веры ему гораздо легче было перейти к бессознательному неверию.

По-видимому, иначе и благоприятнее складывались условия для выработки сознательного отношения к *политическим* вопросам в среде шляхетства. Та же жизнь, которая заглушала в нем религиозное чувство, являлась для него школой политической мысли. Обстоятельства сложились, наконец, так, что столичному шляхетству пришлось формально высказать свое мнение по важнейшему вопросу государственного строя (1730, при воцарении императрицы Анны). Какую же степень сознательности оно при этом обнаружило?

В этом любопытном эпизоде ярко и рельефно обрисовались все общественные и интеллектуальные силы тогдашней России. Старая родовая аристократическая оппозиция сделала последнее усилие вернуть себе ту политическую роль, которую, по ее мнению, отнял у ней Петр Великий. Поставив все на карту, она все сразу проиграла. Главным соперником, помешавшим успеху родовой аристократии и ничего не выигравшим для себя, явилась новая чиновная аристократия петровской табели о рангах: генералитет. Настоящим господином положения, спутавшим все расчеты знати и чина, была новая — и единственная действительная — социальная сила, благородное шляхетство. Спорившие между собой — и одинаково бессильные соперники наперерыв принялись ухаживать за шляхетством, как только увидели свою слабость. И все-таки, по мнению шляхетства, они предлагали ему за союз недостаточно много. Тогда оно предпочло, не дожидаясь подачки от соперников, обратиться за привилегиями непосредственно к монаршей власти. Оно не ошиблось в расчете. Что касается новой государственной теории предста-

вительства и естественного права, она поочередно служила для оправдания притязаний всех трех конкурентов. В конце концов, теория растворилась и потонула в традиционных чувствах рядового шляхетства. Проследим же судьбу первого применения на деле политической теории, которое нас здесь главным образом интересует.

В рядах начавшей дело родовой аристократии единственным представителем европейской государственной теории явился кн. Дм. Мих. Голицын. В то время, как Долгорукие при малолетнем Петре II играли роль Шуйских при царе Иване IV — вплоть до разграбления царских драгоценностей включительно, — Голицына скорее можно было уподобить кн. Курбскому с его теорией "избранной рады" и "совета всенародных человек". На этот раз теория двух палат, верхней и нижней, явилась в шведском костюме. "Избранная рада" — это был теперь "Верховный совет", деливший, подобно шведскому "государственному совету", с государем его прерогативу. А "совет всенародных человек" — это были наподобие шведского рикстада, то есть представительства государственных сословий, — две сословные палаты депутатов: одна от шляхетства, другая от горожан (в Швеции были еще две — от крестьянства и духовенства).

Дележ царской прерогативы с "Верховным советом" был отвержен императрицей Анной так, как этого требовали посланные ей "кондиции". Это было форменным захватом верховной власти в руки "знатнейших фамилий", — так как своим сословным палатам Голицын не предоставлял участия в верховных правах, а только охрану интересов соответствующих сословий. Притом же и вся эта часть проекта Голицына еще находилась в процессе разработки и обсуждения тем же Верховным советом. Но главное: проект вовсе обошел чиновную аристократию, которая со времени смерти Петра составляла особую политическую группу "генералитета": это были высшие четыре ранга, по табели соответствовавшие "думным чинам" XVII столетия (генералы, тайные и действительные статские советники). Ни в совете, ни в сословных палатах голицынского проекта для нее не было места, как для отдельной общественной группы. Между тем, помимо совета, она только одна и имела право официально высказаться по вопросу. Она и воспользовалась этим, чтобы немедленно протестовать против проекта Голицына, рассчитывая при этом опереться на собравшееся в Москву к свадьбе Петра II шляхетство. Последнее уже негодовало на "тиранию" совета, ничего еще не зная в большинстве о сословных палатах голицынского проекта. Но "генералитет" протестовал не во имя своих собственных интересов, а во имя принципа, во имя теории "естественного права". Выразителем — и чуть не инициатором — этого протеста стал Татищев, сделавшись, таким образом, невольным орудием чиновной группы. Что гласило "ес-

тественное право" по поводу данного случая? Случай был предвиден и приложение к нему теории — уже сделано Феофаном Прокоповичем в упомянутой выше защите "Правды воли монаршей". По "законам естественным", под которыми и Феофан понимает те, которые "сами собою крепки" и основаны на том, что "не может здравый разум человеческий иначе рассуждати", — по этим законам "единственная цель установления какой бы то ни было формы правления есть всенародная польза". "Всякий образ правления, и сама наследственная монархия происходит от первоначального соглашения в том или другом народе". Заключив между собой договор и, таким образом, "совлекшись общей своей воли", народ, однако, уже обязан безусловно повиноваться избранной им власти и "не оставляет самому себе никакой свободы к общим определениям". Но от народа зависит определить, на какой срок он отказывается от своей "общей воли" и передает ее власти. Если народ предпочтет монархию избирательную, то воля возвращается народу по смерти избранного монарха. Если же народ установит монархию наследственную, то тем самым он раз навсегда "совлекается своей воли". Однако и тут, если "оскудеет вся ближайшая фамилия" государя и не останется ни наследников, ни завещания, "тогда воля, бывшим монархом отданная, возвращается народу". Вот этот-то последний случай и представился по смерти Петра II. Дочери Петра I и Екатерины I устранялись как незаконные; других "ближайших" наследников и завещания не было. Следовательно, народная воля возвращалась к "общенародию" и "народ" мог на основании естественного права свободно выбирать себе ту или другую форму правления. Но "народ", а не Верховный совет! Решение, каково бы оно ни было, по утверждению Татищева, "должно быть согласиём всех подданных", — некоторых персонально, других через поверенных". Вместо того, "четыре или пять человек" навязали "общенародию" нового государя и новую форму правления. По известной нам классификации Татищева это будет "насильственная неволя", против которой необходимо протестовать "и оное право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснеть", чтобы обидчики "на больший беспорядок не дерзнули". Ввиду этого Татищев предложил "требовать" от совета немедленного созыва представителей от шляхетства для перерешения незаконно решенных вопросов. Он не сомневался, что эти депутаты "общенародия" утвердят личность выбранной государыни, а новую форму правления забракуют, так как для блага России необходимо самодержавие. Но в то же время он хотел, чтобы они выработали "на время, доколе нам Всевышний мужскую персону на престол дарует", особую организацию законодательной власти. Новый орган законодательства, временно учреждаемый "в помощь ее величеству", должен состоять из двух палат, "вышнего (21)" и "нижнего (100 чел.) правительства", которые

сами себя пополняют, то есть в сущности являются органами чиновной аристократии, с упразднением Верховного совета.

Итак, предполагалось эксплуатировать голос шляхетского "общенародия" в интересах "генералитета", лишив шляхетство даже и той доли постоянного участия в правительстве, которая давалась ему сословными палатами Голицына. Этим воспользовался Верховный совет и предложил шляхетству высказать свои желания прямо, без посредства "генералитета". Естественно, что шляхетство пожелало осуществить права "общенародия" полнее и непосредственнее — и потребовало *постоянного* участия выборных от шляхетства (100) при обсуждении новых законов и назначении на высшие должности. Насколько заинтересовалось собравшееся в Москве "общенародие" неожиданным применением теории "естественного права" к русской государственной практике, видно будет из следующих цифр. Из 2000 присутствовавших в Москве офицеров около половины участвовали своими подписями в коллективных заявлениях шляхетства. Татищевский проект, передававший власть руками шляхетства генералитету, второпях был подписан 288 лицами¹⁰. Но, получив предложение подать прямо от шляхетства собственное официальное заявление, шляхетство собрало в 2,5 раза более голосов (743) под запиской, в которой требовало себе самому права постоянного представительства.

На это Верховный совет точно так же не хотел согласиться, как и на собственное упразднение в проекте генералитета. Шляхетству оставалось обратиться с просьбой о выработке государственного устройства "по большинству голосов" — к самой императрице. Известно, что это заявление передового кружка, вновь растаявшего до 87 человек (в их числе Татищев), хотя и было подписано императрицей, но тотчас же стужевалось перед раздраженными криками гвардейских офицеров. Молчавшая до сих пор половина шляхетства оказалась против всякого применения к России теории "естественного права".

И она, однако же, не прочь была воспользоваться теми сословными льготами, которые требовались всеми проектами и общественными группами без различия: и Голицыным, и генералитетом, и конституционной частью шляхетства. И все эти требования в продолжение тех же тридцатых годов были удовлетворены правительством: 1) отмена Верховного совета 2) переустройство Сената в некоторого рода "высшее правительство" из 21 члена, куда введены были главные представители движения — из более чиновных, 3) восстановление дворянских баллотировок в должности, 4) восстановление старого порядка наследования, с отменой закона о майорате, 5) учреждение шляхетского корпуса и, наконец, 6) важные льготы по военной службе с сокращением срока службы до 25 лет. Таким образом, на пер-

¹⁰ Из генералитета (170) присутствовало в Москве 87 человек.

вый раз применение политической теории к русской действительности только дало лишний толчок стихийному процессу развития сословных привилегий. Оно не имело, конечно, ничего общего с теорией, кроме случайного хронологического совпадения.

БИБЛИОГРАФИЯ

Для общей истории времени пособия: Соловьев, *История*, т. XVIII-XX (IV компактного издания); Walliszewski, *L'héritage de Pierre le Grand, règne des femmes, gouvernement des faoris (1725-1741)* (Paris, 1900). На этой книге невыгодно отразилось недостаточное изучение эпохи в русской литературе. Brückner, *Die Europaisirung Russlands* (Gohta, 1888). О развитии роскоши при дворе см. кн. Щербатова, *О повреждении нравов в России*, в его сочинениях, т. II (СПб., 1898), также в "Русской старине" (1870). О провинциальном дворянстве см. *Записки* Болотова, ч. I, изд. "Русск. старины", 3 изд. (1875). Материал этих *Записок* обработан в книге Е.Н. Щепкиной, *Старинные помещики на службе и дома. Завещание отеческое* Посошкова впервые издано в полном виде под ред. Е. Прилежаева (СПб., 1893). Помимо *Завещания* для характеристики употреблено специальное сочинение Посошкова против раскола и протестантизма: его *Зеркало*, изд. в сочинениях Посошкова, ч. II (М., 1863), кроме 23 главы, трактующей о протестантизме и до сих пор неизданной: ее изложение см. в кн. А. Царевского, *Посошков и его сочинения* (М., 1883). *Юности честное зеркало*, 5 изд. (СПб., 1767). *Совершенное воспитание детей* Беллегарда, пер. С. Волчкова (1747). Выписки из того и другого, а также и из двух рукописных руководств, цитированных в тексте, см. М.И. Демков, *История русской педагогики*, ч. II, (СПб., 1897). *Разговор о пользе наук и училищ* Татищева издан Н.А. Поповым в "Чтениях Общества истории и древностей российских", I (1887). Изложение его у Бестужева-Рюмина, *Биографии и характеристики* (СПб., 1882), слабо характеризует этот замечательный памятник. Об источниках теории Татищева см. мои *Главные течения русской исторической мысли*, 2-е изд. (М., 1908). *Краткие экономические до деревни следующие записки* Татищева изданы в *Временнике Общества истории и древностей Российских*, кн. XII (М., 1852). *Духовная* — издана Островским в *Известиях археологии, истории и этнографии при Имп. Казанском университете*, т. IV (Казань, 1884) (1855). *Правила воли монаршей Феофана* см. в *Собрании записок и т.д. Туманского*, ч. X (СПб., 1788). О попытке верховников см. *Воцарение имп. Анны Иоанновны* Д.А. Корсакова (Казань, 1880) и моя статья *Попытка государственной реформы при воцарении имп. Анны Иоанновны* в сборнике "Из истории русской интеллигенции", изд. 2-е (СПб., 1903).

III

КУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ПРОШЕДШЕГО ПРАВИЛЬНУЮ ШКОЛУ

Отношение елизаветинского поколения к реформе и просвещению. — Средства и формы, в которых совершалось просветительное движение той эпохи. — Книгоиздательство петровского времени и причина его неудачи. Новое направление издательства с 1748 года. — Переводной роман, его культурная роль. — Малая распространенность книги. — Культурная деятельность учащейся молодежи. — Петровский театр и причина его неудачи. — Роль шляхетского корпуса при начале нового театра. — Театр как арена борьбы нового направления с ложноклассическим. — Победа мещанской драмы, бытовой комедии и политической пьесы в московском театре. — Первый русский журнал при академии; журналы молодежи шляхетского корпуса и московского университета. — Миллеровский журнал устанавливает тип и источники. — Шляхетская молодежь доставляет перевес нравоучительно-психологическому элементу и намечает задачи и темы сатиры, Сумароков вносит элемент любовной лирики; московские студенты подчеркивают принципиальную основу нравоучительных статей (естественное право) и сводят ее к идеям масонства. — Ограниченный круг влияния первой русской периодической прессы.

Из трех типов общественной мысли, с которыми мы познакомились в предыдущем разделе, один принадлежит прошедшему, другой настоящему и третий будущему. Естественно, что главное наше внимание будет обращено теперь на развитие третьего типа. Это то критическое воззрение, первую пробу которого мы видели в теориях Татищева и которое одинаково шло вразрез и с архаическим мировоззрением "подлого состояния", и с практикой "светского жития", усвоенной благородным шляхетством. Опору в своей борьбе против новых мод и старых суеверий это направление нашло в образовательных средствах, созданных реформой. Но отношение к образованию было у поколения, выросшего в преобразованной России, уже совсем другое, нежели у поколения преобразователей. Те ловили кое-как, на ходу, обрывки западной культуры и поневоле приобрели сноровку сразу вылавливать практически нужное и непосредственно приложимое. Молодое поколение очень скоро эмансипировалось от такого утилитарно-технического характера заимствований. Вместе с тем оно на время утратило и то живое сознание связи между заимствованиями и ближайшими жизненными за-

дачами, которое поневоле было присуще петровским пионерам новой культуры. Как жильцы нового дома пользуются его удобствами, не зная, как он построен, и не чувствуя еще нужды приступить к ремонту, к надстройкам и перестройкам, так точно чувствовало себя поколение, родившееся во втором десятилетии XVIII века. Главные вопросы казались навсегда решенными; оставались детали и орнаменты. Принципиальная оппозиция против Петра уже настолько отошла в прошлое, что сыновья тогдашних националистов-оппозиционеров получили возможность выступить под знаменем петровской реформы. Они выдвинули этот лозунг против иностранных дельцов, оставшихся полтора десятка лет, при Анне, главными исполнителями реформы. Это оригинальное возвращение к Петру под знаменем национализма само по себе показывало, как далеко елизаветинское поколение отошло от понимания жизненных противоречий, вызванных реформой, и как скоро оно забыло о прошлом. Реформа стояла перед этим поколением, как непререкаемый, окончательный факт. За нее нечего было и не с кем было бороться. Ее предстояло эксплуатировать, то есть прежде всего прогнать "эксплуататоров"-иностранцев и занять их места, а затем извлечь из нового положения как можно больше жизненных наслаждений. Один из прогнанных, Миних, приноровляясь к настроению минуты, пробовал вымолить себе пощаду Елизаветы вот какого рода проектом "шествования по стопам" преобразователя. Петр, по его словам, рассчитывал все пространство между Ораниенбаумом и Ладогой, на протяжении 220 верст, застроить увеселительными домами, парками, фонтанами и каскадами, бассейнами и резервуарами, садами и зверинцами. Каждый год он предполагал с министрами, генералами и дипломатическим корпусом совершать увеселительную прогулку по Неве и каналу, среди всех этих чудес искусства. Миних предлагал все это осуществить к удовольствию Елизаветы. Приманка была, конечно, чересчур уже груба, но зато очень характерна для всего поколения сверстников императрицы. Действительно, гораздо доступнее, понятнее, вразумительнее, чем "польза" новой культуры, было для этого поколения то "увеселение", которое можно было почерпнуть из этого источника.

Мы видели, в чем находили удовольствие в середине века любители "светского жития". Теперь мы должны прибавить, что и лучшие люди того же поколения, — враждебные светским излишествам и рассеяниям, — все-таки искали удовлетворения в удовольствиях же, только более тонких и культурных. Новую ноту вносит здесь лишь поколение, родившееся в самом начале царствования Елизаветы и выступившее в литературе в самом его конце. Но и оно стоит на только что подготовленной почве. Культ утонченных удовольствий сердца послужил и для него основанием, на котором оно создало свое более отвлечен-

ное, более далекое от жизни, но зато и более идеальное представление о целях и о сущности нового просвещения.

С таким условным, беспредметным идеализмом культурное движение елизаветинской эпохи составляет естественный переход от безыдейного реализма петровского времени к первым попыткам сблизить реальность с идеей и вновь ввести в литературу обсуждение жизненных вопросов — в век Екатерины II. Как нельзя лучше этому переходному характеру елизаветинской литературы соответствует и характер среды, в которой она развивалась. Это были не практические дельцы петровского времени и не "философы"-просветители екатерининского. Движение все еще совершалось в непосредственной близости ко двору и правительству, но уже вышло из тесного круга правительственных лиц. Главный материал для этого культурного движения дала подраставшая молодежь новооткрытых высших учебных заведений: сперва академического университета, потом — и в гораздо большей степени — сухопутного шляхетского корпуса и, наконец, в самом конце эпохи — московского университета. В тех пределах — чисто ученических "добрых намерений" и "невинных упражнений", из которых пока еще не выходило движение тогдашней учащейся молодежи, оно нисколько не противоречило настроению двора. Нашлись даже точки соприкосновения с ним в стремлении соединить приятное с полезным. В таких случаях молодежь встречала со стороны двора и императрицы прямую поддержку.

Простодушная, привыкшая окружать себя мужской молодежью, жадная до развлечений и наслаждений императрица, сама дебютировавшая несколькими стихотворениями в модном тогда сентиментально-любовном жанре, была довольно подходящей центральной фигурой для характеризуемого культурного момента. Конечно, и при ней искусство и литература продолжали — даже в усиленной степени — служить аксессуаром и орнаментом придворной обстановки. Но это выходило как-то искреннее, естественнее, без той чопорности и церемонного формализма, в которые так неумело рядился неуклюжий двор императрицы Анны, без того крикливого противоречия с окружающими нравами, которое чувствовалось на каждом шагу в маскарадах, триумфальных шествиях и школьных спектаклях петровского времени. "Педантство", в лице Тредьяковского, уступило место "хорошему вкусу", в лице нового придворного поэта Сумарокова, посвятившего всю жизнь на увеселение двора". Мы увидим, однако, что к концу царствования литературное движение решительно вырастает из этих придворных рамок, продолжая все время оставаться в руках учащейся молодежи.

Помимо школы, главным образовательным средством служила книга. К этому присоединился еще теперь любительский спектакль и, в конце периода, книжка периодического журнала. На всем этом — на книге, театре и периодической прессе —

отразился самым решительным образом переход просветительной роли из рук власти в руки молодого поколения и соответственная перемена во взглядах на самые задачи просвещения.

Благодаря Петру Великому, русский читатель впервые получил светскую книгу, напечатанную (с 1708) "новоизобретенными амстердамскими литерами", то есть гражданским шрифтом. Но на первый раз ни содержание, ни язык этой книги не могли привлечь к ней симпатий читателя. В учрежденных Петром казенных типографиях печатались произведения, составленные или чаще всего переведенные по личному выбору и распоряжению императора. Выбор этот соответствовал целям Петра, но несколько не соответствовал вкусам тогдашнего читателя. Читатель старого покроя интересовался, кроме священного писания и житий святых, духовно-нравственными произведениями вроде "Великого Зеркала". Читатель нового типа увлекается произведениями повествовательной литературы, повестями "умильными", или "потешными", или "чудными" (там же). А Петр спешит обогатить русскую литературу тяжеловесными переводными учебниками по артиллерии и фортификации, по инженерству и военной архитектуре, по "художествам — математическому, механическому, хирургическому, архитектуре-цивилис, анатомическому, ботаническому, милитарис и прочим тому подобным". Царь строго наблюдал при этом, чтобы переводилось только дело, а не разговоры, "чтобы не праздной ради красоты, а для вразумления и наставления чтущему было", "понеже немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того, чтобы велики казались, — чего, кроме самого дела и краткого перед всякою вещью разговора, переводить не надлежит". В довершение всего, выбор делался наудачу по заглавиям, и иногда оказывались переводными руководства, трудные даже и для специалистов (например, Кургорна). А так как переводчики почти всегда, "которые умели языки, — художеств не умели, а которые умели художества, языку не умели", — то естественно, что зачастую из печати выходила макулатура, ни для кого не понятная и ни к чему не пригодная. При этих условиях русский читатель просто-напросто игнорировал произведения новой гражданской печати и продолжал пробавляться по-старому, рукописной литературой. Уже в 1703 г. голландский купец, торговавший русскими книгами, напечатанными по поручению Петра в Голландии, жаловался царю на то, что его книги не продаются и что он терпит убыток, "понеже купцов и охотников в землях вашего величества зело мало". Однако в то же время синодальная типография торговала бойко своими церковно-служебными книгами и букварями, печатавшимися и расходившимися в тысячах и десятках тысяч экземпляров. Из произведений новой печати тысячами распродавались только указы (с 1714), сотнями месящесловы и десятками — некоторые любимые произведения

среднего читателя, к которым он уже привык в рукописных списках. Положение оставалось таким до второй половины века, по наблюдению такого знатока русской читающей публики, каким был Новиков. "У нас, — говорил он, — только те книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями издаются, которые сим простосердечным людям (мещанам нашим) нравятся. В подтверждение сего мнения служат те книги, кои от просвещенных людей (екатерининского времени) никакого уважения не заслуживают и читаются одними только мещанами. Сии книги суть: "Троянская история", "Синописис", "Юности честное зеркало", "Совершенное воспитание детей", "Азовская история" и некоторые другие. Напротив того, книги, на вкус таких мещан не попавшие, весьма спокойно лежат в хранилищах, почти вечною для них темницею назначенных".

Такова именно и была судьба петровских переводов. В 1743 г. Академия наук представила Сенату оригинальный проект обязательной распродажи залежавшихся изданий петровского времени. Каждый чиновник, как по военной, так и по гражданской части, во всех учреждениях и присутственных местах всей России, должен был по этому проекту купить в Академии книг на 5-6 рублей с каждой сотни получаемого им жалованья. Купцов тоже предполагалось привлечь к уплате этого курьезного налога "по пропорции их торгу". Еще решительнее поступила с петровскими изданиями синодальная типография. Она прямо пустила их на обложки для вновь выходящих книг (1752, 1769, 1779).

В конце концов книгоиздательство должно было уступить "мещанскому" вкусу, тем более что до Екатерины этот вкус вовсе нельзя было бы назвать исключительно вкусом "мещан". Его разделяла и "благородная" публика, бесспорно предпочитавшая "умильный" и "потешный" элемент в литературе сухим и неудобоваримым петровским учебникам. Как только реформирована была Академия введением нового устава, новый президент ее — гр. Разумовский — передал ей (27 янв. 1748) изустный указ Елизаветы — "стараться при Академии переводить и печатать на русском языке книги гражданские различного содержания, в которых бы польза и забава соединены были с пристойным к светскому житию нравоучением". Во исполнение указа Академия приглашала через "С.-Петербургские Ведомости" желающих переводить книги с иностранных языков и обещала переводчикам в виде гонорара — по 100 экземпляров переведенной книги. Это был один из первых случаев непосредственного привлечения молодежи высших учебных заведений к участию в просветительной деятельности. Очерченный в указе характер желательных переводов так же хорошо совпадал с интересами этой молодежи, как и со вкусами читающей публики. Объявившиеся по публикации переводчики оказались большей частью учениками академической гимназии и университета или

же служащими при Академии. В результате нового направления издательства и книжное дело значительно оживилось. Издательская деятельность так возросла в 50-х годах, что старая академическая типография оказалась не в состоянии выполнить всех заказов. Заведена была "новая" типография, с прямой целью "умножить в оной печатание книг, как для удовольствия народного, так и для прибыли казенной". Действительно, новая типография печатала в огромном количестве экземпляров книги, удовлетворявшие "мещанскому" вкусу, вроде перечисленных Новиковым: "Троянской истории", "Повести о разорении Иерусалима", "Синописа" и т.п. При таком направлении дела обе поставленные цели, то есть и "удовольствие народное" и "казенная прибыль", были вполне достигнуты.

Но, сделавшись выгодным промышленным предприятием, книжное издательство и торговля немного принесли бы пользы просвещению, если бы ограничились перепечаткой старых продуктов популярной литературы, распространенных и без того в рукописных списках. Приглашенная к сотрудничеству интеллигентная молодежь принялась искать свежего материала для переводов в популярных произведениях заграничной литературы. Скоро она нашла литературный жанр, одинаково привлекательный и для интеллигентного читателя, и для серой публики. Этим жанром, действительно соединявшим, как требовал указ 1748 г., "пользу и забаву с пристойным к светскому житию нравоучением", был переводной роман. Роману скоро суждено было сделаться самым популярным, если не самым модным видом литературы XVIII в. В смысле развития первых отвлеченных чувств, на которых сходились полуобразованный верх и вовсе необразованный низ русского общества, переводной роман сыграл еще более важную культурную роль, чем оригинальная любовная лирика. Что давал переводный роман русскому читателю, об этом пусть скажет нам, впрочем, сам этот читатель. "Обыкновенно обвиняют романы, — говорит Болотов, зачитывавшийся романами в середине XVIII в., — в том, что чтение их не столько пользы, сколько вреда производит и что они нередко ядом и отравой молодым людям почестья могут. Однако я торжественно о себе скажу, что мне не сделали они ничего дурного. Сколько я их ни читал, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце..., но чтение оных, напротив того, произвело для меня бесчисленные выгоды и пользы... Читая описываемые происшествия во всех государствах и во всех краях света, я нечувствительно узнал и получил довольное понятие о разных правах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого и как люди в том и другом государстве живут и что у них там водится... Не меньшее понятие получил я и о роде разного состояния людей, начиная от владык земных до людей самого низкого состояния.

Самая житейская светская жизнь во всех ее разных видах и состояниях и вообще весь свет сделался мне гораздо знакомее перед прежним... Что касается до моего сердца, то от многого чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствованиями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и самого себя точно как переродившимся. Я начинал смотреть на все происшествия в свете какими-то иными и благонаравнейшими глазами; а все сие и вперяло в меня некое отвращение от грубого и гнусного общества и сообщества с порочными людьми... Что же касается до увеселения, производимого во мне сим чтением романов, то я не знаю уже, с чем бы оное сравнить и как бы изобразить оное. А довольно, когда скажу, что оное было беспрерывно и так велико, что я поныне (то есть около 40 лет спустя) еще не могу позабыть тогдашнего времени и того, сколь оно было для меня приятно и увеселительно". Подобные признания мы слышим от многих лиц, юные годы которых прошли во второй половине XVIII в.¹ Нельзя не заключить из них, что переводной роман действительно был серьезной культурной силой, облагораживавшей чувства и возбуждавшей умственные интересы. Чтение романов, наряду с затверживанием любовных песен, было первой школой русского идеализма.

Однако же, в течение всей первой половины века круг влияния романа был весьма ограничен уже просто потому, что печатная светская книга оставалась большой редкостью. Книжных лавок, кроме петербургской академической и московской синодальной, не существовало. В провинции добыть новую книгу было совершенно невозможно. Только что упоминавшийся Болотов был страстным охотником до чтения и, как сын полковника, принадлежал, по-видимому, к среде, в которой сравнительно легко было доставать книги. Тем не менее и в его детстве и юности каждая новая книга была важным и редким событием, которое он помнил до старости и через несколько десятилетий аккуратно занес в свои записи. Одиннадцати лет, во французском пансионе он наткнулся на "Похождения Телемака", пробудившие у него вкус к чтению и послужившие для него "фундаментом всей будущей учености". На следующий год он обревизовал книги своего отца и нашел среди них две по своему вкусу. Это были жалкий учебник истории Гильмара Кураса и история походов принца Евгения: первую Болотов перечитал трижды, вторую дважды. Зброшенный затем в глухую деревню, он принужден был довольствоваться повторением своих учебников немецкой и французской грамматики и географии. Только через два года, вернувшись снова в Петербург, напрактиковавшись несколько во французском разговоре у мосье Лаписса и переняв кое-что случайно из геометрии у товарища по занятиям, Болотов обогатил свой репертуар светских знаний

¹ В это время, как увидим, особенно усилилось чтение и издательство романов.

несколькими модными любовными песенками и чтением печатной сумароковской трагедии "Артистона" и рукописного любовного романа "Эпаминонд и Целериана", перечитанного им дважды. Прошел еще год. Умирая от скуки в своей деревне, Болотов раздобылся у соседей "Камнем Веры" и "Четырми-минями," а у дяди рукописными курсами геометрии и фортификации, записанными когда-то под руководством известного Ганнибала. Богословские аргументы Яворского были скоро изучены, к великому изумлению сельских попов; чертежи Ганнибала перечерчены, по чертежам кое-как усвоен и математический текст. Истошив все эти ресурсы, Болотов принялся списывать Телемака с печатного экземпляра и списал его всего; списал и любимые жития святых. Затем оставалось только вернуться к двум иностранным грамматикам и к географии. Но этого даже терпение Болотова не выдержало. Повертев несколько раз в руках, он их бросил. Дошла и до деревенского захолустья весть о новом необыкновенно интересном романе "Аргениде" (Баркляя, перевод Тредьяковского, в ответ на известный нам вызов Академии), где "все можно найти — и политику, и нравоучение, и приятность и все и все". На этой заманчивой новинки в деревне получить было нельзя. На счастье Болотова, ему минуло шестнадцать лет; надо было собираться в полк, на службу. По приезде в Петербург, первый выход Болотова был в академическую книжную лавку, где он нашел не только вожделенную "Аргениду", но и только что вышедшего тогда в русском переводе "Жиль-Блаза" Лесажа. С третьим знаменитым тогда романом — "Житием Клевеланда, философа английского" аббата Прево Болотов познакомился вскоре уже в немецком переводе, не дожидаясь русского, вышедшего в 1760 г.

Эти шесть лет (1749-1755) из биографии русского читателя нового типа лучше всего могут объяснить нам, почему современное литературное движение могло возникнуть только в столицах и только в той удобной для самообразования обстановке, какую создавало товарищеское общение между учениками высших учебных заведений. Такой характер среды, в которой совершалось новое движение, предопределил и его формы. Формы эти были те же, какие и теперь можно встретить среди учащейся молодежи среднеучебных заведений: началось любительскими спектаклями, продолжалось литературными упражнениями в кружках самообразования, кончилось созданием литературных журналов. Особенность момента была та, что эти ученические упражнения оказались передовыми, пионерскими для целой России. При этом условии ученический спектакль послужил основой, на которой возник первый русский театр, а ученический журнал положил начало русской периодической прессе.

Правда, петровское время и здесь предупредило елизаветинское. Но петровские попытки и в данном случае оказались безу-

спешными по той же причине, по которой кончилось неудачей и его книгоиздательство. Чересчур еще неподготовленному обществу была предложена слишком канцелярским путем совершенно неудобоваримая пища.

Театр царя Алексея был случайным эпизодом, не оставившим по себе никаких следов. Притом московские спектакли XVII в. были доступны лишь царской семье и немногим придворным. Петр Великий задумал создать общедоступный театр и нашел для него место на Красной площади. Вопреки пассивному сопротивлению посольских дьяков, в 1702 г. отстроена была на площади поместительная "комедиальная хранина". Тогда же выписана была из Германии труппа актеров, под управлением Кунста, которого заменил после его смерти (1703) Фюрст. Два раза в неделю давались представления; указом 1705 г. приказывалось "смотрящим всяких чинов людям российского народа и иноземцам ходить" на представления "повольно и свободно без всякого опасения". Разрешено даже не запираť городских ворот в день представления до 9 часов; с проходящих не бралось пошлины для того, чтобы "смотрящие того действия ездили в комедию охотно". Уже в 1704 г. отданные для выучки Кунсту подьячие и посадские (10 человек) начали давать представления по-русски, а в 1705 г. только русские спектакли и давались. Все это, однако, не привлекло в театр значительной публики. Судя по цифрам сборов в самые удачные летние дни число посетителей не превышало 400, обыкновенно же эта цифра была гораздо ниже, а зимой спускалась иногда до 25. Уже в 1707 г. спектакли прекратились. "Комедийная хранина" на Красной площади была заброшена, а театральная обстановка взята царевной Натальей для ее домашнего театра в Преображенском. Такое быстрое охлаждение любопытства, не успевшего развиться в прочный интерес к театру, в значительной степени объясняется самым характером репертуара. Полтора десятка пьес, перешедших на московскую сцену из репертуара немецких странствующих актеров, могли привлекать публику только шутовскими интермедиями да раздирательными сценами убийств и отравлений, которыми была так богата модная немецкая пьеса того времени. Все, что выходило из этих рамок балагана, — высокие чувства и нежные любовные объяснения, совершенно пропадало в неуклюжем переводе посольских подьячих. Эти невольные переводчики по служебной обязанности — терялись перед непривычной и невозможной задачей — передать прозой посольского приказа вычурные фразы немецкой торжественной трагедии и живой диалог Мольера. Какое, например, впечатление на зрителя могло произвести страстное любовное объяснение, веденное в таких выражениях, как следующие: "Удовольствия полное время, когда мы веселость весны без препятая и овощ любви без зазрения употреблять могли. Приди, любовь моя! Поволь через смотрение наших цветов оче-

са и чрез изрядное волнение чувствования нашего наполнить” и т.п.? Или вот во что обращался в подъяческих руках игривый разговор Юпитера с Алкменой (в “Амфитрионе”): “Во мне, милая и любимая Алкмена, ты видишь мужа и любителя, кроме любительного имени не хочу я себе дати, хотя я с тобою вместо мужа пребывал. И той любитель твоей воли с ревностью желает, дабы твое сердце к нему одному склонилось, а страдания того не хочет, что именем муж дает”. Эти пудовые фразы составляют плод безуспешной борьбы переводчика с следующими строками Мольера:

En moi, belle et charmante Alcméne,
Vous voyez un mari, vous voyez un amant;
Mais l'amant seul me touche, à parler franchement;
Et je sens, près de vous, que le mari le gêne.
Cet amant, de vos vœux jaloux au dernier point,
Souhaite, qu'à lui seul votre coeur s'abandonne,
Et sa passion ne veut point
De ce que le mari lui donne.

Это сопоставление одно может показать, насколько безжизнен был русский театр петровского времени.

В полуиностранном Петербурге конца петровского царствования кое-как влачила существование вольная немецкая труппа, спектакли которой преимущественно посещались двором. Кроме придворных “из русских никто не ходил смотреть их, а из иностранцев также бывали немногие” (Берхгольц). После Петра придворный спектакль вошел в обиход придворной жизни; но это была не трагедия и комедия, а опера и балет. Композитор — итальянец — Франческо Арайя составил из придворных певчих оперный хор, а в роли танцоров явились воспитанники шляхетского корпуса, где, как мы знаем, хореографическое искусство преподавалось успешнее всех наук в руках Zandet. Maître Zandet хвалился даже впоследствии, “что нигде в Европе не танцевали минуэта с большей грацией, чем при петербургском дворе”. В конце царствования Анны появилась помимо итальянской оперы и немецкая драматическая труппа под дирекцией Нейбурга. Если вспомним, что после танцев всего больше учились в корпусе немецкому языку, то естественно будет предположить, что и представления немецкой труппы не прошли для кадет бесследно. При Елизавете Арайя и Ланде сохранили свое положение. Но на смену Нейбургу явилась французская драматическая труппа Сериньи, в составе которой было несколько актеров из Comédia française.

Это было последним толчком, вызвавшим подражание со стороны корпусной молодежи. Корпус дал двору танцоров, ему предстояло теперь дать актеров и драматургов. Помимо интереса к делу, тут было замешано самолюбие и выгода: за Чеглоковым, сделавшим карьеру танцами при Анне, следовал Бекетов,

впервые привлечший внимание Елизаветы исполнением роли "Хорева". В 1749 г., как известно, разыграны были в корпусе одна за другой четыре оригинальные пьесы Сумарокова: "Хорев", "Гамлет", "Синав" и "Артистона". В феврале следующего 1750 г. кадеты повторили "Хорева" на сцене Зимнего дворца; затем, в течение года они дали еще пять придворных спектаклей. Однако же, на постоянное профессиональное участие в спектаклях — таких любителей-кадет, как князь Мещерский, граф Бутурлин или барон Остервальд, рассчитывать было нельзя. Раз забава становилась постоянной, надо было организовать специальную труппу. В ход были пущены старые средства. В марте 1752 г. семеро придворных певчих отданы "для обучения наукам", то есть для приобретения культурной внешности, в шляхетский корпус. За ними через несколько дней поступили в корпус еще двое "ярославцев" — посадских из провинциальной любительской труппы, доставленной волею императрицы, в полном составе на казенный счет в столицу. Это был Дмитриевский и Попов. Братья Ф. и Гр. Волковы, по видимому, поехали с двором в Москву (1753) и только по возвращении оттуда тоже определены в шляхетский корпус (январь 1754 г.). По соседству с корпусом, на месте теперешней Академии художеств, в доме Головина будущие актеры должны были практиковаться в представлениях. Наконец, в 1756 г. обучение певчих и "комедиантов", отданных в корпус, закончилось. Осенью этого года русский театр был учрежден официально, а 5 мая 1757 г. дано "первое представление для народа вольной трагедии русской за деньги". В том же году учрежден русский театр в Москве под управлением Хераскова — тоже воспитанника корпуса. Однако свободное посещение театра петербургской публикой продолжалось недолго. В 1761 г. восстановлен был старый порядок раздачи мест по чинам. Только при Екатерине, с постройкой нового здания (на месте теперешнего Большого театра) открылось в Петербурге вновь "публичное русское комедийное зрелище" (1783). Такой длинный перерыв (1761-1783) дал, как увидим, Москве преимущество в развитии театральных вкусов.

Шляхетский корпус, так много сделавший для устройства русского театра, дал ему и репертуар. В первое время игрались исключительно произведения Сумарокова. С 1757 г. к ним присоединились переводы, сделанные воспитанниками. В этом году поставлены были на сцену в переводах Кропотова, Нартова и Елагина 6 комедий Мольера, по одной — Гольберга, Лафона, Сен-Фуа; в 1758 г. еще две комедии Мольера (перев. Свистунова и Чаадаева) по одной — Леграна (А. Волков) и Дегуша (А. Нартов), две итальянских (Булатницкого и Карина). Как видим, начало театра вызвало усиленную литературную работу в корпусе. Продукты этой работы стояли несравненно выше переводов петровских подъячих. Искусственность и приподнятость су-

мароковских трагедий не только не мешали публике наслаждаться ими, но вполне соответствовали модному вкусу. Офицерская молодежь знала наизусть эффектные монологи и, подражая актерам, любила "прокрикивать стихи и с жестами делать декламации" (Болотов). Дмитриевский и Троепольская производили такого рода декламацией огромное впечатление на публику в пьесах сумароковского репертуара. Трагическая коллизия у Сумарокова была всегда любовного характера. Даже "непросвещенного" Шекспира он переделал на свой лад, выдвинув на первый план в числе психологических мотивов гамлетовского колебания его страсть к Офелии, а из Полония, отца возлюбленной, сделав главного соучастника в убийстве отца Гамлета и, следовательно, предмет его мщенья. Так было понятнее и чувствительнее в глазах современной публики. Но увы, поклонник классической трагедии, явивший театр Расинов россам, не сознавал, что, выдвигая так сильно любовь, он уже изменяет основному принципу классической трагедии — выводить лишь исключительных людей и исключительные чувства. Положение было тем опаснее для сумароковской теории, что ложноклассицизм водворялся у нас на сцене в то самое время, когда в Европе уже изгонялся с нее, уступая место изображению обыкновенных людей и обыкновенных чувств в мещанской драме. Произведения этого рода попадали на русскую сцену одновременно с сумароковскими подражаниями Корнелю и Расину. Естественно, что русская публика, не посвященная в тонкости европейской литературной борьбы, смешала Сумарокова с представителями нового, более живого направления, а старое, формалистическое, мертвое направление ложного классицизма олицетворяла в оде, как литературном жанре, и в Ломоносове, как его официальном представителе. Спор о том, кто выше: Ломоносов или Сумароков, и что лучше: ода или трагедия, — сделался "модной" темой литературного разговора. Разумеется, молодое поколение отдавало предпочтение трагедии и Сумарокову. В России, наверное, было известное место из "La Critique de l'école des femmes", в котором Мольер один из первых подверг резкой критике искусственность ложноклассический трагедии. "Гораздо легче витать в сфере высоких чувств, бросать в стихах вызов счастью, осыпать обвинениями судьбу, поносить богов, чем проникать в смешные стороны человеческой природы и заинтересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героев, вы делаете это, как вам вздумается. Это совершенно произвольные образы, в которых нечего искать сходства с чем-нибудь действительным... Но когда вы беретесь изображать действительных людей, вы должны их брать, какими они являются в жизни. Необходимо, чтобы ваши создания походили на действительность; ваша работа утратит всякое значение, если в ней не узнают типов современности". То, что здесь говорится о преимуществах комедии перед траге-

дией, в России повторялось относительно преимуществ трагедии над одой. При официальности и, еще недавно, полной бессмысленности придворного одопения даже классическая трагедия казалась самой жизнью и действительностью в сравнении с одой. "Одист на своей лире, — говорилось в "Адской Почте" (1769), — говорит обыкновенно с одними героями, а трагик со всеми человеками. Один наполняет свое сочинение вымыслами, а другой истинными рассуждениями; тот летает по воздуху, по небесам, а другой остается на земле; тот выдумывает, чего нет и чему иногда быть не можно, а сей и то, что есть, тонкостью своей разбирает; и ежели теперь больше на свете людей, чем героев, — то смею сказать, что трагедия полезнее оды... Трагик... можно скорее и больше сделать людей, хорошо мыслящих, нежели одисту героев; а из сего и большинство пользы видно". Как видим, критик защищает трагедию такими аргументами, которые собственно относятся к мещанской драме, и выдвигает против обвинения, которые падают всей своей тяжестью на саму классическую трагедию. Это характерное смещение трагедии с драмой наглядно отразилось в пестроте репертуара, особенно заметной в Москве, в Херасковском театре, доступном для публики и более свободном от личного влияния Сумарокова и его классических теорий. Знаменитая пьеса Бомарше завершила здесь торжество мещанской драмы, и напрасны были все протесты Сумарокова против "скарёдного вкуса москвичей". Напрасны были жалобы на новый жанр самому Вольтеру; напрасен был даже авторитетный ответ старика, скрывшего собственные колебания под не совсем искренним осуждением этих *pièces bâtardes*, этого *genre larmoyant*, который *avilît le cothurne*. Общество продолжало у самого Сумарокова и его продолжателей, Княжнина, Озерова, Крюковского — ценить ту самую живую струю, которая окончательно победила в новом направлении: живое человеческое чувство. Никогда не пережив само эпохи господства подлинного, строгого классицизма, общество готово было к восприятию новейших течений драматургии. Таким образом, на русскую сцену скоро и беспрепятственно проникла и бытовая пьеса, как "Мельник" Аблесимова (1779) и настоящая комедия "типов современности" (Фон-Визин), сравнительно с которой сама мольеровская комедия отходила в Европе на второй план, как комедия абстрактных общечеловеческих типов. Явилась и обличительная комедия императрицы Екатерины и, наконец, пьеса с политической тенденцией, принятая одно время под личную защиту самой императрицей. 12 февраля 1785 г. в Москве дана была пьеса такого характера, принадлежавшая знаменитому некогда писателю Николеву, "Сорена и Замир". Трагедия имела огромный успех. Весь театр плакал навзрыд о судьбе супругов, разлученных злодеем Мстиславом, российским царем, и погибших насильственной смертью. Автор не пожалел красок для характеристики ко-

варного Мстислава. Следующие стихи обратили на себя особенное внимание московского главнокомандующего:

Исчезни навсегда, сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей воле;
Льзя-ль ждать блаженства там, где гордость на престоле,
Где властью одного все скованы сердца?
В монархе не всегда находим мы отца.

Главнокомандующий приостановил дальнейшие представления пьесы и отослал Екатерине рукопись с своими отметками. "Удивляюсь, — отвечала Екатерина, — что вы остановили представления трагедии, как видно, принятой с удовольствием всей публикой. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого не имеет отношения к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью".

Естественно, что теперь и отношение к театру со стороны публики было совершенно иное, чем прежде. Пьесы нового направления действовали на нее в том же духе, как и новые переводные романы. Но только театр был гораздо доступнее книги и впечатление зрелища сильнее, чем впечатление чтения. Театр содействовал, таким образом, развитию той "чувствительности", которая все более и более становилась маркой истинного образования. "Петиметры" и "щеголихи" посещали вначале театр из моды; потом это вошло в привычку и наконец сделалось потребностью культурной жизни. Конечно, особый успех все еще имели в обширных кругах публики пьесы, действовавшие не на чувствительность, а на смешливость, или пьесы из народного быта, доступные для самых низменных слоев мещанства. Аблесимовский "Мельник" выдержал, по сообщению Крылова (в "Зрителе"), более 200 полных представлений в демократическом московском театре. Более тонкая петербургская публика все же смотрела его 27 раз подряд в вольном театре Книппера (начало 80-х гг.).

Мы вышли за пределы характеризуемого периода, чтобы не возвращаться к истории театра в следующую эпоху, когда наше внимание будет занято более сложными проявлениями русской общественности. Подготовку к этим более сложным явлениям мы найдем, в пределах елизаветинского времени, не столько в истории театра, сколько в истории русской периодической печати. Первые русские журналы (конца 50-х и начала 60-х гг.) покажут нам русскую общественную мысль в состоянии наибольшей зрелости, какой она могла достигнуть, оставаясь на школьной скамье тогдашних высших учебных заведений или только что сойдя с этой скамьи. Академический университет и здесь, как в деле книгоиздательства, положил начало. И самый толчок к изданию первого популярного журнала дан был тем же событием академической жизни, которое вызвало оживление деятельности переводчиков в новом, более популярном на-

правления: новым уставом и новым президентом. Для первого редактора и первых сотрудников русского журнала — писательская деятельность была службой, которую они обязаны были отправлять по приказанию графа Разумовского. Обязательные сотрудники назначены были из числа академических студентов с жалованьем 100-150 руб. в год. Обязательным редактором сделан был историк Миллер, от личной энергии которого и личных знаний зависело и направление, и успех журнала. Когда Миллер переведен был на службу из Петербурга в Москву, то и журнал прекратился, после десятилетнего существования (1755-1764). За этот промежуток времени "Ежемесячные сочинения" Миллера успели, однако, вызвать к деятельности целый кружок добровольных сотрудников. Добровольцами явились опять известные нам воспитанники шляхетского корпуса (Сумароков, Елагин, Нартов, Херасков, Порошин). Втянувшись, при посредстве спектаклей и театра, также и вообще в литературные интересы, они составили между собой целое общество любителей русской словесности. Здесь читались литературные опыты сочленов; отсюда они переходили в редакцию "Ежемесячных сочинений". Через несколько лет после начала миллеровского журнала молодежь решила завести свой собственный орган. Журнал кадет ("Праздное время, в пользу употребленное") — первый журнал в России, заведенный частными лицами, — издавался в типографии корпуса и просуществовал два года (1759-1760), выходя еженедельно. Одновременно с ним Сумароков издавал свой особый журнал, "Трудолюбивую пчелу", прекратившийся на первом году (1759). Наконец, член того же кружка, Херасков, вместе с театром перенес в Москву и издание литературных журналов. Новый состав сотрудников скоро подобрался здесь из воспитанников только что открытого Московского университета. При деятельном участии университетской молодежи Херасков издавал один за другим два журнала: "Полезное увеселение" (дек. 1760 — июнь 1762) и "Свободные часы" (1763). Наконец, в Москве, как и в Петербурге, отдельные сотрудники Хераскова делали попытки выступить с собственными журналами однородного характера ("Невинное упражнение" Богдановича в 1763 г. и "Доброе намерение" Санковского в 1764 г.).

Уже самые заглавия сближают перечисленные журналы в одну общую семью. Характер их, действительно, одинаков — так же как и стремления, одушевляющие их участников, несомненно, одни и те же. Но, всматриваясь внимательнее в особенности отдельных журналов, нетрудно заметить в смене главных из них признаки быстрого внутреннего роста. На этом росте еще важнее остановиться, чем на общей характеристике названных журналов.

"Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащих" носят двойственный характер. Миллер является в них, с

одной стороны, специалистом-историком, с другой — посредником между русскими читателями и современной ему европейской журналистикой. Как историк, он загромождает свой журнал массой материала, сделавшего "Ежемесячные сочинения" слишком тяжелым чтением для того времени и сохранившего за ними до сих пор некоторый интерес для специалистов. Как проводник европейской журналистики, Миллер дает точный сколок с бесчисленных гамбургских, ганноверских, лейпцигских и т.д. "сочинений, к пользе и увеселению служащих". Прототипом всех их были знаменитые журналы Аддисона и Стиля: "Болтун", "Зритель" и "Опекун". Число подражаний этим английским журналам доходило в Германии к 1760 г. до 180. В этих иностранных образцах и источниках "Ежемесячных сочинений" тип первого русского журнала был уже предопределен. Это была отвлеченная и потому чересчур бледная мораль, улавливавшая только общие психологические мотивы человеческих страстей, бичевавшая только ярлыки пороков, претендовавшая на решающий голос в вопросах житейской мудрости и с завидной самоуверенностью хозяйничавшая в сфере тех прописных правил и наблюдений, тех "средних аксиом", в самой формулировке которых обыкновенно гнездится наибольшее количество логических ошибок. Пословица и аллегория были любимой формой этого нравоучения, удачно скрывавшей, даже и от самих авторов, грозившие им на всяком шагу их моралистических рассуждений логические провалы. Впрочем, нравоучительные журналы и не хотели быть школой строгого мышления. Их цель была совсем другая — самосовершенствование, господство разума над страстями. Они ставили себе также целью исправление и воспитание нравов. В заключении одной из переводных статей "Праздного времени" эти цели формулированы очень характерно в следующих выражениях: "Рассуждения о нравоучении и натуре человеческой суть наилучшие способы для приведения ума нашего к совершенству и для снискания точного понятия о себе самом, следовательно, и для освобождения наших душ от пороков невежества и предрассуждений, которым они подвержены. Вот то намерение, которое предпринял я в моих рассуждениях, и надеюсь, что они могут несколько вспомоществовать к исправлению наших нравов. Но крайним образом должно признаться, что предприятие мое похвально, каким бы образом я оное ни исполнял".

Из переводных "рассуждений" такого рода на моральные темы и состоит исключительно проза "Ежемесячных сочинений", если оставить в стороне их главное содержание: статьи и материалы специального характера по русской и азиатской истории и географии. 17 нравоучительных статей переведено прямо из английских журналов, более дюжины из немецких. Оригинальны в первом русском журнале только стихи. Их в изобилии поставляет Сумароков (123 стихотворения), за которым

следуют Херасков (21) и несколько менее значительных поэтов шляхетского корпуса (А. Нартов, А. Демидов, Сем. Нарышкин, И.Л. Голенищев-Кутузов).

Из источников, указанных Миллером, в изобилии черпал и первый самостоятельный журнал молодежи, "Праздное время, на пользу употребленное". История в нем безусловно отсутствовала, за исключением нескольких страничек "Краткого известия о коммерции между Россией и Турцией", представлявшего как бы визитную карточку Миллера в молодую редакцию, и большой статьи о Дон-Карлосе, но с содержанием совершенно романическим. Стихов тоже было очень мало. Корпусная молодежь "употребляла на пользу свое праздное время" исключительно в виде переводов нравоучительных статей. Переводы не всегда свидетельствовали о полном знании языков (немецкого, французского, итальянского, английского, датского, латинского и греческого); стиль был иногда тяжел и запутан, но большей частью молодежь удачно разрешала нелегкую задачу: создать удобопонятный русский философский язык. При отсутствии оригинальных статей об интересах и взглядах переводчиков может свидетельствовать только выбор ими тем для перевода. На пространстве четырех книжек "Праздного времени" и двух лет издания журнала можно заметить, как мало-помалу внимание переводчиков, сперва рассеянное в обширном круге нравственно-психологических вопросов, мало-помалу фиксируется на темах, имеющих более близкое отношение к русской действительности. В первый год издания молодежь занимает темы обще- и отвлеченно-этические². Во второй год встречаем ряд переводных статей, которые кажутся оригинальными: до такой степени они вводят нас в круг вопросов, известных из сатирических журналов екатерининского времени. Во главе их стоит

² Для наглядности приведем список большинства этих статей 1759 года. О надежде, о пространстве разума и пределах оного (автор сходит на вопрос об умеренности, как следствии самопознания, и идеализирует довольство крестьянина); о чести (точка зрения утилитарная); о ревности, о учении (практическая необходимость стоять на уровне современного знания); о душевном спокойствии и о безумных людских желаниях; о действии доброго и худого воспитания (отношение разума к страстям); о пределах дружества; о двух путях, по которым человек в сей временной жизни последует (приятное здесь противопоставляется полезному); о излишних желаниях; о счастье и несчастье (следуй своей природе); человеческая жизнь подобна опасному путешествию; рассуждения о молчаливости; хуже ли стал свет прежнего (ответ отрицательный, причем особенно подчеркивается искоренение суеверий); счастье не от нас зависит; о честолюбии; о порицании; о славе, о худых следствиях злой и о прибытках доброй совести; о вкусе, о воспитании дочерей (передовая точка зрения); о добром употреблении страстей; о ненависти и вражде; о благодеяниях; о неблагодарности; о привидениях ("не смею отрешить все такие истории"); о примирении; об избрании сообщества; о человеческой жизни (доказательства существования будущей жизни); запрещенное охотнее исполняют; о жестокосердии (с декламацией против тиранов).

вопрос "о позволении сатиры", так горячо дебатировавшийся в екатерининских журналах. В "Праздном времени" он решается в самом либеральном смысле. Прежде всего, не всякое зубоскальство есть сатира. "Лизетта косит глазами"; над этим может упражнять свое остроумие какой-нибудь шутник в веселой компании; но до этого "нет дела сатире". Вот, когда "Лизетта бросает косые свои взоры с бесстыдною дерзостью в компаниях", тогда она становится достойным предметом сатиры, обязанность которой "представлять пороки смешными и причинять в людях омерзение к оным". Неверно, что сатира бесполезна или опасна. "Хотя сатира не всегда поправляет порочного, однако удерживает других быть порочными". Опасность же грозит такому неосторожному безумцу, "кто стал бы говорить при всяком случае правду". Рекомендую осторожность, статья, однако, прямо допускает возможность личностей в сатире. "Не почитаю я достойным наказания тех, кои при сочинении сатиры мысли свои на некоторое лицо обращают. Мысли, изъяснения и все сочинения бывают гораздо живее, имея пред собою подлинник. Они не хулят тогда *лицо*, но порок, который он имеет". Так подготовлялось, уже при Елизавете, настроение, отразившееся в сатире новиковских журналов.

Близко напоминают русскую действительность и отдельные темы сатиры в выбираемых теперь для перевода статьях. Такова, например, характеристика дворянина в статье, переведенной с немецкого кадетом П. Пастуховым³. "Скажите мне, г. дворянин, — обращается сатирик к своей жертве, — что вам милее, лошадь ли ваша или жена, лягавая ли собака или сын... Я с нижайшим моим почтением помню ту ярмарку, на которой вы купили серую в яблоках лошадь. Вы требовали полезных советов у всех ваших приятелей и имели три дня сроку, прежде нежели могли вознамериться к сей хорошей покупке, и теперь вы ей так радуетесь, что несколько часов сряду говорите о свойствах своей лошади. О жене же вашей вы говорите тем менее и весьма довольны, когда и другие вам про нее не напоминают. Вы женились на ней без дальнего размышления, не зная ее точно, — да и по сие время еще ее не знаете... (Сын ваш) подрастает... вам надобно содержать для него учителя. Учен, чтоб он не был... ему надобно учиться языкам, фехтовать и танцевать; вам надобно отдать его в чужие люди, чтобы сложил он деревенский свой обычай. О... я, с моей стороны почитаю все сие совсем за ненужное: я знаю довольно древнее ваше шляхетство. Ему в самом деле не надобно сих педантств. Но двор,... — конечно худо, да уже так сделано, — двор хочет, чтобы дети наши еще к важнейшему могли быть употреблены, кроме того,

³ Будущим членом екатерининской комиссии училищ, руководившим составлением учебников.

чтобы умели ловить только зайцев... (Тратя с сожалением деньги на обучение сына, дворянин не жалеет их на дрессировку собак...) Истинно, я... отгадал, что лошадь и собака милее вам жены и сына. Как благородно думаете, ваше благородие! Сколь превосходно рассуждение ваше пред подлыми предрассуждениями нешляхетского народа!" Затем сатирик сообщает биографию прототипа нашего "Недоросля". "У него все натура. Отец его — старик добрый и так же незнающ, как и его родители, был истинным украшением своей деревни, когда пивал с своими соседями. Нашему дворянину не доставало ни пищи, ни питья, коими милосердное попечение неба так его благословило, что он уже на восьмом году был твердого и крепкого сложения. Потом засадил его отец на лошадь. На девятом году застрелил сей надеждою преисполненный сын первого зайца — к увеселению всей высокой фамилии. Сие кавалерское упражнение продолжал он до двенадцатого года, как отец вознамерился дать ему столько наставления, чтобы умел он подписать свое имя и прочесть, что написано. Учитель мучился с ним целый год: он уже в обеих сих науках далеко дошел, как отец умер. Теперь все педагогство кончилось. Опекуны не хотели употреблять на то более иждивения, и в самом деле было уже непристойно ходить в школу такому знатному дворянину. Что помещику знать надобно было, то знал уже он по их мнению. Он умел есть, пить, спать, ездить, ходить на охоту, бить крестьян, повелевать попам, роптать на двор и спать с девушкой; и для того, назвавши себя взрослым, вступил сам во владение и женился. Думали ли, чтобы господин дворянин, при сем воспитании, был тот, которого соседи за хороший стол любят, удивляются, видя у него хороших лошадей и собак, как разумному мужу, — и чтобы за неосторожность, с которой он за столом против правительства негодует, почитали его за сына отечества? Конечно бы, не имел он всех сих преимуществ, если бы родился победнее, и воспитан был рачительнее!" Переводчики несколько раз возвращаются к подобным темам, как бы указывая этим, что выбор не случаен⁴. Но вообще говоря, такие темы составляют в "Праздном времени" исключение из известного нам обычного типа.

"Трудолюбивая пчела" Сумарокова (1759) несравненно богаче оригинальными статьями⁵, особенно стихотворениями. Выбор переводов разнообразнее (много переводов из классиков: Овидия, Горация, Тита Ливия, Лукиана, Эсхила), и стиль переводов гораздо лучше. Но в смысле развития общественной мысли она стоит на одном уровне с "Праздным временем", прибавляя только новые темы сатиры. Сумароков не избегает нападе-

⁴ О худом воспитании больших сыновей дворян, живущих в деревне, письмо слуги к господину; о излишнем щегольстве и др.

⁵ Безразличного в общественном смысле содержания: о пользе мифологии, о вопросах русского языка и грамматики.

ния на дворянскую спесь и невежество ("Сатира"). Но любимым предметом его сатирических выходов служат взяточничество и крючкотворство приказных, а затем щегольство "петиметров". Любопытно, однако, что самая яркая характеристика "петиметра", давшая материал и краски русской сатире, является в журнале переводом с датского "из Гольберговых писем". Довольно естественно, что наибольшее сочувствие дворянских читателей "Пчелы" вызвали нападки на приказных. В журнале напечатано по этому поводу благодарственное письмо к издателю от имени "некоторого общества, которых благородные мысли ответственны знатности их и благородию". Члены "благорожденного" общества "ненавидят порок лихоимства", и автор "не сомневается", что "Сумароков устыдит и усовестит те подлые души", — "если в них еще какой-либо добродетели есть остатки", — прибавляет он, впрочем, с высоты "омерзения честных людей к сему гнусному пороку".

Что касается поэзии "Трудолюбивой пчелы", она вся почти проникнута эротическим настроением, создавшим Сумарокову еще на школьной скамье славу модного стихотворца любовных романсов. В бесчисленных "элегиях", "идиллиях" и "экклогах" воспеваются игривые похождения пастухов и пастушек под тенью "сплетенных деревьев", "на бережках журчащих и по камышкам быстро текущих потоков". Некоторые из романсов не лишены, впрочем, ни чувства, ни технической ловкости стиха⁶.

Значительную разницу по содержанию и тону представляет первый орган московской университетской молодежи, сгруппи-

⁶ Приведу для примера стихотворение дочери Сумарокова, напечатанное в "Пчеле" отцом под своим именем и положенное еще раньше на музыку.

Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
Тщетно я спокойною кажусь:
Не могу спокойна быть я ни минуты,
Не могу, как много я ни тшусь.
Сердце тяжким стоном, очи током слезным
Извлекают тайну муки сей:
Ты мое старанье сделал бесполезным,
Ты, о хищник вольности моей!
Ввергнута тобою я в сию злу долю;
Ты спокойный дух мой возмутил,
Ты мою свободу превратил в неволю.
Ты утечи в горесть обратил.
И, к лютейшей муке, ты, того не зная,
Может быть, вдыхаешь о иной;
Может быть, бесплодным пламенем сгорая,
Страждешь ею так, как я тобой.
Зреть тебя желаю, а, узрев, мятущся
И боюсь, чтоб взор не изменил:
При тебе смущаюсь, без тебя крушусь,
Что не знаешь, сколько ты мне мил.
Стыд из сердца выгнать страсть мою стремится.
А любовь стремится выгнать стыд:
В сей жестокой брани мой рассудок тмится,
Сердце рвется, страждет и горит.
Так из муки в муку я себя ввергаю,
И хочу открыться, и стыжусь,
И не знаю прямо я, чего желаю,
Только знаю то, что я крушусь:
Знаю, что всеместно пленна мысль тобою
Воображает мне твой милый зрак;
Знаю, что вспаленной страстью презлою
Мне забыть тебя нельзя никак.

ровавшейся около Хераскова, — "Полезное увеселение", издававшееся три года (1760-1762). Прежде всего, эротическому элементу здесь отводится совершенно второстепенное место. Стихов, правда, очень много в журнале Хераскова. Но эти стихи, в особенном изобилии доставляемые юными поэтами А. Нарышкиным и А. Ржевским, — при ближайшем рассмотрении оказываются просто рифмованной прозой. В стихотворную форму переделяются здесь, одна за другой, те самые нравоучительные рассуждения, с которыми познакомили русскую публику предыдущие журналы. Уже одно это переложение прозы в стихи показывает, что сюжеты переводных рассуждений начали сознательно восприниматься и перерабатываться в умах только что подростшего поколения молодежи. Сознательность видна и в том особенном направлении, с которым эти старые темы разрабатываются юношами. Во-первых, у них выдвигается на первый план та общая философско-этическая принципиальная подкладка, которая скорее предполагалась, чем прямо излагалась в переводных рассуждениях. Московская молодежь рассказывает от себя в стихах, со всей свежестью только что выученного урока, ту самую теорию естественного права, которую мы слышали от Татищева и которую один из этих самых студентов, сотрудников Хераскова, изложил популярно в первом русском систематическом руководстве по естественному праву⁷. Юные поэты оправдывают человеческие страсти и эгоизм, как вложенные в человека высшею волею; считают игру страстей залогом земного счастья и находят справедливым и законным — пользоваться этим счастьем на земле. Пессимизм кажется им грехом против Божества. Целью жизни они готовы признать спокойствие совести на смертном одре. А достижение этой цели зависит, по их мнению, от господства разума над страстями, от умеренного пользования радостями жизни, которое в свою очередь вытекает из познания самого себя. Но вся эта система благоразумной умеренности и широкого эгоизма развивается совершенно на новый лад. Оказывается, что, по сердечному убеждению юных поэтов, мир есть тлен и суета, что нетленна лишь добродетель и что добродетель сводится к любви к ближнему, к другу; что любовь есть единственный способ борьбы с пороком и что цель жизни — есть истребление зла в мире и в обществе посредством подвига любви. Таким образом, начав тезисом из теории естественного права, сотрудники Хераскова постоянно кончают свои стихотворные тирады евангельскими призывами. Для иллюстрации можно было бы процитировать целиком стихотворные послания, которыми обменялись Нарышкин и Ржевский в январской книжке 1761 г., если бы эти послания не были так длинные, тягучи и бесцветны.

⁷ Сокращение естественного права, выбранное из разных авторов для пользы российского общества Владимиром Золотницким. СПб., 1764.

Уместо того, мы ограничимся другой характерной цитатой. У супругов Херасковых был литературный салон, в котором собирались журнальные сотрудники. У madame Херасковой была слабость к стихотворной игре в *bouts rimés*. Наверное, в один из этих вечеров она задала своим гостям четыре рифмы, на которые каждый должен был импровизировать по стихотворению. Результаты этого поэтического состязания как нельзя лучше характеризуют идеи, бродившие в умах посетителей любезной хозяйки. Гости написали:

- 1) Что есть всему Творец, сомнения не... имею,
Мне сердце говорит... о нем:
Но иначе любить я Бога не... умею,
Как только в ближнем лишь... моем.
- 2) Не мучуся, что я богатства не... имею,
И не пекусь... о нем
Довольно, если я спокойным быть... умею
В несчастьи... моем.
- 3) Влюбясь я в тебя, спокойства не... имею;
И потеряв покой, хотя грущу... о нем,
Но возвратить его, Клариса, не... умею,
Приятность находя в страдании... моем.

Как видим, из трех поэтов только последний вспомнил о любви; второй воспользовался моралью естественного права, а первый выразил совершенно масонскую мысль.

К серьезной стороне московского идейного движения мы еще вернемся. Теперь отметим только, что, несмотря на очевидную наивность и непосредственность, а может быть, и благодаря этим чертам, — это движение захватывало молодежь целиком — совершенно в ином роде, чем модные романы захватывали два предыдущих поколения.

Такова была та высшая точка, на которую смогла подняться русская общественная мысль в елизаветинскую эпоху. Но и эта ступень была достигнута лишь небольшим кружком лиц, которых можно было бы всех пересчитать по спискам высших учебных заведений того времени... Этот кружок писал и печатал почти исключительно для себя самого. Академический журнал Миллера требовал от читателя довольно значительной научной подготовки. Следовавшие за ним литературные журналы требовали привычки к условностям модных литературных вкусов и форм, а также — интереса к отвлеченным темам и навыка в философском языке, только что тогда создававшемся. Естественно, что все эти журналы не могли иметь влияния за тесными пределами собственного литературного круга. Их задачей было поддерживать и укреплять интеллектуально-нравственные интересы в тех кружках, которыми они были созданы; а затем, когда общественная жизнь вышла на более широ-

кий простор, роль их была сыграна, и они подверглись полному забвению. Любопытно отметить, что все эти журналы никогда не переиздавались (за исключением сумароковской "Пчелы"), тогда как очень многие журналы последующего периода перепечатывались по нескольку раз. Их кружковому характеру соответствовало и незначительное количество подписчиков, и взгляды издателей на свою роль. У "Ежемесячных сочинений", имевших наибольшее распространение, никогда не было больше 700 подписчиков, а иногда эта цифра падала до 500. Остальные журналы имели и того меньше. Очевидно, поэтому они составляют такую библиографическую редкость, а уцелевшие экземпляры часто носят надписи кого-нибудь из членов того же литературного круга. Издатель "Невинного Упражнения", объявляя о прекращении журнала после полугодичного существования, считает это вполне нормальным и нисколько не думает жаловаться на равнодушие публики. Он просто ставит выход журнала в тесную зависимость от удобства своего маленького круга сотрудников и читателей. Журнал прекращается потому, что наступило лето и "как издатели, так и те, кои подписались брать наш журнал, из Москвы разъехались". Издатели "сожалеют, что далее полугодом трудами своими жертвовать читателю не могут и с чувствительной прискорбностью лишаются собственного своего утешения". Такое отношение к издательству как нельзя лучше подчеркивает характер периода, когда русское просвещение ограничивалось кругом добрых знакомых, употреблявшим на пользу этого просвещения лишь свои школьные годы и свое праздное время.

БИБЛИОГРАФИЯ

Пыпин, *История русской литературы*, т. III (СПб., 1899). Проект Миниха в "Русском Архиве" (1865). О книгоиздательстве Петра и его времени, см. Печкарский, *Наука и литература при Петре Великом*. О новом направлении издательства его же: *История имп. Академии наук* (СПб., 1870-73). Тексты пьес петровского времени напечатаны Тихонравовым, *Русские драматические произведения 1672-1725 гг.*, Тт. I, II (1874). См. его же статью о до половины XVIII столетия (СПб., 1890). О последующем периоде истории русского театра в т. II сочинений П. Морозова, *История русского театра до половины XVIII столетия* (СПб., 1890). О последующем периоде истории русского театра, наиболее интересном, к сожалению, нет столь же обстоятельных исследований. *Le théâtre en Russie depuis ses origines jusqu'à nos jours*, par. Pierre de Corvin (Крюковского) (Париж, 1890), 2-е изд. не отличается критичностью и не носит характера исследования по первоисточникам. Документальная статья Лонгинова *Русский театр в Петербурге и Москве (до 1774 г.)* дает только хронологический остов (Сборник II отделения Академии наук, т. XI, 1875). Литература о Сумарокове указана в *Русской поэзии* С.А. Венгера, где собраны и лирические произведения Сумарокова, а также образцы поэзии мелких поэтов того времени и биографические данные о них. Наличный состав литераторов елизаветинской эпохи перечислен и характеризуется еще Дмитриевским, в его *Известии о русских писателях* (перепечатано в Материалах для истории русской литературы П.Ефремова). О борьбе мещанской драмы с ложноклассической трагедией во

Франции см. главу о драме в соч. И.И. Иванова, *Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII в.* (М., 1895). Библиографическое описание журналов XVIII в., с перечнем статей и краткими сведениями о редакторах и сотрудниках см. А.Н. Неустров, *Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703-1802 гг.* (СПб., 1875) и *Указатель к русским повременным изданиям и к предыдущему труду; его же Содержание ежемесячных сочинений* (СПб., 1898) обстоятельно исследовано В.А. Милютиным в трех статьях: *Очерки русской журналистики*, "Современник", т. XXV и XXVI (1851). См. также Пекарского, *Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755-1764 гг.*, сборник II отделения, т. II (1867). К сожалению, другие перечисленные в тексте журналы до сих пор очень мало обращали на себя внимания исследователей. Краткие замечания о журналах Хераскова см. у Незеленова в *Литературных направлениях екатерининской эпохи* (СПб., 1889). Некоторые сведения о театре и журналистике елизаветинского времени можно найти также у Н. Майкова в *Очерках из истории русской литературы XVII и XVIII вв.* (СПб., 1889 г.).

IV

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ПРИМЕНИТЬ КРИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ К ЖИЗНИ

Новая роль общественной критики и перемена отношения к ней власти. — Начало сознательной общественной жизни как основная черта екатерининской эпохи. — Новое отношение власти к общественному мнению; дифференциация элементов национализма и общественной критики. — Личное отношение Екатерины к критическим элементам, как результат промежуточного положения ее поколения между эпохами Людовика XIV и Французской революции. — Философия и политика салонов, ее умеренность. — Характер влияния Вольтера на Екатерину: пессимистический взгляд на людей и искусство управлять ими — Первоначальный оптимизм Екатерины по отношению к идеям и его пределы: политика гармонии "принципов" с "интересами"; исключения в главных вопросах внутренней и внешней политики. — Уверенность в личной миссии — как результат идей века, положения и темперамента. — Личный характер просветительной деятельности. — Отношение к целым мировоззрениям русским и иностранным. — Беккариа и устранение "разрушительных аксиом" из Наказа. — Прецеденты законодательной комиссии Екатерины и отличие последней. — Действительность, обнаруженная наказами депутатов. — Положение провинции; противоречие между сословными требованиями дворянства и стремлениями императрицы в крестьянском вопросе и в уголовном законодательстве. — Роль внешней политики в изменении настроения Екатерины. — Задачи императрицы и положение партий в комиссии: интеллигентное дворянство, городские депутаты и разночинцы. — Оппозиция дворянства против намерений императрицы и оппозиция других сословий против дворянства приводят к закрытию комиссии.

Екатерина и Петр — эти два имени уже современниками сопоставлялись как символ двух последовательных эпох русской культурной истории. Современники поняли также и то, что екатерининская эпоха не только была *продолжением* петровской, но и составляла с ней в то же время резкий контраст. Чтобы характеризовать этот *контраст*, они даже придумали яркую метафору, которая сделалась общим местом у писателей екатерининского времени: "Петр создал русским тело, а Екатерина вложила в них душу".

Разумеется, это наблюдение сделано грубо и отражает в себе наивную персонификацию социальных явлений, свойственную тогдашнему мировоззрению. Но в грубой форме здесь формулирован чрезвычайно важный социологический факт, который, действительно, составляет главную характерную черту

эпохи и уже поэтому не мог ускользнуть от внимания современников. Эпоха Екатерины является эрой в истории русского общественного самосознания. "Душа" новой русской общественности, действительно, начинает помнить и сознавать себя с этого времени. Именно тогда кончается доисторический, третичный период русской общественной жизни, и она принимает тот вид и те формы, в которых известна и нашему времени. Старые, допотопные формы или окончательно вымирают, или, обреченные на вымирание, эмигрируют в низшие слои общественной атмосферы.

Мы знаем, что такова была в самом деле судьба старого общественного самосознания, сложившегося в XV-XVI вв. и имевшего по преимуществу националистический характер. Отброшенное в сторону победой новой культуры, оно не сразу было заменено соответствующим новым сознанием. Новая культура победила прежде всего своими техническими преимуществами, сделавшими из нее необходимое орудие новой государственности и неизбежное условие более развитой промышленной жизни. Победив, эта культура на первых же порах приобрела симпатии господствующего класса, которому она дала самый удобный по своей наглядности признак, впервые проводивший резкую внешнюю черту между "благородством" и "подлостью". Наконец, опять-таки с самого начала новая культура расположила в свою пользу влиятельные классы, как источник особых, доселе неведомых наслаждений, материальных, эстетических и умственных, начиная с гастрономического обеда и вольных отношений к женщине и этой, а также картами, музыкой, спектаклем и забавной книгой. Все это, однако, не давало еще достаточного материала для нового, принципиально различного от старого, направления общественного самосознания.

Материал этот дала книга, как только перестали искать в ней простой забавы. Первоначально, правда, в ней искали только правил для сознательного личного поведения. Но от этого первого шага — от правил светского обхождения или предписаний индивидуальной морали — переход к следующему шагу, к признанию важности общественной теории и необходимости сознательного общественного поведения, был уже нечувствителен и совершился незаметно. С пионерами новых воззрений мы уже знакомы. Известно нам также и то, что с пятидесятых годов влияние книжной морали и общественной теории перестает ограничиваться отдельными личностями и захватывает целый общественный круг, — правда, еще очень ограниченный: круг дворянской молодежи, прошедшей высшую школу. Таким образом, императрице Екатерине посчастливилось взойти на престол в такое время, когда почва была уже расчищена для восприятия последнего слова современной европейской литературы, — для усвоения той основной мысли, пропагандировавшей этой литературой, что общественный строй, в интересах "чело-

вечества”, может и должен быть перестроен на “разумных” началах.

С этого момента роль критических идей, содержащихся в новой петровской культуре, становится совершенно иной, чем прежде. В общем широком и мутном разливе новой культурной жизни от Петра до Екатерины слабо выделялись элементы, враждебные между собой в сущности — новой критики и новой привилегированной общественной традиции. Не размежевавшись между собой, все стороны новой культуры без разбора принимались под общее покровительство государственной властью, проводившей реформу. При Екатерине и в этом отношении совершается полный переворот. Элементы критики выделяются и составляют основу нового общественного мнения, которое сознательно и резко противопоставляет себя новой культурности, монополизированной привилегированным классом. Новая культура, как санкция наличного социального строя, оказывается, таким образом, в полнейшем противоречии с новой культурой как основой сознательного отношения к жизни. Власть некоторое время колеблется между этими двумя враждебными пониманиями новой культуры. Но колебания продолжаются недолго: волей-неволей власть принимает сторону социальной силы против социального бессилия.

Тогда и представительство элементов критики переходит от власти к интеллигентному общественному мнению. Этой дифференциацией враждебных друг другу элементов новой культуры кончается период “официального торжества критических элементов”, как мы охарактеризовали период от Петра до Екатерины. Русская общественная жизнь вступает в новый еще и доньше не завершившийся фазис.

Только что указанный перелом совершался в русской жизни в особенно ярких и рельефных формах отчасти потому, что он произошел среди очень еще несложной обстановки, в сравнительно ограниченном круге людей, задетых новой культурой; отчасти же и потому, что свое наглядное выражение этот перелом нашел в смене настроений самой императрицы. Сама проникнутая вначале критическими идеями, Екатерина на первых же порах убеждается в их противоречии с существующим общественным строем, который она принуждена взять под свою защиту. Противоречие это ее не особенно беспокоит, потому что критические идеи зараз начинают казаться ей и бесполезными для практической жизни, и бессильными против русской действительности. Французская революция открывает ей глаза и заставляет ее вступить в борьбу с мечтами своей юности, как действительно опасными для дальнейшего существования тех явлений жизни (прежде всего крепостного права), против которых протестовала критика. В этом признании критических идей не просто лишними, но опасными для окружающей действительности — заключается их гражданское крещение. С это-

го момента начинается непрерывная традиция русской общественной критической мысли.

Превратившись из союзника в принципиального противника критических элементов, власть, по самому духу времени, уже не могла ограничиться простой материальной, физической борьбой против этих элементов. С идеями нужно было бороться во имя идей; нужно было найти принципиальную основу для положительной, а не отрицательной только программы действий. Эта основа была найдена, как скоро увидим, в идеализации прошлого. Считать эту идеализацию простым восстановлением связи с национальным самосознанием XVI-XVII вв. нет никакой возможности. Продукты того старого национального самосознания навсегда отсечены были от дальнейшего исторического процесса Никоном и Петром. Они кристаллизовались в расколе. Таким образом, идеализация прошлого в екатерининское время оказывается совершенно новым явлением, не опирающимся ни на какую традицию прошлого. Напротив, пока жива была эта старая традиция, пока прошлое было слишком близко, никакая идеализация его не была возможна. Только *забвение* прошлого могло лечь в основу его *литературной* реставрации. Мы увидим, что такая реставрация шла вначале рука об руку с работой критической мысли и даже служила одним из ее приемов. Только по мере того, как критическая мысль отбрасывалась в оппозицию, литературная идеализация прошлого начинала служить материалом для охранительной политической теории. Таким образом, охранительная идеология, так же как оппозиционная, ведет свою непрерывную традицию от екатерининского времени. Для современного национализма, как для современной общественной критики — екатерининская эпоха служит эрой, с которой тот и другая считают свое сознательное существование. Здесь — первоначальный, в грубых очертаниях, водораздел этих двух течений.

Уже из сказанного видно, что если Екатерина, может быть, и не вложила самолично "души" в материальное тело петровской новой культуры, то все же в истории этой души ей принадлежит очень большая роль. Екатерина, увлекающаяся критическими идеями, Екатерина охлажденная, Екатерина, враждебная им, — все эти метаморфозы собственного настроения императрицы тесно сплетаются с первыми шагами сознательной общественной жизни в России. Чтобы разобраться, как следует, в том и другом, необходимо следить оба течения параллельно.

Прежде всего, сделаем несколько хронологических справок. По своим годам Екатерина (год рождения 1729) заняла в России среднее положение между двумя поколениями: елизаветинским, которое родилось во втором десятилетии XVIII в. и учебные годы которого совпали приблизительно с открытием Шляхетского корпуса (1732), — и молодым поколением, родив-

шимся уже при Елизавете и подростим к собственному воцарению Екатерины; учебные годы этого последнего поколения совпадают с открытием Московского университета (1755). Оба поколения нам уже отчасти известны. Первое — насколько оно вообще жило культурной жизнью — жило идеями и вкусами эпохи Людовика XIV; интересы его были по преимуществу литературно-эстетические. Второе поколение начало думать и чувствовать как раз тогда, когда в Европе совершился крутой перелом настроения, ознаменовавший переход к революционной эпохе. Поколение Екатерины — среднее между обоими. Оно вырастает в тот промежуток сравнительно неопределенного общественного настроения, когда переход от Людовика XIV к революции только назревал в лучших умах и даже ими самими не был еще вполне сознан. Литература и поэзия уже уступили место "философии" и политике. Но новые философские и политические идеи еще не были доведены до своих крайних логических последствий. Руссо и Дидро, Гельвеций и Гольбах — словом, все те, кто поднял выше ноту общественного и философского протеста, — еще не появлялись или не завоевали себе внимания просвещенных кругов. Вольтер еще занят был по преимуществу литературой. В философии удовлетворял общему настроению деизм, в политике — конституционализм. Но достаточно вспомнить, что представителями того и другого были Вольтер и Монтескье, чтобы видеть, что и эти учения не представлялись в форме строгой, законченной доктрины. Никакой доктрины и не потерпела бы та общественная среда, в которой распространялись модные идеи модных философов и политиков. Мысль проникала в эту среду — светских аристократических салонов — исключительно в форме фривольной шутки, достаточно серьезной, чтобы иметь вид теоретической защиты рассеянной светской жизни от "педантизма" всевозможных цельных доктрин и систем, — и настолько все-таки легкой, чтобы не затруднять ума даже таких дам, которые с печатными книгами были знакомы только по молитвеннику.

Нужен был громадный литературный талант Вольтера и Монтескье, в соединении со страстностью первого и глубоко-мыслием второго, чтобы в такие тесные рамки втиснуть контр-абанду нового мировоззрения. Но и при таких условиях новые взгляды могли найти благосклонный прием лишь сильно урезанные и сознательно или бессознательно искаженные по шаблону той самой социальной среды, для которой предназначались. Литература позволяла себе потрясать лишь те основы, которые и без того были расшатаны в этой среде. Подкапывая силу одних предрассудков, уцелевших от прошлого, модные писатели слишком часто искали себе поддержки — в союзе с другими предрассудками, еще более сильными, и таким образом, "кадили Люциферу, чтобы избавиться от Вельзевула", по остроумному выражению Д'Аламбера. Теоретик политических форм

(Монтескье) платонически восхищался "республикой" греков и римлян, не предвидя возможности встретиться с нею в современной ему Европе, и так же платонически метал свои стрелы против "деспотизма", отводя ему место исключительно в Азии. У себя дома он был доволен сословной монархией, ограниченной привилегиями дворянства. Для того же дворянства, для "верхних двух-трех тысяч", оттачивал свои сарказмы проповедник терпимости (Вольтер), откровенно предпочитавший фризовольное вольнодумство знати убежденному фанатизму буржуазии и янсенистскому "педантизму" парламента. Человечество для него делилось на "чернь" и "порядочных людей", *canaille* и *honnêtes gens*, — деление очень похожее на наши русские "подлость" и "благородство". Свою миссию он сознательно ограничивал "хорошей компанией". "Довольно с нас, если все порядочные люди будут презирать суеверие. Народ всегда останется глуп и невежествен: это скот, которому нужно лишь ярмо, кнут да сено". Союзником в борьбе против духовенства и парламента должна быть королевская власть. Необходимо убедить правительство, что "философы" — естественные союзники королей и делают с ними одно и то же дело.

Те, кто говорит о позднейшей "измене" Екатерины либеральным взглядам ее молодости, не должны забывать, что эти взгляды были впервые усвоены ею в этой смягченной, ни к чему не обязывавшей форме. "Измена" была притом же обыкновенным житейским делом для первых провозвестников "философских" идей. Беспреданно отказывавшийся от собственных сочинений, при каждой ссоре с церковью спешивший исповедаться и причаститься, льстивший королям, папе и иезуитам, систематически сочинявший мадригалы королевским любовницам, вынудивший, наконец, на смертном одре у собственного секретаря, протестанта и масона, после двадцатичетырехлетней совместной жизни, недоуменный вопрос: во что же он наконец верит, — Вольтер не мог быть особенно строгим учителем в вопросах совести. Нетрудно догадаться даже, что именно это отсутствие строгости и сделало Екатерину "ученицей" Вольтера в науке "здорового смысла" и житейского благоразумия. Что наука Вольтера была собственно другая, а здравый смысл был в ней только орудием и методом, — на это императрица как-то не обратила особого внимания. Она знала, конечно, что говоря с Вольтером, надо было почаще упоминать о терпимости и порицать суеверие. Но эти лозунги, опасные для их защитников в стране католицизма, — в петровской России разумелись сами собой: здесь гораздо труднее было бы защищать нетерпимость и традиционную веру. Вот почему после пятнадцатилетней переписки императрица все еще не совсем ясно понимала, с кем она имела дело; смерть Вольтера лишила ее только "божества смеха". Пораженная началом Французской революции, Екатерина упорно ставит революционерам в укор своего "учителя". Он так

мило, весело и беззаботно умел шутить с серьезными вещами в хорошей компании: не бестактно ли было со стороны этих "сапожников и башмачников" вынести пикантные разговоры своих "лучших писателей" из салона на улицу? И только убежденная наконец неумолимой логикой событий в тождестве слова и дела, Екатерина велит вынести бюст своего "учителя" — последний по очереди — из галереи Эрмитажа.

Характер письменных сношений Екатерины с Вольтером ничем не предвещал такого плачевного конца. Это были отношения самые прочные и ровные, так как с обеих сторон были основаны на расчете. У семидесятилетнего философа и тридцатипятилетней дебютантки оказалось слишком достаточно жизненного опыта и разочарований в прошлом, чтобы не питать взаимных иллюзий и с полуслова понять, что каждому нужно от другого. В интимной переписке с Д'Аламбер Вольтер признал, что "философии не приходится особенно хвалиться такими ученицами", как "прекрасная Като". Но, что делать, прокровительство императрицы поднимало его престиж в Европе, и Вольтер без зазрения совести возвеличивает Екатерину над Солоном и Ликургом, превозносит ее душу и ум, восторгается ее мудрыми законами и блестящими празднествами, даже воспекает ее ручки и ножки. Со своей стороны и Екатерина приходит в страх при мысли, что Вольтер может поймать ее на слове и приехать к ней в гости в Россию; она спешит уверить его, что "Като хороша только издали". Но из этого прекрасного далека она искусно эксплуатирует перо Вольтера для официозных сообщений по адресу Европы. Баланс выгод скорее был на стороне императрицы, чем на стороне писателя.

Труднее решить, была ли Екатерина *с самого начала* своей карьеры таким политиком в своих отношениях к представителям критических идей. Косвенный ответ на это можно, правда, найти в том обстоятельстве, что она вообще очень рано сделалась политиком. Припомним ее признание в "Мемуарах", что, еще великой княгиней, она поставила себе за правило за всеми ухаживать, чтобы в каждом иметь союзника на случай нужды. Но именно к Вольтеру ее отношение несколько иное, так как ему она обязана отчасти и самим этим правилом. Прежде чем ей пришлось искать в Вольтере союзника, она нашла в нем учителя в искусстве нравиться. На этом развился и ее интерес к серьезному чтению. В Вольтере и Таците ее увлекли прежде всего уроки эмпирической психологии, совпадавшей с ее собственными пессимистическими наблюдениями над мотивами человеческих поступков. "Я начала видеть вещи в более мрачном свете и научилась искать для всего, что проходило перед моими глазами, более глубоких объяснений в различии интересов". Так резюмирует сама императрица практический итог своего серьезного чтения. Из иронии Вольтера и Тацита она, очевидно, вывела мораль Ларошфуко.

Несомненно, Екатерина разумела именно это и была совершенно искренна, когда признавала, что Вольтер научил ее читать и думать и имел на нее огромное влияние в период, когда формировался ее ум и характер. Вот почему в свои отношения к Вольтеру — и только к нему одному — она внесла на первых порах робость и нерешительность ученицы и серьезно искала его добрения. Только получив это одобрение слишком легко и незаслуженно, она поняла ему цену. Это был для нее первый урок презрения к "философии" и философам. "Учитель" после того перестал импонировать; но король европейского общественного мнения и "забавник" — сохранил симпатии императрицы.

Вопрос о влиянии на Екатерину самих *идей* "просветительной" философии ее времени гораздо сложнее вопроса о ее личных отношениях к "философам". Несомненно прежде всего что ранний пессимизм по отношению к людям у нее долгое время совмещается с оптимизмом по отношению к идеям. Почему, изверившись в людях, Екатерина продолжает верить в идеи, — это нам предстоит объяснить. Но факт тот, что она в них действительно верит и готова сообразовать с ними свое поведение. Возражать на это ссылкой на самый ранний пример противоречия между "принципами" и поведением Екатерины, — на ее двусмысленное положение между Вольтером и православной религией, было бы совершенно неосновательно. В этом случае противоречие "интереса" с принципами всего легче разрешалось самой усвоенной ею философией. Разве не была самая перемена веры доказательством свободы от "суеверия", в котором погряз старый протестант, отец Екатерины? И разве не утверждал, с другой стороны, сам Вольтер, что всякий владлец пяти или шестисот крестьян должен признать необходимость религии вечных мук и воздаяния за гробом? Очевидно, учитель и ученица вполне сходились в оценке как социального значения религии, так и того, что на языке Екатерины называлось "momeries".

В делах государственного управления было, конечно, не так легко привести в гармонию "принципы" с "интересами". Историки Екатерины обратили внимание на сентенцию в словаре Бейля, которая, по их соображениям, должна была запасть в душу будущей императрице: "Правила государственного искусства противоположны строгой честности". Из собственных набросков Екатерины, когда она была еще великой княгиней, мы знаем, однако, что с этой сентенцией Екатерина не хотела мириться и поставила себе прямой целью — примирить честность с политикой. Средство для этого она нашла в той идее, что быть честным — всего лучше для собственной выгоды государя. Идея о выгодности хороших принципов проходит красной нитью в этих интересных заметках, рисующих нам великую княгиню со всеми ее сильными и слабыми сторонами, совершенно

теми же, какие характеризуют впоследствии императрицу. Тут находим в совершенно отчетливой, сознательной форме и все правила будущего царствования. Государь должен, по мнению Екатерины в этих заметках, делать благодеяния и любить истину, так как это "сделает его приятным для Бога и людей". Он должен заботиться о славе страны, потому что это его собственная слава. Он должен сделать вельмож и приближенных довольными и богатыми, потому что от этого зависит его собственное величие. Он должен открыто заявлять свои цели, "если правда и разум на его стороне", так как эти резоны, наверное, "возьмут верх в глазах толпы". Он должен заранее разгласить о законе, который собирается издать, и после прислушаться к общественным толкам по этому поводу, чтобы закон вышел удачен и не пришлось его отменять. Придворных надо заставить *из* лести говорить правду, сделав ее выгодной, так как иначе государь рискует быть обманутым: самое унижительное положение, какое только может себе представить Екатерина.

Нельзя, однако, с выбранной точки зрения отрицать одно: *возможности*, что "принципы" с "интересами" разойдутся и понадобится правило Бейля. Те же наброски карандашом предвидят два таких случая — как раз те самые, в которых Екатерину всего строже осудило потомство. В одном из них, в главном вопросе своей внутренней политики, Екатерина уже тогда явно понимала всю трудность своего положения, но еще надеялась на возможность компромисса. "Противно христианской религии и справедливости делать людей (которые все рождаются свободными) рабами. Собор освободил в Германии, Франции, Испании и т.д. всех крестьян (прежде бывших крепостными). Устроить подобный же крутой переворот было бы плохим способом заслужить любовь землевладельцев, которые полны упорства и предрассудков — ("К тому же, — признается Екатерина, — хотя я и освободилась от предрассудков и обладаю складом ума от природы философским, но чувствую, однако, сильную склонность уважать древние фамилии)." Но вот легкое (Екатерина еще мало знакома с юриспруденцией) средство: постановить, что при всякой продаже поместья новому владельцу рабы объявляются свободными. В сто лет все или большая часть земель меняют владельцев: вот народ и свободен".

В другом затруднительном случае — из области внешней политики, Екатерина, очевидно, скорее готова склониться в сторону "интересов". "Говорят, что во всяком деле бывает два возможных исхода: справедливый или несправедливый; обыкновенно, выгода склоняет к несправедливости. В курляндском вопросе справедливость требовала отдать детям Бирона то, что дал им Бог и природа. Если же хотели соблюсти выгоду, следовало (конечно, несправедливо) оставить Курляндию за собой, отнять ее у Польши и присоединить к России. Кто бы мог угадать, что найдется еще третий способ: сделать несправедливость

без всякой выгоды? Курляндию отдали саксонскому принцу и тем усилили короля польского ... Неужели спрашивается, могущественный сосед выгоднее для России, чем счастливая анархия, в которой находится Польша и благодаря которой мы в ней хозяйничаем, как хотим?.. Если уж хочешь быть несправедливым, так надо извлечь из этого выгоду”.

Итак, вера в “приложимость” общих принципов к жизни основывалась у Екатерины на убеждении, что, по крайней мере в большинстве случаев, приложение хороших принципов — выгодно. Екатерина отдавалась идейному руководству, по ее собственному выражению в тех же набросках, “с открытыми глазами” и под условием, что это идейное руководство не только не противоречит, а, напротив, совпадает с ее личными “интересами”. Не совпадает оно — и Екатерина заранее высказывает готовность от него отказаться. Таким образом, если трезвость в отношениях к идеям и изменяла Екатерине, то, во всяком случае, не на этом пункте, не в расчете выгоды, — а в вопросе об “осуществимости” идеи, предполагая ее полезной.

Во взгляде на осуществимость идеи Екатерина оказывалась дочерью своего времени, фанатиком своего положения и жертвой своего темперамента. Мысль о всемогуществе мудрого законодателя была одной из основных аксиом просветительного века. Но у Екатерины эта мысль была не простой данью времени. Она неразрывно связана у нее с уверенностью во всемогуществе русского государя. “Что может противиться безграничной власти абсолютного монарха, управляющего воинственным народом”, спрашивает она в тех же набросках великой княгини. С этой идеей Екатерина приехала в Россию, с нею она сознательно и терпеливо пробивала себе путь к престолу. Дойдя до цели, она смело положила руку на механизм, издавека манивший своей громадностью ее славолубие и властолюбие.

Она надеялась проводить на этом месте “хорошие и верные принципы”. Чтобы провести их, ей нужно именно *это* место. Но на таком месте такие принципы могла осуществить лишь “натура, одаренная от природы полезными дарованиями”. Другой был бы только “смешон” там, где подобная натура могла бы себе составить “блестящую карьеру”. Мы цитируем здесь все те же летучие наброски: Екатерина уже при Елизавете только себя считает достойной носительницей великих идей на высоком месте. Вера в силу идеи и в безграничное могущество положения в свою очередь неразрывно связана у нее с верой в себя: в собственной психологии она почерпнет то, чего не хватит в других источниках веры.

Французский посланник Лопиталь еще при Елизавете находил, что у Екатерины “горячая голова”. Можно бы было подчеркнуть: именно “голова”, а не “сердце”, воображение, а не чувство. Екатерина, по-видимому, и сама была совершенно согласна с этим определением своей “преобладающей способнос-

Раз в ее присутствии зашел разговор, чем бы могла она быть, если бы была частным человеком и женщиной. Дипломаты наперерыв прочили ее кто в министры, кто в полководцы. Императрица решила: "Все вы ошибаетесь; я знаю свою горячую голову; я бы всем рискнула для славы и в чине поручика в первую же кампанию не снесла бы головы". Вместо всех достоинств, которыми наделял ее Гримм в 1774 г., Екатерина признала за собой одно, благодаря которому она "чего-нибудь стоит": "умение страшно хотеть того, чего я хочу". "Нужно быть твердой в своих решениях, — говорит она в другой раз, — лучше сделать дурно, чем менять мнение: нерешительны бывают только дураки".

Нельзя сказать, чтобы Екатерина не сознавала опасности такого темперамента в правителе. "Удача для ума то же, что молодость для темперамента, — находим мы в тех же набросках, — она приводит в действие все страсти. Счастлив, кто не допустил себя увлечься этим потоком". В последних словах слышится как бы опасение — весьма основательное, как показало время, — что сама Екатерина в таком положении не сумеет сдержаться. Но она знает свои слабые стороны — и, как политик прежде всего — и *из них* хочет извлечь выгоду, раз невозможно их уничтожить. Увлечение неизбежно, но увлечение есть тоже сила. За недостатком подлинной силы самоуверенность может ее до некоторой степени заменить. "Могу поздравить себя с началом популярности, — записывает она при Елизавете. — Я не должна, конечно, ей доверять, несмотря на внешние знаки: но это не помешает мне действовать так, как будто бы я была в ней уверена. Меня хвалят лишь тогда и постольку, поскольку недовольны великим князем; я слишком еще молода, чтобы меня любили; но я должна действовать так, как будто бы верила, что меня любят". Мы видим: тут полная программа политики, почерпнувшей силу из внешнего вида успеха.

При такой сложности натуры Екатерины, очевидно, очень трудно различить в каждом отдельном случае, где кончается у нее убеждение и начинается политика. Всего вернее будет, может быть, принять, что политика у нее везде и что в некоторых случаях пружинами ее политики служат убеждения, которые она считает верными и выгодными.

Во всяком случае, эту политику Екатерина будет применять сама, своим умом и по собственной инициативе. В деле, которое должно было послужить пьедесталом для ее славы, Екатерина не признает предшественников и сотрудников. Она — вторая только после "первого" Петра; но в *своем* деле она первая и единственная. Она пишет в своем Наказе эти рискованные слова, так усердно цитировавшиеся депутатами комиссии: "Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процве-

тающ на земле; намерение законов наших было бы не исполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю". Еще ярче это настроение Екатерины подчеркивается современной аллегорической гравюрой по поводу издания Наказа. В центре картины, на возвышении, стоит Екатерина в спокойной уверенной позе, совсем не напоминающей того "курц-галопа", которым, по шутливому выражению ее "Записок", она должна была выступать в первые годы царствования между охлаждающим скептицизмом Панина и бурными поощрениями Григория Орлова. Место обоих по сторонам Екатерины заняли в аллегии Минерва и юный Марс, попирающий пятой закованного в цепи врага. Под ногами императрицы копошится народ: море голов, жаждущих взглянуть на Екатерину, смотрящих на нее с выражением любви и надежды, спешащих запечатлеть в памяти золотые строки раскрытого перед ними Наказа. В стороне, над тем же морем голов, поднимается пирамида, на которой "блаженство каждого и всех" датировано 1766 г. и которая увенчивается императорской короной¹. В сравнении с этой пирамидой статуя какого-то древнего законодателя, стоящего на вершине колонны позади пирамиды, кажется совсем маленькой. Наконец, вверху, в облаках дыма, крылатая фигура славы уже спешит разнести по свету благую весть о новой эре "блаженства всех и каждого", датированной 1766 г.

Основная идея аллегии ясна. Екатерине "посчастливилось найти хорошие и верные принципы", но эти принципы осуществятся потому, что Екатерина их проводит. И если ей придется впоследствии признаться, что принципы остались неосуществленными, она ни минуты не подумает усомниться в принципах или в собственной силе осуществить их. По крайней мере, она в этом никогда не признается открыто и сложит вину на других. "Мое честолюбие не было дурно, но, может быть, я слишком много взяла на себя, поверив, что люди могут сделаться разумными, справедливыми и счастливыми".

Одного только Екатерина не могла допустить: что люди могут сделаться разумны, справедливы и счастливы по какой-нибудь другой системе, исключая ее собственную, и особенно по такой системе, которая допускает возможность для них достигнуть этой цели своими собственными средствами. Реформаторская роль Екатерины представлялась ей по существу своему совершенно личной. Это определило и ее отношение ко всем современным ей системам, исходившим из принципа самодеятельности. Таких систем было две в России во время Екатерины. Обе они обозначались достаточно ясно уже в настроении молодого поколения, выросшего ко времени воцарения императрицы. Одна была известная нам теория *естественного права*, которая скоро могла справлять полувековой юбилей не только су-

¹ Эта эмблема изображена была и на жетонах, розданных депутатам.

ществования, но непрерывного академического преподавания в России. Со времени Гросса, учившего естественному праву Кантемира в Академическом университете, ряд поколений слушал эту науку у Пфлуга в Шляхетском корпусе, у Дильтея и Лангера в Московском университете. Но человек из "порядочного общества" не обязан был "прочитать все книги и прилежно учиться всему, чему учат в школах": с него было довольно "природного здравого смысла". Мы сейчас увидим, как отнеслась Екатерина к теории естественного права на примере Беккариа. Отношение ее к другой системе принципиальных взглядов, явившейся в России позднее, но тоже до нее и независимо от нее, к религиозно-нравственному миросозерцанию *масонства*, было еще более отрицательным и поверхностным, как увидим впоследствии. Если на первых же порах не вышло никаких резких столкновений между императрицей и представителями обоих цельных воззрений, то лишь потому, что сами эти представители в первом поколении оказались не такими яркими и последовательными, как того требовал смысл их теорий. Мы знакомы уже немного с литературным дебютом этой молодежи, перешедшей от естественного права к масонству. Скоро мы встретимся с нею опять и поймем, почему она так быстро и бесследно сошла с общественной арены.

Мы поймем теперь и то, как должна была отнестись Екатерина к знаменитому сопернику Вольтера — к Руссо, господствовавшему обновленной им системой общественного договора в тогдашней науке естественного права. Для любимого персонажа XVIII в., мудрого законодателя, в этой системе был оставлен слишком тесный уголок. На личные сношения с несимпатичным философом Екатерина не решилась, а от приглашения Григория Орлова — поселиться в его поместье, нелюдимый мыслитель отказался. Тем и кончились отношения его к России. За то горячему поклоннику "великого человека, благодетельствующего человечеству, которое его гонит", — юристу Беккариа выпал на долю громкий успех в России.

На этом эпизоде надо остановиться несколько подробнее. Книжка Беккариа появилась как раз в то время, когда Екатерина компилировала свой Наказ. Из ее источников это был едва ли не единственный, в котором Екатерина могла уловить ноты, совершенно чуждые салонной корректности ее любимых руководителей. Но Беккариа был усердным почитателем одного из них (Монтескье); он нужен был Екатерине, так как у него она могла заимствовать характеристику будущего гуманного суда. Тем любопытнее следить, с какой тщательностью устранены из заимствованного текста все черты, которые ставят Беккариа в ряды поклонников Руссо. Читая Наказ, никак нельзя догадаться, что тут не хватает основного нерва всех рассуждений Беккариа. По его теории общественного договора, этим договором ограждает себя обыкновенно меньшинство от большинства,

и нужны века страданий и бедствий, чтобы договор мог быть перестроен в пользу обделенного большинства. Мыслитель, опережая свой век, открывает этот коренной недостаток закона, состоящий в его покровительстве привилегированному меньшинству. Просвещенный государь может услышать голос мыслителя, воспользоваться своей силой в интересах большинства и тем предвосхитить результат естественного исторического развития. "Мы предоставляем обыкновенно развитие важнейших постановлений или просто течению времени, или же благоусмотрению тех именно лиц, которые встают против введения мудрых законов. Последние имеют целью, по самому существу своему, сделать благоденствие всеобщим, тогда как меньшинство стремится к тому, чтобы удержать полное могущество и блаженство за собой, не уделив другим ничего, кроме бессилия и нищеты. Поэтому, только перейдя через тысячи ошибок в задачах, разрешающих самые существенные условия жизни и свободы, после утомительных страданий, порожденных злом, дошедшим до крайности, мы приступаем к исправлению гнетущих нас беспорядков. Только тогда начинаем мы сознавать те осязательные истины, которые, именно по своей простоте, ускользают от внимания людей недоразвитых... Откроем книгу истории, и мы увидим, что законы, которые в сущности составляют и должны составлять не что иное, как договор свободных лиц, всегда были или орудием страстей немногих, или же являлись результатом случайной и мимолетной необходимости. Они вовсе не были плодом спокойного исследования человеческой природы, стремящейся к тому, чтобы мы сознали, что задача нашей жизни есть предоставление высшего благосостояния наибольшему числу людей. Счастливы те немногие государства, которые не ожидали, чтобы медленное движение взаимных общечеловеческих отношений и превратностей жизни повлекло за собой сначала господство зла, а потом уже и постепенное развитие добра, но ускоряли мудрыми законами водворение добра. И всеобщего уважения заслуживает философ, имевший дерзость из глубины своего незаметного и даже пренебрегаемого кабинета бросить в массу людей первые семена полезной истины, которые долгие еще будут оставаться бесплодными".

Оказалось не трудно превратить эту пламенную речь о вековых препятствиях к сознательной общественной жизни в безобидное "блаженство всех и каждого", декретируемое немедленно. Нужно было только отбросить исходные точки и основные принципы рассуждения Беккариа, заглушевать его конкретные исторические наблюдения, и мы получим исправленный текст екатерининского Наказа. Вот как производилось это исправление (Екатериной или ее советниками?):

Право давать законы о наказаниях имеет только один законодатель, как представляющий в своей особе все общество соединенное и содержащий всю власть в своих руках

Право устанавливать эти законы принадлежит исключительно законодателю, представляющему собою все общество, связанное взаимным договором.

Беззаконные предприятия противу жизни и вольности гражданина суть из числа самых великих преступлений; под сим именем заключаются не только смертоубийства, учиненные людьми из народа; но и того же рода насилия, сделанные особами, какого бы происшества и достоинства они ни были.

К этому роду преступлений (покушения на безопасность и свободу граждан) относится не только убийство и кража, совершаемые простолыдем, но также совершаемые вельможами и судьями, влияние которых действует на большом пространстве и с большею силою, разрушая между подданными все понятия о справедливости и долге, и поставляя

на их место право сильного... Нет свободы там, где законы дозволяют, чтобы человек перестал быть, при некоторых обстоятельствах, лицом и превратился бы в вещь: в таком случае сильные люди употребили бы все свое пронырство, чтобы из множества гражданских отношений извлечь только те, которые установлены законом в их пользу. Достигнуть этой цели — значит открыть волшебный жезл, превращающий граждан во вьючных скотов. В руках сильного этот жезл есть цепь, сковывающая действия людей слабых. Вот почему в некоторых государствах, пользующихся, по-видимому, полной свободой, скрывается господство силы, или же она врывается непредвиденно в какой-нибудь забытый законодателем уголок, где незаметно развивается... Привилегии дворян составляют большую часть законов в разных государствах. Я здесь не буду разбирать, полезно ли для правительства это наследственное разделение дворянства и народа и необходимо ли оно в монархии: правда ли, что дворянство составляет среднюю власть, ограничивающую злоупотребления двух крайних (все это мнения Монтескьё) ... Если даже справедливо, что неравенство неизбежно для общества, то справедливо ли, чтобы оно выражалось в различии групп, а не отдельных личностей; чтобы оно сосредоточивалось в одной части государства, а не пронизывало его насквозь, чтобы оно беспрерывно продолжалось, а не рождалось и уничтожалось поминутно².

Может быть, это и были те *axiomes à renverser les murailles*, которые вычеркнуты советниками Екатерины из окончательной

² Эту точку зрения открыто защищали в заседаниях Екатерининской комиссии некоторые депутаты (особенно городской дерптский — Урсинус).

редакции Наказа. Наша домашняя теория естественного права уже освоилась с этими жгучими темами и давала на них более или менее невинные ответы. Упоминавшееся выше руководство Золотницкого, например, совершенно спокойно рассуждало о "домовом подданстве" "совершенном" и "несовершенном", легко находя первому "место в самом натуральном состоянии" и колеблясь только относительно второго, которое как будто "в натуральном состоянии из начала простого общества не явствуется, по причине всем свойственного общего равенства". Но и общее равенство не мешало выводить из "натурального состояния" происхождение сословных привилегий. "Хотя все люди в натуральном состоянии между собой равны, однако, не все достойны равного мнения, чести и похвалы. Ибо равными только для того называются, что имеют одни права и обязательства, но не всяк имеет те совершенства, от которых достоинство мнения, чести и похвалы зависит".

В предполагавшемся собрании депутатов все эти деликатные вопросы, поставленные жизнью, но замалчиваемые политикой, и школьной теорией, должны были выплыть наружу. Но без собрания депутатов нельзя было обойтись. Екатерина только что считала необходимым разглашать "на рынках" проекты законов, претендовавших на долговечность. Она только что прочла у Беккариа прозрачный намек, что "счастливым было бы человечество, если бы сразу ему были предписаны законы монархами, которых мы теперь видим на престолах Европы", и что при этом следовало бы выслушать "всегда откровенный голос народа", заглушаемый второстепенными чиновниками, "более жестокими, потому что менее обеспечены" (мысль об этом "средостении" особенно понравилась императрице, см. Наказ). "Философски" настроенная Екатерина не могла, наконец, остаться позади своих предшественников на престоле, поддерживавших без всяких теорий традицию XVII века: вызвать для составления Уложения депутатов от разных сословий. Бесконечные комиссии тщетно решали всю первую половину века эту непосильную задачу. Последняя из них (1754) после бесплодных усилий — заставить работать на себя канцелярии присутственных мест — сама пришла (1761) к мысли подкрепить себя, "по примеру прежде сочиненного в 1649 г. Уложения", выборными от дворян и купцов. В первой половине века все попытки этого рода (1722, 1728, 1730) потерпели неудачу: вместо "добрых и знающих людей" провинция посылала в Петербург старых и увечных, — отчасти потому, что формально относилась к требованиям правительства и смотрела на посылку депутатов, как на досадную повинность, отчасти же потому, что подходящих людей и не было среди помещиков, оставшихся жить в своих деревнях. В середине века провинциальное общество все еще не сложилось: оно появилось лишь в результате сословных успехов в век Екатерины. Но в провинцию все-таки

чаще стали заглядывать офицеры, побывавшие за границей (в Семилетнюю войну), поучившиеся в школе. Кроме столичных мод и вольных нравов, они завозили с собой иногда и печатную книжку, и темы для "ученых и важных разговоров" о поэзии, о литературе, словом, о более или менее отвлеченных предметах. Назначая с 1761 г. выборы депутатов в комиссию 1754 г., Сенат счел возможным заговорить с провинциальными избирателями совершенно необычным до тех пор языком: работа над Уложением не есть повинность, а общественный долг. "Как сочинение Уложения для управления всего государства весьма нужно, следственно всего общества и труд в советах быть к тому потребен" и потому всякого сына отечества долг есть советом и делом в том помогать". Сенат надеется, что избранные не только не откажутся, но охотно понесут "все затруднения и убытки", и не для того только, чтобы "получить награждение за излишние труды", но и "чая незабвенную в будущие роды о себе оставить память". Это — язык Екатерининской комиссии.

Приглашенные Елизаветой депутаты начали работать уже при Екатерине: к двум составленным канцелярским путем (1755) главам законопроекта (судебные и уголовные законы: последние, по преданию, поразили Елизавету своей жестокостью и удержали ее от подписания проекта) они прибавили третью — о правах сословий, во многом сходную с депутатскими наказами и с выработанными Екатерининской комиссией законопроектами о сословиях. Теперь эти депутаты и комиссия должны были уступить место Екатерининским.

Таким образом, и цель (кодификация), и средство (участие в выборах), и даже общее направление работы (реформа уголовного законодательства в гуманном и сословного в дворянском духе) — все это Екатерина получила готовым от своей предшественницы. Если, тем не менее, она говорила и думала, что затевает нечто совершенно новое и до сих пор небывалое, то это нельзя объяснить *только* как сознательный обман из самолюбия или как добросовестное заблуждение по незнанию прецедентов, нам теперь лучше известных. Екатерина могла действительно утверждать, что открывает совершенно новый путь, — и не потому, что она провозглашала "блаженство всех и каждого" как высшую задачу законодательства. Такого рода утверждения можно, пожалуй, услышать и от власти, собиравшей земские соборы XVII в. (и тогда выборные от всей земли должны были рассказать про "всякие их нужды и тесноты ... и размышляти ко всему добру, чтобы все люди государства жили в покое и в радости"). Но *свое* законодательство она впервые хотела основать на сознательной теории, на той "истине", которая "светит, как молния среди продолжительной и мрачной ночи, удручающей людей", по счастливому выражению Беккариа. Каковы бы ни были личные мотивы молодой государыни, искала ли она в "доверии народа" — "любви" или "славы", — мы можем пове-

речь, что ее сердце билось сильнее, когда у того же Беккариа она читала эти строки: "Слово мудреца слишком слабо, чтобы противостоять гвалту и крикам людей, руководимых слепою привычкой..., (но) если бы истина могла несмотря на бесконечные препятствия, которые удаляют ее от монарха, даже против его воли, — достигнуть до его престола, он должен понять, что она высказывает ему тайные желания всего народа: он должен понять, что слава его заглушит кровавую славу завоевателей и что справедливое потомство поставит его выше миролюбивых Титов, Антонинов и Траянов". "Слово мудреца" дошло до престола Екатерины; до него дойдут и "тайные желания народа". Екатерина была права; это было "не дурное честолюбие": поставить пирамиду своего законодательства выше траяновой колонны.

Наказы, привезенные с собой депутатами из провинции, свели Екатерину с ее неба на землю. На этой земле она все прочнее укреплялась, по мере того как развертывалась перед ней поставленная ею пьеса. Прошло немного времени, и Наказ начал ей представляться "болтовней". Этой болтовне она предпочитала трезвое, деловое содержание "Учреждения о губерниях". Какую роль сыграли в этом перевороте депутатские Наказы и деятельность созванной Екатериной комиссии?

Перечитывая эти указы теперь, мы можем сами видеть, что они развернули перед Екатериной, действительно, ужасающую картину. Созывая свою Комиссию, она знала людей, но еще не знала России. Россию заслонял от нее небольшой круг молодого дворянства, более или менее проникнутого или способного проникнуться теми же теориями и идеями, какими увлеклась императрица. В провинции люди из этого интеллигентного круга были случайными гостями. Выбрав своими депутатами тех из них, которые не попали в число депутатов от центральных учреждений, провинция несколько замаскировала свои естественные взгляды и вкусы. Но она не могла замаскировать их надолго. В наказах и прениях — украшения постепенно отпали, и выступила на первый план неприкрашенная действительность. Было бы нелепо утверждать, что с теорией эта действительность ничего общего не имела. При всех своих недостатках политическая теория XVIII в. была все-таки достаточно тонка и гибка, чтобы не спастись перед объяснением русской действительности. Законодатель-практик, прочитавший все депутатские указы, не мог бы написать лучшей и более близкой к жизни страницы, чем та страница Беккариа, которую, именно ввиду этой чрезмерной близости, пришлось выкинуть из Наказа. Но серьезное приложение *такой* теории на практике требовало гораздо большей ломки, чем могла ожидать императрица на основании своего знакомства с придворным кругом русского дворянства. С *этим* кругом можно было спокойно говорить о самых страшных вещах. Мы видели, что

здесь сумели, не обижая себя, примирить передовые теории естественного права с явлениями русской действительности. Другое дело, когда сама русская жизнь заговорила от своего лица. Тут уже не было места компромиссу; нужно было решаться на выбор. И выбор, по условиям времени, не мог быть сомнителен.

Что же сказала и обнаружила эта Комиссия, действительно, молнией среди ночи осветившая русскую современность и начавшая собой эру, если "не блаженства всех и каждого", то сознательной общественной жизни в России?

Наказы показали, прежде всего, что все государственные и общественные успехи, достигнутые Россией в течение веков, ограничиваются поверхностью и что в своей глубине эта жизнь недалеко ушла от той картины, которую мы видели в памфлете Ивашки Пересветова. До деревни не дошел еще ни суд, ни администрация. Учрежденные правительством судебные и административные власти в нее не проникают, и население, без различия сословий, остается без всякой защиты закона. За отсутствием этой защиты борьба сильного и слабого ведется здесь в формах, свойственных самому примитивному обществу. "Сколько не предписано законов с угрозением наихудших штрафов, но вкоренившаяся междоусобная наглость и самовольство не истребляются, что главнейшее зло обществу; ибо сильный бессильно, богатый небогатого, *кто с кого сможет, тот того и разоряет*". "Слабый сильному всегда лучше уступит, нежели начать продолжительное и для себя разорительное дело". Подобные замечания не раз попадают в наказания. Против этого "главнейшего зла" и направлен единодушный вопль, котрый несется из провинции в наказах. Провинция жаждет получить, прежде всего, суд и управление, *близкие* к населению и доступные для него. Избиратели хлопочут, чтобы им дали возможность у себя дома совершать и свидетельствовать всяческие документы гражданского права, размежевывать своими местными геодезистами спорные земли и находить у себя под боком, в ближайшем городе, нужные справки в юридических документах, хранившихся до сих пор исключительно в вотчинном архиве древней столицы. Дворянство добивается, чтобы мелкие сельские споры о потравах, порубках и всевозможных захватах можно было решать сокращенным словесным судом, с применением немедленного следствия на месте, по живым следам, — так как, по странному юридическому недоразумению, петровская "форма суда" передвинула судебное следствие к концу процесса, — после судебного разбирательства.

Население хочет также у себя дома учиться, лечиться, пользоваться кредитом: оно требует устройства провинциальных школ, банков, аптек и докторов. Потом, почти столь же единодушно, но все-таки на втором месте сравнительно с главной насущной потребностью в близком суде и власти, — дворянские наказания требуют, чтобы этот суд и управление были ус-

троены на началах *дворянского выборного самоуправления*. Предлагаемые дворянством формы расходятся между собой. Одни желают товарища воеводы сделать выборным, другие возобновить для этого должность петровского ландрихтера или создать новую должность "опекуна", третьи хотят сохранить выбранного для баллотирования депутатов "предводителя", четвертые предлагают разделить провинцию на земские участки и назначить в каждом "земских судей" с административно-судебными полномочиями. Один наказ вспоминает даже губные учреждения Грозного. Собрания дворян для выбора и контроля выборных, для содействия уголовному следствию и преследованию, предполагаются сами собой. В некоторых наказах дальше этого и не идет дворянское классовое самосознание. Но чаще встречаем признаки того, что уже и провинциальное дворянство, вслед за столичным, начинает сознавать свое привилегированное положение и проникаться корпоративным сословным духом. Прежде всего, родовое дворянство настойчиво стремится замкнуться от нового чиновного дворянства петровской табели. Старшая братья не хочет признавать дворянство по чину, а лишь по диплому (то есть монаршему пожалованию). Она особенно негодует на то, что новые пришельцы "делают дворянству великий подрыв в покупке деревень", и набивают цену. Помимо расчета выгоды тут, однако, говорит и новая в дворянстве чувствительность к вопросам сословной чести. Если некоторые избиратели хлопочут еще, по старому обычаю, о денежных штрафах за дворянское "бесчестье", то другие уже протестуют: "Дворянство честь свою с деньгами равнять не могут". Дворяне считают унижительным сидеть в одной комнате с "подлыми" и требуют отвода особых помещений для себя в правительственных канцеляриях. Во имя того же чувства они протестуют против осмотров на заставах, против обысков и арестов в собственных усадьбах. В связи с тем же сословным духом развивается понятие о почетности и обязательности общественной службы, особенно выборной. Если одни наказы заранее хлопочут о казенном жалованье для будущих выборных судей, то другие прямо объявляют: "Как предводитель, так и судьи должны служить обществу из одного любочестия и для общественной пользы". В выборную должность избираются дворяне "не в службу, но потому только, что всякий сын отечества должность сию для общей пользы и покоя исполнить не отречется (сравни указ Сената 1761 г.)". Правда, это понимание дела, очевидно, внушается сверху. "Несмотря на чин и звание, — проговаривается один наказ, — каждый, почитая за необходимость, как патриот отечества, служить определенное время для общества должен, — так как в нынешнем манифесте о выборе предводителя и депутата предписано".

Гораздо охотнее дворянство стремится "отличить" себя от прочих сословий — расширением старых привилегий и дарова-

нием новых. Не в пример другим, оно требует освобождения от всех тех стеснений в передаче владельческих прав на крестьян и земли, которые еще уцелели от старой московской регламентации службы. Оно желает получить полную свободу завещания, которое, однако, с точки зрения тогдашнего естественного права, "едва может почитаться натуральным способом переносения своего владения к другому". Дворяне хотят также освободить свою собственность от податей и обязательств, наложенных новым петровским законодательством (ограничение прав на леса, минеральные богатства, винокурение, налог на бани). Особенно же настойчиво хлопочут они о запрещении другим сословиям владеть крепостными и о закреплении за ними самими их крепостных новыми строгими мерами. Штраф за прием беглых должен быть увеличен с 10 до 100 или 200 рублей; правительство должно облегчить преследование беглых или даже взять его на себя: должно зачитать в рекруты потерянных и сосланных помещиком крестьян.

Мы видели, что Екатерина еще великой княгиней готова была пойти на компромисс с рабовладельцами в крестьянском вопросе и предвидела их сопротивление. В дальнейших беседах и переписке (с И.П. Елагиним, Д.А. Голицыным) она окончательно утвердилась в мысли, что собственность полезна и даже необходима для экономического развития страны, но что дать крестьянам свободу и собственность сразу, общим законом, нельзя — не только на землях помещиков, которым надо предоставить в этом отношении полную свободу, но даже и на дворцовых землях, где общая реформа тоже будет небезопасна для помещиков. Дело свелось, на первый раз, к подготовке маленького опыта на земле Григория Орлова. "Собственность и свобода" должны были здесь осуществиться в виде наследственной аренды за определенные повинности, по образцу остзейских крестьян (и даже в этом виде остались в проекте). Был сделан далее скромный запрос по адресу вновь учрежденного Вольного экономического общества: в чем именно, в движимости или в недвижимости должна состоять крестьянская собственность. Наконец, Екатерина вставила несколько робких выписок из *Монтескьё*, — наполовину вычеркнутых из Наказа еще до его издания. Здесь говорилось об ограждении личности и собственности крестьян от произвола и насилия владельцев. Прежде, однако же, чем подоспели ответы на тему (Вольное экономическое общество поставило ее несколько смелее екатерининского вопроса), Екатерина должна была убедиться, что самые разговоры о каких бы то ни было переменах считаются опасными и что, вместо компромисса, дворянство требует безусловного и торжественного подтверждения своих владельческих прав. Наказы заявляли, что "люди и крестьяне ныне помещикам своим послушание по несколько уменьшают", что "многие, а особливо в ночное время, в домах своих не бывают, а укрывают себя в

неизвестных никому местах”, или ”страха ради по полугодую и более находятся в городах”, так как беглые крепостные, ”кого из тех помещиков в домах своих застанут, мучат злодейски, жгут огнем, режут и на части разрубают, а дома их выжигают”³. В виду этого дворяне ”всеподданнейше просили, дабы в сохранение древнего узаконения дворянские люди и крестьяне в подлежащем повиновении, яко своим господам, были, и о том в ныне сочиняемом проекте нового уложения подтвердить с таким объявлением, что узаконенная древле помещицкая власть над их людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, как доньше была, так и впредь будет”. Те 500 крестьянских прошений, которые Екатерина привезла с собой из путешествия по Волге в Москву, к самому открытию заседаний Комиссии, были слишком кресноречивой иллюстрацией к сведениям наказов. Знаменитая нервная реплика Екатерины поэту Сумарокову (”и бывают — то есть помещики — отчасти зарезаны от своих” и т.д.) доказывает, что императрица отнюдь не представляла себе деревенского сожительства сословий в виде счастливой идиллии. Но практическим результатом этого ясного понимания дела на первый раз оказалось лишь запрещение крестьянам жаловаться и военные экзекуции. Мы знаем, что Екатерина не любила колебаний в политике.

Другим тяжелым ударом, который действительность нанесла гуманным намерениям императрицы, было отношение наказов к ее попыткам смягчить уголовную процедуру. Уже в 1763 г. Екатерина поспешила распорядиться, чтобы в случае сознания преступника судьи не пытали его (для открытия сообщников или других преступлений, в которых он не обвинялся) и чтобы вообще чиновники мелких городов (”приписных”) не прибегали к пыткам. Из Новгородского, из Белозерского, из Опочецкого, из Чухломского уездов раздались в ответ на это — требования, чтобы пытать по старому, и заявления, что ”избежать не можно, дабы не узаконить жесточайших и беспощадных истязаний”. Алатырское дворянство поясняло императрице, что только ”просвещенный и политизованный народ” может сознаваться без пытки, ”а российский народ, когда который сделается злодеем, то уже такое окамененное сердце и дух сугубый имеет, что не только священнику, но и в розыску, когда его пытаются, правды не скажет”. И полуграмотное данковское дворянство коснеющим языком лепетало вслед за другими: ”А в случаях по законам Ея императорского величества осудивших наказания публичного кнутом и смертные казни благоволено было чинить в страх другим в тех местах, где кто какое злодейство учинили, в селах и деревнях... чтоб все в сотне и приходе на ту экзекуцию к тому дню сходились и все неотменно были

³ О настроении крестьян после манифеста Петра III о вольности дворянства. См. ”Очерки”, I.

во объявленное место для усмотрения преступников и злодеев наказания и казни... чтоб лучше можно чрез тот страх искоренить незаконных злодеев... что может страх и слух зараженным в сердцах преступником находится в глазах их быть может наказание их понятно каждому..."

Увы, на этот раз крики русской провинции должны были напомнить Екатерине первоначальный текст Беккариа, смягченный ею в § 208 ее Наказа: "На очерствелые души народа, едва вышедшего из дикого состояния, нужно действовать впечатлениями более сильными и чувствительными; нужен удар грома, чтобы поразить льва, ибо выстрел из ружья может только раздражить его. Но по мере развития народа *в условиях общежития* — возрастает и впечатлительность, и вместе с тем должна ослабиться строгость наказаний". Призванная к ответу императрица могла бы тут ответить только то, что она ответила Сумарокову на его замечание, что "наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет": "*и иметь не может в нынешнем состоянии*". Так, сам собой возникал вопрос, что от чего зависит: перемена "условий общежития" от развития "благородных чувствий", или, наоборот, развитие "чувствий" от перемены "нынешнего состояния", Екатерина пока оставалась при либеральном мнении: "тела" надо освободить прежде "душ".

Наша характеристика положения, определившего участь Комиссии об Уложении, была бы неполна, если бы мы вовсе обошли молчанием ту область действий Екатерины, в которой ей было легче решиться на выбор между "интересом" и "справедливостью". Я разумею сферу внешней политики.

Как известно, пути внутренней и внешней политики Екатерины пересеклись. Комиссия была закрыта) точнее, отсрочена), потому что началась первая турецкая война, поглотившая все внимание императрицы. В новой сфере деятельности вкусы и стремления Екатерины нашли более легкое и благодарное применение. Слава завоевательницы оказалась менее тернистой, чем законодательные лавры. Вид силы здесь было легче сделать источником силы. Вот почему царствование, начавшееся демонстративным торжеством критических идей, повернуло, затем на путь завоевательной политики.

Конечно, и здесь Екатерина примыкала к предшествовавшей традиции. Она завершала задачи, поставленные еще московской политикой XV в. Цели, действительно, были те же. До поразительного сходны были отчасти и средства: я разумею поддержку в Польше православной партии, достаточно слабой, чтобы она не могла держаться собственными средствами и служила постоянным предлогом к русскому вмешательству. Казалось, Екатерине сам собой свалился плод, созревший веками. В действительности, однако же, это было не совсем так. Некоторые исследователи даже утверждают, что Екатерина протянула руку к плоду еще не созревшему и, благодаря этому, оторвала

лишь часть от целого. Во всяком случае, несомненно, что ее личное влияние (точнее, влияние сперва Орлова, затем Потемкина) во внешней политике сказалось чересчур сильно. Главный результат разыгравшейся страсти к захватам был — ускорение *темпа* событий, создавшее очень неблагоприятную обстановку для решения поднятых вопросов. Их было поднято слишком много зараз, а дальнейшие перспективы переходили в полную утопию. "Горячая голова" сказала и здесь. Осторожности и медленности — двух главных черт старой московской политики — совсем не было в политике Екатерины.

Напомним, для большей наглядности, быструю смену событий, в пределах интересующего нас теперь промежутка времени. Екатерина дебютирует в политике мирными намерениями. В них уже таится будущая воинственная программа, так как очень скоро обнаружится, что поддержание мира есть в глазах Европы новая цель *самостоятельной* русской политики, разрывающая с системой старых союзов и начинающая новую эру в международном положении России. Екатерина втягивается, затем, стихийно в колею старой московской политики. Первые, слишком легкие успехи отуманивают ей голову. Достигнутые чересчур неразборчивыми средствами победы в вопросе о диссидентах ставят в затруднение само правительство. Оно не может удержаться на занятой позиции, лицом к лицу с встревоженными или злорадствующими державами и национальным возбуждением в Польше, раздраженной русской бесцеремонностью. "Сила наша все может, — так характеризует это положение сам исполнитель русской политики, кн. Репнин из Варшавы, — но не только тем не утвердим уверенность нации к нам и нашу здесь инфлюенцию, но, напротив, совсем оные разрушим, оставя в сердцах рану всех резонабельных и достойных людей, которые одни только и могут через свой рассудок нацией предводительствовать. ...Такое мнение произведет, натурально, крайнюю недоверку и сильно следственно будет препятствовать к собранию нас в независимую ни от кого, кроме нас, партию надежных и достойных людей, на коих бы мы характер и на их в народе инфлюенцию полагаться могли. Если же нашу партию соберем из людей, кои почтения в нации не имеют, то они нам более будут в тягость, нежели в пользу, не имея никакого кредита: и тако принуждены будем все делать единственно силою. Из сего же произойдет, что при первом случае, при коем аттенция наша или силы отвращены будут в другую сторону, то Польша, по бессилию только снося строгость нашего ига, тем воспользоваться захочет, дабы оного избавиться... Изъясняя сие, осмелюсь предложить, что наши интересы, на время какого-либо замешательства с Портой, требуют, чтобы мы заранее в Польше внутренний порядок установили, дабы при надобности можно нам было ей дать ту силу, которую заблагорассудит... а иначе она нам полезна быть не может".

Эти слова оказались пророческими. Ближайшие последствия осужденной Репниным политики не замедлили сказаться. Замешательства в Польше склонили турок к объявлению войны. Россия предвидела ее, но тщетно старалась предупредить — и должна была вести, не успев приготовиться, как следует. Екатерина не унывала. Недостаток войск она восполнила знаменитым напоминанием Румянцеву: "Не спрашивали римляне, в каком числе против них неприятель, но где он". Румянцев оказался на высоте задачи: Ларга и Кагул выручили императрицу и оправдали претензии русских дипломатов. Но это были эффекты минуты, а годы проходили, и русские войска, несмотря на блестящее начало, не могли двинуться от Дуная вглубь страны: не выручала и римская доблесть. Несмотря на это, предъявленные нами к Турции требования были так высоки, что, вопреки собственному желанию заключить мир, Порта тянула войну. Наконец, чтобы выйти из затруднительного положения, Екатерина принуждена была пополнить итоги турецкой войны вознаграждением от Польши — и для этого согласиться на участие в дележе других соседних держав. Таким образом, результатом злоупотребления русской силой в Польше оказалась поспешная ликвидация польского вопроса европейским концерном.

Ко времени открытия заседаний Комиссии об уложении, летом 1767 г., о таком вынужденном исходе русских дипломатических побед в Польше никто еще не думал. Европа, казалось, преклонилась перед неожиданным откровением русского могущества. Внутри государства положение императрицы тоже окрепло. После крушения брачного проекта Орловых, вызвавшего раздражение против них в среде гвардейского офицерства, Григорий Орлов не мог уже импонировать Екатерине своим влиянием на круги, возведшие ее на престол. Претензии Панина на власть были ловко устранены его приближением, — как Екатерина впоследствии готова была посоветовать Людовику XVI поступить с Лафайетом. Репутация просвещенной законодательницы, о которой мечтала Екатерина, была заранее обеспечена ей Вольтером. Наконец, "доверие и любовь народа", которую Екатерина рассчитывала приобрести вниманием к "народному благу" и "справедливостью", оказывались традиционной принадлежностью высокого знания, которое она носила: Екатерина не знала, сердиться ей или умиляться, когда во время путешествия деревенские бабы ставили перед ней свечи, крестились и клали земные поклоны. Словом, значительная часть внешних побуждений к мудрому законодательству отпала как раз к тому времени, когда легкий успех начал отвлекать внимание императрицы к делам внешней политики. Действия Комиссии открывались при этом новом настроении, очень не похожем на то, когда эта Комиссия была затеяна.

Комиссия оказалась громоздкой, сложной и трудноуправляемой машиной. Она делала очень серьезное дело — и делала его очень солидно. Но это было не совсем то дело, для которого прочила ее императрица. Настроение собрания оказалось очень деловое, и уровень деловой подготовки, понимания собственных интересов обнаружился очень высокий. Но зато идеология была редким исключением среди членов. И однако же, вывести отсюда, как вывел сын маршала Комиссии, Бибикова, что "умы большей части депутатов не были еще к тому приготовлены и весьма далеки от той степени просвещения и знания, которая требовалась к столь важному их делу", было бы несправедливо. Краткая характеристика споров и взглядов собрания нам это покажет.

Первое, что нас интересует, когда мы раскрываем обстоятельные протоколы заседаний Комиссии, — эта та роль, которую играла известная нам дворянская интеллигенция в ее деятельности. Мы видим, действительно, в составе членов Комиссии почти все те имена, с которыми, семью годами раньше, мы встретились на страницах первых русских журналов. Но нас ждет большое разочарование. В Комиссии первая роль принадлежит совсем не этому цвету дворянской молодежи. Она держится крайне сдержанно, говорит редко, в принципиальных вопросах большей частью молчит и как бы систематически избегает высказываться. Ближайшее объяснение можно искать в том, что, занимая часто высокие придворные и правительственные должности, дворянская интеллигенция чувствует себя в Комиссии как дома и уступает место гостям. Но тут есть и другой оттенок. Столичные деятели, видимо, лучше посвящены в закулисную историю Комиссии только когда это нужно по каким-нибудь особым соображениям, и предоставляют провинциалам вести горячие принципиальные прения, от которых все равно не ждут важных практических последствий. Бывают, однако же, случаи, когда и они считают нужным высказаться и даже снисходят до полемики с рядовыми членами собрания. В таких случаях представители первого русского интеллигентного поколения разочаровывают нас еще более. Если они высказывают либеральные мысли, почти всегда можно предположить, что они хотят быть угодными императрице или прямо исполняют ее секретное поручение. Если же они говорят от себя, то их речи почти всегда сводятся к осторожной защите дворянских притязаний во всей их широте. Время, очевидно, успело охладить их порывы. Мы узнаем здесь поколение, занимавшееся журналистикой для собственной забавы (см. предыдущий очерк) и внесшее в отвлеченную теорию естественного права практические поправки. Мы начинаем понимать, почему поколение пятидесятых годов не записало своих имен в истории русской общественности и совершенно исчезло из памяти потомства. Чтобы найти их имена, надо перерывать словарь Новико-

ва, записку Дмитриевского. Но и там мы узнаем только, что все эти камер-юнкеры и сановники когда-то в своей молодости подавали надежду. Об исполнении надежд не говорится ни слова.

Отказавшись от активной идейной пропаганды, интеллигентные дворяне, однако, чувствуют неловкость открытой защиты сословных привилегий. Принципиальными и безусловными защитниками дворянства являются в Комиссии другие люди. Они приближаются к одному из двух крайних типов: князя Щербатова, единственного теоретика аристократии, который с жаром и знанием полемизирует против афишированного либерализма императрицы, но в тон ее тайным симпатиям к "древним фамилиям", — или закоренелого провинциала Михайлы Глазова — прототипа Маркова второго, — который не может говорить без брани и увеселяет собрание своими яростными выходками и бестолковой аргументацией.

Главное оживление и интерес прениям придает присутствие в собрании многочисленной антидворянской группы городских депутатов. Трудно сказать, насколько это вышло намеренно, — но этих представителей среднего рода людей оказалось в Комиссии больше, чем дворянских депутатов (207 против 160). Дело шло для них о самых жизненных интересах, затронутых претензиями дворянства. Уже проект, выработанный предыдущей Комиссией, сильно стеснял торгово-промышленный класс в пользу дворянства. Теперь, из наказов и мнений екатерининских депутатов городские депутаты "с прискорбием усмотрели, что русскому купечеству готовится большое отягощение", и приготовились к серьезной борьбе. Сильный подъем промышленной жизни во время Екатерины отчасти обострил, отчасти создал вновь антагонизм между торгово-промышленным и земледельческим классом. В деревне значительно развился отхожий промысел, кустарничество, скупка и перепродажа крестьянами-кулаками крестьянских продуктов. Борьба шла здесь за роль скупщика, которую купцы хотели отнять у крестьян, а крестьяне — удержать за собой. В обратном направлении, от города к деревне, развивалась посредническая роль мелочного торговца. По всем правам она принадлежала купечеству, но постоянно ускользала от него, благодаря сельским ходябщикам и ярмарочным торговцам. В обоих случаях закрепить посредническую роль в торговле за *крестьянами* — являлось прямой выгодой для их владельцев. Они облагали таких крестьян-торговцев высоким оброком или вкладывали в их торговлю собственный капитал. Понятно, почему дворянские депутаты, не щадившие красок для изображения лености, распущенности и всевозможных пороков своих крепостных крестьян, вдруг становились их горячими защитниками против нападений купечества и начинали в таких же ярких красках — даже с "великим движением духа" — изображать печальное положение кре-

стьянства. Существовал и другой пункт, на котором интересы дворянства и купечества сталкивались уже непосредственно. Как только фабричное производство начало приносить выгоды, появилась масса фабрик, основанных помещиками и работавших крепостным трудом. Петровской посессионной фабрике эта помещичья крепостная фабрика грозила серьезным подрывом. Вот почему в вопросе о владении фабриками загорелась особенно оживленная перестрелка в Комиссии. Обе стороны требовали запрещений и не могли сойтись ни на каком компромиссе. Одно это обстоятельство располагало горожан к постоянной и настойчивой оппозиции против требований дворянства.

Была еще группа в Комиссии, не такая многочисленная, как предыдущая, и не такая однородная по своим интересам: она занимала промежуточное положение, примыкая по разным вопросам то к той, то к другой из предыдущих групп. Это были однодворцы и другие мелкие служилые люди. Против дворянства их настраивала претензия последних — отгородиться высокой стеной монаршего пожалования от массового вторжения в дворянскую среду всевозможных разночинцев путем выслуги чина. Но та же надежда сделаться самим дворянами отчасти и сближала эту группу с дворянством. Против купечества их восстанавливало желание последнего отобрать и у разночинцев всякие торги и промыслы. Разночинцам доходы от промышленных занятий были между тем еще нужнее, чем крестьянам; здесь количество лиц, потерявших землю и принужденных кормиться промыслами, было гораздо больше.

В одном только вопросе представители разных сословий оказались единодушны между собой и согласны с взглядами императрицы. Остзейские, финляндские, малороссийские и смоленские депутаты приехали в Комиссию с намерением — не считать русского дела своим собственным. "Блаженству всех и каждого" они предпочитали сохранение старых привилегий, укрепленных за ними договорами, на основании которых они присоединены были в свое время к России. Екатерина ясно понимала, в чем дело, и давно уже составила себе определенный план действий. "Нарушить (привилегии) отрешением всех вдруг — весьма непристойно бы было, однако ж и называть их чужестранными... есть больше нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью... Си провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели". Эти слова инструкции генерал-прокурору написаны в 1764 г. Но в Комиссии Екатерина должна была говорить другим языком. Она обиделась за свои просвещенные принципы. "Чтоб лифляндские законы лучше были, нежели наши будут, — тому статья нельзя: ибо наши правила само человеколюбие писало, а они правил показать не могут, и сверх того иные их узаконения наполнены невежествами и варварствами. И так, предохраня себя, торжественно они просят: мы хотим, чтобы нас смер-

тью казнили, мы просим пыток: мы просим, чтоб от непрерывной ябеды наши суды никогда не были окончены. .. Просвещенному свету останется судить о подобных неистовствах". Такие мысли Екатерина распорядилась внушить в Комиссии "кому благопристойнее, а лучше, если бы был кто-нибудь из знати". Однако же, тонкая работа императрицы не понадобилась. Собрание было обижено требованиями окраинных депутатов не меньше императрицы. Но выразило оно эту обиду грубее и откровеннее. "Побежденные" не должны иметь преимущества над "победителями"; а государь может сделать, что хочет; следовательно, законы должны быть одинаковые для всех. Такова в главных чертах аргументация ораторов в собрании. Екатерина не могла не почувствовать, как эти депутаты, тормозя все планы ее, когда дело шло о политике внутренней, готовы были развязать ей руки и сами шли дальше ее в национальном вопросе. Это было предвкушением того успеха, который ожидал императрицу в мнений общества, как только свои мечты и усилия она перенесет в область внешней политики.

Такова была эта сложная среда. Она не была приспособлена, быть может, к осуществлению задач Екатерины, но очень способна и готова стремиться к осуществлению своих собственных. Раз государыня "удостоила" депутатов "не только объявлять о своих нуждах, но и быть еще судьями рассматриваемых общенародных дел", они, конечно, не считали "возможным гражданину умолкнуть". Довольно естественно, конечно, что обсуждение "общенародных дел" они вели с точки зрения своих групповых интересов. Это-то и лишило возможности императрицы и ее депутатов сговориться друг с другом.

Через свою интеллигенцию императрица не раз пыталась навести собрание на обсуждение интересовавших ее вопросов: о пытке и крепостном праве. Но первый вопрос почти не нашел отклика среди депутатов — если только не считать нескольких случайных обмолвок провинциалов в пользу телесных наказаний. Это вызвало со стороны дворянской интеллигенции резкие призывы к порядку и иронические напоминания об идеях Наказа. По вопросу о крепостном праве и об ограничении помещичьей власти застрельщиком выступил тоже один интеллигентный дворянин, — провинциал Коробьин, как кажется, инспирированный властью⁴. В пику дворянству депутаты других сословий отнеслись к Коробьину довольно сочувственно. Но со стороны дворянства поднялась такая буря, которая должна была еще раз убедить Екатерину, что самые скромные попытки ее в вопросе о крепостных натолкнутся на самое упорное сопротивление. Екатерина сделала, однако, еще попытку. В проект о правах благородных, выработанный частной комиссией, введено

⁴ Коробьину Екатерина и потом поручала защиту "прав благородных". Он голосовал часто вместе с близкой к престолу дворянской интеллигенцией.

было глухое указание на возможность устройства нового типа "свободных деревень". Их предполагалось снабдить разными льготами по правовому положению. Но дворянство и именно интеллигентное на этот раз предпочло не понять намека, действительно не особенно ясного.

На разборе "проекта прав благородных" главные сословные группы собрания дали, наконец, друг другу генеральное сражение. Оно должно было наглядно показать императрице, что можно и чего нельзя добиться от Комиссии. Уже первая попытка маршала Бибикова — ограничить собрание *суммарной* оценкой проекта — вызвала протест со стороны обеих боровшихся друг с другом групп. Небольшая группа дворян-писателей и интеллигентов коротко, но решительно попросила "времени на размышление". Представители разночинцев, интересы которых особенно были задеты проектом, еще настойчивее просили "дозволить: если оный (проект) сходственен с положением нашего государства, и, что больше, — ежели согласен с естественным рассуждением (из него разночинцы выводили требование о равенстве всех дворян!), — то подтвердим и постановим оный некополебимым. А если, напротив того, найдем в нем что-нибудь такое, которое для всего отечества и общего спокойствия может быть вредно, о том подать нам свои примечания". Маршал уступил, и решительная борьба началась. В ней снова были подняты все затруднительные вопросы, и вновь возникли, вместе с ними, все серьезные разногласия, разделявшие депутатов. Но теперь боровшиеся партии считались и выступали сплоченными группами. Интеллигентное дворянство, защищавшее привилегии, выставило своим лидером Алексея Нарышкина, известного нам сотрудника херасковских журналов. За ним по всем вопросам, крупным и мелким, шла тесная группа в 36 человек. Гораздо импозантнее были группы разночинцев и горожан, боровшиеся за доступ в дворянство и за охрану торгово-промышленной деятельности от дворянских фабрик и крестьянских кулаков. Не могло быть речи о дальнейшем соглашении по существенным вопросам в собрании, где численное преобладание принадлежало непримиримым противникам ("прав благородных"). Настроение этого большинства и невозможность идти с ним в желательном для правительства направлении особенно ярко сказались в истории одной баллотировки, которая по началу казалась совершенно случайной, а своим исходом, может быть, оказала решительное влияние на судьбу Комиссии.

В заседании 7 августа 1767 г. дворянский депутат кн. Иван Вяземский выступил с предложением, по внешности примирительным. Он находил, что проект дворянских прав ничего не отнимет у тех, кто *в данную минуту* чем-либо владеет, что все дослужившиеся "до сего времени" разночинцы, несомненно, попадут в дворяне и что остается ходатайствовать у императрицы о "разборе дворянства" и о составлении общего дворянского

списка. Но в понятии интеллигентного дворянства "разбор" соединялся с разграничением дворян по разрядам и с закрытием дальнейшего доступа к дворянству. Предложение Вяземского, несомненно, было инспирировано императрицей. Но внесено оно было, как многие такие же внушенные предложения, так осторожно, что вначале не возбудило ничего особенного внимания. Это-то, однако, и оказалось опасным для исхода предложения. В конце следующего заседания, выслушав совершенно резонные соображения двух городских депутатов, что составление списков есть дело герольдии, что собрание должно лишь установить *правила* получения дворянства, а не заботиться о том, кто попадет в дворянство и кто нет; что, наконец, предложение Вяземского явно двусмысленно и клонится к устранению чиновников и офицеров от дворянства, — разночинцы и горожане большинством 102 голосов против 18 провалили предложение Вяземского. Тогда в следующее заседание явились отсутствовавшие в предыдущем члены интеллигентной дворянской группы и в их числе такие редкие гости Комиссии и близкие люди императрице, как Григорий Орлов, Козицкий, Лев Нарышкин. Предложение Вяземского было поставлено вновь, под тем неловким предлогом, что герольдия требует списков у Комиссии, а Комиссия сама не может их сообщить и должна всеподданнейше испросить их у государыни. Под предложением Вяземского подписались 140 человек, в том числе до десятка татар. Новая баллотировка назначена была на следующее заседание. Перед баллотировкой маршал пригласил депутатов к особому размышлению и "во время самой раздачи шаров не преминул паки напомнить, чтобы те клали шары на правую сторону, которые согласны с Вяземским". После всех этих разъяснений и напоминаний нашлось все-таки 158 дерзких смельчаков, которые предпочли левую сторону правой. За Вяземского было подано 242 голоса.

Отсрочка заседаний Комиссии, четыре месяца спустя, конечно, не стояла в прямой связи с только что описанным инцидентом. Для этого был вполне приличный предлог. Из 160 дворянских депутатов 92 должны были отправиться к действующей армии, чем достаточно мотивировался перерыв в занятиях Комиссии. Но эпизод с Вяземским должен был показать, что Комиссия совсем не годится, как *machine à voter*.

Как источник сведений о положении государства, с "кем дело имеем и о ком пещись должно", — она уже сделала свое дело. Деловыми сведениями и рабочей силой депутатов гораздо удобнее было пользоваться в многочисленных частных комиссиях, выбранных "Большою". Таким образом, созыв вновь Большой Комиссии был бы только стеснителен для личной инициативы императрицы. А мы знаем, что этой инициативой она не имела желанья поступиться, особенно теперь, когда убедилась в упорстве, с каким различные сословные группы защищают

свои интересы. Эра "блаженства всех и каждого" кончилась. Когда у Екатерины вернется вкус к законодательству, она будет искать иных авторитетов и поставит себе иные, более скромные цели. Но она всегда будет помнить о неудаче своего "просвещенного" законодательства, когда обстоятельства столкнут ее с прямыми проявлениями русской общественной самостоятельности.

БИБЛИОГРАФИЯ

Кроме общих сочинений Соловьева (томы XXV-XVIII или V и VI компактного издания), Брикнера *История Екатерины Второй*, изд. А. Суворова, с рисунками (СПб., 1885) и Бильбасова (два тома до 1764), см. также двухтомную характеристику личности Екатерины и ее сотрудников. К. Waliszewski, *Le roman d'une impératrice et Autour d'un trône*. По случаю столетнего юбилея появился ряд характеристик, принадлежащих: проф. В.О. Ключевскому, *Императрица Екатерина II*, Русская мысль, XI (1896); В.С. Иконникову, *Значение царствования Екатерины II* (Киев, 1897); см. его же: *Страница из истории Екатерининского Наказа, об отмене пыток в России*; Г. Перетятковичу, *Значение царствования Екатерины II в русской истории* (Одесса, 1897); А.С. Лаппо-Данилевскому, *Очерк внутренней политики Екатерины II* (СПб., 1898); А.А. Кизеветтеру, *Историческое значение царствования Екатерины Великой*, Образование, №11 (1896). О современной французской литературе см. Тэн, *Происхождение современной Франции*, т. I; Лансон, *История французской литературы*, т. II (М., 1898); Сорель, *Монтескье* (два перевода под ред. Н. Кареева и П. Виноградова); Морлей, *Вольтер*, перев. под ред. Кирпичникова (М., 1889) и Штраус, *Вольтер*, изд. "Книжного Дела" (М., 1900). Собственноручные заметки Екатерины до 1762 года изданы в *Бумагах императрицы Екатерины II* академиком Пекарским, т. I (СПб., 1871) (7-й том Сборника Русского Исторического Общества). Текст книги Беккариа, *О преступлениях и наказаниях* сопоставлен с текстом *Наказа* в книге С. Зарудного, Б. о пр. и нак. (СПб., 1879). Гравюра по случаю издания *Наказа* издана в *Истории Екатерины* Брикнера. Наказы депутатов Екатерининской Комиссии напечатаны в томах IV, VIII, XIV, XXXII, LXVII, LXVIII, и XCIII Сборника Русского Исторического Общества. Протоколы заседаний Большой Комиссии — в первых половинах тех же томов (кроме последних двух). Содержание дворянских наказов изложено в статье С. Б(рюлловой), *Общественные идеалы в Екатерининскую эпоху*, "Вестн. Евр.", № 12 (1876). Более подробное изложение дворянских и городских наказов, в сопоставлении с законодательными мерами, см. у В.Н. Латкина, *Законодательные комиссии в России в XVIII в.*, т. I (СПб., 1887). Там же и история предыдущих комиссий. Общая характеристика деятельности комиссии см. у Сергеевича, *Лекции и исследования* (СПб., 1883) и Дитятина в статьях по истории русского права, *Екатерининская Комиссия* (СПб., 1896). Новые работы А.В. Фроловского, *Законодательная комиссия 1767 г.* (Одесса, 1913) и *Крестьянский вопрос в Наказе 1767 г.* (Одесса 1912). Отношение Екатерины к крестьянскому вопросу, см. В.И. Семевский, *Крестьянский вопрос в России*, т. II (СПб., 1888). Внешняя политика России в начале царствования Екатерины, 1762-1774, по русским источникам, характеризуется Д. Чечулиным (СПб., 1896). Донесение князя Репнина, см. в *Сборнике Русского Исторического Общества*, т. LXXXVII (1893). См. также Albert Sorel, *La question d'Orient au XVIII siècle (le partage de la Pologne et le traité de Kaïnardji)* (Paris, 1899) и общие работы по истории эпохи французской революции Зибеля и Сореля.

ПЕРВЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

Характер второго фазиса просветительной деятельности Екатерины. — Екатерина и европейское общественное мнение этих годов. — Дидро как его представитель. — Его впечатления в России, уклончивость объяснений Екатерины. — Его проект политической реформы. — Отношение его и Екатерины к религиозному вопросу. — Ультиматум Дидро и общее впечатление императрицы. — Последствия его для вопроса о переиздании "Энциклопедии" в Петербурге. — Екатерина и русское общественное мнение. — "Исправление нравов" занимает место философского законодательства. — Попытка издания нравовоспитательного журнала ("Всякая Всячина"). — Отношение к нему общественного мнения в других органах и полемика императрицы с этими органами. — Социальная сатира "Трутня" и отношение к ней журнала Екатерины. — Спор о границах, приемах и целях публицистики. — Нейтральная почва в восхвалении "древних" добродетелей русских, в нападках на французоманию. — Происхождение националистического протеста и карикатурных типов сатирических журналов. — Новиков пробует стать на почву националистической карикатуры в "Живописце". — Неудачный опыт восхваления национальных добродетелей в "Кошельке". — Характер лучших журналов 1769-1774 гг. — Роль публициста при Екатерине.

Мы переходим теперь ко второму фазису в развитии просветительных идей Екатерининского времени. Передовая мысль Европы шагнула к этому времени далеко вперед сравнительно с эпохой молодости Екатерины. Напротив, Екатерина успела "обжечь себе пальцы" на первых опытах осуществления идей своей молодости. "Дух времени" ушел вперед; дух власти подался назад. Таким образом, разрушилась та кажущаяся гармония между тем и другим, которую характеризовался первый период деятельности Екатерины. С своим практическим умом императрица очень скоро отдала себе ясный отчет в этом внутреннем противоречии принятой на себя роли. Но отдавать в этом отчет другим, разумеется, не могло входить в ее планы. Таким образом, самой характерной чертой второго фазиса явилось *недоразумение* со стороны общественного мнения и фальшь со стороны власти. Общественное мнение Европы ждало от Екатерины логических выводов из первых шагов ее реформаторской деятельности. Нарождавшееся общественное мнение России, призванное этими самыми шагами к жизни и деятельности, только

что собиралось заявить о себе. Оба оказались плохо осведомленными относительно истинных намерений императрицы.

Результатом такого недоразумения были первые, более или менее мягкие столкновения императрицы с общественным мнением. Одно из этих столкновений — с общественным мнением Европы — сохранялось в полном своем размере, в тайне до очень недавнего времени. Я разумею разговоры императрицы с Дидро, настоящим депутатом от передовой Европы в Петербурге. Другое столкновение, менее глубокое принципиально, но зато более видное для всех и чувствительное для Екатерины, — произошло у себя дома, в русской литературной семье. Оно было последствием попытки Екатерины принять личное участие в русской журналистике. Собственно, хронологический порядок обоих этих столкновений был обратный сказанному (беседы с Дидро — 1773 г.; столкновение с журналами — 1769 г.); но мы нарушим на этот раз хронологию и начнем с более принципиального столкновения, чтобы кончить более жизненным.

Не было человека в Европе, более способного выполнить единственную в своем роде миссию — делегата европейской литературной республики при русской императрице, чем Дидро. Надо было стоять в самом центре просветительного движения и сделать свое имя символом этого движения в глазах друзей и врагов. Надо было иметь за плечами шестьдесят лет и 28 томов "Энциклопедии" — и при этом сберечь юношеское незнание людей и веру в идеи. Надо было обладать душевным жаром и всеми чарами увлекательной речи и благородной прямоты обращения. Словом, надо было так полно и цельно слить свою личность с великой целью просветительного движения, как это было у Дидро, чтобы обезоружить житейский скептицизм Екатерины. Ей пришлось терпеливо выслушать все то, что, несколько месяцев подряд, от трех до пяти после полудня, проповедовал ей Дидро в длинных и страстных монологах, иногда переходивших в оживленные споры¹. Надо отдать справедливость Екатерине: она выдержала свою роль великолепно. Ничем, ни одним жестом, ни одним словом она не дала понять увлекающемуся философу, что перед ним не совсем то лицо, которое он создал себе в своем богатом воображении².

"Почему Россия управляется хуже Франции? — спрашивал Екатерину ее собеседник — и тотчас же отвечал сам: — Потому что свобода личности сведена здесь к нулю, верховная власть слишком еще сильна и естественные права слишком еще уреза-

¹ Собственно, Дидро прочел Екатерине ряд записок, иногда переходивших в наброски и конспекты для устного изложения.

² "Я больше слушала его, чем говорила, — рассказывала Екатерина впоследствии Сегюру; — кто застал бы нас врасплох, мог бы принять за строгого педагога, а меня за почтительную ученицу. Кажется, он и сам так полагал". Задетое самолюбие императрицы сказалось в последней фразе.

ны... Всякий произвол дурен: я не исключаю и неограниченной власти доброго, твердого, справедливого и просвещенного государя". "Понимаете ли вы, что говорите с неограниченным государем", — останавливала философа императрица. "Да, — горячо подхватывал Дидро, — но с государем справедливым, твердым и просвещенным..." "Такой государь приучает уважать и любить *всякого* государя; он отнимает у нации право судить, хотеть или не хотеть... Одно из величайших несчастий, которое может случиться с свободным народом, — это два или три царствования подряд в духе просвещенного деспотизма. Три таких государя, как Елизавета (английская), и англичане были бы нечувствительно поработены надолго. — И Екатерина кончала щекотливый разговор двусмысленным согласием: — я так полагаю (je le crois)".

Четырнадцать лет спустя Екатерине пришлось слушать более ловкую светскую лесть, обращавшуюся не к "человеку" в ней, а к "императрице" и "женщине". Патентованный куртизан, граф Сегюр, не мог, конечно, сделать ошибки — смутить ее наивным удивлением перед им же выдуманными качествами и поставить ее в неловкое положение какого-то небывалого и невероятного "чуда" на престоле. С таким собеседником Екатерине было легче установить взаимное понимание, и вдвоем они, слегка шутя, вспомнили о непрактичном философе, навязывавшем императрице свои беспочвенные мечтания³. Бедный философ: он это предвидел и с обычной своей прямоотой сам над собой шутил заранее. Было не совсем справедливо и совсем не великодушно ловить его на слове и отделяться от его мечтаний простым повторением его же собственных шуток. Если Екатерина замечала, что ее философ говорит то как столетний старик, то как десятилетний ребенок, — то это вполне объяснялось характером Дидро. В кабинете императрицы, как в кружке парижских друзей, он отдавал себя всего и решительно не умел удержать в себе ни малейшей мысли, которая пробегала в его плодовитом мозгу. Он сообщал "все, что приходило в голову", и даже считал себя обязанным делать это перед *своей* императрицей — давать ей всю свою мысль без прикрас, без обработки.

³ В разговоре с Сегюром Екатерина аранжировала ход своих бесед с Дидро так, как ей хотелось думать, что они происходили. Сперва она внимательно слушает, потом сразу осаживает философа эффектной репликой — "Я убеждена, что с тех пор он смотрел на меня с состраданием, как на узкий и вульгарный ум; он говорил со мной после того лишь о литературе, а политика была исключена из наших бесед". Dichtung и Wahrheit здесь, как часто у Екатерины, — безнадежно перемешаны. Но ясно, что и крутой перелом в отношении к ней Дидро, и внезапная перемена содержания их бесед сильно преувеличены в ее рассказе. Это своего рода реванш за неудачную попытку покорить философа аффектированной простотой обращения. Обиженная неудачей, императрица принимает здесь, задним числом, величественную позу, утешающую ее обиженное самолюбие.

Что-нибудь может пригодиться ей из самых беглых намеков, говорил он; а если и ничего не пригодится, она узнает "меру" философов и сократит себе труд знакомства со всем их родом. И знаменитая реплика Екатерины, которую она передала Сегюру, — о "все терпящей бумаге", на которой работают философы, и "щекотливой человеческой шкуре", на которой работает императрица, — эта реплика теряет значительную часть своего эффекта, когда узнаем, что здесь лишь скопирована собственная скромная оценка Дидро, несколько раз повторенная им перед императрицей. "Ничего нет легче, как приводить в порядок государство, лежа на подушке. Тут все идет как по маслу. А когда приходится приняться за самое дело, это уже нечто совсем другое". Или: "Это своего рода забава для вашего величества — измерять расстояние между философом-систематиком, который устраивает благосостояние общества у себя на подушке, — и великой государыней, которая с утра до вечера наталкивается, при попытке осуществить малейшее благо, на всевозможные препятствия, понимать которые научает лишь опыт и которые совсем не входят в расчеты бедного философа". В беседе Екатерины с Сегюром это сопоставление фантазера с государственным деятелем было, действительно, только "забавой". Но, вообще говоря, тут примешивалось и то чувство, которое "бедный философ" опять-таки сам охарактеризовал всего лучше. "Когда нужно удалить от государей достойного человека, его выдают за горячую голову, которая все может перепутать".

Мы теперь сами можем прочесть эту тетрадку в красном сафьянном переплете, в которой Дидро записывал все разговоры с Екатериной и секрет существования которой императрица так хорошо сохранила. Философ здесь, действительно, приходит в отчаяние от своего бессилия перед русской действительностью. "Я принужден ограничиться общими взглядами, а между тем я так хорошо знаю, что общие взгляды есть дело ординарных людей, и сам придаю значение лишь детальным суждениям, единственным, которые дельны и схватывают сущность дела". И он усиливается вникнуть в русскую жизнь так глубоко, как это позволит ему императрица. Вождь "Энциклопедии" слишком много думал о социальных вопросах и слишком хорошо знает историю — настоящую культурную историю собственной страны, чтобы нуждаться в комментариях к тому, что он видел вокруг себя в самом Петербурге. Этот город "дворцов", окруженных пустынями, красноречиво говорил ему об обществе, которому не хватает прежде всего организующего, связующего общественного цемента. Нужны не одни "дворцы", нужны "улицы" — ряд частных домов городского промышленного населения, которые связали бы "дворцы" между собою. Нужно больше, как можно больше населения, чтобы люди жили ближе, теснее друг к другу; тогда, как кремни, они отшлифуются друг о друга и создадут жилую общественную атмосферу. Теперь же,

изолированные, разбросанные, они существуют каждый сам по себе: в результате получается отсутствие всяких обязательных правил общежития. Взаимного доверия не существует. Купцы продают вдесятеро дороже свои товары в кредит магнатам, рискуя большею частью ничего не получить в уплату. Закон остается на бумаге. Правосудием торгуют открыто. Нет общественного контроля, нет и чувства равенства перед законом, бессильным защитить слабого от сильного. Общество, только что пережившее политический переворот, чувствует себя так неуверенно, как будто почва каждую минуту может уйти у него из-под ног. "Долговременная привычка к гнету" создала общую сдержанность и недоверие — какой-то осадок панического страха в умах — "полный контраст той благородной и честной прямоте, которая характеризует свободный, возвышенный и уверенный в себе склад ума француза или англичанина". Наконец, в низших классах совершенно отсутствует то чувство самоуважения, которое может быть создано только улучшением их положения, признанием за ними права быть людьми, а не вещами. "Душа раба оподлена; не принадлежа самому себе, он не имеет интереса о себе заботиться и живет в грязи и нечистоте". "Это жилец, который запускает не принадлежащую ему квартиру".

Эти личные впечатления, изобличающие глубокого и тонкого наблюдателя, Дидро старается пополнить справками и расспросами. Он предъявляет Екатерине длинный список вопросов, на которые она дает себе труд сама ответить. Но ответы ее таковы, что сведения Дидро о России увеличиваются незначительно, и притом не особенно надежным материалом. На вопрос, предложенный так недавно самой Екатериной Вольному экономическому обществу, "не имеет ли дурных последствий лишение крестьян собственности", Екатерина теперь отвечает более чем уклончиво. "Каждое государство имеет свои недостатки, пороки и неудобства". Очень оптимистичным, но совсем неубедительным выходит ответ на прямой вопрос Дидро, существуют ли определенные условия между помещиками и крестьянами? "Условий нет, но всякий благоразумный хозяин бережет корову, которую доит. Когда закон молчит, естественный закон занимает его место, и часто такое положение вещей оказывается не хуже, так как по крайней мере оно создается естественным путем, сообразно существу дела". Раз только, отвечая на вопрос о сословиях в России, Екатерина увлекается и высказывает свое собственное настроение, вынесенное из опыта с Комиссией депутатов. Ей, очевидно, хочется тут убедить философа стать на ее сторону во имя своих собственных принципов. По ее словам, дворянство, горожане и крестьяне (духовенство здесь, как и в своей Комиссии, Екатерина игнорирует), "все эти три класса людей, в защиту своих притязаний, потрясают воздух самыми громкими словами: землевладелец взывает к правам *собственности*; купец — к правам *свободы*; народ — к правам *гуман-*

ности". После этого любопытного, хотя не совсем спокойного ответа, могущего служить резюме известной уже нам партийной борьбы в Комиссии, Екатерина развивает свой личный взгляд. "Чего особенно следует бояться — это увлечься духом партии. Партийный дух — это судья, который властвует на просторе, пользуясь новизной просвещения. Это "судья пристрастный": у него больше уверенности, чем знания; он упорно цепляется за то, что ему удается уловить в потемках; он ни от чего не отказывается, потому что неспособен к точному пониманию, и редко позволяет себя переубедить. Ведь мнения лишь тогда становятся гибкими, когда вытекают из колебаний и когда питаются мыслью, а не темпераментом. Всякий закон, изданный для *всей* нации, должен иметь источником *общее* благо. Когда сила и невежество отдаляются от этого принципа, то получают акты деспотизма и заблуждения, против которых протестует разум и справедливость. Это дни бедствий, конца которых люди ждут с нетерпением".

Мы знаем, что за этой горячей тирадой против "партийного духа" немедленно последовало дворянское законодательство Екатерины (Уложение о губерниях 1775 г. и жалованная грамота дворянству 1785 г.). И можно спросить себя, что же это соседство значит. Имеем мы дело с последним воплем отчаяния перед признанной уже невозможностью законов для "общего блага" и необходимостью "партийного" законодательства? Или, наоборот, это — выражение твердой уверенности, уцелевшей среди испытаний, что "разум" и "справедливость" еще могут восторжествовать над "партийным духом" господствующего сословия? Или, наконец, это просто желание говорить с философом на его языке?

Не может быть, конечно, чтобы Дидро вовсе ничего не знал о колебаниях Екатерины. Кое-что про закулисную историю Комиссии должен был рассказать ему его спутник в путешествии и хозяин в Петербурге, известный нам лидер интеллигентного дворянства, А. Нарышкин. Без этого трудно объяснить тот тревожный тон, с которым Дидро просит Екатерину сдерживать свои обещания и продолжать свое покровительство Комиссии. Против интриг придворных, против зависти, убеждений, просьб и клеветы он склоняет ее остаться непреклонной. "Обещание, а тем более публичное обещание, данное государем, должно быть священо". "Особенно пусть ваша собственная воля не нарушает публичных обязательств. Не подрывайте доверия, которое вам оказывают. Иначе народ перестанет вам верить. Оставьте недоверие народа в удел другим государям, которые вызывают смех своими клятвами... Если скажут: Екатерина II никогда ничего не обещала, чего бы она не сдержала, то при равенстве величия вы будете иметь над прусским королем преимущество честности и доброты". "Пусть Ваше Величество не потерпит, чтобы заседания Комиссии и ее деятельность, под каким бы то ни было

предлогом, были потревожены, чтобы ее круг действий был ограничен или расширен, ее прерогативы увеличены или уменьшены, ее привилегии уничтожены, ее почетная роль ослаблена. Первый толчок к ее упадку уже будет непоправим. Это великое зло, когда люди знают, что можно нападать на Комиссию, и нападать успешно”.

О чем бы ни говорил Дидро, — о праве, экономии, финансах, народном образовании, успехах культуры вообще, о внешней политике, — его мысль всегда возвращается к судьбе Комиссии. Он ненавидит войну, из года в год отвлекающую мысли Екатерины от законодательства. Он хотел бы на ее “пирамиде” начертать “год первый” (царствования Екатерины). А между тем “драгоценные годы текут, — и, Ваше Величество, нет возможности заняться своими великими планами для блага страны”. “Мне не жаль людей: люди народятся вновь. Не жаль и казны: казна наполнится. Но кто вернет народу истекшие годы? Вот истинная, невозвратимая потеря, которая приводит в отчаяние всех честных людей в Европе, вздыхающих по результатам первоначальных намерений императрицы”.

Ошибочно было бы думать, однако, что Дидро просто желает возобновления заседаний Большой Екатерининской Комиссии. Его мечты идут гораздо дальше. Тут мы встречаемся с самой главной мыслью всех его разговоров с императрицей. Исходя от факта созыва Комиссии, который он понимает как “благородный акт отказа государя от законодательной власти”, Дидро горячо доказывает, что для прочности и полноты реформы надо сделать Комиссию постоянной. “Если задачей императрицы было обессмертить свое собственное имя, то эта цель достигнута”. Чем хуже будут ее преемники, тем больше славы они прибавят Екатерине. Но, конечно, *его* императрица думает не о собственной славе, а о счастье потомства. В таком случае, она должна позаботиться об этом при себе. “Петр I и Екатерина — редкие явления; было бы безумством рассчитывать на частое повторение такой милости неба”. В государстве только один дворец и кругом него 400 000 частных домов: в *одном* случае из 400 000 дары гения упадут с неба на дворец; в остальных они попадут мимо. Как во всякой семье, между двумя хорошими членами здесь будет длинный ряд злых или глупых. И даже в хорошем государе не часто совпадут все хорошие свойства. Он может быть добр и образован, но слаб и ленив; добр, но не образован и т.д. Против всех таких возможностей необходимо заблаговременно принять меры, чтобы предотвратить их вредные последствия. Для этого недостаточно созвать нацию и составить законы. Законы суть писаная бумага. За ними должно стоять “физическое существо, постоянное, неизменное. Оно должно говорить и действовать, тогда как мрамор нем и непрочен”. Таким телом послужит Комиссия, если сделать ее постоянной и

дать право провинциям назначать туда и контролировать своих представителей.

“Вы, значит, советуете мне устроить парламент на английский образец,” — прерывает Екатерина в этом месте своего собеседника.

“Если бы Ваше Величество могли создать его по мановению волшебного жезла, то я думаю, завтра он уже существовал бы” — звучал меткий ответ Дидро.

Нет, это не был бы английский парламент. Даже превращенная в постоянное представительное учреждение, Комиссия “никогда не могла бы получить такой силы. Разве только при отдаленных потомках она приобрела бы недостатки и преимущества английского парламента”. Но Дидро не желал бы видеть русскую Комиссию и такой слабую, как французский судебный парламент. Он подробно объясняет Екатерине исторические причины бессилия французского парламента, — чтобы она могла устранить эти причины из своего законодательства. Русской Комиссии он желал бы “дать всю ту прочность и организацию, какие совместимы с общественным спокойствием”.

От власти зависит, какую часть верховных прав она передаст будущей постоянной Комиссии. Но необходимо оградить отчужденные раз в ее пользу права от произвола преемников. Пусть Комиссия не вмешивается ни в военные дела, ни в иностранную политику, ни в финансы. Пусть она только охраняет существующие законы и подготавливает новые. Пусть она, однако, имеет право петиций, и пусть те петиции Комиссии, важность которых для общественного блага будет доказана повторением их, обязательно будут удовлетворяемы.

Дидро с энтузиазмом перечисляет все те преимущества, которые такое учреждение доставит самой верховной власти. К их числу относится и возможность для власти стать с помощью Комиссии выше “партийного духа” сильных членов общества, не рискуя подвергнуться личной опасности с их стороны. Дидро доказывает, далее, полную безвредность Комиссии для верховной власти. “Словом, — заключает он, — если даже это учреждение будет одним только призраком свободы, оно все-таки будет иметь влияние на национальный дух. Нужно, чтобы народ или был свободен, — что, конечно, самое лучшее, — или по крайней мере, чтобы считал себя свободным, так как такая уверенность влечет за собой самые ценные результаты. Пусть же Ваше Величество создаст эту великую реальность или великий фантом. Пусть сделает его настолько великолепным, блестящим, почетным, как только сможет. И пусть будет уверено, что можно стеснить, но никак нельзя заковать в оковы ребенка, который родится на свет с четырьмястами тысячами рук. О Монтескье, зачем не ты на моем месте! Как бы ты говорил! Как бы тебе отвечали! Как бы ты слушал! Как бы выслушали тебя!”

Дидро тоже был заслушан и получил ответ. Мы можем судить о содержании этого ответа по его дальнейшей реплике. Ему поставили, очевидно, на вид, что даже такой "фантом" представительства, каким он ограничил свои мечты, не мог бы быть осуществлен ввиду полного равнодушия населения к какому бы то ни было представительству. Ему указан был тот несомненный факт, что в то время, как он требовал увековечения Комиссии, — депутатам самой Комиссии даже и немногие месяцы их заседаний казались чересчур долгими, и они спешили разъехаться по домам. Действительно, в каждом почти заседании Комиссии находились депутаты, которые пользовались предоставленным им правом сдать свое полномочие товарищам. Дидро не мог знать, что эти факты допускали и другое толкование. Он был, очевидно, сильно огорчен неожиданным возражением. Но и тут он не подумал отступить от самой идеи постоянного представительства. Он только видоизменил свое прежнее предложение. "Ввиду равнодушия членов Комиссии", он предлагал теперь уменьшить число представителей, сделать представителями провинций чиновников коллегий, как постоянных жителей столицы. Каждый из них мог представлять одинаковое количество провинций и обязывался справляться с их мнением в важных случаях. Во всякое время провинция сохраняла право послать в Петербург настоящего представителя, к которому и переходил тотчас же голос соответствующего постоянного резидента. Мы видим, что при глубокой вере в принцип у Дидро не было недостатка в готовности пожертвовать самыми существенными чертами своего идеала, чтобы приблизить момент его практического осуществления. Но ни готовность к практическому компромиссу, ни ясное понимание политической действительности собственной страны, ни тонкие наблюдения над положением самой Екатерины во внешней политике, ни даже совпадавшие с собственными взглядами Екатерины советы — обезвредить вельмож наградами, ввести в России вездесущую французскую полицию (чтобы обеспечить силу закона) и др., — ничто не спасло Дидро от репутации праздного фантазера. Мы увидим, однако, что предложение его относительно Комиссии не прошло бесследно.

Нельзя пройти молчанием еще одну сторону разговоров Дидро с Екатериной, — ту, которая касалась вопросов религиозных. В религии, как в политике, Дидро старался дать понять императрице, что она отстала от передовых взглядов европейских "философов". Вольтеровский деизм уже не удовлетворял энциклопедистов. "Деист отрезал у гидры дюжину голов; но из той, которую он оставил, возродятся вновь все остальные". Деисты продолжают спорить между собой о предопределении и о свободной воле, о бессмертии души и загробных муках. Самые просвещенные из них допускают, что высшее существо может сердиться и успокаиваться. Но такому существу нужен культ:

его нельзя, как богов Эпикура, сослать в надзвездную пустоту и усыпить в полном бездействии. Все это служит новым источником старых явлений, столь знакомых и столь ненавистных философу: нетерпимости и суеверия. Так, в руках деиста вновь вырастают отрубленные головы старой католической гидры. Различие терпимости и веры от нетерпимости и суеверия из принципиального превращается при этом в случайное и условное, из качественного — в количественное. Терпимость оказывается просто временным оружием слабых, пока они не станут сильны. Вера, по словам Гоббса, становится тем же "суеверием, разрешенным законом", а суеверие — той же "верой, запрещенной законом".

Екатерина не хотела слушать. О Боге и о прусском короле она запрещала Дидро разговаривать с ней. Но философ не унимался. Пусть так, пусть религия нужна ей, как политическое средство. Но он будет доказывать, что это плохая политика для монарха — признавать другую власть выше себя; единственной правильной политикой было бы "свести богословие к двум странничкам и держать попов в принижении и невежестве". Чем святее и образованнее духовенство, тем оно опаснее для государства.

Как должна была смеяться про себя Екатерина, когда французский мыслитель горячился перед ней по этому поводу! Раз в своей жизни, в самом начале царствования, она, действительно, под влиянием Вольтера, сделала faux pas, начав сурово преследовать несговорчивого русского архиерея Арсения Мацеевича. С тех пор она успела убедиться, что ей нечего заботиться о принижении и невежестве русского духовенства. Но ей нельзя было посягать на внешние формы государственной религии, приняв советы философа. Не сказать ни слова о Боге в будущем уложении, начать свой Наказ, вместо молитвенного обращения, теорией общественного договора и признанием народного верховенства, — вот где заключалась бы настоящая опасность для Екатерины.

Вернувшись за границу, Дидро написал новые "заметки по поводу Наказа". В них он гораздо резче, чем в читанных в присутствии Екатерины записках, подчеркивал принципиальную сторону своих политических и философских воззрений. Екатерина или не знала, или игнорировала этот ультиматум философа. Он ставил теперь ребром вопрос: хочет ли она искренно, или вовсе не хочет отречься от своего деспотизма? Можно подозревать, что на этот или подобный этому документ Екатерина ответила вопросом, переданным Дидро через Гримма (1776): "В своем ли уме он был, когда писал это?" Во всяком случае, мы знаем отзыв Екатерины об этих самых "заметках", прочтенных ею после смерти философа (1784) в его бумагах: "Это болтовня, не обнаруживающая ни знания дела, ни проницательности, ни благоразумия". И однако же, в этом наброске

ничего не было, что не было бы высказано, в более мягкой форме, во время бесед Дидро с Екатериной. И, конечно, уже *эти* беседы должны были выяснить Екатерине, куда ведут последовательные выводы из теорий ее старых авторитетов, Монтескье и Вольтера. Обезоруженная наивностью философа и привлекательностью личных сношений, Екатерина могла продлить до конца его иллюзию. Но она вовсе не хотела, чтобы подобные идеи распространялись в русской публике. Этим объясняется неудача того практического предложения, с которым Дидро приехал в Россию. Увлечшись личными сношениями с императрицей, философ отложил это свое собственное дело до конца. "Мое поведение стало от этого более достойным и возвышенным", — писал он в одном интимном письме. Но ему нечего было краснеть за то предложение, с которым он намеревался обратиться к Екатерине. Когда-то прежде, всего девять дней после воцарения, она сама предложила Дидро перенести в Россию печатание Энциклопедии, которую преследовали и уродовали в Париже. Теперь, доведя искаженное издание до конца (1772), Дидро предлагал Екатерине издать в России новое издание, исправленное и улучшенное. В нем он думал восстановить все пропуски и искажения цензоров и издателей. В материальном отношении предприятие обещало блестящий и верный успех. Дидро просил только 40 000 руб. аванса, чтобы иметь возможность начать дело. Екатерина отослала его к Бецкому. А Бецкий затянул переговоры. Он вел себя "сфинксом", после долгих проволочек отказал, потом, как будто под давлением императрицы, согласился, потом отказал окончательно. Чтобы понять секрет этой комедии, философ должен был бы знать, что Екатерина даже свой собственный Наказ, казавшийся ему таким умеренным и отсталым сравнительно с передовой мыслью энциклопедистов, разрешила иметь только в присутственных местах *"единственно для сведения одних тех мест, и чтобы оный никому, ни из нижних канцелярских служителей, ни из посторонних, не только для списывания, но ниже для прочтения даван не был"* (1767). Гораздо позднее, в 1795 г., Екатерина прямо свалит на Энциклопедию вину за французскую революцию. "Гельвеций и д'Аламбер сознались покойному прусскому королю, что эта книга имела только две цели: первую — уничтожить христианскую религию, вторую — уничтожить королевскую власть. Об этом говорили уже в 1777 г." Только что приведенное распоряжение о чтении Наказа как нельзя лучше подчеркивает огромную разницу в положении европейского и русского общественного мнения при суждениях относительно просветительной деятельности Екатерины. Суд и критика существовали для нее только в Европе. И тут она принимала всевозможные меры, чтобы повлиять на приговор. В России роли менялись. Судьей была здесь сама она, — она одна. Общество было подсудимым, призванным выслушать над собой строгий, но

справедливый приговор. Поведение депутатов в Комиссии явилось непредвиденной помехой, обнаружило обстоятельства, не зависящие от личной воли императрицы. Но это нисколько не нарушило цельности и стройности взгляда Екатерины на свои задачи. Даже напротив: Екатерина должна была утвердиться в своем исходном убеждении, что она одна против всех. Все проникнуто "духом партий", она одна стремится к "общему благу". "Люди глупы и неблагодарны"; они сами не понимают, в чем их прямое добро состоит". Но что же из этого? "Человек, старающийся делать или добро, или великие дела для того, чтобы заслужить от своих сограждан благодарность, и узнав после, что они непризнательны и глупы, — для сей одной причины теряющий бодрость духа и охоту подавать им всякого рода помощь в их недостатках, — конечно, ошибается в своем предмете... Для великой души труд, ею приемлемый, есть путь, не зависящий ни от каких посторонних приключений и препятствий. Прямая великость души состоит в том, чтобы делать добро для того, что оно есть добро, а не для того, что люди суть благодарны; следовательно, и не переставать делать добра для того, что люди суть неблагодарны... Потомство не будет страстно; оно разберет, оно справедливо судить будет" ("Всякая Всячина"). Итак, Екатерина будет "тверда". "Встречающиеся бури" лишь заставят ее переменить тактику и сделаются "способами ко приобретению новой славы".

"Когда я отчаиваюсь разрушить что-либо прямо, против того я веду подкоп", — так выразилась Екатерина в разговоре с Дидро, говоря как раз на эту тему: "о препятствиях" на пути "ясно сознанный ею цели". На языке тогдашней теории это можно было выразить так: «Если я не могла осчастливить человечество новыми законами, то, очевидно, потому, что законы зависят от "нравов", от "народного умоначертания"». Следовательно, надо начать с другого конца: "с исправления нравов". Такова, наверное, была логическая нить (только о ней мы здесь говорим), приведшая Екатерину от идей ее Наказа к ее опытам воспитания "новой расы людей" и к ее попыткам действовать на русские "нравы" путем публицистики и театра. Это были те "мины", о которых императрица говорила Дидро.

Судьбу педагогических опытов Екатерины мы уже знаем. Судьба ее публицистических попыток для нас особенно интересна в этом месте, так как здесь ожидала Екатерину неудача совсем особого рода, вовсе не походившая на тот "партийный дух" депутатов Большой Комиссии, который оказался в ее глазах непреодолимым препятствием к "общему благу". Оказалось, именно, что не только один вождь энциклопедистов ушел дальше императрицы в своих мечтаниях об "общем благе". В том же направлении пошли и обогнали Екатерину на начатом ею пути ее собственные "глупые и неблагодарные сограждане".

В 1769 г. начал выходить еженедельный листок "Всякая Всячина". В литературных кругах было известно, что редактором состоит секретарь императрицы Козицкий. Более догадливые должны были скоро понять, что руководит журналом сама Екатерина.

С самого начала журнал взял тон, совсем необычный для простых литераторов. Редакция объявила на первых же страницах, что попреки читателей для нее безразличны, что "никакая препона не может отвратить (ее) от великого предприятия"; что она не нуждается в деньгах, так как "доход ее" "есть дань, наложенная на людей, кои работают в поте лица своего". Про саму себя она шутливо утверждала, что она "умна" и что у нее "сердце доброе". Относительно читателя она наперед замечала, что "глухим трудно слышать проповеди"; но, впрочем, великодушно прибавляла при этом: "Я не уничтожаю никакого человека, ибо, уничтожая онаго, я б сам себя уничтожил; понеже я сам есмь человек, равный ему во всем". Еще откровеннее "Всякая Всячина" третирует свысока своих читателей в заключительных строках журнала: "Прощайте, господа, я с великим терпением часто слушал все ваши осуждения и смеялся от чистого сердца всему тому, за что другой бы сердился, и не перестал писать, пока мне самому не вздумалось окончить "Всякие всячины": и сию оканчивая, объявляю вам, что я приемлю другое ремесло, где достанутся от меня многим щедрые милости".

Взяв сразу этот тон благодетеля человечества, "Всякая Всячина" выдерживает его в течение всего времени издания. Екатерина невысокого мнения о своей публике. Она выступает перед ней в своем обыкновенном домашнем наряде, с обычным настроением своих досужных часов. Ее статьи в журнале — это та же небрежная болтовня, с тем же *parti p'ris* веселости, подчас напускной, и остроумия, чересчур тяжеловесного, с тем же недостатком литературного вкуса и чувства меры, тем же "расстеганным" стилем и "прыгающими" мыслями, которыми отличается ее интимная корреспонденция. Нет только тех ярких и метких образных выражений, которые как-то сами собой, невзначай, выскакивают из ее головы и стекают с пера в ее французской речи. Получается в итоге претенциозный и бледный стиль, слишком натянутый, чтобы быть живым и остроумным, слишком пресный и поверхностный, чтобы быть поучительным⁴. Однако редакция "не верит", что у нее выходит "не

⁴ На этот стиль намекал, вероятно, Новиков в своем "Живописце". "Тут найдешь писателя, старающегося забавлять разум своими сочинениями, но увидишь, что он производит скуку, а смеется только сам — бедный автор! В другом месте увидишь нравоучителя, порицающего всех критиков и утверждающего, что сатиры ожесточают только нравы, а исправляют — нравоучения; но читатель ему отвечает: ты пишешь так сухо, что я никогда не имею терпения читать твоих сочинений — бедный автор!" Резкость этих характеристик смяг-

смешно, но глупо”, и готовится одерживать педагогические победы. Напечатав, уже в январе, “усердное поздравление” — самой себе — с тем, что “листки ваши, *каковыми впредь ни будут*, конечно, останутся отечеству полезными и достопамятными навеки, ибо таких правд, *какие вы нам обещаете*, у нас еще не бывало”, — редакция торжествующим тоном прибавляет от себя: “Сие письмо доказывает великое уважение, кое “Всякая Всячина” зачинает имети в людях, отчего мы — сочинители уже час от часу начинаем ходить прямее и скоро уже принуждены будем несколько загнуть спинную кость назад”. “Великое уважение” читателей затем быстро прогрессирует на страницах журнала. Корреспонденты “Всякой Всячины” скоро находят неуважительным обращаться к редактору просто “господин сочинитель”. “По причине полезных наставлений” они пишут “г. наставник” или “г. нравоучитель” и не забывают в каждом письме сообщить об успехах журнала среди публики. Полушутя, полусерьезно “Всякая Всячина” объявляет, наконец, по поводу одного из таких писем совершенно в стиле Наказа: “Мы не сомневаемся в скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков, ибо уже начали твердить наизусть “Всякую Всячину”, что вышеписанным письмом доказывается. Сочинитель оного важность нашего труда совершенно узнал, что мы ему чрез сие торжественно объявляем”.

Увы, лавры “Всякой Всячины” оспаривали у нее с полдюжины других журналов, появившихся немедленно вслед за нею⁵. Екатерина поспешила поставить их на почтительное расстояние от своего журнала. “Государыня моя госпожа “Всякая всячина”, — приветствовал ее журнал Чулкова, — не погневайся на меня, что я наименую тебя родною моею сестрою и сестрою еще большею или старшею для того, что ты прежде вышла на свет из природной утробы, и прошу в том извинения, что я причитаюсь к тебе роднею. Ты родилась на Парнасе, да и я неподалеку оттуда; тебя производила муза, да и меня, я думаю, та же; следовательно, близки мы так друг другу, как солнце к огню, которые (одинаково) греют и освещают...” Эта смиренная по форме декларация прав на литературное равенство задела Екатерину за живое. “Всякая Всячина” обиделась и жаловалась, что “И то и се” обращается с ней “безо всякого почтения”. Императрица, очевидно, вовсе не хотела панибратства с братьями по оружию. На первый раз она объявила себя не “сестрой”, хотя бы и старшей, а разве только “бабушкой” прочих

чалась, правда, тем, что они могли относиться не к одной только “Всякой Всячине”.

⁵ “И то и се” — Чулкова; “Ни то ни се” — Рубана; “Смесь”, “Трутень” — Новикова; “Адская почта” — Эмина; “Поденщина” — Тузова; “Полезное с приятным — “упражнение” при сухопутном корпусе”: все это журналы, издававшиеся только в том же 1769 г.

журналов. Это сразу отравило взаимные отношения. Журнал Рубана решительно отвечал: "Мы, бабушка, тебе хотя и внуки, однако уже на возрасте". А "Смесь" прибавила, что "последние внучата поразумнее бабушки". Затем журналы довольно единодушно решили, что "бабушка выжила из ума", и принялись усердно следить за ее промахами. В конце концов и Чулков напечатал у себя, на этот раз уже действительно "безо всякого почтения", следующую ядовитую пародию на редакционные приемы "Всякой Всячины". "Г. Сочинитель "И Того и Сего", сочинение ваше похвалается во всяком углу С.-Петербурга, слава его носится по многим домам и по рынку. Все незнающие других языков люди ("Всякую Всячину" обвиняли в литературной краже из Спектетора) благодарят вас от искреннего сердца, выключая некоторых полуученых писателей; они одни сочинением вашим издеваются, но... и они подвержены равной с вами участи. Люди бывают иногда столько неблагодарны, что пересмевают и то, что производит земля для нашего удовольствия... Сердце мое наполняется сладостью, когда прекрасная Аврора показывает свой нос на нашем горизонте, и крылатое время, шествуя пред нею, пишет над нами "Вторник". Я открываю мои глаза и устремляю мои мысли единственно только к одному вашему сочинению... Великость вашего духа, важные замыслы, красота в велеречии, искусство в изъяснениях... заслонят дорогу дыханию. Час от часу делаюсь я премудрее и ныне уже рассуждаю со слугами моими о коловратности света... О великий человек сочинитель и Того и Сего! Ежели бы мы не имели счастья видеть твой еженедельник, то мы и доныне сидели в бездне заблуждения, были бы грубыми невеждами, и не умели бы отличить худое от хорошего... О великий человек — сочинитель и Того и Сего! ...Ты исправил грубые наши нравы и доказал нам, что надобно обедать тогда, когда есть захочется. Твоя философия научила нас и тому, что ежели кто не имеет лошади, то тот непременно пешком ходити должен. О великий и т.д., где мне тебя поставить и куда тебя спрятать? Спрятал бы я тебя в хорошую библиотеку, но ты зачнешь переводить различных авторов и будешь выдавать сочинения их под своим именем... Спрятал бы я тебя на Парнасе, но ты высокомерен, презришь свою Музу... и заставишь ее вечно плакать... Спрятал бы я тебя в обществе молодых наших сочинителей; но то беда, что с ними ты не соглашаешься, идешь своею дорогой и не требуешь от них ни одного себе в путеводители — по причине той, что они сами не выбирают себе никого в проводники... Добро, — оставься ты на своем месте, без большой заслуги не требуй большого воздаяния, без великого успеха не ищи великой славы, без ежечасного труда не желай ежечасной похвалы, будь доволен твоей участью и не пекись о том, чтобы слава твоя гремела повсюду. Сочинение твое есть произведение слабого ума для

слабых умов; но и в других, мы видим, — не грации танцуют, но сельские девки по-русски пляшут”.

Это было жестоко. Но это было еще не все, что пришлось выслушать Екатерине от своих собратьев — или, как она предпочитала их называть, — внуков по журналистике. Относительно Чулкова, Рубана, Эмина и т.д. императрица могла оправдывать свое брезгливое отношение тем самым, что признал в последних словах сочинитель и Того и Сего. В самом деле, у них в журналах “не грации танцевали, а плясали русские девки”. Тяжеловесное остроумие Екатерины здесь заменялось слишком часто пошлостью и цинизмом; ее прописная мораль — бессильным зубоскальством, бившим на самые низменные инстинкты; ее щепетильность по отношению к внешним приличиям — самыми бесцеремонными потасовками на потеху почтенной публики. “Дурак” было довольно употребительным эпитетом во взаимной литературной критике “сочинителей”. Рубан заявлял в начале своего журнала: “Между множеством ослов и мы вислоухими быть не покраснеем”. Чулков писал: “Когда есть вакансии публичных дураков, то занимают у нас такие места мелкотравчатые писаки, и нам гораздо мило смотреть, как они дурачатся и ругают сами себя”. Довольно естественно, что в подобных “писаках” Екатерина могла видеть не товарищей, а только пациентов, примитивные “нравы” которых подлежали смягчению при помощи тех приемов, которые она считала непогрешимыми. Совсем другое дело, когда самые эти непогрешимые приемы объявлялись недостаточными и подвергались критике; когда явился писатель, который стоял на одинаковой высоте с Екатериной в вопросах литературного приличия и хорошего тона и в то же время оказывался ее принципиальным врагом по вопросу, гораздо более существенному: по вопросу, насколько действительны и целесообразны средства, употребленные императрицей для “исправления нравов”. Мы разумеем Новикова.

В чем заключались, в самом деле, те средства, от которых Екатерина ожидала столь быстрых и чудодейственных последствий?

Обычный литературный прием для “исправления нравов” состоял у “Всякой Всячины”, как и у других журналов, в помещении писем посторонних лиц к “Сочинителю” и в ответах редакции на эти письма. По этой одной форме можно было довольно безошибочно выделить оригинальную часть журнала от переводов. Но и по содержанию эти корреспонденции, писавшиеся, конечно, большей частью в самой редакции, представляют известную внутреннюю связь и единство, не говоря уже об общем им всем тоне самовосхваления. По теории Екатерины надо “заохочивать” публику к усвоению моральных сентенций, мешая смешное с серьезным. Поэтому корреспонденты журнала то рассказывают что-нибудь забавное, то что-нибудь дурное из рус-

ской грубости нравов. В обоих случаях они просят совета или "рецепта" у "сочинителя" и получают его, обыкновенно в виде лаконической резолюции самого элементарного свойства. Пример забавный: Агафья Хрипухина просит лекарства от бессонницы, так как ее муж по ночам не дает ей спать своим храпом. Совет: прочесть на ночь шесть страниц "Всякой Всячины" и шесть страниц "Телемахиды" (Тредьяковского). Последствия статьи: журнал не перестает острить над храпящим мужем и над "Телемаидой" в следующих номерах: почитатель "Всячины" протестует против мнения редакции, что ее журнал усыпительен; литературные противники протестуют против насмешки над честным тружеником — Тредьяковским. Теперь пример серьезный: "Многие молодые девушки чулков не вытягивают, а когда сядут, тогда ногу на ногу кладут, чрез что подымают юбку так высоко, что я сие приметить мог, а иногда и более сего"; женщины слишком возвышают голос в обществе; "наши жены" гонят при детях "обо всем". Корреспондент просит редакцию сводить из этих замечаний "употребление на пользу ближнего". Литературные противники находят такие нравоучения "непристойными". Еще один прием: корреспондент предлагает редакции "разделить наши обычаи на два рода: первые природные, другие — татарские; все хорошие обычаи суть природные российские; все же дурные суть татарские". При этом предлагается список, с которым редакция обещает справляться, "где кстати покажется". И действительно, в дальнейшем оказывается, что обычай нарушать обещания "есть крымских татар, а старинный российский — сдержат данное слово"; "мотать, болтать, злословить" — тоже "татарские обычай". Сюда же относятся далее "невежливость, жадность и зависть"; женщины, "кои белятся, — суть все татарки". Но взаимное равнодушие модных супругов журнал объявляет обычаем "татаро-французским". Журналисты и тут не упустили случая подцепить "Всякую Всячину". Сумароков написал письмо в "И то и се", где утверждал, что портят русских не татары, а французы; что "худые нравы от худых сердец и от худого просвещения происходят"; что, наконец, "добрый и отличный человек достоин почтения, без различия, россиянин ли он, француз или татарин". Однако и Сумароков не прочь был объяснить русскую грубость примесью "сарматской" (финской) крови. Сама "Всякая Всячина", наконец, тоже спохватилась, хотя несколько по иным соображениям. Она поместила у себя протест от имени татар. "Да и мне, — замечал ее корреспондент, — сие доказательство невероятным кажется, потому что сколько у нас есть выезжих князей и знатей татарских, кои здесь в великие произошли достоинства: они их получили не по худым природным их обычаям и нравам, но по благородным и добрым". И журнал предпочитает, подобно Сумарокову, свалить вину на безответных "сарматов" тогдашней исторической теории. "Когда славяне, от коих мы происхожде-

ние имеем, по покорении сарматов с ними смешались, то сии худые обычаи и нравы от них в наследие нам достались". Это, впрочем, не мешает "Всякой Всячине" утверждать по-прежнему, что старинные русские нравы были превосходны и испорчены лишь новыми модами.

Подобный выбор тем и способ их обработки, как видим, сам по себе уже лишал журнал Екатерины серьезного значения. Литературные антагонисты ("И то и се") не замедлили отметить, что в таком случае издание журнала превращается в скоропроходящую моду, в "невинное увеселение", которое не следует прикрывать высокими претензиями. "Я пишу единственно только для одного увеселения, — подчеркивал почтительный к "Всячине" журнал Чулкова, — и другого намерения не имею, ибо сил моих к тому не станет; не требую похвалы и за славой не гоняюсь, для того что я их недостоин, а желаю, чтоб получил их тот, который мыслит о себе, что он приносит сочинениями великую пользу отечеству". Эта скрытая насмешка превращается в совершенно открытую в "Смеси", самом смелом из тогдашних журналов после новиковского "Трутня", которому "Смесь" горячо и открыто сочувствует. "Праздность вменяют в порок, а трудолюбие похваляют: но праздность присвоят благородным, а трудолюбие крестьянам... Я родился дворянином: итак, не хотя сравнять себя с крестьянами, хотел было ничего не делать. Но вспомня, что есть *благородные и модные упражнения*, коими *увеселяются* и знатные люди, принялся за перо, чтобы написать письмо к какому-нибудь издателю еженедельных листов".

Очевидно, издатель "Смеси", сходясь с Чулковым в оценке "Всякой всячины", гораздо серьезнее смотрел на задачи настоящего журналиста. Но в своем журнале он остался ниже своего собственного понимания — на общем уровне тогдашних издателей листков. Если он писал и не "единственно для одного увеселения", то, с другой стороны, и "пользу" от издания журнала он понимал довольно устарелым образом. Совершенно так же, как журналисты-дебютанты елизаветинского времени, он объявлял: "Намерение мое было при начатии журнала употребить в пользу скучные часы праздного времени". Совершенно так же, как те журналы, "Смесь" пробавлялась главным образом переводными статьями из иностранных нравоучительных журналов. Совершенно так же она и расходилась только в своем ближайшем литературном кругу, в количестве всего 200 экземпляров. По собственному признанию, издатель ее был только мирным любителем наук и просвещения. Он не рисковал выйти на бранное поле с открытым забралом. Но он хорошо понимал, что на этом поле можно и нужно делать. Когда в том же самом году на журнальном поприще появился настоящий боец — издатель "Смеси" сразу оценил его значение и обратился к нему с одушевленным приветствием "благодарного, обязанного и вер-

ного слуги". "Г. издатель "Трутня", — писал он Новикову, — прочитав вашего издания листы, начал я иметь к вам почтение; ваши сочинения имеют в себе меньше увеселения, но больше пользы. Сатиры ваши, под именем ведомостей, и не имеют в себе невежества и злонаравия, как думают некоторые злонаравные невежи, но едкую соль... Пускай злоязычники проповедуют, что вы объявили себя неприятелем всего человеческого рода; что злость вашего сердца видна в ваших сочинениях; что вы пишете только наглуго брань (все это — мнения "Всякой Всячины" и Чулкова о "Трутне"): это не умаляет достойную вам похвалу, но умножает. Пусть Стозмей, изо всей мочи надседаясь, кричит, что вы обижаете целый корпус дворянства и что ваши ругательства скоро уймутся... Не смотрите на клеветующих на вас, презирайте их и продолжайте свой труд так, как вы начали: выводите порочных (*лиц*), ибо пороки, *вообще* осмеиваемые, не исправят порочных *настоящего* времени. Вы тем не раздражите истинных сынов отечества: ибо они вам сплетают за сие похвалы".

Эта цитата сразу показывает тон новиковского журнала, место, которое он занял среди известных нам собратьев, отношение их к "Трутню", характерные приемы его сатиры. Что же было такого необычайного в этом журнале, что вызвало крики "целого корпуса дворянства" и вывело из равновесия сдержанную, приличную "Всякую Всячину", соблюдавшую в других случаях более или менее успешно свой основной принцип: смеяться, а не сердиться на бранчивый лепет и злонаравную грызню неблаговоспитанных "внучат"?

Бывший секретарь комиссии о "среднем роде людей", может быть, помогший даже сохранить для потомства (в протоколах Большой Комиссии, где он секретарствовал) яркие черты "партийной" борьбы городских депутатов с дворянскими притязаниями, Н.И. Новиков явился в журналистике сознательным и принципиальным защитником слабых против сильных, "подлых" против "благородных". Не тон, не приемы его сатиры, а прежде всего именно это содержание ее доставило Новикову популярность среди "мещан" — того класса, который, по мнению Екатерины, защищал "свободу". И оно же обрушило на него громы "придворных господчиков", со "Всякой Всячиной" во главе. Журнал Екатерины тщательно устранял из литературы все, что сколько-нибудь близко касалось общественной жизни. Это были для него "материи не нашего департамента", как выразился раз в подобном случае журнал. Когда один очевидно не фиктивный, корреспондент попробовал было перенести на страницы "Всякой Всячины" обсуждение важнейших жизненных вопросов, поднятых дворянскими депутатскими наказами, редакция наотрез отказала. "Сии и сим подобные вещи в наших листах места не имеют; они не на нас положены, но в числе статских, сиречь составляющих существо правления вмещены

быть могут". Таким образом, под "нравами", которые журнал Екатерины брался исправлять, он разумел главным образом область личных моральных отношений и житейских привычек. "Всякая Всячина" охотно вмешивалась в распри между мужем и женой, родителями и детьми, женихом и невестой; она благословляла на брак или советовала его отложить и проверить свои чувства; увещала отца дать денег сыну и т.п. Или она убеждала подписчиц не верить в сны и гаданья; разбирала их жалобы и клала на них резолюции вроде следующей: "Худо быть нечисту и неопрятну в житье и в обхождении; да и очень нежиться и гнушаться всем, что кажется быть противно и не по нашему вкусу, равным образом худо". Во всех подобных случаях журнал не избегал иметь дело даже с одиночными, совершенно конкретными эпизодами из личной жизни подписчиков, обращавшихся за советом в редакцию.

Новиков ввел в журналистику совершенно новый материал, — и как раз тот, которого "Всякая Всячина" так тщательно избегала. Он брал случай из области общественных отношений и рассказывал его во всех деловых подробностях. Случаи были вымышленные, но обстановка, в которую они ставились, обрисовывалась у талантливого сатирика настолько жизненными штрихами, что образы выходили живыми и типичными. Открылась вакансия; на нее являются три кандидата. Один — невежественный дворянин, но с деньгами и с знатной родней; другой — добрый и честный, но не ученый и не богатый дворянин; третий, по терминологии "некоторых глупых дворян", "человек *подлый*", ибо он от добродетельных и честных родился мецзан", — но испытанный общественный деятель и с широким образованием, оконченным за границей. "Читатель, угадай: глупость ли, подкрепляемая родством с боярами, или заслуга с добродетелью вознаграждаются?" Или, рядом: барыня в богатом экипаже приехала в Гостиный двор и украла у купца товар. Купец ищет суда и управы, но получает удары плетью. "Ништо тебе бедный купец. Как ты, честный злородный человек, осмелился назад требовать своей сетки у благородной воровки? Благодаря еще боярыню, что бесчестья с тебя не взяла! В самом деле, не великая ли милость купцу сделана?"

К подобным темам отношение журнала Екатерины сразу определилось. "Всякая Всячина" объявила, что она не любит "дурных шуток" и "меланхолических писем". Она погрозила поднять "завтра" вопрос о том, "чтобы впредь никому не рассуждать, о чем кто не смыслит, и никому не думать, что он один может весь свет исправить". Затем она искусно перенесла спор о задачах сатиры на другую почву. Вместо вопроса, действительно, подлежащего спору, какие стороны жизни могут быть доступны суждению печати, — она подняла вопрос о личности в сатире. Она принялась доказывать, что *личные* нападки не исправляют нравов, — как будто обличения Новикова гре-

шили именно личным характером, и как будто сама "Всячина" не обсуждала личных случаев. Вопрос о *содержании* публицистики был подменен, таким образом, вопросом о дозволительных для нее *приемах*. На этой почве легко было подвести новиковскую сатиру под рубрику обычных журнальных "ругательств" того времени.

Журналисты, с Новиковым во главе, приняли сражение на предложенной почве — и выиграли его. Они доказали "бабушке", что она "запуталась в противоречиях"; что "в добрый час она намеряется исправлять пороки, а в блаженной дает им послабление" ("Смесь"). Поставленный Новиковым вопрос о разумных и справедливых отношениях между "подлостью и благородством" "Всякая Всячина" решила до конца игнорировать и не проронила о нем ни звука. Зато она сделала уступку, снизойдя до обсуждения другого общественного вопроса — еще при Елизавете завоеванного русской публицистикой, — вопроса о взяточничестве приказных. Осуждение взяток, как мы знаем, было первой победой русской журналистики, вырванной у дворянского общественного мнения. Поэтому даже в ближайшем к Екатерине кругу должно было произвести впечатление скандала, когда императрица взяла на себя в журнале защиту "крапивного семени". "Взятки перевести "весьма легко", — заявила "Всякая Всячина", — не обижайте никого; кто же вас обижает, полюбовно миритесь без подъячих". Мы знаем из депутатских наказов, что так именно и поступали, ввиду бессилия закона... слабые, безнаказанно обижаемые сильными. Понятен ответ "Смеси": "Если бы все были совестны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судов, и приказов и подъячих... Но когда сие необходимо, то для чего защищать подъячих?" Екатерина поняла неловкое положение, в которое поставила себя, — и сделала дальнейшую уступку. Сославшись на свой закон о назначении жалования подъячим, она напечатала в журнале грозное "увещание лихоимцам", которое кончалось совсем не литературной угрозой. "Если вы еще и так дерзки, что осмеливаетесь и т.д... то неминуемо из двух последует одно: или вы будете истреблены, или исправитесь, пока есть на то время". Памятуя, однако, что спор начался с ее заявления, что "подъячих перевести не можно и не должно", "Всякая Всячина" поспешила при первом случае успокоить своих читателей: "Каким (приказным) от нас предписаны нравоучительные заповеди, то должно думать, что они скоро исправятся". В глазах "Всячины", очевидно, инцидент был этим исчерпан.

Как видим, сама "Всякая всячина" не удержалась все-таки в намеченных ею для публицистики границах. Мало того, она оказалась способной прибегнуть в сердцах и к вовсе нелитературным приемам. Если можно было в журнале грозить подъячим административной карой, то отчего было не сделать внушения забывшимся журналистам?

”Екатерина в этом отношении походила на Вольтера, — замечает Сегюр, — самые легкие булавоочные уколы больно задевали ее тщеславие. Будучи умна, она делала вид, что смеется над этим; но ясно было, что смех этот был немножко вынужденный”.

Мы, действительно, видели, что Екатерина ”аффектировала смех”, пока дело шло о нападках ”мелкотравчатых писак”. Она и теперь продолжала рекомендовать смех как ”новейший образ лечения” того рода ”горячки”, в которой ”больной вздумает строить замки в воздухе (и утверждать, что) все люди не так делают, и само правительство — как бы радетельно ни старалось — ни в чем не угрожает; они одни по их мыслям в состоянии подавать совет и все учреждать к лучшему”. Но уже эта обидчивая характеристика ”болезни” показывала, что смех в данном случае не совсем натуральный. На рекомендованном способе лечения Екатерина не могла успокоиться и потому, что, по ее мнению, ”такое несчастное сложение, наполненное злостью и злословием, при необходимости языка и с острыми выражениями вред великий нанести может молодым людям; иной, на то прельстясь, старается перенять, а другой угнетается, не быв сложением столь дерзостен, — и не осмелится дать воли своему здравому рассудку”. Опасаясь не без основания, что молодежь увлечется примером Новикова, ”Всякая Всячина” выходит из своего притворного равнодушия. Она начинает внушать читателям, что ”долг наш, как христиан и как сограждан, велит иметь уверенность и почтение к установленным для нашего блага правительствам и не поносить их такими поступками и несправедливыми жалобами (автор хочет сказать: несправедливыми жалобами на такие поступки), коих, право, я еще не видал, чтобы с умысла случались”. ”Справедливы ли жалобы о несправосудии, наипаче тогда, когда всякий честный гражданин признаться должен, что, может быть, никогда и нигде какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархия имеет о нас?” Долг писателя, в такое правление, есть прославлять положительные стороны жизни, а не критиковать отрицательные. ”Добросердечный сочинитель... изредка касается к порокам... но, располагая свои другим наставления, составляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами... описывает твердого блюстителя веры и закона, хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу, изображает миролюбивого гражданина... присовокупляет к тому пользы, из того проистекающие... Вот славный способ исправлять слабости человеческие”.

Как бы то ни было, этими литературными наставлениями пока и кончилось дело. ”Всякая Всячина” удовольствовалась тем, что отдала ”Трутень” ”на суд публики”. ”Трутень” с своей стороны, к слову, ядовито заметил, что выражение, употреблен-

ное "Всячиной" (она "уничтожала" оскорбления "Трутня"), не точно. "Уничтожить, то есть в ничто превратить — есть слово самовластия свойственное; а таким безделицам, как ее листки, никакая власть неприлична: уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим". Новиков напомнил этим императрице те условия и границы борьбы печатным словом, в которые она сама себя захотела поставить.

С Екатериной-писательницей Новиков не хотел считаться иначе, как на почве чисто литературного спора. Главной, неистощимой темой "Трутня" остается, вопреки недовольству императрицы, социальная тема: смелая, открытая борьба с коренным злом русской жизни, с сильными обидчиками, с привилегированными хищниками, с безнаказанным нарушением закона, прикрываемым социальным и официальным положением преступника. Когда Екатерина, с своей точки зрения индивидуальной морали, призывает сатирика к "снисхождению", "шьет из милосердия кафтан для пороков" и рекомендует считать их человеческими слабостями, — Новиков и эти советы разрабатывает в духе своей обычной темы. "Я слышал следующие рассуждения: в маленьком человеке воровство есть преступление против законов; в средостепенном воровство есть порок, а в превосходительной степени и человек, по вернейшим математическим новым исчислениям, воровство не что иное, как слабость. Хотя бы и не так надлежало: ибо кто имеет превосходительный чин, тот должен иметь превосходный ум и превосходительные знания и превосходительное просвещение: следовательно, и преступление такого человека должно быть превосходительное". Как видим, Новиков старается возратить императрицу на почву социального вопроса, которая была ей особенно неприятна: слишком она хорошо понимала и важность, и щекотливость такой прямой постановки вопроса. На этой почве Новиков подавал руку другому строителю "замков на воздухе", Дидро. "Вот смелая, может, безумная идея, — говорил этот последний в одной из своих бесед с Екатериной, — приведенная в исполнение, она принесет больше чести и вызовет больше шума, чем выигрыш десяти битв. Она поможет в тысяче случаев, когда закон останется бессильным против могущественных лиц, — излечить страшный недостаток, нередкий во всех обществах, но особенно частый в деспотических, что слабый не может отстоять свои права против сильного. На моей родине, если герцог не может заплатить долгов, его, несмотря на грансеньерство, арестуют на улице и сажают в тюрьму. Мне кажется, что здесь подобная строгость не в обычае. Я думал сперва, что единственным лекарством было бы дать силу закону и подчинить ему одинаково и сильного, и слабого. Но это долгая и трудная история, а зло требует немедленного искоренения". В итоге Дидро предлагает Екатерине лично удовлетворять кредиторов и потом самой рас-

считываться со всяким вельможей, не исполнившим своих обязательств.

Новиков не мог, разумеется, подавать таких советов. Но он энергично указывал на зло. И его указания нельзя было сохранить в тайне, как рукопись французского философа. К недовольству Екатерины присоединилось раздражение, вызванное журналом Новикова в придворных кругах. Журналист еще более усилил это раздражение, напечатав инициалы "семерых" наиболее влиятельных вельмож, которым нечего "краснеть, читая его сатиры"⁶. Все остальные, стало быть, тем самым объявлялись клиентами сатирика. Не мог Новиков ослабить своих противников и тем, что напечатал в своем журнале, как они грозят ему Сибирью и досаждают на снисходительность государыни. Защищать не в меру откровенного писателя становилось трудно, — хотя за его спиной и стояли, говорят, влиятельные оппозиционеры из тогдашней знати, — И. Шувалов, Воронцов, кн. Дашкова, — собиравшие около себя кружок журналистов. Новикову, очевидно, были сделаны внушения, и журнал при-смилел. Это не помешало, однако, сатирику от имени публики протестовать против своего нового положения и жаловаться на бедность журнала.

Развязка пришла сама собой. Интерес Екатерины к своему журналу быстро охладел, как он охладевал ко всему, что не удавалось ей сразу (*"commenceuse de profession"* и *"rien d'achevé"* то качество она "открыла" в себе сама в 1781 г.). В 1770 г. "Всякая Всячина" допечатывала свой "барышок" — рукописи (большей частью переводные), залежавшиеся в портфеле редакции. Она прекратилась, едва протянув полгода. Вслед за ней (в июле) скончался и "Трутень", последний из журнальной семьи 1769 г. Перед смертью журнала Новиков смело заявил читателю, что "Трутень" умирает "против своего желания", "по обстоятельствам" и вследствие охлаждения публики.

После того Новиков занялся своим Словарем писателей, а Екатерина увлеклась новым способом "исправления нравов" — посредством театра. После неудачных опытов с Комиссией и с публицистикой это была третья арена, на этот раз наиболее узкая и скрутная, на которую она перенесла свою литературно-общественную деятельность. Мы последуем, при случае, за Екатериной и в это последнее прибежище ее либерализма. Но пока мы должны еще заняться дальнейшими попытками Новикова на открытом ему инициативой Екатерины поприще русской публицистики (или Воронцова?). Число "семь" дано в другом месте "Трутня".

В 1772 г. Новиков вернулся на это поприще с новым, более зрелым продуктом своего сатирического таланта, с "Жи-

⁶ О(рлова), П(анина), Н(арышкина), С(алтыкова), В(оронцова или Вяземского?), Ш(увалова), Б(ецкого или Бибикова?), В(севоложского).

вописцем". Опыт с "Трутнем" научил Новикова кое-каким журнальным уловкам, но ни на йоту не изменил его настроения. Сатирик ставил себя под эгиду императрицы и открывал новый журнал посвящением автору комедии "О время". Он принимал на себя личину скромного подражателя великих начинаний державной писательницы. Каждую смелую статью он непременно сопровождает трескучим панегириком по адресу кого-нибудь из великих мира. Наконец, он беспрестанно твердит себе от лица своих читателей и корреспондентов, что надо быть "осторожным". Все это, однако, не мешает Новикову ставить свою главную задачу так, как он ставил ее и раньше. В только что упомянутом посвящении он рекомендует, например, императрице следующее средство, чтобы сравниться с Мольером: "Истребите из сердца своего всякое пристрастие; не взирайте на лица: порочный человек *во всяком звании* достоин презрения. Низкостепенный порочный человек, видя осмеиваема себя *купно с превосходительным*, не будет иметь причины роптать, что пороки *в бедности* только одной пером вашим угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками (если будет осмеяно на сцене Екатериной), в первый раз в жизни своей почувствует *равенство с низкостепенными*". И в следующем обращении к "самому себе" Новиков прозрачно намекает на неудачный литературный дебют "Всякой Всячины".

Что же означает это новое "дерзновение"? Какой новый ресурс имеет в запасе "осторожный" сатирик, чтобы позволить себе такие неосторожности? Под каким флагом он надеется провести свою старую контрабанду?

Помимо упомянутых уже литературных уловок, Новиков рассчитывал, очевидно, на одно серьезное изменение в программе "Живописца", совпадавшее с желаниями государыни. Рядом с социальным вопросом он выдвинул на первое место в новом журнале сатиру на "нравы" в екатерининском смысле этого слова. Это была такая общая почва, на которой, не изменяя своим убеждениям, Новиков мог надеяться сойтись во взглядах с сочинительницей комедии "О время" и заслужить ее благосклонность.

Только что указанная общая почва наметилась еще во время выхода "Трутня" и "Всякой всячины". Новиков, конечно, не мог изображать положительных типов и отрадных явлений в настоящем, как того требовала императрица в своем журнале. Но и сама "Всякая Всячина" восхваляла "добродетели россиян" не в настоящем, а только в прошедшем. Не находя их кругом себя, среди "татарского" (или "сарматского") варварства и "французских" новомодных пороков, журнал Екатерины твердо надеялся найти эти добродетели в архивах и рукописях. "Древние повести, крыющиеся теперь в книгохранилищах, — объявляла "Всякая Всячина", — когда будут тиснением во свете изданы (меры для этого уже приняты Екатериной), покажут нам

довольное число оных, о которых теперь, кроме чтущих, если кто по счастью достанет рукописные книги, мало кому и слышать удастся. О преохвальные добродетели предков наших, к вам я теперь речь свою простираю, явите себя миру; заткните уста поношающих вас и не ведущих вас: прославьте потомков ваших и себя *извне*, внутри же подайте пример домашний, сильнейший к подражанию, нежели все иностранные. Увидят чуждые языки и племена событие стараний и желаний великие нашей государыни, что народ российский *будет* добродетелен, справедлив и благополучен во свете столько, сколько можно по человечеству". Этот любопытный отрывок свидетельствует о новом складе мыслей автора (не Екатерины), зарождавшемся под сенью высочайшего покровительства. Те самые надежды, которые императрица возлагала на рациональное законодательство, возлагаются здесь на историческую реставрацию древних добродетелей. Современное состояние нравов замалчивается им. Поскольку о нем говорится, это состояние характеризуется отрицательными явлениями. Но вина за них перелagается с русских на иностранцев. Так нащупываются и складываются на наших глазах элементы новой националистической теории, которой предстоит долгая история и много превращений. Мы к ней вернемся еще не раз; но теперь, стоя у самого источника будущей теории, полезно заблаговременно указать на обстоятельства, при которых эта охранительная теория возникла.

Отрицательное отношение к новым культурным заимствованиям и восхваление, в пику им, древней простоты нравов уже в описываемый нами момент было совсем не новым явлением в России. Источник этих взглядов двоякий — отчасти в литературе, отчасти в жизни. В жизни это прежде всего реакция стихийного национализма, с которым мы сталкивались не раз и при Петре, и при его преемниках. Идейного тут еще очень мало; это просто продукт непосредственного раздражения эксплуатируемого обывателя против своего иностранного конкурента, с которым, за слабостью мысли и знания приходится бороться силой и хитростью. В любой стране, сразу шагнувшей из примитивного быта в культурную обстановку жизни и бессильной против эксплуатации иностранцев, это стихийное чувство достигает сильного напряжения и проявляется совершенно своеобразными пароксизмами национального самомнения. Прежде чем сложиться в какую-нибудь теорию, задетое чувство национального соперничества проявляется во всевозможных мелочах жизни. При этом несложное самолюбие юных адептов культуры ищет удовлетворения двумя противоположными путями: или в грубом протесте против всего иностранного, или в беспрекословном усвоении его. При всей кажущейся противоположности, оба эти способа удовлетворения самолюбия находятся в самом тесном психологическом родстве. Поэтому *зачастую они даже прямо переходят друг в друга или совмещаются друг с другом.*

На ближайшей высшей ступени оба указанных типа притяжения или неприятия иностранного вызывают насмешки и становятся предметом литературного изображения. Изобразить эти типы нетрудно, так как и в жизни оба они крайне карикатурны. Тем не менее у нас для литературного изображения их были употреблены готовые трафареты из более зрелых литератур. Но было бы ошибочным заключать отсюда, как делали некоторые исследователи, что в жизни таких типов не существовало. Вот ранние прототипы обеих отмеченных разновидностей доморощенного самолюбия — ксенофобов и ксенофилов, — отмеченные путешествовавшими по России датчанином П.Ховеном *уже в тридцатых годах*, то есть до законченного литературного изображения их в русских сатирических журналах екатерининского времени. Вот будущая "щеголиха" или "кокетка" русской сатиры молодая княгиня Куракина. "У ней целый придворный штат; она ездит шестерней с двумя фореяторами и четырьмя лакеями, держит две дюжины горничных и столько же лакеев, ест роскошно и не вовремя, спит до полудня, одевается как петербургская оперная певица, говорит только по-русски, но примешивает столько французских и итальянских слов с русскими окончаниями, что придворным русским труднее понять ее, чем иностранцу; в разговоре по большей части хвалит французские моды и вольное обращение, смеется над богобоязненными женщинами, которые вздыхают о мирской суете, потому что не могут найти женихов и выйти замуж (она разумеет тут своих кузин); ее любовные истории доказывают, что в Москве можно разыгрывать амурные драмы нисколько не хуже Парижа и Лондона". А вот противоположный тип, князь и княгиня Черкасские. "Князь спросил меня, понимаю ли я по-русски. Я отвечал: да, немножко. Тогда князь сказал, что так как он везде в своих путешествиях должен был говорить на том языке, где находился, то он не может позволить, чтобы в его отечестве кто-либо говорил иначе, чем по-русски. Я хотел бы знать, продолжал он, почему бы русский язык нельзя было поставить наравне с французским и немецким. Я ответил, что это, вероятно, потому отчасти, что науки еще не процвели в стране и язык не распространен и не обработан, но отчасти также и по той причине, что русское государство только недавно стало уважаться иностранцами, но что, конечно, с могуществом государства возрастет и репутация языка. Князь успокоился на этом, но тогда княгиня меня спросила, не немец ли я. Когда я сказал, что нет, она сняла с головы соломенную шляпу, сделанную по английскому фасону, и спросила, как я думаю, следует ли выпивать такие вещи из-за границы. Я отвечал, что эта провинность вполне искупается тем, что ее сиятельству пришлось купить ее поневоле и что это хорошая и полезная вещь. Да, отвечала княгиня, а мне ее сделал мой мужик тут в Москве; стало

быть, вы видите, что мы здесь в России не нуждаемся в немецких товарах, да и в самих немцах”.

В сатирических журналах времени Екатерины мы встретим совершенно те же разговоры и ту же самую логику. Но как замечено выше в промежутке тут еще вошел элемент, помогший переделать жизненные факты в журнальные статьи. Это тот книжный элемент, который в его сыром и неприкосновенном виде мы нашли в журналах елизаветинского времени. Мы знаем, что русская журналистика овладела описанными явлениями жизни по готовым книжным образцам, главным образом по немецким. Иностранцы источники русских журналов, правда, изображали иногда явления более тонкие и сложные: например, “периметр” у Гольберта похож скорее на современного эстетика или декадента, чем на кукольный тип русской сатиры (и русской действительности). Но это были частности. В общем, не только типы, а и отношение к ним журналистов было в германских странах то же, что у нас. Этим отчасти объясняется, почему наши писатели так любили эксплуатировать именно немецкие моральные журналы. Там они находили то же самое националистическое раздражение, тот грубоватый тевтонский протест против французской модной культуры, который всего лучше соответствовал их собственному настроению и потребности русской публики. Там национальный протест против галломании сложился раньше, чем у нас; вот почему мы могли взять его оттуда готовым.

Справедливость требует, однако, подчеркнуть, что у нас этот националистический протест против иностранных заимствований скоро получил более прогрессивный, менее шовинистский смысл. Отчасти это было потому, что самые заимствования были гораздо поверхностнее, грубее у нас. Поэтому протест против культурной внешности получал значение протеста против внешней культурности. С другой стороны, у нас в гораздо большей степени, чем у немцев, новая культура сделалась привилегированным достоянием *одних* только “благородных”. Поэтому нападки на внешнюю культурность начали сливаться у нас с нападками на исключительное положение привилегированного класса, то есть приобрели характер социального протеста.

После этих разъяснений будет понятно, каким образом “русский Рабенер”, Новиков, нашел для своих новых журналов общую почву с Екатериной в осмеивании французских заимствований — в настоящем — и в идеализации старинных русских добродетелей, уничтоженных этими заимствованиями в прошлом.

Понятно также, почему это сближение с взглядами императрицы оказалось далеко не полным. “Живописец” весьма исправно “малевал своими красками нынешние развратные светские обычаи новоманерных петербургских щеголей и щеголих”,

”перенятое нашими молодыми господичами у иностранцев ново-выдуманное обхождение”; ”легковерность, вертопрашество, непостоянство, вольность в обхождении и многие другие пороки”, заимствованные у французов. Но в то же время он набрасывал первые в русской литературе картины крепостной крестьянской страды и по-прежнему настаивал на том, что ”подлыми” людьми надо называть лишь тех, которые делают ”дурные дела”. Относительно ”древних добродетелей” предков Новиков предпочитал пока молчать. Ограничиваясь критикой современных ему ”развратных обычаев” высших классов и позоря ломающуюся на иностранный манер молодежь, он не думал возлагать за это ответственность на самих иностранцев.

Таким образом, общий тон и общая картина журнала получались много ”веселее” ”Трутня”, но все же ”меланхолических” нот слышалось более чем достаточно. А картины из деревенского быта даже оставили за собой лучшее, что было в ”Трутне” в этом роде. Мы разумеем знаменитые письма и отписки из провинции, перепечатанные потом в следующих изданиях ”Живописца”. Правда, *рассуждения* по поводу изображенных явлений далеко не стояли на одинаковой высоте с самим этим изображением. Но причины этого понятны. В числе других нововведений журнал должен был ввести в употребление знакомый позднейшей русской сатире эзоповский язык. К удивлению, этот язык, который очень хорошо умели понимать читатели ”Живописца”, ввел в заблуждение некоторых исследователей, которые и в самом деле поверили, что сатирические журналы Новикова считают свой век золотым и добиваются только частичных перемен — не столько в порядках, сколько в лицах. Разумеется, ”Живописец”, говоря о крепостном праве, должен был оговориться, что бичует лишь ”злоупотребления дворянским преимуществом”, а не самое это преимущество. Он пояснял, что, нападая на казнокрадов и взяточников, критикует лишь отдельных бюрократов, а не весь бюрократический строй. Он подчеркивал, наконец, что все эти беспорядки и злоупотребления, о которых он рассказывал, уже отменены и исправлены, похитители отставлены, мучители наказаны; словом, выражаясь языком ”Всякой Всячины”, ”нравоучительные заповеди предписаны” и нравы если еще не совсем исправились, то, во всяком случае, ”скоро исправятся”. Но каждый понимал, что мысль журналиста идет дальше, чем его выражения. Личиной оптимизма журнал не мог обмануть никого, а всего менее заинтересованные сферы.

Это и отразилось на судьбе ”Живописца”, совершенно одинаковой с судьбой ”Трутня”. Журнал зачах, а журналисту пришлось пойти еще дальше по направлению, желательному для Екатерины. С начала 1773 г., то есть еще раньше, чем окончательно прекратился ”Живописец”, Новиков стал издавать при прямом участии и денежной поддержке Екатерины

сборник исторических документов, долженствовавший, согласно идее "Всякой Всячины", извлечь из архивов несомненные доказательства "древних российских добродетелей". В предисловии к Древней Российской "Вивлиофике" цель эта указана вполне определенно. Из "начертания нравов и обычаев" предков читатель должен был познать "великость духа их, украшенно-го простотой". Мало того, пользуясь благосклонным отношением императрицы к этому изданию — в котором, кроме нескольких строк предисловия, нет ничего публицистического, — Новиков задумывает новый сатирический журнал, в котором обещает развивать ту же идею о древних добродетелях.

В этом журнале — "Кошелек" (1774) — третьем и последнем, Новиков сам ближе всматривается в эту основную идею, мелькавшую в его уме еще при издании "Трутня." Результаты его размышлений оказываются, однако, довольно неожиданные. Чем дальше он пишет, тем яснее начинает понимать, что древние добродетели предков находятся в очень сомнительной связи с его собственными общественными и просветительными идеалами. Пока он рисует типичного проходимца-француза, Шевалье де Мансонжа, дело идет на лад. Любопытно, однако, что и тут Новиков высмеивает не вообще влияние иностранцев, а только влияние французов известного типа, и заставляет возражать Шевалье де Мансонжу *не русского, а немца*, личность которого изображается в самых привлекательных чертах. Но окончательно сбивается Новиков, когда дело доходит до теоретической защиты старины. Чтобы отдалить момент, он предпосылает сперва возражения *против старины*. Эти возражения оказываются в его собственных глазах настолько вескими, что он отказывается опровергать их и прекращает издание журнала. Если бы вся эта метаморфоза не происходила на глазах читателя, то положительно можно было бы подумать, что это один из приемов эзоповского языка Новикова. Но нет: начинает он с прямых заимствований подлинных выражений Екатерины и "Всякой Всячины". Он обещает статью, которая должна быть центральной, которой объясняется и самое заглавие, данное журналу. Между тем статья в журнале не появляется, заглавие объясняется кое-как, мимоходом. Вместо первоначального пожелания читателю "в жизни сей пользоваться древними российскими добродетелями" находим весьма резонное рассуждение от имени воображаемого противника Новикова: "Время от времени нравы переменяются, а с ними и нравоучительные правила подвержены такой же перемене". Затем идет настоящая сатира на то время, когда "древние российские добродетели" были в употреблении. В те времена "русские цари, в первый день свадьбы своей, волосы клеили медом, а на другой день парились в бане вместе с царицами и там же обедали; все науки заключались в одних святцах; женились, не выдав невесты в глаза; за различное знаменование (креста) сожигали в срубах

или, из особенного благочестия, живых закапывали в землю; словом сказать, было великое изобилие всех тех добродетелей, кои от просвещенных людей именуются ныне варварством". Надо прочесть в подлиннике эти блестящие, чисто новиковские насмешки и опровержения защищаемого им самим официального взгляда. "Сильные выражения и доказательства" против старины так искусно перемешаны здесь с нелепыми и смехотворными, что в конце концов читатель вслед за изображаемым противником старины в недоумении спрашивает журналиста: "Я подлинно еще не знаю, притворяетесь ли вы прямым русаком или таковы и вправду?" Как бы ни ответил Новиков на этот вопрос — который он предпочитает оставить без ответа, — ясно, во всяком случае, одно: в пропагандисты националистической теории, только что начинавшей складываться, он совсем не годился. Из "истории" он извлек лишь неприятные аргументы; "Всякая Всячина" отнюдь не думала о них, когда ожидала найти в архивах "древние русские добродетели". А в защиту новой легенды об этих старых добродетелях Новиков привел только устное предание — "словесные объяснения старожиллов", да, точно в насмешку, предложил редактору "Кошелька" самому поискать эти добродетели в своей "Вивлиофике";

С прекращением "Кошелька" окончился второй важный эпизод в истории русской журналистики (1769-1774). Для начинавшего тогда слагаться русского общественного мнения журналы этих годов сыграли в высшей степени важную роль. Они сформулировали мнения и чаяния передовой части русского общества и выяснили отношение к этим взглядам разных сословий и правящих кругов. Стремления выступившего в этих журналах поколения были бессловными: к ним могли присоединиться все недовольные господствующим положением сословия, которое как раз в этот момент становилось не только привилегированным, но и правящим. Недовольны главным образом были горожане. Наиболее обделенные судьбой, крестьяне были и главным предметом сочувствия; но до них голоса журналов не доходили. "Хлеб, который они едят; религия, которая их утешает, — вот единственные их идеи. Благоденствие государства, потомство, грядущее поколение — для них слова, которыми их нельзя затронуть. Они связаны с обществом только своими страданиями, и из всего того беспредельного пространства, которое называется будущим, они замечают только завтрашний день. Их жалкое положение лишает их возможности иметь более отдаленные интересы". Читатель спрашивает, конечно, из какого радикального автора взята эта красноречивая цитата. Она принадлежит императрице Екатерине. Это часть того ответа ее Дидро о русских сословиях, на который мы ссылались. Конечно, не хуже русских журналистов своего времени Екатерина понимала положение дел. Она хорошо знала, "о ком пещись должно", но знала также и то, "кем дело имеем..."

Сравнивая настроение литературных кругов 1769-1774 гг. с настроением интеллигентного поколения, создавшего первый расцвет русской журналистики десятью годами раньше, мы должны будем констатировать огромный шаг вперед. Отвлеченные интересы и чувства характеризовали то поколение, — и они уступили, как мы видели, первому холодному дыханию жизни. Вчерашние литераторы сделались сегодня защитниками интересов своего сословия. Напротив, новое поколение интеллигенции, под влиянием идей времени и опираясь уже на своих интеллигентных предшественников, выросло с более серьезными и более конкретными запросами от жизни и литературы. Житейский холод охватил скоро и их, после короткого периода "недоразумений". Им этот холод был даже гораздо чувствительнее, чем их старшим братьям. Но это, как скоро увидим, только закаливало их для дальнейшей борьбы, и вместо того, чтобы охладить их к теориям, заставило только внимательнее пересмотреть свой умственный багаж. Не простая потребность использовать досуг, а сознание своего нравственного и гражданского долга побудило лучших из них взяться за перо журналиста. То же серьезное отношение к себе заставило и отложить перо в сторону, когда оказалось, что в журнале возможна только одна "веселая и легкая критика". Две цитаты помогут нам представить себе эту смену настроения молодых журналистов. "Я думаю, — говорил себе Фонвизин, — что таковая свобода писать, каковой пользуется ныне россияне, поставляет человека с дарованною, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободой, имеют они долг возвысить громкий голос свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с пером в руках может быть иногда полезным советователем государя, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества". Сравним это радужное настроение начинающего литератора с горьким разочарованием литератора опытного. В "Живописце" Новикова отставленный от службы взяточник обращается к издателю со следующей насмешливой речью: "Что ты из пустого в порожнее переливаешь? Мне кажется, брат, что ты похож на постельную собачку моей жены, которая брешет на всех и никого не кусает. А это по-нашему называется — брехать на ветер. По нашему, коли брехнуть, так уж и укусить, чтобы больно, да и больно было. Да на это есть другие собаки, а постельным хоть и дана воля брехать на всех, — только никто их не боится. Так-то и ты: пишешь все пустое".

Мы видели, что и Екатерина разочаровалась в журнальной деятельности. Но как причины, так и последствия разочарования были диаметрально противоположны у нее и у молодых литераторов. Она сокращала и ограничивала район своего литературного воздействия. Они старались его расширить. Она ушла от журнала к театру, от русского театра к французским эрми-

тажным спектаклям и к интимной корреспонденции. Они перенесли свою деятельность из журнала непосредственно в жизнь и от сатирических набросков перешли к работе над цельным мировоззрением.

БИБЛИОГРАФИЯ

Записки Дидро, читанные им Екатерине, изданы Maurice Tourneux, *Diderot et Catherine II* (Paris 1899). С появлением этого важного материала прежние работы о Дидро должны считаться устаревшими. О Дидро вообще см.: Морлей, *Дидро и энциклопедисты* и ст. Веселовского А. *Дени Дидро* в "Этюдах и характеристиках" (М., 1894). О журналах см. кроме текстов их "Живописец" и "Трутень" переизданы с примечаниями П.А. Ефремовым (СПб., 1864-1865); оба журнала и "Кошелек" имеют также в общедоступной "Дешевой Библиотеке" Суворина (1900), А. Афанасьева *Русские сатирические журналы 1769-1774 гг.* (М., 1859 г.); Н.А. Добролюбов, *Русская сатира в век Екатерины*, Соч. 1 (нападки на недостаточный радикализм сатиры). Е.С. Шумигорский, *Очерки из русской истории. I. Императрица-публицист* (Защита императрицы от журналистов) (СПб., 1888); В.Ф. Солнцева, "Всякая всячина" и "Спектатор" в Журнале Министерства Просвещения, I (1892) (в моем изложении заимствованные из "Спектатора" места совершенно оставлены в стороне; автор преувеличивает их значение и не подозревает того действительного — и весьма важного — значения, какое имел журнал Екатерины в истории русской публицистики — оригинальной частью своего содержания). Его же: "Смесь", сатирический журнал 1769 г. (изд. Библиографа) (СПб., 1894). *Memoires de Ségur*, t III. Новая работа о Новикове принадлежит В. Боголюбову, *Н.И. Новиков и его время* (М., 1916). Автор соглашается с моими выводами. См. также В.П. Семенников, *Русские сатирические журналы 1769-1774 гг.* (СПб., 1914).

VI

ЕКАТЕРИНА II ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВЯЩЕЕ СОСЛОВИЕ

Второй период "легисломании" Екатерины (1775-1785). — Обстоятельства, побудившие ее вернуться к законодательным работам. — Влияние пугачевщины: ее социально-политическая программа и дворянские демонстрации Екатерины. — Влияние депутатских наказов. — Влияние Блэкстона. — Влияние остзейских учреждений. — Выборные должности Учреждения о губерниях. — Идейный вклад Екатерины в У. о. г. — Идеал и действительность дворянского самоуправления. — Стремление приурочить его к службе и чину. — Значение губернских учреждений для распространения дворянской культуры в провинции. — Общий план екатерининских преобразований. — Исключение из него крестьянского вопроса. — Характер жалованных грамот сословиям. — Предположения о реформе центральных учреждений. — Причины, почему эти предположения были отложены.

"Недоразумение", о котором мы говорили в начале предыдущей главы, рассеялось. Власть и общественное мнение пошли различными путями, и, когда эти пути пересеклись вновь, их встреча была, как увидим, враждебного характера. Прежде чем мы перейдем к этому столкновению, нам следует познакомиться ближе с путями, избранными властью.

Выбор этот происходил при трудных обстоятельствах, и нельзя отрицать, что — при этих обстоятельствах — он в значительной степени оказался вынужденным. Однако в трудных обстоятельствах, о которых идет речь, не было ничего, что не было бы подготовлено предыдущим общим положением дел. И, в этом смысле, окончательный выбор направления внутренней политики не был чем-либо новым и неожиданным. Краски сгустились; очертания стали рельефнее. Но, в общем, это тот же тон, те же тенденции, которые наметились у Екатерины давно, как мы могли видеть и из нашего предыдущего изложения.

1774 г. был тяжелым годом для Екатерины. С турецкого театра войны до самого конца июля получались сведения одно неудовлетворительнее другого. Внутри империи разгоралась жакерия, грозившая принять небывалые размеры. Слух за слухом приходил из Москвы, что чернь волнуется, что тюрьмы переполнены открытыми сторонниками Пугачева, что губернатор принужден был стрелять в мятежную толпу, что 18 человек повешено. Дворянство в свою очередь нервничало и не скрывало

своего раздражения против правительства, которое не умеет его защитить. И среди этой, переполненной политической отравой атмосферы раскрылась страшная рана екатерининского правления — вопрос о ее отношении к наследнику престола. Все, что притаилось при самом дворе оппозиционного, заговорило или, предполагалось, должно было заговорить. Герои и участники и даже простые свидетели переворота 1762 г., казалось, самым своим присутствием снова напоминали про непрочность положения Екатерины. Этот психологический момент окончательно толкнул императрицу от Орловых и Чернышевых к Потемкину. Но Потемкин был только надежной точкой опоры, точкой приложения силы; силой осталась сама Екатерина. И, надо сказать, она обнаружила гибкость и энергию, которые помогли ей справиться с трудностью положения. Утешая вскоре после того Роберта Гуннинга, английского представителя — который, правда, ждал от нее войск, а не утешений, в затруднительном положении Англии, — Екатерина обмолвилась несколькими искренними словами о своих собственных затруднениях, только что пережитых ею. "Поверьте мне, я не основывала свои надежды на успехе на каком-либо *одном* средстве действия. Есть моменты, когда не приходится быть слишком ригористичной". И действительно, мы видим не одну, а несколько Екатерин, борющихся с приливом, готовым ее захлестнуть. Она осыпает золотом первого встречного шарлатана, явившегося с Поволжья с предложением выдать или убить Пугачева; и она же обращает всю пугачевщину в шутку в своей литературно-дипломатической болтовне с Вольтером, Гриммом и мадам Бьяльке. Она отдалает верных друзей, привыкших делить с ней власть, и делает будирующего против нее, но безопасного честолюбца Петра Панина усмирителем пугачевщины. Она отменяет, после трудной и дорогой войны, ряд податей, чтобы доказать, что русские финансы в блестящем положении; и она выбирает Москву, средоточие оппозиции, ареной своих блестящих празднеств по поводу заключения мира. Напрасно близорукие партизаны, в роде Сиверса, всеми силами отговаривают ее от этого путешествия в Москву. Екатерина лучше их понимает значение политической *mise en scène*. С той же демонстративностью, с какой она устраивала в Москве открытие своих законодательных трудов. Да, она, наконец, будет продолжать эти труды: не только потому, что все этого ждут от нее в Европе, что сама жизнь требует реформ, сколько потому, что теперь это козырь в ее руках, один из "инструментов царствования". Она хорошо понимает, даже и без советов Бибикова, что одних паллиативов и зрелищ мало, чтобы побороть общее недовольство. Наконец, законодательствование — это ее профессия, ее специальность "делать людей довольными", тех людей, которые ей нужны, — и для этой цели у нее есть, как она уверена, большой запас рецептов и средств.

Конечно, она пустит в дело те из этих средств, которые требуются данной минутой. Всмотримся внимательнее в главный психологический мотив, вызвавший новый прилив екатерининской "легисломании", и мы легко пойдем, что и почему поставлено было теперь на ближайшую очередь.

Главным толчком было, конечно, то положение вещей, которое было с особенной ясностью обнаружено пугачевщиной. Пугачевщина как *факт* могла быть устранена смелой операцией. Пугачевщина как симптом требовала систематического и продолжительного лечения.

В своем происхождении пугачевщина была давно знакомым Москве проявлением борьбы между рядовым казачеством и казацкой аристократией. В этой социальной борьбе московская политика постоянно стремилась дать перевес казацкой старшине над казачеством, казачеству над посольством (крестьянство). Но иногда правительству поневоле приходилось поддерживать демократические элементы. Это случалось, когда более влиятельные общественные группы слишком уже открыто обнаруживали автономистские стремления или вступали в сношения с поляками и турками. Во второй половине XVIII в. положение дела значительно изменилось. С одной стороны, уже не было больше оснований опасаться, что казацкая старшина юго-восточной окраины войдет в союз с политическими врагами России. С другой стороны, социальный процесс закрепощения посольства и присвоение казацких земель в частную собственность старшиной к этому времени почти завершился. Этот быстрый рост земельной силы новой казацкой аристократии отлично гармонировал с ростом шляхетских тенденций в самой России. Вот почему политика Петербурга на Дону и особенно на Волге уже совсем не представляет даже тех, чисто внешних заигрываний с казацкой демократией, каких не чужда была политика Москвы на Днепре. Старшинская партия стала здесь окончательно правительственной, а войсковая — оппозиционной. Новорожденное казацкое дворянство и старшинская бюрократия быстро сознали свою солидарность с дворянством и бюрократией империи. И еще быстрее простой народ, закрепощаемый тем и другим дворянством, должен был признать в обоих своего общего врага. Приток беглых переселенцев из центра на окраины никогда не прерывался и приносил с собой постоянно свежую струю социальной вражды, обостряемой еще более крепостническими стремлениями местной казацкой старшины. Этой солидарностью чувств и интересов обеих социальных групп в центре и на окраине объясняется, почему движение, вначале специфически казацкое, антистаршинское, так легко и быстро перекинулось из только что начавшей заселяться территории казаков и инородцев в черту (тоже не особенно старого) помещичьего землевладения и крепостного права. Пугачевские прокламации не оставляли никакого сомнения отно-

сительно социального характера движения. Главная цель его — истребление "тех проклятого рода дворян, которые, не насытятся Россией, но и природные казацьи войска хотели разделить в крестьянство и истребить казачий род". "Всему свету известно, — заявлялось в прокламации одного из сообщников Пугачева, — сколько во изнурение приведена Россия. От кого ж? Вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами; но хотя в законе Божиим и написано, чтобы они крестьян так же содержали, как и детей, но они... хуже почитали собак своих, с которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работой утрудили, что и в ссылках того никогда не бывает". Сам Пугачев не упускал случая объяснить, что потерпел он и лишен был престола — за свою попытку улучшить положение крестьян: за то, что хотел перевести дворянство на жалованье, а земли вернуть крестьянам. Конечно, есть в прокламациях и другие мотивы: тягости со стороны государства (подушная подать и рекрутчина) и перемена веры. Но и эти оба мотива ставятся в самую тесную связь с главным, андидворянским. "От прописанных злодеев дворян древнего святых отец предания закон христианский нарушен и поруган, а вместо того с их зловредного умысла, с немецких обычаев, введен в России другой закон, и самое богомерзкое брэдобритие и разные христианской вере, как в кресте, так и в прочем, неистовства; и подвергнули, кроме (то есть вопреки) нашей монаршей власти, всю Россию себе в подданство, с наложением великих отягощений и доводя ее до самой и крайней гибели". Исход намечался сам собой: заменить дворянское войско — казакским. Тогда не нужно будет ни помещичьих, ни государственных сборов, ни рекрутчины. Своих "верноподданных" Пугачев привлекал "вольностью, без всякого требования в казну подушных и прочих податей и рекрутов набору; войско *из вольножелающих* к службе великое исчисление иметь будет; дворянство крестьян своих великими работами и податями отягцать не будет, понеже каждый восчувствует прописанную вольность и свободу".

Современники хорошо понимали, что сила Пугачева не в нем самом, а в этой социально-политической программе, которая с необходимостью вытекала из всей вековой истории крестьянства и явилась неизбежным, неустрашимым выражением его классового самосознания. В этом историческом смысле вся крестьянская Россия была пугачевской. "Не везде ль опасность одинакова? И не весь ли черный народ вообще, когда невъявь, так в сердцах своих — бунтует и готов поднять на нас свои руки?" Так спрашивал себя, всего в 60 верстах от Москвы, помещик Болотов, смущенный слухами о приближении Пугачева. Единственным спасением от "этих бородачей" Болотов считал, что ему случилось быть в тот момент *не в своей*, а в государственной деревне. "Там наши люди первые могли бы быть на-

шими злодеями и врагами, а здешним мы — сторона дело. *Ничем мы им еще не нагрубили*". И однако, и в этих ожиданиях Болотов ошибся. Обратившись к новобранцам, собранным против Пугачева, с увещанием "драться хорошенько", он услышал от одного из них самый недвусмысленный ответ. "Да, сказал он мне на сие, злодейски усмехаясь; стал бы я бить свою братью! А разве вас, бояр, так готов буду десятерых посадить на копье сие!" Немудрено, что тот же Болотов — писатель и интеллигент, как мы знаем, — будучи допущен вместе с другими "дворянами и господами" к самому эшафоту Пугачева, вынес из зрелища казни одно только чувство — сословного удовлетворения этим "истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и «злодеем»"¹.

Политика власти, когда приходилось выбирать между противоположными интересами дворянства и крестьянства, нам хорошо известна. Мы видели, что уже Иван Грозный, впервые представивший демократическо-монархическую программу, разумел под своим демократизмом собственно защиту интересов служилого "воинства". То же самое "воинство", опираясь на которое Грозный "играл" со знатью, "как с младенцами", вынесло на своих плечах смуту и посадило на престол новую династию. Взамен того оно получило право свободного распоряжения крепостным трудом и значительную долю участия в выгодах установившегося бюрократического режима. Наконец, на то же "воинство" предпочитал опираться и Петр Великий в борьбе с своими многочисленными врагами. Зато, сам того не сознавая, он посеял зародыши сословных привилегий в западноевропейском смысле среди излюбленного им гвардейского офицерства. Теперь эти семена принесли свой плод. Корпоративное сознание зародилось; не хватало только корпоративной организации. Эту организацию предстояло дать Екатерине, чтобы успокоить недовольство, вызванное в дворянстве успехами пугачевщины.

Для начала Екатерина поспешила — еще во время самой борьбы и в интересах ее успеха — признать свое дело солидарным с делом дворянства. Когда, по вызову Бибикова, казанское дворянство постановило сформировать особый конный корпус. Екатерина велела передать дворянам, что она, ввиду пожертвования их, "поставляет себе тем сугубейшим долгом — целость, благосостояние и безопасность их ничем не разделяюмо почитать с собственной нашей и империи нашей безопасностью и благосостоянием". С своей стороны, "яко помещица той губернии", императрица приказывала поставить в дворянский кор-

¹ С другим чувством — "отвращения", боровшегося с любопытством, — ушел от того же эшафота пятнадцатилетний И.И. Дмитриев, писатель следующего, карамзинского поколения. "Чувствительное сердце его" (он говорит про своего брата эти слова, которые можно отнести и к нему самому и ко всему поколению) уже "не могло выносить такого позорища".

пус рекрут с дворцовых волостей. Демонстрация Екатерины вызвала высокопарный ответ дворянства, написанный Державиным. По-старинному дворяне умилялись, что императрица "приемлет на себя рабье название", и, переходя в новый тон, восклицали: "признаем тебя своей помещицей: принимаем тебя в свое товарищество; когда угодно тебе, равняем тебя с собой. Но за сие и ты ходатайствуй за нас у престола величества твоего".

Эту роль — ходатая перед самой собой за дворянство — Екатерине не трудно было выполнить после всего того, что было сказано и сделано депутатами ее Комиссии от собственного имени дворянства. Насущные потребности и корпоративные тенденции дворян были ей хорошо известны из наказов и речей, из прений и баллотировок по вопросу "о правах благородных". Но прежде, чем мы перейдем к тому, что Екатерина взяла из этого источника, нам надо познакомиться с идеологическими источниками сословного законодательства Екатерины: ибо имелись и такие.

Источники эти были, однако, так же непохожи на прежних вдохновителей Екатерины, как не похож был на старую форму шумных прений в Комиссии ее новый прием подготовки законопроектов — наедине с собой, в собственном кабинете, иногда с одним-двумя экспертами, призываемыми *ad hoc*. Провозвестников новых абстрактных идей, теоретиков "общего блага", "благодетелей человечества" сменяют на ее рабочем столе тяжеловесные историко-юридические исследования и монографии по специальным вопросам. Екатерина никогда не любила политического абсолютизма Руссо. Но и в политическом релятивизме Монтескё было еще чресчур достаточно абсолютных элементов, которые она принимала на веру. Теперь Екатерина берет в руководители писателя-юриста той страны, где особенно силен юридический консерватизм. Вместе с ним она готова подчинить всякую теорию существующему факту. В этом факте, в существующем, веками сложившемся общественном строе, в исторических прецедентах она ищет единственной твердой опоры — если не для теории, то для законодательства. Блэкстон занимает место Монтескё. И как различен от прежнего способ пользования новым авторитетом! Целыми страницами Екатерина переписывала когда-то "президента Монтескё" в свой Наказ — и спешила выставить напоказ всему свету свой бесцеремонный литературный плагиат. Теперь из Блэкстона она ничего не берет прямо: это ее "нить, которую она разматывает на свой манер". И она совсем не читает больше "экономистов" и всяких других "-истов", которые в изобилии шлют ей свои сочинения, стараясь подействовать на ее ум и волю. Она занимается теперь не "болтовней", а "делом". Плоды ее новых работ в ее глазах, конечно, гораздо выше Наказа. Но своим корреспондентам, Вольтеру или Гримму, она вовсе не спешит посылать свои рабо-

ты. Почему? О, конечно, не потому, чтобы эти "указы" не были красноречивы или не принесли бы великой пользы "человечеству". Но дело в том, что... "их переведут плохо: в них больше идей, чем фраз, а у переводчиков больше фраз, чем идей..." Наконец, — это Екатерина пишет после настойчивых упрасиваний не в меру льстивых корреспондентов, — "это слишком скучное чтение; это очень хорошо, быть может, очень красиво, но ужасно скучно".

Действительно, скучное, деловое чтение. Но мы не можем освободить себя от него, как освобождала Екатерина своих корреспондентов. Последуем за ней в ее московское уединение; посидим над разгонистым почерком ее черновиков, в которых пять месяцев подряд, упорно марая, зачеркивая и переписывая, она вырабатывала текст первого своего капитального законодательного акта, "Учреждения о губерниях". Что взяла она здесь из дворянских просьб и желаний? В чем можно усмотреть идеологическое влияние Блэкстона?

В сущности, оба эти источника сходились ближе, чем можно было бы ожидать от таких популярных, по-видимому, явлений, как русская жизнь и английская теория XVIII в. Мы знаем, что самое единодушное желание дворянских депутатов заключалось в том, чтобы в русской провинции созданы были близкие к населению судебно-полицейские учреждения и чтобы в состав этих учреждений, целиком или отчасти, введены были выборные от дворянства. Но в Англии XVIII в. был как раз век расцвета областных, судебно-полицейских учреждений, отдавших деревенское население всецело в распоряжение класса поместных землевладельцев. К этому именно классу — лордов и сквайров, полновластных хозяев сельской Англии — обращается Блэкстон со своими "Комментариями на английские законы". Прирожденные законодатели и судьи, они должны знать законы страны, как должен был знать римское право римский патриций. Понятно, что здесь была бы неуместна демократическая теория общественного договора. Блэкстон решительно признает ее "абсурдной" и оставляет "теоретикам". Оставаясь сыном своего века, он не может, конечно, не признавать теории "естественного права" вообще. Но он весьма предусмотрительно отделяет сферу действия естественного права от сферы действия положительного закона. Санкцию закона (поскольку он не противоречит "здравому рассудку") Блэкстон ищет исключительно в правительственном распоряжении. В своем уважении к существующему он даже идет еще дальше. "Хотя бы разум, диктовавший законы, и не был ясен с первого взгляда, мы обязаны слишком большим уважением к нашим предкам, чтобы предположить, что они действовали вовсе без всякого рассуждения". Такому руководителю Екатерина смелее могла верить, чем разным "вралям"-экономистам". И мы можем легко предположить, что роль, отведенная "джентри" в публичном и частном

праве Англии, в частности же и в местном управлении английского графства, очень помогла Екатерине помириться с сословно-автономистскими стремлениями русского дворянства.

Был, впрочем, еще один ближайший источник, который мог послужить и послужил наглядным образцом тех же сословных местных учреждений, каких добивалось наше дворянство и какие в такой полноте осуществлены были в отечестве Блэкстона. В Остзейском крае, под покровом шведских бюрократических форм, "рыцарство", в сущности, держало в своих руках все управление краем. Правда, остзейские порядки вызывали как раз те же самые жалобы, которые так часто слышатся в дворянских наказах. До суда ч расправы и здесь было далеко простому непривилегированному обывателю. За отсутствием на месте представителей законной власти и здесь самоуправство было в порядке вещей. Помещик и здесь фактически был высшей властью и неограниченно господствовал в пределах, а частью и за пределами собственного имени. Но даже и такое несовершенное в юридическом отношении состояние остзейских провинций все-таки оставалось идеалом для страны, где, после неудачной попытки Петра, *воевода* оставался единственным и полновластным хозяином целой территории уезда, где "в одной воеводской канцелярии совокуплены" были "дела всякого рода и звания".

Теперь эти дела должны были распределиться по принадлежности. Финансы, полиция и суд получали свои отдельные органы в уезде и в губернии. В суде и полиции получали значительное участие выборные представители дворянства. Ближайшее место по отношению к населению занял при этом судебнопольцейский орган, соответствовавший лифляндскому "орднунгсгерихту". Согласно желаниям наказов, этот орган был *целиком* составлен из выборных: во главе его "земский капитан-исправник", избираемый дворянством; при нем 2-3 "заседателя", выбранных от дворян, и двое от государственных крестьян, где они были налицо. Но Екатерина хотела идти дальше. Она хотела *отделить* суд от управления и организовать судебные места согласно идее, усвоенной ею еще в Наказе: именно так, чтобы "всякого человека судить через равных ему". Поэтому рядом с названным органом ("нижним земским судом"), получившим преимущественно полицейское значение (хотя и сохранившим до 1889 г. свою коллегияльную форму), она поставила чисто судебный орган *первой* инстанции для дворян ("уездный суд") в соответствии таким же органам для горожан (городовой магистрат) и помещичьих крестьян (нижняя *народная* расправа — так назывался этот орган в первоначальном тексте). Затем суды *средней* инстанции (уничтоженные вскоре, в 1796 г.) тоже устраивались по сословиям: дворяне получили в этой инстанции "верхний земский суд" (остзейский оберландгерихт) в соответствии "губернскому магистрату" и "верхней на-

родной расправе” для горожан и крестьян. Весь состав дворянского уездного суда был выборный от дворянства; в верхнем же суде только два председателя были назначенные от короны. Напротив, в крестьянских судах обеих инстанций председателями были лица, назначенные правительством, то есть опять-таки служащие дворяне. “Не запрещалось” и крестьянских заседателей выбирать “из дворян или ученых, или чиновных людей”. Суды *высшей* инстанции в губернии (гражданская и уголовная палаты) были уже вполне коронными по составу.

“Сей порядок сходствен с порядком наших остзейских провинций”, — признавала сама Екатерина. Принимаясь за его осуществление, она и пригласила поэтому, в качестве экспертов, одного ландрата из Эстляндии, имя которого осталось неизвестным, и лифляндца Сиверса, которому предоставлено было произвести первый опыт введения новых учреждений — в Тверской и Новгородской губерниях. Сиверс, по-видимому, несколько преувеличивал свою роль при самой разработке проекта. Бессспорно, по его совету исключена из черновиков Екатерины промежуточная инстанция между уездом и губернией: *провинция*. Она и действительно являлась лишней, после того как сами губернии были уменьшены до размеров прежней провинции².

Напротив, самая существенная черта, *отличающая* “Учреждение” от его остзейского образца, — именно проведение более стройной, чем практичной, и никогда не осуществившейся вполне системы сословных “судов пэров” для крестьян, горожан и дворянства — есть, конечно, личное дело самой Екатерины. В этой идее нельзя не видеть центрального зерна, около которого кристаллизовалось все остальное идейное содержание “Учреждения о губерниях”.

Устройством “судов равных”, действительно, не ограничиваются идеологические элементы “Учреждения”. В первоначальный проект закона, при самом начале его разработки, императрица вставила еще три характерных органа, почерпнутые из других источников и, несомненно, представляющие то, что Екатерина считала своим особенно важным идейным вкладом в “Учреждение о губерниях”. Все три прибавлены на полях к первоначальному тексту, разрывают стройность системы, и Екатерина тщетно ищет у Сиверса указаний, как бы восстановить эту стройность. Новые органы эти: 1) сиротские суды, дворянский (опека) и городской; 2) приказ общественного призрения и 3) совестный суд. Что касается опеки, указания на это Екатерина могла найти в наказах, в том числе в имевшем особое влияние на нее наказе сената, из которого усвоены ею мно-

² Прямым последствием этой перемены в первоначальном проекте и было накопление в губернском городе судебных мест двух высших инстанций (“палаты” и “верхние” сословные суды, скоро отмененные).

гие частности. Но устройство приказа общественного призрения — этого предшественника позднейших земств, предназначенного ведать местную благотворительность, медицину и народное образование, — стоит в несомненной связи с ее личными просветительными тенденциями. Об этом приказе Екатерина особенно заботится. Она ставит его рядом с высшими местами в губернии — с губернским правлением и судебными палатами; дает ему безвозвратно капитал в 15000 для начала его деятельности.

Еще интереснее происхождение совестного суда. Самое название этого учреждения — *cour de l'équité* — указывает на заимствование из Блэкстона. Назначение совестного суда — смягчать жесткость закона в применении к отдельным случаям и восполнять недостаток законов. Совестный суд должен действовать там, где законы молчат. В такой постановке нельзя не видеть результатов чтения Блэкстона. Уже самые вступительные слова этой главы "Учреждения": "Понеже личная безопасность каждого верноподданного весьма драгоценна есть человеколюбивому монаршему сердцу" и т.д., а также дальнейший параграф (401): "Буде кто пришлет прошение в совестный суд, что он содержится в тюрьме более трех дней, и в те три дни ему не объявлено, за что он содержится в тюрьме или что он в те три дни не допрашиван, тогда совестный суд, не выходя из присутствия, долженствует послать повеление" и т.д. — показывают, что глава "Комментариев" о *habeas corpus* произвела на императрицу сильное впечатление. Своим совестным судом Екатерина особенно гордилась и ожидала от него важных последствий. В своей переписке она не раз повторяет, что это будет "могила ябеды". В порядке губернских учреждений совестный суд поставлен еще независимее, чем приказ общественного призрения. В обоих учреждениях заседают, под председательством коронного судьи и губернатора, выборные представители всех трех сословий по ровну.

Если даже оставить в стороне только что перечисленные органы, необходимо будет все-таки признать, что "Учреждение о губерниях" вводило в наше государственное право совершенно новые начала. Ввиду этого Екатерина сочла даже нужным теоретически оправдать необходимость подобных нововведений ссылкой на закон эволюции государственных учреждений. В предисловии к "Учреждению" она ссылается на "многие примеры" "в доказательство истины сей, что распространение пределов государства, умножение в оном народа и происшедшее изобилие в способах ко внутреннему и извне текущему обогащению (обыкновенно и повсюду) переменяли как образ их управления, так часто и заставляли дополнять самые законоположения, учинившиеся напоследок или неудобными, или недостаточны-

ми, коих довлело (то есть которые были достаточны), при основании державы и в первом ее состоянии³.

И этот аргумент отвечал действительному положению дела. Новые учреждения прежде всего предполагали существование корпоративно-организованных общественных групп, которые должны были выбирать своих представителей в новые общественные и правительственные должности. Но самое понятие корпорации, как юридического лица, настолько чуждо было нашему праву, что Екатерине пришлось объяснять это правовое понятие выписками из Блэкстона и Делольма.

Немудрено, что и для власти, и для дворянства далеко не сразу стало ясно все значение введенных Екатериной выборов и сословного представительства. Фактически у дворянства явились "предводители" уже тогда, когда надо было устроить выборы в Комиссию уложения. Но манифест 14 декабря 1766 г. создавал эту должность *ad hoc* и лишь на два года — "для лучшего между собой порядка" при выборе депутата, а также на случай, если даны будут от верховной власти какие особые повеления относительно "всех живущих в уезде дворян". На второе двухлетие (1769) выборы предводителей были опять назначены особым указом. И только при третьих выборах (1771) сделано было распоряжение повторять их периодически впредь, не дожидаясь особых указов. Часть дворянства, правда, уже в наказах обнаружила стремление к постоянно корпоративной организации дворянства. Они требовали от правительства не только права выбора в судебно-полицейские должности, но также и права периодического созыва дворянских собраний — для выслушивания отчетов выборных лиц, для обсуждения сословных

³ В черновых текстах выработке этого интересного места предшествовала довольно продолжительная работа, очень характерная для истории екатерининских идей о естественном праве. Указав на недостаточность исторических сведений о начале человеческих обществ (Блэкстон в этом случае ищет указания в Библии), Екатерина ссылается, как на единственный остающийся источник, на "здравый рассудок". Рассудок "заставляет думать, что во всяком народе управление его" "сходствовало с народным", пишет она сперва привычную мысль. Но точак же оговаривается: "Или заимствовало чего ни на есть от народного". Но и эта оговорка кажется Екатерине недостаточной: она надписывает над строкой фразу, выражающую совершенно противоположную мысль (эти слова мы ставим в скобки): "Сходствовало с народным (или над ним власть имеющих) умоначертанием". Далее исправленный текст читается (зачеркнутое Екатериной в скобках): "Или же, по крайней мере заимствовало много или мало от онаго, устанавливаемо же было или (вдруг силою) исподволя по общему желанию (согласием общим, надобностям) или силою. Перемены же происходили по положению дел и разнообразных военных и мирных обстоятельств внутренних и внешних, или же по умножению или умалению людей или земли ими занятыми. Краткое сие описание замыкает в себе без изъятия летописания всех государств". Мы видим, как мысль императрицы колеблется, отвыкая от "абсурдной" теории общественного договора и приноравливая старые термины к новому пониманию, вытекающему из чтения Блэкстона.

нужд дворянства и даже для представления петиции. Однако "Учреждение о губерниях" признавало лишь *выборные* собрания дворянства. И только на прямой запрос Безбородко о праве обсуждения нужд и петиций (1778: "Кроме выборов, ежели общее собрание дворянства или некоторые уезды будут иметь надобность или пожелают собраться для совета с собратиями своими о нуждах и пользах взаимных... можно ли дозволить им о том советовать и делать представления или жалобы именем общества через депутатов?") Екатерина лаконически отвечала: "Дозволить". Она ввела затем это дозволение в текст жалованной грамоты дворянству 1785 г.

Таким образом лишь мало-помалу дело, начатое в рамках прежних законодательных комиссий XVII-XVIII веков, разрослось до пределов настоящего дворянского самоуправления, более напоминавшего средневековые сословные учреждения Запада, чем губные учреждения Грозного или "всеуездные избы" московского черносошного севера.

Но, отстав от одного берега, пристали ли новые порядки к другому? Конечно, нет. Этим объясняются колебания теоретиков государственного права, следует ли признать дворянские учреждения Екатерины за самоуправление вообще. Стоит взглянуть на соседнюю Лифляндию, послужившую ближайшим источником этих учреждений, чтобы заметить и оценить всю разницу. В Лифляндии даже коронные должности, замещаемые местным дворянством, приобретали земский характер. Напротив, у нас, как сейчас увидим, земские должности стремились приобрести коронный характер. Средоточием дворянской силы в Лифляндии была та самая "коллегия ландратов", которую когда-то Петр тщетно старался привить России. И эта коллегия настолько стояла вразрез с духом екатерининских учреждений, что, к великому огорчению Сиверса и раздражению местного дворянства, она была первая уничтожена, когда Екатерина решилась навязать краю свои новые учреждения. Таким образом, введение губернских учреждений, бывшее торжеством дворянских тенденций у нас, явилось в остзейских губерниях первым симптомом их падения. Так велико было различие между сословными учреждениями, вводимыми искусственно, и теми же учреждениями, сложившимися исторически⁴.

⁴ Первоначально Екатерина не имела в виду делать свои губернские учреждения орудием русификации окраин. В черновом тексте находим прямую оговорку в этом смысле: "Все сие не касается до тех губерний, кои имеют особые конфирмованные привилегии, как-то Малороссия, Лифляндия и прочие; и не до Сибири". И далее: "Исключая из сего нового учреждения все те области, земли и княжения нашего государства, кои особыми привилегиями и жалованными грамотами от предков наших и нас самих снабжены или нашими конфирмациями подтверждены". Как известно, губернские учреждения были распространены на Малороссию в 1782 г. и на Лифляндию и Эстляндию в 1783 г.

Чем объясняется это различие? Мы пойдем это сразу, если скажем, что с самого начала действия новых учреждений и власть, и дворянство смотрело на них как на нового рода *службу*, повинность и что общественную деятельность очень скоро пришлось ввести в рамки такого единственного тогда и всемогущего социального мерила, каким был чин.

От службы — единственной, какую дворянство до тех пор знало, то есть военной, — дворянство было, правда, только что уволено. Но оно так сроднилось с мыслью, что только служба и дает ему его социальное положение в государстве, что никак не могло понять своего освобождения. В массе оно отнеслось к освобождению от службы недоверчиво и подозрительно. В самой Комиссии вопрос этот не раз становился предметом горячих споров. Самые ретроградные элементы дворянства оригинальным образом сходились с самыми передовыми во мнении, что освобождать дворянство от службы не следует. Иначе оно теряет основание права владеть крестьянами: такова была задняя мысль у всех, в том числе и у самих крестьян, как мы знаем. Эта задняя мысль явилась источником всех возражений: как крепостников, вроде Выродова, находивших, что дворянин должен служить "из благодарности" "за предпочтение перед прочими", так и радикалов, вроде Урсинуса или городского депутата Антонова, утверждавших, что каждый дворянин должен "собственными заслугами" возобновлять предпочтение, оказанное предкам. Общее мнение было, что, предоставленное самому себе, дворянство предастся праздности и безделью в своих имениях. Противовесом против всех этих опасений и явилось создание новых коронных и выборных должностей по местному управлению. Даже такие близкие к губернской реформе люди, как Сиверс, видели в ней главным образом поправку к указу о вольности от службы. Служба на месте являлась лучшим средством примирить интересы дворянства с нуждами правительства: сельскую жизнь с государственной службой. По остроумному выражению одного исследователя (Лохвицкого), дворянство переводилось только из министерства военного в министерство внутренних дел. И раньше, чем имп. Николай I рельефно выразил эту мысль, одевши всех дворян без различия в один мундир министерства внутренних дел, екатерининские цветные мундиры дворян по губерниям уже намечали такой исход, хотя ближайшей их целью и было символизировать корпоративность и привилегированность сословия, имевшего вход ко двору.

Наиболее интеллигентные из дворян так и поняли с самого начала новые права дворянства — как новый вид службы. "Учреждение собраний дворянских есть истинное право, — замечал, например, Щербатов, — если бы оно зависело от собственного согласия или от тех, кого они сами начальниками себе избирают; но как сего нет, то они собираются не для суждения о своих делах, не для рассмотрения общей и частной пользы, но

токмо как некоторые орудия, которые сносят для угнетения самих же их". Это доказывалось, по мнению Щербатова, самой постановкой дворянского представительства в законе, который "уподоблял чин губернского предводителя" и ставил его в полную зависимость от наместника и губернатора. Как известно, "хозяин губернии" по Учреждению был, действительно, единственным и бесконтрольным посредником между областью и верховной властью. Это положение одинаково вызывало оппозицию новому закону как среди придворных временщиков, так и среди влиятельных элементов провинции. По замечанию Щербатова, наместники и губернаторы, "быв деспоты в губерниях, всегда могут иметь некоторую партию для избрания кого пожелают... потому все судьи и будут по их воле выбираться"⁵.

Щербатов забывал только прибавить, что огромное большинство рядового дворянства не видело в такой постановке ничего обидного для своего корпоративного достоинства. Дворянство, как это мы знаем из сообщений Сиверса, бросилось наперебой занимать губернские должности, не различая выборных от невыборных и видя в тех и других лишь новый путь для службы и выслуги.

Необходимым последствием такого взгляда власти и самого дворянства на выборные должности как на новый тип государственной службы было включение их в рамки таблицы о рангах. "Учреждение о губерниях" сочло должность предводителя и дворянских заседателей совестного и верхнего земского суда в 7-м классе, капитана-исправника и уездных заседателей — в 9-м, заседателей при исправнике — в 10-м. Но дворянство этим не ограничилося. Тотчас же возник дальнейший вопрос о том, как устроить свободный переход с одной "службы" на другую, с коронной на земскую и наоборот. Решить вопрос полным приравнением "обеих государственных служб" Екатерина, однако, не решилась. Она ограничилась установлением правила, что губернскую должность известного ранга мог получить только тот, кто по своей предыдущей службе дослужился до ближайшего низшего ранга таблицы⁶.

⁵ Предсказания Щербатова подтверждаются наблюдениями над петербургскими выборами двух приезжих французов (1792), в отзыве которых, конечно, отражаются и тогдашние толки столичного дворянства: "Читая указ об этих собраниях, видишь, что не может быть лучших правил и большого простора для корпоративного обсуждения общественных и государственных дел. Но до сих пор власть ставила столько препятствий предположениям собраний, генерал-губернаторы так сильно влияли на решение их, что результаты этих собраний можно считать совершенно сведенными к нулю. Известно заранее, кого выберут, потому что кандидаты указаны свыше. Власть охотно жертвует формой (назначения), раз дворянство этим удовлетворяется, только бы остаться, по существу, полновластным господином".

⁶ Тот, кто вовсе не служил, не мог совсем участвовать в самоуправлении: дворяне, не имевшие обер-офицерского ранга, по жалованной грамоте 1785 г.

Для дворян, конечно, важнее было добиться обратного, то есть чтобы на государственную службу дворянин принимался в ранге, какой занимал по выборной (и вообще губернской) должности. Практика сената, который систематически игнорировал ранги низших должностей (заполняемых по назначению губернского правления), вызывала сильное недовольство дворян.

Дальнейшее развитие законодательства, хотя и не оправдало ожиданий дворян относительно губернской службы, тем не менее совершалось именно в направлении бюрократизации земской службы. Предводитель, так же как исправник превратились в конце концов в чиновников, отягощенных избытком правительственных поручений. Не давая желаемых прав по службе, правительство не стеснялось усложнять обязанности губернских учреждений. В результате после первого увлечения местной службой дворянство быстро отхлынуло от нее⁷.

Умственный и нравственный ценз избираемых сильно упал, как только обнаружилось, что местная служба не может служить предварительным стажем для государственной. И тут-то выяснился вполне обязательно-служебный характер выборной службы. "Уклонение" от выборов и от выборных должностей стало трактоваться властями как преступление. Уже в XVIII в. и в начале XIX закон определяет наказание за такое уклонение, потом пробует повысить ценз избирателей, ранги избираемых, сроки их службы (1831) — и все напрасно. Создав несколько несомненно полезных для государства и общества учреждений, закон Екатерины не создал еще самоуправления в России.

Это не значит, однако же, чтобы губерnsкие учреждения не имели значения для дворянского сословия. Совершенно напротив. Отдав полицию, суд и частью управление в губернии в руки дворянства, "Учреждение о губерниях" положило начало ог-

могли присутствовать в собрании, но без права голоса и тем более без права быть выбранными в какую-либо должность.

⁷ Об этом имеется любопытное свидетельство В.Н. Каразина (1801). Он жалуется на случайность и произвол коронных назначений в высшие губерnsкие должности, важные для службы, но отнятые у местного общества. Наоборот, низшие должности, не представлявшие служебного интереса, предоставлялись общественному выбору и скоро стали пренебрегаться дворянами. "От сего произошло, что со времени открытия наместничеств, мало-помалу важность дворянских выборов упала до того, что напоследок стали производить их с пренебрежением. Никто из людей достойных не хотел быть выбранным в уездные чины или в верхний земский суд, и сии места предоставляли, как милостыню, дворянам, не имеющим других способов к жизни..Вообще примечено, что первые выборы в губерниях были и самые лучшие: тогда не успели еще рассмотреть всех сих последствий, и намерения монархини произвели всеобщий энтузиазм к добру. простыл сей жар, когда увидели, что беспристрастие выбирающих и бескорыстие избранных были равно посмеяны..., что уездные присутственные места суть пустая инстанция", а дело вершится в губернии, в коронных палатах.

ромной перемене в жизни русской провинции. Служба по выборам все-таки закрепила дворянское общество на местах. Она установила связи между его членами, соединила их с городом, куда до сих пор дворяне ездили только в лавки к купцам и в канцелярии к приказным "крючкам", помогавшим им оттягать у соседа имение. "Дворянство входит мало-помалу во вкус — собираться в городе и строиться там", — пишет Сиверс о Твери и Новгороде. "Начало знатное дворянство не токмо в губернском городе часто съезжаться, но и строить порядочные дома для их всегдашнего житья", — повторяет почти теми же словами Державин о Тамбове. "Эпоха сия, — подтверждает Болотов, — была по всей справедливости самая достопамятная во всей новейшей истории нашего отечества и последствиями своими произвела во всем великие перемены..." "Такое хорошее и веселое житье было в особенности в первые 3 или 6 лет (то есть на первых двух выборах) по открытии наместничества (Тульского, 1777) и было нам столь приятно, что навек осталось для нас незабвенно". Последние слова, которые могли бы повторить тысячи тогдашних дворян, показывают нам, где мы должны искать сущности "великой перемены", совершившейся в жизни нашего провинциального дворянства с введением губернских учреждений. Это были не дворянские привилегии сами по себе. Закон не мог бы ничего или очень мало прибавить в этом отношении к тому, что уже существовало фактически. Не было тут и торжества порядка и законности, так как, надо признаться, губернские учреждения не составили и в этом отношении какой-либо особой эры. Для низших слоев населения большая близость власти отзывалась на первых порах лишь большим количеством приказных и чиновных насилий, а также большими расходами на новые земские власти. "Незабвенны" были для среднего дворянства годы устройства наместничеств, как годы окончательного насаждения в провинции той дворянской культуры, начало которой мы имели случай проследить в первой половине XVIII столетия. Под культурой мы разумеем тут отнюдь не какие-либо новые явления умственной и нравственной жизни: это просто приобщение провинции к тем новым формам общественности, которые вырабатывались с начала века вблизи двора и среди привилегированного населения столицы.

Екатерина и тут первая подает знак для общего подражания. В дни московских празднеств по поводу Кучук-Кайнарджийского мира (1775) она разворачивает в грандиозных размерах ту самую программу, которая в миниатюре будет выполняться, на личный или на казенный счет, ее наместниками при открытии учреждений в губернских городах. "Я здесь четыре недели, — пишет Екатерина мадам Бьельке из Москвы, в ожидании торжеств, — два раза в неделю у меня приемы, и ни разу не было меньше 400-500 дам; я дала три маскарада, куда допускалось только дворянство, и ни на один не было роздано

меньше 6-7 тыс. билетов". В дни торжеств, в июле 1775 г., Москва еще больше переполняется провинциальным дворянством. Даже такие простые души, как семья Болотова, удостаиваются взглянуть, в первый раз в жизни, на настоящий бал-маскарад, театр и в довершение всего — великолепный фейерверк. Через два года у себя в Туле они будут показывать все это, и бал, и маскарад, и театр, и фейерверк еще более простым душам, чем они сами. Еще через десяток лет, проезжая через Смоленск, Екатерина будет иметь удовольствие видеть себя окруженной целым цветником дам и девиц, в великолепных столичных костюмах и с самыми изысканными манерами, которые только в ее скептическом спутнике, Сегюре, вызывают подозрения, что истинная культура отсутствует под этой маской цивилизации. Но дело, конечно, не в том, не в этой "истинной культуре". Дело в том, что дворянство довольно, что "вражье" в провинции на время прекратилось и уступило место словословию.

Екатерина, декламировавшая против роскоши и расточительности и издавшая против этого строгие законы, — хотела ли одного только этого результата, сочиняя в то же время, между куртагами и маскарадами, свое "Учреждение о губерниях"? Разумеется, она метила дальше и думала захватить глубже. "Учреждение", по ее мысли, было только обломком, отдельным куском большого целого. Если она издавала его первым, то лишь для того — как она сама выразилась в предисловии, — чтоб "приготовить тем самым и облегчить лучшее и точнейшее исполнение полезнейших впрямь издаваемых узаконений". Последующие обстоятельства — и особенно увлечение внешней политикой — так и свели все задание законодательства Екатерины к обломкам. Но это не мешает нам попытаться восстановить из намеков и набросков по крайней мере его общие контуры.

Ближайший свидетель второго периода екатерининской "легисломании", Сиверс, несколько лет спустя (1779), уезжая из Петербурга, напоминает императрице обо всем, что так недавно еще она имела намерение создать тотчас же вслед за "Учреждением о губерниях". "Если, Ваше Величество, меня спросите, какой отдел я считаю важнее, мне будет трудно ответить. Все одинаково необходимо: судебные уставы, уголовное и гражданское уложения, вексельный устав, инструкция казначействам, директорам экономии (государственных имуществ), городское положение, глава о дворянстве, преобразование столичных учреждений, наконец, прибавлю со стесненным сердцем, сельский закон, закон человечности". К этому последнему, "закону человечности", Сиверс много раз возвращается в своей переписке с Екатериной, напоминая ей постоянно, что "в основе смут оренбургских, казанских и поволжских лежало невыносимое иго рабства"; что "приверженцы Пугачева состояли исключительно из крепостных, недовольных своими господами", что

"источник брожения всегда будет оставаться один и тот же, пока не будет издан закон о сельском хозяйстве". Но с другой стороны, тот же Сиверс оговаривался, что, "пока такого закона нет, необходимо поддерживать положение дворянства, как оно есть; если позволить крепостным хотя бы самонаименьший протест или рассуждение, то, зная человеческое сердце, нельзя ругаться за последствия". Исходя из такого же "знания человеческого сердца" и понимания пугачевщины, Екатерина, как мы знаем, уже сделала свой выбор. "Закон человечности" — к этому времени уже не представлялся ей — не только *легко* осуществимым, но даже и осуществимым вообще. Она молчаливо вычеркнула его из списка своих будущих преобразований. Хорошо еще, что "знание человеческого сердца" не позволило ей искать решения крестьянского вопроса в том, в чем искали его многие современники, и в том числе Сиверс: в систематической раздаче всех государственных крестьян во владение дворянству. Это не помешало, правда, усиленной раздаче этих же крестьян фаворитам и усиленной продаже дворянам государственных земель; не помешало и юридическому укреплению дворянской власти над крепостными на основах *частного* права. В итоге, по заключению современного специалиста, "в царствование Екатерины было сделано гораздо более для усиления и даже для распространения крепостного права, чем для его ограничения".

Итак, "закон человечности" надо исключить из перечня, сделанного Сиверсом. Остаются основные права сословий и кодификации материального и процессуального права. Последнее осталось не только не выполненным, но почти и не начатым — если не считать подготовительных выписок из старых законов, сделанных в Комиссии и, может быть, подобных же выписок, представленных Екатерине Соймоновым в восьмидесятых годах, с распределением их на этот раз "по блэкстоновым заглавиям". Главный интерес Екатерины сосредоточился на более легкой и благодарной задаче, на составлении жалованных грамот разным сословиям. Для этого материал в значительной степени был заготовлен частными комиссиями. Наибольшего внимания удостоились, конечно, материалы для жалованной грамоты дворянству. Здесь приняты были Екатериной во внимание не только проект и доклад частной комиссии, но и прения "о правах благородных" в Большой Комиссии, где эти прения заняли, как мы знаем, не мало заседаний. Однако текст грамоты, выработанный Екатериной, остается оригинальным. Главное его отличие от материалов состоит в том, что особенно разработанным оказывается у Екатерины отдел о *корпоративных* правах дворянских обществ (в материалах он едва намечен в главных чертах). Напротив, перечисление отдельных *личных* прав, требовавшихся депутатами, значительно сокращено или представлено в более обобщенной, юридически-систематизированной

форме. Эту разницу нельзя не поставить в связь с изучением заинтересовавших Екатерину образцов европейского государственного права. Та же разница между проектами и составленным Екатериной текстом в еще более резкой форме замечается в городском положении, черновик которого был составлен Екатериной уже в 1779 году. Материальные особенности и условия русской городской жизни отходят здесь еще более на второй план перед чисто формальными вопросами корпоративного городского устройства. Внимание императрицы как будто устремлено главным образом на то, чтобы выдержать, насколько возможно больше, симметрию между городским и дворянским корпоративным устройством. Идеология разошлась здесь еще дальше с практикой — уже в самой формулировке закона. Как мы говорили в другом месте, городская автономия явилась в гораздо большей степени, чем дворянская, мертворожденным плодом. Органы самоуправления здесь еще скорее и беспрепятственнее приняли характер правительственных административных органов, чем это было с дворянской службой по выборам. В третьей жалованной грамоте, "сельской" (предназначавшейся, конечно, только для свободных крестьян ведомства директора экономии), — формальные вопросы получили еще больше преобладания, и интерес к симметрии окончательно возобладал над интересом к материальному содержанию сельской жизни. Вся эта грамота есть не больше, как отдел городской грамоты о ремесленной управе, с заменой термина "городской" термином "сельский". Немудрено, что в результате получилось нечто совершенно неприемлемое к сельскому быту вообще и к русскому быту, с его своеобразностями, с его общинным землевладением в особенности. Крестьянин трактовался как цеховой, за его работой устанавливался самый мелочный надзор; для получения права на ведение самостоятельного хозяйства он подвергался экзамену и т.п. Естественно, что этот проект так и остался в бумагах Екатерины, не получив дальнейшего движения. Он не оказал даже никакого влияния на позднейшее киселевское устройство казенных селений, проникнутое отчасти сходным духом детальной правительственной опеки.

Необходимо остановиться еще на одной черте екатерининского плана реформы. Во главе реформированного государства она хотела поставить реформированные центральные учреждения. Рассказывая о своих намерениях московскому главнокомандующему кн. М.Н. Волконскому, она представляет свой план (1775) в следующих чертах: "Окроме трех государственных коллегий, прочие исчезнут. Сенат останется. При нем будет палата, дабы сенат имел, где отослать тех людей и дела, кои разбора требуют. *В палату обратить я намерена Комиссию уложения*".

Только сопоставляя эти торопливые слова с известным нам советом, поданным Екатерине Дидро, мы можем понять полное значение ее намерения. Что это намерение не было случайным, только мелькнувшим в ее голове и тотчас же оставленным, видно из дальнейшей судьбы его. К своей идее о переустройстве сената Екатерина вернулась в 1787 г., то есть накануне второй турецкой войны и французских замешательств. В это время был составлен ее проект указа о сенатской реформе. Текст указа пока неизвестен. Но о содержании его можно заключать с большой вероятностью, если сопоставить то, что говорит о нем секретарь Екатерины, Храповицкий, — с одной позднейшей запиской Безбородко (1799), очевидно, основанной на том же указе и частью передающей подлинные выражения его. Здесь, после, несомненно, екатерининских замечаний об устройстве высших судов, совестного и уголовного, находим фразу: "Все собрание депутатов, под председательством канцлера юстиции, составляет надзирание прав государственных... Когда издается новый закон, то проект оного посылается на рассмотрение в сие собрание, потом на ревизию в общее сената собрание и, наконец, утверждается самодержавной властью". По прямому смыслу этого места под "все собранием депутатов" приходится разуметь собрание одних только сословных депутатов двух упомянутых высших судов. Но, даже при таком понимании, остается несомненным, что в этой ограниченной форме собрания депутатов сохранился след той "палаты" при сенате, в которую Екатерина хотела еще в 1775 г. превратить свою Комиссию уложения⁸.

Когда совершилась эта замена более широкого плана более узким? Десять дней спустя после цитированной выше заметки Храповицкого, под 26 апреля 1787 г. встречаем в его дневнике сравнение, сделанное Екатериной между ее "собранием депутатов" и *Assemblée des Notables*, созванной Людовиком XVI, в виде неизбежной уступки общественному мнению Франции. Вынужденный характер такой уступки Екатерина очень хорошо понимала. В январе 1788 г. Храповицкий заносит в дневник: "Разговор об обстоятельствах Франции, что ей должно войти в войну, дабы избежать сделанного королем обещания о собрании чинов государственных". Екатерина, конечно, не нуждалась в таком героическом средстве, "дабы избежать" того, что Дидро считал ее "обещанием", торжественно данным перед всей страной. Тем не менее в положении была известная аналогия. Тонкая проницательность Екатерины относительно положения Людовика XVI, несомненно, имела источником ее личный тяжелый опыт. В своем предисловии к "Учреждению о губерни-

⁸ Еще ближе был бы смысл этой фразы к первоначальному намерению императрицы, если бы оказалось, что она целиком переписана Безбородко из первоначального проекта, без соображения с другими частями его черновика.

ях" она недаром нашла нужным оправдываться войной в приостановке своей законодательной деятельности. "Свету известно, что в 1766 г. уже приступили мы к созыву депутатов со всей империи, и уже оставалось нам ожидать от трудов Комиссии уложения плодов, соответствующих нашему попечению о благе общем и частном, как объявление с турецкой стороны в 1768 г. войны России и шестилетнее продолжение оной, отвлекая людей и возможности от продолжительного сочинения целого узаконения, и умножая собой бремя, заняло время и мысли упражнением не менее важным" и т.д. Теперь, после десяти лет мира, Екатерина опять поднимала нить своей завоевательной политики. Подобно первой турецкой войне, и вторая должна была отнять у нее "время упражняться приятнейшим сердцу трудом — снабдить империю нужными и полезными учреждениями". Прошло еще два с половиной месяца после последней заметки Храповицкого, и секретарь Екатерины вносит в журнал, между известиями о заграничной почте, о спешном письме к Потемкину и о сочинении новой комедии Екатериной, ее заметку по поводу нового разговора о реформе сената: "Не время теперь делать реформы". И вопрос опять откладывается, пока уже в последний год царствования мы не встречаем Екатерину вновь за сочинением "Устава о сенате". На этот раз, вероятно, и явилось ограничение первоначального плана, о котором свидетельствует записка Безбородко.

"Не время для реформ" — это не значит, конечно, чтобы не было времени сочинять реформы, когда есть время для писания комедий. Это симптом нового направления внутренней политики, признак наступления третьего и последнего периода царствования Екатерины. К настроянию императрицы за этот период мы еще вернемся. Теперь нам нужно ознакомиться предварительно с развитием русского общественного мнения за время, соответствующее главным екатерининским реформам.

БИБЛИОГРАФИЯ

Донесения Гуннинга см. в "Сбор. Ист. Общ.", т. XIX. Полнейшая архивная работа о пугачевщине принадлежит Н.Ф. Дубровину: *Пугачев и его сообщники*, три тома (СПб., 1884). Об обращении Екатерины к казанскому дворянству см. *Записки о жизни и службе А.И. Бибикова* (М., 1865). Сочинением Блэкстона Екатерина пользовалась во французском переводе: *Commentaires sur lesloix anglaises* de M. Blackston (Bruxelles, 1774-1776) шесть томов. Об острейших местных учреждениях XVIII века см. Julius Ehardt, *Lirland im achtzehnen Jahrhundert*, I (Lpz., 1876). Черновики Екатерины, относящиеся к выработке текста Учреждения о губерниях и Городового положения, хранятся в Государственном архиве мин. иностр. дел, в X отделе; там же материалы для жалованной грамоты дворянству и перебеленные рукописи сельских положений с заметками Екатерины. Последние изданы В.И. Вешняковым в Сб. Ист. Об., т. XX. Сношения Екатерины с Сиверсом см. в соч. K.Blum, *Ein russischer Staatsmann*, т. II, (Lpz. и Heidelberg, 1857). Общие сведения о губернских реформах Екатерины см. в соч. Лохвицкого, *Губерния* (СПб., 1865); в *Курсах го-*

сударственного права Градовского и Коркунова. О роли дворянства см. Романовича-Славятинского, *Дворянство в России* (СПб., 1870), мемуары Державина, Болотова, сочинения Щербатова и др. *Оценка деятельности губернских учреждений* см. в докладе Балугьянского для комиссии 1826 г. в Сб. И. Об. т. ХС. Проекты прав сословий, выработанные частными комиссиями, напечатаны в Сб. И. О. т. XXXII и XXXVI. Переписка Екатерины с Волконским издана в *Осьмнадцатом веке*, II. Бартенева, т. I *Записка Волконского о преобразовании учреждений* в Сб. И. О. т. V. *Наказ сената* см. в Сб. И. О. т. LXIII. *О реформе сената* см. богатую библиографическими указаниями статью В.С. Иконникова, *Сенат в царствование Екатерины II*, Русский архив, № 11 (1888). *Записка Безбородко О потребностях империи Российской* напечатана в Сб. Ист. Общ. т. XXIX. *Записка Карамзина* см. в "Чтениях О.И. и Др", кн. III (1863).

VII

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ

Статистика книгоиздательства XVIII в. как симптом роста читающей публики. — Характер популярного чтения: роман как средство культурной пропаганды среди провинции и мещанства. — Главные течения в высшем культурном слое. — Вольтеррианство; понимание его Екатериной; ее отношение к религии. — Вольтеррианство в высшем общественном слое. Критическое отношение к этому вольтеррианству передовой интеллигенции. — Отношение ее к подлинному вольтеррианству: увлечение и раскаяние. — Значение масонства, идейное и общественное. — Тайные учения масонства. — Безыдейный и клубный характер первоначального масонства. — Подъем масонства со вступлением в него воспитанников высших учебных заведений (конец 50-х и начало 60-х гг.). — Новое охлаждение. — Отношение Новикова к масонству. — Его идея о книгоиздательстве и книжной торговле как важнейшей просветительной миссии интеллигенции. — Отношение Екатерины к инициативе Новикова. — Переезд его в Москву; настроение Москвы и направление "Московского издания". — Роль Шварца в масонстве. — Его просветительный план, профессорская и кружковая деятельность. — Постепенное усвоение нового мировоззрения в журналах Новикова. — Источник этого мировоззрения — в популярной немецкой философии. — Высшая точка в трактате Шварца. — Новый фазис деятельности кружка по смерти Шварца. — Книгопродавецские и издательские предприятия Новикова. — Помощь голодающим. — Отношения Екатерины к масонству в трех фазах его. — Литературная полемика ее против масонства. — Административные меры.

Семидесятые и восьмидесятые годы XVIII столетия были тем моментом, с которого начинается непрерывная история интеллигентного общественного мнения в России. Этот момент, как мы видели, был подготовлен двумя предыдущими десятилетиями — пятидесятыми и шестидесятыми годами. Но тогдашнее поколение — первое поколение русской интеллигенции — мы можем пересчитать по пальцам. Это была, как мы знаем, учащаяся молодежь высших учебных заведений обеих столиц. Она писала и печатала для самой себя. Авторы хвалили и критиковали друг друга, сами себя утешали своими возвышенными чувствами и тонкими ощущениями. Теперь наступает перемена. Впервые появляется среда, на которую возможно оказывать культурное воздействие: читающая, более или менее интеллигентная публика в сколько-нибудь значительном количестве.

Чрезвычайно наглядно выяснить нам это новое обстоятельство, появившееся в семидесятых и восьмидесятых годах, про-

стая справка с цифрами, с ростом количества печатавшихся в это время книг. Всего за XVIII столетие библиографам известно около девяти с половиной тысяч печатных изданий (не считая церковно-служебных книг, газет и журналов). По четвертям века эта цифра распределяется следующим образом:

1698	1724:	561 (6%)
1725	1750:	357 (4%)
1751	1775:	2010 (21%)
1776	1800:	6585 (69%)
Всего:		9513 ¹

Как видим, после некоторой задержки во второй четверти века, при ближайших преемниках Петра, число изданных книг быстро растет, составляя за вторую половину века 90% всей суммы. Еще ярче выступит перемена, совпавшая с интересующим нас теперь моментом, если мы распределим издания по десятилетиям (и, где нужно, по пятилетиям):

1698 -- 1710	149	в год по 12 книг.
1711 -- 1720	248	25
1721 -- 1725	182	36
	215	
1726 -- 1730	33	7
1731 -- 1740	140	14
1741 -- 1750	149	15
1751 -- 1760	233	в год по 23 книги.
1761 -- 1770	1050	105
1771 -- 1775	633	126
	1466	
1776 -- 1780	833	166
1781 -- 1785	986	197
	2685	
1786 -- 1790	1699	366
1791 -- 1795	1494	299
	2660	
1796 -- 1800	1166	233

Книгоиздательство оказывается очень чувствительным барометром общественных настроений и культурных веяний... Таблица начинается энергично прогрессирующими цифрами петровского книгоиздательства. Но мы уже знаем, что это были за книги и как мало они повлияли на создание читающей публики. Затем издательство сразу падает во время борьбы временщиков до ничтожной цифры (7). Следует медленный, очевид-

¹ В эту цифру я включил 533 книги, точная дата которых неизвестна, распределив их, пропорционально количеству датированных книг, между последними четвертями века.

но, чисто автоматический рост издательства до воцарения Екатерины II².

Тотчас после вступления Екатерины на престол цифра делает резкий скачок вверх (почти в пять раз). С этих пор издательство быстро и непрерывно растет. Оно достигает кульминационного пункта в пятилетие 1786 — 1790 (в 3,5 раза больше сравнительно с началом царствования и почти вдвое сравнительно с предыдущим пятилетием). Скоро увидим, что эта высшая точка достигнута исключительно деятельностью *частных* типографий, точнее энергическим вмешательством общественной инициативы (предприятия новиковского кружка). Устранена правительством эта инициатива — и издательская деятельность круто падает. Падение продолжается и после воцарения имп. Павла. Но главное дело уже сделано. Читаящая публика создана, и в самые мрачные годы цифры все же не падают до старого уровня.

На какую публику рассчитывал весь этот печатный материал и какого рода почву он мог создать для деятельности интеллигентных кружков? Большая часть печатавшихся книг удовлетворяла, конечно, исключительно деловым потребностям (правительственные распоряжения), нуждам школы (учебники) или старинным вкусам к духовно-нравственному чтению (поучения, жития и т.п.). Но целые 40% книг обращались прямо к новому, быстро возраставшему в числе классу любителей светского занимательного чтения. Это были романы, повести, стихотворения, драматические пьесы и т.п. В продаже этот беллетристический материал преобладал: на него был большой спрос. Это видно уже из того, что именно беллетристические произведения чаще всего доживали до новых изданий. Из 839 переводных романов XVIII в. 336 были переизданы. Из 104 оригинальных русских романов переиздан еще больший процент: целых 55. Против увлечения романами уже и в то время горячо протестовали представители верхнего слоя интеллигенции. Они утверждали, что романы развивают чувственность и создают мир воображаемых чувств, заслоняющих действительную жизнь. Эти упреки не были лишены основания. Но они нисколько не мешали многочисленным читателям и читательницам беллетристики приносить "жертвы благодарности и любви" на алтарь романистов, открывавших для них неотразимо-обаятельный мир "нежных" и "сладостных" ощущений, — мир "тайностей человеческого сердца". О культурном значении этого открытия мы уже говорили. Прибавим теперь, что культурная роль романа не кончилась завоеванием столичного дворянина-интели-

² Надо, однако, заметить, что тут мы не имеем такого тщательного библиографического исследования, какое сделано Пекарским относительно книг петровского времени. Следовательно, в действительности надо предположить цифры изданий после Петра несколько выше.

гента. Сделав в середине века свое дело в столице, роман продолжал создавать нового читателя в провинции. Приучив благородное шляхетство "к некоторой изящности нравов, к некоторой нежности чувствований", роман и для "подлого" мещанства должен был сделаться источником "изрядных и благородных" чувств. Вот почему гораздо правее интеллигентных противников беллетристики был Карамзин, когда принял на себя защиту романа. По его справедливому замечанию, тот, "кто пленяется "Никанором злосчастливым дворянином", тот на лестнице умственного образования стоит еще ниже его автора, — и хорошо делает, что читает сей роман: ибо, без всякого сомнения, чему-нибудь научается".

Разумеется, для высшего слоя русской интеллигенции в семидесятых или восьмидесятых годах уже прошло время, когда можно было характеризовать его уровень "на лестнице умственного образования" одним только чтением романов. Для *этого* узкого слоя — более обширный круг читателей романов представлял уже ту почву, на которую должны были падать семена его деятельности. Наоборот, обширному кругу обыкновенных читателей люди передовой интеллигенции представлялись какими-то таинственным "вольтерьянцами" и "фармазонами". В этих двух терминах обыватели характерным образом закрепили воспоминание о двух важнейших умственных течениях среди тогдашней высшей интеллигенции. Оба течения были диаметрально противоположны и враждебны друг другу. Тем характернее, что в представлении широких кругов оба термина сливались, как что-то родственное, что-то одинаково крайнее и, стало быть, одинаково опасное для непосвященных, еретическое перед судом обывательской рутины. Одной этой популярной терминологии достаточно, чтобы показать нам, что передовая русская мысль текла еще очень тонкой струей, углубляя свое русло среди едва разрыхленной поверхности культурной пустыни. Даже сама Екатерина, помогавшая пролагать это русло, настолько мало различала оттенки среди передовых течений, одинаково ей неприятных, что она смешала впоследствии "матринизм" с направлением Радищева.

Объясняется это тем, что время слишком уже шибко шло вперед, обостряя вопросы, радикализируя настроение и быстро отодвигая на задний план воззрения, только что казавшиеся передовыми. Екатерина называла себя "вольтерианкой"; но ее вольтерианство скорее отзывало фривольной эпохой регентства, чем эпохой Людовика XVI. Сам Вольтер должен был к концу жизни сделать над собой усилие, чтоб остаться "вольтерианцем". Вольтерианство — это был теперь боевой клич, означавший борьбу и торжество свободной мысли против государственной церкви, против догмы, защищаемой силами инквизиции и иезуитизма. Рядом с вольтерианством стояли и опережали его радикальные, философские и политические учения. Не только

эти учения остались вне кругозора Екатерины, но и "вольтеррианство" она продолжала понимать в более узком и низменном смысле эпохи своего детства: в смысле победы "здорового смысла" над "суеверием" — в смысле легкой чистки человеческих мозгов, а не упорной борьбы за реформу человеческих учреждений и верований. Это была, как мы говорили раньше, полная свобода от какой бы то ни было доктрины, вообще отождествлявшейся с "педаганством" — а вовсе не подчинение какой-нибудь передовой доктрине. Такое понимание ни к чему не обязывало и даже могло повести к довольно неожиданным последствиям. В самом деле, кто был свободен от "суеверий" более иезуитов? И разве не торжествовали они победу "здорового смысла" над богословской метафизикой янсенистов? Сознание умственной близости с этими неожиданными сторонниками "здорового смысла" слишком чувствуется в добродушных насмешках Екатерины над *mes chers coquins de Jésuites*.

Вот почему, когда Европа XVIII века изгнала иезуитов, — Екатерина их приютила. И вот почему впоследствии, когда французское дворянство отказалось в ночь на 4 августа 1789 г. от своих привилегий, Екатерина увидала в этом только последствия "дурного воспитания", какое стали получать дворяне после закрытия иезуитских школ.

В начале царствования Екатерина, впрочем, поняла было серьезно свою роль вольтеррианки по отношению к русскому духовенству. В 1767 г. Мелиссино представил Синоду, в качестве обер-прокурора, "пункты", долженствовавшие служить руководством при составлении депутатского наказа от Синода. В пунктах указывалось, что синодальные члены могли бы предложить в Наказе: разрешить раскольникам публично совершать богослужение, ослабить и сократить православные посты, очистить церковь от "суеверия" и всех "притворных чудес", не носить по домам иконы, отменить лишние праздники и убавить что-нибудь из "продолжительных церковных обрядов"; установить чтение кратких молитв с поучением вместо всеобщих и вечерен, дозволить епископам жениться, а всем вообще духовным носить более приличное платье; смягчить правила о разводе, о запрещении браков между родственниками и о браках с иноверцами; отменить обычай поминования усопших. Синод предпочел отмолчаться от этих радикальных предложений, и Екатерина не настаивала. Ее *modus vivendi* с русским духовенством скоро выработался. В переписке с официальными вольнодумцами, вроде Гримма, она позволяла себе шутить над *saintes huiles fricassés en ma présence, qui sont devenues puantes et que... Potemkine a fait Jeter dans la rivière*. Но когда Вольтер намекал ей, что недурно бы было вывести из употребления целование руки духовным лицам, она с насмешливой иронией предлагала ему предоставить это дело времени. Таинство можно было сделать предметом интимной шутки, но никак нельзя было касать-

ся церковного обычая, ставшего национальной привычкой. "Il faut profiter des opinions populaires" — таково было политическое правило, перед которым умолкало "вольтеррианство" Екатерины.

Двор и высшее общество пошли по тому же пути — и так же недалеко ушли по нему. Мы знаем, до какой степени условия дворянского воспитания и "светского жития" не благоприятствовали выработке каких бы то ни было, в том числе и религиозных, убеждений. Новые идеи, при этих условиях, не встретили в высшей дворянской среде никакого противодействия, но и никакой серьезной подготовки к их действительному усвоению. Это была просто новая мода, новый дополнительный элемент для отличия благородного состояния от "подлого", наравне с покроем платья и французской речью. Новые идеи служили доказательством утонченного образования в высших кругах светского общества. Какой-нибудь князь X или граф Y сообщал в кружке гостей самую последнюю парижскую новость, привезенную с только что полученной почтой или лично услышанную за границей. Бога, оказалось, вовсе нет, а попы и монахи — простые шарлатаны. Эти самоновейшие открытия "философов" разносились сливками петербургского общества с таким же усердием, с каким они привыкли разносить городские сплетни и слухи. Князь X, залучив в свою "вольтеррианскую" компанию новичка из Москвы (в данном случае Фонвизина), спешит свозить его к графу Y, единомышленнику или, может быть, первоисточнику моды. И граф Y тотчас же, при первом визите, принимается обращать новичка в свою веру. Сам обер-прокурор Синода, встретившись в гостинном дворе с мало знакомым ему молодым дворянином, в чине простого унтер-офицера гвардии, забывает свое звание и ранг своего собеседника и никак не может удержаться, чтобы не внушить ему тут же, на улице, здравые понятия о бытии Божиим.

Немудрено, что *такого рода* "вольтеррианство", вместе с другими признаками дворянской моды, скоро сделалось мишенью сатирических нападок со стороны настоящей интеллигенции. Для этого даже не понадобилось особенно много прибавлять к тому старому клише, которое уже с полвека служило русской сатире для изображения светского модника. Несколько штрихов, взятых из области ходячей теории; несколько жизненных черт для более реальной, сознательной характеристики социального положения модника, — и "петиметр" елизаветинской сатиры легко превратился под пером сатириков в екатерининского "вольтеррианца".

Не бывши просвещен нравоучением модным,
Не можешь в публике казаться благородным...
По моде ты чешишь, по моде одевайся...
Приборной, щегольской имей ты экипаж...

Гони, дави людей и тем превозносися;
Французским языком и в русском щеголяй...
Все знания и все науки отметай...
Люби лишь оперы, комедии, романы...
Из философских книг ты разве те имей,
Что душу с вечностью глотают у людей...
В военную одну ты службу лишь вступай...
Будь вечно холостым, женись лишь на богатстве...
С женою разведись, как водится в дворянстве...
Крестьян ты, разорив, продай иль заложу
И, деньги взяв за них, на карту положи...
И, словом, ты во всем по-модному живи.
Еще ж знать всякому потребно офицеру
Оспорить в полчаса и опорочить веру...
Все делай гленимым, все ты делай бесконечным,
Сей мир ты признавай то временным, то вечным;
То телом иногда ты душу называй,
То духа имя ей из милости давай...
Впоследствии истреби совсем ты свой рассудок,
Скажи: произвела натура весь сей свет;
Превыше умудрись — скажи, что Бога нет,
Что вера есть обман, лукавое притворство...
Вот в сем-то состоит прямое благородство...
Похвально, если ты обиды не прощаешь,
Бесчестен будучи, честь шпагой защищаешь.
Ты смело без вины соперника рази,
За грубые слова и друга жизнь пронзи...

Вот в какой обстановке, вот с какими ассоциациями — бреттера, кутилы и юнкера — представляет себе русский сатирик ("Вечерняя заря", 1782) современное ему *русское* вольтерянство. Разумеется, не следует думать, что эта критика распространяется и на оригинал русской карикатуры. Когда из другого реакционного лагеря слышится проклятие против Вольтера, тот же интеллигентный журналист спешит взять Вольтера под свою защиту и произносит дифирамб XVIII веку. "О век просвещеннейший, в котором удалена вся сила *мнимой* набожности! Все страны света, все народы одолжены тебе всем, что ни имеют они священнейшего. Твоим неусыпным бдением всем возвращена свобода, похищенная пустой набожностью человеческого рода"; благодаря тебе "явилось человеколюбие ко всем"; "твой плод есть нынешнее распространение наук, которому величайшей препоной было *пустосвятство*". И, "кто бы ни был Вольтер — хотя, впрочем, и он в некоторых случаях неизвинителен, — при всем том он один гораздо был полезнее для общества, нежели все полчище пустосвятых".

Однако и по отношению к подлинному вольтерянству³ передовая русская интеллигенция заняла совершенно иную пози-

³ К направлениям более левым, чем собственно "вольтерянство", мы еще вернемся впоследствии. Здесь мы пока не различаем резко этих течений, как не различались они в тот момент и в русском обществе.

цию, чем высшее дворянское общество. На людей, менее затронутых придворной культурой, проповедь новых идей производила совсем другое впечатление. Конечно, и в этом общественном слое многие из юных адептов новой философии принимали ее на веру и спешили даже превзойти учителей смелостью суждений. Молодым дворянам из провинции, приехавшим в Петербург на службу, не могла не imponировать пропаганда великосветских атеистов. Но зато большинство из них в один прекрасный день без церемонии и без компромиссов возвращались к вере или к идейному индифферентизму отцов. Они полагали, очевидно, как московский главнокомандующий Брюс, что "в некоторых чинах и летах уже непристойно сим заниматься", и смеялись над своими безбожническими суждениями как над проказами молодости. Совершенно иное значение получали новые идеи для более глубоких и более подготовленных натур из той же дворянской молодежи. Первое впечатление было обыкновенно и тут ошеломляющее. Под этим впечатлением и наиболее вдумчивые принимали часто целиком новую веру... Но переход от старой веры совершался слишком быстро, чтобы быть прочным и окончательным. Скоро заговаривала совесть, и при добросовестном анализе своих мыслей и чувств молодое поколение приходило к тяжелому сознанию полного внутреннего разлада. После более или менее усердного изучения самих сочинений новых философов оно оказывалось не в состоянии ни принять их мировоззрения, ни вернуться всецело к простодушному мировоззрению дней своей юности.

Для петровского поколения этого внутреннего противоречия не существовало. Те люди (их образчик мы видели в Татищеве) еще твердо верили в возможность согласить дедовские взгляды с духом просвещения и с "естественным правом". Отсюда происходит та своеобразная цельность, эпическое спокойствие и ясность души, которые отличают выдающихся русских людей первой половины XVIII в. Поколение 50-60-х годов, как мы видели, уже должно было вступать в более или менее сознательные компромиссы между теорией и жизнью. Но теория в то время еще не приняла такого острого, вызывающего оттенка по отношению к жизни, который мог бы затруднить компромисс и отравить душу сознанием его внутренней несостоятельности. Совсем другое положение занимало поколение 70-80-х годов. Вопросы здесь стояли ребром, обостренные французским умственным движением второй половины XVIII столетия. Дремлющие русские души были окончательно разбуджены этим толчком, резко поставившим друг против друга два противоположных мировоззрения. Таким образом, молодежь интересующего нас поколения впервые очутилась на распутье между старой и новой верой, принужденная выбирать между той и другой. Она впервые почувствовала, что критическая мысль может поколебать самые коренные основы старой веры. Можно себе предста-

вить то душевное смятение, ту панику, которая овладевала серьезным и добросовестным юношей, когда ему приходилось делать решительный выбор и когда при этом выборе он чувствовал себя предоставленным исключительно своим собственным силам. Что-нибудь подобное должны были чувствовать те средневековые студенты медицины, которые в полночный час отправлялись на кладбище отрывать мертвцов, чтобы изучить на трупах человека тайны жизни. Немногие могли преодолеть в себе священный ужас и решались переступить через порог святилища, в школу последовательного философского мышления. Менее решительные спешили уцепиться за обломки, уцелевшие от старого багажа, и принимались усердно идеализировать старину, только бы можно было вернуться под ее защиту. Даже и наиболее смелые все-таки кончали компромиссом, стараясь скрыть от самих себя, как велики уступки, уже сделанные ими новому мировоззрению. Фонвизин, один из таких юношей, затронутых новой модой, подался было в Петербурге общему настроению и принял, в тон веселой компании, вышучивать старую веру. Но достаточно было ему побывать в патриархальной Москве, чтобы с него вольтеррианское настроение как рукой сняло. Встревоженная совесть требовала публичного покаяния, и Фонвизин выбрал в духовники одного из людей старого поколения. Г.Н. Теплов укрепил его в истинах веры и посоветовал перевести из книги Кларка отрывки о "доказательствах бытия Божия и истине христианской веры". Покаяние перед светским духовником, литературная эпитимия и отпущение грехов потомством — это, как видим, совсем уже не те средства, к которым прибегли бы люди предыдущих поколений, если бы они могли очутиться в подобном положении. Разница не менее велика, чем тот контраст, который существовал между неприкрашенной московской стариной и той идеализацией ее, в какую ударился Фонвизин после своего душевного кризиса.

Совершенно тот же внутренний процесс, но с иным, более положительным результатом мы можем наблюдать у другого представителя тогдашней интеллигентной молодежи, Лопухина. Лопухин пошел дальше, чем Фонвизин, и в отрицательном, и в положительном фазисе своих убеждений. Он не удовлетворился "Вольтеровыми насмешками над религией" в благородной компании. Он засел за самое евангелие французского материализма, "Système de la Nature" барона Гольбаха, перевел его заключительное резюме ("Côte de la Nature"), "любовался своим переводом" и даже "расположился рассеивать его в рукописях". «Но только что дописали первую (копию) красивым письмом, — рассказывает нам сам он, — как вдруг почувствовал я неописанное раскаяние. Не мог заснуть ночью прежде, нежели сжег я и красивую мою тетрадку, и черную. Но все я не был спокоен, пока не написал, как бы в очищение себя, рассуждения "О злоупотреблении разума некоторыми новыми писателя-

ми»». На этот раз и литературной эпидемией дело не ограничилось. Против "злоупотребления разумом" Лопухин искал спасения в вере. Но это не была уже патриархальная вера отцов. Идейная молодежь стремилась к очищенному, одухотворенному пониманию веры. Отвергнув знамя "вольтерианства", она не переходила, как Фонвизин, в ряды "стародумов". Она становилась под знамя *франкмасонства*.

Нам трудно представить себе теперь, какую огромную роль сыграло масонство в истории нашего общественного развития. Даже в тех случаях, когда масонство уже слишком очевидно является в связи с общественным движением, как, например, у Новикова, исследователи часто старались умалить значение масонского элемента в развитии деятельного идеализма передовой интеллигенции. Это совершенно неправильно. Влияние масонства следовало бы признать весьма значительным, даже если бы оно ограничивалось чисто теоретическим учением масонов. В смысле теории или, лучше сказать, в смысле цельного мировоззрения масонство было как раз самым подходящим выходом для всего того молодого поколения, которое остановилось в колебании между старой и новой верой. Когда молодой писатель того времени рисует себе полный контраст с выше изображенной сатирой на "вольтерианца", когда он стремится наделить свой идеал всеми возможными "достоинствами", у него сам собой выходит из-под пера житейский кодекс масона (см. ту же "Вечернюю Зарю"). Далек не один Новиков "попал в общество (масонов) потому, что находился на распутье между вольтерианством и религией и не имел точки опоры или краеугольного камня, на котором мог бы основать душевное спокойствие". Это был общий и типический случай для более глубоких и отзывчивых натур его поколения. Масонство являлось для них желанным исходом прежде всего потому, что оно представлялось им вполне совместимым с самыми строгими требованиями православия. На запрос немецких масонов московские братья один раз заявили формально, что "обряды греко-российской церкви так сходны с масонскими, что нельзя сомневаться в том, что они имеют один источник". И митрополит Платон нисколько не кривил душой, когда дал свой известный отзыв о православии Новикова, действительно искренно веровавшего и не менее искреннего масона. Католическое понимание масонства как церкви антихриста (разделявшееся еще покойным Влад. Соловьевым) было нашей интеллигенции XVIII в. совершенно чуждо. Оно приходило на ум разве только таким богобоязненным старушкам, как тетка Державина, да авторам лубочного пасквиля на масонство 1765 г. Интеллигенция же видела в масонстве *веру*, но только веру, просветленную разумом. Масонство было для нее своего рода *духовным* христианством, и это было другой причиной, почему переход в масонство являлся таким желанным исходом из тяжелой борьбы двух крайних мировоззре-

ний. Центральная идея масонов, как и духовного христианства, есть "моральное перерождение". Это давало опору против идей французских философов о перерождении людей путем рационального законодательства. Вместо борьбы за реформу масонство ставило человеку задачу внутреннего самопознания и работы над самим собой. Из этой основной идеи выводилось все социальное учение масонства. Нельзя сказать, чтобы оно было, однако, слишком узко или индивидуалистично, чтобы оно ставило человеку одни только личные цели. По несколько более позднему определению одного опытного масона, "масонство видит во всех людях братьев, которым оно открывает свой храм, чтобы освободить их от предрассудков их родины и религиозных заблуждений их предков, побуждая людей к взаимной любви и помощи. Оно никогда не ненавидит и не преследует, и цель его может определиться так: изгонять между людьми предрассудки каст, условных различий происхождения, мнений и национальностей, уничтожить фанатизм и суеверие, искоренить международные вражды и бедствия войны, посредством свободного и мирного прогресса достигнуть закрепления вечного и всеобщего права, на основании которого человек призван к свободному и полному развитию всех своих способностей; спешествовать всеми силами общему благу и сделать таким образом из всего человеческого рода одно семейство братьев, связанных узами любви, познаний и труда"⁴.

Словом, масонство — это своего рода моральный интернационал или, если угодно, толстовство своего времени. Недаром Толстой сделал масоном (в "Войне и мире") родоначальника любимого типа своих романов. Он зараз был верен и истории, и собственному настроению. Отметим особенно демократическую тенденцию масонской идеи. В самый разгар увлечения русских аристократов вольтерянством масонство провозглашает уничтожение "предрассудков каст и условных различий происхождения". Конечно, этот принцип не проводится на практике. Елагину, например, очень не нравится, когда его братьями по ложе оказываются два повара-француза. Но не надо забывать, что духовными вождями русского масонства сделались скоро, вместо этого вельможи, такой защитник "подлости" и мещанства, как Новиков, и такой выходец без социального положения, годившийся по обычному представлению разве в "гофмейстеры", как Шварц.

Одним теоретическим влиянием, во всяком случае, далеко еще не исчерпывается значение масонства для русской общест-

⁴ Конечно, не все масоны вполне усвоили такое возвышенное понимание масонства, но по частям эта характеристика повторяется во множестве масонских произведений. Мало того, среди этих произведений мы укажем ниже одно, которое представляет еще более глубокое понимание, потому что обосновывает приведенную в тексте формулировку философской аргументации.

венной истории XVIII в. В момент, когда русская интеллигенция выростала из рамок частных дружеских кружков, масонство дало ей готовую форму для более широкой группировки — на основании общей идейной связи. В масонстве, как *средстве организации*, всегда заключалась огромная социальная сила. Чтобы понять это, стоит познакомиться с прошлым и настоящим масонства на Западе, особенно во Франции. Как использована была эта черта масонства интеллигенцией екатерининского времени, мы скоро увидим.

Итак, как религиозно-морализирующее мировоззрение и как средство объединения интеллигентных сил, масонство имело очень важное значение в истории общественного развития России. Исследователи, отрицающие это значение, представляют иногда себе масонство с третьей стороны, которая в действительности не играла почти никакой роли в русском интеллигентном масонстве. Речь идет о тайных учениях масонства, открывавшихся только тем, кто доходил до высших степеней масонской иерархии. На этих высших степенях масонство расходится в своих учениях и делится на несколько систем. Французское масонство чрезвычайно увеличило количество ступеней сравнительно с начальным английским и ввело множество обрядов и церемоний. Немецкое масонство увлеклось натурфилософией и погрузилось в изучение секретов природы, надеясь этим путем дойти до познания Божества в природе. Наконец, одна отрасль масонства задумала воспользоваться масонской организацией как средством для политических целей. Первой из названных трех систем с ее разветвлениями лучшие из русских масонов не сочувствовали. Она имела сторонников главным образом среди "знатных господ", привыкших к иерархии, чинам и знакам отличия⁵.

Последней системы, то есть политической, так называемых "иллюминатов", в России вовсе не существовало. Подозрения Екатерины в этом отношении были совершенно неосновательны. Только вторая, мистическая система ("розенкрейцеры и мартинисты") получила одно время значение в русском идейном масонстве. Но мы сейчас увидим, что это значение свелось на практике к усилению тех же двух элементов, важность которых мы только что подчеркнули: морального одушевления и идейных связей.

Масонство занесено было в Россию иностранцами еще при Анне, одновременно с распространением его в Германии, где оно приняло тогда форму французских обрядов уклонений от первоначального учения о терпимости и благотворительности. Первые известия о *русских* адептах масонства мы имеем, одна-

⁵ Наблюдение это приведено самими русскими масонами в их донесении заграничному съезду, как доказательство пользы высших знаков и церемоний для успеха масонской пропаганды.

ко, лишь от пятидесятых, самое большое — от конца сороковых годов. Эти известия рисуют нам масонов елизаветинского времени в таких чертах, которые соответствуют германскому типу первой половины XVIII в. Этому соответствовало то, что при Елизавете масонство распространялось в том же самом знатном кругу, который потом, при Екатерине, сменил его на новую моду, вольтеррианство. Для этого аристократического круга масонство, пришедшее "через влиятельных людей, которые умели окружить себя нимбом", стало простой забавой, делом моды, суетности и тщеславия. По донесению М. Олсуфьева Елизавете в 1756 г., в список членов входили князя Голицыны, Трубецкие, Роман Илларионович Воронцов (брат фаворитки Петра III), а рядом — офицеры и преподаватели кадетского корпуса с Сумароковым во главе и будущие историки князь Щербатов и Болтин. В это именно время, в 50-х годах, вступил в орден И.П. Елагин, первый "восстановитель на твердую степень" масонства в России. По его собственному признанию, этот официальный глава позднейшего масонства руководился тогда главным образом побуждениями "любопытства и тщеславия": любопытства — узнать сокровенные тайны масонства и тщеславия — побыть "хотя минуту в равенстве с такими людьми, кои в обществе знамениты, — и чинами, и достоинствами, и знаками от меня удалены суть". "Содействовала тому и лестная надежда, не могу ли чрез братство достать в вельможах покровителей и друзей, могущих споспешествовать счастью моему". Но скоро Елагин убедился, что "вельможи" вовсе не смотрят серьезно на "братский" союз. И сам Елагин "почитал совершенно игрушкою, для препровождения праздного времени вымышленною", "работы" в масонских собраниях. Действительно, собрания масонов приняли в этот период характер клуба, с обычными клубными занятиями: бильярдом, карточной игрой и веселыми ужинами. О масонстве напоминали разве только торжественные приемы новичков и посвящения из степени в степень, обставленные церемониями и символической обстановкой, предназначенной действовать на воображение, но скорее возбуждавшей смешливость. Естественно, что такое масонство не давало пищи ни уму, ни сердцу. "Не приобрел я из тогдашних работ наших, — признается Елагин, — ни тени какого-либо учения, ниже преподаний нравственных, а видел токмо одни предметы неудобно достижимые, обряды странные, действия почти безрассудные; и слышал символы нерассудительные, объяснения религии здравому рассудку противные. В таком бесплодном упражнении открылась мне только та истина, что ни я, ни начальники масонов иного таинства не знают, как разве со степенным видом в открытой ложе шутить и при торжественной вечери за трапезой неистовым воплем непонятные реветь песни, и насчет ближнего хорошим упиваться вином, да начатое Милнерве служение окончится празднеством Вакху".

Так стояло дело, когда в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов стали выдвигаться в масонстве представители учащейся молодежи в Петербурге и Москве, воспитанники шляхетского корпуса и университета. Прямых известий об этом моменте в истории масонства мы почти не имеем и только гораздо позже, в рядах екатерининских масонов восьмидесятых годов, встречаем представителей этого поколения молодежи. О времени их вступления в орден обыкновенно не имеется никаких сведений. Но среди "братьев" в восьмидесятых годах они уже считаются старыми и опытными масонами и занимают иногда видное место в иерархии ордена. Здесь встречаем самых видных участников журналистики начала шестидесятых годов (Херасков, Ржевский, Нартов) и их менее видных друзей, державшихся плотной группой⁶ в Комиссии уложения (Всевожский, граф А. Строгонов), наконец, сыновей или родственников этой депутатской группы (Лодыженский А.Ф., Загряжский Б.А., Трубецкие, может быть, Лопухин). Это, конечно, только остатки интеллигентных кружков и групп шестидесятых годов. Но их совершенно достаточно, чтобы поднять нить интеллигентного развития, ускользающую от нашего прямого наблюдения. К тому же нам хорошо известно настроение и склад убеждений молодых литераторов начала шестидесятых годов. Их взгляды совершенно совпадают с приведенной выше характеристикой серьезной масонской идеи. Мы принуждены были назвать эти взгляды масонскими по существу, по самому содержанию их, прежде чем заговорили о внешней истории русского масонства.

Несомненно, присоединение к масонству интеллигентной молодежи обеих столиц должно было поднять тон движения и дать ему серьезное содержание. И однако же, мы ничего не знали бы об этом подъеме, если бы не получили сведений о нем из юношеских журнальных произведений этого поколения молодежи. Еще и в восьмидесятых годах в московском масонстве продолжают преобладать "пышные церемонии рыцарства (тамплиеров), кресты, кольца, епанчи" и "одно только знатное дворянство занимается работами". Почему же, спрашивается, более чистая масонская традиция шестидесятых годов, столь сходная по существу с идеями восьмидесятых годов, — "ключ дружелюбия и братства", как определял ее Олсуфьев, — оказалась так слаба, что самое существование ее приходится доказывать косвенными соображениями и сопоставлениями мелких фактов? Оскудение культурной струи в масонстве есть тоже исторический факт, весьма любопытный для истории нашего общественного развития. Факт этот подтверждает наши предыдущие наблюдения над первым поколением интеллигентов и находит себе в них полное объяснение. Тогдашнее юношеское одушевление,

⁶ Дружные действия этой группы в Комиссии не должны ли быть тоже объясняемы отчасти их масонскими связями?

очевидно, не пережило юных годов. Мы знаем, как охладело поколение шестидесятых годов к идейным основам своей общественной деятельности. Необходимо только прибавить, что увлечение *масонством*, даже независимо от возраста и опытности, должно было подвергнуться серьезному *идейному* испытанию. Тех, кого не охладил жизненный опыт, могло отвлечь от масонства новое увлечение французскими философами. Показание Елагина и в этом случае оказываются драгоценными. Совершенно разочаровавшись, как мы видели, в масонстве, он "спознался с афеистами и деистами" и "стал искать просвещения разума" в книгах "так называемых новых философов и энциклопедистов... в славе тогда находившихся". Но и для Елагина, как для других интеллигентов екатерининского времени, это увлечение "вольтерианством" послужило только переходной ступенью к составлению собственного мировоззрения, более подходившего к старым привычкам мысли и чувства. И он, как другие, проникся сердечным трепетом при сознании того, что "дерзнул забыть веру, в которой родился, и страх Божий, и учение, которое при воспитании в училищах преподаваемо было". И он искал успокоения встревоженной совести в беседах с "просвещенными и учеными" руководителями. К его величайшему удивлению, эти руководители оказались масонами. Масонами были, как он знал, и сам Вольтер и "ему сообразные". По необходимости Елагину пришлось заключить, что в масонстве есть что-то такое, что осталось ему неизвестным. Он набросился тогда на изучение масонской литературы, "за безумно истраченные деньги собрал громады писаний", искал высших степеней масонства, чтобы проникнуть в его сокровенные тайны, входил в сношения с заграничными масонами⁷.

Но во всем этом он не мог "удовлетворительного ничего почерпнуть, а единственно увидел токмо разные человеческие умствования, иные острые и разумные, другие нелепые и весьма глупые" — и сверх всего этого очень много шарлатанства, эксплуатировавшего простодушие и любопытство искателей масонских тайн для простого выманывания денег.

Простому человеку, как Новиков, богатому только своим здравым смыслом, истинная "тайна" масонства видна была сразу. Новиков с самого начала отнесся враждебно к "пышным церемониям" французского "храмового" масонства, а к чернокнижническим тайнам розенкрейцеров остался довольно равнодушным. Но он быстро понял значение масонства как нравственной теории и оценил влияние масонства как общественной силы. Для того чтобы заниматься нравственным самоусовер-

⁷ Елагин, наконец, добрался до английской "великой ложи", сохранившей более чистый тип масонства, и получил от нее в 1772 г. звание великого провинциального гроссмейстера для России. Но при английской системе он не остался.

шенствованием и чтобы воспользоваться организационными средствами масонства для целей общественной деятельности, для этого не нужно было гоняться ни за какими тайнами, нечего было разыскивать ключей к масонству в Швеции, Англии или Германии. Ключ этот, "ключ дружелюбия и братства", найден был в собственном сердце и собственной воле. В этой находке и заключается все значение Новикова для русского масонства. Этим же объясняется и то, каким образом человек, "без воспитания, без учения", не посвященный в секреты ни "герметической философии" розенкрейцеров, ни "храмовых" церемоний, "шотландских" и "рыцарских" степеней системы "строгочисленного соблюдения" и родственных с ней, — каким образом такой человек мог сделаться одним из главных реформаторов русского масонства.

Зерно той идеи, которая толкнула Новикова в масонство и которая покорила масонство Новикову, зрело в уме Новикова исподволь и давно. Еще в "Живописце" он говорит о только что учрежденном императрицей "Обществе, старающемся о напечатании книг", как о "наипохвальнейшем и наипольнейшем учреждении, о каком только *частным* людям помышлять дозволяется". Но мало *издать* книгу; надо *дать ее в руки читателю*. Только при таком расширении дело книгоиздательства явится действительно живым делом, способным принести неисчислимыя культурныя последствия. Мало и этого: надо пустить книгу *в провинцию*, где ее ждет не дождется самый главный читатель и покупатель *русских* книг, алчущий духовной пищи и не имеющий чем удовлетворить ее. "Петербург и Москва имеют способы покупать книги, заводят книгохранительницы и употребляют их в свою пользу, лишь только бы была у покупающих охота. Но позвольте сказать, петербургские и московские жители много имеют увеселений. Есть у них различные зрелища, забавы и собрания; следовательно, весьма не у великаго числа людей остается время для чтения книг. А сверх того и просвещение наше, или, так сказать, слепое пристрастие к французским книгам, не позволяет покупать российских. В российской типографии напечатанное редко молодыми нашими *господчиками* приемлется за посредственное, а за хорошее — почти никогда. Напротив того, живущие в отдаленных провинциях *дворяне и купцы* лишены способов покупать книги и употребляют их в свою пользу. Напечатанная в Петербурге книга через тройи или четверо руки дойдет, например, в Малую Россию; всякий накладывает неумеренный барыш, для того что производить сию торговлю весьма малым числом денег; и так книга, продающаяся в Петербурге по рублю, приходит туда почти всегда в три рубля, а иногда и больше. Через сие охотники покупать книги уменьшаются, книг расходуется меньше, а печатающие оныя, вместо награждения за свои труды, часто терпят

убыток. *Вот, государь мой, куда должно стремиться намерение сего общества... но не у прииде час*".

Час этот пришел, как увидим, двенадцать лет спустя. Новиков осуществил в грандиозных размерах свою идею и своим "Обществом" действительно "привел торговлю книжную в цветущее состояние". Но, как это ни важно само по себе, для нас в данную минуту дело Новикова имеет совсем особый интерес и значение. Это было первое широкое практическое предприятие, осуществленное коллективно русской интеллигенцией, обществом частных людей, по собственной инициативе. И главный инициатор, выносивший эту идею в своем уме, шел к ее осуществлению целый ряд лет, медленно и упорно, соединяя идейное увлечение с практической сметливостью, заражая своей энергией целую группу близких людей, вербуя по всей России целую сеть единомышленников, связывая их идейными узами братства и сообщая таким образом отвлеченным филантропическим стремлениям масонства самое реальное, самое жизненное содержание.

Начало этого изумительного для того времени предприятия было очень скромно. Но это начало уже показало, что для Новикова, при всей его практической деловитости, дело будет идти об *общественном* интересе, а не об одной только коммерческой выгоде. Точнее говоря, выгода должна была служить расширению того же общественного интереса.

На очереди для "частных людей" стоял вопрос просвещения. Новиков затевает для начала два параллельных просветительных предприятия, из которых одно должно было питать другое. Он подбирает небольшую компанию молодежи и открывает (1777) в Петербурге две школы для мещанства. Эти школы будут содержаться доходами с журнала, который компания начинает издавать одновременно с открытием школ ("Утренний свет"). Тип журнала Новиков взял готовый — тот самый, который создан был в начале шестидесятых годов учащейся молодежью и меньше всего вызывал цензурных опасений. Материал журнала остался по преимуществу переводным, направление — моралистическим. Но журнал велся гораздо живее и серьезнее журналов Хераскова. В первый же год он имел 800 подписчиков. Кроме Москвы и Петербурга он расходился в 26 губернских городах, 24 уездных и 7 местечках. Таким образом завязались у Новикова связи с провинцией.

Вся эта деятельность уже совершалась отчасти на почве масонских отношений. В середине 1770-х годов в Петербурге сложился кружок, тяготившийся обрядовой и мистической стороной масонства. Настроение Новикова совпадало с настроением кружка. Он вступил в "так называемое английское" масонство (1775) с специальным условием — не считать себя связанным содержанием тайн масонства и сохранить за собой право выхода, "ежели найдет, что противное совести". Тогда же кружок

добился открытия собственной ложи в Петербурге, работавшей по особой программе. "Тут все было обращено в нравственность и самопознание; говоренные же (в собраниях) речи и изъяснения произвели великое уважение и привязанность". Так характеризует цели и средства нового масонского кружка сам Новиков.

Однако же, Петербург оказался неудобным местом для свободного и широкого развития идейно-филантропической деятельности новиковского кружка. Екатерина отнеслась с самого начала более чем холодно к новому почину своего литературного антагониста, грозившего опередить ее уже на втором поприще общественной деятельности — и опять на таком, которое она считала *своим* по преимуществу. Конечно, ее энтузиазм к созданию "новой расы людей" очень значительно остыл к этому времени. Но вопрос о народном просвещении и народной школе стоял на ближайшей очереди, поставленный еще раз Учреждением о губерниях. Однако, когда первые дворянские собрания, думая откликнуться на призыв императрицы, начали делать постановления об открытии школ, Екатерина поспешила охладить их рвение. Калужский и тверской губернаторы получили (1779) внушения, что усердие дворянства "преждевременно" и что следует ожидать от императрицы общих правил и инструкций об открытии школ. "Никогда не принудят меня бояться образованного народа, — писала Екатерина к Гримму в следующем году (1780), — *но когда-то еще он сделается таким* и когда между образованными людьми переведутся негодяи (*des gredins*) с ложным направлением и кривыми взглядами, люди способные скорее все испортить, чем принести пользу?" Более чем вероятно, что во второй половине этой любопытной тирады Екатерина имела в виду инициативу Новикова. Как бы то ни было, эта инициатива заставила ее наконец поторопиться с распространением образования сверху. В том же году заведены были переговоры с австрийскими педагогами, и в 1782 г. началась деятельность комиссии народных училищ.

В 1777 г. Екатерина демонстративно устранилась от участия в школах, созданных Новиковым, и так же демонстративно не подписалась на его журнал, несмотря на его обычные авансы. Очевидно, перспектива для дальнейшей деятельности, при этих условиях, складывалась неблагоприятно. Тогда Новиков решил перенести все дело в Москву, где атмосфера, как мы отчасти уже знаем, была совершенно иная. Здесь прежде всего такое направление, как масонство, могло развиваться гораздо свободнее, не оттесняемое модной "философией" придворного круга. Для патриархальной Москвы эта "философия" и по существу своему была чересчур уже крайней. Здесь настроение интеллигентных кругов скорее походило на немецкое стародумство, чем на французское свободомыслие. Как сейчас увидим, в Москве немецкое культурное влияние тотчас и победило фран-

цузское. Затем, отсутствие двора имело еще и другие последствия. В Москве не было ни высшего чиновничества, обязанного сообразоваться со взглядами власти, ни той житейской сутолоки, которая неизбежно связана с повседневным ходом громадного государственного механизма. Петербург суегился, поглощенный злобой дня и мелочами жизни. Москва утопала в роскоши и в праздности. Петербург действовал, Москва критиковала. Петербург создавал баловней счастья; в нем делали карьеру. В Москве доживали свои дни все падшие звезды и угасшие светила северной столицы. Здесь они по-барски прожигали шальные состояния, нажитые в более счастливые дни; сюда уносили горечь и раздражение, копившиеся годами невольной или добровольной ссылки и находившие себе единственный исход в том, что на языке Екатерины называлось "враньем".

В этой атмосфере сановного брюзжания — мало, конечно, походившего на политическую оппозицию — жилось спокойнее и независимее и представителям интеллигентного русского общественного мнения. За спиной главнокомандующего, графа Захара Чернышева, не забывшего еще, что и сам он когда-то, в дни Елизаветы, был одним из первых русских масонов, родовитые и богатые представители молодого масонства чувствовали себя в сравнительной безопасности — вне непосредственного действия петербургской власти. У них было довольно влияния и денежных средств; талант и энергию вложили в движение приглашенные ими идейные руководители.

С помощью дружеских масонских связей (через Хераскова) Новиков уже в 1779 г. переехал окончательно в Москву из Петербурга. Тогда же он взял в аренду московскую университетскую типографию и принялся за осуществление любимой своей мысли, идейного издательства. В 1780 г. друзья Новикова составили особую масонскую ложу "Гармония", объединившую масонов разных систем на общей почве нравственного усовершенствования и просветительной деятельности. Как отразилось переселение в Москву на настроения Новикова, видно всего лучше из его "Московского издания", заменившего в 1781 году "Утренний Свет". В самом предисловии к новому журналу публицист поднимает забрало и решительно объявляет, что прямая цель журнала есть борьба с людьми, "от природы великими способностями одаренными, в воспитании ученостью украшенными, и между людьми почтенными", которые, однако, "хулят с надменным и верительным видом закон, ко спасению рода человеческого первыми людьми свыше полученный" (так определялась, между прочим, и основная тайна масонства), и готовы уже думать, что искоренили "все народные предрассудки и низкое суеверие". Слова эти прямо метили на Екатерину и ее придворный круг. Их можно только сопоставить с ответом Платона, когда ему пришлось выбирать между "христианством" масонов и "философией" императрицы. Недаром архиереи явились

усердными подписчиками журнала, на который не подписалась Екатерина. Но Новиков пошел еще дальше этих общих намеков. В нем просыпается издатель "Трутня" и "Живописца"; и в журнал, предназначенный для благотворительности и морального назидания, скоро врывается бурной струей негодование публициста и обличительный смех сатирика. В промежуток между двумя пароксизмами националистической и завоевательной политики Екатерины "Московское издание" поднимает голос, в духе масонства, против наступательных войн. Не честолюбие и любовь к славе, а только к общественному благу и отечеству должна побуждать к войне. Война — если она не оборонительная — есть просто кровопролитие и должна вызывать один ужас. Бессмертие государь может заслужить скорее правосудием и справедливостью, чем "завоеванием многих государств, разорением ста городов и истреблением ста тысяч человек". Всякий, "утверждающий власть свою на неправосудии, скрывает пропасть, которой он или его преемники поглощены будут. Самые великие и жесточайшие возмущения не от чего иного произошли, как от своенравия и жестокостей государей". Государь должен остерегаться страстей. "Всякое государство лучше управляемо быть может праздным государем, нежели страстным. Ежели первый будет иметь искусного министра, тогда праздность его может обратиться в пользу народа; страстный же... повинуется воле любовницы... Как скоро государь отдается любви, то... временщики, министры, придворные... показывают нежное сердце... Любовницы государя, министров и временщиков, сделав союз, станут раздавать чины и все дела распорочат по своим прихотям". И как бы боясь, что все эти прозрачные намеки не будут поняты, автор прибавляет: "Такое правление бывало при государях, которые великую надежду подавали в начале своего владения". Это уже было не в бровь, а в самый глаз.

Горячий публицист, превосходный практик и организатор, трезвая, деловая натура, Новиков не годился, правда, в вожди чисто идейного движения, каким было в основе своей масонство. Но он лучше всякого другого мог использовать движение для общественных целей. Идейным руководителем, душой движения с его теоретической стороны явился другой человек, глубокий энтузиаст, готовый самого себя целиком отдать на служение своему идеалу. В 1776 г. приехал в Россию и одновременно с Новиковым (1779) поселился в Москве некто Шварц, немец из Трансильвании. Влияние этого человека в Московском университете, где он тогда же сделался профессором (1779), сравнивали с влиянием Грановского. Но еще сильнее, чем влияние Шварца на университетскую аудиторию, было действие его дружеских бесед — если, впрочем, забыть, что он владел несомненным даром дружескую беседу превращать в профессорскую лекцию, а из лекции делать дружескую беседу. В этом тесном

кружке друзей, который постепенно расширялся в более широкий круг поклонников и последователей, скорее можно бы было сравнить влияние Шварца с влиянием другого знаменитого представителя тридцатых годов, Станкевича. Столь же тонко организованная и благородная, но несомненно более пылкая натура, чем Станкевич, Шварц был таким же идейным и нравственным оракулом своего кружка, среди которого гораздо реже выдавался своими знаниями и образованием. Обоих рано подкосила смерть, но оба оставили неизгладимый след в сердцах и умах своих почитателей. Шварцу дано только было еще то, чего не дано было Станкевичу, натуре более созерцательной, чем деятельной. Шварцу суждено было самому осуществить в жизни то "идеальное царство Платона", которое наполняло душу молодого энтузиаста "райскими ощущениями". "Колумб, впервые завидевший землю, — выражался сам Шварц, — не мог радоваться более меня, когда в руках моих очутился значительный капитал для осуществления моей платоновской идеи".

Но что же это была за утопия, за "новая Атлантида", которая заставляла Шварца и его друзей вспоминать о Колумбе и Платоне при одной мысли о возможности ее осуществления? В понимании *ближайшей цели* для достижения своей мечты Шварц очень близко сошелся с Новиковым, именно он мечтал составить в России общество для распространения истинного просвещения. Для этого нужно было, по его мнению: 1) популяризировать правила хорошего воспитания, 2) издавать полезные книги, поддерживая тем и предприятие Новикова, и 3) выписать способных педагогов из-за границы, а еще лучше — пригласить своих русских преподавателей к роли распространителей просвещения. Для какой *дальнейшей*, можно сказать, мировой задачи все это было нужно, можно понять только тогда, когда познакомимся ближе с философским мировоззрением Шварца. Мы увидим, что, по широте размаха, его "утопия" — первая утопия русского общественного деятеля, ничуть не уступает утопиям нашего времени.

Чтобы осуществить свою идею, которую Шварц повсюду пропагандировал со всем жаром убеждения, не останавливаясь перед скептицизмом своих более практических собеседников, он не дождался, пока счастливый случай даст ему в руки "значительный капитал". Бывший домашний учитель, только что ставший профессором, бедняк, оставивший свою семью после своей смерти без копейки денег, Шварц пожертвовал в университет 5000 рублей (не меньше 25 000 на дореволюционные деньги), чтобы положить первый камень в основу будущего своего здания. На эти деньги должны были подготавливаться при университете по особой системе будущие учителя. Чтобы подобрать состав воспитанников этой "педагогической семинарии", кружок друзей вошел немедленно в сношения с начальством единственных тогда сколько-нибудь сносно поставленных средне-

учебных заведений — именно духовных семинарий и академий. Количество стипендиатов дружеского кружка, присланных из этих заведений, доходило в последующие годы до 30 с лишком. Расход на стипендии превышал 3000 ежегодно. Для помещения стипендиатов кружок купил собственный дом на имя Шварца.

Но учреждением "педагогической семинарии" намерения Шварца, разумеется, не ограничивались. За первым шагом последовали два других, логически вытекавших из первого. Свои отношения к собранному отовсюду семинаристам Шварц не ограничил инспекторским надзором и профессорскими лекциями. Он вступил с ними в личные и непосредственные отношения, старался развить в них нравственную и умственную самостоятельность. Для этого через два года после открытия "педагогической семинарии" он основал студенческое общество под названием "собрания университетских питомцев" (1781). Целью общества было образование ума и вкуса членов, собиравшихся для совместного обсуждения своих литературных опытов. В начале заседаний члены по очереди читали речи морального содержания. Предполагалось приучать членов и к прямой филантропической деятельности, для которой средства добывались, по принципу, уже намеченному Новиковым, самими членами посредством издания их сочинений. Как велико было влияние Шварца на "университетских питомцев", видно уже из того, что долго после смерти учителя среди них сохранялся настоящий культ его памяти.

Наконец, третий шаг на том же пути сделан был Шварцем в следующем 1782 г. Прошедшие указанную школу питомцы, а также и вызванные вновь из семинарий студенты получили возможность приложить свои знания и вместе добыть средства к существованию во вновь устроенной "переводческой семинарии" — путем переводов лучших авторов и моральных сочинений. Таким образом, цель, которую наметил себе Шварц, мало-помалу осуществлялась. Его энергичными усилиями создан был целый кружок молодых интеллигентов, педагогов и переводчиков, оставивших по себе очень заметный след в деятельности русской школы и печати конца XVIII в. Какие же идеи они проводили в своей деятельности?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нам надо познакомиться с деятельностью Шварца в ближайшем дружеском кружке. Здесь он взял на себя, как Новиков, роль чернорабочего для "знатных господ" и увлек за собой кружок своей неутомимой деятельностью. Самое сплочение кружка, одушевление его одной просветительной идеей есть в очень значительной степени дело Шварца. Началось это сплочение на почве теоретического согласия во взглядах, на почве известного понимания масонства. Закрепилось же оно окончательно на почве активной общественной деятельности. Мы знаем, какие идеи одушевляли русских масонов до появления среди них Шварца. Шварц, со

своими поисками масонских тайн, своим знанием масонских форм, казался подозрительным русским реформаторам масонства. В первый год знакомства со Шварцем Новиков тщательно избегал заводить с ним разговор о масонстве. Но потом дело объяснилось, и московские представители масонства согласились, отложив в сторону все таинственное и формальное, соединиться в одной нейтральной ложе с целями нравственного самосовершенствования. Как мы говорили раньше, Новиков был главным сторонником этого простого исключительно морального понимания масонства, и он перетянул на свою сторону других. Но перед знаниями и убежденностью Шварца сам Новиков пасовал, и в конце концов весь кружок подчинился влиянию молодого профессора. Шварц был мистиком. Он верил, что масонство может открыть тайну слияния Божества с природой путем изучения секретов природы в ее сокровеннейшей сущности. Хотя методы и цели масонства противоречили науке, но не надо забывать, что сама наука в то время как раз попадала на путь, который, казалось, вел туда же, куда стремилась проникнуть и натурфилософия. Ученой новинкой, поразившей воображение тогдашней публики, были первые открытия химии. Вещества, по-видимому, простые, как воздух, вода, оказались сложными. Являлась надежда открыть еще более первичные элементы, в которых и ожидали найти начало всех начал и ключ к превращению одних веществ в другие. Этих-то тайн природы, в которые обещала проникнуть нарождавшаяся химия, доискивался и Шварц. Но это была только одна сторона его взглядов, которая притом играла подчиненную, служебную роль в общем миросозерцании Шварца⁸.

Посланный друзьями за границу для отыскания истинного масонства, Шварц вернулся оттуда последователем системы "розенкрейцеров", занимавшихся в то время исследованием "Божества в натуре". Со своим влиянием он легко превратил в розенкрейцеров и своих ближайших друзей, включая и Новикова. Они остались, правда, совершенно чуждыми его "практическим работам". Однако общая мистическая идея Шварца об "истинном просвещении" должна была повлиять и на них. Из этой идеи вытекала вся деятельность Шварца; она придавала этой деятельности цельность и внутреннюю силу. Не будучи в состоянии вполне понять своего руководителя и последовать за ним до конца, друзья-масоны верили, однако, что существует дей-

⁸ Объединительные, эклектические и очистительные тенденции усиливались тогда и в германском масонстве. На "съезде" масонов "строгого соблюдения" в Вильгельмсбаде (1782) Шварц получил признание России особой (VIII) провинцией, освободившейся от подчинения Швеции (принятого в 1780), и привез в Москву новые назначения на масонские должности, чем москвичи были очень недовольны. Впрочем, рыцарские звания скоро вышли из употребления и в самой Германии.

ствительно какая-то таинственная цель познания, какая-то высшая задача деятельности, которые все объясняют и объединяют. Стремление к этой цели выделяло кружок из остального общества. Звание "розенкрейцера" сближало их в своего рода конспиративный союз внутри самого масонства. При такой завлекательной обстановке ставились и выполнялись общие задачи деятельности кружка. Пример, поданный Шварцем, увлек нескольких членов кружка к значительным денежным пожертвованиям. Собрав таким образом некоторые средства, кружок друзей решился выступить формально и открыто под названием "Дружеского ученого общества", преследующего филантропические и ученые цели. "Общество" было торжественно открыто в ноябре 1782 г., в присутствии приглашенных властей. Через месяц с небольшим Шварц, после многочисленных неприятностей и столкновений с университетским начальством принужден был выйти в отставку. В 1783 г. он продолжал еще читать свой приватный курс истории философии в мистическом духе, руководил филантропической деятельностью "Дружеского общества". Но слабый организм, надломленный непосильным трудом и душевными огорчениями, наконец не выдержал. Осенью 1783 г. Шварц заболел и в феврале 1784 г. умер.

Чтобы оценить значение профессорской деятельности Шварца, надо сравнить содержание новиковских журналов, издававшихся для поддержания двух петербургских училищ до и после того, как приняли в них участие "университетские питомцы", вышедшие из педагогической семинарии Шварца. Кружок, начавший издавать в 1777 г. "Утренний Свет", стоял почти на уровне сотрудников журналов 1759-1761 гг. Как там, так и здесь идеи "естественного закона" сохраняются рядом с новыми идеями самосовершенствования, не делается никакой попытки согласить то и другое, хотя оба ряда идей в сущности были плодом двух противоположных и борющихся между собой мировоззрений, один философско-рационалистического, а другой — религиозно-сентиментального. Стремление к счастью и наслаждению, эпикурейская и утилитарная система морали еще мирно уживаются в журнале с моралью "самопознания", которая скоро будет развита Шварцем в целую систему теософии и теургии. Переводы из древних авторов по вопросам любви, морали, бессмертия души⁹ наполняют первые тома "Утреннего Света". Во втором году издания уже начинается в журнале "борение между верой и разумом", в лице классического героя этой борьбы, Паскаля, "Мысли" которого переводятся в "Утреннем Свете". Результат борьбы предрешен, кроме этого выбора, напечатанием тут же другого произведения, нашумевшего в Европе в семидесятых годах и бывшего там предвестником тор-

⁹ Тут, между прочим, помещен перевод "Федона" Мозеса Мендельсона, о влиянии которого на Шварца и Радищева см. ниже.

жества чувствительности над рационализмом. Это был "Плач или ночные думы" Юнга, воспевавшего смерть "по ночам, при тусклом свете лампы, теплившейся в человеческом черепе" и патетически призывавшего к жалости, к состраданию, к заботе о душе и о будущей жизни. Третий год издания (1780) представляет еще шаг дальше на пути к усвоению нового мировоззрения. Вместо переводов из древних тут являются статьи по философии и психологии. В научных статьях проводятся новые мысли (например, что мифы — не басни, а аллегории, скрывавшие высокие истины). В конце редакция помещает статью Гисмана, в которой отрицается аксиома всего XVIII столетия, — существование естественного права и теория естественного состояния людей до образования государства. В противоположность Руссо и Юнгу здесь доказывается, что, "попавшись в состояние, сходное с природой", люди сделали бы не счастливыми и блаженными, а "плутами и негодьями". В связи с этим журнал решительно отрицает и другую мысль Руссо, получившую широко употребление у нас, особенно в руках противников рационализма из *реакционного*, "стародумческого" лагеря: мысль, что просвещение вредит нравственности. Скоро мы увидим, почему эти идеи о вреде культуры и о блаженстве "естественного состояния" оказались несовместимыми с новым мировоззрением редакционного кружка.

"Московское издание" еще не обнаруживает резкого шага вперед в смысле развития общего мировоззрения. Его особенность, как мы видели, заключается в свежей публицистической и сатирической струе, которую внес в него переселившийся в Москву Новиков. На новом месте старый кружок сотрудников, по-видимому, поредел, а новый еще не подобрался в этом году (1781). Этим, может быть, объясняется более близкое участие самого Новикова в этом журнале. Зато в следующем году (1782) подоспел первый выпуск "питомцев" Шварца, составивших в том же году "переводческую семинарию". В руки этого-то молодого кружка¹⁰ и передал теперь Новиков ведение своего ежемесячного издания (выходившего в этом году под названием "Вечерняя зари": мистический смысл заглавия Новиков подчеркнул в своем "предуведомлении").

Главный интерес "Вечерней зари" заключается в ряде философских статей, которые на этот раз уже совершенно сознательно формулируют общее мировоззрение, какое вырабатывалось в московском интеллигентном кружке под влиянием лекций Шварца. Не нужно, конечно, ожидать от этого мировоззрения чего-нибудь очень крупного и оригинального. Содержание философских статей "Вечерней зари" довольно точно соответствует

¹⁰ Имена "трудившихся в издании журнала студентов" перечислены Новиковым в количестве 18 лиц: здесь видим детей иностранцев и духовных и ни одного аристократического имени.

среднему уровню тогдашней немецкой популярной философии. Бог, мир и душа — таковы основные вопросы мировоззрения, около которых сосредоточилась философская борьба XVIII в. В описываемое время Кант уже сделал все эти вопросы предметом разрушительной гносеологической критики. Но "Критика чистого разума" только что появилась тогда (1781); ее роль была еще вся в будущем. Другие, более ранние *цельные* мировоззрения, монизм Спинозы и монизм французских материалистов, казались слишком подозрительными и были не по плечу тогдашнему среднему интеллигенту. Шварц разбирал Спинозу, Гельвеция, Ламетри на лекциях; и, естественно, профессорская критика не могла внушить слушателям желания познакомиться со всеми этими системами ближе. Немецкая университетская философия, правда, тоже ставила целью борьбу против теологии и схоластики. Но здесь борьба эта шла на совсем другой почве, гораздо более умеренной, чем философские системы пантеизма и материализма. Это была система Вольфа — очень передовая и даже преследовавшаяся в первой трети XVIII в., но заключавшая в себе еще достаточно теологических и схоластических элементов, чтобы сделаться во второй трети века общепризнанной университетской системой. Дальнейший прогресс философии в Германии, после Вольфа, заключался в усвоении идей английских философов и моралистов, хотя и "свободомыслящих", но все еще не решившихся сойти с почвы самого благонамеренного деизма. При этом усвоении английских идей преследовались более моральные, чем методологические, задачи. Естественно, что в результате заимствований получился ряд эклектических философских систем, имевших в лучшем случае лишь временное культурное значение. Это и была та стихия, в которую ввел Шварц своих "питомцев". То, что было достаточно для среднего интеллигента в Германии, конечно, оказалось более чем достаточно для России. Философское преподавание (в академиях) стояло у нас еще на уровне Аристотеля и Фомы Аквинского; даже Декарт и Лейбниц были еще контрабандой, и только в 1777 г. окончательно введен учебник философии ученика Вольфа, Баумейстера. При таком уровне философских знаний направление философских статей "Вечерней Зари" было несомненным и значительным шагом вперед. Но он был при этом все же настолько скромным, что мог привлечь интерес и симпатии посланных Шварцу академистов и семинаристов, не испугав их начальства.

Каждая книжка "Вечерней зари" начиналась одной или несколькими статьями по философии. Не трудно заметить, что статьи первых восьми книжек составляют целый философский трактат, переведенный с немецкого, причем переводчик не понимал основных идей системы и потому часто путал термины ("разум" и "рассудок"; "дух" и "душа"). Мы предполагаем, что эти статьи принадлежат Шварцу. Как бы то ни было, стоит ос-

тановиться подробнее на их содержании, так как здесь мы встречаемся с целым мировоззрением, на котором мог успокоиться русский интеллигент после того, как старое мировоззрение "естественного закона" (см. выше, систему — Татищева) устарело в его глазах. Автор статей начинает с доказательств бессмертия души, характерным образом обходя первую по порядку тогдашнюю тему, о существовании Бога (две статьи об этом, одна компилятивная, другая из Локка, помещены в журнале по окончании трактата). *Человек*, его психика и мораль — таков центральный пункт философии автора. В доказательствах бессмертия нет ничего нового. Их выбор сделан по Мозесу Мендельсону — прототипу "Натана" Лессинга. Добавлено только в конце любопытное соображение¹¹, что *выгоднее* верить в бессмертие, даже если его нет, чем не верить, если оно есть. Далее следуют общие замечания "о душе", в которых намечается точка зрения и темы последующего изложения. Эта точка зрения окончательно выясняется в двух дальнейших статьях. В первой душа трактуется как своего рода химический продукт, явившийся результатом соединения "духа" и "тела". Продукт соединения есть нечто третье, новое, так "сера и ртуть, будучи смещаны, производят нечто третье, а именно киноварь, имеющую такие свойства, которые не принадлежат ни к одной киновари, ни к одной ртути". Это "нечто новое" есть "натуральная жизнь" души со всеми ее свойствами, каких не находилось ни в "материи телесной" ни в "духе". Смотря по свойству материи, вошедшей в состав ("огненной", "водяной" или "соляной"), варьируется и "естественный" характер души или "темперамент". По смерти человека "дух" и "персть" возвращаются к первобытной чистоте и отдельности. Гибнет при этом только их смесь — "те свойства, которые дух заимствовал от материальной части", "подобно как ртуть по разрушении киноваря делается опять чистой и настоящей ртутью". Однако сделать отсюда вывод о гибели "души", то есть против *личного* бессмертия, автор не решается. Вопрос о дальнейшем существовании "души" по смерти он прямо признает открытым.

Итак, "человек состоит не из двух токмо существенных частей, а из трех: тела, души и духа"¹².

И этот взгляд, конечно, не оригинален. Таков был взгляд Аристотеля, "пневматиков"-гностиков и некоторых схоластиков. Дальнейшие доказательства взяты из Мендельсонова "Федона" (1767). Первое из них "можно назвать аналогическим или почерпнутым из сходства вещей", в разных царствах природы. "Восходя по степеням тварей снизу кверху", мы найдем, что

¹¹ И тут, конечно, можно указать предшественников в лице Паскаля, с его знаменитым "пари на Бога", и Арнобия (конец III века).

¹² Принадлежность Шварцу этой основной мысли всего трактата доказывается его собственными записями.

Творец "даровал каждому последующему царству тварей не токмо материю и основное вещество предыдущего, но и всегда еще в прибавление новую часть, собственно и существенно ему принадлежащую". Так, в царстве растений является сравнительно с минералами новый элемент "жизнь", а в царстве животных "душа" или "самопроизвольное движение". Впрочем, "вообще царство животных в столь тесном находится союзе с царством растений, что испытатели естества спорят, где одно царство кончится, а другое начинается". Например, "нельзя почти распознать" относительно полипа, "животное ли то, или растение". Человек *должен* стоять на высшей степени: ему надлежит составлять совсем новый класс и совсем новое царство тварей". Следовательно, в нем должно заключаться и новое начало: *дух* разумный и бессмертный. "Итак, человек принадлежит к царству духов". Как в царстве животных полип соединяет между собой царства животных и растений, так и человек соединяет царства животных и духов. В царстве животных находятся гораздо совершеннейшие животные, нежели полипы; а в царстве духов гораздо совершеннейшие духи, нежели человек". Таким образом, "религия посредством сего положения не только не приходит в упадок, но паче в большую силу и умножение". Другое доказательство троичности начал в человеке почерпывается из "Божественного откровения", именно из сотворения человека по образу и подобию Божию (то есть Св. Троицы)¹³.

Определив таким образом душу, как смесь духа и вещества, временного и вечного, как "одушевленную материю" (конечно, не в смысле материализма), автор приобретает чрезвычайно удобную позицию для своего эклектизма. "Душа" является для него эмпирической сферой, к которой он применяет генетическую точку зрения новых философов, а "дух" сферой трансцендентальной. Все изменяющееся, развивающееся принадлежит узкой сфере "души". В этой сфере, по Локку, "дух действует *только* через посредство чувственного опыта"; без него он "вовсе не показывает своего действия в человеке". Опыт, следовательно, необходим, чтобы "дух" мог проявить себя в "душе". Таким образом, автор может целиком принять возражения Локка против схоластического и картезианского учения о врожденных идеях. Содержимое "души" пусто, пока не наполнит ее опыт и наблюдение. Вслед за Локком и сенсуалистами автор посредством наблюдений над глухонемыми и над "людь-

¹³ Шварц здесь совпадает также с учением Сен-Мартена, книга которого "О заблуждениях и истине" (1775) произвела сильное впечатление среди русских масонов, получивших даже от его имени название "мартинистов". Сен-Мартен также говорит о промежуточном месте человека, объединяющего мир вещественный и мир священный.

ми, кои взросли между животными”, доказывает, что “размышление не необходимо сопряжено с духом”.

Более широкая и безусловная сфера “духа” в человеке есть “разум”. Более узкая эмпирическая сфера “души” есть “рассудок”. “При разлучении души с телом и рассудок, как вещь, происходящая из соединения оных, исчезает; разум же с душой (надо бы: “с духом”, так как вопрос о бессмертии “души” раньше оставлен открытым) навсегда пребудет”. Таким образом, рассудок подчинен законам “естественной жизни” и имеет свою “естественную историю”, которую и исследует автор. Рассудок “не может далее проникнуть, как только куда поведут чувства телесные”. “Будучи оставлен чувствами”, он странствует один в весьма глубокой темноте и доходит до границ духовных вещей, а пришед туда, либо совсем останавливается, или когда далее отваживается подходить, то заходит в опасный лабиринт, где, не имея ничего, что бы могло его остановить, ниспадает в пропасть, из которой выйти и попасть на истинный путь уже не может, если не просветится и не исправится чрезъестественным светом духа премудрости и откровения”.

Здесь, как видим, автор довольно близко подходит к Канту, но только для того, чтобы тотчас же уйти от него очень далеко. Доказать несовершенство эмпирической сферы “души”, постепенно эволюционирующей в своем развитии, ему нужно только для того, чтобы сделать отсюда моральные выводы, приводящие читателя постепенно к практической философии масонства. Первое звено этих выводов состоит в признании необходимости несовершенства и в примирении его с идеей божественного всемогущества. Так как естественная история души доказала, что “никакое конечное существо без достаточного времени не может приобрести твердых и сколько-нибудь обширных познаний”, и так как “совершенное блаженство предполагает весьма пространные знания и великий навык к размышлению”, то, “следовательно, невозможно было Богу создать разумных конечных тварей, одаренных всеми познаниями, нужными к совершенному блаженству”. Этим же объясняется необходимость зла и страданий на земле. Ведь конечное существо не может сразу согласить своих желаний с законами вселенной: поэтому оно должно стать жертвой этого несоответствия. “Чем более разумное существо успевает в познании мира, тем менее оно подвергается обману в ожидании того, что должно случаться, и менее желает невозможных вещей. Неудовольствия должны уменьшиться с той же соразмерностью”. Отсюда прямо вытекает сократовский вывод, который автор противопоставляет Руссо и русским “стародумам”. Не только просвещение не вредит нравственности, но нравственность и состоит в “истинном” просвещении. Достаточно знать пользу нравственности, чтобы практиковать ее и понять необходимость нравственного самосовершенствования. Этот вывод открывает человечеству те беско-

нечные перспективы, которые и составляли "утопии" Шварца: "Ежели мир сей небесконечен, то возможно конечному существу дойти до такого совершенства, чтобы иметь подробное понятие о целом мире (о "законах нравственного порядка, честности и доброты"), и тогда неудовольствия его должны совершенно исчерзнуть". "Восхитительное зрелище, внушающее всякому мыслящему существу желание бессмертия!"

Мы понимаем теперь, почему уже "Московское издание" протестовало против перенесения золотого века в самое начало исторического процесса, которое вытекало из понятия Руссо о "естественном состоянии". Золотой век есть не начало, а цель и конечный пункт человеческого прогресса. Понятно также, какое огромное значение должна была иметь в глазах Шварца идея о постепенном воспитании человечества, уже пущенная в литературный оборот Лессингом. В дальнейших статьях Шварц и обращается к изучению *действенных* начал в человеке: воли и совести, как главных пружин самосовершенствования и прогресса. Он и тут подчеркивает, что веления воли и совести вовсе не категоричны и не ясны сами собой. Та и другая могут и должны быть развиваемы и воспитываемы. "Воля сама по себе есть слепая сила", не могущая действовать целесообразно без вмешательства "рассудка". *Совесть*, как "способность *судить* о нравственности действий", также не составляет чего-либо врожденного, а приобретает "опытом и размышлением". Как способность *делать* добро, она есть продукт усилия, то есть воспитания воли, без которого не было бы ни заслуги, ни награды. Самое понятие *добра* есть результат воспитания воли и мысли. Только "физическое благо, общее человеку с животными, не требует рассуждения"; "нравственного же добра хотим мы не по необходимости, но по свободному выбору". Как видим, идея свободы, в противоположность Канту и Шопенгауэру, торжествует у нашего автора *не* в мире умопостигаемом, а, наоборот, именно в самой сфере явлений эмпирического сознания, то есть там, где она имеет непосредственное практическое значение для религии и морали. При этом условии ясно, какое значение имело для автора "познание самого себя". Рассуждением об этом основном догмате масонства он и заканчивает свой замечательный трактат. Понятно также значение воспитания юношества, о котором Шварц так заботился во всех своих учреждениях и которому посвятил особый трактат, напечатанный Новиковым уже после его смерти (1783).

Мы не будем далее подробно следить за московской журналистикой. Только в ближайшие два года по смерти Шварца она еще держалась на высоте, достигнутой "Вечерней Зарей". "Прибавления к «Московским Ведомостям»" живут материалами Шварца: здесь печатаются несомненно ему принадлежащие статьи о воспитании детей, непосредственно связанные с разобраным выше трактатом. Под предлогом исторических, географиче-

ческих и этнографических сведений о странах Европы здесь проводится определенная система прогрессивных политических мнений, вызывающих, наконец, прямое запрещение Екатерины. "Покоящийся Трудолобец", последнее в серии этих изданий (1784), прибегает к усилению сатирического элемента и возвращается к защите прав разума от "фанатиков и пустосвятов". Он теперь отвергает и алхимию, и делание золота и даже берет на себя защиту Вольтера, сочинения которого Новиков издает как раз в эти годы. Затем Новиков бросает издание журналов, а в руках одних "питомцев" они сразу падают, вызывая со стороны приученных уже к ним читателей горькие жалобы на отсутствие серьезных статей.

Покойного энтузиаста заменить было некому. После его кончины если не душой, то правой рукой кружка остался Новиков. Вместе с тем и вся деятельность кружка принимает совершенно иное направление. Новиков был полной противоположностью Шварцу по всему умственному складу. Соединенные не только единством стремлений, но и тесной дружбой, оба эти вожака московской интеллигенции не могли, однако, смотреть одними глазами на вещи и часто сталкивались во взглядах. Горячий и увлекающийся Шварц упрекал Новикова в недостатке энтузиазма. Практический Новиков отвечал на это упреками в излишней горячности. "Он подозревал меня в холодности к масонству и ордену, потому что я был совершенно занят типографскими делами, упражнялся в том урывками; а я, ведая пылкость его характера и скорость, удерживал его, опасаясь, чтобы в чем не проступить, и с великой осторожностью смотрел на все, что он делал". Так говорит сам Новиков. В результате между друзьями, по словам того же Новикова, "за рыцарство" "произошла некоторая холодность и недоверчивость", продолжавшаяся до самой смерти Шварца. Легко было предвидеть, какие перемены произойдут в кружке, когда первая роль снова перейдет к Новикову. Мистические и химические занятия, и прежде недоступные друзьям, теперь были совершенно брошены. Заместитель Шварца, барон Шредер, человек совершенно иного, чуждого москвичам типа, взял на себя руководство ими, мотивируя это тем, что Новиков "давно уже не делал собраний". Отошли на второй план и совместные практические упражнения в филантропии, с целью нравственного самоусовершенствования. Сношения с иностранными масонами, на которые и при Шварце кружок соглашался неохотно, стали еще реже, а вскоре и вовсе прекратились. Последней мерой этого рода была посылка за границу члена кружка А. Кутузова для отыскания "истинного" масонства. Подобно Новикову, друзья очень недоверчиво относились к высшим степеням "неистинного" масонства и сильно опасались, нет ли в ордене чего-нибудь противного христианскому учению и государственной власти. Опасения эти особенно усилились, когда в 1785 г. ба-

варское правительство официально закрыло тайное общество иллюминатов, преследовавшее, в формах не столько масонства, сколько иезуитского ордена, политические цели¹⁴.

Московские масоны давно были предупреждены заграничными братьями о существовании иллюминатов и получили совет избегать сношений с ними. Теперь, "по причине великого распространения и пронывств иллюминатов", на все масонство наложено было (с 1787 г.) "молчание" или "бездействие". Как сказано, уже с 1783 г. лично Новиков "по типографским делам и заботам" не собирал порученных его наблюдению братьев. С 1786 г. деятельность масонства была и формально приостановлена. В этом году масонские ложи в Москве были "разорены", по приказанию императрицы. Все это, вместе взятое, совершенно остановило собственно масонскую деятельность кружка. Зато Новиков направил "работы" кружка на новую и гораздо более плодотворную дорогу.

15 января 1783 г. появился знаменитый указ, разрешавший всякому желающему заводить, явочным порядком, частные типографии. "Дружеское общество" тотчас завело их две. Теперь, наконец, "пришел час" для Новикова пустить полным ходом задуманное еще в "Живописце" предприятие. Для выполнения своей идеи, как мы знаем, он уже не мало сделал. Число подписчиков "Московских ведомостей" поднялось за время его заведывания университетской типографией с 800 до 4000. Масса книг была уже напечатана, завязаны сношения с книгопродавцами, заведены комиссионеры и в провинции. Расширение всех этих предприятий с помощью вольных типографий обещало, не говоря уже об идейном значении дела, верную коммерческую выгоду. Новиков убедил друзей широко воспользоваться правительственным указом. Таким образом, кружок московских розенкрейцеров перешел к издательской деятельности в широких, до тех пор небывалых размерах. Каждый из членов кружка внес более или менее значительный пай, и "Дружеское ученое общество" превратилось в 1784 г. в акционерную "Типографскую компанию". Капитал компании считался теперь уже не десятками, а сотнями тысяч, а годовой доход составлял от 40 до 80 тысяч. Компания приобрела несколько домов, имела свою аптеку. Масонский характер кружка сохранился в выборе для издания книг преимущественно нравоучительного содержания. Но собственно масонские, мистические книги издавались компанией в очень ограниченном количестве и предназначались не для продажи, а для тесного круга посвященных. Зато уже из

¹⁴ Собственно, внешняя сторона учения общества иллюминатов, основанного в 1776 г. Вейсгаунтом и называвшегося первоначально орденом перфектибилитов, была довольно близка к теориям Шварца. Политическая цель, состоявшая в борьбе с монархией и пропаганде республики, составляла скрытую сторону учения, известную только руководителям.

чисто коммерческих соображений типография Новикова и компания печатали также и книги, не имевшие ни малейшего отношения ни к масонству, ни к нравственному просвещению в масонском смысле. Затаян и осуществлен был ряд изданий, рассчитанных на широкие массы, как "Экономический магазин", "Детское чтение", "Городская и сельская библиотека". Чем дальше, тем больше предприятие компании принимало общий просветительный характер. Общее количество книг, выпущенных Новиковым на книжный рынок, достигло цифры около 440. Чтобы понять значение этой цифры, надо припомнить, что в единственной московской книжной лавке 1768 г. (при университете) продавалось (по каталогу) всего 168 названий книг; в книжной лавке Миллера перед переходом университетской типографии в аренду к Новикову (1776) — 438 названий, а перед началом деятельности "Типографической компании" (1782) в университетской лавке — 576 книг. Таким образом, Новиков более чем удвоил количество находившихся до него в продаже книг, не говоря уже о лучшем качестве книжного товара, пущенного им в оборот. Организатором же книжной торговли в провинции он явился первый. В основу для книжного комиссионерства в провинции были положены связи с провинциальными масонскими ложами, как совершенно верно заметила Екатерина, говоря, что "братья" развозят новиковские книги по России. Но Новиков и помимо масонских связей не упускал случая завести себе нового комиссионера, как это испытал на себе Болотов. В Архангельске, Ярославле, Смоленске, Риге, Тамбове, Полтаве, Пскове, Вологде, Твери, Казани, Туле, Богородицке, Коломне, Глухове, Киеве можно было получить книги новиковского издания. А "если кому угодно будет продажу сих книг учредить и в других городах Российской империи", объявлял он, "таковые могут адресоваться письменно или самолично в книжную лавку, где всевозможное к тому вспомоществование оказано будет, ибо в оной принято намерение доставить почтенным любителям российской литературы всевозможную способность в сообщении и всевозможные выгоды в ценах книг". В результате этих мер чрезвычайно увеличился и тираж книг, и количество их изданий. "Мы ходячих и надежных книг печатали по многу и по нескольку раз, — показывал Новиков, — для примера... юридический словарь печатали три или четыре раза, и, помнится, тысячи по три экземпляров".

Наиболее эффектный акт общественной деятельности московского кружка был, однако, еще впереди. Это было в голодный 1787 г. Нарисованная Новиковым картина народного бедствия вызвала щедрую помощь друзей (в том числе около 50 000 тогдашних рублей со стороны одного московского богача, Походяшина). Новиков на эти деньги организовал в широких размерах раздачу хлеба в Москве и в окрестностях своей подмосковной деревни. Помощью воспользовались там до 100

казенных и помещичьих селений. Возвращаемый крестьянами хлеб и деньги решено было употребить на устройство постоянного хлебного магазина, к чему и приступил немедленно Новиков. Магазин функционировал до 1792 г. Этот случай показал, что может сделать нравственное влияние Новикова, в связи с деловой организацией, какую принял кружок по смерти Шварца. Помощь голодающим в кружку, какие делались на заседаниях "Дружеского общества" в начале 1780-х годов. И организация помощи не походила на те розыски отдельных бедняков, которые предпринимались друзьями для упражнения в филантропии и для целей личного совершенствования. На частном примере теперь стало ясно для всех, какое значение имела в Москве "шайка" Новикова.

Голод 1787 г. был высшей точкой деятельности московских мартинистов. Но он же сделался и началом их бедствий. Масонство было терпимо, пока высокопоставленные лица занимались им для собственного развлечения и забавлялись им, "как игрушкой". На масонство не обращали особенного внимания и тогда, когда оно обратилось к работе внутреннего самоусовершенствования и к таинственным алхимическим занятиям. Но масонство, как частное общество с задачами общественного характера, как организованная общественная сила, располагавшая крупными денежными средствами, распространявшая через своих членов "сокровенные книги от Риги до донских станиц", сильная своим влиянием на общество и крепкая внутренними убеждениями, — это масонство было явлением неслыханным в русской жизни. Оно занимало слишком видную позицию, чтобы можно было дольше его игнорировать.

Императрица попыталась сперва бороться с новым общественным движением старыми средствами. В 1780 г. поступила в продажу анонимная брошюрка, осмеивавшая масонов ("Тайна противонелепого общества"). Автором брошюры, вероятно, была императрица. Согласно рецепту, данному еще во "Всякой Всячине", Екатерина пробует здесь победить общественное мнение смехом. Масонство для нее просто "болтанье и детские игрушки"; против него, как против детских шалостей, нужна лишь розга. Возможно, что Екатерина в этот момент добросовестно заблуждалась, видя в масонстве одно шарлатанство, игру в обряды и не замечая его моралистического мирозерцания. Масонского мистицизма она просто не могла понять: для ученицы Вольтера это было оскорблением философии и здравого смысла. Часто справляясь с "Энциклопедией", она нашла там место, где говорилось, что "теософам удалось бы потушить дух исследования и открытий и снова погрузить нас в варварство, если бы правительство их поддерживало, как они того желают". Отсюда, конечно, далеко еще было до *преследования* масонства, как и намекал Екатерине философ Циммерман, один из ее коррес-

пондентов. Однако, когда образовалась "Типографическая компания" и когда на Западе иллюминаты были официально признаны вредной политической организацией, Екатерина решилась выступить открыто против масонства, которое она намеренно или ненамеренно смешивала теперь с иллюминатами. В это время были, как мы видели, "разорены" по ее приказанию московские ложи. Но в то же время Екатерина не теряла еще надежды настроить против масонства само общественное мнение. В январе, феврале и июле 1786 г. на эрмитажном театре были поставлены три комедии императрицы, грубовато осмеивавшие "мартышек" и известного шарлатана Калиостро¹⁵ ("Обманщик", "Обольщенный" и "Шаман Сибирский"). Двенадцать лет Екатерина не писала комедий; и три комедии зараз, после такого долгого промежутка, свидетельствуют о сильном впечатлении, произведенном на Екатерину деятельностью московских мартинистов. "Надо было помнить бока ясновидцам, которые очень уж стали задирать нос", — признается она в письме к Гримму. Расчет императрицы, однако, оказался ошибочным. Победа в литературном состязании, как мы знаем, и в 60-х годах осталась не за ней. Теперь, конечно, на официальную сатиру уже нельзя было отвечать неофициальной. Но скоро Екатерина должна была убедиться, что с "политическими ветряными мельницами" бороться не так легко и что она не только в России, но и в Европе идет против течения. Бесплезно было стараться остановить время и ссылаться на то, что когда-то, в 1740 г., в годы ее воспитания, даже "наименее философские головы считали нужным притворяться философами" и что ее пьесы построены на статье "Энциклопедии" (резюме которой, приведенное выше, она действительно выписала в своих набросках для "Шамана Сибирского"). Двор, конечно, рукоплескал автору комедий, и Екатерина в своих письмах трубила о их огромном успехе. Петербургская пресса по данному сигналу принялась осыпать мартинистов насмешками и порицаниями. Но в Москве печать угрюмо отмалчивалась. Может быть, не без влияния этой пассивной оппозиции нервные нотки прорываются все чаще в резче в пьесах Екатерины. Она начинает наконец признавать, что шарлатанство и мода не исчерпывают всего смысла движения; что масонская литература оказывает сильное общественное влияние, которое Екатерина не может не считать вредным. Но и нападками на это умственное влияние, на тарабарщину мистических книг, ее сатира не ограничивается. У нее прорывается в конце концов настоящий и главный мотив: раздражение против общественной деятельности московского кружка. "Они в намерении имеют потаенно заводить благотво-

¹⁵ Калиостро был в Петербурге в конце 1779 г., увлек кое-кого из приближенных Екатерины (Елагина, гр. Строгонова), нарвался на скандал и в начале 1780 г. был выслан из столицы.

рительные разные заведения, как-то: школы, больницы и т.п., и для того стараются привлечь к себе людей богатых... дела такого рода на что производить сокровенно, когда благим узаконением открыты всевозможные у нас к таким установлениям удобства?"

Вот где основная причина недовольства Екатерины. Массонство есть независимая от ее контроля и влияния просветительная сила. Такая сила есть враг, с которым необходимо бороться серьезно. Циммерман спешил наперед похвалить Екатерину за то, что в этой борьбе она останется исключительно на почве литературной, что "вместо всякого законодательства она противопоставит заблуждающимся хорошую труппу комедиантов". Очевидно, при чтении посланных ему пьес он уже заметил, что этим дело может не ограничиться. В последней из них от бесильного смеха и вышучивания Екатерина прямо перешла к угрозам, более сильным, чем бывшие намеки "Всякой Всячины". "Как сведения доподлинно, колико его учение не сходствует с общим установлением, то достанется и тому, кто привез лжеучителя... совету тебе дружески: поезжай, брат, в деревню... хотя на время".

После разорения московских лож кружок друзей буквально последовал совету Екатерины. По донесению московского главнокомандующего, с этих пор "партия Новикова собирается приватно, чего и запретить невозможно, в виде приятельского посещения, вне Москвы, у кн. Н.Н. Трубецкого, в деревне, называемой Очаково". Запретить это, действительно, было трудно. Лиц Екатерина пока оставила в покое. Но на их дело она уже в 1787 г. наложила свою руку. Старый покровитель масонов гр. Зах. Чернышев в то время уже несколько лет как умер (1784). Его заменил нарочно выбранный Екатериной суровый надменный граф Брюс, Екатерина, очевидно, хотела смирить строптивую Москву. Идя ей навстречу, такие видные масоны, как Тургенев, Гамалея, Лопухин, оставили государственную службу. Вслед за тем 23 декабря 1785 г. Брюсу предписано было обривизовать московские школы и обратить особое внимание на направление, в каком преподается Закон Божий.

Через два с половиной месяца Брюс должен был составить описи "странных" книг, печатавшихся у Новикова, и отправить их для рассмотрения архиепископу Платону, который должен был также испытать Новикова в Законе Божиим. Известно, что и здесь Екатерина не встретила поддержки. Проэкзаменовав Новикова, Платон доложил императрице 15 января 1786 г., что "молит Бога, чтобы во всем мире были христиане таковые, как Новиков". Ответ Платона о книгах был прямо тенденциозен. Он отвечал Екатерине, как ответил бы и сам Новиков, что он знает только одни книги, развращающие нравы и подрывающие религиозные чувствования, — это "гнусные и юродивые порождения энциклопедистов", которые, действительно, "следует истор-

гать, как пагубные плевели". Еще раз императрица должна была убедиться, что она имеет против себя серьезную, тесно сплоченную и независимую группу людей. Этот поход на Новикова закончился тем, что из 461 описанной у него книги были найдены "сомнительными" 23, и из них 6 запрещенных. Изобразить Новикова "раскольником" не удалось. Но было ясно, что этим дело не кончится.

Обстоятельства складывались так, что все, что было враждебно Екатерине в России и за границей, принимало печать масонства. С началом второй турецкой войны (1787) испортились наши отношения к Пруссии и Швеции. Но государи обеих стран сильно покровительствовали масонам, и с масонами прусскими и шведскими у русских масонов в разное время существовали прямые сношения. Внутри самой страны имя наследника Павла постоянно связывалось с оппозиционными толками. Между тем у масонов с наследником тоже завязались сношения, положим довольно невинные. Как бы то ни было, Потемкин, по словам Лопухина, воспользовался слухами об этих сношениях, чтобы окончательно погубить масонов, а себя представить в роли спасителя престола. По верному замечанию Лопухина, держать постоянно в страхе императрицу прямо входило в интересы Потемкина, для поддержания личного положения. На этот раз, впрочем, явилось и объективное основание для всевозможных опасений. Этим основанием послужила конспиративная деятельность иллюминатов, с которыми смешивали намеренно или ненамеренно русских масонов. Всего этого было более чем достаточно, чтобы подготовить императрицу к самым крайним мерам против масонства. Остальное доделали слухи, один другого нелепее. Благотворительная деятельность мартинистов во время голода 1787 г. как раз совпала с блестящей поездкой Екатерины в Крым, долженствовавшей служить выставкой всеобщего благополучия в империи. Контраст был слишком разителен. Недоброжелателям мартинистов легко было установить мнение, что Новиков действует с намерением и, очевидно, хочет привлечь на свою сторону низшие классы народа. Павла сделают главой, великим гроссмейстером русской провинции масонства (это, действительно, имелось в виду) и помогут ему, опираясь на общее недовольство, взойти на престол. Екатерину устроят, как устранила она Петра III. Откуда возмут средства для всего этого? И тут ответ нашелся. Очевидно, масоны делают фальшивые ассигнации.

Как видим, тучи сгустились над кружком, и гроза готова была разразиться. На первых порах Екатерина запретила печатать духовные книги в вольных типографиях, и это подорвало материально предприятие Новикова. В 1791 году "Типографическую компанию" пришлось закрыть. Гораздо худшие последствия грозили лично Новикову и его друзьям, когда развернулись события французской революции. К ее влиянию на поведе-

ние Екатерины относительно общественного мнения мы теперь и перейдем.

БИБЛИОГРАФИЯ

Статистические данные о книгоиздательстве XVIII в. см. в книге Пекарского П, *Наука и литература в России при Петре Великом*, т. II (СПб., 1862) и в брошюре В.В. Сиповского, *Из истории русской литературы XVIII в.*, из Известий Отд. русск. яз. и слов. Имп. АН, т. VI, кн. 1 (СПб., 1901). О докладе Мелиссино см. Ф.В. Благовидова, *Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII в.* (Казань, 1900). Важнейшие сочинения о масонстве: М.Н. Логинов, *Новиков и московские мартинисты* (М., 1867). С.В. Ешевский, *Несколько замечаний о Новикове* и в "Русском вестнике", *Московские масоны* (1857 и 1864-1865); в Собрании сочинений, изд. 1870, т. III и в "Сочинениях по русской истории" (М., 1900). Н.С. Тихонравов, биографии Новикова и Шварца и *Новые сведения о Новикове* в Сочинениях т. III, ч. 1 и 2 (М., 1898). А.Н. Пыпин, *Русское масонство*, "Вест. Европы", т. II-IV (1867); *Русское масонство до Новикова*, "В.Е.", июнь и июль (1868); *Материалы для истории масонских лож*, "В.Е.", январь (1872). П. Пекарский, *Дополнения к истории масонства в России* в Сborn. русск. отд. Ак. Наук, т. VII, № 4 (СПб., 1869). (Здесь также хронологический перечень фактов и библиография.) *Повесть о самом себе* Елагина И.П. напечатана в "Русск. Архиве" (1864). Записки И.В. Лопухина в "Чтениях" (1860) и в Русском Архиве (1884). Тукалевский, *Искания русских масонов*, Журн. Мин. Нар. Пр., № 5 (1911), *Масонские труды* И.В. Лопухина, изд. Саводника (М., 1913). Я. Барсков, *Переписка московских масонов* (СПб., 1915); здесь напечатан дневник бар. Шредера, верившего и в делание золота, и в вызывание духов. Масонский период Новикова подробно изложен в упомянутой выше книге Боголюбова. Также Г.В. Бернадский, *Русское масонство в царствование Екатерины II* (СПб., 1917). О журналах Новикова см. Незеленова, *Н.И. Новиков* (СПб., 1875): книга, интересная выписками, но почти всегда неудачная по выводам. О философском преподавании в академиях см. С. Смирнова, *История московской славяно-греко-латинской Академии* (М., 1855), и Биография А.И. Кошелева (Колопанова), т. I кн. 1 (М., 1889). О параллельных явлениях западной литературы см. Гетнера, *История литературы XVIII столетия*, т. III и М.Н. Розанова, *Поэт периода бурных стремлений Яков Ленц* (М., 1901). Об отношении Екатерины к мартинистам, см. брошюру А.В. Себеки, *Русские розенкрейцеры и сочинения имп. Е. против масонства* (СПб., 1902). Здесь также сведения о рукописях Шварца, подтверждающие наш вывод о принадлежности ему статей в "Вечерней заре". Ср. также выписки в книге Незеленова Н.И., *Литературные направления екатерининской эпохи* (СПб., 1889). Тексты пьес Екатерины см. в Сочинениях имп. Екатерины II с примечаниями А.Н. Пыпина, академическое издание, т. I (СПб., 1901).

VIII

ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ И ПЕРВЫЕ КАРЫ

Градация предреволюционного настроения во Франции. — Отражение его в различных кругах русского общества. — Отношение молодежи и читающей публики. — Философские и политические идеи лейпцигского кружка. — Влияние немецкой университетской философии и французского материализма и сенсуализма. Эклектицизм кружка. — Источники трактата о смертности и бессмертии и неодинаковое отношение к ним Радищева. — Влияние политической жизни Запада; первая борьба. — Отношение к Маблю. — Настроение при возвращении домой и после. — История составления "Путешествия". — Ода "Вольность". — Печатание. — "Законность" — основной критерий "Путешествия"; бесправие — главное зло русской жизни. — Обращение к престолу. Царь и "истина" (сон). Свобода слова. — Проект социальной реформы (крестьянство и чины), вложенный в уста потомка Екатерины. — Отдаленные перспективы бунта. — Прием книги публикой и отношении Екатерины. — Отношение Екатерины к Франции, двору до революции; ее первые суждения о волнении умов во Франции. — Перемены тона после 14 июля. — Тревога по поводу радищевской книги как проявления московского оппозиционного духа. — Приговор и произведенное им впечатление. — Новые впечатления революции; попытки воздействовать на нее и эксплуатировать в свою пользу. — Нервное настроение; слухи об атентатах; разгром московских мартинистов. — Меры против "французской заразы". — Ода Карамзина; новое настроение. — Русская сцена как выражение настроения средней публики. — Народный элемент пьес: отношение театра к народу. — Националистические элементы в комедии. — Отрицательные типы комедии и их отношение к типам сатиры и к действительной жизни. — Положительные типы: отсутствие между ними представителей передовых течений; разница передовых взглядов и резонерской морали. — Взгляд на заграничное путешествие. — Попытки националистической теории. — "Антидот" Екатерины. — Колебания Щербатова. — Теория Болтина и ее преимущества перед национализмом.

С тех пор как "философам" просветительного века удалось добиться первой крупной общественной победы — отмены ордена иезуитов во Франции (1762), *религиозная* цель поднятого ими движения казалась в главном достигнутой. Общественный интерес обратился окончательно от вопросов терпимости и свободы мысли к вопросам *социальным* и *политическим*. Вместе с тем и влияние на общественное мнение перешло в другие руки. Мы говорили раньше, как уже с середины XVIII в. на помощь Вольтеру явились *энциклопедисты*, значительно поднявшие тон движения и увлекшие за собой самого Вольтера и "вольтерьянцев", включая и Екатерину II. С 1767 г. на смену "энцик-

лопедистов” являются *экономисты*, теоретики нового, более справедливого распределения общественных тягостей. По установившейся традиции, эти новые вожди общественного мнения еще посылали Екатерине свои сочинения. Но их она уже решительно не любила и читала только по особой рекомендации. Однако и на этой стадии движение не остановилось. После принципиального столкновения короля с парламентом (1771) и ”экономисты” были отодвинуты на второй план. Общественным мнением завладели *патриоты*. Это было новое наводнение брошюр и памфлетов, на этот раз вовсе не могших рассчитывать на одобрение и сочувствие Екатерины и оставшихся ей совершенно неизвестными. В противоположность теории божественного права, выдвинутой королем в его законодательном эдикте, эти памфлеты делали новые выводы из старой теории естественного права, — выводы Руссо и *Contrat social*. Верховенство принадлежит не одному человеку, а целой нации, не только до создания государства, но и *после* избрания народом властей — для контроля над ними. Законодательная власть не может принадлежать *одному* королю, а принадлежит ему *вместе* с народными представителями. Если акты королевской воли нарушают основные законы государства, то эти акты не могут иметь юридической силы. Против них нация имеет ”право сопротивления”. Это право было применено уже англичанами в их ”мирной” революции 1688 г. и с тех пор поставлено в правовом сознании Европы прочно и незыблемо на место всех ”ложных идей о пассивном повиновении, о божественном праве” и т.д.

Таким образом,⁴ общее настроение умов сделалось ”революционным до революции”. Уже в 1768 г. близкий впоследствии к Екатерине писатель, Гримм, характеризовал это настроение как беспокойное брожение, напоминающее эпоху реформации и ”предвещающее неизбежное наступление революции”. Очагом ее будет Франция, и она ”будет иметь перед прежними то преимущество, что осуществится без пролития крови”. В первые месяцы Людовика XVI (август 1774 г.) тот же Гримм, уже не столько с сочувствием, сколько с иронией замечает, что ”теперь нет такого школьника, который бы не проектировал, едва сойдя со школьной скамейки, новой системы государственного устройства; нет писателя, который бы не считал себя обязанным внушить земным властям, как лучше всего управлять своим государством”.

Гримм не ошибался, сравнив с реформацией новое движение, ”очагом которого была Франция”, но которое уже в подготовительной своей стадии сделалось таким же космополитичным, как французский язык и французские моды. Не было, казалось, такого захолустного уголка в Европе, где изумительные события, начавшиеся в Париже в 1789 г., не всколыхнули бы умов, не вызвали бы горячего отклика в сердцах. Но не было также и в Европе страны, которая была бы лучше застрахована

от действительного влияния революционных идей на жизнь, чем Россия. В России только что был достигнут кульминационный пункт в развитии тех самых рабовладельческих отношений и сословных привилегий, которым был нанесен французскими событиями такой решительный удар.

Императрица и русские дипломаты не упускали случая указать за границей на это особенное положение России. "Одни мы, из всех держав, можем не бояться Французской революции и не бороться с ней по отношению к нашим подданным", — говорил Марков прусскому посланнику. И сама Екатерина, еще после казни короля (апрель 1793 г.), доказывала английскому королю бескорыстие своей антифранцузской политики тем, что Россия, отдаленная от Франции огромным расстоянием, не может быть охвачена этой заразой. Сами про себя, однако, и императрица, и дипломаты думали совершенно иначе. Вот, например, полугневная, полуиспуганная тирада нашего посла в Лондоне, Семена Воронцова, в интимном письме к брату Александру (2 декабря 1792 г.): "Я вам говорил: это борьба не на живот, а на смерть между имущими классами и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то в конце концов они должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время: мы будем последние, но и мы будем жертвами этой эпидемии. Вы и я, мы ее не увидим, но мой сын увидит. Я решил научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному, что ли, или столярному. Когда его вассалы ему скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли, пусть он по крайней мере будет в состоянии зарабатывать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета в Пензе или в Дмитрове. Эти ремесла ему больше пригодятся, чем греческий, латинский и математика!"

Мы скоро увидим, что и Екатерина далеко не спокойно относилась к возможности влияния революционных идей на Россию. Но какие же реальные, объективные основания были для всех подобных опасений?

Здесь нельзя прежде всего не вспомнить знаменитого места мемуаров Сегюра, которое так часто цитировалось и толковалось историками. Речь идет о впечатлении, произведенном в Петербурге взятием Бастилии: "Новость быстро распространилась и была принята различно, смотря по положению и настроению каждого. При дворе она вызвала сильное волнение и общее неудовольствие. В городе впечатление было совершенно обратное. Хотя Бастилия не грозила никому из жителей Петербурга, я не могу передать энтузиазма, вызванного среди негоциантов, купцов, мещан (*les bourgeois*), нескольких молодых людей из более высокого класса падением этой государственной тюрьмы, этим первым триумфом бурной свободы. Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы — все посреди

улицы поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили от тяжелой цепи, сковывавшей их самих. Это увлечение (*folie*), которому я сам едва верю теперь, рассказывая это, продолжалось очень недолго. Страх скоро погасил первую вспышку. Петербург не был ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства”.

Должны ли мы верить тому, чему почти отказывается верить очевидец этих событий, — очевидец сильно предубежденный в пользу того впечатления, о котором рассказывает? Мы думаем, что скептицизм историков по отношению к свидетельству Сегюра едва ли был вполне основательным. Конечно, по словам самого Сегюра, радовались прежде всего *иностранцы*. Мы знаем, что их было немало в Петербурге. Когда Екатерина заставила впоследствии французов принести антиреволюционную присягу, их одних оказалось до полутора тысяч. Но, разумеется, не из одних иностранцев состояла та группа *горожан и купечества*, об особом интересе которой к парижским событиям Сегюр считает нужным специально упомянуть. Из того, что мы уже знаем, мы можем извлечь немало подтверждений в пользу того же самого наблюдения. Припомним оппозиционную роль городских депутатов в Комиссии. Припомним, что сама Екатерина характеризовала их настроение как стремление к “свободе”. Припомним, что именно в эту среду направлены были все просветительные усилия маленького ядра нашей тогдашней интеллигенции. Что эти усилия не остались без результатов, об этом может свидетельствовать одно любопытное показание “Почты Духов”, сатирического журнала, выходявшего как раз в один год с началом революции (1789). “Как, — спросил я, — кто ж у вас читает Платоновы сочинения о должностях: “Наставление политикам”, “О состоянии земледельцев” и “О звании вельмож”? Купцы и мещане, отвечал автор; а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шуточные басни”¹. Пусть это свидетельство несколько тенденциозно, может быть даже, неоригинально. Во всяком случае, характерна самая тенденция. Мы знаем и от Новикова, что “господчики из *высшего* класса предпочитали французские книги русским, и мы можем предположить, какого рода книги это были. Исключение, конечно, надо сделать — для очень небольшого числа высокопоставленных фамилий, дети которых воспитывались на серьезной французской литературе хорошими педагогами. В этой тесной общественной группе иногда тоже воспитывалось чувство свободы; они тоже иногда негодовали на произвол, но их негодование было совсем особого свойства. Маленькая бытовая сценка

¹ Цитата взята как раз из статьи, от которой потом косвенно отрекся Крылов, напечатав против нее возражения: таким образом, если участие Радищева в журнале будет доказано, статья может оказаться принадлежащей ему (не переводной ли?).

из жизни этой золотой молодежи Петербурга нам это покажет лучше длинного рассуждения. Le charmant prince Boris Golitsine ввел новую моду на галстуки выше подбородка и шляпы конической формы. Это был "якобинский покррой", и императрица его скоро запретила. "Но наши молодые люди, несмотря на (вторичное) запрещение, одеваются по-прежнему, и когда в последнее воскресенье графиня Салтыкова хотела призвать своего племянника к благоразумию, он так громко стал кричать о свободе, что она убежала со всех ног — со страху, не кроется ли в семье Голицыных зерно какой-нибудь революции".

Если даже воспитательное влияние западной литературы шло иногда глубже у членов этой правящей группы, то результаты его редко оказывались благоприятными для самых идей Запада. Здесь, в этом общественном слое, привыкшем стоять близко к власти, чаще всего и прочнее всего прививались идеи национального самовозвеличения, так тесно связанные с направлением внешней политики Екатерины. Отсюда выходили такие типичные националисты и враги Запада, как Ростопчин или Семен Воронцов. Конечно, парижские события лицам этого типа были известны ближе и лучше, чем большинству петербургских "буржуа". Но они вызывали здесь настроение, далекое от всякого сочувствия. "Увлечаться" примером Франции способны были здесь разве отдельные юноши, вроде сына известного нам масона Строганова, воспитанного будущим монтаньяром, Роммом, и введенного им в члены якобинского клуба. Любопытно, однако, что и в этом единственном известном нам исключении из общего настроения высшей дворянской молодежи мы можем предположить культурную семейную традицию.

Указание Сегюра на "несколько молодых людей из более высокого класса" (*d'une classe plus elevee*) как на средоточие интеллигентных симпатий к Французской революции очень ценно и метко. Но этот "более высокий класс" не есть самый высокий. Мы имеем дело, очевидно, опять с тем средним дворянством², в среде которого развивались и другие, уже известные нам движения русской интеллигентной мысли. Так, правдивый рассказ Сегюра приводит нас к тому же пункту в истории русской общественности, на котором мы остановились раньше.

² Есть и прямое подтверждение свидетельства Сегюра о симпатии к революции в этих кругах. Секретарь императрицы Соймонов — тот самый, который делал для нее выписки из законов по блэкстоновским рубрикам, — вернувшись однажды домой осенью 1789 г., то есть месяца два после взятия Бастилии, застал у себя целую иллюминацию, множество зажженных свечей. Семилетняя девочка, его дочь (впоследствии госпожа Свечина), на вопрос отца, зачем она зажгла свечи, отвечала: "Но папа, разве не нужно было отпраздновать взятие Бастилии и освобождение этих бедных французских арестантов?"

Настроение большинства этой интеллигентной молодежи нам уже достаточно ясно. Мы знаем, что по отношению к общему мировоззрению эта молодежь отшатнулась от крайних выводов французского философского радикализма и искала нравственного успокоения в примирении своих религиозных запросов с прогрессивными течениями века. От политического радикализма это молодое поколение было еще дальше, чем от философского. Когда из его среды один (Радищев) увлекся политическим радикализмом, то ближайший друг его, сторонник известного нам религиозно-моралистического направления, посланный новиковским кружком за границу, Кутузов, счел своим долгом провести самую резкую границу между своими взглядами и взглядами приятеля, с которым связывала его двадцатилетняя дружба. "Вы знаете мои правила, — пишет он одному из главных членов новиковского кружка, кн. Н.Н. Трубецкому, — известно вам, что я великий враг всякого возмущения и что я не перестану никогда твердить, что критика настоящего правления есть непозволительное дело и нимало не принадлежит к литературе". И другой член того же кружка, известный нам И.В. Лопухин, пишет Кутузову: "Я слышу очень мартинистом, от природы очень нелюбостыжателен и охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного. Но при том молю и желаю, чтобы никогда в отечество не проник тот дух ложного свободомыслия, который сокрушает многие в Европе страны и который, по мнению моему, везде губителен". И мы увидим, что при всем своем радикализме, в сущности, и сам Радищев не разрывает принципиально с теми понятиями о пределах дозволенного в литературной и общественной деятельности, которые приняты в кружке.

Как бы то ни было, мы должны теперь ближе познакомиться с источниками и характером этого *другого* направления в истории русской общественной мысли конца XVIII столетия. Факт существования его был бы сам по себе характерен даже в том случае, если бы верно было заявление, сделанное Радищевым на допросе, — что он "общников не имеет" и что напечатанная им книга по трудности слога и отвлеченности содержания не может найти себе читателей, ибо "народ наш книг не читает". В буквальном смысле это, конечно, было совершенно верно. Но мы только что слышали, и, может быть, из уст самого Радищева, несколько иное утверждение — об интересе "купцов и мещан" к сочинениям на подобные философские и общественные темы. Если бы мы даже не имели этого свидетельства или не поверили ему, — факты могли бы дать нам дополнительные подтверждения. Мы знаем, что та самая книга Радищева, о которой идет речь, сразу "начала входить в моду у многих шали". "По счастью, скоро ее узнали (то есть власти)", — прибавляет сообщивший нам этот факт канцлер Безбородко. И когда "узнали" книгу и остановили продажу, то, по другому известию,

"купцы" (опять купцы!) готовы были платить по 25 руб. (впятеро более на дореволюционные деньги) за то только, чтобы получить книгу на самый короткий срок. Через три года другая "пропавшая книга", известная трагедия Княжина ("Вадим"), целый десяток дней мирно покоившаяся на полках книжных магазинов, сразу была расхватаана в сотнях экземпляров, как только в публике узнали, что она запрещена. Но мало того что мы, таким образом, достоверно узнаем, что у Радищева были "общники" и была симпатизировавшая ему аудитория, довольно значительная по тому времени. У него было еще *потомство*, к которому он не напрасно апеллировал. Его книга явилась первым звеном в длинной цепи непрерывной и богатой фактами традиции и уже поэтому заслуживает самого пристального внимания в истории русской культуры.

Радищев был не один также и в том смысле, что он был членом тесного кружка товарищей, вкусы и взгляды которых развились в одинаковом с ним направлении благодаря особенно благоприятным условиям. Этот небольшой кружок молодежи волей Екатерины был поселен на несколько лет в культурной германской среде — в Лейпциге. Екатерина хотела создать из них себе образованных юристов, способных исполнять ее законодательные проекты, которыми она тогда увлекалась. Радищев пробыл в лейпцигском университете пять лет (1767-1771) и испытал целый ряд просветительных влияний, которых не могла дать тогдашняя Россия. Главой кружка, впрочем, был не он, а старший товарищ Ф.М. Ушаков, добровольно бросивший хорошо начатую службу и карьеру и, из чисто идейных побуждений, вернувшийся на школьную скамью. Ушаков лучше младших своих товарищей владел и языками (немецким и латинским), так что, само собой, сделался их руководителем в университетских занятиях и в самообразовательном чтении. Первые шаги будущего писателя под этим руководством особенно интересно проследить, так как ими определилось все его дальнейшее направление.

"Все почти юноши, мыслить начинающие, любят *метафизику*; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, *народным правлениям* приличных". В этих словах сам Радищев чрезвычайно метко резюмировал философские и общественные симпатии своего кружка. Последуем его указаниям в том и другом направлениях.

В философском отношении Радищев попал в ту самую атмосферу, которую мы характеризовали выше. Это была атмосфера университетского преподавания, умеренного и эклектического. Влияние германской университетской философии и было первым сильным влиянием, которое легло в основу его будущего мировоззрения. Один новейший исследователь определил усвоенный Радищевым философский идеализм как учение Лейбница. Этот вывод приходится, однако, несколько исправить при

более близком изучении вопроса. Нет никаких оснований думать, чтобы Радищев был знаком с сочинениями самого Лейбница. Конечно, идеи Лейбница вошли в состав философских воззрений Радищева, но не в большей степени, чем они вообще входили в состав тогдашних эклектических университетских систем. Известный запас философских идей успел сделаться *общим местом* университетского философского преподавания: и эти-то идеи усвоены были прежде всего кружком Ушакова и Радищева. Лейбницианские элементы были в том числе, и наши студенты *должны* были с ними столкнуться, слушали ли они лекции своего профессора Платнера, или учили рекомендованный им учебник ("Введение в философию") выдающегося голландского математика с'Гравесанда, или читали только тогда выходявшие и производившие фурор произведения Мозеса Мендельсона, Бонне или Галлера. Самые плодотворные и глубокие идеи системы Лейбница (как идея непрерывности, отрицание картезианского дуализма духа и материи, лестница постепенно совершенствующихся психофизических организаций) во всех этих книгах уже успели получить дальнейшую обработку и циркулировали большею частью без имени автора. А специфически лейбницевские идеи, наиболее популярные и сомнительные (как "предустановленная гармония" или "наилучший из миров"), фигурировали уже в роли исторических пережитков и никого из молодежи особенно заинтересовать не могли.

Гораздо привлекательнее для нее были философские произведения другого типа — французские материалистические и сенсуалистические системы. В университетских сферах на эти произведения смотрели свысока; зато ими зачитывались в большом свете. Отсюда, из этого большого света, и притом из русского, и посчастливилось нашей молодежи в Лейпциге получить толчок к изучению французских философов. Какой-то заезжий важный барин познакомил Ушакова с Гельвецием. Книга Гельвеция ("De l'Esprit") сразу перевернула все направление интересов кружка. Ушаков первый прочел ее подряд четыре раза и почувствовал в себе "неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение, непреодолимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов". Другими словами, Ушаков изменил метафизике и всевозможным теориям "influxus physicus" и "causae occasionales", чтобы всей душой предаться эмпиризму. Надо думать, этот же переворот толкнул Радищева к изучению физиологии и медицины.

Однако же, и занятия над учебником с'Гравесанда не прошли даром. При всем увлечении Гельвецием Ушаков на первых же страницах "De l'Esprit" почувствовал, что не все обстоит благополучно в сенсуализме нового учителя. Он принялся писать возражения на Гельвеция, и хотя его работа не пошла дальше первых шестнадцати страниц "De l'Esprit", но для нас и

этого совершенно достаточно, чтобы определить общий смысл разногласия и характер ушаковских возражений. Гельвеций выводит здание своей психологии исключительно на фундаменте "телесной чувствительности", причем роль этой чувствительности является совершенно пассивной. Она или "принимает ударения внешних предметов", или "хранит сделанное на чувства ударение". Ушаков старается доказать, по с'Гравесанду, что, напротив, роль психики *активная*; что *идея* предмета отнюдь не похожа на самый предмет, то есть *не материальна*; что работа разума заключается в активных чисто психических и сознательных операциях: *сравнении* и дальнейшей (логической) обработке материала, доставленного чувствами. Это, однако, не мешает Ушакову — как не мешает и с'Гравесанду — оставаться верным главнейшим приобретениям английской эмпирической психологии. Он сомневается в существовании или "хранить сделанное на чувства ударение". Ушаков старается "без причины", во имя детерминизма. Он, по-видимому, не признает также и бессмертия души, и "нисходя в гроб"³, за оным ничего не видит".

Как видим, опустошения, произведенные философией в традиционных "понятиях о священных вещах", были у вожда лейпцигского кружка гораздо значительнее, чем у молодежи, увлекавшейся в России французскими теориями. Но и у Ушакова дело не обошлось без компромисса с идеализмом, правда компромисса, тоже основанного на философском изучении. Как далеко пошел в этом отношении Радищев?

Для ответа мы должны будем перенестись к 1792 г., когда Радищев писал (в Сибири) свой философский трактат "О человеке, о его смертности и бессмертии". Несмотря на четверть века, которая отделяет этот трактат от первых впечатлений семнадцатилетнего Радищева в Лейпциге, в трактате сохранились самые живые следы лейпцигских занятий и чтений.

"Смертность" и "бессмертие" — в борьбе этих двух противоположных понятий заключается биографический и культурный интерес трактата. На Радищева, как и на Ушакова, французский сенсуализм и немецкий идеализм произвели почти одинаково сильное впечатление. Но в последнюю минуту идеализм перевешивает, по соображениям моральным. "Возвесь по силе нашей обе противоположности, я вам оставлю выбрать, любезные мои, те (доводы), кои наиболее имеют правдоподобия или ясности, *буде не очевидности*. А я, лишенный вас, о друзья мои, последую мнению, *утешение* вливающему в душу скорбящую" (то есть мнению, что душа бессмертна).

Обе половины аргументации в трактате Радищева — и за "смертность", и за "бессмертие" — не оригинальны. Своим ру-

³ Ушаков умер 23 лет, еще в Лейпциге (так в подлиннике).

ководителем при доказательстве "смертности" человека Радищев избирает Гольбаха ("Système de la Nature"). При доказательстве бессмертия он пользуется знаменитыми "разговорами" Мендельсона, повлиявшими, как мы упоминали выше, и на трактат Шварца ("Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele"). Но степень зависимости в обоих случаях разная. Решение в пользу "смертности", очевидно, привлекало внимание Радищева в гораздо большей степени, чем решение в пользу "бессмертия". И разобраться в доказательствах "смертности" было для него важнее. Поэтому здесь хотя основная нить рассуждения, все главные мысли и многие отдельные места прямо взяты из Гольбаха, тем не менее видны и постоянные следы личных усилий мысли. Для доказательства и развития положений Гольбаха Радищев часто прибегает к упоминавшейся раньше немецкой философской литературе. Надо заметить, что вообще Радищеву бросалось в глаза не столько коренное различие между Гольбахом и лейбницанцами, сколько общее тому и другим стремление к философскому монизму. У самого Гольбаха Радищев находит главное возражение Лейбница против картезианского дуализма материи и духа: то возражение, что материя не может считаться инертной и мертвой и на *этом* основании противопоставляться "духу", что между материей и духом есть промежуточное соединяющее их понятие *силы*. Радищеву этот основной аргумент Гольбаха известен и от немецких лейбницанцев, и это помогает ему усвоить и развить идею о материи-силе, которую готов был отвергать еще Ушаков, столкнувшись с ней у Гельвеция. У Гольбаха Радищев мог найти и дальнейший, уже чисто материалистический вывод из понятия о материи-силе: тот вывод, что и сама "чувствительность" есть лишь одно из неизвестных пока *свойств материи*. Но *это* положение Гольбаха Радищев уже прямо видоизменяет по-своему. Чаще всего он формулирует его так, что "чувствительность" оказывается *не* свойством материи, а *функцией организации* — чего не отрицают и его немецкие авторитеты: с'Гравесанд, Платнер, даже Бонне.

Пойдем дальше. Следующая основная мысль системы — та, что *функция* неразрывно связана с органом, психика — с физиологией. Эта мысль опять-таки очень сильно подчеркивается и Гольбахом. Гольбах показывает и то, как психика растет и разрушается вместе с органом, в какой тесной зависимости она находится от среды и внешних условий. Но и тут Радищев вносит в аргументацию Гольбаха еще более заметный немецкий оттенок. Гольбах настаивает на *тождественности* материала, из которого одинаково созданы как высшие, так и низшие организации в природе. Радищев подчеркивает различие и постепенное *совершенствование структуры* по мере перехода от низших к высшим формам. Гольбах старается обнаружить во всем разно-

образии явлений одни и те же *элементарные* стихии и силы — только все с большим и большим участием "огня", как животворящего элемента. "Огонь", "электрическая" и "магнетическая" сила и у Радищева играют роль. Но ему мало для объяснения мировой жизни этих оживляющих и усложняющих элементов. Он интересуется прежде всего самим *процессом* мировой жизни. Он набрасывает такую картину *развития* непрерывной цепи существ, начиная с минералов и кончая человеком, которая в *тогдашней* литературе ближе всего напоминает "Contemplation de la Nature et Considérations sur les corps organisés" Бонне⁴. Он преследует, таким образом, скорее идею психофизиологического параллелизма, чем материального тождества между духовной и материальной стороной явлений природы. Подчеркивая все эти оттенки, в которых скрывается его личное понимание теории "смертности" души, Радищев всюду старается пополнить Гольбаха онтогеническими и филогеническими данными тогдашних экспериментальных наук. Заметим, что в одном случае он, характерным образом, охотнее ухватывается за мнение Гольбаха (в противоположность Гельвецию): это там, где Гольбах отрицает первоначальное равенство и одинаковость психического склада всех людей. Люди являются на свет с *различными* задатками. Это, конечно, еще не предполагает веры во *врожденность* идей, но прямо вытекает из факта различия человеческих организаций. Первоначальное *неравенство* признавал уже Ушаков (у Гольбаха, как известно, из неравенства людей выводится потребность людей друг в друге и, следовательно, происхождение общества). Наконец, с тою же целью, как Ушаков, — то есть с целью показать *активность* разума, — Радищев обогатил свой трактат элементарными психологическими и логическими сведениями, какие он мог получить из университетских руководств — из "Введения" с'Гравесанда так же, как из "Философских афоризмов" Платнера.

Таким образом, отдел о "смертности" в редакции Радищева является, несмотря на всю близость к Гольбаху, значительно и как бы невольно смягченным под влиянием привычек мысли, приобретенных на немецкой философской литературе. Неверую-

⁴ При живом и сильном взаимодействии главных представителей философской и научной мысли XVIII в. нелегко было бы указать, чем Радищев обязан *именно* Бонне. Но если вообще Бонне имел на него влияние, то, конечно, этими двумя наиболее знаменитыми своими произведениями, в которых он старается держаться на почве психофизиологии. Любопытно, что новиковский кружок предпочитал, по-видимому, позднейшее и более слабое, по мнению самого Бонне, произведение: "Palingénésie philosophique", — которое Карамзин даже принимался переводить по-русски в присутствии самого Бонне. Причина предпочтения понятна: в "Палингенезии" Бонне особенно внимательно остановился на идее совершенствования живых существ в будущей жизни.

щий у Радищева не есть, строго говоря, ни материалист, ни атеист⁵.

Несмотря на материалистические аргументы, которые он выдвигает, между строк можно прочесть — а в конце отдела это сказано и прямо, — что, собственно, он не верит не столько в существование вечности духовной субстанции вообще, сколько в то, что эта субстанция по смерти тела может сохранить свою сознательность и человеческую индивидуальность. Другими словами, он сомневается только в *личном* бессмертии.

Переходим к отделу о "бессмертии". Здесь Радищев гораздо больше полагается на своего руководителя, Моисея Мендельсона, и передает основное содержание "Федона" отчасти в сокращенном пересказе, отчасти даже в буквальном переводе. Диалогическую форму он отбрасывает, но сохраняет сократический прием Мендельсона — развивать мысль путем ряда альтернатив. В подлиннике — две существенные части: Сократ сперва доказывает бессмертие духа вообще, потом бессмертие *личного духа* человеческого Радищев, характерным образом, ступенчато делает этот переход, подчеркивая только, что первые аргументы обращаются к уму, тогда как последние — *к чувству и к сердцу*. Для ума остается аргумент, что в природе ничто не уничтожается, а следовательно, и духовная субстанция; что изменяться, то есть слагаться и разлагаться, может только *сложное*, но дух нельзя представлять ни сложным, ни продуктом или функцией сложного. Самое понятие сложного (например, гармонии, пропорций и т.п.) в природе не существует и предполагает существование мыслящего и сравнивающего разума, следовательно, есть следствие, а не причина существования духа. Продуктом сложного действия более элементарных (материальных) сил дух тоже не может быть, так как психическое не может создаться из суммы непсихических ингредиентов. Равнодействующая не может быть *качественно* различна от создающих ее отдельных сил. Для *чувства и сердца* предлагается другое соображение. Непрерывная цепь бесконечно совершенствующихся существ в мире сама по себе заставляет предполагать, что мир подготавливается, *воспитывается* для какой-то высшей цели. Если так, то бессмысленно было бы допустить смертность высшего типа, достигнутого природой в ее развитии. Это было бы крупным падением вниз с достигнутой высоты. Мы знаем, что именно эта часть диалога Мендельсона особенно пригодилась для Шварца и что он охотно принял неизбежный вывод — дальнейшее совершенствование человека в мире высших духов. Вывод этот принимает и Радищев. Надо вообще заметить, что

⁵ С классическим образцом тогдашнего материализма, сочинениями Ламетри, по-видимому, Радищев не был знаком непосредственно, хотя и упоминает о них. Вероятно, он знал резкие отзывы о Ламетри своего учителя Галлера. Бонне пользовался Ламетри, по возможности не упоминая о нем.

Радищев вместе с Бонне понимает лестницу постепенно совершенствующихся типов и организаций не в смысле современной нам науки, то есть не как продукт их мировой *эволюции*, а как продукт *преформации* (то есть заранее, предвечно установленной смены форм в известной последовательности). Но в этом "царстве неиспытанного", где так привольно чувствовал себя Шварц — и, вероятно, друг Радищева Кутузов, — Радищев чувствует себя как-то неловко. Это — "область догадок", а не "действительности"; область "стихотворческого воображения", а не "остроумного размышления". И Радищев спешит спуститься на твердую почву. Вместо того, чтобы последовать за Мендельсоном в его "полете" и кончить трактат на самых высоких нотах, Радищев вдруг вспоминает, что у него есть еще третий ряд аргументов в пользу самостоятельности духа — известные уже нам аргументы с'Гравесанда и Ушакова. И он прибавляет их наблюдения над активностью духа в психологических и логических операциях. Далее, он спускается еще ниже: он возвращается к своей любимой психофизиологии, которой и раньше не упускал воспользоваться, для амплификаций на темы Мендельсона. Он заговаривает о сне, о лунатиках, о психических болезнях — в доказательство господства духа над телом! Таким образом, и в этой части трактата, с противоположного конца, Радищев приходит к тому же центру тяжести своей мысли, к которому отклонялась его материалистическая аргументация. Религиозный трансцендентализм Мендельсона и материалистический сенсуализм Гольбаха примиряются у него в своего рода критическом эмпиризме.

Не менее обильным источником возбуждения послужила для лейпцигского кружка *политическая* жизнь и теория Запада. Радищев с товарищами попал за границу как раз в то время, когда настроение просветительного века, под влиянием текущих событий, быстро превращалось в революционное. И уроки жизни не прошли даром для кружка. Отголосок того, какое впечатление произвели на кружок события текущей общественной борьбы, можно видеть в полушутливых, полусерьезных выражениях, в каких Радищев изобразил нам собственную борьбу — свою и своих приятелей — с официальным их начальником, взяточником, глупцом и невеждой Бокумом. "Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возомнил, что он не для нас с нами; что власть ему данная над нами и определенные деньги — не на нашу были пользу, но на его..." "Те, кои из нас были постарее... делали ему весьма кроткие представления, — гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные — как то бывают и парламентские, — а не ото всех, то Бокум отвергал их только же самосластно, как и король французский, говоря своему народу: в том состоит наше удоволь-

ствие (*tel est notre plaisir*). Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти (Радищеву, очевидно, рисуется тут *lit de justice*)..." "Подобно, как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начались сходбища, частые советования, предприятия и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях. Тут отважность была похваляема, а робость молчала. Но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая".

Как видим, студенческие волнения лейпцигской молодежи очень помогали ей понять предреволюционное настроение Парижа⁶.

Английские политические перевороты XVII в. и особенно второй из них — "мирная" революция 1688 г., вызывали у наших студентов особый интерес, очевидно, не без влияния тогдашней памфлетной литературы. "Если бы смерть тебя (Ушакова) не восхитила из среды друзей твоих, — предполагает Радищев, — ты, конечно, о божественная душа, прилегался бы к языку сих гордых островитян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей (Кромвелем), царю своему жизнь отъяти покусились судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследственного своего царя (Якова II), избрав на управление постороннего; кои, при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, — и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовать державной власти и оную *побеждать законно*".

Для боевого настроения этих годов Руссо уже казался слишком отвлеченным, а Монтескье — слишком оппортунистским. Нужен был писатель, который соединил бы принципиальность первого с практичностью второго. Этой потребности момента как нельзя лучше удовлетворил Мабли. Он сумел выставить такую теорию народного верховенства, которая не требовала постоянного присутствия верховного народа *en personne* при выполнении народной воли; и он сумел быть практичным, не опускаясь до восхваления английской аристократической конституции. Он удовлетворялся представительством, но требовал, чтобы представительство было демократично и чтобы перед ним преклонялись его исполнительные органы. Мабли-теоретик представительных собраний будущей революции был настоящим человеком положения. Этим объясняется его огромное значение и слава в то время и его забвение следующими поколениями.

⁶ "Житие Ушакова", из которого взяты эти цитаты, напечатано было в Петербурге в 1789 году.

Если в философии немецкие авторитеты успешно соперничали с французскими в умах лейпцигской молодежи, то в политике французское влияние господствовало безраздельно, а Мабли был последним словом французской политической науки. Русские студенты решительно отказались слушать курс немецкого профессора Бёме по международному праву, заявив, что будут лучше читать "Droit public de l'Europe" Мабли — сочинение, признанное классическим "по мнению всего света", и, "конечно, более содержательное, чем какие бы то ни были лекции". Одно из сочинений Мабли Радищев сам перевел для новиковского "Общества, старающегося о напечатании книг", которому покровительствовала Екатерина. Это были "Размышления о греческой истории", напечатанные в 1773 г., — далеко не самое яркое, но все же весьма характерное для Мабли произведение. Соответственно своим теориям о равенстве имуществ и национализации земли Мабли идеализирует здесь Спарту и Ликурга, афинскую демократию обвиняет в изнеженности и распущенности, как результатах социального неравенства; искусную политику Филиппа Македонского осуждает, потому что она была направлена не на восстановление греческой федерации, а на удовлетворение личного эгоизма и тщеславия; завоевания Александра считает безумством, заранее обреченным на неудачу и заслуживающим ненависть человечества. К тексту Мабли Радищев прибавил свои примечания, в которых вполне принимает точку зрения естественного права на верховенство народа над монархом.

По поводу слова *despotisme*, которое он перевел термином "самодержавство", Радищев замечает, что это "наипротивнейшее человеческому естественное состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти, но ниже закон — извет общие воли — не имеет другого права наказывать преступников, опричь права собственные сохранности. Если мы живем под властью законов, то сие не для того, что мы оное делать должны неотменно, но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашей природной власти, то дабы она употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности. Неправосудие государя *дает народу*, его судии... над ним *право*, какое ему дает закон *над преступниками*. Государь есть первый гражданин народного общества". Конечно, эти идеи Радищев мог взять также из Гольбаха и Руссо.

Однако же, в нескольких существенных пунктах лейпцигский кружок не разделял учений Мабли. Русская молодежь осталась верна Гельвецию и Гольбаху в вопросе о происхождении морали. Материалистический сенсуализм выводил ее исключительно из закона самосохранения и из "физических" потребностей человека. "Любовь самого себя или своего благосостояния

есть основание всех человеческих деяний...” Воля есть потребность “избирать состояние, счастливейшим почитаемое...”. “Добродетелью я называю навык действий, *полезных* общественному благу”. Создать этот навык — дело общества и законодателя, который для того и получает от общества “верховную власть”, чтобы “направлять все отдельные воли и силы к общественному благу”. Средство для этого — “учреждение наказаний и награждений”. Все эти характерные для французского “натурализма” утверждения мы встречаем уже в сочинениях Ушакова. Как известно, со стороны Мабли все они вызвали решительные возражения, направленные против “экономистов”, как сторонников тех же “натуралистических” учений. Мабли не признал также и того, чтобы в теории общественного строя, созданной “экономистами”, найден был ключ к гармоническому примирению личных инстинктов с общественным благом. Он, напротив, утверждал, что их основной принцип, признание земельной собственности и вытекающего отсюда неравенства, есть источник всех антиобщественных инстинктов, что “культура земли” не есть культура людей и что производство наибольшего числа ценностей не тождественно с созданием наибольшего количества счастья. Лейпцигской молодежи, по-видимому, коммунистические учения Мабли казались утопией. “Образ *всякого* правления, — говорит Ушаков, — влечет за собой неравенство имений. Монархическое тем и существует, аристократическое оного отвергнуть не может, в демократическом *хотя бы надлежало* быть равенству имений, но, судя с точностью, не может быть *истинной* демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может, и по мнению г. Руссо, сделать народа счастливым, по склонности своей к возмущениям. Опыт всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оного производит, с одной стороны, нищету, а с другой — роскошь”.

Таким образом, русские студенты остановились в нерешительности перед крайними выводами европейского политического (так же, как и философского) радикализма. В сущности, сами их авторитеты еще не стояли твердо на этой крайней точке зрения. У того же Гольбаха они могли найти немало мест, возвращавших их в политике к любимой идее XVIII в., к идее “философа на престоле”, который придет и все устроит. “Государя часто потому лишь управляют произвольно, что они не знают истины; они ненавидят истину, потому что они не знают ее неогценных преимуществ”. Мудрый государь “никогда не станет ревниво оберегать свой безграничный авторитет: он пожертвует частью его, чтобы вернее сохранить то, что ему останется” (Гольбах).

Мы опять вернулись с этими словами на точку зрения разговоров Дидро с Екатериной. Возвращаясь в Россию, в 1771 г.

лейпцигские юноши имели полное основание стоять на этой точке зрения. Они ехали домой, полные энтузиазма, полные надежд и ожиданий. Радищев нам живо изобразил это настроение. "Вспомни, — обращается он к Кутузову, — нетерпение наше — видеть себя паки на месте рождения нашего, вспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто, бесстрастный, ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, — для того не хочу я марать бумаги. Но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, — тот, скажу, не знает сердца человеческого".

Что нашли они по возвращении? Мы знаем, это был еще период "недоразумения". Но на эффектной декорации, должествовавшей изображать "блаженство всех и каждого", уже начинали обнаруживаться швы и белые нитки. Своя, не ездившая за границу, молодежь не унывала и не складывала рук. Потеряв надежду на журналистику, она обратилась к просветительной и благотворительной деятельности. Перспективы сузились, но зато выиграли в наглядности, в осязательности. Притом же новая работа так хорошо совпадала с новым религиозно-моралистическим мировоззрением, осмысливавшим цели этой работы, поддерживавшим одушевление. Приехавшей из-за границы молодежи всего этого было мало. Недаром же открылись ей на Западе такие широкие горизонты, недаром она чувствовала себя такой сильной, такой способной принести настоящую пользу. Понятно, что и разочарование ее было гораздо сильнее. Ее готовность на подвиги самопожертвования никому не понадобилась; а перед муравьиной работой, которую делали ее сверстники, у нее опускались руки. "Признаюсь, — продолжает Радищев в только что цитированном месте, — и ты, мой друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило. О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, колико кратно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смилив его, нередко навеки соделаете калекою".

Большинство товарищей, действительно, замолкло "навек" после возвращения на родину. Но Радищев не "смирился" и "калекой" не сделался. Он "воспрянул от уныния", овладевшего друзьями после возвращения, "почувствовал, что возможно *всякому* (то есть во всяком общественном положении) быть соучастником в благоденствии себе подобных", действуя на разум людей путем печатного слова. Он ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться "*зablуждению*", — которое философами XVIII в. всегда считалось главной причиной "страданий человеческих", — и написал свое "Путешествие".

Историю знаменитой книги Радищева, после новых исследований, можно начинать почти со времени его возвращения из-за границы. Сам Радищев признал, что *форму* своего "Путешествия из Петербурга в Москву" он заимствовал из "Сентиментального путешествия" Стерна, ознакомившись с немецким переводом этой книги, появившимся в 1768-1769 гг. Что касается *содержания* его книги, о ней дает понятие причинивший много хлопот его исследователям "Отрывок путешествия в ...", напечатанный Новиковым в "Живописце" (1772) под инициалами И.Т. Можно считать теперь доказанным, что этот отрывок, описывающий ужасное положение *крестьян*, принадлежит Радищеву. В третьем издании "Живописца" (1775) Новиков обещал читателям, что "продолжение сего Путешествия будет при четвертом издании сей книги", — обещание, оставшееся неисполненным, но свидетельствующее о намерении автора. В промежутке, в 1773 г., как мы знаем, Радищев фигурирует в роли переводчика Мабли. Приведенное выше его примечание о "*самодержавстве*" характеризует другую главную тему его знаменитой книги.

Роль Новикова в издании этих произведений Радищева объясняется тем, что именно в эти годы Радищев сошелся с масонским кружком друзей Новикова, хотя и не бывшего тогда масоном. В 1773 г. он посещал ложу "Урания". Основные принципы масонства Радищев разделял, как видно из того, что в своей статье "Беседа о том, что есть сын отечества" он популяризирует главные положения масонского устава, принятого на Вильгельмсбадском конвенте 1787 г. Но в общем, он относился к масонству так же, как Новиков, то есть с большой осторожностью — и с полным отрицанием алхимических и спиритических упражнений розенкрейцеров, которые он считал возвращением к "временам схоластики" и "ниспусканием разума в туманы предрассудков и суеверия". Отметим еще, что первые шаги писательской деятельности Радищева обратили на него внимание либерального оппозиционного кружка гр. А.С. Воронцова, кн. Дашковой и др. С 1777 г. начинается покровительство ему Воронцова, устроившего его ассессором в коммерц-коллегию, где он был президентом, а затем в петербургскую таможню на место помощника управляющего (1780), потом и управляющего (1790).

Женитьба Радищева (1775) отвлекла его на время от начатых уже работ. По его показанию, он тогда "наслаждался действительным блаженством, не занимаясь ничем более, как домашними делами". Но чтение книги Рейналя⁷ вновь возбуждает в нем умственный интерес и писательские стремления (1780). В

⁷ Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, первое издание в 1772 г., второе в 1774 г., третье в 1780 г., уничтоженное в 1781 г.

это время (1781-1783) написана им та ода "Вольность", которую в сокращенном виде он приложил к "Путешествию". В ней имеется несомненное заимствование из другой книги Рейналя "Révolution en Amérique", вышедшей в 1781 г. и давшей Радищеву главную тему для этой оды: восхваление американской революции, которое он связал с реминисценциями из истории английской революции XVII в. До начала Французской революции было еще далеко, и Радищев дал полную волю своим радикальным воззрениям, которые мы уже знаем из примечания на Мабли. В стихотворной форме эти идеи и настроения получили очень яркое выражение, соответствовавшее эмоциональному темпераменту Радищева. Контраст между событиями, воспеваемыми Радищевым, и тем, что происходит на его родине, подчеркивается в первых же строках оды:

О дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раба тебя воспел.

Там, на Западе, осуществляется основной принцип естественного права:

Для пользы общей нет препон;
Во власти всех свою зрю долю,
Свою творю, творя всех волю,
Вот что есть в обществе закон.

Там "подъял Лютер луч просвещения, с землею небо помирил"; там "летит Колумб чрез поле важно, и чудо Галилией творит"; там "венец, наукой соплетенный, носим, Невтоновой главой"; "там дух свободы, разоряя вознесшийся неволи гнет, в градах и селах пролетая, к величию он всех зовет"... В борьбе за свободу "вождем тут воин каждый зрится... твой вождь, свобода, Вашингтон". Возвращаясь к воспоминаниям английской революции, Радищев воспекает Кромвеля:

Великий муж, коварства полный...
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил,
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил.

В этой казни Радищев видит торжество естественного права — суд над тираном после расторгжения общественного договора:

Ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя...
Возмнил, что ты господь, не я...
Злодей, злодеев всех лютейший,

Преступник изо всех первейший,
Предстань... На суд тебя зову...
В меня дерзнул острить ты жало,
Умри, умри же ты стократ⁸.

Но все это происходит там, где "свободы зрится держава".
А что у нас?

К тебе, душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна (то есть Америка),
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана.
Ликуешь ты, а мы здесь страждем
Того ж, того ж и мы все жаждем.

Радищев не обманывает себя. Он знает, что в той стране, "где рок судил родиться" ему, самое большое, "придет на гроб" его юноша и "сочувствием" будет вещать, вспоминая Радищева:

Под игом власти сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал.

Однако же, Радищев не отчаивается относительно будущего.

Нет тебе (вольности) предела ни отколе,
Где ты явишься, там твой трон.

И, "зря будущее через целое столетие", Радищев предвещает для "отечества своего драгого" революцию, которая растерзает Россию на части, но даст ей свободу:

Когда союз прервется...
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всяк будет свою честь.
Тогда растерзанно мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись, внутренно, падет.
Но... животны семена проснутя,
Затускло солнце вновь даст свет;

⁸ Сын Радищева в биографии отца упомянул о том, что сорока лет Радищев научился по-английски и мог читать в подлиннике Мильтона и Шекспира. Дата, указанная сыном, приводит нас к 1789 г., но Радищев до конца — и даже после цензуры — пополнял текст "Путешествия". Влияние Мильтона можно видеть в описании казни Карла и в отзыве о Кромвелле. У Мильтона есть сочинение, по самому заглавию совпадающее с аргументацией Радищева и написанное тотчас после казни короля: *Tenure of kings and Magistrates proving that it is lawful and hath been held so in all ages for any who have the power, to call to account a tyrant or wicked Kings, and after due conviction, to depose and put him to death if the ordinary Magistrate have neglected or denied to do it* (пользование властью королями и чиновниками: доказывается, что законно и считалось таковым во все века для всякого, кто обладает властью, призвать к отчету тирана или дурного короля и, после надлежащего уличения, низложить и подвергнуть его смерти, если обыкновенные чиновники пренебрегли или отказались это сделать).

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек.
Средь глады, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжет,
Возникнут малые светила...
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу *всех* ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом.

Эта первая декларация будущего федеративного устройства России после революции, очевидно, внушена автору объединением тринадцати североамериканских штатов в результате революции 1776-1783 гг. Но "для драгого отечества"

Не пришла еще година,
Не совершилася судьба,
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды.

До тех пор еще

Упруга власть, собрав все мочи,
...грузным махом все раздавит
И стражу к словесам приставит,
Да будет горшая напасть.

И все же

Придет вожделенно время...
Тогда всех сил властей сложенье
Приидет во изнеможенье...
О день, избраннейший всех дней!
Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас Божества,
Трясутся вечно мрака своды...
Рек, — яркий свет пустил свой луч,
И, ложный плена скипетр поправши,
Сгущенную тьму разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

Радищев, конечно, чувствовал, какие последствия могут ожидать его за напечатание подобных стихов. В "Путешествии" он влагает в уста своему собеседнику, при стихе "смятутся от гласа твоего (то есть свободы) цари", замечание, что лучше сидеть смиренно и не мечтать о "дозволении на напечатание ваших стихов"; "не посадят ли" и за другой отрывок, который Радищев предполагал включить в "Путешествие", спрашивает он автора.

Эти соображения, по-видимому, расхолодили на время Радищева. К тому же и смерть жены в 1773 г., говорил он, "погрузила меня в печаль и на время отвлекла разум мой от всякого упражнения". Но это был уже последний перерыв. В 1785 г. Радищев вновь принялся за чтение Рейналя, проникся его па-

фосом, написал еще несколько отрывков "Путешествия" и, наконец, решил соединить их в одно целое. К началу 1789 г., то есть все еще до начала Французской революции, текст "Путешествия" был готов. Что не Французская революция вдохновила Радищева, видно из того, что к первым шагам ее он отнесся с большой осторожностью. Он находил уже, что там "необузданность и безначалие дошли до края возможного". Он боялся реакции. "Дошел до краев возможности, — предсказывал он, — вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но уже начинают обращаться к суеверию". Симптомом этого Радищев считал появление мистицизма в масонстве.

Оставалось решить нелегкий вопрос о печатании. Есть сведения, что Радищев перепробовал разные возможности. Университетский цензор перечеркал ему больше половины книги, и это лишило Радищева возможности напечатать "Путешествие" в московской новиковской типографии. Другие типографщики, ознакомясь с содержанием "Путешествия", тоже отказались его печатать. Тогда Радищев решил завести типографию у себя дома, напечатал там книгу с разрешения полицмейстера Рылеева, человека совершенно невежественного, который даже не прочитал книги, а затем поспешил разослать экземпляры нескольким знакомым. Он шел на то, что книга будет изъята. Но это не лишило его уверенности, что книга все-таки дойдет до потомства: "Римский сенат, ползая перед Тиберием, велел в угождение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с ней остались списки". Радищев цитирует Тацита: "Тем паче смеяться можно над пощением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминание следующего поколения". Мы видели, что на "память юношей" следующего поколения Радищев и рассчитывал. В этом расчете он не ошибся — так же, как и в своих пророчествах о русской революции в будущем столетии.

В настоящем он руководился не холодным сознанием долга, а соответственно своей натуре непосредственным чувством, под сказанным ему моральной потребностью реагировать на окружающую действительность. Мы находим в самом "Путешествии" ответ на вопрос, что вызвало в Радищеве то активное общественное настроение, ту готовность на литературную борьбу и на жертву для пропаганды своих мнений, о которых свидетельствует каждая строка его книги.

"Я взглянул окрест меня, душа моя *страданиями* человеческими уязвлена стала; обратил взоры во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят *от человека*, часто от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы". Другими словами, два мотива руководили Радищевым: сознание того страшного противоречия, в котором находилась

русская действительность с идеалами века, императрицы и его самого; и глубокая уверенность в том, что тут есть какое-то нелепое недоразумение, которое надо во что бы то ни стало рассеять. Это было мучительное чувство человека, который стоит в толпе и видит, что люди на платформе говорят совсем не о том и не то, что нужно и необходимо и что для него так ясно и просто. Стоит только крикнуть громко, чтобы эти люди поняли свое "заблуждение" и прониклись разумными соображениями. Таким отчаянным криком была книга Радищева.

Это настроение Радищева в 80-х годах вовсе не было его личным. Противоречие между идеалом и жизнью прежде всего отразилось на самой императрице — полным крушением той самоуверенности, с какой она вступила на путь своей "легисломании". Она могла сколько угодно утешать себя тем, что противоречия есть признак хороших мозгов (*grande sautoche*). Факт был тот, что цельность плана во внутренней политике была совершенно утрачена, — *ganzlich verloren*, как писала сама она Гримму. И это признание пришлось ей сделать тогда, когда наступало время подводить итоги царствования. В интимной переписке она могла сознаться, что никакого итога еще нельзя подвести всем этим разрозненным попыткам, этим началам без концов, этой деятельности *à bâtons rompus*. Но признать это публично не позволяла ни политика, ни самолюбие. Отсюда — необходимость декорации, которою Екатерина все сознательнее закрывала современную ей действительность. Отсюда же эта потребность похвалы и это быстро растущее нетерпение при малейшей попытке посторонних заглянуть в ее игру, проникнуть за кулисы. Что пороки и недостатки русского общества "скоро исправятся" при помощи новых законов — этим Екатерина не могла уже теперь утешать ни себя, ни других. Следовательно, оставался один исход, если она хотела перейти в историю с именем "Великой": отрицать самое существование пороков и недостатков.

Люди, близкие к сцене, на которой давался спектакль, — такие, как, например, кн. Щербатов, — очень хорошо видели истинный характер и причины настроения Екатерины. Щербатов и дал очень яркое изображение этого настроения. Люди, стоявшие в отдалении, — а такими было огромное большинство русской интеллигенции — дольше сохранили иллюзию: иллюзию не относительно русской действительности, а относительно взгляда на нее Екатерины. Многие из них были уверены, что Екатерина просто не знает, не видит этой действительности. И негодование их обращалось против двора и приближенных, против того средостения, которое заслоняло, по их мнению, жизнь от императрицы. Даже начатое правительством преследование масонов не изменило их взгляда. По поводу самого этого преследования старый друг Радищева Кутузов написал Лопухину письмо, которое лучше всего может ввести нас в настроение,

вызвавшее появление в свет радищевского "Путешествия". Письмо это можно принять за одну из страниц самого "Путешествия". Такое совпадение настроения вполне естественно: Радищев и Кутузов были вместе в Лейпциге и прожили в одной комнате вплоть до женитьбы Радищева. Тем не менее оба они одинаково свидетельствуют о различии своих политических взглядов.

"Известно мне, — пишет Кутузов, — что, окрестив нас многих именем мартинистов, самым тем думают иметь право поступать с нами, как угодно, и считают за дозволенное отнимать у нас podporу законов. Но, сердечный мой друг, приличны ли таковые поступки в благоустроенном государстве? Согласуются ли оные с начертанием нашей монархии? Все сие заставляет меня воззывать: горе земле, в которой подчиненные, начальники и судьи, а не законы управляют гражданами и делами! ...Всякий из них считает себя мудрецом высшей степени... и от сего... у семи нянек дитя без глазу. Коль скоро позволяется человеку судить о намерениях человека и догадки свои равнять действительному деянию, толь скоро исчезает личная безопасность, ослабевает доверенность законов, да и сами законы теряют силу. Граждане соделываются нерешительными, твердость и мужество уступают место робости и ползающему духу; правда и праводушие отступают от сердец наших; коварство, хитрость и лукавство воздымают смело главу свою... отечество наше становится нам чуждо, ибо соделывается жилищем нашего душевного мучения... О мой друг, сердце мое содрогается при начертании сей легко токмо начертанной картины. *Ежели бы наша монархия могла видеть все то, что определенные ею делают, востребовало бы ее нежное человеколюбивое сердце; гнев ее, справедливый гнев, постиг бы сих нечеловеков, злоупотребляющих ее доверенностью. Я всегда скажу, без всякого лицемерия: не монархия причиною нашего притеснения, но одоверенные частицею ее власти. Скажу и то, что частию мы сами причиною сего. Дитя не плачет, мать не разумеет. Для чего не прибегаем к самой ней и не стараемся пробиться сквозь лицемерие, ласкательство и ложь, окружающие ее престол? Она человеколюбива, она правосудна; без сомнения, подала бы нам руку помощи. Собственная ее польза требует сего; ее благоденствие находится в благоденствии ее подданных. ...Ежели бы знали истинные наши расположения, перестали бы нас гнать и нашли бы нас послушнейшими и вернейшими гражданами, нежели те, которые противу нас наущают... Смело можно сказать, что из среды нас не выдет никогда Мирабо и ему подобные чудища... Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленные, есть совершенное противоречие".* Кутузов, можно думать, рассчитывал прямо на то, что с этими письмами

из-за границы он действительно "пробьется" к престолу при помощи cabinet noir императрицы Екатерины⁹.

Он очень настойчиво старался в них очистить себя от подозрения в соучастии с Радищевым при составлении посвященного ему же "Путешествия". Но, во всяком случае, набрасывая свою "легко начертанную картину", Кутузов не подозревал, что та же самая картина, только в деталях и конкретных чертах, составляет главное содержание инкриминированной книги Радищева; что главной мечтой Радищева было при этом тоже "пробиться" к престолу — только более прямым, открытым путем, при помощи вольных типографий, — и что его целью было тоже снять с себя падавшую на него "часть" вины в безмолвии подданных.

С этой двойной точки зрения, как первый в русской истории вполне открытый и сознательный пример публицистической критики и как произведение, адресованное не только к общественному мнению, но и главным образом к "философу на престоле", мы и должны рассматривать здесь "Путешествие из Петербурга в Москву". Мы могли бы, конечно, также найти в "Путешествии" немало новых черт для общего мировоззрения Радищева, поискать еще раз его иностранных источников. Но после сказанного раньше нет надобности вновь возвращаться к этим сторонам дела. Продуманное мировоззрение и обширная начитанность служат здесь вполне определенной цели: дать идейное освещение фактам русской действительности, связать одной мыслью и одним чувством случайные, разрозненные впечатления жизни; заставить людей, привыкших проходить мимо этих жизненных мелочей, подумать над ними и почувствовать весь ужасный смысл обыденных сцен на большой дороге.

Основная мысль публицистической критики Радищева одна: это та самая мысль, которую мы встретили в письме его друга, Кутузова. После "добродетели больше всего надо руководствоваться законом". "Закон, как ни худ, есть связь обществу". Поэтому повиновение закону и защита его от произвола есть первейшая обязанность гражданина. Если даже сама власть захочет нарушить закон, повиноваться ей не следует. Пусть сперва закон будет изменен или уничтожен той властью, которая вправе это сделать ("*в России* государь — источник законов").

"Законность" — основной принцип Радищева. Полное отсутствие чувства законности в тогдашней общественной жизни — это та главная черта, против которой направлены все его обличения. Бесправие русской общественной жизни — вот то "чудище обло, озорно, стозевно и лаая", которое Радищев из-

⁹ Несомненно, московские мартинисты знали, что их письма прочитываются на почте. Относительно Екатерины они употребляли ту же уловку, какую она сама употребляла относительно прусского короля.

брал темой своих нападений в самом эпиграфе к своему произведению¹⁰.

За соблюдение или нарушение закона отвечает администрация: против этого средостения, отделяющего власть от народа, и направляются прежде всего удары Радищева. Произвол администрации, зависимость управляемых от ее каприза — к этой теме он постоянно возвращается в "Путешествии". Перед нами проходит целая галерея типов тогдашних администраторов, начиная с того мелкого начальника береговой команды, сладкий сон которого чуть не стоит жизни двадцати человекам, и кончая государевым наместником, который за тысячу верст шлет в Петербург на казенные деньги курьеров за устрицами и производит за это в чины за служебное усердие. Еще опаснее судья в роли нарушителя закона; и еще чаще мелькают в "Путешествии" образы пристрастных судей, неправых решений, честных людей, принужденных бросить службу в суде, потому что отчаялись в возможности бороться против протекции, подкупа и всяческих несправедливостей.

Но особенно сильно обрушивается Радищев на коренное явление бесправия в русской общественности — на крепостное право. Картины и сцены, рисуемые здесь, становятся прямо ужасающими, и "чувствительность" читателя подвергается самому серьезному испытанию, вслед за чувствительностью самого рассказчика. Мы видим варварскую семью помещиков, выведшую из терпения своих мужиков и убитую ими в стихийном порыве озлобления и самозащиты; видим крестьян, работающих на себя только по ночам и по праздникам; видим девушек, судьба которых подвергается всем случайностям барской прихоти; видим насильственные браки, незаконную торговлю рекрутами, продажу людей поодиночке, и притом людей, связанных личными и кровными узами с бариним, унижение раба, получившего одинаковое воспитание с сыном своего господина, нищенскую и антигигиеническую обстановку крестьянской избы и т.п. изображения, одно реальнее и мрачнее другого. "Я размышлял, каким бы образом сие происшествие могло достигнуть до слуха верховной власти, ибо справедливо думал, чтобы в самодержавном правлении одна она в отношении других может быть беспристрастна", — замечает Радищев по поводу одного эпизода. "Возможно ли, чтобы в столь мягкосердечное правление, каково ныне у нас, производились толикие жестокости?" Эта мысль руководит Радищевым и во многих других случаях, особенно когда он указывает на незаконность совершающихся

¹⁰ В оде "Вольность", написанной, как мы знаем, раньше "Путешествия", "храму Закона" противопоставляется "чудовище ужасно, как гидра, сто имея глав": под ней здесь разумеется "Вера", которая в союзе с "властью царской" стремится "сковать рассудок" и "стереть волю", чтобы "давить народ".

фактов, когда подчеркивает, что рассказываемые им эпизоды не выдуманы, а действительно были.

Жажда Радищева поскорее просветить власть, показать ей обратную сторону медали, скрываемую "средостением", особенно ярко высказывается в его "сне", составляющем кульминационную точку всего "Путешествия". Автору снится, что он царь, что он сидит на блестящем троне в раззолоченных чертогах, наполненных толпой рабелепных придворных. Окружающие льстецы превозносят до небес его военные успехи, его законодательную мудрость, его широкую благотворительность и покровительство, которое он оказывает наукам и искусствам. Царь отдает новые приказания в том же смысле и готовится уже наслаждаться плодами своих трудов, когда его повелительно останавливает женщина в рубище, забравшаяся, вопреки страже, в его палаты. Эта женщина — Истина; она снимает бельмы с глаз царя и показывает ему вещи "в естественном виде". И царь видит, что "военачальник, посланный на завоевания, утопал в роскоши и веселии (Екатерина не могла не усмотреть здесь намек на Потемкина); в войсках не было подчиненности", солдатам не платили жалованья и не кормили их; рекруты наполовину умирали; казна употреблялась на увеселение, а чины и ордена "доставались не храбрости, но подлomu рабелепию". Милосердие сделалось торговлей, и кто давал больше, тому стучал молот жалости и великодушия". "В созидании городов" царь видел теперь "одно расточение государственной казны, омытое нередко кровью и слезами подданных". "Щедроты" его "изливались на богача, на льстеца, на вероломного друга, на тайного убийцу, на предателя и разрушителя общественной доверенности, на уловившего (его) пристрастие, на жену, кичащуюся своим бесстыдством; едва досягали (они до) застенчивого достоинства и стыдливой заслуги". И Истина вещала царю: "Если из среды народной возникнет муж, порицающий дела твои, — ведай, что он есть друг твой искренний, чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета; он твердым голосом возвестит тебе обо мне. Блюдись, и не дерзай его казнить, яко общего возмутителя. Призови его, угости, яко странника, ибо всякий, порицающий царя в самовластии, есть странник земли, где перед ним все трепещет". И уж от себя Радищев прибавляет в заключение: "Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкой или нахмуришь чело, — ведай, что виденная мною страница отлетела от тебя далеко и гнушается твоих чертогов".

Но нет, Радищев не хочет верить этому. Он твердо уверен, что истина должна и может говорить свободно в России. Только при этом условии литература и может сыграть свою великую общественную роль. "Если свободно всякому — мыслить и мысли свои объявлять всем невозбранно, то естественно, что все придуманное и изобретенное будет известно; великое будет ве-

лико, и истина не затмится. Правители народов не дерзнут удалиться от стези правды и убоятся: ибо пути из злости и ухищрения обнажатся. Вострепещет судия, подписывая несправедливый приговор, и раздерет его. Устыдится имеющий власть управлять ею только на удовлетворение своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом; прикрытое убийство — убийством... Спокойствие будет *действительное*, ибо не будет в нем закъвасу. Ныне поверхность только гладка; но или на дне лежащий мутится и тмит прозрачность воды". Во имя этих благодетельных последствий Радищев требует для печати полной гласности и отмены цензуры, ссылаясь при этом на взгляды самой императрицы. "Пускай печатает все, кому что на ум ни взойдет. Кто найдет себя в печати обиженным, тому да дастся суд по форме... Слова не всегда суть деяния; размышления ж — не преступления; это правила Наказа о новом уложении"¹¹.

Руководясь этими соображениями, Радищев не ограничился в "Путешествии" тем, что нарисовал мрачную картину русской действительности. Он решился указать и на средства помочь злу, перенеся, впрочем, свои указания в более или менее отдаленное будущее. "Блажен живущий иногда в будущем! блажен живущий в мечтании", — восклицает он в самом начале книги. "Не мечта это, — говорит он в конце, — но взор проникает густую завесу времени, скрывающую от очей наших будущее; я зрю через целое столетие..." И от имени "гражданина будущих времен" Радищев предлагает свой "проект в будущем", якобы найденный им на дороге. Форма проекта похожа на ту, какую употребил когда-то Крижанич: это обращение (письменное, в виде грамоты, "данной царем") в 18... году царя к народу или, лучше сказать, к правящему сословию государства. Цель проекта — "постепенное введение нарушенного в обществе естественного и гражданского равенства". Средства — двояки. С одной стороны, это — освобождение крестьян (с землей); с другой — "умаление прав дворянства". "Известно вам из наших летописей, — говорит у Радищева будущий государь гражданам будущих времен, — что мудрые правители нашего народа, подвижаемы истинным человеколюбием, познав естественную связь общественного союза, старались положить предел сему стоглавному злу (то есть крепостному праву). Но державные их подвиги утщетились известным тогда своими гордыми преимуществами

¹¹ Радищев, очевидно, разумеет здесь следующее место Наказа Екатерины: "Законы не обязаны наказывать внешних или наружных действий; слова не вменяются никогда в преступление, разве оные приуготовляют или соединяются, или последуют действию беззаконному. Все превращает (тот), кто делает из слов преступление смертной казни достойное... Человеку снилось, что он умертвил царя: сей царь приказывает казнить его смертью, говоря, что не приснилось бы сие ему ночью, если бы он о том наяву не думал. Сей поступок был великое тиранство, ибо если бы он то и думал, однако ж на исполнение мысли своей не постыпил".

ми в государстве нашем чиновством, но ныне обветшалым и в презрение впадшим наследственным дворянством. Державные предки наши среди могущества сил своих немощны были разрушить оковы гражданской неволи. Не токмо не могли они исполнить благих своих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиновства подвигнуты были на противные рассудку и сердцу их правила". Радищев уверен, что государь будущего будет счастливее в своих попытках освободить крестьян. Но и он заставляет этого государя обратиться не с приказанием, а с убеждением к потомкам современных Радищеву рабовладельцев, чтобы они "познали свое заблуждение". Не только они грешат против права и справедливости, против "природы и сердца своего", но они просто поступают нерасчетливо, сохраняя крепостное право. Рабство невыгодно для государства и для отдельных лиц, так как "принужденная работа дает меньше плода", а уменьшение количества "земных произведений столько же препятствует размножению народа". И если даже в отдельных случаях удастся увеличить производительность имения насилием над рабами, то, конечно, это не аргумент в пользу рабства. "Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, питаются наравне с волком, определенным вздирать тяжкую борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтобы житницы были полны хлеба, а желудки пусты?" Все эти аргументы можно найти у Мабли, но и Радищев не идет за Мабли до конца. Он не хочет ни национализации земли, ни коллективной собственности на землю. Крестьянская свобода в будущем рисуется ему как режим частной земельной собственности. Постепенный переход к этому режиму и составляет главное содержание его проекта. Сперва помещики должны лишиться права переводить крестьян во двор, права судить крестьянина и распоряжаться крестьянскими браками и имуществом. Наличный надел, который крестьянин пашет, должен сделаться его собственностью. Затем, крестьянин получает право выкупиться на волю и купить себе землю. "Засим следует совершенное уничтожение рабства".

На случай, если убеждения не окажут влияния на рабовладельцев, у будущего государя есть более сильный аргумент — тот самый, который действительно употребляли и Екатерина II, и Николай I, и Александр II: лучше освободить крестьян сверху, нежели дожидаться, чтобы они сами освободились снизу. Радищев напоминает дворянам пугачевщину, как напоминал Екатерине Сиверс. "Вот что нам предстоит, вот чего ожидать нам должно. Гибель приближается постепенно, и опасность уже над главами нашими", — говорит его будущий государь. Радищев не раз рисует картину будущего восстания. "Из мучительства рождается вольность. Русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности. Но когда конец положит своему терпению,

то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость". "Уже время, вознесши косу, ждет удобного часа; и первый льстец или любитель человечества, рожденный для пробуждения несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь!" На допросе Радищев показал, что хотел этими угрозами "навести страх" на помещиков.

Но пока это только угрозы, только отдаленная перспектива¹². В настоящем попытки восстания были бы "безвременны" и прошли бы "без пользы". Будущий государь кончает советом — предупредить революционную катастрофу — не из одного страха или расчета, а также из чувства человеколюбия. "Зная расположение сердец ваших, — обращается он к "гражданам будущего времени", — приятнее им убедиться доводами, в человеческом *сердце* почерпнутыми, нежели исчислениями корыстолюбивого благоразумия, а менее еще опасностью. Идите, возлюбленные мои, идите в жилище братии вашей и возвестите им о премене их жребия... Да нескончаем жизни нашей, возымеv столь благую мысль и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожелает венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были (его недостойны)"¹³

Увы, все сильные и горячие слова не могли сделать "будущего" настоящим. Но в будущем они должны были принести свой плод.

Другая часть "проекта в будущем" предлагает отменить придворные чины или по крайней мере не равнять их с действительной заслугой — с чинами военными и гражданскими. Речь идет и здесь от имени государя, который этим способом хочет оградить себя от лести, делающей "глухими, слепыми и неосязательными" даже "наилучших между нами". Не похожий на обычных властителей, идеальный государь Радищева "соблюл сердце свое" от этой заразы и "будет примером позднешему потомству, как должно на взаимную пользу соединять власть со свободой".

Как мы уже говорили, книга Радищева сразу вызвала "великое любопытство" публики в Петербурге. О ней "говорили по всему городу". Это было немудрено. Все, что только крупицами, по частям, в форме намеков и иносказаний высказывалось до сих пор в новиковских журналах, — все это было здесь сведено в один фокус, сказано прямо и сильно и освещено определенной

¹² Ни Екатерина, ни последующие исследователи не обратили внимания на форму, в которой изложен радищевский проект и в которой эта угроза аграрной революцией, конечно, не может быть истолкована как подстрекательство к немедленному бунту.

¹³ Текст Радищева обрывается на слове "были". Два последних слова вставлены мной для восстановления смысла. По-моему, они лучше отвечают началу фразы, чем вставка Недачина: "Это были жалкие люди".

общей теорией. И все это было сказано в тот момент, когда одушевление, вызванное взятием Бастилии, еще не успело охладеть в интеллигентных кружках столицы, но уже ясно было, что настроение императрицы мало соответствует этому одушевлению.

Екатерина была одной из первых читательниц "Путешествия". В *этом* отношении надежды Радищева "пробиться" к престолу совершенно исполнились. Но впечатление получилось обратное тому, на какое рассчитывал Радищев. В его книге Екатерина прежде всего увидела личную обиду себе (для чего имелись некоторые основания), а затем "рассеяние заразы французской", что, как мы видели, было несправедливо, в тесном смысле этих слов. Обид она никогда не простила, а "рассеяние заразы" имела особенные поводы не простить в 1790 г. "Ничто ей не может быть досаднее, как-то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее, законы поставляют; и тотчас ответ от нее вылетает: а разве я не могу, невзирая на законы, сего учинить? Но не нашли никого, — прибавляет Щербатов к только что приведенным его словам, — кто бы осмелился ответствовать ей, что *может* — яко деспот, но с повреждением своей славы и поверенности народной". Сам Щербатов набросал картину русской действительности в конце царствования Екатерины; и эта картина — "черная", но "непристрастная", до поразительного сходна с картиной Радищева и с жалобами Кутузова. Но картина Щербатова, так же как и злые письма Ростопчина, и мемуары иностранцев, подтверждающие ее, оставались в рукописи при жизни Екатерины. "Не нашли никого, кто бы осмелился" сказать ей правду в лицо: никого, за исключением Радищева, который смело поставил соблюдение "закона" и водворение законности, как *conditio sine qua non* для сохранения "славы и народной поверенности" Екатерины.

Таким образом, личных мотивов было бы уже достаточно для объяснения того, как отнеслась Екатерина к книге Радищева. Характерно, что и у писателя она прежде всего предположила личные мотивы. Прочтя "сон" Радищева и основательно заключив, что в нем обнаруживается "намерение, для чего вся книга писана", Екатерина затем истолковала это намерение так: "об заклад биться можно", что повод к написанию "есть тот: для чего вход не имеет в чертоги. Может быть, что имел когда ни на есть, а ныне, не имея, с дурным, и следовательно, неблагодарным сердцем подвизается пером". Но скоро императрица догадывается, что имеет дело не с представителем придворной оппозиции, а с кем-нибудь из учившихся "в Лейпциге". Тогда ее объяснения меняются, сохраняя, однако, прежний характер. Автор "родился в необузданной амбиции и, готовясь к высшим степеням, доньше еще не дошел, желчи нетерпение разлилось на все установленное". "Скажите сочинителю, — приказывает она в конце концов, — что я читала его книгу от

доски до доски, и прочтя, усумнилась, не сделано ли ему мною какой обиды". Так далеки и несоизмеримы оказались точки зрения императрицы и автора, — и так невозможно было, при этом условии, установить то взаимное понимание, на которое рассчитывал Радищев.

Как бы то ни было, и самые теории "Путешествия" оказались, на взгляд Екатерины, "криминального намерения". Это намерение, по ее словам, "на всяком листе видно; сочинитель наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование против начальников и начальства". Радищев мог, сколько угодно, приводить в свое оправдание, что книгу свою "писал он прежде, нежели во Франции было возмущение". Он не мог отрицать, что "знание имеет довольно и многих книг читал"; между ними опытный глаз Екатерины различил Руссо и Рейналя¹⁴. Несомненно было и то, что усвоенные им теории "совершенно те, от которых Франция вверх дном поставлена", что он "любит распространять гипохондрические и унылые мысли", которых так не любила императрица. Заключение Екатерины шло дальше этих доводов. Она решила, что автор "себя определил начальником, книгою ли или инако, исторгнуть скипетры из рук царей; но как сие исполнить один не мог, и оказываются уже следы, что несколько сообщников имел, то надлежит его допросить". Так, из литературного скандала выростал политический процесс. Как бы ни была лично обижена Екатерина, очевидно, что к *такому* результату могло привести только желание установить связь "системы" Радищева с "французским развратным нынешним примером". В отношении Екатерины к французской революции и надо искать ключа к тем экстренным мерам государственной безопасности, которые приняты были ею в последние годы царствования и для которых, казалось, так мало было реальных оснований во внутреннем положении России.

По отношению к французской нации Екатерина всегда питала чувства истинной немки. "Божусь вам, что я никогда не любила и не полюблю французоз", — говорила она английскому посланнику. Относительно французского правительства это враждебное чувство подкреплялось соображениями внешней политики. Екатерина привлекла с самого начала царствования встречать французских дипломатов везде на своем пути, будь то в Турции, или в Швеции, или в Польше. Но как раз к правительству Людовика XVI она переменяла отношение, так как стала в это время искать французского союза. "Я такого хоро-

¹⁴ Влияние Рейналя признал и сам Радищев. Помимо стиля у Рейналя он нашел образцы и случаи дурного обращения с рабами, отсюда взял и мнение о невыгодности рабства, о грозящем восстании рабов, о необходимости улучшить участь рабов и т.д.

шего мнения обо всем, что делается при Людовике XVI, — говорит императрица в 1779 г., — что готова бранить всех, кто будет его злословить”. Скоро, однако, и сама Екатерина перешла в ряды злословящих. Неспособность короля, расточительность королевы не укрылись от внимания Екатерины. Она знала, конечно, и о беспокойном состоянии умов во Франции. Она советовала, как мы упоминали раньше, искать выхода в активной внешней политике, то есть в союзе с Россией. ”Бездействие двора совершенно роняет уважение к нему, — пишет она Гримму. — Меня никто не заподозрит в сочувствии к этому двору, но интерес России и всей Европы требует, чтобы он вновь занял подобающее ему место, и притом как можно скорее. Французы любят почет и славу... но всякий француз согласится, что Франция не пользуется ни тем, ни другим в этом состоянии политического небытия, при котором растут и множатся внутренние смуты. Надо спустить натянутые струны *вовне* страны; тогда они перестанут точить и подкапывать ее, как черви — корабельное дно”. Екатерина давала тут совет, который она сама испробовала, когда одушевление, вызванное в дворянстве ее ”легисломанией”, уступило место разочарованию и когда из Москвы донеслись до нее первые звуки ”натянутых струн” общественного недовольства. Головокружительные планы Потемкина, восстановление греческой империи, потом чуть не дележ Европы в проекте Зубова подоспели как раз вовремя для нее, чтобы увлечь русское общество на путь, уже испробованный ею, завоевательной внешней политики. Не углубляясь особенно во внутреннее положение Франции, она мысленно ставила себя в положение Людовика XVI и только удивлялась, что он находит и создает себе трудности там, где она справилась бы так легко и просто. Ей совершенно чужда была мысль о неизбежности революции, которую Вольтер и Гримм высказали еще в шестидесятых годах и которая в семидесятых годах сделалась уже общим местом. ”Я не придерживаюсь мнения тех, которые полагают, что мы находимся накануне великой революции”, — писала она Гримму еще в апреле 1788 г.

При таком настроении Екатерина встретила совершенно равнодушно известие о созыве нотаблей. ”Эта идея делает честь добрым намерениям короля, но у нас пока о ней невысокого мнения”. Русская Комиссия уложения кажется Екатерине несравненно более смелой и удачной идеей; и она не может лишиться себя удовольствия — сделать сравнение в свою пользу между этими двумя учреждениями. Она созвала депутатов для блага народа; французский король созвал их только для того, чтобы получить деньги. Однако отставка Калонна вызывает у Екатерины уже совсем иного рода сравнение нотаблей с Комиссией. Депутаты Комиссии не могли бы заставить ее против собственной воли отставить министра, замечает императрица. Естественно, что скоро она вовсе перестает одобрять созыв нотаб-

лей. "Бог с ними, с вашими нотаблями; не знаешь дальше, чего от них ждать". Она не совсем довольна, разумеется, и созывом генеральных штатов; но все же еще готова с ними мириться. Совершенно неожиданно она даже высказывает одобрение идее Неккера удвоить число депутатов третьего сословия, не подозревая вовсе, что логическим последствием этой меры будет превращение представителей tiers-état в представителей всего французского народа. Она просто ожидает, что, удвоив представительство tiers-état, король заслужит популярность в народе и пожнет лавры Генриха IV. Генрих IV постоянно подвергается под перо Екатерины в эти беспокойные годы: ее монархический демократизм не идет дальше "Генриады" Вольтера. Скоро она посоветует читать "Генриаду" французскому дворянству, чтобы укрепиться в лояльных чувствах.

Сквозь эту литературно-историческую призму Екатерина плохо разбирает смысл первых событий французской революции и невнимательно следит за ее развитием. Депутаты, правда, ставят королю досадные препятствия. Но, конечно, король сумеет с ними справиться, и в союзе с Россией он восстановит влияние Франции в Европе. "Если нотабли и генеральные штаты очень уж разгорячатся, я советую угостить их политической гуаде против партии штатгальтера в Голландии. Это единственное средство, чтобы примирить всех и успокоить волнение".

При таком уверенном и спокойном настроении 14 июля 1789 г. было для Екатерины громовым ударом при безоблачном небе. После взятия Бастилии тон ее суждений о парижских событиях сразу и круто меняется. Место преувеличенной беспечности занимают теперь самые крайние опасения. Франция, если бы даже захотела, не может теперь оказать никакой услуги России. В ней наступило господство анархии. Король — каждый день пьян (!), им управляет кто хочет. Депутаты — сапожники: как могут сапожники управлять государством; их дело шить сапоги. Они в состоянии повесить короля на фонаре. С октябрьских дней, с самого переезда короля в Париж из Версаля, Екатерина предсказывает: "Его ожидает участь Карла I". И отношение Екатерины к известным ей деятелям революции резко изменяется. *Астроному* Бальи она посылала через Гримма любовь и подарки. Бальи, демократическому мэру Парижа, она отказывает в своем портрете, — "портрете самой аристократической императрицы в Европе", по ее выражению. Лафайета, деятеля американской революции, Екатерина приглашала еще в 1787 г. приехать в Россию. Лафайет, начальник национальной гвардии, для нее есть "tête à révolution", "Dadais le grand". Напротив, Мирабо, антипатичный Екатерине как демократ-писатель, на несколько времени располагает ее в свою пользу своей защитой королевской прерогативы. Через русского посланника в Париже Екатерина даже заводит с ним переговоры, с целью привлечь его — и через него все собрание — на сторону

русского союза. Русский официоз, "Петербургские ведомости", с 14 июля метавший грома против революции, печатает по смерти Мирабо довольно сочувственный отзыв о личности великого трибуна. Но в частной переписке Екатерина не церемонится и с Мирабо. Он "достоин уважения Содома и Гоморры"; это преступник и злодей, которого давно повесили бы во всякое другое время. Grimm даже подумывает, не переехать ли ему с улицы, которую окрестили именем Мирабо.

Таково было настроение Екатерины, когда ей пришлось прочесть книгу Радищева. Мы знаем, что она уже несколько лет как следила за московскими "мартинистами" и уже приняла против них, против их собраний, против печатаемых ими книг и против распространения их в провинции ряд полицейских мер. Корреспонденция "мартинистов" с их стипендиатами, посланными за границу, вся перлюстрировалась, и участь членов московского "сборища" висела на волоске. Зная, что письма распечатываются, некоторые из "мартинистов" (Лопухин, может быть, и Кутузов) попробовали было этим путем реабилитировать себя перед правительством. Но мы видели, что самые оправдания их "по совести" иной раз получали вид цитат из Радищева. Естественно, что для Екатерины и Радищев показался таким же "мартинистом", а книга его — проявлением того самого якобинского духа, который она подозревала, но до сих пор не могла открыть у членов московской "шайки". Радищев — московские "мартинисты", они же — "иллюминаты", — иностранные масоны, — наконец, "философы", — вся эта цепь вела туда же — к французскому перевороту. Корреспондент Екатерины, Циммерман, в том же 1790 г. выпустил книгу ("Отрывки о Фридрихе Великом"), в которой доказывал существование тайного общества из масонов и философов для ниспровержения государственного порядка. Получалось нечто вроде всемирного заговора. Вот чем объясняется и тревожный вопрос Екатерины об "общинках" Радищева. Не безосновательны были и тогдашние петербургские толки, связывавшие книгу Радищева с именами вельможных оппозиционеров — Воронцовых, Дашковой, которые известны нам как покровители Новикова и оппозиционной журналистики.

Как бы то ни было, Екатерина, очевидно, смотрела на книгу Радищева не как на случайный и индивидуальный факт, а как на симптом, сильно ее встревоживший. Радищеву пришлось серьезно заявлять, что хотя одно из инкриминированных сочинений его и "кажется (имеющим целью) произвести французскую революцию, но, однако ж, по чистой совести своей" он может "уверить, что сего злого намерения не имел", — тем более что и народ наш книг никогда не читает". Тем не менее Радищев был предан суду по обвинению, для которого не нашлось ни одной подходящей статьи в тогдашних русских уголовных законах. Книга его признана "разрушающею покой обществен-

ный, умаляющую должное к властям уважение, стремящейся к тому, чтобы произвести в народе негодование против начальников и начальства". Уголовная палата и сенат приговорили Радищева к смертной казни посредством отсечения головы. Екатерина отдала приговор на пересмотр еще третьей, не предусмотренной законом инстанции, военного "совета" и, наконец, заменила смертную казнь десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимск.

Очевидно, Екатерина хотела на Радищеве показать такой же пример строгости, какой она советовала в эти самые месяцы употребить с несколькими депутатами национального собрания, чтобы "образумить остальных". Небывалая в России мера произвела, действительно, сильное и тяжелое впечатление, "La condamnation du pauvre Radistchef me fait une peine extrême" — писал С.Р. Воронцов. — *Quelle sentence et quelle adoucissement — pour une éteurderie... cela fait frémir*". Письма московских мартинистов тоже свидетельствуют об угнетенном настроении, тем более что удар косвенно был направлен на них. Со дня на день они могли ждать, что и над ними разразится гроза, как ни старались они предупредить ее своими демонстративными заявлениями о несогласии с Радищевым. Действительно, уже весной 1791 г. граф Безбородко приехал в Москву с указом — произвести следствие над мартинистами. Но Безбородко находил подобные меры "несоответствующими славе Екатерины" и, пользуясь данным ему полномочием, оставил бумагу у себя в кармане. Преследование задержалось на целый год. Но дальнейшие события Французской революции дали ему окончательный ход.

В этих событиях Екатерина пробует принять теперь непосредственное участие. Подавать советы — поздно и бесполезно. Со времени переселения в Париж король в плену у народа и не имеет собственной воли. Екатерина вполне усваивает этот взгляд французских роялистов. Помогая им проводить его на практике, она бессознательно приближает дело к той самой роковой развязке, которой так боится. После смерти Мирабо вся ее надежда на бегство короля. Она его советует и помогает устроить. "Вы отлично сделаете, — пишет она Гримму (апрель 1791), — если возьмете на себя или даже, по возможности, спрячете в карман, удаляясь из Содомы и Гоморры, короля французов, чтобы он добрался целым и невредимым до границ своего королевства. Там вы его сдадите Булье или какому-нибудь другому благонадежному человеку, чтобы он предохранил его христианнейшее величество от всех несчастий, которые, как нам кажется, ему угрожают... Вот уже три года, как мы дрожим за жизнь" короля и его семьи. Получив известие, что бегство состоялось (не без участия русского посольства, как известно), петербургский двор ликует. Но тотчас же приходит новая весть, король арестован. Императрица сильно поражена. "Я

думаю, что главное затруднение для бегства короля представлял он сам”, — справедливо замечает она. Больше всего тревожит ее теперь вопрос: “Подпишет ли христианнейший король противохристианскую конституцию. Самой своей подписью он отлучит самого себя”. При известии, что конституция подписана королем, гнев императрицы не знает границ. Она выходит из себя, “топает ногами” от раздражения. Это уже не просто политическая ошибка; это — недостойная низость:

“Renoncer aux Dieux, que l’on croit dans son coeur,
— C’est le crime d’un lâche, et non pas une erreur”.

“Можно ли помогать такому королю, который сам своей пользы не понимает?” Подписав конституцию, он санкционировал парижские события. Он уничтожил сам себя, и логическим последствием должен быть разрыв дипломатических сношений с его правительством. Уже в августе 1790 г. Екатерина велела всем русским в Париже немедленно вернуться на родину. В августе 1791 г. она перестала принимать при дворе официального представителя Франции Женета, “ярого демагога”. А в начале следующего года в Петербург явился личный поверенный короля, Бомбелль. Но на короля Екатерина уже не надеется более. Настоящим представителем Франции становится третье лицо — посланец братьев короля и эмигрантов — Эстергази. На эмигрантов Екатерина переносит все надежды; Кобленц становится для нее истинной столицей Франции. Туда она посылает своего уполномоченного гр. Румянцева. “Петербургские Ведомости” наполняются статьями эмигрантов и становятся органом непримиримого роялизма. Екатерина уверена, — или делает вид, что уверена, — что эмигрантам нетрудно будет оружием усмирить взбунтовавшуюся страну. Она уже дает советы, как реорганизовать замиренную Францию. Главное — это “устранить идею полного равенства”. Для этого надо восстановить “древние обычаи, которые внушают публике уважение к рангам... Особы высшего ранга должны всегда показываться не иначе, как в особом костюме, с лентами и другими отличиями. Принцы никогда не должны допускать к себе иначе, как во фраке”. Очень полезно восстановить парламенты; с их претензиями справиться не трудно, но они служат несомненной поддержкой монархии: без них, добавляла Екатерина в переписке с Гриммом, монархия превратится в республику или в деспотизм¹⁵.

Советов Екатерина давала сколько угодно. На денежные субсидии она была значительно скупее. А что касается помощи войсками, она никогда серьезно о ней не думала. Очень скоро она стала эксплуатировать революцию для целей собственной внешней политики. Она втянула шведский двор в борьбу, стара-

¹⁵ Эта реминисценция из Монтескье освещает нам отношение Екатерины к той постоянной законодательной комиссии, которую она проектировала, следуя совету Дидро.

лась втянуть прусский и австрийский — с совершенно определенной целью отвлечь их внимание от ближайшей к России арены екатерининской политики: от Польши и Турции. "Есть мотивы, о которых нельзя говорить: я хочу вовлечь их в дело, чтобы у меня были руки развязаны. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали". Так говорила Екатерина своему секретарю Храповицкому. Западным дипломатам она, разумеется, говорила другое. Она тоже будет сражаться с "якобинцами", но не в Париже, а в Стокгольме, в Варшаве и в Константинополе. В Стокгольме "один из воспитателей молодого короля состоит вождем мистического движения теософов, стремящихся к ниспровержению христианской религии и престолов"¹⁶. Польша тоже полна якобинскими клубами. Наконец, турок "демократы подстрекают объявить войну обоим императорским дворам".

При таком положении дел прусский и венский дворы, естественно, предпочитали оборачиваться назад, на Вислу и Черное море, вместо того чтобы спешить на помощь эмигрантам, ожидавшим их в Кобленце. Таким образом, направив сторонников короля на путь непримиримой борьбы с революцией, Екатерина все сделала, чтобы сделать исход этой борьбы безнадежным. Ее собственная политика на востоке отвлекла внимание Европы от революции и наиболее способствовала торжеству революции над коалиционными силами, а следовательно, и над королем.

События в Париже, при этих условиях, быстро шли к развязке. И как ни готова была Екатерина к этой развязке, как часто ни предсказывала она ее, когда еще было возможно ее избежать, теперь, когда она стала неизбежна, парижские события подействовали на нее как ряд ошеломляющих неожиданностей. Обстоятельства сложились так, что и помимо этого нервы Екатерины были сильно потрясены. В октябре 1791 года, в самое трудное для нашей политики время, умер Потемкин. Потеря эта стоила Екатерине "слез и отчаяния" и вызвала у ней тяжелое признание, что она "не успела приготовить людей" и что "теперь не на кого опереться". Начался зубовский режим, вызывавший негодование даже у таких людей, как Ростопчин. Не оправилась Екатерина от этого "страшного удара обухом", как пришло в Петербург известие об убийстве Густава III. "Я боюсь совсем отупеть от этих событий, которые бьют вас по нервам, — писала императрица Гримму (апрель, 1799). — Например, внезапная смерть императора; убийство шведского короля; последствия, которых можно каждый день ждать во Франции". Тотчас за тем распространились слухи о готовящемся покушении на жизнь самой императрицы. "Якобинцы везде

¹⁶ Это — то самое, в чем Екатерина обвиняла русских "мартинистов" и Радищева.

печатают, что они меня убьют и что с этой целью послано трое или четверо лиц, относительно которых меня предупреждают со всех сторон... В Варшаве Mazzeu держал пари, что 3 мая меня не будет в живых. Говорят, и мэр Петион уверял, что 1 июня меня не будет на свете... Когда же, наконец, положат конец всем этим преступным фактам". Екатерина прибавляет, правда, что не верит слухам. Но, однако, она принимает свои меры. Уже в феврале 1790 г. она назначает в Москву главнокомандующим "фронтового генерала" Прозоровского, "самую старую пушку, — характеризует его Потемкин, — которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет". Екатерина велит ему специально следить за "известной шайкой"... Но повода к открытому преследованию еще нет. Наконец, этот повод находят. 9 апреля 1792 г. послан секретный указ петербургскому губернатору, "чтобы искать француза, приехавшего через Кенигсберг 22 марта с злым умыслом на здоровье ее величества: взяты предосторожности на границе и в городе. Даны указы, чтобы строго смотреть за приезжающими в Царское Село и Софию, а паче за иностранцами".

В Петербурге зловещие слухи принимают конкретную форму. Оказывается, что "мартинисты" хотят покуситься на жизнь императрицы. Они уже бросили между собой жребий и т.д. Едва ли можно считать случайностью, что в тот самый день, когда в Петербурге полиция искала "француза Басевия" (13 апреля), императрица наконец сделала решительный шаг и подписала указ Прозоровскому об аресте Новикова. Арестованный у себя в деревне, больной Новиков в конце апреля был привезен в Москву, а затем был со всевозможными предосторожностями — чтобы не похитили по пути масоны — перевезен окольными путями в Шлиссельбург и там допрошен Шешковским. Вместо "якобинского" заговора найдена была лишь тайная продажа запрещенных книг. Судебная процедура, употребленная в деле Радищева — согласно убеждению императрицы, что *c'est l'opinion publique* на этот раз была, очевидно, неудобной по самому характеру ничем не доказанных подозрений. Екатерина, однако, непременно хотела доказать международный — и притом политический — характер масонской организации. Это, конечно, не удалось; но она до конца дознания осталась при убеждении, что Новиков "не открыл еще сокровенных своих замыслов". Между тем все наличные материалы для допроса были уже использованы. Тогда, не доводя дело до суда, Екатерина распорядилась указом 1 августа вместо "тягчайшей и нещадной казни", какой заслуживал Новиков "по силе законов", — "следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость". Для старого и больного Новикова этот приговор, очевидно, имел смысл пожизненно-го тюремного заключения. Быть может, тут сказалось личное

раздражение против человека, постоянно становившегося на пути императрице, писала ли она сатиры и комедии, занималась воспитанием "человеческого рода" или рекламировала плоды своей законодательной деятельности. Вслед за тем пострадали и другие наиболее видные члены московского "сборища". Кн. Н.Н. Трубецкой и И.П. Тургенев высланы на жительство в свои деревни. Молодые стипендиаты масонов Колокольников и Невзоров арестованы при возвращении из-за границы. Первый заболел и умер под арестом. Второй перенес сильное нервное потрясение, совершенно подломившее ту стойкость характера, которую он обнаружил при первых шагах следствия, настаивая на строгом соблюдении законных форм. Неоднократно упоминавшийся Кутузов, друг Радищева, посланный еще в 1787 г. за границу новиковским кружком для изучения масонских тайн ("химии, медицины, натуральной истории"), вовсе не решился возвращаться в Россию и скоро умер за границей.

Несмотря на такой полный разгром подозрительных для нее элементов, Екатерина все еще продолжала опасаться "французской заразы". Еще в конце того же 1792 г. она велела строго следить за одним иностранным выходцем (Миллиоти), подозревая, "не заводит ли (он) здесь (то есть в Петербурге) якобинского клуба". Уже после первого прихода парижской черни в Тюльери (20 июня 1792 г.) Екатерина выслала из России окончательно французского посла. 10 августа и арест короля вырвали у нее новые крики ужаса. Казнь короля уложила Екатерину на несколько дней в постель. Все сильные выражения ее лексикона давно уже были израсходованы. "Петербургские Ведомости" теперь тоже сразу замолчали, не решившись даже сообщить публике о смерти Людовика XVI. Очевидно, самое сообщение дальнейших сведений о революции, хотя бы с безусловно враждебной точки зрения, считалось неудобным. Едва оправившись, Екатерина приступила к решительным действиям. Всякие сношения с Францией были объявлены прекращенными. Французские корабли не допускаются более в русские гавани. Поездки русских во Францию, сношения с французами, даже выписка французских журналов и ношение французских мод были строго воспрещены. Выгнать из самой России всех французов было трудно. Но Екатерина и тут приняла строгую меру. Она составила присягу, которою французы обязывались впредь до восстановления порядка "прервать всякие сношения с своими соотечественниками, подчинившимися в настоящее время незаконному и отвратительному правительству", осудить "преступление, совершенное этими чудовищами относительно личности короля" и отречься от "безбожных и разрушительных принципов, введенных лицами, захватившими незаконно верховную власть" во Франции. Таким образом, все французы были превращены в "ревностных роялистов", по выражению Екатерины. Из 1500 французских подданных только 43 отказались

принести эту присягу, лишавшую их отечества, так как имена присягнувших печатались в "Петербургских Ведомостях" и в иностранных газетах. Все французы, допускаясь к императрице, подлежали с этих пор своего рода "политическому карантину", как выражалась сама Екатерина.

Среди всеобщего молчания, вызванного репрессией, только один голос в русской журналистике раздался в пользу "милости" к жертвам. Голос этот принадлежал Карамзину. В своем "Московском журнале" (1792 г.) он напечатал оду "К милости", в которой осторожно напоминал Екатерине точку зрения ее лучших годов:

Доколе милостью пребудешь,
Доколе пользоваться будешь
Ты правом матери одной,
Доколе гражданин спокойно,
Без страха может засыпать
И всем твоим подвластным вольно
По мыслям жизнь располагать ...
Доколе правда не страшна,
И чистый в сердце не боится
В своих желаниях открыться
Тебе, владычица души;
Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах,
Доколь доверенность к народу
Видна во всех твоих делах:
Доколе будешь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.
Спокойствия твоей державы
Ничто не может возмутить...
Тот трон на век не потрясется,
Где он любовью бережется
И где она троне ты сидишь.

Но сам Карамзин, этот духовный сын новиковского кружка, был уже, в сущности, человеком другого поколения. В активе людей этого поколения, выросших и выступивших на общественную арену в девяностых годах, уже не было тех светлых впечатлений, на которых выросли свидетели екатерининской "легисломании", шестидесятники и семидесятники XVIII в. В глазах этих старших товарищей Карамзин был благонамеренным, но политически неразвитым юношей, и они не могли понять, как с своим легким багажом он решался выступить на журнальное поприще. Он, однако же, выступил — и имел успех. Это значило, что его слушает новое поколение, которому он был понятнее и доступнее своих старших друзей. Настроение этого поколения создавалось не только отрицательными, а и положительными впечатлениями. Когда замолкли голоса семидесятников, на опустевшей арене раздалась другая речь.

Интеллигентное общественное мнение было остановлено в своем развитии. Зато тем с большей свободой выступило подпочвенное течение, широкое и сильное количественно, но ступшевывавшееся до тех пор перед общим духом времени и перед качественными преимуществами лучших представителей интеллигенции. Очередь была за национализмом и за националистической теорией, слабые зародыши которой мы видели уже в жизни и в сатирической литературе.

Мы не упоминали до сих пор об одном важном симптоме националистического настроения — о театре. Из всех форм интеллигентного общения театр по самому существу своему есть форма наиболее консервативная, наиболее принужденная считаться с умственными привычками и традициями широкой публики. Если вам нужно составить суждение о степени интеллигентности средней публики, о ее симпатиях и предрассудках, о том, что у ней принято и не принято, — словом, в всех продуктах социологического "подражания в данной среде, — идите в театр, и все это там отразится для вас, как в зеркале. Заговорив теперь о подпочвенном течении национализма, мы всего удобнее ознакомимся с ним, если обратим внимание на то, какое же настроение средней публики выражала, к какому настроению приспособлялась екатерининская сцена?

Мы говорили в другом месте, насколько сблизилась эта сцена с жизнью и как персонажи из русской действительности, из среднего и "подлого" класса мало-помалу вытесняли классических царей и героев. В некоторых отдельных случаях сцена даже делалась отголоском передовых взглядов, философских и политических. За такие именно отголоски, очень похожие на те, за которые в 1785 г. Екатерина не хотела преследовать Николева, она в 1791 г. запретила посмертную и не поставленную еще на сцену пьесу Княжнина ("Вадим"), как только эта пьеса появилась, благодаря оппозиционному либерализму кн. Дашковой, в печати. Но это были одиночные исключения. В общем русский театр сбросил ложноклассическую тогу лишь для того, чтобы служить выражением — и источником — националистических настроений и взглядов полуинтеллигентных и вовсе не интеллигентных слоев публики. Перечитывая многочисленные пьесы тогдашнего "Российского театра", мы можем составить себе отчетливое представление о том запасе общих мест и сентенций, который вошел в умственный обиход этой публики. Далее мы увидим, что на этом же основном фундаменте популярных общих мест строили свои взгляды и более интеллигентные представители русского национализма.

Народный элемент есть первое, что по справедливости бросается в глаза как новая особенность русского театра последней трети или четверти XVIII в. Но народ, как мы знаем, составлял также главную, если не исключительную цель публицистической и общественной деятельности передовых кружков интелли-

генции. "Народ" русского театра — это совсем, однако, не тот народ, над страдой которого болеют душой новиковские журналы и Радищев, недоеданию которого стараются помочь московские масоны. За немногими исключениями, все диссонансы деревенских будней остаются за кулисами русского театра. На сцене являются веселые и довольные пейзане, по-праздничному наряженные. Они поют и пляшут, влюбляются и женятся, благословляют судьбу и помещика. Для примитивного театрального вкуса необходимо соединить музыку и танцы с драматическим действием: необходим балет и хор. Мужики, мужицкие костюмы, мужицкие песни являются самым подходящим материалом, каким они являлись уже на барских праздниках, в мало-мальски богатой помещичьей усадьбе. Ничего не стоит, конечно, в мужицкую среду перенести и незатейливую любовную интригу. Ложноклассическая пастораль уже приготовила публику к этой идеализации деревенской простоты, в лице какого-нибудь пастуха "Медора" или пастушки "Прелесты". Таким образом, все элементы национальной русской комической оперы оказываются уже готовыми и привычными для зрителя. "Комическая опера" и является самой любимой театральной формой, которая зараз и удовлетворяет, и воспитывает инстинктивный национализм широкой публики. Иногда этот театральный "народ" говорит на настоящем народном языке, каком-нибудь местном диалекте (например, Милозор и Прелеста). Он сыплет подлинными народными пословицами, по временам (хотя редко) поет и настоящие народные песни. Но, в общем, обстановка остается чрезвычайно условной и искусственной. Искусственность эта, помимо тогдашних литературных вкусов, вызывается обязательным для сцены оптимистическим тоном. Добродетельная любовь пьесы, конечно, должна испытывать препятствия. Препятствия эти берутся большей частью из реальной жизни. Но всегда дело кончается счастливой развязкой. По большей части виноват во всем оказывается "приказчик", которого в конце пьесы наказывает (в "Судьбе деревенской" — отпускает на волю) благодетельный господин (например, "Новое семейство", "Приказчик", "Милозор и Прелеста", "Деревенский праздник" и др.). Если господин сам влюбляется в рабу, то или раба, по счастью, оказывается, в конце концов дворянкой ("Анюта"), или он сам не знал, когда влюблялся, что он дворянин ("Милозор и Прелеста"), или у него оказывается счастливый соперник — крестьянин, которому он великодушно уступает возлюбленную (Замир в "Добрых солдатах"). Только однажды автор пьесы решается создать довольно реалистическую обстановку: помещик берет крестьянку силой и создает этим настроение, очень напоминающее то, которое описал Радищев в известном рассказе об убийстве крестьянами асессора и его сыновей. Крестьяне даже хотят "жаловаться царице", которая им "тоже мать". Но в последний момент и тут дело кончается бла-

гополучно: помещик уступает, кается и соединяет влюбленную парочку (Щедров в "Розане и Любиме"). Немудрено, что чуть не все эти пьесы кончаются и начинаются славословием помещику. "Попечение о хозяйстве" для крестьян "одна забава" ("Новое семейство"). "Жизнью мы довольны, не худ для нас свет" ("Розан и Любима"). "В нашем краю не знаем печали, помещик не давит работою нас; мы любим сердечно его, как отца; пленил себе вечно наши сердца "Матросские шутки"). "Мы живем в счастливой доле, работая всякий час; жизнь свою проводим в поле, — и проводим, веселясь; мы всегда своею судьбою все довольны, и тобою; лошадей, коров, овец много мы имеем в поле и живем по нашей воле: ты нам барин и отец. Мы руками работаем — и за долг себе считаем быть в работе такой. Дав оброк, с нас положенный, в жизни мы живем блаженной за господской головой". Барин тоже поет: "Коль крестьяне мной довольны — сам собой доволен я. Коль они богаты, вольны, — в том утеха вся моя" ("Деревенский праздник"). Естественно, крестьянам остается только припевать хором: "Будем вечно прославляти господина своего; он нас станет защищать, мы помрем все за него".

Такова "народность" или, лучше сказать, *этнографическое народолюбие* тогдашнего театра, прикрывавшее красивой декорацией в господствующем вкусе коренной социальный вопрос русской жизни, настойчиво ставившийся на очередь только что народившейся русской публицистикой.

Если перейдем от "комической оперы" к другому национальному продукту русской сцены, к комедии нравов, то и здесь найдем гораздо более пунктов разногласия, чем точек соприкосновения между сценой и передовой публицистикой. В общем, можно сказать, что сцена овладевает давнишними темами русской сатиры; но она разрабатывает эти темы в совершенно ином направлении. Мы видели, что нападки передовой публицистики на подражание за границею хотя и соприкасались с националистическими течениями в самой жизни, но тем не менее постоянно сопровождалась особым оттенком. Это были нападки на тот социальный строй, в котором заимствования принимали карикатурный и уродливый характер. Никогда эта публицистика не позволяла себе указывать на темные стороны самой западной жизни *для того, чтобы оправдать* темные явления у нас или ослабить производимое ими впечатление. Стоило отбросить или затушевать эту разграничительную черту — и критика дворянской искусственно-подражательной культуры обращалась в злорадный смех над западничеством вообще; особенно, если к обеим отмеченным чертам присоединялась третья: недоверие к самому источнику западного прогресса — к науке. Все эти типические особенности националистического отношения к западной культуре — особенности, совершенно отсутствующие в

передовой публицистике, — мы в изобилии встретим на русской сцене.

Персонажи русской комедии резко делятся на две категории: типы отрицательные и типы положительные. В категорию отрицательных типов, безусловно, заносятся *все* иностранцы, появляющиеся на сцене. Это исключительно плуты, авантюристы и эксплуататоры. Оставляя их в стороне, находим две разновидности отрицательного типа, иногда сливающиеся между собой. Это или *злодей* по натуре, неисправимый интриган, которого автор клеймит самым названием (Злорадов, Злотвор, Змеяд, Ядон и т.д.) и которого неизменно карает в конце пьесы, часто при помощи полиции и властей. Или же это *жертва*, человек по природе не дурной, но испорченный "обращением с порочными людьми". Погнавшись за модой и за светским лоском, он попадает в дурную компанию, которая его обирает, заставляет продать деревни и наделать долгов, а потом — или бросает на произвол судьбы, если он человек простодушный и ограниченный, или же, что гораздо реже, принимает его в свой круг ловких плутов и пройдох¹⁷. Брошенный старыми приятелями, он иногда находит в себе силу раскаяться и подчиниться влиянию людей добродетельных¹⁸.

Мы пойдем теперь тенденцию этой комедии, если скажем, что все, что портит людей, что отличает дурную кампанию от хорошей, плута от честного человека и негодяя от героя добродетели — все это, за немногими исключениями злодеев от природы, сводится к французскому воспитанию или влиянию французских нравов. В этой галерее типов мы встречаем декадента-рифмача Модстриха ("Самолюбивый стихотворец") и Махалова (от модного глагола "махаться" — волочиться, в "Воспитании"); петиметра с хлестаковским оттенком (Верхолет в "Хвастуне"), петиметра-пижона, затверживающегшо со слов своего наставника, что "добродетель, вера, закон — суть предрассудки" и "ни добра, ни зла нет" на свете (Пустон в "Злоумном"); петиметра-плута, Промоталова, "придворного человека", снисходящего до женитьбы на богатой деревенщине ("Свадьба г.Промоталова"); петиметров-parvenus, купцов и мещан в дворянстве, улавливаемых пройдохами на удочку тщеславия и бесцеремонно обираемых (Богатов в "Перемене в нравах", Глупон в "Обмане за обман"); целую серию соответствующих женских типов — "щеголих" русской сатиры (Легкомысла, Ветромысла, Ветродумова, Жеманиха и т.д.). Перед типами сатирических журналов все эти фигуры, несомненно, представляют некоторое преимущество жизненности, так как сцена поневоле переносит

¹⁷ Всего полнее и ярче эта метаморфоза описана в комедии "Перемена в нравах", затем "Воспитание", "Свадьба г. Промоталова" и др.

¹⁸ Например, Добросердов ("Мот, любовь направленный"), Богатов ("Перемена в нравах"), Постоянов ("Награждение добродетели").

их в реальную обстановку — русской помещичьей жизни. Что в этой обстановке эти типы не были редкостью, — это доказывает тем, что вопрос о сыновьях-мотах и петиметрах, живущих не по средствам и пускающих на ветер наследственное состояние, поднят был и серьезно обсуждался как один из самых жизненных и больших вопросов в заседаниях самой екатерининской комиссии. Согласно с депутатами, и русская сцена возлагает на ответственность этой золотой молодежи отягощение крестьян непосильными оброками и поборами. Для такого важного случая она даже решается приподнять край завесы, скрывающий от театральной публики деревенскую действительность. Но вся вина и тут падает на дурное французское воспитание. Сцена и в этом случае отвлекает внимание своей публики от более глубокого объяснения — опять-таки, из страха встретиться при таком объяснении с тем же грозным и тщательно замалчиваемым социальным вопросом.

Но взглянем на *положительные* типы русской комедии. В их ряду мы прежде всего тщетно стали бы искать представителей какого-нибудь из передовых интеллигентных течений, о которых шла речь выше. Если комедия изображает литератора, то это "самолюбивый стихотворец", равняющий себя с Вольтером. Если она изображает "безбожника", утверждающего, что лишь "суеверие мешает нам дать волю сердцу", то это изверг и злодей, которого в буквальном смысле Бог убивает громом в конце пьесы. Если выводится на сцену масон, то это — по примеру Екатерины — или обманщик Хитроум, или обманутой Легковой; и беседа их с духами оказывается мошеннической проделкой в стиле Калиостро и Калифалкжерстона ("Мнимый мудрец"). Раз, правда, пьеса заступает за "мартинистов" и обвиняет петиметров в разнесении ложных слухов о них по гостинным. Но это единственное исключение, притом же автор не решается идти дальше общего опровержения.

Оставляя передовые течения в стороне, мы находим, что положительные типы комедии относятся к одной из двух категорий. Во-первых, это *резонер* пьесы, старший годами, отец или дядюшка; во-вторых, покровительствуемые им молодые влюбленные, которых он ведет к благополучному браку. Связь между обоими разновидностями вполне естественная, так как и все рассуждения благородного отца или дядюшки не идут дальше круга личной морали — дальше того, что способствует выяснению добродетелей жениха и невесты и устанавливает кодекс их жизни. Все многочисленные копии того и другого типа, как бы они ни назывались¹⁹, как две капли воды напоминают хорошо

¹⁹ Для типа резонера: Правдолюбов, Правдодум, Добромысл, Прямыкин, Чеснодум, Доброправов, Милосердов, Честон, Правомысл, Благоразум, Здравомысл и т.д. Для любовников: Доблестин, Достойнов, Благоразумнов, Здравомыслов, Чеснодум, Честан и т.д.

известные бледные фигуры благородных резонеров и добродетельных влюбленных фонвизинских комедий. Они говорят общими местами тогдашнего просвещения. Но, взглядываясь в эти общие места, мы не найдем между ними ряда общих мест интеллигентской публицистики. А в том, что найдем, мы встретим и кое-что несовместимое с взглядами передовых кругов. Например, все передовые течения одинаково настаивали на значении разума для "истинной" морали, — морали самопознания. "Предрассудки" с этой точки зрения являлись главным и злейшим врагом "добродетели". Нельзя, конечно, сказать, чтоб и комедия высказывалась против "разума" и защищала "предрассуждение". Но предрассудков она опасается *меньше*, чем разума, и "добродетель" в комедии чаще и легче мирится с предрассудками, чем с разумом. "Искореня предрассудки", мы "воротим с корня" и добродетель: этот откровенный тезис фонвизинского резонера составляет заднюю мысль всех наших тогдашних драматургов. Вот почему такие типы, как Афросинья Сысоевна в "Так должно" или Русалей в "Русском парижанце", несмотря на все свои "предрассуждения", веру в чертей и в приметы, вызывают симпатию авторов и рисуются в противовес всяким "франклюбам" как типы положительные, хотя первая при всем этом сильно смахивает на Простакову, а второй — на Скотинина. Все это извиняется им потому, что все "качества" их "суть русака прямого". А суеверие извинительно, *потому что* оно есть и в самых просвещенных странах.

За суеверие как делать нам упреки,
Когда во Франции лились кровавы реки?..
Верь, как бы ни была страна просвещена,
Ума народного — не важная цена.
К предрассуждению — во Лондоне, в Париже
Народ иль более или хоть мене — ближе.

Вывод получается очень близкий к тому, какой мы встречали во "Всякой Всячине". Достоинства "русака" суть его собственные, а недостатки — общи ему с другими народами.

Естественно, что резонер русской комедии ищет этих достоинств "прямого русака"²⁰ там, куда еще не проникли космополитические пороки: в *деревне*, которой противопоставляется *город*. Конечно, "люди деревенские — простого воспитания: любят без нежности, изъясняются грубо, говорят просто". Но зато "городская жизнь помрачает все добродетели. Нет ни праводушия, ни искренности: везде лукавство и обман". "Они (то есть городские и придворные) люди лукавые, а мы (деревенские дворяне) чистосердечны; они любят роскоши, мотовство, праздную

²⁰ В "Русском парижанце", из которого взята и приведенная в тексте цитата, эти достоинства перечислены так: "Он честен, справедлив, незлобив, милосерд, хороший брат, сын, друг, во обещаньях тверд".

жизнь, а мы — постоянство, умеренность и труды, они пренебрегают нами и считают, что крестьянин самая последняя тварь на свете, крестьянин с себя хоть кожу продай, да оброк заплати, а мы крестьян любим и считаем их себе товарищами, бережем их, как глаза” (“Свадьба г. Промоталова”). Мы знаем, что и передовая публицистика к “придворным господам” относится вовсе не сочувственно; деревенской простотой нравов умиляется еще и Радищев. Но, конечно, передовой интеллигенции не пришло бы в голову свести вопрос о значении просвещения к полемике между городом и деревней. И еще труднее было бы для нее так фальшиво идеализировать отношение к крестьянам мелких дворян-хозяев сравнительно с крупными помещиками-абсентеистами, как это сделано, наперекор фактам, в приведенной цитате.

Расходятся с передовыми кружками и взгляды резонеров комедии на кодекс жизненных правил. Первое и главное, что подчеркивается в этом отношении, — это крепость деревенской дворянской семьи в противоположность как модным взглядам на брак²¹, так и тому несомненному “повреждению нравов”, которое так красноречиво описано кн. Щербатовым. В самых трудных положениях влюбленные не решаются пойти против воли родителей (например, Глафира в “Именинниках”; Прията в “Ненавистнике” и т.д.). Если один раз резонер комедии (Праводум в “Злоумном”) и увлекается до того, что развивает перед матерью теорию, близко напоминающую радищевскую²², и предлагает влюбленному жениться увозом, то это лишь для того, чтобы резче характеризовать злонравие матери и “добродетель” влюбленного, который стоит на своем, находит, что “ни честь, ни рассуждение, ни любовь не позволяют сделать такого поступка”. Что касается общественной деятельности, для резонера она сводится к “службе”. Общественную деятельность вне службы ему так же трудно представить себе, как большинству депутатов екатерининской Комиссии. Из “Путешествия” Радищева известно, с какой осторожностью относились к “службе” своих детей передовые люди века. И если даже они принимались серьезно думать о службе, им — начиная с Татищева — всегда рисовалась служба *гражданская*, как наиболее подходящая для интеллигентного человека. Резонеру русской комедии Екатерина не могла бы сделать тех упреков за подобные взгляды на службу, какие она сделала Радищеву. Конечно, резонер ценит на службе не *чин*, как петиметры, а самую деятельность,

21 “...Жена! Как это дроль! Жена и муж!... Смешна... смешна обоих роль”, — повторяет Модстрих в “Самолюбивом стихотворце” общее место русской сатиры на петиметров.

22 “Кто дал право отцам и матерям требовать от детей своих, чтобы они мыслили, чувствовали и желали так, как мыслят, чувствуют и желают они?...” и т.д.

возможность быть полезным. Но для него самая эта возможность не подлежит сомнению: и особенной его симпатией, как "прямого русака", пользуется служба *военная*. Сообразно с этой целью жизни он смотрит и на воспитание. Он нисколько не отрицает значения заграничной поездки для воспитательных целей. Он даже начертывает для такой поездки серьезную программу: знакомство с внутренним строем чужой страны, с ее производительными силами, с бытом сословий, с политикой и современными событиями. Экзаменуя вернувшегося из-за границы петиметра, один из этих резонеров (Добромысл в "Воспитании") даже ставит ему такой вопрос, который в пору было бы поставить Радищеву. "Как вы там находились во время самых важных и знаменитых происшествий, а именно когда парламенты переменены, то уже легко вам было открывать побудительные тому причины и разбирать, что в старом было порочно и что в новом находится полезного?" Но такому "разбору" сам же этот резонер ставит довольно узкие рамки. По словам его дочери, "дельные его размышления не суть дерзновенные критики на дела правительства, коих причины, намерения и основания и самые обстоятельства редко нам бывают известны; таких критиков он сам ненавидит и от них удаляется". Наравне с внутренней политикой интерес резонера направлен и к внешней. Спросив петиметра о политической борьбе во Франции, он переходит к славе русского оружия за границей, к толкам о том "шуме", который наделало в Париже имя Румянцева, и о том, как "гремело" там имя Орлова, — того Орлова, который "турецкий флот истребил, Константинополь потряс и российский флаг даже в египетских водах почитать заставил". Мы знаем, что русские интеллигенты новиковского и лейпцигского кружков одинаково смотрели на войну, как на убийство, и на завоевательную политику, как на преступление перед "человечеством". Но большая публика театра была не их публикой, а публикой, для которой действовала Екатерина.

Впечатления, каких ожидает русский резонер от заграничного путешествия, заранее определяются и предрешаются тем скептическим отношением к европейской жизни, пример которого мы уже видели. Русский турист этого типа — себе на уме; его не проведешь. Он твердо помнит ту аксиому, "что глупость есть своя у каждого народа". И очутясь за границей, он будет искать там прежде всего не ума, а этой самой "глупости", этой обратной медали европейской жизни. Попав в Лейпциг, — в тот самый Лейпциг, из которого Радищев и его товарищи вынесли такое богатство идей и впечатлений, он презрительно будет острить: "Я нашел сей город наполненным учеными людьми. Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни; чему, однако ж, во времена Цицероновы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно на небеса, не смыслят ничего, что делается

на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом, Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума. Оставя сих педантов, поехал я во Франкфурт-на-Майне — и мог бы ехать на конец света и ничего не увидеть, не понять и не заметить. Если он приедет хотя бы в самый Париж, где в одно время с ним Гиббон "в две недели слышал больше дельных разговоров и видел больше просвещенных людей, чем в две-три зимы в Лондоне", то и тут он найдет только, что "д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видел я всякий день на бульваре", а литераторы вроде Мармонтеля и "еще некоторых" ("я почти со всеми познакомился") — просто паразиты, которые ходят к нему в дом, потому что он "ездит в карете" и кормит их обедами. Нельзя не припомнить по этому поводу остроумного афоризма того же самого туриста: "Кто сам в себе ресурсов не имеет, тот в Париже проживет, как в Угличе". Хотя "нет ничего труднее, как чужестранцу войти в здешнее общество" и хотя сам наш турист, "по краткости времени моего здесь пребывания", не мог в него проникнуть, тем не менее он оставляет Францию в уверенности, что "нашел доброе в гораздо меньшей мере, нежели воображал; а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог". Раскритиковав Францию по французской же книжке, он решает окончательно, "что все рассказы о здешнем совершенстве сушая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок, что в нашем отечестве можно быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле", а что Париж для туриста "есть истинная зараза, которая, хотя молодого человека не умерщвляет физически, но делает его навеки шалуном и ни к чему неспособным — вопреки тому, как его сделала природа и каким бы он мог быть, не едзя во Францию". Все это — уже не рассуждения резонера из русской комедии: это выписки из заграничных писем Фонвизина. Но большой разницы между тем и другим мы не найдем: резонеры комедии даже выражаются обыкновенно осторожнее. Можно, конечно, и у них натолкнуться на решительные выводы, вроде, например, такого: "Весь плод науки есть сомнение и недоумение" ("Матерняя любовь"). Фонвизин, как всегда, и здесь подает реплику: "Вот каковы те люди ("нынешние философы"), из которых Европа многих считает великими и которые, можно сказать, всей Европе повернули голову!" У нашего вояжера голова на месте, а потому он с этими "великими" не церемонится. "Истинно, нет никакой нужды входить с ними в изъяснения, почему считают они религию недостойною быть основанием моральных человеческих действий, и почему признание бытия Божия мешает человеку быть добродетельным? Но надлежит только взглянуть на самих господ нынешних философов, чтобы увидеть, каков человек без религии!"

Не будем продолжать далее этих сопоставлений между сценическими типами, типами действительности и взглядами передовой русской интеллигенции. Сказанного достаточно, чтобы характеризовать настроение той значительной по количеству общественной среды, к которой обращалась театральная пьеса. Эта среда была, как мы видим, несравненно доступнее для распространения националистических тенденций, чем новейших идей, философских и политических. И однако же, передовые вожди общественного мнения предпочитали давать эти идеи, на которые не было спроса в широкой публике, и не давали того, что этой публике требовалось: не давали националистической теории. Так как *теоретиками* только и были одни они, и так как националистическое течение, в сущности, довольствовалось одним *настроением*, то довольно понятно, почему XVIII в. так и не создал никакой стройной теории русского национализма. Однако же, попытки националистических рассуждений были. Нужда в них стала особенно сильно чувствоваться, когда критическое общественное мнение было принуждено умолкнуть. Необходимо поэтому остановиться и на них, чтобы исчерпать все главные течения общественной мысли екатерининского времени.

Для националистического настроения более, чем для какого-либо другого, — и чем дальше, тем больше, — сама Екатерина дает тон и выражение. С самого своего появления в России, с ревностью иностранки, решившей во что бы то ни стало сделаться русской и спешившей перенять для этого все тонкости чуждого ей народного быта, Екатерина увлеклась тем, что мы назвали этнографическим народологием. До конца жизни она писала без всяких правил орфографии и путала русские падежи; но русские пословицы, русские поверья, обычаи, предрассудки она считала себя знающей в совершенстве. Создавшийся таким образом интерес к этнографической старине возрастал по мере того, как падало уважение и доверие к "модным философам". В самый разгар сильных впечатлений французской революции Екатерина углубилась окончательно в русскую историю и демонстративно заявляла, что не читает больше ничего, кроме летописей. На тот же путь исторического национализма толкала ее и внешняя политика. Начиная с польских разделов и кончая знаменитым "греческим проектом", Екатерина тут лишь применяла и развивала дальше традиционную русскую националистическую теорию "панруссизма" и "панславизма". Задолго до русских историков — националистов XIX века — она пишет Гримму, что "скоро докажет, что древние славяне дали свои названия большинству рек, долин и урочищ во Франции, Шотландии и других местах". Несколько недель спустя она уже уверена, что салический закон есть славянский, Хлодвиг и Меровинги тоже славяне (Людвиг = люд + двиг), Хильперик лишился трона потому, что хотел внести в римский алфавит три

славянских буквы (х, ч и пси), и недаром французские короли приносят в Реймсе присягу над славянским евангелием. Эти смелые гипотезы Екатерина оставляла, правда, про себя. Но она громко высказывала и крепко держалась за другой свой исторический вывод, именно что "в течение с лишком семисот лет, то есть до смерти царя Феодора Иоанновича, Россия управлялась, имела приблизительно те же нравы, шла тем же путем и находилась почти на одном уровне, как и все государства Европы. Только смуты перед воцарением Петра немножко задержали ее назади. Но законодательство Екатерины поможет быстро наверстать потерянное.

Для официального и официозного национализма екатеринской эпохи очень характерна эта постановка вопроса. Екатерина не решалась идти так далеко, как уже пошел Фонвизин, и утверждать, что за границей "во всем генерально хуже нашего", а "у нас *все лучше*, и мы больше люди, нежели немцы". Она довольствовалась защитой более скромной позиции, — что у нас *не хуже*", или, по крайней мере, что за границей *так же* худо, как у нас. Эту позицию она заняла уже в своем "Антидоте", опровержении книги о России аббата Шаппа (1770). Здесь уже формулирован известный нам тезис: "в какой стране люди — не люди?"; "в России люди такие же, как и повсюду"; "ни вполне хороши, ни вполне дурны: такое среднее состояние — в природе вещей и существует у всех народов, ибо человек всегда приблизительно одинаков, под каким бы небом он ни родился". К этой бесспорной аксиоме примыкает далеко не бесспорный уже вывод: "Русский народ стоит приблизительно на уровне с остальными народами Европы". Все дальнейшие доказательства относятся не к первому, а к последнему тезису. Метод доказательства состоит или в отрицании фактов, доказывающих низкую степень развития России, или в ссылках на подобные же факты на Западе, или, наконец, — изредка — в утверждении, что хотя данный факт и верен, но он быстро отходит в прошлое, под влиянием законодательных усилий Екатерины. Русские избы воняют, но поезжайте, г. аббат, в Вестфалию: там услышите и не такие запахи". Бирон был плох, но не лучше и "правление хваленого кардинала Ришелье". Тайная канцелярия — не хороша: но она "сделалась ненужной" и "упраздняется", а "Бастилия еще существует". Впрочем, примеры этого рода можно найти в изобилии на всякой странице "Антидота". Не останавливаясь на них, заметим еще, что Екатерина не ограничивается защитой выбранной позиции. От обороны она переходит в наступление. "Русский крестьянин во сто раз счастливее и обеспеченнее, чем французские крестьяне". "Наши чиновники и на сотую долю не такие тираны, как чиновники французского короля": "Мало есть государств, в которых закон уважался бы так, как у нас". "Нет страны, в которой жизнь и имущество подданных были бы ограждены большими формаль-

ностями, чем в России". "Наши законы — самые простые в Европе и во многом самые ясные и разумные". "Граждане — наименее стеснены, наименее подвержены мелочным придиркам". "Какой современный народ может похвастаться, что в целом своем составе был призван к составлению своих законов?" "Всею Европой признано, что нет народа более сильного и более неутомимого". "Общеизвестно, что нет народа более работающего". Не признавать всего этого может только "предубеждение и предрассудок": еще чаще Екатерина говорит: зависть и злоба. "Враги русской славы стараются изобразить Россию такою, какою они желали бы, чтобы была эта страна, но не такою, какою она есть, то есть цветущею и сильною". Вот источник всех "клевет" инстранных против России

Отвлекаемая другими делами и мыслями — в том числе либеральными, — Екатерина не занялась систематизацией своих националистических взглядов и не пробовала привести их в согласие с остальным составом своего умственного багажа. Но она несколько раз пробовала поставить эту задачу другим лицам, которых поочередно приближала к себе. Мы видели, что одно время она намечала для этой цели Новикова и готова была помогать ему материалами и деньгами, только бы он нашел в исторических рукописях древние русские добродетели. Мы знаем, что Новиков после первых нерешительных попыток, отказался от безнадежной и слишком противоречившей его собственным целям и взглядам задачи — найти в истории подтверждение националистическим взглядам. Несколько раньше Новикова Екатерина обратилась для той же цели, хотя и не так резко поставленной тогда, к кн. Щербатову. Этот выбор был немногим удачнее. И Щербатову помешала создать цельную националистическую теорию та же причина, как самой Екатерине: он слишком проникнут был непригодными для этой теории и противоречившими ей рационалистическими взглядами.

Взгляды Щербатова эволюционировали, и надо различать Щербатова в годы приближения к Екатерине от того же кн. Щербатова годов взаимного недовольства и раздражения. Щербатов первого периода держится деистических взглядов на религию и вместе с Екатериной (см. тот же "Антидот") разделяет теорию монархии, ограниченной законом. Щербатов в оппозиции остается, правда, деистом в теории, но на практике все больше и больше подчеркивает свою приверженность к традиционной вере в *противоположность* безверию и вольтеррианству Екатерины. Он обнаруживает все более резкие симпатии к аристократической идее в *противоположность* даже тем льготам, которые Екатерина дала дворянству и которые кажутся ему недостаточными, а подчас и оскорбительными. Щербатов первых годов был полон веры в предстоящее "смягчение нравов" путем рационального законодательства. Щербатов последнего времени говорит уже только о "повреждении нравов" и ядовито конста-

тирует полное фиаско просвещенного абсолютизма. Строить систему из всех этих разнородных элементов — значило бы идти дальше самого Щербатова. Но нельзя не указать на две-три идеи, которые он развил полнее своих современников по теории национализма.

Во-первых, это известная нам идея, что религия падает вместе с предрассудками, нравственность вместе с религией и, следовательно, — просвещение портит нравы. У Щербатова на этой идее построена целая историческая система. Исходный пункт ее — идеализация допетровской старины, в смысле цельности и чистоты нравов. Результат исторического процесса — упадок веры и нравов, безверие и разврат, — особенно тот разврат и распущенность в семейной и личной жизни, на которые так часто нападала комедия. Причина процесса: вторжение иноземной внешней культуры — роскоши и изнеженности. Описательная сторона у Щербатова, как мы имели случай видеть, верна и поучительна. Но его объяснения — почти исключительно моралистические — поверхностны и мелки. Большею частью они не идут дальше самого описания. Самое глубокое из его наблюдений — наблюдение над характером русской веры — сделано как бы нечаянно. Оно до такой степени не вяжется с другими частями его мировоззрения, что сам он, вместо логического, казалось бы, требования — усилить самостоятельность и внутреннее зрение веры — практикует, в конце концов, ряд таких крутых, чисто государственных мер для установления единства веры в России, которые напоминают Посошкова. Как он мирит свой государственный взгляд на веру, как на орудие "здравой политики", с своим же историческим объяснением, по которому и самое "повреждение нравов" есть именно следствие такого, то есть государственного характера веры, это остается его секретом. Во всяком случае при таком несогласии с самим собой он, очевидно, не мог сделать веру, то есть русскую форму веры, основой какой-либо националистической теории. Точно так же он не мог положить в основу националистической конструкции и русскую форму государства: ибо тут от заимствованной из Монтеस्कье вражды к "деспотизму" он сразу перешел к совершенно личной ненависти к режиму, прикрывавшемуся законностью. Его идеалом была вначале сословно-конституционная монархия Монтеस्कье. Позднее он переносит свои симпатии отчасти на старый шведский порядок, в котором дворянский элемент был еще сильнее, аристократичнее и сплоченнее, а монархический слабее, чем в старой Франции. Таким образом, ни "православие", ни "самодержавие" не могли играть роли основных элементов в националистической теории Щербатова. Немудрено, что одних симпатий к старине и к мнимой цельности тогдашних нравов оказалось недостаточно, и националистическая теория осталась непостроенной.

Раньше, чем все это могло выясниться окончательно, Екатерине стало ясно, что Щербатов для нее, при всех своих консервативных тенденциях, слишком либерален. Вероятнее всего, что это и было главной причиной ее охлаждения. Любимцем и помощником в собственных исторических работах является теперь для Екатерины Болтин, который начинает свою литературную карьеру написанным по заказу Потемкина и напечатанным на средства императрицы двухтомным памфлетом против новой "клеветы" на Россию француза Леклерка. Продолжает он резкой и бесцеремонной полемикой против Щербатова, долженствовавшей окончательно убедить Екатерину, что у старого ее любимца голова не совсем в порядке, а на нового можно положиться вполне.

Нападение на Леклерка было новым "Антидотом". Но националистическая теория в этом произведении Болтина делала новый и крупный шаг вперед. Болтин вполне принимал исходную аксиому Екатерины, что люди везде люди, что добродетели и пороки есть у всех народов. Он вполне усвоил также и ее способ аргументации: у нас не хуже, а за границей не лучше нашего. Но другое основное ее положение, что у нас все более или менее одинаково и что мы стоим "приблизительно" на той же ступени, как Европа, — это положение Болтин решительно отвергнул. Екатерина в "Антидоте" очень раздраженно полемизировала против замечания аббата Шаппа, что "недостаток таланта у русских есть, по-видимому, действие почвы и климата"; но он принял замечание Шаппа в той форме, что русские *действительно* отличны от европейцев, что отличие это *действительно* объясняется разницей действия почвы и климата. Екатерина должна была почувствовать, что с этой уступкой националистическая теория гораздо более выигрывает, чем проигрывает, так как она получает более глубокое обоснование, чем когда-либо прежде. Этим обоснованием являются, в духе самых новейших идей, неизменные законы природы.

Теперь и защита "обычаев предков" становилась на неожиданно твердую почву. Разве не были эти обычаи, это старинное народное "умоначертание", сложившееся веками, — непосредственным продуктом психофизиологических явлений, обусловленных почвой и климатом? Измена этим нравам, введение иностранных обычаев оказывались не только чем-то дурным и безнравственным, а прямо физически вредным. Уничтожьте баню — ту самую баню, над которой так издевался Шапп и которую не умела защитить Екатерина в "Антидоте"; введите французскую кухню: и вы ослабите тело и испортите желудок; то и другое не по климату. Понятно, что при таком взгляде перемена народных "нравов" и "умоначертания" вопреки законам природы — часто просто даже невозможна. Такие перемены — дело веков, а не результат усилий одного законодателя. Не законы вызывают перемену в нравах, а, наоборот, только перемена

в нравах может вызвать перемену в законах. Этот тезис дает основу для оценки действий отдельного законодателя, например, реформы Петра Великого. На нем строит Болтин и все свое объяснение хода русской истории, первое органическое объяснение ее, хотя, конечно, чересчур схематическое и внешнее.

Если самое "единообразие" законов природы неизбежно вызывает *разнообразие* национального развития каждого народа, в зависимости от различных местных условий, физических и исторических, то нет ни возможности, ни надобности гнаться за поисками *сходства* и наятгивать сравнения там, где их быть не может. Екатерина упорно отрицала утверждения Шаппа, что Россия плохо населена, и доказывала, что Россия в собственном смысле набита жителями, "как яйцо". Болтин мог свободно признать слабую населенность России и основать на этом важные выводы относительно ее своеобразия.

Понятно, как это учение о "месторазвитии" двигало вперед создание националистической теории. И однако, такой теории не создал и Болтин, — как он ни близко подходил иногда к ее созданию. Почему же это так вышло?

Дело в том, что Болтин дал для своей теории слишком широкое основание. При дальнейшем развитии его мыслей, на его основании можно было построить научную теорию, но нельзя было построить националистической. Признав особенность русского национального развития, попытавшись объяснить эту особенность условиями среды, он, конечно, сделал для националистической теории очень много, — но все-таки не все, что для нее было необходимо. Его теория объясняла очень удовлетворительно и своеобразие, и большую или меньшую устойчивость национальных элементов быта. Но она нисколько не доказывала ни их полной неподвижности и неизменяемости, ни необходимости и возможности их сохранения при изменившихся условиях жизни. В его теории было слишком еще много эволюционного элемента, чтобы основать на ней незыблемые устои. В частности, политическая форма быта, как ясно было из его изложения, менялась, эволюционировала на самых глазах истории. С другой стороны, в теории Болтина было слишком много научного безразличия к тому или другому частичному национальному прогрессу, чтобы основать на ней националистическую теорию *превосходства* какого-нибудь одного из этих процессов. Она объясняла *национальное* в истории, не давая прямых поводов для *националистического* отношения к этому национальному. Для того чтобы получить настоящую националистическую теорию, нужно бы было, следовательно, выбросить из теории Болтина ее эволюционные элементы и ее научную объективность. То и другое с успехом сделала впоследствии метафизическая идея абсолютного "народного духа". Но это случилось полувеком позже. Мы еще увидим, как это произошло. XVIII в., как мы окончательно убеждаемся на этой, наиболее

развитой и продуманной из тогдашних националистических теорий, не давал еще достаточных материалов для создания полной и законченной теории национализма²³.

Создание такой теории было делом будущего. Ее пришлось создавать в борьбе с более точно оформившейся доктриной русского европеизма. XVIII в. — и в особенности его конец — положил только начало тому и другому течению. В дальнейшем оба они настолько окрепли и получили настолько связанное и самостоятельное развитие, что всего удобнее будет изучать процесс эволюции того и другого течения, национализма и европеизма, — каждого отдельно.

БИБЛИОГРАФИЯ

О градации предреволюционных настроений см.: Félix Rocquain, *L'esprit révolutionnaire avant la Révolution 1715-1789* (Paris, 1878) (есть русский перевод). Вопрос об отношении России к Французской революции рассмотрен в ряде интересных статей: Alfred Rambaud, *Revue politique et littéraire* 1) *Paris et St-Petersbourg à la veille de la Révolution* (2 série, t.XIV, p. 1221, juin, 1878); 2) *L'opinion russe et la Révolution* (ib., t. XV, p. 249, 14 septembre 1878); 3) *Un homme d'état russe (Семен Воронцов) pendant la révolution française* (ib., t.XVI, p. 669, 18 janvier 1879); 4) *Catherine II et la révolution française*, I, *Le Journal de Khrapovistki* (ib., t.XIX, p. 361, 16 octobre, 1880); 5) *Catherine II et la révolution française II. Les liberaux russes et la révolution* (ib. 3-me série, t.I, p.358); Его же. 6) *La révolution française et l'aristocratie russe*, *Mémoire lu à l'academie des Sciences M. et P.* (Paris, 1878). Сочинения Радищева, после снятия запрета, печатались несколько раз. См. полн. собр. соч. под ред. А.К. Бороzdина, И.И. Лапшина и П.Е. Щеголева, Тт. I-II (СПб., 1907) и другое полн. собр. соч. под ред. В.В. Калаша, Тт. I-II; *Путешествие* издано отдельно под ред. Н.П. Павлова-Сильванского и П.Е. Щеголева (СПб., 1905). Имеется перевод *Путешествия* на современный русский язык, сделанный В.П. Недачным и изданный под ред. В.Л. Бурцева (Париж, 1921). Рассказ о Соймонове см.: Falloux, *M-me Swetchine* (Paris, 1860). Новейшая работа принадлежит Larivière, *Catherine II et la Révolution* (здесь и библиография). Учебные годы лейпцигского кружка характеризованы самим Радищевым в его *Житии Ф.В. Ушакова* (перепечатано П. Бартевым в сб. "XVIII век", т. II). Здесь же см. и критические замечания Ушакова на книгу Гельвеция. Трактат *О смерти и бессмертии* изложен (по Собр. соч. Радищева) в книге проф. Е. Боброва *Философия в России*, вып. III (Казань, 1900). Переписка Кутузова с московскими масо-

23 Термин "национальный", "национальность" употреблялся и употребляется мной в безразличном смысле: "относящийся к нации, свойственный нации". Термин "националистический", национализм" я употребляю в смысле terminus graeagnans: относящийся сочувственно к национальным чертам, сочувственное отношение к национальным особенностям. Думаю, что этого разъяснения достаточно, чтобы устранить те возражения против моей терминологии, которые предъявлялись мне некоторыми критиками. Источник возражений, если не ошибаюсь, заключался в желании сохранить термин "национальный" для означения тех из числа национальных особенностей, относительно которых сочувствие закононо. Такому употреблению термина я отказываюсь следовать, ибо вопрос о пределах законного сочувствия не может быть решен терминологией, а только рискует быть запутан, самое же решение вопроса субъективно и условно.

нами издана в "Русской старине", № 1-3 (1874). Важнейшие сочинения и материалы о Радищеве: Сухомлинов, *Исследования и статьи*, т. I (СПб.), *Архив Воронцова*, т. V (здесь критические замечания Екатерины, допросные пункты и ответы Радищева). В.Е. Якушкин, *Суд над русским писателем в XVIII в.* в "Русской старине", № 9 (1882) и его же: *Учебные годы Радищева* в сб. "Под знаменем науки" (М., 1802) и В.Ф. Мякотин, *На заре русской общественности* в его книге: *Из истории русского общества* (СПб., 1902); там же см. статью о Щербатове *Дворянский публицист екатерининской эпохи*. Н.П. Павлов-Сильванский *Очерки по русской истории XVIII-XIX в.* (перепечатка из Полн. собр. соч. Радищева) (СПб., 1910), здесь и библиография. О разных элементах системы Лейбница см.: Merz, *Leibnitz*, в серии: "Philosophical Classics ed by W. Knight (Lond. 1884). О иностранных источниках Радищева, кроме самих сочинений, цитированных в тексте авторов (с'Гравесанда, Гельвеция, Гольбаха, Мендельсона, Платнера, Бонне, Галлера, Мабли) см.: W. Guerrier, *L'abbé de Mably, moraliste et politique* (Paris, 1886); I.E. Poritzky, *Lammetrie* (Berlin, 1900); G. Plekhanow, *Beitrag zur Geschichte des Materialismus* (Holbach, Helvetius, Marx) (Stuttgart, 1896); Offner, *Die Psychologie Charles Bonnet's* (Leipzig, 1893), in "Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung". Новейшая, очень ценная работа о Радищеве принадлежит В.П. Семенникову: *Радищев: "Очерки и исследования* (М.,-Петроград, 1923). Здесь определена дата написания оды *Вольность*, доказана принадлежность *Отрывка*, напечатанного в "Живописце", Радищеву, исследованы отношения Радищева к масонству и т.д. Результаты этой работы введены в текст настоящего издания. Об отношении Екатерины к революции, кроме указанных выше сочинений, см. ее переписку с Гриммом и дневник Храповицкого. Значительная часть театральных пьес екатерининского времени собрана в *Российском театре или полном собрании всех российских театральных сочинений*, в 43 т. (СПб., 1786 и след). Некоторые выдержки отсюда см. в кн.: Незеленов, *Литературные направления в екатерининскую эпоху*, *Антидот* Екатерины перепечатан в IV т. Бартенева, *Восемнадцатый век*. Чрезвычайно странное суждение по поводу следствия над Новиковым высказано было Я. Барковым в предисловии к *Переписке московских масонов*. Барков не доверяет показаниям Новикова и разделяет чуть не все подозрения следователей. Это мнение, как и многие утверждения Незеленова, не заслуживает даже опровержения.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абаев В.И. 1-I, 307, 316
Аболин А.К. 2-II, 426, 435
Аболин Р.И. 1-I, 120
Абиндер А.И. 2-II, 435
Аблесимов А.О. 2-II, 140-141; 3, 238-239
Абрамов 2-I, 154, 415
Абрамов Я.В. 2-II, 370
Абульгази 1-I, 282
Абрамов-Ширяевец 2-I, 350-351
Аввакум Петрович 2-I, 43, 48, 50, 52-54, 58, 62-65; 2-II, 45, 138, 214, 351; 3, 137, 167-169, 173, 203
Август, имп. 1-I, 231; 2-I, 32
Август, кесарь 3, 49, 75
Август II (Фридрих Август I), кор. польск. 3, 164
Августин 1-I, 43; 2-II, 216
Авель (библ.) 2-I, 121, 264; 2-II, 48
Авербах 2-I, 378, 380
Авиценна 2-I, 244
Авраам (библ.) 2-I, 119, 264
Авраамий, инок 2-I, 58, 75
Аврелий, кор. готский 1-II, 350, 406
Аврора (миф.) 3, 296
Автухов И.Г. 2-II, 434
Агафангел, еписк. 2-I, 222, 226, 231, 233, 239, 248-250
Агафонов В. 1-I, 82, 84
Аграфена, вел. кн. рязан. 1-II, 463
Агриппа 1-I, 231
Агтаев Бекбелей, мурза пелымский 1-II, 485
Адад-Нирари 1-I, 263
Адам (библ.) 2-I, 19, 264; 2-II, 236; 3, 214
Адарюков В.А. 2-II, 370
Адашев А.Ф., гос. деятель 3, 63, 66-67
Аддисон Д. 3, 241
Адриан, патр. 2-I, 59, 275; 2-II, 254; 3, 143, 169-170
Айвазовский И.К. 2-II, 66, 82
Айзман 2-I, 345
Айлио 1-I, 148, 183, 185, 194, 200, 216
Айналов 2-II, 35
Айхенвальд Ю.И. 2-II, 117
Аквинский Ф. 2-I, 176
Аксаков И. 2-I, 146
Аксаков К. 3, 158
Аксельрод Л. (Ортодокс) 2-I, 16
Акулина Ивановна 2-I, 116
Акульшин Р. 2-I, 380
Аларих 1-II, 353
Алданов М.А. 1-I, 9, 12, 24
Алевизио 2-II, 41
Александр Арсен 2-II, 96, 98
Александр Иоанн болгарский 3, 43, 66
Александр, кн. литовский 3, 34, 53
Александр Македонский (Великий) 1-I, 115, 265, 276-277, 282; 2-I, 273-274, 353; 3, 43, 155, 388
Александр Невский, кн. 1-II, 459
Александр I, имп. российский 2-I, 55, 67, 68, 88, 90, 124, 369, 412; 2-II, 21, 27-29, 274, 280-281, 283-284, 369; 3, 130
Александр II, имп. российский 1-I, 8; 2-I, 96, 300, 347; 2-II, 59, 277, 306, 319, 322, 324, 326, 352, 402, 437
Александр III, имп. российский 1-I, 11, 12; 1-II, 504; 2-II, 29, 315-316, 334
Александр, диакон 2-I, 65, 73
Александр Б. (преосв. Никанор) 2-I, 73
Александр, старовер 2-I, 65, 73
Александров А. 2-II, 200-201
Александровский 2-I, 366
Алексей Михайлович, царь 1-II, 474; 2-I, 49, 55-56, 59, 63, 198, 274; 2-II, 44, 214-215; 3, 101, 129, 131, 132, 134, 136-137, 146-147, 168, 171, 189, 234
Алексей, царевич 3, 155, 173, 180-181, 187
Алексей, архиеп. 2-I, 243
Алексей, митр. московский 3, 34-35, 44, 51
Алексеев И. 2-I, 74, 85-89
Алексеев Ф. 2-II, 54

- Алексий затворник 2-I, 208
Алексий (житие) 2-I, 279
Алешский П. 2-I, 41; 2-II, 44, 138;
3, 114
Алехин В.В. 1-I, 86, 88, 120, 138
Алешинцев И. 2-II, 369
Аль-Омар 1-II, 375
Альберт Великий 2-II, 244
Альгаротти 2-II, 24
Альмейда Камена 1-I, 121
Альтман Н. 2-II, 102
Алчевская А. 2-II, 354-356, 359,
455
Алябьев А.А. 2-II, 142
Амвросий, патр. 2-I, 69-70
Амель 2-I, 322
Анастасий 1-II, 413
Анджолони 2-II, 140
Андреев Л.Н. 2-I, 262, 330-331, 338,
345, 354, 357, 415; 2-II, 126
Андреев Н.Е. 1-I, 28; 1-II, 332
Андрей, апост. 2-I, 25
Андрей Боголюбский, кн. 2-I, 23, 38
Андрей Иванов (прот. Журавлев)
2-I, 72
Андроник, еписк. 2-I, 216, 220; 2-II,
128-129; 3, 33
Андронов Ф. 3, 79
Анисимов А.И. 2-II, 33-34, 128-129;
3, 278
Анна Иоановна, имп. 2-I, 66, 178;
2-II, 139; 3, 170, 186, 188-189,
196-198, 209-210, 221-222, 225,
227-228, 235, 347
Анна Романовна (секта хлыстов) 2-I,
116
Анрен, октябрист 2-II, 348
Ап-ский С.А. (Раппопорт) 2-II, 359,
370-371
Ансель 1-I, 309
Ансельм Кентерберийский 2-I, 185;
2-II, 216
Антониевич И. 1-I, 172, 222-224,
241-242, 314; 1-II, 388, 390,
394, 407
Антоний (греч.) 2-I, 29
Антоний (миф.) 3, 267
Антоний, патр. 2-I, 42
Антоний (Храповицкий), еписк. 2-I,
165, 207-208, 218, 221-222,
224-225, 227, 231-232, 413
Антоний, митр. 2-I, 245-247
Антонов, городской депутат 3, 327
Антоновский, переводчик 2-I, 328
Антропов А. 2-II, 53
Анфим, раскольник 2-I, 66
Аньхарий, св. 1-II, 421
Апраксин Ф.М. 3, 150
Аполинер Г. 2-II, 78
Апсит 2-II, 111
Араго Д.Ф. 3, 216, 326
Араяя Фр. 2-II, 139-140; 3, 235
Аракчеев А.А. 3, 141
Арапов 2-II, 85
Арватов Б.И. 2-II, 122
Аргуновы (бр.) 2-II, 53
Арина Лазаревна 2-II, 131
Аристотель С. 1-I, 45; 2-I, 286; 2-II,
211, 213, 220, 243, 286; 3,
361-362
Аркин Д. 2-II, 108-110, 131
Арнобий 3, 362
Арнольд, еписк. бамбергский 1-I,
238
Аррениус-Фрех 1-I, 127
Арсен, книгопечатник 2-I, 51
Арсений, старец 2-I, 44, 49
Арсений 2-II, 214
Арсений Мацевич 2-I, 201; 3, 291
Арсений Рождественский 2-I, 154
Арсений Эллассонский 3, 112, 171
Арсеньев К.И. 2-II, 278
Арсеньев Н.С. 2-I, 24
Артамонов М.И. 1-II, 378
Артемий, игумен троицкий 2-I, 25,
40, 42, 104; 3, 67, 103
Артемьев А. 2-I, 99
Архангельский А.С. 2-I, 42
Арцибашев М.П. 2-I, 329, 393
Арциховский А.В. 1-II, 387, 443, 468
Арцишевский В. 2-II, 465
Асафьев Б.В. 2-II, 141, 205
Асений, дин. болгарская 2-II, 35;
3, 35, 43
Аскольдов 2-I, 202
Аспарух, царь болгарский 1-II, 358,
401
Астаритта Дж. 2-II, 140
Аттила, имп. гуннский 1-II, 349,
353-354, 357, 397
Ауэр Л.С. 2-II, 197
Афанасий Великий 2-I, 191
Афанасьев А. 3, 314
Афанасьев 2-II, 156
Афиноген, раскольник 2-I, 66
Афросинья, невеста царев. Алексея
3, 181
Ахемениды, дин. иранская 1-I,
303
Ахматова А.А. 2-I, 342
Аэций, полководец 1-II, 353-
354

- Баадер Ф. 2-I, 182
 Бабель И. 2-I, 355, 371, 378, 389-390, 409, 416; 2-II, 125
 Багалеи Д.И. 2-II, 369
 Баграм-Гор, царь сасанидский 1-II, 349
 Багрицкий Эд. 2-I, 380-381
 Баженов В.И. 2-II, 26
 Байрон Дж.Н.Г. 2-I, 293, 408
 Бакал 2-II, 84
 Бакст Л.С. 2-II, 67, 92-93, 95, 100
 Бакунин М.А. 1-I, 38; 2-I, 302; 2-II, 102
 Бакунин П.В. 2-II, 102
 Балабан, штундист 2-I, 137
 Балакирев М.А. 2-II, 150-151, 154, 178, 180-181
 Баламбер (Валамир), хан гуннский 1-II, 351, 353; 2-II, 375
 Балин Д. 2-II, 464
 Балтрушайтис Ю.К. 2-II, 158
 Балугьянский М.А. 2-II, 284; 3, 335
 Бальи 3, 407
 Бальмонт К.Д. 1-I, 24; 2-I, 262, 325, 327, 329, 331, 334-337, 339, 342, 350, 354, 357, 365, 415; 2-II, 157, 184, 190
 Бань-гу 1-I, 277
 Баранович, малорос. проповедник 3, 109
 Барант Э. 2-I, 297
 Барклай 3, 233
 Барма Ф. 2-II, 19; 3, 76
 Бароний, католич. богослов 2-II, 216
 Барсков Я. 3, 373, 431
 Барсов А.А. 2-II, 260
 Барсов Н.П. 1-II, 378, 386, 439
 Барт П. 1-I, 54, 64
 Бартенев П.И. 3, 335, 430
 Бартольд В.В. 1-I, 282; 1-II, 359, 364, 372, 378
 Бартуц, антрополог 1-I, 245-246
 Бастъен-Ленаж, художник 2-II, 84-85
 Баторий С. 1-II, 462, 464; 3, 75
 Батрак 2-I, 403-405
 Батте Ш. 2-I, 293
 Батый, хан монгольский 1-II, 374-375
 Батюшков К. 2-II, 351
 Бауер В. 3, 50
 Бауман Н. 2-II, 102
 Баумейстер Ф.Х. 3, 361
 Баухауз Д. 2-II, 109
 Бах И.С. 2-II, 7, 162-163, 172, 178, 186, 193
 Бах С. 2-II, 163
 Бах Ф.Эм. 2-II, 163
 Бах Эмм. 2-II, 165
 Бахметев Н.И. 2-II, 144
 Бахметев 2-I, 399
 Бахрушин С.В. 1-II, 517, 519
 Бахтурин 2-II, 147
 Бахус 2-II, 139
 Башкин М. 2-I, 10
 Беджгот В. 3, 30
 Бедный Демьян (Придворов Е.А.) 2-I, 409; 2-II, 101, 198, 457, 464
 Безбородко А.А. 3, 334, 335, 379, 409
 Безмин 2-II, 48
 Безыменский А. 2-I, 373-374, 380, 382, 409
 Бейль П. 3, 257-258
 Бейрих Г.-Э. 1-I, 123
 Бекан, католич. богослов 2-I, 177
 Бек-Булат, хан 1-II, 493
 Бекетов Н.А. 3, 235
 Бекетова М.А. 2-I, 354
 Беккариа Ч. 3, 250, 262-267, 272
 Беккер П. 2-II, 169, 175-176
 Беклин А. 2-II, 64, 83
 Бекон Р. 1-I, 43
 Бела 1-II, 397
 Белавин А. 1-I, 261
 Белинский В.Г. 2-I, 14, 280-281, 291, 294, 296, 299, 302, 307-309, 311, 346, 375; 2-II, 92, 322, 343
 Беллегард 3, 225
 Беллини В. 2-II, 144, 177
 Бельярмин 2-I, 177; 2-II, 216
 Белобродский Ян 2-I, 120; 2-II, 217
 Белозерская Н. 2-I, 353
 Белокуров С. 2-I, 54
 Белотто (Каналетто) 2-II, 54
 Белоусов Е.Я. 2-II, 197
 Белый А. (Бугаев Б.Н.) 2-I, 262, 37-342, 350, 354, 357, 365, 367, 375, 415; 2-II, 88, 117
 Белый В. 2-II, 203
 Бельгард, аббат 3, 208
 Бельский М. 2-II, 238
 Беляев В. 2-II, 203, 205
 Венуа А.Н. 1-I, 24; 2-II, 20, 63-65, 67-68, 71, 74, 86, 89, 95, 97, 101, 110, 116, 118, 130-131
 Бер, пастор 3, 106, 112
 Берберова Н.Н. 1-I, 24
 Берг А. 2-II, 174
 Бергсон А. 1-I, 58; 2-I, 383; 2-II, 467
 Бердяев Н.А. 1-I, 18; 2-I, 16, 186, 192, 202, 336, 413
 Березовский В.В. 2-II, 144, 205

- Березовский М.С. 2-II, 141
 Березовский Ф.А. 2-I, 405-406
 Беринг В.И. 1-II, 517
 Берке, хан 1-II, 357
 Беркитт М.С. 1-I, 157, 165, 171
 Берлинер Г. 2-I, 354
 Берлиоз Г. 2-II, 145-146, 167, 172, 178-179
 Бернадский Г.В. 3, 373
 Бернар П. 2-II, 29
 Бернулли Д.-Б. 2-II, 258
 Бернштам А.Н. 1-II, 378
 Бернштейн М.С. 2-II, 396, 434
 Берхгольц Ф.В. 3, 152, 185, 190, 235
 Бескин Э.М. 2-II, 126-127
 Беспалов И.М. 2-I, 335
 Бессель В.В. 2-II, 205
 Бессонов П. 2-II, 205; 3, 133
 Бестужев Н.А. 2-I, 291
 Бестужев-Рюмин К. 3, 225
 Бетховен Л. 2-I, 334; 2-II, 144, 162-166, 168, 172, 175-178, 180, 185-186, 203-204
 Бехтерев В.М. 3, 30
 Бецкий И.И. 2-II, 25, 263, 265-268; 3, 292, 305
 Беме Я. 2-I, 194; 3, 388
 Бибииков А.И. 3, 279, 303, 316, 319
 Бибииков Д.Г. 2-II, 303
 Бидло (Бидлоо Н.) 2-II, 252
 Билибин И.Я. 2-II, 67, 69, 94, 95, 101
 Билль-Белоцерковский В.Н. 2-II, 125
 Бильбасов В.А. 3, 281
 Бильфингер Г.-Б. 2-II, 258
 Бирон Э.И. 3, 198, 258, 425
 Битнер В.В. 2-II, 363-364
 Бичурин Н.Я. 1-I, 315
 Блаватская Е.П. 2-II, 158
 Благовидов Ф.В. 2-I, 201; 3, 373
 Благушин К. 2-II, 465
 Блок А.А. 1-I, 24; 2-I, 262, 337, 339-342, 345-346, 350-351, 354-355, 358-360, 365, 415; 2-II, 119
 Блэк Э., еписк. 2-I, 232
 Блэкстон 3, 315, 320-321, 324-325, 335
 Блюм 2-II, 204
 Боборыкин П.Д. 2-I, 318
 Бобринский А.А. 1-I, 315-316
 Бобрицев-Пушкин А.М. 2-I, 202
 Бобров Е. 3, 431
 Бобров С. 2-II, 97
 Бобыкин В.В. 2-II, 245
 Бова Королевич (лег.) 2-I, 276
 Богаевский К. 2-II, 82
 Богачева 2-II, 439
 Богданов А.А. 2-II, 262, 345, 362-364, 374-375, 402-403
 Богданов А.П. 1-I, 211
 Богданов А.П. 1-II, 429, 519
 Богданов Н. 2-I, 262, 402-403
 Богданова О. 2-II, 277
 Богданович И.Ф. 2-I, 286, 353; 3, 240
 Боголепов И.П. 2-II, 346, 365, 370-371
 Боголепов Н.П. 2-II, 318, 337-338
 Боголюбов В. 3, 314
 Боголюбов Д.И. 2-I, 210
 Боголюбовский А., кн. 2-I, 23, 38
 Богораз В.Г. (псевд. Тан Н.А., Тан В.Г.) 1-I, 171
 Богородицкий В.А. 1-II, 468
 Богуславский В. 1-I, 236
 Бодлер Ш. 2-I, 322-323; 2-II, 170
 Бойд-Даукинс 1-I, 153
 Боккаччо Дж. 2-II, 162
 Бокль Г.Т. 1-I, 43
 Бокум 3, 386
 Болотников С. 1-II, 462, 464; 3, 79
 Болотов А.П. 3, 186, 198-199, 205, 224, 231-233, 237, 318-319, 330, 335, 368
 Болтин И.Н. 3, 131, 348, 374, 428-429
 Болховский, кн., воевода 1-II, 490, 493
 Болько-Рихтхофен 1-I, 228
 Бомарше П.О.К. де 3, 238
 Бомбелль, повер. Людовика XVI 3, 410
 Бондарев Д.А. 2-II, 438, 463
 Боннар П. 2-II, 84
 Бонне Ш. 3, 381, 383-385, 431
 Бонч-Бруевич В.Д. 2-I, 133
 Бошлан 1-II, 457
 Борис (кн.), св. 2-I, 29
 Борисов-Мусатов В.Э. 2-II, 83-87, 118
 Борковский И. 1-I, 200
 Борней 2-II, 164
 Боровиковский В.Л. 2-II, 53-54
 Боровка Г.И. 1-I, 171
 Боровский А.К. 2-II, 197
 Боровский Пафнутий 2-II, 39
 Бородин А.П. 1-II, 365, 370; 2-II, 95, 132, 150, 154-155, 180-181, 183-184, 187, 205
 Бороздин А.К. 3, 430
 Бортнянский Д.С. 2-II, 132, 141-142, 144
 Боссюэ Ж.Б. 1-I, 43

- Ботвид И. 2-I, 28
 Боткин В.П. 2-I, 299, 300
 Боттичелли С. 2-II, 83
 Боффран Г.Ж. 2-II, 24
 Боччони У. 2-II, 80
 Бошняк, переводчик 1-I, 65
 Боярский 2-I, 220
 Браз М. 2-II, 464
 Брак Ж. 2-II, 87, 102
 Брамс И. 2-II, 186, 185-186
 Браудо Е.М. 2-II, 205
 Браун Ф.А. 1-I, 214, 307; 1-II, 378, 394
 Браунхофер 1-I, 208
 Брейткопф 2-II, 205
 Бренна В.Ф. 2-II, 26, 28
 Брианн М. 2-II, 96
 Брикнер А. 3, 132, 185, 281
 Брихничев И. 2-I, 220
 Брокгауз Ф.А. 1-II, 519; 2-II, 128, 369-371
 Броннер Б.М. 2-II, 435
 Бронтман Л.К. 2-II, 429-431, 435
 Бруни Ф.А. 2-II, 56, 69, 105
 Брыкин Н.А. 2-I, 405
 Брюллов К.П. 2-II, 5, 56, 58-59, 63, 65, 67, 81, 98, 130, 146-147
 Брюс Я.В. 3, 343, 371
 Брюсов В.Я. 2-I, 262, 325-327, 329-331, 337-339, 342, 354, 358-359, 415; 2-II, 88, 118, 184
 Брюссель Р. 2-II, 96
 Бубликов 2-II, 439
 Бубнов А.С. 2-II, 423, 431, 434
 Бубнов Н. 2-II, 426
 Буге Ю. 1-I, 197
 Бугеро 2-II, 64
 Буглай Д.В. 2-II, 202
 Буданцев 2-I, 371
 Будде Е. 1-II, 420, 454, 468
 Будилович А. 2-I, 353
 Буденный С.М. 2-I, 389
 Будный С. 2-I, 107
 Бузони Ф.Б. 2-II, 171-172, 176, 206
 Бужинский Г. 2-II, 251
 Буини 2-II, 141
 Булавин П. 1-II, 466; 3, 179
 Булатницкий 3, 236
 Булат-Темир, кн. татарский 1-II, 449
 Булгаков М. 2-I, 386, 409; 2-II, 125-126
 Булгаков С.М. 2-I, 16, 189, 202, 208, 336, 413
 Булгаков Я.И., русск. посол 2-II, 139
 Булгарин Ф.В. 2-I, 298; 2-II, 147, 351
 Булич Н. 2-II, 369
 Буль Дж. 1-I, 125
 Булье Е.-С.-А., франц. ген. 3, 409-410
 Бунаков Н.Ф. 2-II, 332
 Бунин И.А. 1-I, 24; 2-I, 345, 357, 368
 Бурлюк Д. 2-I, 343; 2-II, 90, 93, 105
 Бурлюки (бр.) 2-I, 343
 Бурцева В.Л. 3, 430
 Бурцов В. 2-II, 242
 Буслаев В. 2-I, 271
 Буслаев Ф.И. 2-I, 352; 2-II, 52, 129
 Бутенант 3, 141
 Бутурлин, гр. 3, 190, 236
 Бухарин Н.И. 2-I, 16, 355, 376-377, 415; 2-II, 101, 441, 449, 464
 Бухвостов Я. 2-II, 22-23
 Буш Н.А. 1-I, 86-89, 91, 120, 136-138
 Бычков Н.М. 2-II, 340
 Бьельке 3, 316, 330
 Бэкон Ф. 1-I, 43
 Бюхнер Л. 2-II, 364
 В.Б.Б. 2-I, 154
 Вавилов Н.И. 1-I, 177
 Вагнер Р. 2-I, 328; 2-II, 132, 148, 155-156, 157, 165, 167-169, 172, 178-180, 184-185
 Вакх (миф.) 3, 348
 Вале 1-I, 178, 187, 215, 221, 225
 Валент, имп. римский 1-II, 353
 Валуев П.А. 2-II, 334
 Вальдемар, король датский 2-I, 107, 175
 Вальденберг В. 3, 132
 Вальсамон, канонист XII в. 2-I, 33
 Ван Гог В. 2-II, 70, 75-76, 82, 84, 98-99
 Вейден Р. ван-дер 2-II, 45
 Ван-Донген 2-II, 87
 Ванновский П.С. 2-II, 318, 338
 Ван-Эйк Ян 2-II, 45, 98
 Варвара великомученица 3, 204
 Вардин 2-I, 375, 380-382
 Варлаам (лег.) 2-I, 274
 Варлаам А.Е. 2-II, 142
 Варнава, арх. 2-I, 174, 205
 Варфоломеев А. 1-II, 482
 Варфоломеев Л., боярин новгор. 1-II, 482
 Василий I Дмитриевич, вел.кн. моск. 1-II, 482; 2-I, 30, 34, 42; 3, 44
 Василий II Васильевич, Темный, вел.кн. моск. 1-II, 473, 2-I, 34

- Василий III Иванович, вел. кн. моск.
1-II, 473; 2-I, 36; 3, 41, 52, 58,
60, 63, 66, 104, 108
- Василий Данилович, воевода 3, 61
- Василий Великий (Кессарийский),
св. 2-II, 238
- Василий, арх. новгородский 2-I, 269
- Василий III, патр. Константинопольс-
кий 2-I, 248
- Василий Буслаев (былин.) 2-I, 271
- Васильев В. 2-I, 39, 42
- Васильев И. 2-I, 403, 406
- Васильева 2-II, 271
- Васнецов В.М. 2-II, 5, 68-69, 71
- Вассиан Косой (Патрикеев) 2-I, 40-
42, 46-47; 3, 57, 63, 65, 67, 69
- Ватто А. 2-II, 83
- Вахтангов Е.Б. 2-II, 122, 126
- Вахтеров В.П. 2-II, 346, 370
- Введенский А.А., прот. 1-II, 519
- Введенский А.И. 2-I, 202-203, 215-
216, 218-220, 225, 227-229, 260
- Вебер К.М. фон 2-II, 144, 178-179
- Веберн А. 2-II, 173
- Везалий А. 2-II, 234-235
- Вейи де 2-II, 53
- Вейкшан В. 2-II, 434
- Вейсгаунт, основ. учения
иллюминатов 3, 367
- Вейсман А. 1-I, 174
- Векслер И. 2-II, 434
- Великодворский П. 2-I, 69, 73
- Вельтман А.Ф. 2-I, 353
- Венгеров С.А. 2-I, 353-354, 368;
3, 248
- Венелин (Хуца) Ю.И. 1-I, 236
- Венецианов А.Г. 2-II, 5, 55-56, 58
- Вениамин, митр. Петербур. 2-I, 220,
233, 413
- Вербицкая А.А. 2-I, 329
- Веревкин 2-II, 89
- Вересаев В.В. (Смидович В.В.) 2-I,
345, 358, 368, 371, 387, 416
- Верещагин В.В. 2-II, 63
- Веригин П.В. 2-I, 140, 143
- Верлен П. 2-I, 323, 358; 2-II, 170
- Вернадский В.И. 1-I, 25
- Вернадский Г.В. 1-I, 4, 25-26
- Верстовский А.Н. 2-II, 144, 147
- Верстовский Т. 2-I, 73
- Верт 1-I, 126, 128, 130
- Верхарн Э. 2-I, 358, 365; 2-II, 124
- Веселовский А.Н. 2-I, 352-353; 3,
314
- Веселовский Б. 2-II, 341
- Веселовский Н.И. 1-I, 313
- Веселой Ф. 2-II, 277
- Веселый Артем 2-I, 355, 380-381,
388-389, 416; 2-II, 459
- Вестовой 2-II, 364
- Вешняков В.И. 3, 335
- Виардо-Гарсия П. 2-I, 307
- Вигдоров А.Г. 2-II, 371
- Вигель Ф.Ф. 2-II, 21
- Виже-Лебрен 2-II, 53
- Викингер 2-II, 374
- Виклеф (Виклиф Дж.) 3, 215
- Вико Дж. 1-I, 45-47, 49, 56, 58, 64
- Викторова М. 2-I, 24
- Викулин Д. 2-I, 81
- Вильке 1-I, 205
- Вильгельм III, кор. англ. 3, 141
- Вильямс П.В. 2-II, 105
- Виниус А.А., думн. дьяк 3, 142
- Виничслав (Венцеслав), кор.
славянский 1-II, 411
- Винклер Г. 1-I, 208, 214
- Виноградов П.Г. 1-I, 7
- Виноградова Е. 2-II, 464
- Вирхов Р. 1-I, 211
- Висковатый, дьяк 2-II, 5, 39-40
- Виссарийон, кард. византийский 3, 38
- Витимер, кор. остготский 1-II, 353
- Витте С.Ю. 1-II, 510
- Вишенский И. 2-II, 222
- Вишневич М. 2-II, 465
- Владимир, кн. 1-II, 363; 2-II, 18,
29, 32
- Владимир, иконописец 2-II, 39
- Владимир, кн. новгород. 1-II, 425
- Владимир Мономах 1-II, 454; 2-I, 23;
2-II, 239; 3, 49, 75
- Владимир, митр. Киевский 2-I, 215
- Владимир Святой 1-II, 400, 448; 2-I,
18; 2-II, 239, 369; 3, 49
- Владимиров В. 2-II, 277
- Владимиров И. 2-II, 46
- Владимиров П.В. 2-I, 353
- Владимирский-Буданов М. 2-II, 222,
277, 369
- Владимирцев Б.И. 1-II, 367, 372, 378
- Владислав, королевич польский 3,
74, 79, 82-84, 86-87, 89, 93
- Владиславлев В.В. 2-I, 409
- Владиславлев И.В. 2-I, 357
- Власий св. 2-II, 34; 3, 204
- Водовозов В.И. 2-II, 323, 332
- Воейков А.И. 1-I, 95, 121
- Возинский М. 1-I, 196
- Войтинский 1-II, 512
- Волжин 2-I, 205
- Волков А. 3, 236

- Волков Гр. 3, 236
 Волков Ф. 3, 236
 Волков Ф.К. 1-I, 148, 170
 Волконский М.Н., кн. 3, 333, 335
 Волконский С.М. 1-I, 24
 Володарский Л.М. 2-I, 216
 Володин С. 2-II, 465
 Волосович К. 1-I, 139
 Волошин М. 2-I, 378
 Волчков С. 3, 208
 Вольпе Дж.Б. дедла 3, 38
 Вольтер 1-I, 44, 56, 67; 2-II, 471; 3, 238, 250, 254-257, 262, 274, 290-292, 302, 316-320, 339-342, 350, 366, 369, 374, 406-407, 419
 Вольф Х. 2-II, 258, 277; 3, 361
 Вольфсон М.А. 2-II, 443, 463
 Волхов (лег.) 2-II, 239
 Волинский А. (Флексер А.Л.) 2-I, 321; 2-II, 25
 Вонифатьев С. 2-I, 49, 50, 52
 Вормс Р. 1-I, 47
 Воробьев 2-II, 54
 Воронихин А.Н. 2-II, 29
 Воронов А. 2-II, 278, 369-371
 Воронский А. 2-I, 354-355, 360, 366, 373, 375-378, 380-381, 384-385, 391, 410, 415; 2-II, 204, 376
 Воронцов А.С. 3, 376, 391, 408
 Воронцов В.В. 2-I, 317
 Воронцов М.И. 2-II, 25
 Воронцов Р.И. 3, 305, 348
 Воронцов С.Р. 3, 376, 378, 409, 430
 Вортман, гравер Петра 2-II, 52
 Врангель Н.Н. 2-I, 218; 2-II, 128
 Врубель М.А. 2-II, 5, 69, 71, 86
 Всеволожский Н.С. 3, 305, 349
 Вулич С. 2-II, 128
 Вухтерс Д. 2-II, 44
 Выродов 3, 327
 Высоцкий Г.Н. 1-I, 79, 81
 Вышнеградский И.Д. 2-II, 390
 Вьюяр Э. 2-II, 84
 Вяземский И. 2-I, 291-292, 353; 3, 279-280
 Вяземский П.А. 3, 305
 Вялов 2-II, 105

 Габриэль Ж.А. 2-II, 25
 Гавриил (библ.) 2-I, 121
 Гавриил Бужинский, пастырь рязан. 2-II, 251
 Гаврилов 2-I, 285
 Гаврилов Я. 2-II, 44
 Гагарин С.П., кн., губ. сибирский 1-II, 501
 Гайдн И. 2-II, 7, 144, 162-165, 180, 194
 Гайлис Я. 2-II, 434
 Гайнас, гот 1-II, 353
 Гакстгаузен А. фон 2-I, 118
 Галактионов С.Ф. 2-II, 54
 Галахов А. 2-I, 352-353; 2-II, 246
 Гален К. 2-II, 232
 Галилей Г. 2-II, 229; 3, 216
 Галич А.И. 2-II, 290
 Галлер А. 3, 381, 385, 431
 Галуппи Б. 2-II, 141
 Галятовский И. 2-I, 118
 Гамалея С.И. 3, 371
 Гамсун К. 2-I, 330; 2-II, 116, 458
 Ганзен Ц. 2-II, 197
 Ганнибал А.П. 3, 233
 Ганс Н. 2-II, 400, 413
 Гансберг 2-II, 374
 Ганченко С. 1-I, 312, 314; 1-II, 407
 Гарбузова Р. 2-II, 197
 Гарвей Х. 2-II, 234
 Гарден М. 2-II, 449
 Гардизи 1-II, 442
 Гартман Н. 2-I, 184
 Гарун-аль-Рашид 1-II, 360
 Гастев 2-I, 366; 2-II, 102
 Ге Н.Н. 2-II, 68
 Гегель Г.В.Ф. 1-I, 44, 48, 64; 2-I, 184; 2-II, 300
 Гедиминович 3, 148
 Гейгер Т. 1-I, 208, 258
 Гейне Г. 2-I, 383, 389
 Геккель 2-II, 88
 Гельвеций К.-А. 3, 254, 292, 361, 381-384, 388, 430-431
 Гельмгольц Г. 2-II, 75, 160, 164, 167
 Гельмонт А.М. 2-II, 434
 Гендель Г.Ф. 2-II, 7, 144, 162-163
 Геннадий, митр. 3, 54
 Геннадий, архиеп. новгор. 2-I, 26; 2-II, 207-210
 Геннекен 2-II, 359
 Генрих IV 3, 407
 Генсборо 2-II, 53
 Георгий св. 2-II, 34
 Гераклий, имп. 1-II, 410
 Герасимов Д.А. 1-I, 159, 162, 171
 Герасимов М.М. 1-I, 171; 2-I, 365, 378
 Гербарт И.Ф. 2-II, 394
 Герберштейн С. фон, бар. 2-II, 239; 3, 104
 Гергард П. 2-I, 177
 Гердер И.Г. 1-I, 44, 67

- Герман, валаамский чудотворец 3, 73, 99
 Герман 2-II, 258
 Германн Ф. 3, 93
 Германарих, царь готский 1-II, 350-351, 361, 433
 Гермоген, еписк. 2-I, 216
 Гермоген, патр. 3, 167
 Геродот 1-I, 213, 229-231, 243, 265, 269, 293-295, 297, 301-307, 326-327; 1-II, 339-340, 351, 368, 393, 489, 526-527
 Герольд Ф. 2-II, 144
 Геронтий, митр. московский 2-I, 42; 3, 56
 Гертель 2-II, 205
 Герцен А. 2-I, 299-300, 303, 309, 387; 2-II, 102
 Герье В.А. 2-II, 369
 Гессен И.В. 1-I, 23
 Гессен С. 2-II, 400, 413, 433
 Гете В. 1-I, 65; 2-I, 194, 293-294, 301
 Гетнер А. 3, 373
 Гец Ф. 2-I, 202
 Гиббон Э. 3, 423
 Гиддингс Ф.Г. 1-I, 42, 52, 64-65; 3, 9-10, 30
 Гидулянов В.В. 2-I, 260
 Гильгамеш (миф.) 1-I, 263, 267
 Гимпера Б. 1-I, 254
 Гинзбург М.Я. 2-II, 131
 Гиппиус Е.В. 2-II, 205
 Гиппиус З.Н. 2-I, 194, 323, 325, 327, 357; 2-II, 88
 Гирей, дин. татарская 1-II, 461
 Гисман 3, 360
 Глаголев С. 2-I, 187
 Гладилов 2-I, 406
 Гладков Ф.В. 2-I, 355, 392-393, 399, 416; 2-II, 125
 Глазов В. 2-II, 465; 3, 276
 Глазунов А.К. 2-II, 154-155, 157, 186, 200
 Глазуновы (бр.) 2-II, 351, 360
 Глеб (кн.), св. 2-I, 29
 Глебов А.Г. 2-II, 125
 Глебов И. 2-II, 206
 Глиэр Р.М. 2-II, 203
 Глинка К.Д. 1-I, 82-83, 85, 119, 136
 Глинка М.И. 2-II, 132, 140-143, 147, 177-178, 180, 192, 205, 478
 Глубоковский Н.Н. 2-I, 178, 201
 Глухих 2-II, 271
 Глюк К.В. 2-II, 139, 141, 162-163, 178
 Гмелин И.Г. 1-I, 91
 Гнесин М. 2-II, 201
 Гнусин 2-I, 92
 Гоббс Т. 3, 254, 291
 Гобино Ж.А. де 1-I, 53
 Гоген Пр. 2-II, 75, 77, 82, 92, 98
 Гоголь Н.В. 2-II, 124, 151, 364, 457; 2-I, 290, 299, 300, 317, 414
 Годар А. 1-I, 267-268, 271
 Годунов Б. 1-II, 464; 2-II, 212, 240; 3, 70, 82, 96, 103, 105, 132, 218
 Гойя Ф. де 2-II, 105
 Голенищев-Кутузов И.Л. 3, 242
 Голицын А.Н., кн. 2-I, 179
 Голицын Б. 2-II, 23; 3, 109, 141, 148, 150
 Голицын В.В. 2-II, 23; 3, 134, 138, 140, 143, 148, 151
 Голицын Д.А. 3, 270
 Голицын Д.М. 3, 179, 182, 222, 224
 Голицын Н.В. 3, 132
 Голицыны, кн. род 3, 348, 378
 Голлербах О. 2-II, 130
 Головин А.Я. 2-II, 315, 328, 330
 Головин 2-II, 67, 71, 82
 Головин Ф. 3, 109, 150
 Головкин Г.И., гос.деятель 3, 150
 Голодный М. 2-I, 380
 Голубев 2-I, 222
 Голубев М.С. 2-II, 465
 Голубинский Е.Е. 2-I, 23-24, 41, 181
 Голубовский П.В. 1-II, 379
 Голубцов А.П. 2-I, 153, 201; 2-II, 246
 Гольбах П.А. 3, 254, 383-384, 386, 388-389, 431, 444
 Гольберг 3, 236, 309
 Гольмстен В.В. 1-I, 191
 Гомер 1-I, 55; 2-I, 293; 3, 38
 Гондуэн 2-II, 26
 Гонсевский (Госевский А. Корвин) 3, 85
 Гончаров И.А. 2-I, 300, 311; 2-II, 5
 Гончарова Н.С. 2-II, 87, 90-91, 93, 95-96, 97, 101, 103, 105
 Горацій 2-II, 7, 176; 3, 244
 Горбачев 2-I, 378, 382, 399, 410
 Горбов Д. 2-I, 380
 Горбунов К.Я. 2-I, 405-406
 Гордон (Гордон Патрик фон Аклеурис) П.И., 3, 108, 141
 Горлов И.Я. 2-II, 308
 Горностаев Ф. 2-II, 128
 Горнфельд 2-I, 322, 325-326; 2-II, 131
 Горовиц В.С. 2-II, 197
 Городецкий С. 2-I, 342
 Городков 1-I, 93
 Городцов В.А. 1-I, 148, 170, 191,

- 198, 312; 1-II, 434, 468, 475
- Горчаков М. 2-I, 201
- Горький М. (Пешков А.М.) 1-I, 22;
2-I, 262, 305, 322-335, 337-341,
345-347, 349, 354-355, 359-362,
367, 370, 393, 415; 2-II, 122,
359, 443, 457, 464
- Гостомысл (лег.) 2-II, 239
- Готье Т. 2-I, 342
- Готье Ю.В. 1-II, 378, 393, 429
- Гофман Э.Т.А. 2-I, 293, 368
- Гоцци К. 2-II, 119, 195
- Грабарь И.Э. 2-II, 7, 20, 38, 64-65,
128-129, 408
- Градовский А.Д. 3, 335
- Граков Б.Н. 1-I, 301
- Гране 2-II, 55
- Грановский Т.Н. 2-II, 300, 304; 3,
355
- Грациан 1-II, 353
- Гребнер Ф. 1-1, 107
- Гревс И.М. 2-II, 354, 371
- Греков Б.Д. 1-II, 344, 379
- Грегори А.Э.М. 2-II, 140
- Гречанинов А.Т. 2-II, 197, 206
- Гречин Д.М. 2-I, 30
- Гри 2-II, 95
- Грибоедов А.С. 2-I, 353; 2-II, 124
- Григ Э. 2-II, 200
- Григорий Богослов 2-I, 190; 2-II, 244
- Григорий, митр. Московский 2-I, 200
- Григорий, патр. Антиохийский 2-I,
248
- Григорий Палама 3, 52
- Григорий Синаит 3, 54-55
- Григорий VII Константинопольский
2-I, 232
- Григорович Д.В. 2-I, 300
- Григорьев 2-I, 335
- Григорьев Б. 2-II, 98-99, 101-101,
130
- Григорьев В.В. 1-II, 378; 2-II, 369
- Гризбах Н.-Р.-А. 1-I, 87
- Гримм 2-II, 21, 27; 3, 260, 291, 316,
320, 340, 353, 370, 375, 396,
406-409, 411-412, 424, 431
- Гринько Г. 2-II, 388
- Грищенко А. 2-II, 34, 39, 84, 92, 129
- Громов В.И. 1-I, 148, 171
- Громов С. 2-I, 69
- Громов П.П. 2-I, 405
- Гросс Х.-Ф. 3, 262
- Гроссман Л.П. 2-II, 128
- Грот Я. 2-I, 353
- Гроций Г. 3, 212, 215
- Грубе 2-II, 332
- Грум-Гржимайло Г.Е. 1-I, 94, 315
- Грушевский М.С. 1-II, 378
- Грязнов М.П. 1-I, 274, 287, 315
- Губер Б. 2-I, 380
- Гумбольдт В. 1-I, 57, 66, 69, 71
- Гумилев Л.Н. 1-II, 378-379
- Гумилев Н. 2-I, 342
- Гумилевский 2-I, 355, 393
- Гумилович 1-1, 53
- Гуммель И.Н. 2-II, 163
- Гумилович Л. 3, 10
- Гуннинг Р. 3, 316, 335
- Гуревич Л. 2-I, 321
- Гурилев А.Л. 2-II, 142
- Гуров И. 2-II, 456
- Гус М. 2-II, 464
- Гус Ян 3, 215
- Гусаковский 2-II, 278
- Гусев-Оренбургский 2-I, 345
- Гусев С.И. 2-I, 410
- Густав III, кор. шведский 3, 412
- Гюанга С. 2-I, 323
- Гюис 2-II, 105
- Гюнтер Г. 1-I, 168, 245, 248-253,
311; 1-II, 521, 526
- Давид (еванг.) 2-I, 279
- Давид Ж.Л. 2-II, 56
- Давиденко А. 2-II, 203
- Дагоберт, кор. австразийский 1-I,
234
- Д'Аламбер Ж.-Л. 3, 254, 256, 292
- Далейрак 2-II, 140
- Далматов С. 2-I, 126
- Даль В.И. 2-I, 353, 389
- Д'Альгейм П. 2-II, 183
- Д'Альгейм-Оленина М.А. 2-II, 183
- Д'Альмейда К. 1-I, 121
- Даниил, кн. 1-I, 471
- Даниил, митр. московский 2-I, 35-
36, 42, 45-48, 50, 175; 3, 63
- Даниил Черный 2-II, 38-39
- Данила Васильевич, кн., воевода
новгород. 3, 61
- Данила Филиппович 2-II, 114
- Данилевский Н.Я. 1-I, 42, 46, 48, 65,
68; 2-I, 184
- Данилевский-Риккерт Н. 2-I, 16
- Данте А. 2-I, 265, 276
- Дарвин Ч.Р. 1-I, 48, 173, 212; 2-II,
360
- Даргомьжский А.С. 2-II, 132, 147-
148, 150-151, 155, 177, 180, 205
- Д'Аржанто М. 2-II, 183
- Дарий, царь персидский 1-I, 276, 295

- Дашков Д.Д., кн. 2-II, 332
 Дашкова Е.Р., кн. 3, 305, 391, 408, 415
 Де Вейи 2-II, 53
 Де Геер 1-I, 158
 Де Котт 2-II, 24
 Де Кюстин 2-II, 22
 Де Лоррену 2-II, 53
 Де Морган 1-I, 265
 Де Ноайль 2-II, 96
 Де Сталь 2-I, 297
 Дебюсси К.А. 2-II, 94, 170, 183-184, 187, 200-201, 204
 Девлет-Гирей, потомок шейбанидов 1-II, 493; 3, 104
 Девлет-Кильдеев, мурза татарский 1-II, 479
 Дега Э. 2-II, 65, 70
 Деев 2-I, 403
 Дежнев С. 1-II, 517
 Дейнека А.А. 2-II, 105
 Декарт Р. (Картезий) 3, 215, 216, 326, 361
 Деклори 2-II, 392
 Деллапорт 1-I, 260
 Деларош П. 2-II, 65
 Делиб К.Ф.Л. 2-II, 93
 Делянов И.Д. 2-II, 315-316, 319
 Дементьев Н. 2-I, 380
 Демидов А. 3, 242
 Демидов А.А. 2-I, 405
 Демидов И.П. 2-I, 261, 405
 Демков М.И. 2-II, 277, 369; 3, 225, 339, 369
 Демосфен 3, 38
 Демьянов 2-II, 206
 Ден 3. 2-II, 142-146, 177-178
 Дени В. (Денисов) 2-II, 111
 Деникин А.И. 2-I, 225
 Денисов А. 2-I, 73, 81, 412; 2-II, 53
 Денисов С. 2-I, 85
 Дерен А. 2-II, 95
 Державин Г.Р. 2-I, 289; 2-II, 27, 271; 3, 320, 330, 335
 Державина 3, 234, 345
 Дерулед 3, 112
 Деттерс А. 2-II, 44
 Детуш 3, 126, 236
 Дешеллетт 1-I, 226
 Джамуга 1-II, 370, 372
 Джатагай (Чагатай), хан 1-II, 375
 Джеббе 1-II, 374
 Джотто ди Б. 2-II, 6, 35, 38, 171
 Джучи, ст. сын Чингиз-хана 1-II, 374
 Джучиды, дин. монгольская 1-II, 375
 Дигенис византийский (лег.) 2-I, 273-274
 Дидро Д. 2-II, 4, 21; 3, 254, 282-293, 304, 312, 314, 334, 411
 Дильтей В. 1-I, 52; 2-II, 262; 3, 262
 Динамов 2-I, 399
 Дионис (миф.) 2-I, 193
 Дионисий 2-I, 49, 56, 57, 72; 2-II, 5, 39
 Диттерс Я. 2-II, 44
 Дмитриев Вс. 2-II, 97
 Дмитриев И.И. 2-I, 297; 3, 319
 Дмитриевский И.Ф. 3, 236-237, 248, 276
 Дмитрий, царевич 2-II, 240; 3, 71-72
 Дмитрий Донской 1-II, 477; 3, 35
 Дмитрий Ростовский св. 2-I, 115, 160; 2-II, 47, 245, 251; 3, 132
 Дмитрий (Сеченов), арх. 1-II, 480
 Дмитрий, преп. 2-I, 174
 Дмитрий Самозванец 3, 93
 Добиньи Ш.-Ф. 2-II, 83
 Доброклонский А. 2-I, 24, 170, 201
 Добролюбов А.М. 2-I, 326
 Добролюбов Н.А. 2-I, 301-302; 2-II, 343; 3, 314
 Доброхотов С. 2-II, 434
 Добужинский М.В. 2-I, 367; 2-II, 101, 110
 Довнар-Запольский М.В. 1-II, 468
 Докучаев В.В. 1-I, 82; 1-II, 340
 Долгорукий В.В., кн. 3, 180
 Долгорукий К., кн. 1-II, 477
 Долгорукий Ю., кн. 1-II, 477
 Долгорукий Я.Ф., кн. 3, 180
 Долгоруков В.А. 2-II, 323
 Долгоруков П.Д. 1-I, 10
 Долинин 2-I, 321
 Доманицкий 1-I, 193
 Доманова А. 2-I, 98
 Доммер 2-II, 204
 Домье О.В. 2-II, 74, 99
 Дон Аминадо 1-I, 24
 Донциетти Г. 2-II, 141, 177
 Дормидонтов 2-II, 104
 Дорогойченко А.Я. 2-I, 403, 405
 Доронин К. 2-I, 373
 Дорохов П.Н. 2-I, 405
 Досифей, патр. Иерусалимский 2-II, 222
 Досифей, еписк. 3, 172
 Досифей, игумен 2-I, 63; 2-II, 153; 3, 174
 Достоевский Ф.М. 2-I, 14, 183, 262, 300-302, 309-311, 313, 317, 327, 330, 343, 399, 415; 2-II, 343,

- 364, 464
 Доугаль М. 3, 30-31
 Дробот В. 2-II, 434
 Дрожжин С.Д. 2-I, 346
 Дружинин А.В. 2-II, 205
 Дружинин В.Г. 3, 73, 185
 Дружинин А.В. 2-I, 302; 2-II, 205
 Дружинин П. 2-I, 380
 Друскин В. 2-II, 206
 Дрэпер 2-II, 360
 Дубасов И. 2-II, 278
 Дублянский 1-I, 89, 138
 Дубровин Н.Ф. 2-I, 154; 3, 335, 506
 Дубровский А.В. 2-II, 345-346, 370
 Дулеба, кор. славянский 1-II, 411-412
 Дулецкий Н.П. 2-II, 132, 138-139
 Думнов 2-II, 441
 Думова Н.Г. 1-I, 16, 24, 28
 Дурандус 2-II, 7, 9
 Дурново Н. 1-II, 441-442, 448, 451-452, 468
 Дуров З. 2-II, 204
 Дуччо Б. ди 2-II, 35, 38
 Душан С., царь сербский 3, 43
 Дьяконов М.А. 3, 51, 73, 93
 Дьюи Дж. 2-II, 375, 378, 392, 414
 Д'Эрбиньи, иезуит 2-I, 237
 Дюбуа 1-I, 126-127
 Дюк В. ле 2-II, 31, 128
 Дюркгейм Э.Э. 1-I, 68; 3, 30
 Дягилев С.П. 2-II, 67, 69-71, 83, 86-87, 93-97, 130, 186-187, 192-193
- Ева (библ.) 2-I, 271
 Евгений, митр. Тамбовский 2-I, 123
 Евдоким, еписк. одесский 2-I, 231-233
 Евдоким, архиеп. 2-I, 220
 Евдокимов И. 2-I, 380; 2-II, 130
 Евдокимов, свящ. 2-I, 229
 Евдокия Лопухина, царица 3, 171-172
 Евгеньев-Максимов В. 2-I, 354
 Евлогий, архиеп. (Зап. Европа) 2-I, 245-249, 257
 Евреинов Н.Н. 2-II, 120
 Европеус-Эйрепе 1-I, 185
 Евфимий, странник 2-I, 93-96, 412
 Евфимий Тырновский 3, 44, 47, 51, 54
 Евфимий, монах Чудова монастыря 2-II, 216-217, 219; 3, 110
 Егоров Ксенов И. 2-I, 71
 Егоров, прот. 2-I, 216, 217
- Едигер, царь сибирский 1-II, 489
 Екатерина I, имп. 3, 157, 164, 188, 198, 223
 Екатерина II, имп.(Като) 2-I, 55, 67-68, 88, 356; 2-II, 5, 21, 25-27, 53-54, 139, 141, 247, 250, 252, 259, 262, 278, 280-282; 3, 3, 17, 129, 131, 157, 164, 228, 230, 236, 238-239, 250-263, 265-268, 270-278, 281-315, 319-341, 347-348, 353-355, 366, 368-378, 380, 388-389, 396, 398, 400-415, 419, 422, 424-426, 428-429, 431
 Елагин И.П. 3, 236, 240, 270, 346, 348, 350, 370, 373
 Елена Ивановна, вел. кн. 3, 34, 50
 Елена, регент. 3, 66
 Еленский, камергер 2-I, 129, 412
 Елесов 2-II, 367
 Елизавета Петровна, имп. 1-II, 500; 2-I, 278, 356; 2-II, 5, 24, 25, 52-53, 140; 3, 192-193, 196-197, 226-227, 230, 242, 243, 254, 259-260, 266, 302, 348, 354
 Елизавета, кор. англ. 3, 75, 284
 Елизавета Федоровна, вел. кн. 2-I, 234
 Емельянов В. 2-I, 88-89, 196
 Енох (библ.) 2-I, 264; 2-II, 238
 Епифаний Кипрский 2-II, 227
 Епифаний, еписк. 2-I, 66
 Епифаний Славинецкий 2-II, 207, 216, 234
 Ермак Тимофеевич 1-II, 482, 485, 488-490, 493, 518, 528
 Ермилов В.В. 2-I, 318, 396, 408
 Еропкин П.М. 2-II, 25
 Есенин С. 2-I, 348, 351-352, 362, 378, 403, 415; 2-II, 201
 Есипов Г. 2-I, 73
 Ефименко П. 1-I, 146, 171, 191, 312
 Ефимов 2-I, 328
 Ефимовская, гр. 3, 192
 Ефрем, еписк. 2-I, 216
 Ефремов П.А. 3, 248, 314, 377
 Е.Ш. 3, 314
 Ешевский С.В. 3, 373
- Жданов И. 2-II, 246; 3, 51, 73, 93
 Жданов 2-I, 405
 Жебелев С. 1-I, 315
 Жевахов, кн. 2-I, 205
 Женет 3, 410
 Жерико П. 2-II, 56
 Жером Ж.-Л. 2-II, 64

- Жиро П.Э. 1-I, 153
 Житецкий П. 1-I, 153; 2-I, 353
 Жмакин В. 2-I, 42, 54
 Жолкевский С., вел.гетман польский
 3, 83
 Жолобов, вице-губернатор
 иркутский 1-II, 501
 Жуков Б.С. 1-II, 474
 Жуковский В.А. 2-I, 146, 289, 293
 Жуковский Д.Е. 2-I, 202
 Журавлев А.И., прот. 2-I, 72
- Забелин И.Е. 2-II, 39, 128-129; 3, 73,
 132
 Заборовский 1-I, 228
 Завадовский Л. 2-I, 380, 405; 2-II,
 274
 Завалишин А.И. 2-I, 405
 Завитневич 1-I, 298
 Загоскин Н.П. 2-II, 246
 Загряжский Б.А. 3, 349*
 Задерацкий Н. 2-I, 352
 Зайцев Б.К. 1-I, 24
 Замков Н.К. 2-II, 399, 434
 Замойский П.И. (Зевалкин) 2-I, 405-
 406
 Замятин Е.И. 2-I, 367-369, 375, 384
 Занд Ж.(Дюпен А.) 2-I, 383
 Заппер К. 1-I, 76-77
 Заратустра 2-I, 328, 330
 Заровнядный Н. 2-II, 457, 464
 Зарудный О. 3, 425
 Заруцкий И.М. 3, 82, 86
 Захаров А.Дм. 2-II, 29
 Звягинцев Е.А. 2-II, 330
 Зевес 2-II, 237
 Зегер 1-I, 218, 220, 229
 Зейбер 1-I, 212
 Зейдель Р. 2-II, 374
 Зеленко 2-II, 56
 Земцов М. 2-II, 25
 Зеньковский В.В. 2-I, 24
 Зечер 1-I, 218, 220, 229
 Зизаний Л. 2-II, 228
 Зимин Г. 2-I, 94-98
 Зиммель Г. 1-I, 42, 65
 Зиновий Отенский 2-I, 106, 283
 Зиновьев Г. 2-II, 379, 434
 Зихель 2-II, 64
 Зичи М.А. 2-II, 63
 Златовратский Н.Н. 2-I, 262, 315,
 347, 415
 Змеев Л.Ф. 2-II, 246
 Знаменский И. 2-I, 24, 201
 Зносно-Боровский Е.А. 2-II, 116,
 119, 131
- Зозуля Е. 2-I, 378
 Золотарев 2-I, 345; 2-II, 203
 Золотницкий Вл. 3, 246
 Золя Э. 2-I, 318, 324
 Зонар, хронист XII в. 2-II, 237
 Зосима, митр. московский 3, 56
 Зосима 1-II, 350
 Зощенко М. 2-I, 370, 378
 Зубов А.Ф. 2-II, 52
 Зубов П.А. 3, 406
 Зупан А. 1-I, 72, 76-77
 Зуров Л.Ф. 1-II, 419, 467
- Иакинф (Бичурин), монах 1-I, 277,
 315
 Ибн-Батута 1-II, 375
 Ибн-Дафта 1-II, 360, 476
 Ибн-Руст 1-II, 422
 Ибн-Фадлан 1-II, 476
 Ибсен Г. 2-II, 116
 Иван I Данилович, Калита, царь
 1-II, 471; 3, 33, 45
 Иван III Васильевич, царь 1-II, 463-
 464, 466, 471; 2-I, 31, 34; 2-II,
 12, 19, 240; 3, 32, 34-42, 50, 52,
 56-58, 60-61, 84-85, 93
 Иван IV Васильевич (Грозный), царь
 1-II, 461, 473, 489; 2-I, 32, 36,
 38, 43; 2-II, 40, 240, 243; 3, 52,
 60, 62, 64-66, 68-69, 71, 73, 74-
 78, 84, 97, 104, 108, 126, 136,
 222, 269, 319, 326
 Иван VI Антонович, имп. российский
 (младенец) 3, 198
 Иван, поп московский 2-I, 50
 Иванов А.А. 2-II, 5, 57, 68, 81, 83,
 130
 Иванов А.И. 1-I, 312
 Иванов Вс. 2-I, 355, 367, 370-371,
 378, 388-390, 408-409, 416; 2-II,
 125
 Иванов Вяч. 2-I, 338-339, 367; 2-II,
 117, 158
 Иванов Г.В. 1-I, 24
 Иванов И.И. 3, 249, 377
 Иванов М. 2-II, 54, 59
 Иванов Ф. 2-I, 109
 Иванов-Разумник Р.В. 2-I, 353
 Ивановский Н. 2-I, 153
 Ивановцов-Платонов, о. 2-I, 201
 Ивнев 2-I, 408
 Игнатъев В.В. 2-II, 122
 Игнатъев Исая 1-II, 516
 Игнатъев П.Н. 2-II, 338-339, 349

- Игорь, вел. кн. киевский 1-II, 401
Игорь Святославич, кн. черниговский 1-II, 366
Иегова (Ягве, Яхве, Саваоф), бог иудейский 1-II, 362
Иерофей (Афонин), еписк. великоустюжский 2-I, 250
Иеремия, патр. греческий 3, 126
Иесугай-багатур 1-II, 371
Изволов А. 2-II, 229
Измайлов А.Е. 2-I, 287
Иисус Назарянин (библ.) 2-I, 84; 3, 113
Иконников В.С. 2-I, 42, 201; 2-II, 222, 245, 369; 3, 281, 335, 425, 507
Иларион, митр. Киевский 2-I, 29
Иларион Егоров Ксенов, мирянин 2-I, 71
Иловайский Д.И. 1-I, 236; 1-II, 351, 378
Илья Муромец (былин.) 2-I, 271
Инбер В. 2-II, 378
Ингулов 2-II, 379, 464
Ингулов С. 2-II, 444-445, 447-448, 464
Иннокентий, еписк. моск. 2-I, 222
Иоаким 2-II, 217-218
Иоаким, патр. 2-I, 176; 3, 142, 169
Иоанн Александр, царь болгарс. 3, 43
Иоанн Богослов 2-I, 272
Иоанн брат 2-I, 21
Иоанн, экзарх Болгарский 2-II, 232, 244
Иоанн Вышпенский 2-II, 211, 214, 222
Иоанн Дамаскин, св. 2-I, 55; 2-II, 228, 230, 243-244
Иоанн Златоуст 2-I, 94, 228
Иоанн Креститель, св. 2-II, 36; 3, 50, 79
Иоанн Кронштадтский 2-I, 195; 2-II, 458
Иоанн Плешкович, архидиакон 2-II, 46
Иоанн Предтеча 3, 204
Иоанн, пресвит. 2-I, 274
Иоанн свят. 2-II, 34
Иоанн Эфесский 1-II, 395
Иоасаф, патр. 2-II, 133; 3, 167
Иов, арх. новгородский 2-II, 251-253
Иова, еписк. 2-I, 220
Иова, патр. 3, 167
Иовий (Джовио, Павел Иовий Новокомский) 2-II, 239
Иогансен К.Ф. 1-I, 207, 209, 253, 256, 261; 1-II, 383
Иокль 1-I, 230
Иона, митр. москов. 2-I, 30-31, 42
Иона Брихнович 2-I, 220
Иордан Ю. 1-I, 176, 235; 1-II, 350-351, 353, 394-396, 400-401, 410, 433, 474-475
Иорданский Н. 2-II, 393, 434
Иосафат (лег.) 2-I, 274
Иосиф (библ.) 3, 101
Иосиф Волоцкий (Санин И.), игумен Волоколамский 2-I, 25, 35, 42-44; 2-II, 39; 3, 56-57, 60, 73, 112
Иосиф (Владимиров) 2-II, 46
Иосиф II, эрцгерц. австрийский 2-I, 69; 2-II, 268, 270
Иосиф Аримафейский 2-I, 264
Иосиф, митр. Петербургский 2-I, 243
Иосиф, митр. Ярославский 2-I, 249-250
Иосиф, патр. 2-I, 54; 3, 167, 169
Иохельсон В.И. 1-I, 109, 111, 121; 1-II, 515
Ипполитов-Иванов М.М. (Иванов) 2-II, 203
Ирина Михайловна, царевна 2-I, 153
Исакий, брат 2-I, 21
Исидор, св. 2-II, 81
Исидор, митр. греческий 2-II, 29
Исидор, митр. литовский 2-II, 218; 3, 36
Истрин В.М. 2-I, 352-353
И.Т. (псевд. Н.И. Новикова) 3, 391
Иуда Искариот (библ.) 2-I, 330
Ихнилат (лег.) 2-I, 274
Кабанель А. 2-II, 64
Каверау З. 2-II, 375
Каверин В.А. 2-I, 370-371, 378
Кавос К.А. 2-II, 144
Каганович Л.2-II, 427, 446
Кагул З, 274
Казаков 2-II, 139
Казанский Н.Ф. 2-II, 278
Казанцев П.К. 2-II, 368
Казимир, кор. польский 3, 39
Канн (библ.) 2-I, 121; 2-II, 48
Калашников А.Г. 2-II, 376-377, 434, 463
Калинин М.И. 2-I, 220
Калиostro 3, 370, 419
Калаш В.В. 3, 430
Калмык М. 2-I, 65
Калмыков Илл., духовор. 2-I, 124
Калмыкова А.М. 2-II, 356

- Калмыкова Л. 2-I, 139
 Калонн Ш.-А. 3, 407
 Калугин Ф. 2-I, 153
 Кальвин Ж. 3, 215, 326
 Кальнев М. 2-I, 155
 Камегулов 2-I, 387
 Каменев С.А. 2-I, 260
 Каменский А. 2-I, 329
 Камерон Ч. 2-II, 27-28
 Каминский А.А. 1-I, 120
 Каналетто (см. Белотто) 2-II, 54
 Кандинский В. 2-II, 77, 89, 91
 Кант Э. 1-I, 40; 2-I, 334; 2-II, 166;
 3, 361, 364-365
 Кантемир А.Дм. 2-II, 396; 3, 262
 Капралов Е., свящ. 2-I, 155
 Каптерев Н.Ф. 2-I, 41, 51, 54, 72,
 201; 2-II, 222, 277
 Капустин, сектант 2-I, 123
 Караваева А. 2-I, 380-381
 Каравак Луи 2-II, 24, 53, 64
 Каразин В.Н. 2-II, 285
 Каракозов Д.В. 2-II, 313
 Карамзин Н.М. 2-I, 285, 287-289,
 297, 353, 414; 2-II, 58, 152, 320;
 3, 93, 335, 338, 374, 384,
 414-415
 Карамышев И.К. 1-II, 465
 Каратыгин В.Г. 2-II, 127, 187-189,
 196, 206
 Караханиды, дин. турецкая 1-II, 363
 Карачунский 2-II, 370
 Карсеев Н.И. 1-I, 64; 2-I, 16; 3, 425
 Карин, переводчик 3, 236
 Каринский Н. 1-II, 467
 Карл Великий, кор. франкский
 1-I, 237; 1-II, 357; 2-II, 266
 Карл I, кор. англ. (дин. Стюартов) 3,
 392-393, 407
 Карл VIII, король французский 3, 39
 Карл XII, король шведский 3, 163
 Карлейль Т. 1-I, 54-56
 Карнеев А. 2-II, 246
 Карпини П. 1-II, 366, 368
 Карпов П. 2-I, 350, 355
 Карпов, писатель 2-I, 394, 405-406
 Карпов 2-II, 104
 Карпович М.М. 1-I, 13-14, 21, 23,
 26-28; 2-II, 337
 Карпович П.В. 2-II, 337
 Карр 2-II, 80
 Каррутерс 1-II, 347
 Карсавин Л.П. 2-I, 14-16, 24
 Карсавина Т.П. 2-II, 95
 Карташев А.В. 2-I, 24, 208
 Карцов М. 2-I, 404
 Карышев Н. 2-II, 370
 Касаткин И. 2-I, 380
 Касим, царевич 1-II, 477
 Кассиодор Ф.М.А. 1-II, 350
 Кассо Л.А. 2-II, 338
 Кастальский А.Д. 2-II, 198
 Кастильоне Б. 3, 208
 Кастрен М.А. 1-I, 170
 Катаев В. 2-I, 378; 2-II, 125
 Катаев И. 2-I, 380
 Каталани А. 2-II, 144
 Катков М.Н. 2-I, 302; 2-II, 313-314
 Каун 2-I, 330
 Каутский К. 1-I, 65; 2-II, 441
 Кауфман А. 1-II, 519
 Кауфман П.М. фон 2-II, 339
 Качалов В.И.(Шверубович В.И.) 2-II,
 117
 Кваренги Дж. 2-II, 27-28
 Келлер В.Г. 1-I, 88
 Келтуял В.А. 2-II, 352
 Кенигсфельд 1-I, 95
 Кентржинский В. 1-I, 238
 Кеплер И. 2-II, 229
 Кеппен П.И. 1-I, 72
 Керенский А.Ф. 2-I, 207; 2-II, 124
 Керубини А. 2-II, 144
 Кершенштейнер Г. 2-II, 374
 Керштенс И.-Х. 2-II, 262
 Киаксар, царь Мидии 1-II, 304
 Кизеветтер А.А. 1-I, 10, 15, 17, 20;
 2-II, 131; 3, 425
 Кипен 2-I, 345
 Кипренский О.А. 2-II, 54
 Киприан, митр. Болгарский 3, 32,
 44-45, 51, 68, 327
 Кир Л. 3, 148
 Кирилл Иерусалимский 2-I, 95
 Кирилл св. 2-II, 243
 Кирилл 2-I, 53, 283
 Кирилл, арх. 2-I, 70
 Кирилл, патр. 2-I, 70
 Кирилл, митр. 2-I, 234
 Кирилл, еписк. казанский 2-I, 243
 Кириллов В. 2-I, 365, 378
 Кирпичников А.И. 2-I, 352
 Кирхнер Э.Л. 2-II, 88
 Киршон В.М. 2-II, 125
 Кирьяков В. 1-II, 519
 Киселев А.А. 2-II, 62
 Киселев П.Д. 1-II, 502-503; 2-II,
 321-322
 Кистяковский Б.А. 2-II, 202
 Китоврас (лег.) 2-I, 274
 Клавдиан 1-II, 352
 Клавдий, имп. готский 1-II, 350

- Кларк, богослов 3, 344
 Клей Р. 2-II, 77, 81, 91-92
 Клейнборт Л.М. 2-I, 354
 Клериссо 2-II, 27
 Клим, митр. 2-I, 29
 Климент Александрийский 2-I, 191
 Климент, папа римский 2-I, 263
 Климент 2-II, 210
 Климт 2-II, 172
 Клодт 2-II, 66
 Клочков 2-II, 205
 Клычков С. 2-I, 350, 378, 403, 415
 Клюев Н. 2-I, 339, 348, 350-351, 403
 Ключевский В.О. 1-I, 7, 8, 11, 22, 61; 1-II, 456; 3, 51, 73, 93; 281
 Клячко С. 2-II, 203
 Кнебель 2-II, 128
 Книппер 3, 239
 Княжнин Я.Б. 2-I, 289; 3, 238, 380, 415
 Ковалевская С. 2-I, 329
 Ковалевский Е.П. 2-II, 328
 Ковалевский М.М. 1-I, 64, 307
 Коваль М.В. 2-II, 203
 Ковылин И.А. 2-I, 88-90
 Коган Л.Р. 2-II, 457
 Коган П. 2-I, 354, 388, 410
 Козин 2-I, 143, 412
 Козицкий Г.В. 3, 280, 293
 Козловский Л. 1-I, 190, 221, 240, 247, 250-252
 Козловский И. 1-II, 388, 393-394, 405, 435
 Козловский О.А. 2-II, 132, 142
 Козодавлев О.П. 2-II, 271-272
 Козьма св. 2-I, 55
 Козьма Индикоплов 2-II, 226, 228, 230, 244
 Козырев М. 2-I, 378
 Кокошка О. 2-II, 172
 Кокоринов А.Ф. 2-II, 25
 Колесников С. 2-I, 118
 Коллар 2-II, 189, 193
 Коллинс Г. 1-I, 64
 Колокольников, масон 3, 413
 Колумб Х. 2-II, 175; 3, 356
 Кольцо, атаман 1-II, 490
 Кольцов А.В. 2-II, 66
 Кольцов М. 2-I, 325, 346, 348, 350; 2-II, 66
 Колчак А.В. 2-I, 225
 Колюпанов 3, 373
 Комаров В.Л. 1-I, 91-92, 94, 120
 Комаров М. 2-I, 280-281, 297, 353; 2-II, 351
 Комаров М.Н. 1-I, 187, 287, 315
 Комаровский Б.Б. 2-II, 434
 Коменский А. 2-II, 264
 Комиссаржевская В.Ф. 2-II, 118-119
 Комиссаржевский Ф.Ф. 2-II, 119-120
 Комнены, визант. династия 2-II, 9
 Конвей 1-I, 230
 Кондаков Н.П. 1-I, 316; 2-II, 9-10, 35-36, 39-40, 129
 Кондорсе Ж.-А.-Н.-К., маркиз, политический деятель 2-II, 281
 Кондырев 2-II, 286
 Кони, художник школы Дионисия 2-II, 39
 Константин VII Багрянородный, имп. византийский 1-II, 410, 413
 Константин I Великий, имп. римский 1-I, 231; 2-I, 33; 3, 155
 Константин Мономах 3, 49, 75
 Константин Юрьевич, кн. 1-II, 477
 Константин Васильевич, кн. Нижегородский 1-II, 449
 Константин Палеолог 2-I, 30;
 Констебл Дж. 2-II, 74
 Конт О. 1-I, 6, 36, 40, 44, 46, 49-50, 52, 58, 64; 1-II, 524; 2-I, 184; 3, 30
 Кончаловский П.П. 2-II, 89, 92, 105
 Коперник Н. 2-I, 30; 2-II, 229; 3, 201, 216
 Коплерс 1-I, 108, 157
 Корб Г.И., секр. посольства Св.Римск.имп. 3, 149, 155-157, 185
 Корвин-Круковский 3, 238, 248
 Коржинский С.И. 1-I, 83, 86
 Коринт Л. 2-II, 76, 88
 Коркунов Н.М. 2-II, 360; 3, 335
 Кормон Ф. 2-II, 84
 Корнель П. 3, 237
 Корнилов А.А. 2-I, 207; 2-II, 371
 Корнилов К. 2-II, 464
 Коро Ж.-Б. К. 2-II, 64, 74, 81, 83
 Коробов 2-I, 399
 Коробьин 3, 278
 Коровин К.А. 2-II, 67, 71, 82, 88, 101
 Короленко В.Г. 2-I, 317, 333, 347, 349, 393, 2-II, 343
 Коростелев А.А. 2-II, 380, 434
 Корсаков Д.А. 3, 225, 340
 Корф М.А. 2-II, 328
 Корф Н.А. 2-II, 332
 Корчмарев К. 2-II, 202-203
 Корш Ф.А. 2-II, 122
 Коссинна Г. 1-I, 157, 165, 207-208, 212, 225, 227-228, 247, 312;

- 1-II, 392
Коссович П.С. 1-I, 88, 138
Костомаров Н.С. 1-II, 446, 455; 2-I, 24; 2-II, 307, 315; 3, 21, 30, 136
Костржевский И.1-I, 228, 240, 242, 314; 1-II, 405-407
Котошихин Г.К. 1-II, 465, 497, 2-I, 284; 3, 90, 103, 157
Кочин Н.И. 2-I, 405-406
Кочубинский А. 1-II, 467
Кочубинский П.П. 1-II, 468
Кошелев А.И. 2-II, 344; 3, 373
Кошиц П.А. 2-II, 197
Кравченко А.И. 1-II, 83
Краичек Г. 1-I, 170
Крамской И.Н. 2-II, 68, 71
Красиков П.А. 2-I, 219
Красницкий Вл.Д. 2-I, 220-221, 224, 225, 229, 232-237
Краснов А.Н. 1-I, 82
Крашенинников С.П. 2-II, 260
Крег Г. 2-II, 116, 201
Крейн А. 2-II, 197
Крейн Ю.Г. 2-II, 197
Крейс (Крюйс) К.И. 3, 150, 162
Кривенко С.Н. 2-I, 354
Кривошеин А.В. 1-II, 511
Крижанич Ю. 3, 3, 94, 115, 119-120, 133-135, 137-141, 143, 146, 174, 202, 401
Кринский 2-II, 101
Кристинец 2-II, 53
Кромвель О. 3, 387, 392-393
Кронос (миф.) 2-II, 237
Кропотов 3, 236
Кропоткин П.А. 2-II, 375
Крубер А.А. 1-I, 72, 119
Круглов А.П. 1-I, 311; 1-II, 378
Крузенштерн А. 2-II, 370
Крум болгарский 1-II, 400
Крупская Н.К. 2-II, 383, 385, 391-392, 399, 431-432, 434, 438, 453
Кручныхых 2-I, 343-344
Крылов 1-II, 501
Крылов И.А. 2-I, 289; 3, 239, 377
Крылов Н.И. 2-I, 289
Крылов П.Н. 1-I, 120
Крымов Н.П. 2-II, 85
Крэг Г. 2-II, 116
Крюков Д.Л. 2-II, 300
Кубиков 2-I, 335
Куврат 1-II, 357
Кугорн 3, 229
Кудрявцев, свящ. 2-I, 216
Кузнецов И. 2-II, 129
Кузнецов Н. 2-I, 381
Кузнецов Н.Д. 2-I, 228
Кузнецов Н.И. 1-I, 120
Кузнецов П.В. 2-II, 83, 85-86, 88
Кузьма Косой 3, 174-176
Кузьмин 2-I, 393
Куинджи А.И. 2-II, 62, 66, 82
Кукольник Н.В. 2-II, 146, 284
Кукузелес 2-II, 134-135
Кул Махмет 1-II, 485
Кулишеры (бр.) 1-I, 54
Куломзин А.Н. 2-II, 347
Куломзин В. 2-II, 325
Кульман Кв. 2-I, 131, 412; 2-II, 220; 3, 142
Куницын А.П. 2-II, 290
Куно 1-I, 212
Кунст, актер 3, 234
Купер Э.А. 2-II, 197
Куприн А.И. 2-I, 345, 368; 2-II, 357
Куракин Б.И. 2-I, 277; 2-II, 241; 3, 139, 140-143, 151-152, 161, 185
Куракин Ф.А. 3, 185
Курас Г. 3, 232
Курбе Г. 2-II, 74, 78, 81
Курбский А. 2-I, 27, 269; 2-II, 243; 3, 52, 61-64, 66-68, 71, 99, 222
Курбский, воевода моск. 1-II, 484
Куринний П. 1-I, 312
Курская А.С. 2-II, 463
Курций Квинт 3, 154
Кусевицкий С.А. 2-II, 197
Кускова Е.Д. 1-I, 24
Кустодиев Б.М. 2-II, 98
Кутузов А. 3, 366, 379, 386, 389, 397-398, 404, 408, 413, 431
Куфаев М.И. 2-II, 370, 464
Кухарский А. 2-II, 459
Кучинский Д.Д. 2-II, 435
Кучум, хан 1-II, 486, 489-490, 493
Кучум Али 1-II, 493
Кушнер Б. 2-I, 406-407
Кшенок Э. 2-II, 170
Кювье 1-I, 65
Кюи Ц.А. 2-II, 150-151, 153-154, 180-181, 183, 205
Кюхельбекер В.К. 2-I, 292-293
- Ла Ви 3, 160, 163
Ла Мот В. де 2-II, 25-26
Лабаз 2-II, 105
Лабзин А.Ф. 2-I, 127-128
Лаблаш В. 1-I, 121
Лабриола А. 1-I, 52
Лавренев Б. 2-II, 125
Лавренко Е.М. 1-I, 137, 170

- Лаврентий Зизаний 2-II, 228
 Лавров П.Л. 1-I, 21; 2-I, 306, 414
 Лаврова Н.В. 1-I, 27
 Лавровский Н. 2-II, 222, 278
 Лагарп Ж.Ф. 2-I, 293; 2-II, 274, 320
 Лагрене 2-II, 53
 Лазарь, богослов 3, 203
 Лазарь, проповедник 2-I, 50
 Лазарев Н.А. (Н. Темный) 2-I, 349
 Лай 2-II, 374, 384, 392
 Лайель Ч. 1-I, 123
 Лало Э. 2-II, 94
 Лалуа 2-II, 193
 Ламанский В.И. 1-II, 360
 Ламарк Ж.Б. 1-I, 173
 Ламетри Ж.О. де 3, 361, 384-385
 Ламех (библ.) 2-I, 264
 Лампи 2-II, 53
 Лангер В.П. 2-II, 396
 Ланде М. 3, 235
 Лансере Е.Е. 2-II, 64
 Ланских 2-II, 271
 Лаписс 3, 232
 Лаппо-Данилевский А.С. 3, 425
 Лапшин И.И. 2-II, 103; 3, 430
 Ларионов М. 2-II, 5, 87-88, 90-92, 93, 95-97, 101, 105, 130, 196
 Ларош Г.А. 2-II, 145
 Ларошфуко Ф. де 2-II, 70; 3, 256
 Лассо О. 2-II, 161
 Латам 1-I, 206, 208
 Латкин В.Н. 3, 93
 Латынин Б. 1-I, 315
 Латышев В.В. 1-I, 306
 Лафайет М.Ж.П. 3, 274, 407-408
 Лафон 3, 236
 Лаховский 2-II, 98, 101
 Ле Корбюзье Ш.Э. 2-II, 109
 Ле Пренс 2-II, 54-55
 Лебедев А.П. 2-I, 154, 181
 Лебедев В.В. 2-II, 103, 111
 Лебедев-Полянский П.И. 2-I, 363, 370, 410
 Лебединский 2-II, 452
 Леблон Ж.Б. А. 2-II, 24-25
 Лебль 2-II, 64, 88
 Лебцельтер 1-I, 245-246
 Левассер П.Э. 1-I, 105; 2-II, 370
 Левин С.А. 2-II, 465
 Левина З. 2-II, 203
 Левитан И.И. 2-II, 66-67, 83
 Левитов А.И. 2-I, 304, 316
 Левицкий Д.Г. 2-II, 53-54
 Левицкий И. 1-I, 197
 Легран 3, 236
 Леду К.Н. 2-II, 26, 28-29
 Леже Ф. 2-II, 102
 Лежнев А. 2-I, 340, 354, 380, 410
 Лейбниц Г.В. 3, 361, 380-381, 383, 431
 Леклерк 3, 428
 Лелевич 2-I, 373, 380-382
 Леманн М. 1-I, 52, 54
 Лемех 2-I, 264
 Ленин В.И. 1-I, 37-38, 63; 2-I, 16, 358, 360, 364, 376, 402, 410, 415; 2-II, 104, 195, 204, 372-373, 377, 379-380, 383, 385, 388, 416, 420, 432, 434, 437, 441, 448-449, 451, 453, 457, 464
 Лентулов А.В. 2-II, 89, 93, 105, 108
 Ленц Я. 3, 373
 Леон Ростовский, арх. 2-I, 23
 Леонид, еписк. 2-I, 222
 Леонов Л. 2-I, 355, 371, 392, 416; 2-II, 125
 Леонтий, св. 2-I, 38
 Леонтий 2-I, 84
 Леонтьев К. 2-I, 158, 413; 2-II, 467
 Лер-Сплавинский Т. 1-II, 415
 Лермонтов М.Ю. 2-I, 322, 325, 353, 408; 2-II, 119
 Лесажа А.Р. 3, 233
 Лесков Н.С. 2-II, 343
 Лесли, полковник 3, 106-107, 114, 162, 173
 Лессинг Г.Э. 3, 362, 365
 Лефевр 1-I, 85; 3, 85
 Лефевр Ж.-Ж. 2-II, 64
 Лесфорт Ф.Я. 2-I, 59; 2-II, 241; 3, 141-142, 148-149, 155, 171, 177, 186
 Лехт 2-II, 104
 Лже-Дмитрий II, самозванец 1-II, 464
 Либединский Ю. 2-I, 355, 373, 380-384, 396-397, 400-401, 409, 416
 Либерман М. 2-II, 76, 88
 Либих 1-I, 214
 Ливанов Ф. 2-I, 154
 Ливен К.А., кн., министр народного просвещения 2-II, 296, 298-299
 Ливий Тит 1-I, 214; 3, 244
 Лигтгарт 2-II, 392
 Лидин В. 2-I, 357, 371, 378, 394, 409
 Ликург 3, 256, 388
 Ли-Лин, полководец китайск. 1-I, 281
 Лилиенфельд Д. 1-I, 47, 52
 Линк 1-I, 208
 Липперт Ю. 1-I, 121

- Лисин, глава "Новоскопчества" 2-I, 117
- Лист Ф. 2-II, 145, 167, 178-180
- Лифарь С.М. 2-II, 95
- Лихачев Е. 2-II, 278
- Лихуд И. 2-II, 243
- Лихуды Иоанникий и Сафроний 2-II, 219-222, 242-243, 246-247, 252
- Лобачев 2-II, 89
- Лобачев Г. 2-II, 202
- Лобов И.Г. 2-II, 465
- Логинов М.Н. 3, 373
- Логинов М. ("Тихоплесец") 2-I, 350
- Логинов 2-II, 204
- Логинов-Лесняк 2-I, 405-406
- Лодий П.Д. 2-II, 284
- Лодыженский А.Ф. 3, 349
- Лойола Й. 2-I, 275
- Локк Дж. 2-II, 264; 3, 362-363
- Ломоносов М.В. 2-I, 287, 353; 2-II, 259-260, 287; 3, 237
- Лонгин 2-I, 50
- Лонгинов М.Н. 3, 248
- Лос (Лоу) Дж. 1-I, 257
- Лопатин Л. 2-I, 202
- Лопатинский Ф. 2-I, 178
- Лопарев Х. 2-I, 100
- Лопиталь Г. 3, 259
- Лопухин И.В. 3, 344-345, 349, 371-373, 379, 397, 408
- Лопухина Е., царица 3, 171-172
- Лоренсен М. 2-II, 95
- Лоренц 1-I, 52
- Лориа 1-I, 52
- Лоррену де 2-II, 53
- Лосенко 2-II, 53-55
- Лосский Н. 2-I, 202
- Лохвицкий 3, 327
- Лубков В.С. 2-I, 133
- Лука (еванг.) 2-I, 272
- Лукиан 3, 244
- Лукин С.И. 2-II, 130
- Лукьянов 2-I, 345
- Лунц Л.Н. 2-I, 368-370
- Луначарский 2-I, 254, 355, 358, 376-377, 415; 2-II, 125, 204, 372, 376, 383-386, 388, 390, 396, 399-400, 402-403, 405, 408, 416, 420-421, 423, 425, 443, 463
- Лупин П. 2-I, 115
- Луппов, дьякон 2-II, 271
- Луппол И. 2-I, 16
- Лупу В. 2-II, 44
- Лурье А.С. 2-II, 198, 203, 205
- Луцидарий 2-II, 238
- Лучинский Г. 1-II, 519
- Львов А.Ф. 2-II, 143-144
- Львов Вл. 2-I, 206, 226
- Львов К. 2-II, 434
- Львов Н.А. 2-II, 143
- Львов Ф.П. 2-II, 143
- Львов-Рогачевский В. 2-I, 354, 378, 388
- Льюис М. 1-I, 33
- Льюис С. 2-II, 70
- Любимов Н.А. 2-II, 314-315, 370
- Любошиц Л.С. 2-II, 197
- Людовик II, кор. германский 1-I, 424
- Людовик XIV, кор. французский 3, 140, 250, 254, 384
- Людовик XV, кор. французский 2-II, 24
- Людовик XVI, кор. французский 2-II, 28; 3, 274, 334, 339, 375, 406, 413
- Люлли Ж.Б. 2-II, 193
- Лютер М. 2-II, 259; 3, 201, 215, 392
- Люшин 2-II, 105
- Лявданский А.Н. 1-I, 191
- Ляпунов П. 1-II, 454; 3, 82, 86-87
- Мабли Г.Б. 3, 374, 387-389, 391-392, 402
- Маврикий 1-II, 395-396
- Магилон (лег.) 2-I, 276
- Магницкий Л. 2-II, 225, 287, 299, 301
- Магмет, царь турский (Магмет II Великий, турецкий султан) 3, 73
- Магомет (Мухаммед), основатель ислама 1-II, 362; 2-II, 238; 3, 67, 73
- Магомет, шах Хорезма 1-II, 374
- Маджак, кор. валинанский 1-II, 411
- Мазепа-Колединский (Мазепа), гетман И.С. 2-II, 22
- Майков В.И. 2-I, 286
- Майков Е. 2-I, 353
- Майков Л.Н. 2-II, 222, 353
- Майков Н. 3, 249
- Макаренко Н. 1-I, 309
- Макарий, арх. 2-I, 73
- Макарий, митр. московский 2-I, 35, 43, 46, 54, 72; 2-II, 41; 3, 67
- Макарий (Булгаков М.П.), митр. 2-I, 179
- Макарий, митр. моск. 2-I, 205
- Макарий, патр. Антиохийский 2-I, 28, 41
- Макаров М. 2-I, 285

- Макаров И.И. 2-I, 405-406
 Макарт Х. 2-II, 63-64
 Макке А. 2-II, 89
 Маковский В.Е. 2-II, 62-63
 Маковский И.С. 2-II, 92
 Маковский К.Е. 2-II, 63
 Маковский С. 2-II, 72, 82-83, 85-87, 130
 Максим Грек 2-I, 43, 46-48, 54, 57, 269; 2-II, 228, 242-243; 3, 63, 67-69
 Максимилиан, кор. угорский 3, 40
 Максимов Д. 2-I, 354
 Максимов И. 2-I, 109
 Максимов А.Н. 1-II, 414
 Максимович К.И. 1-I, 91
 Малахов С. 2-I, 373
 Малашкин Л.Д. 2-I, 355
 Малашкин С. 2-I, 393
 Малевич К.С. 2-II, 102-103
 Малеш 1-I, 245
 Маликов А.К. 2-I, 327
 Малларме Ст. 2-I, 323; 2-II, 70, 170
 Мальшкин А. 2-I, 371, 380
 Малявин Ф.А. 2-II, 82, 101
 Мамонтов С.И. 2-II, 71
 Манассия, хронист XII в. 2-II, 237
 Мандельштам О. 2-I, 378
 Мане Э. 2-II, 74-75, 81
 Мансуров, воевода 1-II, 493
 Мантенья А. 2-II, 83
 Мануил, цесарь 2-I, 23
 Мануилов А.А. 2-II, 367
 Манфредини В. 2-II, 140
 Марес Г. 2-II, 83
 Маржерет М. 2-II, 209
 Мариенгоф 2-I, 362
 Маринетти Ф.Т. 2-I, 342-343; 2-II, 80
 Мария Дева (библ.) 3, 53
 Мария Магдалина (библ.) 2-II, 46
 Мария-Терезия, имп. австрийская 2-II, 268
 Мария Федоровна, имп. российская 2-II, 266
 Марк св. (еванг.) 3, 39
 Марк Аврелий 1-II, 406
 Маркварт 1-II, 411
 Маркевич Арс. 3, 133
 Маркевич И.Б. 2-II, 197
 Марко, инок 2-I, 64
 Марко Поло 1-I, 269
 Марков А. 2-II, 433
 Марков Н.Е. 2-I, 218
 Марков, дипломат 3, 376
 Маркович 3, 214
 Маркс К. 1-I, 33, 37-38, 40, 48, 52; 2-I, 16, 327, 329, 335; 2-II, 102, 364, 373, 378, 434, 441, 457
 Марлинский 2-I, 353
 Марр Н.Я. 1-I, 214, 307-308, 311, 316; 1-II, 527
 Марс (миф.) 2-II, 228; 3, 261
 Мартин Ян 1-I, 308
 Мартин-и-Солер В. 2-II, 140
 Мартин Бельский 2-II, 238-239
 Мартине 2-II, 124
 Мартини Дж.Б. 2-II, 141
 Мартонн де 1-I, 72
 Мартыненко И.Д. 2-II, 434
 Мартынов 2-II, 54
 Марфа раскольница 2-II, 153
 Марцеллин Аммиан 1-I, 269; 1-II, 352-353
 Марциковский В.Ф. 2-I, 228, 261
 Масимович Д. 2-I, 352
 Маскевич 3, 93, 109
 Масленников Н. 2-II, 131
 Маслов А.С. 2-II, 354
 Масляненко Д. 2-II, 465
 Масуди 1-II, 360, 363, 411-412, 427
 Матвеев А. 2-II, 53, 138; 3, 101, 102
 Матвеев 2-II, 224
 Матвей, брат 2-I, 20
 Матвей, монах 1-II, 480
 Матейка Йин. 1-I, 211, 246, 251, 316
 Матейко Ян 2-II, 65
 Матисс А. 2-II, 34, 38, 78, 90, 95
 Маттей Т. 2-II, 141
 Матэ В.В. 2-II, 110
 Махаев М.И. 2-II, 52
 Махмет Кул, царевич 1-II, 485-486
 Мац И. 2-II, 106, 115, 130-131
 Мацкевич 3, 109
 Маццей 3, 412
 Машков И.И. 2-II, 89, 92, 105, 108
 Маяковский В.В. 2-I, 343-344, 360-362, 365, 383, 394, 400, 409, 415; 2-II, 101-102, 105, 111, 459
 Медведев Сильвестр 2-I, 54, 120; 2-II, 215-219, 222, 243; 3, 142
 Медведевский К. 2-I, 113
 Медынский Е.Н. 2-II, 369-371, 434
 Межов В.И. 2-II, 355
 Мезенец А. 2-II, 136
 Мейербер Дж. 2-II, 143-145, 178-180
 Мейерхольд В.Э. 2-II, 117-128, 131
 Мейнерс 2-II, 286
 Мекке Август 2-II, 89
 Мелетий, патр. Александрийский 2-I, 248
 Мелиоранский Б. 2-I, 202
 Мелиссино И.И. 3, 340, 373

- Мелких 2-II, 202
 Мелхиседек (библ.) 2-I, 264
 Мельгунов Ю.М. 2-II, 205
 Мельников П.И. 2-I, 72, 146, 202
 Мемлинг 2-II, 45
 Менглы-Герай, хан крымский 1-II, 460-461; 3, 41
 Менгс А.Р. 2-II, 56
 Менгин О. 1-I, 66, 68, 108-109, 121, 126, 146-148, 164, 193, 201, 313
 Мендель Г.И. 1-I, 250
 Мендельсон М. 3, 359, 362, 381, 383, 385-386, 431
 Мендельсон Я.Л.Ф. 2-II, 177
 Мензбир М.А. 1-I, 170
 Менцель А. 1-I, 126; 2-II, 64-65
 Меншиков А.Д. 2-II, 24; 3, 150, 166, 180, 188
 Меньщиков Л.П. 1-I, 12
 Мережковская З.Н. 2-I, 194
 Мережковский Дм.С. 2-I, 194, 262, 319-328, 331-336, 338-339, 348, 354, 357, 415; 2-II, 88, 157
 Мережковские 2-I, 413; 2-II, 477
 Меринг Ф. 2-II, 204
 Меркатор Г. 2-II, 239
 Меркулов С.Д. 2-II, 105
 Мерсман Х. 2-II, 174
 Мерхарт Г. 1-I, 148, 163-164, 171, 267-268, 289-291, 326
 Мете (Моде, Мотун, Багдур) 1-II, 346
 Метерлинк М. 2-I, 330; 2-II, 116, 118-119
 Метнер Н.К. 2-II, 185-186, 197, 199, 201
 Мефодий, славянский просветитель 1-II, 400; 2-I, 53, 283
 Мешанинов 1-I, 315
 Мещенец 2-II, 132
 Мещерский, кн. 3, 236
 Микеланджело Буонаротти 2-II, 59
 Микелис де 1-I, 172, 208-210, 212
 Микетти 2-II, 25
 Микитин П. 2-II, 44
 Миков В. 1-II, 316
 Милиоти Н.Д. 2-II, 72, 85-86
 Милле Ж.Ф. 2-II, 64-65, 81, 84
 Миллер В.О. 1-I, 293, 304-307; 2-I, 352
 Миллер В.Ф. 1-I, 316; 1-II, 378
 Миллер Вс. 1-I, 293, 304, 307
 Миллер Г.Ф. 3, 240-242, 247, 368
 Миллер О.Ф. 1-I, 6
 Миллиоти 3, 413
 Милославский И.М. 3, 148, 177
 Мильтон Дж. 3, 393
 Милюков П.Н. 1-I, 4-28, 41, 288; 2-II, 2, 156, 331-332, 428; 3, 31, 93
 Милютин В. 2-I, 201
 Милютин В.А. 3, 249
 Минерва (миф.) 3, 261, 348
 Миннс 1-I, 304
 Минин Козьма 3, 79, 81
 Миних Б.К. 3, 227, 248
 Минский Н.С. 2-I, 195, 319, 321-322, 325, 327, 357
 Минцлов С.Р. 1-I, 283-285, 287, 289, 315, 326; 1-II, 347, 526
 Мирабо О.Г.Р. 3, 398, 408-409
 Мириево Я. де 2-II, 268, 270, 273, 278, 282
 Миролобов В.С. 2-I, 347; 2-II, 363
 Мисаил, еписк. рязанский 1-II, 480
 Митрофан М. 2-II, 132, 141
 Митрофан, архиеп. 2-I, 220; 2-II, 39
 Мифрадат VI Евпатор 1-I, 303
 Михаил архангел 2-I, 262
 Михаил, архим. казанский 2-I, 195
 Михаил Федорович, царь 1-II, 464; 2-I, 107; 2-II, 43, 46; 3, 82-83, 88-90, 99, 101, 114, 174-175
 Михаил Ярославич, кн. Тверской 3, 35
 Михаил Ярославич, вел. кн. всея Руси 3, 50
 Михайло Калмык, старовер, вождь дьяконовцев 2-I, 65, 67
 Михайлов А. 2-II, 131
 Михайловский Н.К. 2-I, 305-306, 310-311, 313, 323, 334, 354, 414; 2-II, 16
 Миханкова В.А. 1-I, 316
 Михов М. 1-II, 463
 Мищенко Ф.Г. 1-I, 304, 316
 М.Н.Т. 2-I, 328
 Мнишек М. 3, 112
 Могилевский А.Я. 2-II, 197
 Модель 1-I, 64
 Моисей (библ.) 2-I, 264; 2-II, 227; 3, 204
 Мокиевский П.В. 1-I, 64
 Моллер Ф.А. 2-II, 63
 Моложавый 2-II, 376
 Молотов 2-II, 458
 Молчанов 2-II, 127
 Моль Р. фон 2-II, 306
 Мольер Ж.Б. де 3, 95, 234-237, 306
 Монгайт А.Л. 1-II, 378
 Моне К. 2-II, 55, 76, 87
 Монин 2-I, 88

- Монс А.И. 2-I, 59, 278; 2-II, 241
 Монс И. 3, 150
 Монсинья П.А. 2-II, 140
 Монтеверди К. 2-II, 141, 162
 Монтелиус 1-II, 202, 223
 Монтескьё Ш.Л. 1-I, 67; 3, 129,
 254-255, 262, 264, 270, 289, 291,
 320-387, 411, 427
 Монферран О.Р. 2-II, 30
 Моор Д. (Орлов) 2-II, 111
 Морган Л. 1-I, 33, 311
 Морган де 1-I, 265
 Мордвинов А.Г. 2-II, 115
 Мордвинов Н.С., сенатор 2-II, 353
 Мордовцев Д. 2-II, 246
 Мореас Жан 2-I, 323
 Морис Ш. 2-I, 323
 Морлей 3, 314
 Моро 2-II, 53
 Морозов 3, 99
 Морозов И.А. 2-II, 130
 Морозов П.О. 3, 132, 248
 Морозов Савва 2-II, 71, 74
 Морозова, боярыня 3, 177, 268
 Морошкин 2-I, 201
 Моррис В. 2-II, 109
 Мортилье Г. 1-I, 153
 Мосгейм, богослов 2-I, 177
 Мосолов Н.Н. 2-II, 325
 Моцарт В.А. 2-II, 7, 144, 162-163,
 166, 172, 175, 178-180, 194-195,
 200
 Мочалов П.С. 2-II, 127
 Мстислав, кн. 1-II, 400
 Муаррем-Фейзи 2-I, 261
 Мунехин М.Г. 3, 47, 49, 51
 Муравьев А.Н. 2-I, 201
 Муратов М.В. 2-II, 9, 39, 463
 Муратов П.П. 2-II, 9, 35, 39, 84, 128,
 130
 Муркос 2-I, 41
 Мусин-Пушкин М.Н. 2-II, 303
 Мустангова Е. 2-I, 410
 Мусоргский М.П. 2-II, 132, 150-153,
 155, 180-184, 187, 204-205
 Мустангова Е. 2-I, 410
 Мутер Р. 2-II, 130
 Мух 1-I, 208, 212
 Мюлер 2-II, 184
 Мюллер О. 2-II, 84, 88
 Мюньх 2-II, 84
 Мякотин В.А. 1-I, 16-17, 37; 2-I, 54;
 3, 31, 37
 Мясин 2-II, 95
 Мясковский Н.Я. 2-II, 199-200
- Набоков В.В. (Сирин) 1-I, 24
 Набоков Н.Д. 2-II, 197
 Надеждин Н.И. 1-II, 385; 2-I, 296
 Накоряков Н.Н. 2-II, 463
 Нандельштедт Мартин, пастор 2-I,
 106-107
 Наполеон I, Бонапарт, имп. 2-I, 344;
 2-II, 28; 3, 163
 Направник Э.Ф. 2-II, 184
 Нарезный В.Т. 2-I, 290, 353
 Нартов А.А. 3, 236, 240, 242, 349
 Нарышкин 1-II, 502
 Нарышкин А. 3, 246, 279, 287, 305
 Нарышкин Л.К. 2-II, 241; 3, 148
 Нарышкин С. 3, 242
 Нарышкины (бр.) 2-II, 23, 140
 Наседка И., о. 2-I, 107, 175
 Наседкин В. 2-I, 380
 Наталья, царица российская 3, 234
 Наталья Кирилловна, царица
 российская 3, 101
 Наторп П. 2-II, 373-374
 Нафанаил, игумен 2-I, 108
 Н.Д. 2-I, 155
 Неверов А. (Скобелев А.С.) 2-I, 405
 Невзоров, масон 3, 413
 Невилль 3, 138
 Неволин К.А. 2-II, 300
 Недачин В.П. 3, 403, 430
 Незеленов Н.И. 3, 249, 373, 431
 Незлобин 2-II, 122
 Нейбург, актер 3, 235
 Нейлисов А.Ф. 2-II, 369
 Нейман 1-I, 304
 Неккер Ж. 3, 407
 Некрасов Н.А. 2-I, 262, 302, 304,
 306-307, 311, 354, 414; 2-II, 60,
 151, 343, 457
 Немирович-Данченко Вл.И. 2-II, 115
 Неронов И. 2-I, 49-50
 Нестеров М.В. 2-II, 69, 82-83
 Нестор Ростовский, арх. 2-I, 23
 Неустров С.С. 1-I, 83, 120
 Неустроева А.Н. 3, 249
 Нечаев В.Н. 2-II, 45, 48, 129
 Нибур Б.-Г. 1-I, 304
 Нидерле Л. 1-I, 211, 229, 231-233,
 236, 239, 241, 314; 1-II, 351,
 410, 519
 Нижинская Б.Ф. 2-II, 95
 Нижинский В.Ф. 2-II, 95
 Низовой П.Г. (Тупиков) 2-I, 405
 Никандров Н. 2-I, 378
 Никанор (назидат.) 2-I, 280
 Никита Затворник 2-I, 21-22

- Никитенко А.В. 2-I, 300; 2-II, 351
 Никитин А., предприн. 1-II, 482
 Никитин И.С. 2-I, 346, 402
 Никитин И. 2-II, 53
 Никитины (братья) 2-II, 53
 Никитин Н. 2-I, 369-370, 378, 402-409
 Никифор 2-II, 43
 Никифор, летописец 1-II, 401
 Никодим (библ.) 2-I, 264
 Никодим, старовер, вождь дьяконовцев 2-I, 65-67, 73
 Николаев А.А. 2-II, 371
 Николаев К. 2-I, 73
 Николаев П.Ф. 1-I, 65
 Николаи, бар. 2-II, 346
 Николай св. 2-I, 272; 2-II, 61; 3, 204
 Николай I, имп. 2-I, 55, 58, 68, 101, 411; 2-II, 21, 30, 58, 81, 143, 280, 293-294, 296, 298, 300-301, 303, 417, 437
 Николай II, имп. 1-I, 19; 2-I, 206, 221; 2-II, 335
 Николай Николаевич, вел.кн. (Младший) 2-I, 238
 Николов З, 238, 415
 Николетов М.О. 2-II, 45
 Николіни 1-I, 46
 Никольский Б. 2-II, 433
 Никольский В. 2-II, 67, 128, 130
 Никольский. И.Ф. 1-I, 72
 Никон, брат 2-I, 21
 Никон, еписк. 2-I, 220
 Никон (Минов Никита), патр. 1-II, 480; 2-I, 28, 43, 48-52, 54-55, 60, 62-63; 2-II, 44-45, 135, 138; 3, 148, 167-168, 170, 174, 215, 253, 412
 Никуленко-Середа А. 2-II, 465
 Нил Сорский 2-I, 40-42, 46, 411; 3, 52, 55-57, 63, 65, 67
 Нильский И. 2-I, 101
 Ницше Фр. 2-I, 182, 186, 262, 295, 321, 326-331, 334-335, 350; 2-II, 169, 186
 Ноайль де, графиня 2-II, 96
 Новгородцев П.И. 1-I, 18; 2-I, 16, 202
 Нови А. 2-II, 16
 Новиков А. 2-I, 408
 Новиков М. 2-II, 433
 Новиков Н.И. 2-I, 280; 3, 3, 230-231; 282, 294, 297-306, 309-314, 336, 338, 345-346, 350-354, 356-358, 360, 365-373, 377, 391, 408, 412-413, 426
 Новиков-Прибой (Новиков) А.С. 2-I, 406
 Новицкий А. 2-II, 127-128, 130
 Новицкий О. 2-I, 54
 Новожилов И. 2-II, 105, 433
 Новоселов М., мисс. 2-I, 200
 Новосильцев Н.Н. 2-I, 130
 Ной (библ.) 2-I, 264; 2-II, 49
 Нольде (Хансен Э.) 2-II, 88
 Носов, раскольник 3, 179
 Ньютон И. 1-I, 55; 2-II, 229
 Обермайер Х. 1-I, 126, 142, 163, 170-171
 Озеров В.А. 3, 128
 Оболонский В.А. 1-I, 22
 Образцов 2-II, 222
 Овидий П.Н. 3, 244
 Овербек, прерафаэлит 2-II, 81
 Овсянко-Куликовский Д.Н. 2-I, 353
 Огильви (Агвильдей, Огильвий) Г.Б. 3, 150
 Огнев Н. 2-II, 355, 380, 399, 402
 Огнев С.И. 1-I, 99, 101, 120; 2-I, 380
 Одинец Д.М. 1-II, 426, 467,
 Одосвский В.Ф. 2-I, 353; 2-II, 205
 Одоевцева И.В. 1-I, 24
 Озанфан А. 2-II, 102
 Оксенон И. 2-I, 410
 Олаф, кор. шведский 1-II, 421, 425
 Олеарий Э.А. 2-II, 108; 3, 113, 179
 Олег, кн. Киевский 1-II, 401, 426
 Олеша Ю.К. 2-I, 355, 399, 408
 Олещук 2-I, 254
 Олехнович 1-I, 252
 Олсуфьев Д.А. 2-I, 210
 Олсуфьев М. 3, 348-349
 Олсуфьев Ю. 2-II, 45
 Ольгерд (Альгердас) вел. кн. литовский 1-II, 460
 Ольденбург С.Ф. 2-I, 202; 2-II, 367
 Ольденбург Ф.Ф. 2-II, 354, 370-371
 Онищенко, штундист 2-I, 136
 Орешин П. 2-I, 378
 Ордин-Нащокин А.Л. 2-II, 138, 215; 3, 109, 137, 140
 Ориген, христ. теолог, предст. ранней патристики 2-II, 211
 Орлов А.Г. 3, 422
 Орлов В.И. 2-II, 356
 Орлов В.И. 1-I, 13
 Орлов Г.Г. 2-II, 26; 3, 261-262, 270, 273-274, 280, 305
 Орлов Н.А. 2-II, 197
 Орловы, двор. род 3, 316

- Орловский А.О. 2-II, 54
 Орфиреус 2-II, 258
 Осоргин М.А. 1-I, 27
 Остафьев М. 2-II, 45
 Остервальд, бар. 3, 236
 Остерман А.И. (Генрих Иоганн Фридрих), гос. деятель, дипломат, граф 3, 150, 157
 Острецов А. 2-II, 202, 206
 Островитинов К. 2-II, 58, 424
 Островский А.Н. 2-II, 316, 331; 2-II, 115, 122, 124
 Островский А. 3, 225, 316, 340
 Остроумова-Лебедева А.П. 2-II, 110
 Осьмеркин 2-II, 105
 Оттокар 1-I, 52
- П.Б. 3, 31
 Пабст 2-II, 374
 Павел, апостол 2-I, 272
 Павел I, имп. 1-I, 61; 2-I, 55, 67-69; 2-II, 26-28, 140, 142, 266; 3, 193, 338, 372
 Павел Великодворский 2-I, 69
 Павел, диакон 1-I, 236
 Павел Коломенский, арх. 2-I, 62
 Павел, митр. московский 3, 109
 Павленко П.А. 2-I, 408
 Павленков Ф.Ф. 1-I, 64, 2-I, 54; 2-II, 359, 362, 371
 Павлинов А.М. 2-II, 128
 Павлов А.С. 2-I, 42; 3, 73, 112
 Павлов И. 3, 44
 Павлов М.Г. 3, 30-31
 Павлов-Сильванский Н.П. 1-I, 62; 3, 430, 431
 Павлова А. 2-II, 95
 Павский П.А. 2-II, 464
 Паисий, патр. Константинопольский 2-I, 55-56, 72
 Пайк 1-I, 304
 Палама Г. 3, 81-82, 182
 Палеолог А. 3, 39
 Палеолог Иоанн, царь греческий 3, 45
 Палеолог Константин XI, имп. 2-I, 30
 Палеолог Софья (Зоя) 2-I, 32, 34, 38, 49, 60; 3, 32, 38
 Палеолог Фома 3, 38, 50
 Палеологи, визант. династия 2-II, 9-10, 35
 Палестрина Дж.П. 2-II, 7, 133, 161
 Палицын А. 1-II, 463
 Палладио (ди Пьетро) А. 2-II, 27
- Пальмер, богослов 2-I, 171
 Памва, подвижник 2-I, 271
 Панаев И.И. 2-I, 301
 Панин П.И. 3, 261, 274, 305, 316
 Панкратов П.Н. 2-II, 435
 Панферов Ф.И. 2-I, 405-406
 Пан чао 1-II, 348
 Папков А. 2-I, 201
 Парис 2-II, 144
 Паркин В. 2-II, 130
 Паскаль Блез 1-I, 56; 2-I, 189; 3, 362
 Пассарге Л. 1-I, 108, 121
 Пассек Т. 1-I, 315
 Пастернак Йоз. 1-II, 392
 Пастернак Л. 2-I, 344, 354
 Пастухов П. 3, 243
 Патканов К.П. 1-I, 109
 Паули Г.Р. 1-I, 214
 Паульсон И.Н. 2-II, 323, 332
 Пафнутий Боровский, игумен, основатель Рождественского монастыря 2-II, 39
 Пахомий Логофет (Пахомий Серб) 3, 32, 45, 47, 49, 51
 Пачоский Ю.К. 1-I, 88, 137-138
 Пашкевич В.А. 2-II, 141
 Пашков В.А. 2-I, 137
 Пашуто В.Т. 1-II, 379
 Паззиэлло 2-II, 140
 Пейра 2-II, 26
 Пейтингер К. 1-I, 230-231, 236; 1-II, 399
 Пекарский П.П. 2-II, 246, 277; 3, 248-249, 338, 373, 574
 Пеладан Сар 2-I, 323
 Пеллио П. 1-II, 345
 Пельше Р. 2-II, 123, 126-127, 131
 Пенка А. 1-I, 125-126, 158, 207-208; 1-II, 519
 Пентефрий (библ.) 3, 101
 Первольф И. 3, 50
 Перголези Дж.Б. 2-II, 192
 Переверзев В.Ф. 2-I, 335, 355, 372-373, 381-382, 385, 410, 415-416; 2-II, 202
 Перель И. 2-II, 434
 Перельман Я.И. 2-II, 104, 414
 Перепелицын П.Д. 2-II, 204
 Пересветов И.С. 3, 52, 64-66, 69-71, 73-74, 78, 85, 99-100, 268, 405
 Перетц В.Н. 2-I, 353
 Перетяткович Г. 3, 281
 Перисад I, царь пантикапейский 1-I, 303
 Перизгет Д. 1-II, 353
 Перов В.Г. 2-II, 60-61, 97, 130, 151

- Перов В.Г. 2-II, 60-61, 97, 130, 151
 Перов И. 2-I, 201; 2-II, 5
 Перовский Е.И. 2-II, 394, 396, 434
 Перуджино (Ваннуччи) П. 2-II, 40
 Перье 2-II, 30
 Песталотци И.-Г. 2-II, 323
 Пестель П.И. 1-II, 501
 Петион, мэр 3, 412
 Петр, апостол 2-I, 34, 272
 Петр, воевода волжский 3, 73
 Петр I (Великий) 1-I, 11; 1-II, 453, 466, 474, 480, 492; 2-I, 52, 54, 55, 58-59, 60, 73, 262, 266, 276, 284, 287, 412; 2-II, 5, 21, 23-25, 52, 139, 207, 225-226, 228-230, 234-235, 241, 246, 247-258, 277, 284, 462-463, 478; 3, 17, 37, 88, 93, 108, 120, 130-131, 134, 136, 138, 140-146, 148-166, 170-173, 176-193, 195-197, 212, 214-215, 219, 221-223, 226-229, 234, 248, 250-253, 260, 288, 307, 319, 322, 326, 337-338, 373, 425, 429
 Петр II, имп. 3, 188-189, 222-223
 Петр III, имп. 2-II, 140; 3, 198, 271, 348, 372
 Петр, митр. тверской 3, 35, 44, 45, 53
 Петр, раскольник (автор миней) 2-I, 81
 Петр Могила, митр. киевский 2-II, 213-214
 Петр, митр. крутицкий 2-I, 234-238, 242-244, 413
 Петр, митр. 2-I, 210
 Петр, митр. московский 3, 44
 Петр, воевода волжский 3, 73
 Петр Золотые ключи (лег.) 2-I, 276
 Петр, кн. вымский 1-II, 484
 Петрарка Ф. 2-I, 276; 2-II, 162
 Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) М.В. 2-I, 311
 Петри Ф. 1-I, 109, 148-149, 151, 305
 Петров-Водкин К.С. 2-II, 83
 Петровский А. 2-I, 202
 Петрункевич И.И. 1-I, 10
 Пехе 2-I, 245-250
 Пехштейн М. 2-II, 88
 Пёше 1-I, 207-208, 211; 1-II, 519
 Пий II, папа римский 3, 50
 Пий IX, папа римский 2-I, 182
 Пикассо П. 2-II, 78-79, 87, 90, 93, 95-96, 102, 122
 Пикельгеринг 3, 101
 Пикте А. 1-I, 208
 Пилат (библ.) 2-I, 264
 Пилипенко С. 2-I, 402
 Пилоти К. 2-II, 64
 Пильняк Б. 2-I, 355, 371, 384, 387-388, 408-409, 416; 2-II, 459
 Пимен, митр. 1-II, 478
 Пименов Ю. 2-II, 105
 Пинкевич А.И. 2-II, 373-376, 396-397, 434
 Пино Н. 2-II, 24
 Пиранези Дж.Б. 2-II, 28
 Пирлинг П., иезуит, историк 3, 50
 Пирогов Н.И. 2-II, 300, 308-310, 323, 369
 Писарев Д.И. 2-I, 301, 306; 2-II, 324, 371
 Пискатор Н.О. (Клас Вискер) 2-II, 48-49
 Писсарро К. 2-II, 78
 Пистрак М. 2-II, 388, 395, 425, 434
 Питирим, миссионер 2-I, 73
 Питирим, еписк. нижегородский 2-I, 65, 73; 2-II, 251
 Питгар 1-I, 245-246
 Плано-Карпини Дж.П. 1-I, 269, 275
 Пичета В. 3, 133
 Платнер 3, 383-384, 431
 Платон 1-I, 45, 49, 64; 1-II, 524; 2-II, 211, 213; 3, 356
 Платон, митр. московский 2-I, 66; 3, 345, 354, 371, 377
 Платон (Левшин), митр. 2-I, 151, 155, 179
 Платонов А. 2-I, 408
 Платонов С.Ф. 2-II, 246; 3, 73, 93
 Плетнев В. 2-I, 363
 Плеханов Г.В. (Бельтов Н.) 2-I, 15, 372, 374-375, 381, 410; 2-II, 204, 374
 Плешкович Иоанн, архидиак. сербский 2-II, 46
 Плещеев Ф., стольник 1-II, 477, 479
 Плиний 1-I, 176, 232; 2-II, 244
 Плисов М.Г. 2-II, 290
 Плутарх 1-II, 349
 Плюсин-Кронин Б.А. 2-II, 406, 434
 По Э.А. 2-II, 188
 Пободоносцев К.П. 2-I, 136, 164, 197, 204, 412; 2-II, 334-335
 Побирохин Илл. 2-I, 118
 Повалишин А.Д. 2-II, 370
 Погодин А.Л. 1-II, 467
 Погодин М.П. 1-II, 378; 2-I, 299; 2-II, 300
 Подгасецкий Г.В. 1-I, 311; 1-II, 378
 Поджогин Шигона 3, 62

- Подшивалов В.С. 2-I, 285
 Подъячев С.П. 2-I, 403
 Пожарский Дм.М. кн., полководец
 3, 74, 81-82, 87-89
 Поздняков В. 2-I, 140
 Познанский 1-I, 252
 Покровский В. 2-II, 128
 Покровский М.Н. 1-I, 20; 2-II, 101,
 434
 Покровский Н.В. 2-II, 128-129
 Полевой Н.А. 2-I, 294, 296, 301
 Поленов В.Д. 2-II, 63, 68, 83, 637
 Полибий 1-I, 230-231
 Поликарпов Ф. 2-II, 242
 Полилов 2-I, 328
 Полонская Е. 2-I, 378
 Полонский В. 2-I, 362, 380, 388, 410;
 2-II, 111
 Поляков С. 2-I, 378
 Полянский В. (Лебедев П.И.) 2-I, 410
 Помпоний М. 1-I, 230
 Помяловский Н.Г. 2-I, 303, 316
 Попов М.И. 3, 236
 Попов, основатель секты "Общих"
 2-I, 139
 Попов А. 2-I, 153; 2-II, 246; 3, 51
 Попов Д.Я., свящ. 2-I, 216
 Попов Гр.(Завражный) 2-I, 350
 Попов Н.А. 2-I, 73; 3, 225
 Поповский Н.Н. 2-II, 260
 Поппель Н.А. 3, 39-40, 49
 Порошин С. 3, 240
 Порфирий, игумен троицкий 3, 64
 Поршнев Г.И. 2-II, 442-443, 463-464
 Посошков И.Т. 2-I, 284; 3, 186,
 200-207, 212, 215, 220, 427
 Поспеев С. 2-II, 44
 Поссевин (Поссевино А.), иезуит,
 посланник папы (1582 г.) 2-I, 32
 Постник (и Барма) 2-II, 19
 Потанин Г.Н. 1-I, 284, 315
 Потапов А. 1-I, 309
 Потемкин Г.А. 2-I, 65; 2-II, 27, 140,
 142; 3, 273, 316, 335, 372, 400,
 406, 411, 412
 Поярков В. 1-II, 518
 Прасковья, царица 3, 190
 Прасолов Л.И. 1-I, 96, 120
 Прач И. 2-II, 143
 Прево, аббат 3, 233
 Прево М. 2-II, 94
 Преображенский А.В. 2-II, 205
 Преображенский И. 2-I, 198-199
 Пресняков А.Е. 1-I, 16
 Пресс М.И. 2-II, 197
 Пресс И.И. 2-II, 197
 Прилежаев Е. 3, 225
 Приселков М.Д. 2-I, 29, 41
 Приск 1-I, 269
 Пришвин М. 2-I, 371, 378, 380
 Прозоровский А. 2-I, 201; 2-II, 222,
 246
 Прозоровский И.С. 3, 412
 Прокопий Кесарийский 1-II, 349,
 355, 396
 Прокопович С.Н. 1-I, 24
 Прокопович Ф. 2-II, 53; 3, 189, 201,
 212, 214, 218, 222, 225
 Прокофий, поп московский 2-I, 50
 Прокофьев В.А. 2-II, 205
 Прокофьев С.С. 2-II, 95, 132, 159,
 194-197, 200, 203, 205
 Прометей 2-I, 193
 Пронский, холопий 3, 218
 Протопопов Д.Д. 2-II, 355, 371
 Протопопов М.А. 2-I, 324; 2-II, 202
 Проханов 2-I, 149
 Пругавин А.С. 2-I, 73, 143; 2-II, 356,
 358, 370-371
 Прус 2-I, 32; 3, 75, 97
 Прут А. 2-II, 464
 Птолмей 1-I, 70, 95, 232-233, 235;
 1-II, 415, 417, 422
 Пуанкаре Р. 2-II, 450
 Пуассон Ж. 1-I, 228, 255-256, 313;
 1-II, 382
 Пугачев Е. 3, 315-316, 318-319, 335
 Пунин 2-II, 103
 Пуффендорф С. 2-I, 212, 215, 216
 Пушкин А.С. 2-I, 262, 289, 290-298,
 303, 309, 316, 323, 343, 346, 351,
 353-354, 362, 365; 2-II, 92, 132,
 144, 152, 178, 192, 294, 296,
 358, 457, 478
 Пфлуг 2-II, 396
 Пшибышевский С. 2-I, 330
 Пыпин А.Н. 1-I, 16; 2-I, 269, 352;
 2-II, 222; 3, 73, 154, 248, 373
 Пюви де Шаванн П. 2-II, 65, 83
 Равдоникас В.И. 1-I, 311
 Равель М.Ж. 2-II, 95, 183, 201
 Радаев 2-I, 131-132, 412
 Радек 2-I, 375
 Радищев А.Н. 1-II, 516; 2-II, 102;
 3, 3, 339, 359, 374, 377,
 379-397, 399-405, 408-422
 Радлов В.В. 1-I, 267, 287-290, 300,
 326; 1-II, 344, 347, 527
 Радлов Э. 1-II, 344, 347; 2-I, 201
 Радченко К. 3, 50-51, 73

- Раев 2-I, 205
 Разин Ст. 1-II, 465; 2-I, 344, 351, 388; 2-II, 102; 3, 147, 173, 175-177
 Разумовский А.Г. 2-II, 140
 Разумовский А.К. 2-II, 290
 Разумовский Д.В. 2-II, 205
 Разумовский К.Г. 2-II, 25; 3, 230, 240
 Разумовский П.Ф. 2-II, 26
 Ракин, воевода иркутский 1-II, 501
 Ранке Л.Ф. 1-I, 44-45
 Расин Ж.Б. 2-I, 289; 2-II, 121; 3, 237
 Расовский Д.А. 1-II, 363, 366, 373, 378
 Распутин Г. 2-I, 174
 Растрелли Б.К. 2-II, 24
 Растрелли В.В. 2-II, 24, 27
 Ратушной М., штундист 2-I, 136
 Ратцель Ф. 1-I, 67, 69, 105, 107, 108, 119, 121, 128; 1-II, 208, 518; 3, 30, 68
 Рау 1-I, 202; 1-II, 344
 Раупах Г.Ф. 2-II, 140
 Рафаэль (Рафаэлло Санти) 2-I, 361, 365; 2-II, 6
 Рахманинов С.В. 2-II, 185, 197, 206
 Рахманов Ф. 2-I, 69
 Рачинский Г.А. 2-I, 202
 Рачинский С.А. 2-II, 335
 Рашид-ад-Дин 1-II, 369-370
 Ребигов В. 2-II, 184, 201
 Редсток Г., лорд 2-I, 137
 Ревердатто 1-I, 93, 120
 Ревякин 2-I, 405-406
 Редкин П.Г. 2-II, 300
 Рейнак 1-I, 146
 Рейналь Г.-Т.-Ф. 3, 391, 405
 Рейналь М. 2-II, 78
 Рейнгарт Л. 1-I, 169, 171
 Рейнеке 1-II, 388, 392
 Рейтерн 2-II, 56
 Реклю Е. 1-I, 121
 Рембо А. 2-I, 326
 Ремеров В., свящ. 2-I, 154
 Ремизов А.М. 1-I, 24; 2-I, 323, 357
 Ренников 1-II, 429
 Рено 2-I, 365
 Ренуар О. 2-II, 75-76
 Рео 2-II, 39
 Репин И.Е. 2-II, 5, 61-62, 65, 68, 83, 97, 101, 152, 181
 Репнин Н.В., кн. 3, 273
 Репский В. 2-II, 138
 Рерих Н.К. 2-II, 67, 69, 72, 82-83, 101, 187, 189
 Рерих Ю.Н. 1-I, 316
 Ресслер 1-I, 263, 271; 3, 315
 Реутский Н.В. 2-I, 154
 Рехе 1-I, 250
 Решетников Ф.М. 2-I, 304, 316
 Ржевский А. 3, 246, 349
 Рибер, доминиканец 2-I, 177
 Ризерман О. фон 2-II, 205
 Риккерт Г. 1-I, 41, 52, 65
 Риман Х. 2-II, 134
 Римберт 1-II, 421
 Римский Л. 2-II, 439, 463
 Римский-Корсаков А.Н. 2-II, 205
 Римский-Корсаков Н.А. 2-II, 95, 132, 144, 150-155, 156-158, 181, 183-184, 186-187, 190, 200-203, 205
 Ринальди А. 2-II, 26
 Риплей 1-II, 519
 Ритт 2-II, 53
 Риттер К. 1-I, 66, 67; 1-II, 518
 Рихарц 1-I, 126
 Рихтгофен Б.фон 1-I, 228, 314
 Ришелье А.Ж.дю Пл. 3, 425
 Робэн 2-II, 375
 Ровинский Д.А. 2-II, 35, 40
 Роганович И.П. 3, 133
 Роде 1-I, 208
 Роде П. 2-II, 144
 Родзянко М.В. 2-I, 246
 Роджерс Дж. 1-I, 52
 Родов 2-I, 378, 382
 Рождественский А., свящ. 2-I, 135, 139
 Рождественский В.В. 2-II, 108
 Рожков Н. 2-II, 414
 Розанов В.В. 2-I, 195, 323
 Розанов М.Н. 3, 373
 Розен, бар. 2-II, 147
 Розенберг 1-I, 255
 Рокита Ян, богослов 2-I, 106
 Рокотов Ф.С. 2-II, 53
 Роллан Р. 2-II, 121
 Романов Б.С. 2-II, 125
 Романов П. 2-I, 393, 395
 Романович-Славитинский А. 3, 335
 Романовы, царск. дин. 2-I, 206, 218
 Ромашов 2-II, 125
 Ромм, масон 3, 378
 Ромодановский Ф.Ю. 2-II, 241; 3, 141, 149
 Рославец Н. 2-II, 201-204
 Рославцев С. 2-II, 200
 Рослен 2-II, 53
 Росси К. 2-II, 29-30

- Россини Дж. 2-II, 141-144
 Ростафинский 1-II, 382
 Ростовский, кн., великокняжеский
 наместник 1-II, 482
 Ростовцев М.И. 1-I, 201, 257, 268,
 293-294, 298, 303, 304, 309,
 315-316, 327, 344-345; 1-II,
 343-345, 348-349
 Ростопчин Ф.В. 3, 378, 404, 412
 Ротари П. 2-II, 53
 Ртищев Ф.В. 2-II, 137, 214, 243
 Рубакин Н.А. 2-I, 347; 2-II, 353-354,
 356, 359-361, 364, 371, 436,
 455-456, 463-464
 Рубан В.Г. 3, 295, 297
 Рубинштейн А.Г. 2-II, 148-149, 171,
 178-180, 183
 Рубинштейн М.М. 2-II, 132, 393, 434
 Рубинштейн Н.Г. 2-II, 132, 148-149,
 369
 Рублев А. 2-II, 5, 38, 45; 3, 38
 Рубрук В. 1-II, 269, 368, 476
 Руденко С.Н. 1-I, 315
 Рудинский М.Я. 1-I, 191
 Руднев С.П. 2-I, 210, 260
 Ружичка И. 1-I, 232
 Румовский С.Я. 2-II, 260
 Румянцев-Задунайский П.Н. 2-I, 65;
 3, 274, 410, 422
 Рунич Д.П. 2-II, 287, 299
 Рупрехт Ф.И. 1-I, 88-138
 Русанов Н. 1-I, 37
 Русиас, царь урартский 1-I, 263
 Руссо Ж.Ж. 2-I, 289; 2-II, 54, 323;
 3, 254, 262, 360, 364-365, 375,
 387-389, 405
 Руссоло 2-II, 80
 Рутковский 1-I, 252
 Руффо М. 2-II, 16
 Руцицкий А.П. 2-I, 41
 Рыбаков Б.А. 1-II, 378
 Рыков П.С. 1-I, 201-203, 273-274,
 313; 1-II, 340, 344, 346, 349,
 351, 367, 378, 474-475, 518
 2-I, 254
 Рылеев, полицмейстер 3, 395
 Рылеев К.Ф. 2-I, 292, 297
 Рындин 2-II, 105
 Рычков П.С. 1-I, 95, 273
 Рюрик 3, 49
 Рябошапка И., вождь южнорусского
 баптизма 2-I, 136
 Рязановский В.А. 1-II, 379
 Ряховский 2-I, 406
 Сабанеев Л. 2-II, 157-158, 195,
 199-200, 205-206
 Саблер В.К. 2-I, 173-174, 204-205
 Сабуров 2-II, 315
 Сабурова Соломония 2-I, 36
 Саваоф (библ.) 2-II, 37
 Савва, монах 3, 171
 Савва В. 2-I, 41
 Савва Спиридон 2-I, 42
 Савельев 1-II, 429
 Савенко С. 2-I, 98
 Савин И. 2-II, 43
 Савин Н. 2-II, 43
 Савихин 2-I, 349
 Савицкий К.А. 2-II, 104
 Савицкий П.Н. 1-I, 26, 86, 90, 95,
 120-121; 2-I, 24
 Саводник 3, 373
 Савонарола 3, 64
 Саврасов А.К. 2-II, 66
 Садковский С. 2-I, 42
 Садовый 2-II, 115
 Саккети Л.А. 2-II, 204
 Саксен-Мейнингенский 2-II, 115
 Сакулин П.Н. 2-I, 353, 378
 Саломея (библ.) 2-II, 41
 Салтанов И. 2-II, 44
 Салтыков П. 3, 196
 Салтыков-Щедрин М.Е. 2-I, 262, 301,
 309-310, 316-318, 354, 383, 415;
 2-II, 343; 3, 500
 Салтыкова 3, 378
 Сальмони 1-I, 257
 Саманиды, арабская дин. 1-II, 362
 Самарин 2-I, 83-84
 Самарин Ю.Ф. 2-I, 169, 174
 Само, царь винидский 1-I, 234; 1-II,
 361
 Самойлович И.С., гетман 3, 139,
 150-151
 Самотсвит (Свиат Малик), кн.
 славянский 1-II, 424
 Самуил, монах 3, 171-172
 Сандилис 1-II, 356
 Санжарь Н. 2-I, 350
 Санковский В.Д. 3, 240
 Сапунов Н.Н. 2-II, 85, 117
 Сараув 1-I, 157
 Саргон I, царь ассирийский 1-I, 261
 Саргон II, царь ассирийский 1-I, 261
 Сардур, царь урартский Сарманас
 сар, царь ассирийский
 1-I, 261
 Сарти Дж. 2-II, 140

- Сарьян М.С. 2-II, 85-87
 Сати Эрик А.Л. 2-II, 95, 184
 Сафонов 2-II, 39
 Сахаров И.П. 2-II, 156
 Сахновский В.Г. 2-II, 198
 Сачаец-Федорович Е.П. 2-II, 48, 129
 Светлов М. 2-I, 380
 Свирский А.И. 2-I, 332, 349, 392
 Свистунов 3, 236
 Святополк Мирский, кн. 2-I, 24
 Святослав, кн. 2-I, 23
 С'Гравесанд 3, 381-382, 384, 386, 431
 Северные, граф. род 2-II, 27
 Северянин И. 2-I, 342-343, 357, 365
 Сегюр, гр. 3, 284, 285, 302, 376-378
 Ссдых А. 1-I, 27
 Сезанн П. 2-II, 75, 78, 82, 87, 90, 122
 Сеид-Ахмет 1-II, 493
 Сейфуллина Л.Н. 2-I, 371, 395
 Селезнев Ф.Я. 1-I, 191, 312
 Селиванов К. 2-I, 116, 128-129, 131
 Селивановский А. 2-I, 410
 Селифонтов, сенагор 1-II, 501
 Семевский М.И. 2-II, 321, 370; 3, 425
 Семека А.В. 3, 373
 Семснников В.П. 3, 314, 431
 Семенов И. 3, 101
 Семенов М. 2-II, 23
 Семенов Никита, странник 2-I, 270, 352, 394
 Семенов С. 2-I, 371
 Семенов С.Т. 2-I, 349, 355
 Семенов-Тянь-Шанский В.П. 1-II, 414, 467
 Семирадский Г.И. 2-II, 63
 Семон Р. 1-I, 174
 Сенкевич Г. 2-I, 331
 Сенковский О.Ю. 2-I, 353; 2-II, 287
 Сен-Мартен Л.К. 3, 363
 Сен-Санс К. 2-II, 183
 Сен-Фуа 3, 236
 Сеньковский 2-I, 298
 Сера Э.П. 2-II, 75, 87
 Серапион св., пустынный 2-I, 368-369
 Серапион, митр. новгородский 3, 52, 58-60
 Серафим Петербургский 2-I, 171
 Серафим, архиеп. 2-I, 220
 Серафим, митр. тверской 2-I, 243
 Серафим, архиеп. угличский 2-I, 243, 248-249, 261
 Серафимович А.С. (Попов) 2-I, 345, 358, 368, 387-388, 416
 Сергей Радонежский 2-I, 228
 Сергей Валаамский 3, 64-65, 99
 Сергей, арх. 2-I, 229
 Сергей, преп. 3, 112
 Сергей, преп. 2-I, 197
 Сергей 3, 168
 Сергей Юршев 2-I, 67
 Сергей, митр. новгородский 2-I, 238, 241-245, 250, 256, 261, 414
 Сергей, митр. пермский 2-I, 239
 Серджи Дж. 1-I, 122, 132, 134-135, 151-152, 155, 170, 173, 208-211, 318; 1-II, 521
 Сердонин С.М. 1-II, 378
 Серебряков, свящ. 2-I, 229
 Сериньи 3, 235
 Сернандер 1-I, 158
 Серов А.Н. 2-II, 132, 148-150, 179, 180, 205
 Серов В.А. 2-II, 68-69
 Сетеле 1-II, 420
 Сибилев Н.В. 1-I, 312
 Сибирцев Н.М. 1-I, 82
 Сивачев М. 2-I, 350, 415
 Сиверс Я.Е. 2-II, 295; 3, 323, 327, 329, 332, 335, 403
 Сигизмунд, кн. литовский 3, 34, 76, 79, 85-86, 87
 Сигизмунд-Август, кор. польский 3, 75-76
 Сидов, Эккарт фон 2-I, 322
 Сидоний А. 1-II, 352
 Сидоров А.А. 2-II, 370
 Сикст IV, папа 3, 39
 Сильвестр, свящ. 2-II, 40; 3, 66-67, 70, 73
 Сильвестр (Малеванский), еписк. 2-I, 180
 Сильвестр, архиеп. 2-I, 243
 Симеон Гордый 3, 33-35, 50
 Симеон Полоцкий 2-I, 175; 2-II, 207, 215-219, 222, 228, 243
 Симиан 1-I, 68
 Симон, митр. новгородский 2-II, 208
 Симон, митр. московский 3, 56, 67, 87
 Синай Г. 3, 81-83, 182
 Синицын 1-I, 193
 Синьяк П. 2-II, 75
 Сиповский В.В. 2-I, 353
 Сирополко С. 2-II, 433
 Сироткин В. 2-II, 434
 Сислей 2-II, 75
 Скабичевский А.М. 2-I, 324, 353
 Скарлатти А. 2-II, 162
 Скворцов В.М. 2-I, 199
 Скворцов Д. 2-I, 154
 Скиталец (Петров С.Г.) 2-I, 345, 349

- Скопин 3, 80
 Скворода 2-I, 118, 412
 Скорняков-Писарев Г.Г., обер-прокурор 3, 196
 Скрипник Н.А. 2-II, 426, 428, 434
 Скрыбин А.Н. 2-II, 69, 132, 157-159, 184-185, 199, 200-206
 Славинецкий Е. 2-II, 234
 Слепушкин 2-I, 346
 Слефогт М. 2-II, 76, 88
 Словен (лег.) 2-II, 239
 Словцов П.А. 1-II, 495-496, 500, 519
 Слонимский М. 2-I, 368, 370, 378
 Слонов И.А. 2-II, 198
 Слуховский М.И. 2-II, 458-459, 464, 465
 Сменцовский М. 2-II, 222
 Смилович 2-I, 238, 256
 Смирдин А.Ф. 2-II, 351
 Смирнов И.Н. 1-II, 471-473, 475, 518
 Смирнов П. 1-II, 421, 424-425, 427, 429, 467
 Смирнов П.С. 2-I, 72, 185
 Смирнов С. 2-II, 222, 246
 Смирнова А.С. 1-I, 9
 Смотрицкий М. 2-II, 242
 Смушков М. 2-II, 464
 Смушкова 2-II, 458
 Смышляев 2-II, 122-123
 Собесский Ян 3, 116
 Соболев Ю. 2-I, 378
 Соболевский 1-I, 235
 Соболевский А.И. 1-I, 222, 235
 Сობоль А. 2-I, 378
 Соймонов Ф.И. 3, 332, 378, 430
 Соковнин В.А. 3, 177
 Соколов 2-II, 390-391
 Соколов И. 2-II, 52
 Соколов М. 3, 132
 Соколов Н.С. 2-I, 73
 Соколова Е. 2-I, 328
 Сократ 2-I, 119, 328; 3, 326, 385
 Солярио А. 2-II, 16
 Соллас 1-I, 153
 Солнцев В.Ф. 3, 475
 Соловьев Вл. 1-I, 15, 18, 65; 2-I, 338, 340, 359, 413; 3, 345
 Соловьев С.М. 1-II, 374; 2-I, 200; 2-II, 220; 3, 173, 185, 225
 Сологуб Ф. (Тетерников Ф.К.) 2-I, 322, 324-325, 327, 329, 415; 2-II, 117
 Соломон (библ.) 2-I, 264; 2-II, 218, 230; 3, 218
 Соломон (лег.) 2-I, 271, 274
 Солон 3, 256
 Солунский С. 2-II, 9
 Солярио А. 2-II, 16, 41
 Сомов А. 2-II, 128
 Сомов К.А. 2-II, 64-65, 86, 97, 101, 110
 Сопиков В.С. 2-II, 352
 Сорин 2-II, 101
 Сорокин Питирим 3, 31
 Сорский Нил 2-I, 40; 3, 78, 83
 Софроницкий В.В. 2-II, 197
 Софья, цар. (регентша) 2-I, 59-60, 63; 2-II, 23, 218; 3, 134, 138-139, 168, 177-178
 Спаситель (Иисус Христос) 2-I, 264
 Спасович В.Д. 2-II, 369
 Спенсер Г. 1-I, 6, 36, 40, 47-48, 50-52, 64; 1-II, 524; 2-I, 184; 3, 30
 Сперанский М.М. 1-II, 502-503; 2-II, 262, 283-284
 Спинка М. 2-I, 230, 238
 Спиноза Б. 2-I, 334; 3, 361
 Спиридон св. 3, 204
 Спицын А.А. 1-I, 309, 312, 316; 1-II, 386, 428-429, 431, 434, 437, 439, 442, 444, 467-468; 2-II, 278
 Спонтини Г. 2-II, 139, 143
 Сретенский 2-II, 105
 Сталин И.В. 1-I, 63, 250; 2-I, 203, 254, 380, 416; 2-II, 427, 448, 450, 462-463
 Станиславов 1-II, 399
 Станиславский, прот. 2-I, 210
 Станиславский К.С. 2-II, 115-116, 122
 Станкевич Н.В. 3, 356
 Старов И.Е. 2-II, 26
 Старцев О. 2-II, 22
 Стасов В. 2-II, 152, 205
 Стасов В.В. 2-II, 59, 130, 148-149, 151, 179, 181, 205
 Стасов В.П. 2-II, 29
 Стасюлевич М.А. 1-I, 64
 Стебут А. 1-I, 82
 Стеллецкий 2-II, 98
 Степан 3, 171
 Степанов 3, 196
 Степанов 2-I, 68
 Степанов И. 2-I, 213, 221
 Степанов Н. 2-I, 354, 389
 Степной Н. 2-I, 355, 395-396
 Стерн Л. 3, 390
 Стефан, протоп. 2-I, 50
 Стефан Пермский 1-II, 447, 483-484
 Стефаний (лег.) 2-I, 241, 274

- Стиль 3, 241
 Столыпин П.А. 1-II, 511
 Стороженко Н.И. 1-I, 9
 Стоцкий А. 1-I, 34, 199, 218, 220
 Страбон, древнеримский географ 1-I, 214, 233, 235, 265
 Стравинский И.Ф. 2-II, 95, 118, 132, 159, 173, 186-197
 Стратонов Н. 2-I, 261
 Страхов Н.Н. 1-I, 65
 Стрешнев Т.Н. 2-II, 241; 3, 148, 151
 Строганов А. 3, 531
 Строганов Аника 1-II, 486
 Строганов А. 3, 349, 370, 378
 Строганов А.С. 2-II, 140
 Строганов Г. 1-II, 486, 489
 Строганов Д. 2-II, 138
 Строганов Н. 2-II, 43
 Строганов С.Г. 2-II, 25
 Строгановы, род. 2-II, 43, 486, 487, 489-490
 Струве П.Б. 2-I, 14, 16, 359
 Струйский 2-I, 290, 432
 Струмилин С.Г. 2-II, 432
 Струмилин С.О. 2-II, 432
 Стюарт 3, 141
 Субботин А.А. 2-II, 465
 Субботин Н. 2-I, 54, 73
 Субадей 1-II, 374
 Суворин А.С. 2-I, 311; 2-II, 370; 3, 281
 Судейкин С.Ю. 2-II, 67, 85-86, 95-96, 101, 117
 Сулержицкий 2-I, 345
 Сулимирский 1-I, 182, 197
 Султанов Н.В. 2-II, 128
 Сумароков А.П. 2-I, 285, 288-290; 3, 226, 228, 236-238, 240-241, 244-245, 248, 271, 298, 348
 Сургучев И. 2-II, 126
 Суриков В.И. 2-II, 66, 104, 152, 403
 Суриков И.З. 2-I, 346
 Суровцов 1-II, 502
 Суслов И.Т. 2-I, 115
 Суханов 2-I, 51
 Сухомлинов М.И. 2-II, 369
 Сухомлинов 3, 431
 Схранил 1-I, 218, 220
 Сырцов С.И. 2-II, 434
 Сытин И.Д. 2-II, 358, 362, 441
 Сычев Н.П. 2-II, 45
 Сычев П.А. 2-II, 463
 Сютаев В. 2-I, 99
 Таиров А.Я. 2-II, 120, 122
 Тайяд Л. 2-I, 326
 Талицкий Г., книгописец 3, 171
 Тальгрэн А.М. 1-I, 171, 182-183, 191, 198-199, 201-202, 204, 267, 270-271, 310-316; 1-II, 419, 431-432, 435, 467
 Талько-Гринцевич 1-I, 252
 Тамерлан (Тимур), эмир 1-II, 377
 Танеев С.И. 2-II, 185, 206
 Таннауэр И.-Г. (Дангауэр) 2-II, 53
 Танфильев Г.И. 1-I, 80, 85-86, 120, 130; 1-II, 414
 Тарасов 2-I, 406
 Тард Г. 3, 10, 30
 Тарденуаз М.Л. 1-I, 190
 Тареев 2-I, 181
 Тароватый 2-II, 85
 Татаринова 2-I, 129, 412
 Татищев В.Н. 2-II, 208; 3, 186, 212-220, 222-224, 225-226, 246, 322, 339, 343, 362, 421-422
 Татлин В.Е. 2-II, 102, 113, 122
 Тацит 1-I, 183, 232-233; 1-II, 340, 351, 372, 394; 3, 256
 Тверитинов Д., проп. протест. 2-I, 109-111, 412; 2-II, 218
 Тверской П.А. 2-I, 154
 Твэрязк (Соловьев) А.А. 2-I, 399, 405-406
 Тейлор И. 1-I, 172, 210, 215; 1-II, 519
 Телешов Н.Д. 2-II, 345
 Темучин (Чингиз-хан) 1-II, 356, 367, 370-372, 374-377
 Теодорих 1-II, 350
 Теплов Г.Н. 2-II, 140; 3, 344
 Теплоухов С.А. 1-I, 257, 287, 314
 Терещенко А.В. 1-II, 375
 Терещенко 2-II, 156
 Терлецкий Г. 2-I, 154
 Тернавцев В.А. 2-I, 195
 Тернан 1-I, 212
 Тернер Дж.М.У. 2-II, 74
 Терпсихоров 2-II, 104
 Тертуллиан К.С.Ф. 2-I, 189
 Тиммерман Ф. 3, 142
 Тимофеев И., дьяк 2-II, 240
 Тимофеев М. 2-II, 23
 Тимофей, иеромонах 2-II, 217
 Тимофей, поп 2-II, 39
 Тиссен Г. 2-II, 169-170, 176
 Титлинов Б.В. 2-I, 209, 218, 221, 229, 260
 Титов В. 2-II, 139, 142
 Тиханов М.А. 1-II, 378

Тагай, кн. татарский 1-II, 449

- Тихо-де-Браге 2-II, 229
Тихомиров И.А. 1-II, 429, 467
Тихон (Белавин В.), патр. 1-I, 261;
2-I, 207-208, 210, 218-219, 221,
225-230, 231-235, 239, 241-247,
412
Тихонов Н. 2-I, 370-371, 378
Тихонравов Н.С. 2-II, 246, 352;
3, 73, 112, 182, 248, 373, 376
Товия 3, 101
Токке 2-II, 53
Толль Н.П. 3, 316
Толмачев 1-I, 148
Толстов С.П. 1-II, 379
Толстой А.Н. 2-I, 357, 371, 378, 386;
2-II, 452
Толстой Д.А. 1-II, 505; 2-II, 277-278,
314-317, 330, 334, 338-339, 341,
344, 370
Толстой И.И. 2-II, 62, 339
Толстой Л.Н. 1-I, 187; 2-I, 139, 262,
300, 302, 308-311, 316-317, 319,
321, 325, 329-330, 333, 343, 347,
349-350, 354, 357, 401, 412, 414;
2-II, 324, 336, 358-359, 374,
458, 464; 3, 112, 170, 346
Толстой О. 2-II, 146
Толстой Ф. 2-II, 56
Томашек 1-I, 212
Томон Т. де 2-II, 29
Томсен К.Ю. 1-I, 214, 426
Тон 2-II, 31
Топинар 2-I, 151, 155
Топоров А.М. 2-I, 410
Торелли Дж. 2-II, 53
Тохтамыш, хан 1-II, 449, 460
Травин П. 2-I, 349-350
Траханиот Ю. 3, 38; 50
Траханиотов воевода 1-II, 490
Траэтта Т. 2-II, 140
Траян 3, 267
Тредьяковский В.К. 2-I, 282, 285,
287; 2-II, 140; 3, 228, 233, 238
Трезини Д. 2-II, 21, 24-25
Тренев Д.К. 2-II, 129
Трескин 1-II, 501
Третьяков Н.П. 1-II, 387
Третьяков П.Н. 1-II, 378, 468
Третьяков С.М. 2-II, 60, 71
Трифонов П. 2-II, 205
Троепольская 3, 237
Троицкий С. 2-I, 224, 260
Тропинин В.А. 2-II, 54
Троцкий Л.Д. 2-I, 221, 355, 371, 373,
376-377, 415; 2-II, 408, 448
Трубецкие, кн. 2-I, 413; 3, 348-349
Трубецкой Д.Т., кн. 3, 82, 86-88, 89
Трубецкой Е.Н., кн. 2-I, 158, 207-
208, 210, 213
Трубецкой Н.Н., кн. 3, 371, 379, 413
Трубецкой Н.С., кн. 2-I, 24
Трубецкой Н.Ю., кн. 2-II, 140
Трубецкой С.Н., кн. 2-I, 202; 2-II,
338
Трусов (Заревой) И.Ф. 2-I, 406
Тситка 1-II, 348
Туган-Барановский М.И. 1-I, 37
Тугаринов А.Я. 1-I, 103, 120, 138,
140
Тугендхольд А.Я. 2-II, 94, 102-107,
110, 130-131
Тузов В.В. 3, 295
Тукалевский 3, 373
Туманский В.И. 3, 225
Тумынь 1-II, 357
Тургенев И.П. 3, 371, 413
Тургенев И.С. 2-I, 262, 299, 302-304,
307, 308, 311, 313, 316-317, 325,
414; 2-II, 66, 457, 464
Турн Г. фон 3, 40
Турчанинов П.И. 2-II, 143
Тучков Е.А. 2-I, 223, 239, 242-245,
414
Тхан, китайская дин. 1-I, 280
Тынянов Ю.Н. 2-I, 353, 373
Тырновский Е. 3, 78, 84
Тэн И.А. 1-I, 56; 3, 425
Тэффи Н.А. 1-I, 24
Тютчев Ф.И. 2-II, 66, 186
Уваров С.С. 2-II, 279, 287, 292, 296,
299-301, 303, 369, 428, 467
Узбек, монгольский хан 1-II, 375
Устлер 2-II, 64, 70
Уитмен У. 2-I, 365
Уклеин С., духобор. 2-I, 125-127
Украинцев Е.И. 3, 151
Ульфмла 1-II, 350
Ульянов 2-II, 84
Унгер, нем. колонист, штундист 2-I,
136
Уорд 1-I, 65
Уошборн 2-II, 414
Урицкий М.С. 2-I, 216
Урсинус 3, 264, 327
Урусова 3, 177, 268
Успенский А.И. 2-II, 129
Успенский Г. 2-I, 262, 304, 310-317,
325, 415; 2-II, 340, 343
Успенский Н. 2-I, 304
Успенский Ф.И. 3, 73

- Устрялов Н.Г. 3, 185
 Уткин И.П. 2-I, 399
 Уткин Н.И. 2-II, 83, 86
 Утрилло М. 2-II, 95
 Ушаков Симон 2-II, 44-46, 129
 Ушаков Ф.М. 3, 380, 381-382, 384, 387, 389
 Ушатый, воевода моск. 1-II, 484
 Ушинский К.Д. 2-II, 323-324, 383, 390

 Фаворский В.А. 2-II, 110
 Фадеев А.А. 2-I, 68, 355, 383, 390-392, 401, 416
 Файко А.М. 2-II, 125
 Фальборк Г.А. 2-II, 354, 370
 Фальгабер 2-I, 201
 Фальк 3, 106, 161
 Фальк Р.Р. 2-II, 108
 Фаминцын А.С. 2-II, 205
 Фарварсон 2-II, 226, 248
 Фармаковский 2-II, 347
 Фартусов 2-II, 39
 Фасмер М. 1-II, 425, 433
 Фауст 2-I, 345
 Фаустина 1-I, 406
 Федин К. 2-I, 355, 370-371, 398-399, 408, 416; 2-II, 452
 Федор Алексеевич, царь 1-II, 480; 2-II, 48, 138, 207, 217, 240; 3, 189
 Федор Барма 3, 76
 Федор Борисович, волоцкий удельный кн. 3, 58-59
 Федор Иванович 3, 425
 Федор, еписк. 2-I, 207
 Федор, дьякон 2-I, 58, 62; 3, 167-168
 Федоров 2-I, 345
 Федорченко С. 2-I, 378
 Федотов Г. 2-I, 24; 2-II, 5
 Федотов П.А. 2-II, 58
 Федченко Б.А. 1-I, 96, 120
 Фейербах Л.А. 2-II, 458
 Фейнберг С. 2-II, 200
 Фейст 1-I, 212-215
 Фельбигер 2-II, 268
 Фельтен Ю.М. 2-II, 26
 Феодосий, иконописец 2-II, 39
 Феодосий, игумен 2-I, 19, 21-23, 63
 Феодосий Косой 2-I, 104
 Феодосий Тырновский 3, 54
 Феодосий, поп 2-I, 63
 Феодосий, дьячок 2-I, 83, 412
 Феодосий, еписк. полтав. 2-I, 229
 Феофан 1-II, 413
 Феофан, митр. 2-II, 214
 Феофан Грек 2-II, 35-36, 38
 Феофан Прокопович 2-I, 82, 201; 2-II, 53, 264-265; 3, 189
 Ферлюдин П. 2-II, 369
 Фет А.А. 2-I, 350
 Феттих Н. 1-I, 316
 Фигнер В. 2-I, 345
 Фик 1-I, 208; 3, 161
 Филарет (Дроздов), митр. москов. 2-I, 56, 179-180
 Филарет (Ф.Н. Романов), патр. 1-II, 495; 2-I, 167; 3, 90, 167
 Филарет преосв.(Гумилевский) 2-I, 180
 Филевич И. 1-II, 397, 467
 Филлигерт А. 2-I, 154
 Филидор Ф.А. 2-II, 140
 Филипп, келейник 2-I, 84, 412
 Филипп Македонский 3, 388
 Филипп, еписк. 2-I, 243
 Филиппов И. 2-I, 81
 Филипченко И. 2-I, 365
 Философов Д.В. 2-II, 72
 Филофей, игумен псковского монастыря (старец Киево-Печерского мон.) 2-I, 31-32, 42; 2-II, 227; 3, 32, 47, 51
 Фильде 2-II, 144
 Финагин А.В. 2-II, 141, 205
 Финдейзен Н.Ф. 2-II, 204-205
 Фиораванти Р. (Аристотель) 2-II, 12, 19, 41
 Фиораванти Ф. 2-II, 39
 Фирсов И. 2-II, 55
 Фиттих Н. 1-I, 316
 Фихте И.Г. 2-II, 166
 Фишер 1-I, 95; 2-II, 261
 Флавиан, митр. 2-I, 165, 174
 Флавицкий К.Д. 2-II, 63
 Фламарион К. 2-II, 364, 458
 Флейшер 2-II, 134
 Флер 1-I, 304
 Флеровский Н. 1-I, 53
 Флиндерс П. 1-I, 285, 305
 Флор П.А. 3, 121
 Флоран-Шмидт 2-II, 95
 Флориан, митр. 2-I, 202
 Флоринский В.М. 1-I, 285, 315
 Флоренский П. 2-I, 158, 413
 Флоровский А.В. 2-I, 24
 Флоровский Г.В. 2-I, 24
 Фокеродт И.Г. 3, 74, 88-90, 93, 144, 152-154, 156, 166, 181, 183-185, 197
 Фокин М.М. 2-II, 95, 187

- Фома Аквинский 2-I, 176; 3, 361
 Фомин 2-II, 30
 Фомин Е.И. 2-II, 132, 141
 Фомин С.Д. 2-I, 346
 Фонвизин Д.И. 2-I, 289; 2-II, 264;
 3, 209, 238, 313, 341, 344, 345,
 423, 425
 Фонтен 2-II, 30
 Фортунатов Ф.Ф. 1-I, 6
 Форш О. 2-I, 378
 Фра Анжелико 2-II, 83
 Фрагонар Ж.О. 2-II, 83
 Франк С.Л. 1-I, 18; 2-I, 16, 202
 Франко И. 2-II, 222
 Франц М. 2-II, 89
 Фредегар (Псевдо-Фредегар), хронист
 1-I, 234; 2-II, 413
 Фридман С. 2-II, 432-433, 435
 Фридрих Великий 3, 161, 408
 Фридрих Вильгельм II, кор.
 прусский 2-II, 268
 Фридьев Н. 2-II, 464
 Фрол Скобеев 2-I, 278
 Фукс Г. 2-II, 118
 Фулье (Фулье, Фуйе) А. 1-I, 47
 Фульд 2-II, 126
 Фурманов Д.А. 2-I, 355, 390-391, 416
 Фурье Ф.М.Ш. 2-II, 378
 Фюрс К. 1-I, 157
 Фюрст, актер 3, 234
- Хаба Аноис 2-II, 175
 Хабаров Е. 1-II, 518
 Халатов А. 2-II, 443, 463
 Хами 1-I, 153
 Хандошкин И.Е. 2-II, 140
 Ханыков 3, 205
 Хань, кит. династия 1-I, 257, 277,
 282; 1-II, 346, 348
 Хвойко В.В. 1-I, 144, 170, 192-194,
 312
 Хеглунд 2-I, 213
 Хеккель Э. 2-II, 88
 Хеккер Ю. 2-I, 230, 233, 236
 Хемницкий, протест. богослов 2-I,
 177
 Хенгзей Л., основатель секты
 "назарян" 2-I, 134
 Херасков М.М. 2-I, 288-289; 3, 236,
 240, 242, 246-247, 249, 349, 352,
 354, 531
 Хернес 1-I, 123, 169, 263
 Хильперик 3, 425
 Хиндемит П. 2-II, 195
 Хирт 1-I, 208
- Хлебников В. 2-I, 343
 Хлебников Н.Д. 2-II, 464
 Хлебцевич Е.И. 2-II, 464
 Хлодвиг 3, 425
 Хмельницкий Б. 1-II, 457-458; 2-I,
 289
 Хованский 2-II, 153; 3, 148
 Ховен П. 3, 308
 Ходасевич В.Ф. 1-I, 24
 Ходоровский И.И. 2-II, 401, 407
 Хомяков А.С. 2-I, 18, 23, 310, 413
 Хоопс 1-I, 163, 135, 212
 Хордадбег 1-II, 422
 Хахайша 1-II, 347-348
 Храповицкий А.В. 3, 333-335, 411,
 431, 483
 Христиан VI, кор. датский 2-I, 107
 Христос Иисус 1-II, 362; 2-II, 19
 Хрущов И. 2-I, 42; 3, 42, 73, 112
 Хувер 2-II, 432
 Худаков С. 2-II, 130
 Хулагиды, монгольская дин. 1-II,
 375
 Хулагу, монгольский военач. 1-II,
 375
- Царевский А. 3, 225
 Цветаев Д.В. 2-I, 153; 2-II, 246;
 3, 132, 200
 Цветаева М. 2-I, 357
 Цейнер 2-II, 143
 Цезарь Юлий 2-II, 230
 Церетели Е. 3, 50, 79
 Цеткин К. 2-I, 364
 Цзинь, китайская дин. 1-II, 348
 Цицерон М.Т. 3, 154
 Циммерман 3, 369, 371, 408
 Цыклер И.А. 3, 177
 Цымбал Е., штундист 2-I, 136
- Чаадаев П.Я. 2-I, 17-18
 Чаараев 3, 236
 Чайковский А.П. 1-I, 276, 284
 Чайковский Н.В. 2-I, 327
 Чайковский П.И. 2-II, 132, 144, 146,
 149-150, 155, 157, 181, 183, 185,
 192, 200
 Чайльд Г. 1-I, 178, 182, 185, 192,
 212, 217, 219, 254, 304, 312,
 314; 1-II, 403-404
 Чапыгин А.П. 2-I, 349, 378, 404
 Чарнолуцкий В.И. 2-II, 354, 370,
 434
 Чебуков, посол моск. 1-II, 485, 490

- Чеглоков 3, 235
 Чекановский 1-I, 248, 250-254; 1-II, 393, 521, 526
 Чекрыгин 2-II, 104
 Челюстин Н.А. 2-II, 434
 Чемберджи 2-II, 203
 Чемесов 2-II, 52
 Ченслор Р. 1-II, 492
 Чепурковский Е.М. 1-II, 520
 Черемисов 2-I, 345
 Черемных М. 2-II, 111
 Черепнин Л.В. 1-II, 378, 434
 Черепнин Н.Н. 1-II, 434
 Черкасов 3, 192
 Черкасские, кн. 3, 148, 308
 Чернов К. 2-II, 205
 Черный Д. 3, 38
 Черный С. 1-I, 24
 Чернышевский Н.Г. 2-I, 294, 296, 301, 302, 354, 361
 Чернышов Зах. 3, 354, 371
 Чернышов И.Г. 3, 192
 Чернышов 2-II, 105
 Чернышovy 3, 316
 Чернявский И.М. 2-II, 278
 Чехов А.П. 2-I, 262, 303, 318-319, 331-332, 345, 351, 353-354, 415; 2-II, 115-118, 122, 126-127, 343, 364
 Чечулин Н.Д. 3, 425
 Чешихин В. 2-II, 205
 Чжан-Кянь 1-I, 278-280, 282
 Чимабуэ 2-II, 6, 35, 40
 Чимароза 2-II, 140
 Чириков Е.Н. 2-I, 345
 Чирин П. 2-II, 43, 44
 Чистяков Н.П. 2-II, 66
 Чичерин Б.Н. 2-II, 308
 Чудинов А.Н. 2-II, 246
 Чудовский В. 2-II, 97
 Чуковский К.И. 2-I, 305, 306, 321, 354, 367-368
 Чулков Г.И. 2-I, 280; 2-II, 88
 Чулков М.Д. 3, 295, 297, 299, 300
 Чумандрин 2-I, 383, 399-402, 416
- Шаванн П. де 2-II, 65, 83-84
 Шагал М. 2-II, 99-100, 105, 131
 Шагинян М. 2-I, 378, 399
 Шайдуров И. 2-II, 132, 135-136
 Шакловитый Ф.Л. 2-II, 153; 3, 138, 151
 Шальгрэн Ж.Ф. 2-II, 29
 Шаляпин Ф.И. 2-II, 184, 197
 Шапш, аббат 3, 425, 428-429
- Шарафик П.И. 1-II, 411
 Шаррельман Г. 2-II, 374, 391
 Шафир Я. 2-II, 459, 464
 Шафиров М. 3, 196
 Шафиров П.П. 3, 150, 155
 Шахматов А.А. 1-II, 382, 417-418, 442, 444, 451, 467-468, 482; 2-I, 42; 3, 51
 Шаховской А.А. 3, 206
 Шаховской Д.И. 1-I, 10; 2-I, 289; 2-II, 354, 356, 371
 Шацкий С.Т. 2-II, 376
 Швантес 1-I, 157
 Шварц 3, 336, 346, 355-359, 362-369, 373, 383, 385-386
 Шварц А.Н. 2-II, 339
 Шварц В.Г. 2-II, 65
 Шварц М. 1-I, 65
 Швейнфурт Ф. 2-II, 34-35, 39, 129
 Швиттерс 2-II, 77
 Шеврёль М.Э. 2-II, 75
 Шевченко А.В. 2-II, 105
 Шевырев С.П. 2-II, 277, 300, 304
 Шедель Г.-И. 2-II, 24
 Шейн 2-I, 59, 207
 Шейн А.С., боярин, полков. 2-I, 59; 3, 177
 Шекспир В. 2-I, 194, 291, 293, 383; 3, 237, 393
 Шелгунов Н.В. 2-I, 354
 Шеллинг Ф.В. 2-I, 182, 293
 Шелонь (лег.) 2-II, 239
 Шенберг А. 2-II, 172-176, 187-189
 Шервашидзе А.К. 2-II, 72, 84
 Шереметев Б.П. 3, 148-150, 192
 Шереметьев П.В. 2-II, 23, 138, 148
 Шерхен О.К. 2-II, 176
 Шершеневич В. 2-I, 362
 Шефер А. 1-I, 52
 Шеффле А.Э. 1-I, 47
 Шешковский С.И. 3, 412
 Шиан О. 1-I, 41-52
 Шиллер И.К.Ф. 2-I, 293-294, 383; 2-II, 166
 Ширинский-Шихматов П.А. 2-II, 301-303
 Ширяев А. 2-II, 463
 Шишкин И.И. 2-II, 66
 Шишков А.С. 2-II, 92, 293-295, 299, 321
 Шишков А.А. 2-I, 285
 Шишков В. 2-I, 378
 Шкерль 1-I, 314
 Шкловский В.Б. 2-I, 280, 353, 368, 373, 409
 Шлегель Ф. 2-I, 293

- Шлецер А.Л. 1-I, 44
 Шлецер Б.Ф. 2-II, 190, 193, 205
 Шлиц 1-I, 157, 205
 Шлютер А. 2-II, 24
 Шляпкин И.А. 2-II, 245; 3, 132
 Шмелев И.С. 2-I, 345, 357, 387
 Шмидт А.В. 1-II, 467
 Шмидт Г. 1-I, 108, 192-194, 201, 208
 Шмидт Е. 2-II, 369
 Шмидт И. 1-I, 172, 205-207; 1-II, 383
 Шмидт Ф.И. 2-II, 128
 Шмидт 2-II, 52
 Шмидт-Ротглюфф К. 2-II, 88
 Шмоллер Г. 1-I, 53
 Шмурло Б.Ф. 3, 132
 Шнабель А. 2-II, 174
 Шолом-Аш 2-I, 345
 Шолохов М.А. 2-I, 355, 386
 Шопен Ф. 2-II, 94-95, 179-180, 179
 Шопенгауэр А. 2-I, 184, 330, 391; 2-II, 457; 3, 365
 Шпан О. 1-I, 52; 2-I, 16
 Шпенглер О. 1-I, 58, 65; 2-I, 388; 2-II, 467
 Шрадер Э. 1-I, 207-208, 212
 Шредер, бар. 3, 366, 373
 Шрейберг 1-I, 212
 Шренк Л.И. 1-I, 113
 Штамиц 2-II, 164
 Штаммлер Р. 3, 10
 Штейнер Руд. 2-I, 340
 Штелин Я.Я. 2-II, 140
 Штеренберг Д.П. 2-II, 105
 Штерн 1-I, 192-193, 312
 Штирнер М. 2-I, 335
 Штраус Д.-Ф. 2-I, 328; 3, 425
 Штраус Р. 2-II, 157, 169
 Шубарт Д. 2-II, 165
 Шуберт 2-I, 293; 2-II, 166, 179, 195
 Шувалов И.И. 2-II, 140, 261; 3, 305
 Шувалов П.И. 3, 192-193
 Шуйские, кн. род. 3, 222
 Шуйский В., царь 3, 71-72, 80, 81, 82-84, 86-87, 90, 110, 112
 Шульгин В.Н. 2-II, 376, 392, 395, 397, 399, 422, 425, 434
 Шуман Р. 2-II, 95, 166, 168, 178-180, 186, 200
 Шумигорский Е.С. 3, 314
 Шухаев 2-II, 98, 101
 Шухарт 1-I, 178, 193, 312
 Шухмин П.М. 2-II, 104
 Шхонебек А. 2-II, 52
- Шы-гу Я. 1-I, 277, 282
- Щавельский Г.И. 2-I, 218
 Щеглов 2-II, 125
 Щеголев П.Е. 3, 430
 Щедрин С. 2-II, 54
 Щекотов 2-II, 102
 Щепкин В.Н. 2-II, 45
 Щепкин М.С. 2-II, 131
 Щепкина Е.Н. 3, 225
 Щербаковский В. 1-I, 312
 Щербатов М.М. 2-II, 267; 3, 190-192, 195, 221, 225, 276, 327, 329, 335, 348, 374, 404, 421, 426-428, 431
 Щербина Ф.А. 2-II, 340
 Щукин С.И. 2-I, 410; 2-II, 74, 88
 Щусев А.В. 2-II, 128
- Эберт М. 1-I, 148, 171, 182, 193, 293, 301, 304, 311; 1-II, 345
 Эвгемер 2-II, 237
 Эвклид 2-II, 225-226
 Эганбюри Э. 2-II, 130
 Эйзенштейн С.М. 2-II, 123, 452-453, 454
 Эйкштедт 1-I, 179, 182, 186-187, 211, 251, 311; 1-II, 521-523
 Эйлер А. 2-II, 258
 Эйнгорн В. 3, 132, 200
 Эйхенбаум Б.М. 2-I, 353-354
 Эйхенбаум М. 2-I, 373
 Эккардт 1-I, 127
 Эккартсгаузен К. 2-I, 118
 Экгольм Н. 1-I, 157
 Элли 1-I, 214
 Элькин Б.И. 1-II, 331-332
 Эльсберг Ж. 2-I, 341, 354, 371, 410
 Эмин Ф.А. 3, 295, 297
 Эммануил (библ.) 2-II, 45
 Энгель К. 1-II, 417
 Энгель Ю. 2-II, 205
 Энгельс Ф. 1-I, 33, 52; 1-II, 387; 2-II, 364-368, 373, 378, 434
 Эпикур 3, 216, 291
 Эпштейн М.С. 2-II, 404, 425, 434, 463
 Эрве 1-I, 153
 Эренбург И. 2-I, 371
 Эриксен В. 2-II, 53
 Эртли 2-II, 465
 Эстергази 3, 410
 Эстрейх П. 2-II, 375

- Эсфирь (библ.) 3, 101
Эсхил 3, 244
Эфрон И.А. 1-П, 519; 2-П, 128, 222,
369-371
Эфрос А.Е. 2-И, 378
Эфрос А.М. 2-П, 131
- Юбер 1-И, 226
Юдифь 3, 101
Юзов И. 2-И, 113
Юзов-Каблиц (Каблиц И.И.) 2-И,
317
Юм Д. 1-И, 68
Юнг Э. 3, 360
Юрасовский 2-П, 198
Юргенсон П.И. 2-П, 144, 205
Юрин О. 2-И, 405-406
Юршев С. 2-И, 67
Юст Юль 3, 145-146, 149, 154-157,
159-160, 185, 190, 193
Юстик 2-И, 187
Юстиниан, имп. византийский 1-П,
355
Юшкевич 2-И, 345
- Яворский Б. 2-П, 202
- Яворский С. 2-И, 158, 275, 412;
3, 201, 216, 233, 326
Ягич 1-П, 397, 467; 2-И, 352
Ягужинский С.П. 2-П, 140-141;
3, 170
Яков (Иаков) П, Стюарт, кор.
Великобритании и Ирландии
3, 387
Яков Захарьевич, воевода
коломенский 3, 94
Яковкин 2-П, 286
Яковлев А. 2-И, 378
Яковлев А. 2-П, 98, 101
Яковлев В. 2-И, 24
Яковлев Д. 2-П, 44
Якубовский А.Ю. 1-П, 375, 379
Якунчикова М.Ф. 2-П, 71
Якушкин В.Е. 3, 431
Яницкий Н.Ф. 2-П, 463
Янкович М. де 2-П, 268, 278
Ярец 3, 39
Яровой 2-И, 407
Ярослав, кн. 1-П, 400, 425; 2-И,
29
Ярославский Е. 2-И, 221, 229, 244,
252, 260
Ясинский 2-И, 321
Ярослав Всеволодович, кн. 1-П, 366

Aaberg 1-I, 313
Abschnitt Erster 1-I, 65
Aeyrepää-Europeus A. 1-I,
311-313
Ailio 1-I, 312
Altheim F. 1-II, 378
Andreyev L. 2-I, 354
Ansel Jac. 1-I, 316
Antoniewicz Wl. 1-I, 312
Apollinaire G. 2-II, 130
Arnaldo F. 1-I, 171
Arne T.S. 1-II, 467
Auerbach L. 1-I, 64

Bals G. 2-II, 129
Barchan P. 2-II, 131
Barker E. 1-I, 64
Bartold W.W. 1-II, 378
Bartucz 1-I, 314
Behn Fr. von 1-I, 65, 169
Bekker P. 2-II, 205
Benois A. 2-II, 131
Bie O. 2-II, 131
Blum K. 3, 506
Blytt 1-I, 170
Bonnet Ch. 3, 431
Borkovskyj I. 1-I, 312
Borovka G. 1-I, 316
Bosch-Gimpera P. 1-II, 378
Boule M. 1-I, 170
Bourdeau L. 1-I, 64
Bourgin G. 1-I, 64
Braque Ch. 2-II, 78
Braun F. 1-I, 313
Bremer W. 1-I, 313
Breuil H. 1-I, 171
Brückner 3, 339
Bumüller Joh. 1-I, 170
Buriot-Darsiles 1-I, 64
Burkitt M.C. 1-I, 171

Caffi A. 2-II, 129
Calvocoressi 2-II, 205
Casson St. 1-I, 316

Caster M. 2-I, 352
Chagall M. 2-II, 131
Chantre 1-I, 315
Charpentier 1-I, 64
Chekanovski 1-I, 314
Childe G.V. 1-I, 170, 192, 212, 217,
219, 254, 311, 313, 315; 1-II,
467
Coerne L. 2-II, 206
Coguiot Gerstawe 2-II, 130
Collaer P. 2-II, 206
Collingwood R. 1-I, 64
Comte Aug. 1-I, 64
Contenau G. 1-I, 315
Conybear T. 1-I, 155
Corinth 2-II, 130
Coquiou G. 2-II, 130
Croce B. 1-I, 64
Czaplicka M.A. 1-I, 121
Czortkover 1-I, 314

D'Alheim P. 2-II, 205
Dacque E. 1-I, 170
Dalton O.M. 1-I, 315; 2-II, 9, 128
Delaunay R. 2-II, 78
Delporte L. 1-I, 315
De Mortillet 1-I, 170
Derain A. 2-II, 78
D'Herbigny M. 2-I, 202, 261
Diaghilew S. 2-II, 130
Diehl Ch. 2-II, 9, 128
Duckworth 1-I, 170
Duncan D. 1-I, 64
Dunlop D. M. 1-II, 378
Durel Th. 2-II, 130
Dvornik F. 1-I, 468

Eaglefield-Hull A. 2-II, 205
Ebert M. von 1-I, 169, 315
Eckardt J. 3, 506
Eckart W.R. 1-I, 170
Eickstedt E.F. von 1-I, 170
Einstien A. 2-II, 205
Ekholm G. 1-I, 171

- Engel K. 1-II, 417, 468
- Falloux 3, 430
- Farbman M. 2-II, 129
- Fauconnier Le 2-II, 78
- Faustini A. 1-I, 171
- Febvre L. 1-I, 119
- Fechner 3, 200
- Feist S. 1-I, 313
- Ferdinandy M. de 1-II, 378-379
- Ferriere Ad. 2-II, 464
- Fettich N. 1-I, 16
- Findeisen H. 1-I, 171
- Flint 1-I, 64
- Fougeres G. 1-I, 315
- Freeman Jos. 2-I, 409
- Freier H. 1-I, 65
- Fueter Ed. von 1-I, 64
- Füllop-Miller R. 2-II, 130
- Gatto E.L. 2-I, 410
- George W. 2-II, 131
- Giuseppe S. 1-I, 313
- Gleizes A. 2-II, 78
- Godard A. 1-I, 315
- Grabar A. 2-II, 129
- Grabar I. 2-II, 129
- Graefe Ju. Meier 2-II, 130
- Grakov B. 1-I, 316
- Grass K.K. 2-I, 154
- Grekov B. 1-II, 379
- Grekov B. et Jakoubovski A. 1-II, 379
- Grigoriew B. 2-II, 131
- Guerrier W. 3, 431
- Gunther H. 1-I, 170
- Haack 2-II, 130
- Hankins F.H. 1-I, 311
- Hans N. 2-II, 433
- Harper S. 2-II, 433
- Haxthausen A.von 2-I, 154
- Hecker Jub.F. 2-I, 220, 260
- Hellich 1-I, 211
- Helvetius 3, 431
- Henriot E. 2-II, 96
- Herr A. 2-II, 119, 169
- Herrmann 3, 185
- Herz F. 1-I, 65, 311; 3, 30, 44
- Hessen M. 2-II, 205
- Hessen S. 2-II, 433
- Hirt H. 1-I, 313
- Hoernes M. 1-I, 169, 263
- Holbach 3, 431
- Hubert H. 1-I, 215, 228, 313
- Jagic V. 3, 200
- Jacob-Friesen 1-I, 208
- Jakoby 1-I, 316
- Jakoubovski A. 1-II, 378
- Jessen 1-I, 171
- Jevasseur 1-I, 121
- Johelson W. 1-I, 121 154, 171
- Jopg 1-I, 65
- Jorga Nic. 2-II, 129
- Jurgen-Seraphim H. 1-II, 519
- Jurin L. 2-II, 464
- Justi L. 2-II, 130, 464
- Karman E.V. 3, 30, 44
- Kaun Al. 2-I, 354
- Khrapovistki 3, 430
- Klee 2-II, 130
- Knapp F. 2-II, 130
- Kondakov K.P. 1-II, 378
- Kpaurek T. 1-I, 170
- Kostrzêwski Jos. 1-I, 312, 314; 1-II, 468
- Kossmat F. 1-I, 170
- Kozlowski L. 1-I, 312
- Krebs N. 1-I, 121
- Kretschmar H. 2-II, 205
- Krusenstern A. 2-II, 369
- Kunitz Jos. 2-I, 409

Lammetrie 3, 431
Landet M. 3, 235
Larivière 3, 430
Laudel A. 2-II, 206
Laurencin M. 2-II, 78
Lebzelter V. 1-I, 314
Leger F. 2-II, 78
Lehr-Splawinski T. 1-II, 468
Leibnitz M. 3, 431
Letourneau 1-I, 121
Librairie R. 1-I, 64
Lot F. 1-II, 378
Lowie R. 1-I, 311
Lozovick L. 2-I, 409
Lübke 2-II, 130
Lucke Th. 1-I, 64
Lukomskiy G.C. 2-II, 129
Lundel I.A. 1-I, 467

Mably 3, 431
Mackay E. 1-I, 315
Magnata A. 1-I, 311
Mahr A. 1-I, 313
Maizat 1-I, 316
Makarenko N. 1-I, 316
Marguart J. 1-II, 378
Marx K. 3, 431
Martineau H. 1-I, 64
Matiegka 1-I, 211, 314
Martinean Harriet 1-I, 64
Menghin O. 1-I, 121, 169, 312
Menzel Th. 1-I, 378
Merhard G.von 1-I, 315
Mersmann H. 2-II, 206
Metzinger Ch. 2-II, 78
Michelis E. de 1-I, 313
Mikkola J.J. 1-I, 467
Millet G. 2-II, 9, 128-129
Minnes E.M. 1-I, 316
Minns E.H. 2-II, 119
Monet Cl. 2-II, 74
Mongait A.L. 1-II, 378
Montandon G. 1-I, 311, 314
Montelius 1-I, 171
Morgan L.H. 1-I, 311
Morgan de 1-I, 315
Mortillet G.et A. ge 1-I, 170

Mouratow P. 2-II, 129
Müllenhoff 1-II, 378
Muller B.F. 1-II, 378
Munthe 1-I, 171
Murko M. 3, 200

Nicolini F. 1-I, 64
Novgorotsev P. 2-II, 371
Nyström 1-I, 211

Obermaier X. 1-I, 312
Odinetz D. 2-II, 371
Ogden C.K. 1-I, 311
Ozenfant 2-II, 130

Passarge S. 1-I, 121
Pasternak Jo. I-II, 390, 467
Pavolotzky 2-II, 464
Peary 1-I, 154
Penka 1-I, 313
Peregrinum 3, 50
Petite M. 3, 18
Pexe 1-I, 245
Picasso P. 2-II, 130
Pierling P. 3 200
Pissaro 2-II, 74
Pittard Eu. 1-I, 170, 245, 314
Platon 1-I, 64
Plekhanov G. 3, 431
Poisson G. 1-I, 313; 1-II, 467
Pokhe 1-I, 313
Poritzky J.E. 3, 431
Porschnew G. 2-II, 463
Potapov A. 1-I, 316

Rambaud A. 3, 430
Raynal M. 2-II, 130
Rau P. 1-I, 312
Rambaud A. 3, 430
Reau L. 2-II, 35, 128, 130
Reclus E. 1-I, 121
Reinhart L. 1-I, 171
Rembrandt 2-II, 55
Renoir 2-II, 74

- Renouard L. 1-I, 64**
Richthofen B.F. von 1-I, 314
Riemann 2-II, 205
Rieseman (Riesenmann) O. von 2-II, 205, 206
Rigolade Emil 1-I, 64
Rig Ju. 1-I, 64
Rinkerton 2-I, 154
Ripley W. Z. 3, 11, 30
Rocquain F. 3, 430
Roggenstein G. 3, 30
Rosenberg G. 1-I, 313
Roubakine N. 2-II, 464
Rubens 2-II, 55
- Sabaneyeff L. 2-II, 206**
Salmony A. 1-I, 315
Salomon G. 3, 30, 44
Saubies 2-II, 204
Savicki L. 1-I, 171
Schaeder H. 2-I, 41, 42
Schmidt H. 1-I, 169, 312-313
Schob Rere 2-II, 131
Schrader 1-I, 313
Schranil Jos. 1-I, 311
Schroll A.A. 1-I, 121
Schuchardt K. 1-I, 311
Schweinfurt V. 2-II, 129
Schwob R. 2-II, 131
Seger 1-I, 313
Semionov Juri 1-I, 519
Sernander 1-I, 171
Seurat 2-II, 75
Shranil Jos. 1-I, 312
Sidov E.von 2-I, 354
Sisley 2-II, 74
Skerly 1-I, 314
Skryabin A. 2-II, 206
Soergel 1-I, 126, 171
Sorel A. 3, 426
Spinka M. 2-I, 200, 260
Spuler B. 1-II, 378
Staehlin K. 2-II, 129
Steinmetz S.R. 3, 30, 44
Stock A. 2-II, 129
Stocky A. 1-I, 312
- Stravinsky I. 2-II, 206**
Sules Rig 1-I, 64
Sulimirski T. 1-I, 312
Sypan A. 1-I, 119
- Tallgren 1-I, 312-313, 316**
Taylor Js. 1-I, 313
Testut 1-I, 151, 153
Thompson F.A. 1-II, 378
Thomsen W. 1-I, 426, 467
Thurnam 1-I, 212, 213
Tiessen H. 2-II, 206
Tourneux M. 3, 474
Trachagnoti G. 3, 50
Trivulzi B.Cr. 1-I, 64
Treadgold D.W. 1-I, 519
Turin L. 2-II, 464
- Vasmer M. 1-I, 467, 468**
Vernadsky G. 1-I, 378
Verneau R. 1-I, 121
Viazzi P. 1-I, 64
Vogel W. 1-I, 65
- Wahle E. 1-I, 311**
Wailly de 2-II, 26
Waliszewski K. 3, 185, 281
Ward L. 1-I, 65
Weber H.B.O. 1-I, 315
Weber W.E. 1-I, 64
Weiss A.P. 3, 31 44
Weldenreich Fr. 1-I, 65
Werner J. 1-II, 378
Werth E. 1-I, 170
Wijk N.von 1-II, 468
Wilson L. 2-II, 433
Woldemar C. 2-II, 369, 370
Wolf Joh. 2-II, 205
Wooley C.L. 1-I, 315
Wosinsky M. 1-I, 313
- Zajackowski A. 1-II, 378**
Zakharov A.A. 1-I, 315
Zastérová B. 1-I, 468

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3	Попытки Европы вовлечь Россию в союз против турок; брак с Софьей Палеолог, возникновение идеи панрусизма	38
ОЧЕРК ПЯТЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ЕВРОПЕИЗМ		Национально-политические стремления южных славян	42
Введение	5	Их перенесение на Москву	43
Народное самосознание — явление вторичное	6	Возникновение под их влиянием новой идеи о Москве — третьем Риме и о римско-византийском преемстве власти	44
Два оттенка в понимании "народного самосознания": "национальное" и "общественное самосознание"	7	II. Появление оппозиционной идеологии и ее судьба	52
Составные элементы понятия "национальности"	7	Источники религиозного вольнодумства — в еретическом и мистическом движении на Балканском полуострове и на Афоне	52
Национальность и раса	8	Нил Сорский и "нестяжатели"	55
Национальность и среда	8	Попытки власти воспользоваться движением для секуляризации духовных имуществ Второе поколение "нестяжателей" компрометирует себя союзом с политической оппозицией	57
Национальность — явление социальное, продукт психического взаимодействия	9	Их противники (Иосиф) предлагают власти теоретическую поддержку	60
Значение языка и религия в образовании национальности	11	Отношение власти к новому политическому классу	60
Процесс развития национального самосознания и его фазисы: самовозвеличение и самокритика	13	Его оппозиция	61
Периоды в развитии русского общественного самосознания	16	Союз боярства (Курбский) с "нестяжателями" и его последствия	62
Русское общественное самосознание не вытекает из преемства удельно-вечевых традиций	19	Развитие теории демократического самодержавия в памфлете Ивашки Пересветова	64
Степень сознательности процесса образования Московского государства	23	Развитие оппозиционной теории в ответе публициста боярско-нестяжательской партии	65
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭПОХИ И ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ИХ КРИТИКИ (XV-XVII вв.).		Отголоски оппозиционных мнений на соборах середины XVI в. Социальная оппозиция как мотив для религиозно-моралистической полемики, как орудие монархической программы	68
I. Образование националистической идеологии	32	Активное проявление социального протеста в смутное время	71
Общий характер исторического перелома в конце XV в.	32		
Житейские элементы московской программы:			
1) традиция скопидомства	33		
2) традиция "единства", превратившегося в "объединение"	34		
3) традиция религиозного единства	35		
Религия как орудие политики	36		
Идеологические элементы программы и их источник	37		

III. Торжество националистической программы и политический смысл смуты	74	Сознательное обсуждение национального вопроса в сочинении Крижанича	115
Победа религиозно-политической теории	76	Дилемма, предстоящая России ввиду противоположности культурных влияний немцев и греков	116
Ее популярность в массе	76	Причина преимуществ иностранцев перед русскими	121
Победа социальной программы Пересветова: поддержка "воинства" в ущерб боярству и крестьянству	77	Время — лучший учитель	121
Роль всех трех социальных элементов в событиях Смутного времени	80	Для славянства время учиться наступило	122
Преобладание "ратных людей"	81	Опасность иноземного влияния и средства борьбы	123
Развитие их программы в договорах с временным правительством и кандидатами на престол	82	Предпочтительность русского быта и необходимые в нем реформы	123
Их активное участие в правительствах Трубецкого и Пожарского	86	Преимущества русского общественного строя	124
Применение предыдущих соглашений к новому кандидату (Михаилу)	90	Преимущество самодержавия, вред крайностей в политическом строе	125
Исключительная роль земского собора и ее непродолжительность	90	Обязанности короля	127
Бюрократия и дворянство	92	Необходимость развития производительных сил России	128
IV. Националистическая традиция в конфликте с иноземным влиянием	94	Средства к этому	128
Иноземное влияние как фактор национального самосознания	95	Необходимость сословных вольностей	129
Формулировка националистической традиции как результат	97	Идеи Крижанича и русская действительность	131
Влияние иноземного быта	98	ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОБЕДА КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НАД НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМИ	
Влияние идей в области религии и науки	102	I. Стихийная реформа Петра и стихийная оппозиция ей	134
Поездки за границу	103	Невозможность "среднего" пути Крижанича	134
Иностранная колония в Москве	109	Первоначальная близость элементов национализма и критики и нейтральная позиция царя Алексея	135
Состав населения Немецкой Слободы	105	Обострение противоречий	138
Вероисповедания	107	Умеренно-национальная реформа Голицына	138
Обрусение	108	Ее показательный характер	140
Знакомство русских с иностранными языками	109	Контраст с Петром	141
Книжная торговля в Москве	109	Короткое торжество националистической реакции	142
Переводы с иностранных языков	110	Необходимость и возможность насильственного и личного характера реформы	143
Реакция национализма против иностранцев	111	Отсутствие препятствий со стороны духовенства и бюрократии	144
Выселение в Слободу	113		

Бессилие других общественных элементов	145	Последняя неудачная попытка соглашения религиозной оппозиции с казачеством в Астрахани 1705 г.	178
Отношение Петра к бюрократии и боярству	147	Молчаливая оппозиция "родословных людей"	179
Изолированность Петра и выбор сотрудников	148	Связи с царевичем Алексеем Критика внешней и внутренней политики Петра с точки зрения интересов дворянства и знати	180 181
Петр опирается на гвардейское дворянство	151	II. Дворянский характер новой культуры и теоретическая защита "светского жития"	186
Разница взглядов на личную роль Петра в его реформе	153	Наследство Петра Великого в руках его фаворитов, аристократической оппозиции и дельцов-иностранцев	188
Его понимание задач и приемов реформы	155	Новая культура укрепляется при дворе	190
Внешнее понимание европейской культуры	157	Значение "чина"	193
Импульсивность воли и недисциплинированность мысли как препятствия для обдуманного и сознательного отношения к собственной реформе	159	Социальная роль "Табели о рангах"	195
Отсутствие плана не заменяется общей схемой (безопасность — правосудие)	160	Распространение культуры в провинции — среди помещного дворянства	197
Не заменяется и чувством служебной дисциплины	161	Защита основ старинного "духовного жития" в "Завещании" Посошкова; ее безнадежность и противоречия с требованиями жизни	200
Результат: экспериментирование на удачу и отрывочность отдельных усилий	162	Руководства к "светскому житию" — для дворянства	208
Отражение этих черт на создании армии, флота	164	Общие условия дальнейшего развития интеллигенции	210
Петербурга	164	Первая теоретическая защита "светского жития", выставленная представителем интеллигенции — Татищевым	212
Вывод	166	Отсутствие сознательного отношения к новому "светскому житию" среди шляхетства	221
Раскол как готовое оружие националистической реакции	167	Первый опыт применения политической теории к русскому действительности при воцарении Анны	222
Отсутствие принципиальной основы для разногласия с никонианством	167	III. Культурная роль первого поколения интеллигенции, прошедшего правительственную школу.	226
Колебания массы	169	Общее настроение культурных кругов при Елизавете	227
Реформа Петра дает принципиальную основу националистическому протесту и отталкивает массу в лагерь староверов	170	Среда и формы, в которых развивалось просветительное движение	228
Недовольство распространяется повсеместно	173		
Отсутствие в расколе социального элемента	173		
Попытки союза социальной оппозиции с религиозной на Дону в 1688 г. и ее неудача вследствие разнородности взглядов и целей	175		
Стрельцы возобновляют попытку	176		
Новая формула национализма	177		

Неудача петровского книгоиздательства	229	Отношение русских сословий к требованиям окраин	277
Новое веяние	230	Классовый характер прений, сплочение партий, солидарность антидворянского большинства, неудачи Екатерины в комиссии и отсрочка ее заседаний	278
Роль переводного романа	231	V. Первые расхождения общественного мнения	
Положение русского читателя	232	с властью	282
Неудача петровского театра	233	Общий характер периода	282
Кадеты Елизаветы и начало театра	235	Дидро — представитель общественного мнения	
Борьба старого и нового в театре	236	Европы в Петербурге	283
Учащаяся молодежь и первые журналы	239	Философ и императрица	284
Переход от отвлеченной морали к жизненным темам	242	Предметы их разговоров, наблюдения, вопросы и предложения Дидро	285
Типы елизаветинской сатиры	243	Реплика Екатерины	289
Любовная лирика	245	Дидро требует представительного органа	289
Переход к философским темам	247	Вопрос религии	290
Слабое распространение журналов	248	Ультиматум Дидро	291
IV. Первые попытки применить критические идеи к жизни	250	Его неудача	292
Общее значение екатерининской эпохи как начала общественного самосознания	250	Попытка Екатерины руководить общественным мнением России посредством журнала	293
Общий ход движения	252	Отношение к ее журналу остальной прессы	295
Промежуточное настроение поколения, выросшего с Екатериной	253	Журнальные приемы Екатерины	297
Характер ее отношений к Вольтеру	255	Новый тон, приемы и содержание новиковского "Трутня"	300
Ее взгляд на отношение "принципов" к "интересам"	256	Раздражение Екатерины	305
Уверенность в личном характере просветительной миссии	257	Полемика и прекращение журналов	305
Темперамент Екатерины	259	Попытка Новикова соединить критические идеи с националистическими в "Живописце"	307
Отрицание систем	261	Националистические настроения и типы русской действительности	308
Отношение к социальным выводам из теории естественного права (Беккариа)	262	Особый характер националистической критики Новикова	309
Екатерининская комиссия и ее прецеденты	265	Преобладание критических идей и прекращение второго журнала Новикова	310
Нужды русской провинции по наказам	267	Неудачный опыт — защищать древние русские добродетели в третьем журнале "Кошелек"	311
Дворянские требования	268	Шаг вперед екатерининской журналистики сравнительно с елизаветинской	313
Противоречие их с освободительными стремлениями в крестьянском вопросе и в уголовном судопроизводстве	270		
Влияние внешней политики на судьбу комиссии	272		
Поведение дворянских депутатов и антидворянской оппозиции в комиссии	275		

Причина ее приостановки в 1774 г.	313	Его практическая цель	352
VI. Екатерина II поддержива- ет правящее сословие . . .	315	Первый журнал ("Утренний свет")	353
Трудное положение Екатерины в 1774 г.	315	Отрицательное отношение Екатерины	354
Пугачевщина как психологи- ческий толчок для нового периода ее "легисломании"	316	Москва и Петербург	354
Социально-политическая программа пугачевщины	318	Переселение в Москву и уси- ление оппозиционного настрое- ния в "Московском издании"	355
Отношение к ней крепост- ного крестьянства и дворян	319	Роль Шварца в масонстве и его просветительная деятельность	356
Екатерина принимает сто- рону дворянства	319	Мероприятия Шварца	357
Новые авторитеты Екатерины (Блэкстон) в области юриспруденции	321	Деятельность кружка	358
Влияние остзейских учреждений	322	Мистицизм Шварца	359
Идеологические элементы "Учреждения о губерниях"	323	Развитие воззрений кружка в его журналах	360
Дворянское самоуправление, причины его слабости	324	Философский трактат Шварца и его отношение к немецкой популярной философии	362
Бюрократизация выборной службы	328	Шварц и Новиков	366
Роль "Учреждения о губерниях" в распространении дворянской культуры	330	Отход от мистического масонства	367
Дальнейшие законодательные планы Екатерины и их неудача	331	Издательская деятельность кружка по смерти Шварца	368
Причина отказа от реформы центральных учреждений	333	Помощь голодающим 1787 г. Отношение Екатерины к масон- ству в его трех фазисах	369 370
VII. Общественное мнение становится независимым	337	Ее литературная полемика с масонством	371
Статистика книгоиздательства в XVIII веке	338	Кружок стушевывается	372
Характер изданий	339	Ревизия школ и книг Новикова	372
Передовые течения: вольтерьянство, его характер у Екатерины и в высшем обществе	340	Масоны — внешний и внутрен- ний враг	373
Отрицательное отношение интеллигенции	341	Административные меры	373
Промежуточная роль вольте- рианства в развитии мысли интеллигентной молодежи	342	VIII. Открытый конфликт и первые кары	375
Значение масонства	346	Роль предреволюционного настроения во Франции и отражение его в России	375
Разные течения масонства	348	Философские и политические идеи лейпцигского кружка	380
Первоначальный характер масонства в руках учащейся молодежи	350	Влияние немецкой универ- ситетской философии и французского материализма	381
Отношение к масонству Новикова	351	Отражение этих влияний в трактате Радицева о смерт- ности и бессмертии	383
		Впечатления политической жизни Запада и влияние Мабли	387
		История составления "Путешествия"	391
		Ода "Вольность"	393

Печатание	393	в России	410
Современная действительность и публицистическая цель "Путешествия" Радищева	396	Карамзин и настроение нового поколения	415
Основная идея — борьба с бесправием	397	Русская сцена как выражение настроения средней публики	416
Обращение к престолу	399	Народный и националистический элемент театральных пьес	416
Проект социальных реформ	400	Отношение резонерской морали к взглядам передовой интеллигенции	419
Крестьянский бунт — последняя санкция	403	Попытки построения националистической теории	425
Отношение к книге читателей и Екатерины	404	"Антидот" Екатерины	426
Отношение Екатерины к Французской революции	408	Колебания Щербатова	427
Впечатление, произведенное радищевской книгой, и меры относительно автора	409	Теория Болтина: ее научные и националистические элементы	429
Рост раздражения против революционных событий	409	Именной указатель	432
Меры против мартинистов и "французской заразы"		Содержание	473